

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://saltykov-shchedrin.ru/> приятного чтения!

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

\*\*\*

КУРС ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ. Сочинение Владимира Петровского, профессора Ришельевского лицея. С.-Петербург, 1847  
Книга гг. Ришона и Вингольда написана с целью весьма похвальной. Они хотели соединить в своем изложении приятное с «полезным», сделать свою науку занимательной и доступной для детей, – одним словом, пробудить в ребенке потребность знания, желание ознакомиться ближе с географией. Но одного благого намерения все-таки недостаточно: нужно еще и хорошее исполнение, а его-то именно и недостает в разбираемой нами книге. Судя по заглавию этого сочинения, мы ожидали от него живых, в разнообразной и драматической форме изложенных рассказов о местных особенностях каждой страны, о замечательнейших ее памятниках, о нравах, обычаях, промыслах ее жителей, и заранее радовались за детей, что послала им, наконец, судьба такую книгу, где вместо вздорных так называемых нравоучительных повестей они могут найти много любопытных и полезных сведений. Тем неприятнее были мы поражены, когда увидели, что сочинители «Географии в эстампах» поступили точно так же, как поступают обыкновенно издатели детских книжек. Книга их состоит из шестнадцати повестей; каждой из них предшествует изложение собственно географических сведений. Сведения эти составлены с изумительной сухостью и краткостью: в них показываются сперва границы каждой страны, а затем следует голая номенклатура гор, городов, губерний и т. д. Скажите, например: есть ли для ребенка какая-нибудь возможность заучить без особого, неестественного напряжения сил названия восьмидесяти шести департаментов Франции? А между тем эти названия занимают почти половину всего собственно географического сведения, сообщаемого сочинителями об этой стране. Само собой разумеется, что дети пропустят эту статью, как неинтересную и неприятную, – и примутся прямо за повести. А уж повести, помещенные в «Географии в эстампах», вовсе до географии не относятся, хотя авторы и оговариваются в предисловии, что хотели представить в них «особенности каждой страны, характер, нравы и обычаи каждого народа». Нам скорее сдается, что цель этих повестей не что иное, как наши старые знакомые – нравоучения, насчет которых так любят прохаживаться сочинители детских книжек.

Нравоучения эти следующего сорта. Девушка приобрела пятнадцать су, на которые и располагает купить себе ленту. Но, идя в этих мыслях домой, она встречает на дороге сперва старика нищего, потом старуху нищую и, наконец, нищего мальчика, и, разумеется, по издавна заведенному в нравоучительных повестях порядку, отдает им все деньги. Покамест все идет хорошо; девушка делает добро по влечению своего детски невинного сердца, потому что добро само в себе имеет для нее необыкновенную прелесть и обаяние. Казалось бы, и дело с концом; так нет! тут-то именно и оказывается фарисейское попользование нравоучительной повести. На девушку нападает вдруг разбойник, или, как говорит переводчик, «мужчина с злобным видом». Ее спасает... как бы вы думали – кто? именно тот самый слепой и дряхлый нищий, которому утром она подала пять су. В деревне показывается пожар; огонь уже добирается до сена, принадлежащего благодетельной девушке... Вы думаете, сено сгорит? как вы просты! а на какой же конец бременит собой землю старуха нищая? даром, что ли, подали ей пять су? и действительно, она весьма кстати поспекает, чтобы предупредить свою благодетельницу об ожидающем ее бедствии, – и... дело слажено! у других соседей сено сгорело, другие без хлебца, а у нее, благонамеренной и добродетельной, и сено цело, и хлебец есть! Это последнее обстоятельство особенно утешительно; но история им не оканчивается, потому что ведь и с бедного мальчика нужно же что-нибудь сорвать за поданные ему пять су. Действительно, в скором времени на девушку нападает большая собака и уже делает «большой скачок» (?)... так и ждешь, что вот кончится достославная жизнь бедной девушки. Не тут-то было! как гриб, вырастает из земли бедный мальчик, бросает в собаку свой топор, и животное с «окровавленной мордочкой» издыхает тут же. Здесь и кончается повесть, мораль которой, если не ошибаемся, может быть вполне выражена в следующих немногих словах: быть добрым никогда не мешает, потому что это дает человеку возможность спекулировать на услугу во сто раз большую со стороны облагодетельствованного субъекта. Впрочем, с равной достоверностью можно предположить, что если благодетельная девушка, не давши заранее бедному мальчику пяти су, опять встретится с бешеной собакой, то бедный мальчик не поспешит уже к ней на помощь и не бросит в собаку своего топора. Отсюда новая мораль: не подавши заранее пяти су бедному мальчику, всячески избегай встреч с бешеными собаками.

Но положим даже, что нравственная цель повести хороша, – спрашивается: что общего между географией и нравственностью?

Перевод из рук вон плох: видно, что переводчик не имеет никакого понятия ни о географии, ни о французском языке. Нант он называет Нантесом; *c'est toute une histoire* – выходит у него: «вот вся история». На каждом шагу встречаются выражения, подобные следующим: «вы возвратили супруга его милой половине», или: «тьфу, это глупость!», что в подлиннике значит: *mais bas! tout cela c'est de la folie!* или «дверь с большой стучалкой» (то есть с молотком). Но всего любопытнее следующая фраза: «Вольмар представлял студента-кокета, что называли в университете – Алуттом». Что бы это такое значило?

Что касается до «Курса физической географии» г. Петровского, то книга эта составлена с большим старанием и знанием дела. Видно, что автор следит за успехами своей науки: в сочинение его вошли результаты всех изысканий Гумбольдта, Форстера, Скорезби, Лапласа, Кемтца, Буха, Гоффа и других. Желательно бы было, чтобы книга г. Петровского была принята, как руководство, не в одном Ришельевском лицее, но и в других учебных заведениях, тем более что и самое изложение ее чрезвычайно просто и общепонятно.

Издание обеих книг красиво; к «Географии в эстампах» приложены весьма удовлетворительные литографии.

РУКОВОДСТВО К ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ. Сочинение фолькера. Перевод с немецкого. Спб. 1847

Странная, право, участь детей! Чему не учат их, каких метод не употребляют при преподавании? Их обучают и истории, и нравственности; им объясняют их долг, их обязанности, – всё предметы, как видите, совершенно отвлеченные, над которыми можно бы было призадуматься и не ребенку. Одно только забывают объяснить им мудрые наставники: именно то, что всего более занимает пытливый ум ребенка, то, что находится у него беспрестанно под глазами, те предметы физического мира, в кругу которых он вращается. А оттого-то и случается, что человек, сошедший с школьной скамьи, насытившийся вдоволь и греками и римлянами, узнавший вконец все свойства души, волн и других невесомых, при первом столкновении с действительностью, оказывается совершенно несостоятельным, при первом несчастии упадает духом; и если, по какому-нибудь случаю, любезные родители не приготовили ему ни душ, которые бы могли прокормить вечного младенца, ни сердобольных родственников, ни даже средств для выгодной карьеры, – наш философ умирает с голоду именно потому, что любезные родители никак не могли предвидеть подобный пассаж.

По-настоящему следовало бы изучить натуру ребенка, подстеречь его склонность при самом его рождении, не навязывать ему такой науки, которая или антипатична, или не по летам ему, – но нет! не тут-то было! На что же и существуют возлюбленные родители? В их уме уже заранее начертаны все занятия, все судьбы будущего ребенка их; на то он и рождение их, их собственное рождение, чтобы они могли располагать им по произволу; и уж как ни бейся бедный ребенок, а не выйти ему никогда из этого волшебного круга! И потому юноши, в которых эта система постепенного ошеломления не совсем еще потушила энергию пытливого духа, обыкновенно, по выходе из школы, начинают сами сызнова свое образование, но и тут, лишенные помощи живого слова, в борьбе с беспрестанно возрастающими недоразумениями, большей частью падают под бременем своего тяжелого перевоспитания. Что же касается до остальных, а этих остальных более девяти десятых, то они уже навсегда пребывают в состоянии совершенного нравственного одурения.

На такие грустные мысли навело нас руководство г. фолькера, переведенное на русский язык г. М-чем. Переводчик предполагает, что сочинение это, «кажется, не лишнее в русской исторической литературе». Мы, напротив, уверены, что оно совершенно лишнее, потому что достоинством несколько не превосходит знаменитой истории г. Кайданова, а в изобилии фактов далеко ей уступает.

Впрочем, надо сказать и то, что если понимать как следует всемирную историю, если видеть в ней полное, логически-последовательное изложение тех различных моментов, через которые прошло человечество в своем постепенном развитии, то нельзя не прийти к заключению, что всемирная история, как наука по преимуществу синтетическая, должна быть наукою мужей, а не детей, должна быть венцом, а не

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
началом человеческого образования.

Бедную память ребенка истязуют, загромаждают кучею ненужных чисел, сонмищами безразличных, мелочных, никуда не ведущих и ничего не объясняющих фактов. Диво ли, что после такого ежедневного бичевания человек делается неспособным к принятию самой простой истины, как скоро только она переходит за пределы мертвой буквы. Ребенок видит в саду цветок; он хочет знать его составные части, хочет добиться до законов его питания, прозябания... Увы! тут стоит величаяя фигура педагога, гласящего ему: поди-ка лучше возьми в руки историю г. Фолькера: там ты увидишь, что «Кекропс, из Египта, научил греков земледелию; Кадм, из Финикии, искусству писать; Данай, приехавший в Грецию, был также Египтянин, и Пелопс, от которого Пелопонез (ныне Морея) получил свое название, прибыл из Малой Азии».

Спрашивается: что это такое? что такое Данай, который приехал из Египта, и Пелопс, который прибыл из Малой Азии? и что такое вся история г. Фолькера, как не афишка, на которой без разбора и системы напечатаны имена актеров?

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВОЕННОМ КРАСНОРЕЧИИ. Составил П. Лебедев. С.-Петербург. 1847  
Небольшая брошюра г. Лебедева содержит в себе несколько замечаний об истинном характере военного красноречия. Между прочим, в ней показывается, как иногда несколько слов красноречивого полководца, удачно и вовремя высказанных, бывает достаточно для того, чтоб двинуть на смерть целые массы людей. Доктор Крупов, пожалуй, нашел бы в различных чертах воинского героизма и самоотвержения, приведенных в брошюре г. Лебедева, немаловажный аргумент в подтверждение остроумной своей теории, – но кто же не убежден вполне, вместе с автором, что такие черты «облагороживают человечество, возносят душу над мелочами обыкновенной жизни»? Ведь надо весьма и весьма высоко стоять над мелочами обыкновенной жизни, чтобы по слову полководца пренебречь всем, принести в жертву всё: и семью, и имущество, и... даже собственную жизнь! Только воины способны стать на такую недостижимую высоту; только им – первостепенной красе и олицетворенному могуществу народа, вполне доступно такое необыкновенное самоотвержение! Что же касается до так называемых мирных граждан, то они – дело известное – редко умеют стать выше стремлений личного эгоизма... Для того чтобы сделать из самоотвержения свою специальность, надо иметь особо устроенный организм: не всякий может возвыситься до той идеи, что природа создала нас не столько для того, чтоб быть людьми, сколько для того, чтоб быть воинами и гражданами...

К брошюре г. Лебедева приложено несколько замечательнейших речей и приказов. Между ними особенного внимания заслуживают отрывки из приказов Суворова. Читая их, невольно изумляешься тому искусству, с каким умел этот необыкновенный человек приспособлять свое красноречие к натуре русского солдата. Ясно видно, что эту натуру он изучил со всей подробностью, знал ее вдоль и поперек.

ЛОГИКА. Соч. профессора Могилевской семинарии Никифора Зубовского. Санктпетербург, в типографии Иверсена, в 8-ю д. л. 103 стр  
И в наше время существуют еще люди с наивным убеждением, что логика может научить человека мыслить. Вот хоть бы автор разбираемой нами книги: он даже признается, что ему «трудно понять», как некоторые люди осмеливаются отнимать у логики законное ее право, тогда как эти же самые люди не видят ничего смешного и невозможного в желании учить людей эстетическому вкусу. Скажем, однако ж, с своей стороны г. Зубовскому, что он очень ошибается, утверждая, что никому не кажется странным учить эстетическому вкусу. Разумеется, никто не находит ни невозможным, ни предосудительным изучение законов вкуса, никому не придет в голову назвать смешным стремление познать самого себя, привести в ясное сознание те законы, по которым человек мыслит, чувствует и действует, но учить мыслить, учить чувствовать... трудную задачу взяли вы на себя, г. Зубовский!

Научить человека, произвести в нем нравственный переворот может только долгая жизнь, долгий, часто тяжелою ценою приобретаемый опыт, но отнюдь не логика, не эстетика и т. д. Правильное, здоровое мышление вырабатывается в человеке непомерно долго и стоит невероятных усилий, упорной, настойчивой борьбы. Поверив же на слово г. Зубовскому, подумаешь, что стоит только взять его книгу, выучить ее от доски до доски наизусть – и будешь умен, будешь правильно мыслить. Все это происходит от того, что господа сочинители логик непременно хотят, чтобы наука их была полезною наукою, а уж под пользою бог знает чего не разумеют они! Конечно, если смотреть на логику, как на науку, имеющую предметом открытие критериума достоверности, то она, несомненно, будет иметь свое практическое

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru приложение, но эта-то, можно сказать, главная задача логики именно и ускользает от исследований близоруких ее атлетов, и наука поневоле делается сборником разных пустых формальностей и умственных гимнастических упражнений.

Посмотрим, однако же, каким образом г. Зубовский учит мыслить своих читателей.

Издавна, со времен Аристотеля, основателя формальной логики, последователи его признают одну только форму мышления – форму силлогизма. Что же такое силлогизм? Силлогистическая форма мышления, отвечают все логики, есть нечто иное, как извлечение из одного общего предложения, рассматриваемого как причина, как содержащее, предложения частного, принимаемого как следствие, как содержащее. Оба эти термина соединяются между собою третьим, который представляет их взаимное отношение. В самом определении силлогизма видна уже вся его несостоятельность, потому что общее предложение, на котором все зиждется, не может быть ничем другим, как произвольно взятою ипотезою. Вы хотите, например, узнать, смертны ли вы – силлогизм смело отвечает вам: человек смертен, вы человек; след., вы смертны.. Каким образом дошел он до сознания, что человек смертен – он и сам не понимает, хоть иногда и чудится ему, будто сквозь сон, что он узнал о смертности человека именно потому, что наверное знает, что и вы смертны, и Иван смертен, и т. д. Спрашивается: какое из двух сравниваемых предложений одно другое доказывает? и что такое самый силлогизм, как не бесконечный, безвыходный круг, в котором общее предложение доказывается частным и потом в свою очередь доказывает частное и т. д.

А угодно ли вам знать, каким образом человек достигает этих непреложных истин, которые ставятся потом в челе силлогизма и составляют основание и жизнь его?

На этот счет мы встречаем у Дюмон-Дюрвиля весьма поучительный анекдот. Несколько туземцев Новой Голландии собрались около утеса и свистали. Во время этого приятного занятия утес оборвался и, разумеется, передал их всех. Вы скажете, что все это произошло весьма естественно, что утес сорвался силою своей собственной тяжести, от уничтожения связи, соединявшей его до тех пор с горою.. Но ведь это говорите вы, материалист, а житель Австралии, глубокомысленный житель, сейчас воспользуется подмеченным явлением и не преминет сделать следующий силлогизм: «утес, – скажет он себе, – стоял крепко на своем месте; к нему подошли люди, начали свистать, и он обвалился; следовательно, стоя около утеса, никак не надо позволять себе свистать: иначе он обрушится и раздавит меня». И бедный житель Австралии, оцепленный этим силлогизмом, не смеет сделать свободного движения, отказывает себе в удовольствии свистать; для него предложение «не должно свистать у подножия утесов» уже делается, в свою очередь, общим предложением и разрождает из себя целые сонмища замысловатых силлогизмов.

Но бедные жители Европы строят иногда силлогизмы даже почище бедных жителей Полинезии. Нам случалось однажды слышать, как один господин весьма серьезно уверял другого, весьма почтенной наружности, но помирнее, что тот должен ему повиноваться, делая следующий силлогизм: я человек, ты человек, следовательно, ты раб мой. И смиренный господин поверил (такова ошеломляющая сила силлогизма!) и отдал тому господину всё, что у него ни было: и жену, и детей, и, вдобавок, остался даже очень доволен собою..

Г. Зубовский, в свою очередь, никак не хочет отстать в изобретательности от подобных господ и строит такого рода силлогизм: «Все люди смертны; все смертные существа телесны; следовательно, некоторые телесные существа суть люди». Отчего же «некоторые»? Логическая последовательность повелевает сказать: «все телесные существа люди». Следуя этой методе, можно с успехом построить даже и такой силлогизм: сапоги смертны; человек не сапог; следовательно, человек бессмертен.

Но г. Зубовский и против этого придумал различные предостерегательные меры. Он предлагает для руководства при упражнении в построении силлогизма бесчисленное множество гимнастических и стратегических подробностей, каким образом избегать силлогизмов плешивых, рогатых, лгунов, крокодилов и т. д. Он не спорит, что такой силлогизм, как, например, «человек есть земля («земля еси и в землю отыдеш»); но земля есть планета, следовательно, человек – планета», есть плешивый силлогизм, более приличный в устах суетного водевилиста, нежели в голове здравомыслящего человека; но спрашивается: чем же этот силлогизм хуже приведенного нами выше и утверждающего, что некоторые телесные существа суть люди?..

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
ГРИГОРИИ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОТЕМКИН. Историческая повесть для детей. Соч. П. Фурмана. В двух частях, с 20-ю картинками, рисованными Р. К. Жуковским. Санкт-петербург. В тип. военно-учебных заведений. 1848. Две части. В 12-ю д. л. В I 139, во II 151 стр

Не знаем, решительно не знаем, полезно ли детям чтение повестей, и в особенности исторических, подобных той, которую написал г. Фурман. Нам кажется, что с детьми особенно опасно шутить – а из всех шуток чтение повестей едва ли не самая негодная для ребенка. Мы можем представить себе, например, что чтение биографий Плутарха может принести пользу ребенку: там всякое слово – истина, каждая черта взята из действительности, так что ребенок, читая Плутарховых знаменитых людей, свыкается с жизнью и не только получает совершенно верные и здравые понятия о различных эпохах и странах древнего мира, но и для себя собственно извлекает весьма важный практический результат от этого чтения. Люди, с которыми знакомится он, – люди живые, люди с плотью и кровью, и если можно справедливо предположить, что общество, среди которого человек живет, может переработать его натуру, то точно такое же благодетельное влияние имеет на природу ребенка и чтение, подчиненное строгому выбору.

Поэтому мы никак не думаем отвергать пользу, которую могло бы принести сочинение г. Фурмана, если бы оно было хорошо задумано и исполнено. Но в том-то и беда, что автор впал в этом случае в ошибку, общую всем детским писателям. Писатели этого рода непременно хотят обращаться с детьми не как с людьми, а как с низшими организмами, немного чем повыше минералов. Они решительно не хотят понять, эти добрые люди, что дети, в своей, то есть приличной степени их развития, сфере, точно так же взрослые, как и самые взрослые; разница только в том, что одни начинают, а другие продолжают или кончают, и если некоторые знания неудобны для детей и несогласны с складом их ума, то это потому, что, по самой своей сложности, эти знания предполагают наличие других знаний, менее сложных, и что развитие человека требует постепенности и никогда не совершается скачками. Если вы будете толковать ребенку о свойстве души, когда он не знает ни на волос о свойствах предмета более ему близкого – о свойствах его брэнного маленького тела, естественно, что философия покажется ему пугалом, на которое он будет смотреть не иначе, как со страхом и отвращением. Из этого, казалось бы, должно вывести то прямое следствие, что ребенку не под силу философия, что ему не нужно набора слов о свойствах души и т. д.; но педагоги и знать ничего не хотят... В пылу своего варварского прозелитизма они во что бы ни стало хотят вдолбить ребенку несвойственную его возрасту науку, и на этот конец выдумывают для него другую философию, еще нелепее их ординарной – философию детскую. Странное дело! никто не требует от ребенка, чтоб он читал, не зная азбуки, а между тем всякий считает себя вправе навязывать ему понятия об обязанностях, о долге и т. п., чего он никак не понимает! Вот, например, г. Фурман издал детскую биографию Потемкина. Ну, кажется, отчего бы и не узнать детям жизни одного из знаменитейших людей времен Екатерины, особенно если жизнь эта хорошо рассказана?... Но г. Фурман никак не может упустить из виду, что дитя существо малое, неразумное, что ему, дескать, надобно легонькую историю и, главное, с нравственною приправой. Поэтому все сочинение его преисполнено моральных сентенций, и где Потемкин, по мнению автора, поступает хорошо – там так и говорится, что вот это, мол, хорошо, и этому надо подражать, а где встречается безнравственный поступок, там дети предупреждаются, что это, мол, безнравственно и что таким образом поступать не следует...

Автору очень хорошо известно, что взрослый человек отнюдь не возьмет себе примером для подражания ни Потемкина, ни другого, ибо взрослый человек знает, что обстоятельства жизни у всякого различны и своеобразны: поэтому г. Фурман и не претендует, чтоб книгу его читали взрослые, и заранее оговаривается, что это, дескать, повесть для детей... Для детей! Но какое право имеете вы заключать, что детям будет интересно читать вашу повесть, когда в ней действуют не живые люди, а какие-то образы без лиц, ходячие сентенции? Почему вы думаете, что если взрослому покажется диким, будто двенадцатилетний Потемкин не хуже любого сентиментального господина «крепко жмет руку матери от умиления при виде Москвы», то еще больше букою не покажется это ребенку? Какую пользу может принести детям ничего не говорящее рассуждение о дружбе (ч. II, стр. 7–10)? Какого, например, практического результата желает достигнуть автор своими анекдотами о разных кривых толках иностранцев про Россию? Приводим один из этих анекдотов:

«Другой (автор говорит об иностранцах, писавших о России), обедая однажды у Русского, слышал, как маленький сынок хозяина беспрестанно просил квасу, когда

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru отец его пил, говорил: и мне, папенька, и мне! и уверяет, что в России есть особенный напиток, который называется Нуменее».

Или:

«Третий заметил у Большого театра костры, у которых зимою, во время спектаклей, греются кучера и извозчики, говорит, что зимою в Петербурге бывает иногда так холодно, что топят улицы».

Право, поверить на слово г. Фурману, так выходит, что все иностранцы преглупейший народ; но, как справедливо замечает потом сам автор:

«Невежда похвалы малейшей не умалит, И то не похвала, когда невежда хвалит». И так, иностранцы могут быть покойны; только все-таки не понимаем, в какой мере полезны подобные анекдоты в детской книге.

А между тем намерение г. Фурмана, очевидно, было похвальное...

Издание чисто и красиво; к книге приложено двадцать рисунков г-на Жуковского, из которых некоторые сделаны весьма удачно.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ СУВОРОВ-РЫМНИКСКИЙ. Историческая повесть для детей. Соч. П. Р. Фурмана, в двух частях, с 20-ю картинками, рисованными Р. К. Жуковским. Изд. А. Ф. Фарикова. Санктпетербург. 1848. В тип. К. Крайя. В 12-ю д. л. 144 и 179  
СТР  
\*\*\*

СААРДАМСКИЙ ПЛОТНИК. Повесть для детей. Соч. П. Фурмана. Санктпетербург. 1847. В тип. Штаба Отд. Корп. Внутр. Стражи. Две части. В 12-ю д. л. 120 и 112 стр  
Еще г. Фурман и еще детская история! Не далее как в прошлом месяце мы говорили об одном детском произведении г. Фурмана, как вот являются на сцену еще две такие же книжки...

Если доселе существовало мнение, что плодовитость есть качество, исключительно принадлежащее французским романистам, г. Фурман делает это мнение совершенно неуместным. Он пишет и романы для взрослых, и повести для детей, не пренебрегает драмами, письмами из-за границы, переводит, компилирует –

И всем из своего пера  
Блаженство смертным разливает... –  
только не в том смысле, в каком сказал это Державин.

Два новые произведения г. Фурмана отличаются той же незамысловатостью, тем же приторным направлением, какими отличался и «Князь Потемкин», разбор которого был нами сделан в прошлом месяце. Г. Фурман решительно думает, что великие люди «в детстве действуют не так, как другие дети», а с особенною замысловатостью. Так, например, Суворов у него дичится людей, читает книжки, и в особенности любит Квинта Курция, Юлия Цезаря, Корнелия Непота, Монтекукули и пр. Да это, право, престранный ребенок: он сам очень хорошо знает, что будет впоследствии генералиссимусом, и потому, не тратя много времени, исподволь приготавливается к этому сану! Но всего забавнее мнение г. Фурмана о Суворове. Можете себе вообразить, что плодовитый автор видит в нем... кого бы вы думали?... шута! Читайте сами:

«А потому он решился прикрыть себя маской шутовства» (стр. 85).

И далее:

«Шутовство же Суворова носило на себе отпечаток великого гения, который взирает на земное с высоты, издевается над мелочами, почитаемыми слабыми умами величию и премудростью».

Хотя тут и говорится, что это шутовство означало отпечаток великого гения, но, очевидно, это сказано только для красоты слога. Итак, вся жизнь Суворова была шутовство; и Измаил, и Туртукай, и Нови – все это не более как шутовство!.. И мы до сих пор не знали этого!

Еще интереснее «Саардамский плотник». Тут говорятся такие речи, делаются такие

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
дела, что, право, было бы смешно, когда бы не было так грустно...

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ. Книга для чтения и для практических упражнений в русском языке. Составил К. К. Издал А. Картамышев. Одесса. В тип. Неймана и Комп. 1848. В 12-ю д. л. 80 стр

Занятия детей бывают такого двойного рода: во-первых, их сажают в класс, где они вытверживают заданные уроки. Учат их большею частью истории, географии, языкам и даже не пренебрегают при этом своего рода философией... детской. Когда дитя надлежащим образом вспотеет от долбления собственных имен, а также и от великих истин детской философии – начинается другой род занятий. Ребенка выпускают на волю: тут он вешается по заборам, бегает по двору, выкидывает ногами самохитрейшие курбеты и каждую минуту рискует сломить себе шею.. Не мудрено! оно так радо, так радо, бедное, бледное дитя, что ему позволили наконец сорваться с цепи, что его не преследуют ни Киры, ни Фемистоклы, ни Казань с кожевными и мыловаренными заводами, ни Харьков с университетом, ни Калязин без заводов и без университета, а просто на реке Волге, ни хронология, ни множество других пугал и кошмаров, составляющих истинное несчастье его маленького, крохотного существования... Оно право, тысячу раз право, вешаясь без устали по деревьям и рискуя сломить шею: на что ему жизнь, если она преисполнена Александрями Македонскими, Дариями, Царевкокшайсками и проч.?

Так думает дитя, но не так думают почтенные родители и поставленные от них опытные детские наставники. Для предупреждения всякого рода вешанья, шатанья и хлопанья в баклуши, они желают, чтоб ребенок и свободное время употреблял для себя с пользою... не лишнюю, впрочем, приятности. На этот конец придумано нового рода занятия, известное под именем детских повестей. Чтение этих повестей, по мнению почтенных воспитателей, приносит двойную пользу: во-первых, оно доставляет ребенку приятное времяпровождение (sic) и, во-вторых, научает его правилам чистой нравственности и добродетели.

Некто г. К. К. составил книгу, которой заглавие выписано нами выше. Из предисловия видно, что помещенные в ней прозаические рассказы, по крайней мере большая часть их, переведены г. К. К. из книги детского итальянского писателя Чезаре Канту – *Il Buon fanciullo* (Доброе дитя).

Большую часть детских книг (говорит г. составитель «Первоначального учителя»), имеющих целью нравственность, можно подвести под два разряда. Одни проповедуют ребенку сущую мораль, наставляют его в том, что он должен и чего не должен делать, превозносят добродетель, бранят пороки. Ребенок читает, верит проповеднику (потому что он старше и умнее его), но зевает и не чувствует сладкого трепета при имени добродетели, не приходит в ужас от порока, потому что он не видел их в лицо: они для него бесцветные, отвлеченные понятия – призраки.

Другие детские книги поступают иначе: они знают, что сухая мораль скучнее, и рассказывают детям какую-нибудь интересную для них путаницу о маленьких мальчиках и девочках, такие приключения, которые почти никогда не случаются на деле, которым, кроме детей, едва ли кто поверит и результатом которых почти всегда бывает следующий силлогизм:

1. Ваня сделал доброе дело.

2. Его похвалили, купили сластей и игрушек, подарили обновку и т. д.

1. Ваня сделал недоброе дело.

2. Его наказали, не дали ни сластей, ни игрушек, не подарили обновки и т. д.

Следовательно, делать добро очень выгодно и нет никакого расчета быть недобрым.

Совершенно справедливо. Мы сами не раз высказывали эту мысль и восставали против такого направления детской литературы. Но вместе с тем мы были всегда убеждены, что это конфетно-нравственное направление до тех пор будет душить юные поколения, пока будут существовать на свете так называемые детские повести. Мы полагали, что самый тот факт, что подобные повести существуют, влечет за собою, как необходимую принадлежность, сухую, безжизненную мораль.

Судя по предисловию г. К. К., мы увидели, что ошибались и что сочинитель вознамерился поправить дело, то есть сделать лучше других. Посмотрим, как он

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) взялся за это.

В предисловии говорится между прочим, что девизом Чезаре Канту, при составлении книг для детского чтения, было известное правило Агезилая: «Учите детей тому, что они должны делать, когда будут людьми». Премудрое правило! Другими словами, оно означает: «Всякий наставник должен иметь в виду раскрытие способностей ребенка с целью полного и гармонического их развития посредством воспитания». Нельзя было придумать более практического и полезного правила! Взглянем, как он исполнил задуманное дело, что должны, по его мнению, делать взрослые люди.

Во-первых, он каждый класс рассказывает детям небольшие повести. «Нравоучение, – говорит г. К. К., – не является в них пошлою надписью, приклеенною к конфетке или к игрушке...» Похвально!

Во-вторых: окончив рассказ, он предлагает детям вопросы: надобно ли следовать этому примеру? надобно ли избегать его? Что бы вы думали в таком случае? Как вы находите: хорошо или дурно поступил этот человек?

Вот это как будто уж и не совсем ловко... С одной стороны, в повести нет «пошлой нравоучительной подписи», а с другой – надобно ли следовать этому примеру? Хорошо или дурно поступил этот человек?... Автор не видит в этих вопросах конфетной морали, а мы, признаться, сильно подозреваем ее. Вред не в том, что нравственная сентенция написана в книге, а в том, что она заводится в голове ребенка. Вы спрашиваете его: хорошо или дурно поступил этот человек? Но сперва надо знать, какое действие называется хорошим и какое дурным. Надо, следовательно, определить ребенку понятия зла и добра. А что такое зло, что такое добро? где вы найдете мерило тому и другому? и что же вы говорите нам в предисловии, что повести ваши не имеют в виду силлогизмов, подобных тому, над которыми вы сами так остроумно посмеялись в своем предисловии? Разве результат ваших вопросов не тот же самый?

Но вы оговариваетесь, вы объявляете, что «не теряете никогда из виду нравственной цели», а только избегаете того, что «называют обыкновенно моралью». Что за странное различие! Какая же разница между нравственной целью и моралью? Мы полагали, что это одно и то же; мы именно думали, что и то и другое состоит в желании навязать кому бы то ни было – ребенку или взрослому человеку – известную, раз навсегда придуманную мерку действий для всех случаев его жизни. С этой-то точки мы и доказывали не раз бесполезность так называемых нравственных повестей, потому что причина всякого действия человека находится, во-первых, в самом его организме, во-вторых, в окружающей его среде, а отнюдь не в наперед заданном правиле поступать так или иначе... Сколько ни задавайте правил, как ни стегайте нравственность человека, действительность все-таки возьмет свое. Возьмем на выдержку один рассказ из книги г. К. К.

Мой дедушка

Всякий год, когда, после каникул, я собирался отправиться из деревни в город, чтоб снова приняться за ученье, – дедушка мой брал меня в свою комнату и насыпал там мой кошелек мелкими деньгами, назначенными на мои маленькие издержки – на покупку книги или на честную (?) забаву. После того он мне говорил:

«Дитя мое, ты начинаешь жизнь, а я ее почти кончил. Когда ты воротиться домой, бог знает, застанешь ли ты меня в живых. Но что бы ни случилось, благословим бога, который все устроил для нас к лучшему. Когда ты будешь вдали от меня или когда я умру – оставайся всегда таким, каким ты желал явиться в моих глазах; когда ты будешь готовиться сделать что-либо, подумай об этих четырех вещах: бог меня видит; как бы мне показался этот поступок, если бы его сделал другой? – что было бы, если бы все то же делали? – что бы сказал дедушка, если бы он это видел?»

Потом он заставлял меня стать на колени... При одном воспоминании об этом слезы навертываются у меня на глазах. Будто вчера, я его вижу, этого превосходного старика, вижу эти глаза, поднятые к небу, эту обнаженную голову, эти дряхлые руки, которые осеняли меня благословением.

Мне казалось, что это благословение делало меня сильнее и способнее ко всему хорошему. Казалось, сам бог говорил со мною этими устами. Его советы врезались навсегда в мое уме, и если представлялся случай к доброму делу, я говорил:

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
«Если я сделаю это, дедушка благословит меня».

Да скажите же на милость, не та ли же это ординарная мораль, которую напичканы все детские повести? Не та ли же система вознаграждения, ожидающего впереди за доброе дело? То же, решительно все то же, только, вместо сластей и обновок, будет дедушкино доброе слово – и дети, конечно, останутся в совершенном накладе...

Так, по-вашему – скажут, может быть, нам нужно давать детям читать повести, писанные для взрослых? По-нашему, ответим мы, не нужно вовсе читать ребенку повести. Предмет всякой повести – явления мира совершенно недоступного для детского ума, потому что явления эти так сложны, что не могут быть понятны для этого только еще вполовину сформировавшегося существа. Весь организм ребенка обращен к феноменам мира чисто физического, – почему? потому что феномены эти по простоте и независимости одни только и доступны его пылливому уму, потому что никто не может читать, не выучившись наперед азбуке, никто не может бегать, не научившись наперед твердо стоять и ходить по земле.

Поэтому, какова бы ни была повесть, она положительно бесполезна для ребенка: детская повесть, по неизбежно связанному с ней конфетно-моральному направлению, а повесть, писанная для взрослых, – по недоступности своей для детского ума.

А ребенок между тем ничего не делает, ничего не знает, и когда из ребенка делается юноша, он не может ступить твердо на землю; ноги не ходят, руки не поднимаются, голова трещит!

К книге приложено несколько русских стихотворений и «несколько слов о преподавании грамматики».

ПОДАРОК ДЕТЯМ НА ПРАЗДНИК. С восемью картинками. Санкт-петербург. 1848. В тип. Глазунова и Коми. 95 стр

Мы сейчас высказывали свое мнение насчет бесполезности так называемых «детских» повестей, и в настоящем случае считаем совершенно излишним распространяться о «Подарке детям к праздникам». В подтверждение, однако ж, того, что и «Подарок детям» нисколько не выходит из ряда обыкновенных детских сборников с нравственным «перчиком», скажем, что в нем героем является добродетельный мальчик Лукаша, что в нем находятся нравоучения вроде следующих: кто заодно с вором, тот сам себе враг, и подвизающийся во лжи стремится к своей гибели, и что, наконец, одна из повестей, его составляющих, именуется – «Похвалою добродетели». Из всего этого особенно полезный результат в деле воспитания должны, по нашему мнению, оказать выписанные нами нравоучения.

РАССКАЗЫ ДЕТЯМ ИЗ ДРЕВНЕГО МИРА. Карла Ф. Беккера. Перевод с немецкого седьмого издания. Три части. Санктпетербург. 1848. В тип. Фишера. В 16-ю д. л. В I–VI и 388; во II–412, в III–374 стр

Беккер давно уже известен русской публике своею всемирной историей, о которой мы не раз имели случай говорить по мере появления ее в русском переводе. Изданные ныне г. Экертом «Рассказы детям из древнего мира» заключают в себе «Одиссею» и «Илиаду» Гомера, приспособленные к детским понятиям, и несколько мелких рассказов.

Без всякого сомнения, ничто не дает столь полного и отчетливого понятия о древнегреческом мире, как бессмертные поэмы Гомера. В них древняя Греция выразилась всеми сторонами своей разнообразной и богатой великими результатами жизни, с своею религией, с своими общественными отношениями, нравами и обычаями. У Гомера встречаются также указания на географическое и статистическое положение стран того времени – указания столь редкие в других памятниках, оставленных нам древностью. Поэтому каждое слово Гомера имеет для нас великую цену; часто один его стих дает более ясное понятие о древнем мире, нежели целые томы ученых изысканий.

В особенности же для юношества полезно чтение Гомера, который представляет собою не только богатый источник для изучения древнегреческого мира, но полезен и в отношении к образованию в юноше эстетического чувства. В самом деле, нет более просветляющего, очищающего душу чувства, как то, которое ощущает человек при знакомстве с великим художественным произведением. Разумеется, осязательной, непосредственной пользы от этого знакомства не может быть, но и смешно было бы под словом «польза» разуметь исключительно один материальный, наглядный результат. Разве не великая для человека польза в том, что художественное

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) произведение приводит его к сознанию собственных его сил, что оно вызывает их, возбуждает к деятельности и открывает ему новый, необъятный мир, который до того времени оставался незатронутым, незамеченным и ждал только первого толчка, чтоб выйти из косного своего состояния. Нам ответят, может быть, что в этом отношении чтение Гомера не может принести ожидаемых результатов, потому что поэмы его заключают в себе выражение жизни греческой, жизни отдаленной и чуждой нам, которой образ и условия были совершенно отличны и даже радикально противоположны современным; но это возражение будет крайне несправедливо, потому что множественность выражения и условий жизни нисколько не предполагает множественности самой жизни. Напротив, понятия условий жизни и ее выражения всегда должно тщательно отличать от понятия самой жизни. Первые непостоянны, изменчивы; последняя всегда и везде неизменна и едина. Два человека ощущают какую-нибудь однородную потребность; один из них имеет все средства к ее удовлетворению, другой лишен их; первый удовлетворяет себя спокойно и легко, второй прибегает к насилию, может быть, к преступлению, чтобы доставить себе желаемое благо. Тут только способ удовлетворения потребности различен, а самая потребность, самое желание одинаковы и в том и в другом случае. Точно то же и с жизнью; нужно только уметь различать случайное и условное от истинного и постоянного, которое заключается в законах самой природы человека, всегда и везде одинаковой.

Грек Гомера младенец: в нем виден скорее богатый зародыш человека, нежели самый человек. Он сам еще не сознал великой мощи своих сил, и от этого над всею его жизнью тяготеет неотвратимый фатум. Отсюда беспрестанное, непосредственное участие богов во всех действиях человека; отсюда все великое ведет свое начало прямо от них и все герои считаются в общем мнении потомками бессмертных. Человек как будто стирается и безотчетно жертвует всею своею личностью в пользу другой, высшей личности.

Это явление встречается, впрочем, не у одних греков: оно повторяется и у других младенчествующих народов с поразительным сходством. Остатки его можно даже видеть в современных обществах, менее других испытавших на себе благодетельное влияние цивилизации.

Но, несмотря на эту неполноту жизни грека, какое богатство сил, какое разнообразие стихий! Все заставляет предчувствовать в этом младенце будущего человека – человека полного, со всеми его страстями, со всеми пороками и добродетелями. Что нужды до того, что человек этот будет называться французом, германцем, русским, а не греком: грек все-таки навсегда останется прямым его родоначальником. И Гомер, как великий художник, во всей полноте и ясности постиг современного ему человека: оттого-то именно все его образы так живы и определены, что он, по счастливому выражению Гнедича, [1] не описывает предмета, а как бы ставит его перед глаза.

Но для того, чтоб изучение Гомера могло принести юноше ожидаемый результат, нужно читать Гомера не в переделке, не в приноровленном к известной цели переводе, а в самом подлиннике или переводе подстрочном, в котором тщательно были бы сохранены все особенности, весь характер поэмы.

Покойный Гнедич очень хорошо понимал это, когда, по поводу предположения о введении изучения Гомера в круг предметов для воспитания русского юношества, писал следующие замечательные строки: «Но древняя тьма лежит на роцах русского ликея. Наши учителя до сих пор головы Гомеровых героев ненаказанно украшают перьями, а руки вооружают сталью и булатом. И мы, ученики, оставляемые учителями в понятиях о древности совершенно превратных, удивляемся, что Гомер своих героев сравнивает с мулами, богинь с псицами; сожалеем о переводчиках его, которые такими дикостями оскорбляют вкус наш. Надо подлинник принаравливать к стране и веку, в которых пишут». (Слова, напечатанные курсивом, принадлежат английскому писателю Попу, сделавшему вольный перевод Гомера.)

Покойный Гнедич имел в этом отношении самые здравые и правильные понятия и своим превосходным переводом «Илиады» осязательно доказал всю несообразность мнения о принаравливании классических творений старины к понятиям известной страны и эпохи. Всякое произведение духа неотъемлемо носит на себе печать своей страны и своего времени, и если бы пришлось к «Илиаде», например, применять этот удивительный процесс принаравливанья, не знаем, осталось ли бы что-нибудь от нее...

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Главный характер «Илиады» составляет, как мы уже сказали выше, вмешательство богов в судьбы обществ, так что люди как будто только и существовали в той мере, в какой было на то соизволение верховных владык. В наше время подобное уничтожение своей личности показалось бы странным и непонятным; но следует ли из того, чтоб оно было точно так же странно и во времена древней Греции? По нашему мнению, великую услугу для русского юношества оказал бы тот, кто издал бы Гнедичев перевод во всей полноте, предпослав этому изданию дельное предисловие, в котором объяснил бы историческое значение «Илиады», устройство обществ того времени, а также смысл греческих мифов, без уяснения которых всякое изучение древнего мира является делом решительно невозможным и бесполезным.

Все, что мы до сих пор сказали о пользе изучения Гомера, относится, собственно, только до юношества. Что же касается детей, тут дело принимает совершенно иной оборот. Для них чтение Гомера в подстрочном переводе невозможно; во-первых, надобно было бы некоторые места поэмы выпускать по несоответственности их содержания с детским возрастом; во-вторых, ни «Илиада», ни «Одиссея» решительно недоступны в целом для понятий ребенка. Мы уж несколько раз имели случай высказывать свои мысли насчет вреда, оказываемого на воспитание детей по преимуществу царствующим в нем спекулятивным элементом, и по поводу появления рассказов из «Одиссеи» в «Новой библиотеке для воспитания», издаваемой Г. Редкиным, говорили, [2] по каким причинам считаем их несовместными с детским возрастом. В самом деле, составители подобного рода сочинений, чувствуя свое затруднительное положение, всегда бывают принуждены выпускать из рассказа то, что, собственно, составляет силу и характер поэмы и что между тем действительно, по некоторым обстоятельствам, не пригодно для детей. Результатом всех этих общипываний великого произведения остается только бездушный остов, одна сказка, а то, что было за этой сказкой, исчезает невозвратно.

До сих пор мы показали только бесполезную сторону усилий приноровить Гомера к детским понятиям; но вот оказывается и нечто большее. В основе поэм Гомера всегда лежит чудесное; чудесное, поставленное на своем месте, оставленное известными обстоятельствами и понимаемое как выражение духа страны и эпохи, принимает должные размеры и под конец делается весьма и весьма объяснимым. Но не так бывает с детьми. Ум их, по природе наклонный к чудесному, на нем одном только и останавливается с охотой и все сверхъестественное принимает за наличную монету, так что из всей поэмы Гомера, может быть, оно одно только и привлечет ребенка. Отсюда наклонность к мечтательности, которую надобно бы сдерживать в благоразумных границах, приобретает, напротив того, самые гигантские размеры, и ребенок, сделавшись со временем мужем, является человеком, неспособным заниматься интересами близкими и действительными, и целый век блуждает мыслью в мечтательных мирах, созданных его большою фантазией. Да не обвинят нас в преувеличении: обстоятельство, о котором мы говорим, так тонко, так незаметно, что его не увидишь сразу; оно издали и втихомолку подкрадывается и сосет все существование ребенка, но тем сильнее будут его последствия!

Переводчик Беккера, однако ж, не совсем одинакового с нами мнения на этот счет. Он даже «не сомневается в пользе предприятия Беккера» касательно приспособления к детским понятиям «Одиссеи» и «Илиады». Он уверен, что только «одно педанство протекшего времени видело в этом труде святотатственное прикосновение к бессмертным песням божественного певца». Что касается до нас, то мы, разумеется, не находим тут «святотатственного прикосновения», так как не находим его ни в чем и нигде; но уж, конечно, не можем не видеть в подобных переделках прикосновения совершенно бесполезного.. Впрочем, у всякого свое мнение; у нас свое, у переводчика свое: надобно только оправдать чем-нибудь это мнение, надобно, чтоб мнение перестало быть мнением, а сделалось истиной. Посмотрим, в какой мере переводчик оправдывает свое положение насчет «педанства протекшего времени».

И, во-первых, каким образом передает Беккер Гомера? На этот раз передаватель, поставленный в самое ложное положение тем, что имеет дело с детьми, оказывается совершенно несостоятельным: многое выпущено, многое изменено, а все оставленное совершенно бесцветно. Выпущены, например, все сцены любви, которая, как известно, у Гомера всегда выражена во всей своей наивной простоте и ничем не прикрыта.

Кто из читавших «Илиаду» не помнит той сцены, когда Елена, пришедшая укорять Париса за бегство его с поля битвы, по одному его слову внезапно склоняется на его просьбы и уступает его желаниям?[3] У Беккера это заменено словами: «пока

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) они так говорили». А сцена любви между Зевсом и Герой, когда она, желая соблазнить Громовержца, для того чтоб подать помощь ослабевающим Афинянам, и выманив у Афродиты ее волшебный пояс, с помощью его и бога Сна опутывает Зевса чарами любви и усыпляет его? Скажите нам, где эти стихи:[4]

Гера-супруга, идти к Океану и после ты можешь.  
Ныне почием с тобой и взаимной любви насладимся!  
Гера, такая любовь никогда ни к богине, ни к смертной  
В грудь не вливалась мне и душою моею не владела!  
Куда девалось все это в вашей бледной переделке? У Гомера все истинно, все дышит негой и роскошью жизни; у вас все натянуто и бледно...

Не говорим, зачем эти переделки; они необходимы в детском издании «Илиады», но спрашиваем, к чему это издание, когда в нем нельзя обойтись без переделок?

Гектор идет в бой; супруга его, Андромаха, молит его остаться с нею. Просьба эта проста и трогательна до бесконечности. В ней выражено все беспомощное состояние Андромахи, вся нежность ее к Гектору; так и видишь, что с потерей его рухнет для нее лучшая часть из ее существования. Вот два стиха из этой просьбы:

Гектор! ты все мне теперь, и отец и любезная мать,  
Ты и брат мой единственный, ты и супруг мой прекрасный!  
Беккер передает это таким образом: «ты для меня отец, мать и братья; без тебя нет мне утехи». Неужели это одно и то же?

Но всего яснее бесцветность переделки оказывается в ответе Гектора. Вот как передал нам его Гнедич:

Ей отвечал знаменитый, шеломом сверкающий Гектор:  
Все и меня то, супруга, не меньше тревожит, но страшный  
Стыд мне пред каждым Троянином и длинноодеждой Троянкой,  
Если, как робкий, останусь я здесь, удаляясь от боя,  
Сердце мне то запретит; научился быть я бесстрашным,  
Храбро всегда, меж Троянами первыми, биться на битвах,  
Доброй славы отцу и себе самому добывая!  
Твердо я ведаю сам, убеждаясь и мыслью и сердцем,  
Будет некогда день и погибнет священная Троя,  
С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама.  
Но не столько меня сокрушает грядущее горе  
Трои, Приама родителя, матери дряхлой Гекубы,  
Горе тех братьев возлюбленных, юношей многих и храбрых,  
Кои полягут во прах под рукою врагов разъяренных,  
Сколько твое! как тебя Аргивянин, медью покрытый,  
Слезы лиющую в плен повлечет и похитит свободу!  
И, невольница, в Аргосе будешь ты ткать чужеземке.  
Воду носить от ключей Мессеина иль Гипперея,  
С ропотом горьким в душе, но заставит жестокая нужда!  
Льющую слезы тебя кто-нибудь там увидит и скажет:  
Гектора это жена, превышавшего храбростью в битвах  
Всех конеборцев Троян, как сражались вокруг Илиона!  
Скажет, и в сердце твоём пробудится новая горечь:  
Вспомнишь ты мужа, который тебя защитил бы от рабства!  
Но да погибну и буду засыпан я перстью земною,  
Прежде чем плен твой увижу и жалобный стон твой услышу!  
Рек и сына обнять устремился блистательный Гектор;  
Но младенец назад, пышноризою кормилицы к лону  
С криком припал, устращаясь любезного отчего вида,  
Яркою медью испуган, и гребень увидев косматый,  
Грозно над шлемом отца всколебавшийся конскою гривой.  
Сладко любезный родитель и нежная мать улыбнулись.  
Шлем с головы не медля снимает божественный Гектор,  
Наземь кладет его, пышноблестящий, и, на руки взявши,  
Милого сына целует, качает его, и т. д.  
Здесь каждое слово богатая картина; каждое выражение до того образно и рельефно, что тут по преимуществу место сказать, вместе с Гнедичем, что Гомер ставит предмет перед глазами. Посмотрим, в какой степени сохранен у Беккера высокотрагический и вместе с тем не оставляющий по себе на душе читателя никакого тягостного чувства элемент этой сцены:

«Могу ли я, милая жена? – возразил Гектор. – Не на мне ли лежит последнее упование города, не весь ли народ зовет меня на помощь? Не устыжусь ли я перед женщинами, видящими (когда они увидят) меня праздным зрителем на стенах? Конечно, и моя борьба напрасна; мне говорит дух (предчувствие?) мой: Н(н)астанет день и падет священный Илион, погибнет царь и весь его народ, опытный в боях! И тогда горе тебе, несчастная женщина, если гордый Ахейянин ответит тебя в Аргос... заставит пряхать для своей жены, носить воду из далекого ключа... а любопытные и безжалостные люди еще уставят на тебя глаза и станут говорить: это супруга Гекторова, она была важной, почитаемой царицей – когда-то (в то время), как надменный город еще стоял! О! Слышать это! Бедная женщина! А я уже не избавлю тебя от рабства – я глух буду к твоим стенаниям – могильный холм наляжет на мои кости».

Он перенес печальный взгляд от супруги к младенцу на руках няни(?). Но когда он (младенец?) протянул к нему объятия, дитя закричало и крепко прижало свою головку к груди служанки. «Он боится волос, что развеваются на шлеме», – сказала она. Отец тотчас снял шлем и положил (что?), и малютка весело стал смотреть ему в глаза и охотно пошел на руки. Гектор качал его взад и вперед с нежным восхищеньем отца, давал ему поцелуи за поцелуями и т. д.

Какая бесконечная разница между этою безжизненной, вялою прозою и глубоко потрясающим стихом Гнедича! Спрашиваем опять: зачем передавать Гомера, когда знаешь наверное, что нельзя сохранить при этом характера поэмы? Нет, видно, форма великое дело!

Богини у Беккера, разумеется, нигде не называют друг друга псицами, но взамен того, наподобие уездных кумушек, выражаются следующим образом: «Окажешь ли ты мне услугу, моя дочурочка», или: «Одолжи мне твой волшебный пояс». Это, извольте видеть, разговаривает Гера с Афродитой. Смертные выражаются еще чище: «Фи! кто, право, бесит меня за себя и за всех нас!» – говорит Эвримах, один из женихов Пенелопы, а сама Пенелопа следующим высокосветским тоном обращается к старой Эвриклее, принесшей ей весть о возвращении Улисса: «Душенька, ты не шутишь? Душенька, скажи правду» и т. д.

Из приведенных нами отрывков читатель ясно видит, что переделка Беккера ни в каком случае не познакомит детей с Гомером. Но, может быть, она знакомит их с греческим миром, с мифологией Греции, с историей ее? Что касается до истолкования греческих мифов, то, действительно, толкование это есть, и даже довольно оригинальное, но мы скажем об нем, когда дойдет дело до 3-й части «Рассказов». Насчет характера того времени у автора имеется также своего рода воззрение... детское. Приведем пример:

Итак, только теперь, после многих доказательств дружбы, ласк, и по радушном угощении, хозяин (Алкиной – царь феокийский) захотел узнать имя своего гостя (Одиссея). Странно: у нас первым вопросом незнакомцу, входящему к нам в дом, бывает: с кем мы имеем честь говорить? А здесь, у народа, который в других случаях обнаруживает так много разборчивости в чувствах, мы встречаем совершенное равнодушие на этот счет! Не будем опрометчивы. Именно в этом обуздании пустого любопытства и заключается истинное знание приличий, и даже нежное, благочестивое чувство, которое в нас, людях нового времени, совершенно почти подавлено умствованиями рассудка.

Странно, скажем и мы! Из того, что мы у незнакомца, приходящего к нам, спрашиваем, кто он таков, заключать, что в нас «умствованиями рассудка подавлено нежное, благочестивое чувство»! И притом, что за удивительная мысль проводить параллель между древним и новым человеком! Тогда были одни условия жизни, теперь другие – тут разница бесконечная! Но еще страннее ставить своим современникам древних как пример для подражания в отношении к знанию приличий! Да и к чему это детям? Неужели автор не шутя желает, чтоб они следовали древним в обращении и учтивости?

Далее, продолжая следовать своей методе сравнения друг с другом таких положений, между которыми не может быть никакой параллели, автор говорит, что «в древнем мире не было ни городов с великолепными улицами и зданиями, ни домов пышно и со вкусом меблированных, ни дам, ни мужчин в щегольской французской одежде (еще бы!), ни цехов, ни ремесел, ни министров, ни чиновников, ни офицеров, ни профессоров, ни перьев, ни чернил, ни вилок, ни ножей, ни щипцов!!»

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) – и потом прибавляет: «Нужно было долго ждать, пока один народ перенял у другого все изящное и прекрасное, чем мы теперь вдоволь пользуемся». Следовательно, и мужчины (не называем дам), и чиновники, и офицеры, и профессора – все это принадлежит к тому «изящному и прекрасному, чем мы теперь вдоволь пользуемся»? Это что-то ново; мы полагали до сих пор, что звания чиновников, офицеров и профессоров только полезные; Беккер объявляет нам, что они вместе с тем и изящные звания.

Характеризуя отношения людей той эпохи между собою, автор выражается так: «Представьте себе их взрослыми детьми без различия положений; единственной разницей между ними была многочисленность стад и пространство полей, а отличались они только лично храбростью и умом». Разница хотя единственная, но все-таки до того значительная, что, при наличности ее, нельзя оправдать слова автора: «без различия положений». Ведь и в наше время люди разнятся только материальными средствами жизни, умом и силою.

В третьей части сочинения Беккера помещено несколько мелких рассказов из древнего мира. Рассказы эти могли бы быть и полезны и занимательны, если б не странный выбор, не странные толкования...

Неужели автор ничего не мог выбрать из всей истории древнего мира лучше рассказа о борьбе Язона с циклопами, истории фракийского царя Финея, которого пищу гарпии «покрывали такими гадкими нечистотами, что он с отвращения принужден бывал уходить прочь»? И какого результата может достигнуть автор рассказом о подвигах Геркулеса, кроме бесплодного возбуждения детского воображения самыми уродливыми и чудовищными картинами? Все это хорошо на своем месте, но уж, конечно, не для детей. Вы говорите, что эти рассказы приятно займут их (том III, стр. 176), но мало ли что для детей приятно?..

Кроме этих фантастических рассказов, в третьем томе блистает известная история амазонок, которым, по словам автора, «жизнь казалась тяжкою мукой», оттого что они были лишены «общества и покровительства мужчин», и которые «беспреданно бегают по берегу моря», тщетно придумывая средства, «откуда взять мужчин». Дитя совершенно вправе сделать вопрос: на что им так нужны мужчины?.. Рассказана также история Эдипа, история происхождения Кастора и Поллукса, которые родились вследствие того, что Зевс, под видом лебедя, по выражению автора, «поиграл» с купающеюся Ледою.. И все это так голо, так небрежно рассказано!

Что касается до толкования греческих мифов, то Беккер решительно не хочет видеть в них никакой скрытой мысли, а просто-напросто принимает их, как наличную монету. Так, по мнению его, жил-был на свете добрый малый Прометей, который, действительно, изобрел огонь.. Автор не только не видит в этом мифе замечательной скрытой мысли, которой он служит только оболочкою, но еще и распространяется об услуге, оказанной Прометеем. Миф Прометея, действительно, оказал большую услугу, только не в этом роде. Точно так же натуральною и правдоподобною находит Беккер сказку о похищении орлом Ганимеда..

Весьма любопытен, сверх того, взгляд автора на древнюю поэзию и на теорию поэзии, изложенный в кратком диалогическом предисловии. Вот некоторые образчики; дело идет о том, что такое был поэт в древности.

«Ах, это точно как импровизаторы, – вскричал Юлий, – о которых папенька недавно рассказывал за столом (?), что они могут на какую угодно задачу сделать прекрасные стихи и прямо, без всякого запинания, говорить или петь их целое полчаса».

«Именно так, – отвечал учитель, – и этому, разумеется, очень редкому дарованию обязан Гомер своей славою, а при жизни, вероятно, и пропитанием».

Именно так! скажем и мы в свою очередь, представляя себе этого доброго Гомера, болтающего без умолку полчаса и этой механической деятельности языка обязанного своею славою. Но будем продолжать выписки.

Художественные произведения других отличных поэтов подвинули философов – вы знаете, тех людей, которые вечно размышляют, доискиваются как? и почему? и которых можно назвать анатомиками ума и души – приняться за дело, и из различных родов стихотворений вывести Теорию.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
– что это значит? – спросил Вильгельм.

– Помнишь, что я недавно сказал (говорил) тебе о книге, которая лежала здесь на столе.

– Вы мне сказали, что она указывает, что нужно делать, если хочешь научиться плавать.

– Видишь, я все равно мог бы сказать (это все равно, что если бы я сказал): в ней списана теория плавания. Понимаешь ли теперь, что такое теория?

Ребенок, разумеется, понял! Итак, теория поэзии, по мнению Беккера, есть «собрание правил для такого-то искусства или занятия», или иначе: «она указывает нам, что нужно делать, если хотим научиться плавать»... то есть писать стихи, хотели мы сказать. Странно, однако ж, отчего же на свете так мало Гомеров?

Перевод сделан довольно небрежно, и видно, что г. Экерт не совсем хорошо владеет русским языком. Встречаются, например, такие выражения: «он будет вынесен нагим трупом из своего дома» («Одиссея», стр. 21), вместо: труп его будет вынесен нагим, или нагой, и т. д.; или: «на зверской трапезе он опорожнил бадью молока» (*ibid.*, стр. 122), или: «другая его повадка» (том 3-й, стр. 144); или: «я не могу засчитать тебе те работы» (*ibid.*, стр. 218), «я знал, что ты не гораздо накажешь меня» (*ibid.*, стр. 307)... И таких странных промахов бездна; в одном месте даже какой-то герой «Илиады» подсиживает другого героя...

Издание опрятно и дешево.

РЕЦЕНЗИИ 1863–1864 гг

НЕМНОГО ЛЕТ НАЗАД. Роман в четырех частях. Соч. И. Лажечникова. Москва  
Когда-то, тому очень давно, г. Лажечников написал три исторических романа. Публика с жадностью прочитала эти романы и осталась очень благодарна автору. После того г. Лажечников долго молчал, все собирался подарить публику «колдуном на Сухаревой башне», да так и не подарил; взамен того, в течение двадцати с лишком лет он написал три, не совсем удачных, драмы и нечто вроде воспоминаний под названием: «Черненькие и беленькие», которые также прошли незаметными. Ныне он является с новым романом в четырех частях.

Все это мы припомним для того, чтобы показать, что г. Лажечников человек уже не молодой, действующий в литературе с лишком тридцать лет; а если взять в соображение, что он же, до появления в свет «Последнего новика», написал еще воспоминания о 1812 годе, то, пожалуй, наберется и целых сорок лет литературной деятельности, большая половина которой сопровождалась замечательным блеском.

Несмотря на такой многолетний период времени, несмотря на то, что в течение этого периода много воды утекло, г. Лажечников всегда оставался верен самому себе, верен тем чистым и честным убеждениям, которые проходят сквозь всю его литературную деятельность. Пылкий и восприимчивый юноша двадцатых годов, восторженными красками изображавший любовь пламенного старца Волынского к цыганке Мариорце, он сделался пылким и восприимчивым старцем, восторженными красками изображающим радость по поводу разных предпринимаемых правительством мер для блага отечества.

Добро и зло, проходившие мимо него, не оставляли его равнодушным: первое встречало все его симпатии, второе волновало его. С этой стороны, г. Лажечников самая сочувственная молодому поколению личность из всей фаланги старых литераторов.

Мы не без намерения начали статью нашу воспоминанием о прошедшей деятельности г. Лажечникова, не без намерения обратились к его личности. Не в укор будь сказано критикам-эстетикам, современная русская критика, приступая к оценке произведений известного писателя, никак не может оставаться равнодушною к его личности или, лучше сказать, к тому живому нравственному образу, которого присутствие слышится в его произведениях. Может быть, это отношение критики к автору и не нормальное; может быть, оно и в самую оценку литературных произведений вносит известную долю пристрастия; может быть, оно даже отвлекает критику от прямой ее задачи и уносит совсем в другую сторону... все это очень и очень может быть. Но не надо забывать, что и вообще, и во всякое время критика современная не может быть критикою потомства, а тем менее это возможно в такое тревожное и горячее время, какое мы

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) переживаем. Что там ни говорите, а сфера изящного точно так же следует своим историческим законам, как и всякая другая сфера человеческой деятельности; и она подлечит историческим колебаниям, и она фаталистически следует за интересами жизни и не над нею господствует, не ей предлагает готовое содержание, но сама у нее это содержание вымалывает. Недаром же самые рьяные служители так называемого искусства для искусства наперерыв друг перед другом стараются заявить, что и им не чужды общественные вопросы; недаром же, в настоящее время, ни один роман, ни одна повесть не смеют появиться в свет без какой-нибудь хоть крошечной, хоть невызревшей социальной тенденции; стало быть, иначе нельзя. Но если сам автор считает невозможным не приурочить себя к тому или другому общественному направлению, если сам автор громко вопиет: не смешивайте меня вот с такой-то и с такой-то личностью – я вот кто, вот мои убеждения, вот мое нравственное или политическое я, то тем менее возможно обойти это обстоятельство критике. Производительные силы литературы находятся в тревожном и напряженном состоянии – весьма естественно, что эта тревога, эта напряженность охватывает и критика. Автор стремится показать свету все, что у него накопилось на дне взволнованной души, а также и все, чего там не накопилось, – критик не имеет ни малейшего права не сказать своего слова об этом накопленном и ненакопленном; он должен самому взволнованному автору разъяснить, почему одно накопилось, другое не накопилось. Тревожное время, тревожная литература, тревожная и критика. Конечно, нам могут указать на Шекспира, на Гомера – ну, да куда уж там с Шекспирами, когда мы имеем дело с гг. Тургеневым, Гончаровым, Писемским и проч. Указывать на Шекспира мог только Белинский, да и не по тому одному, что время, в которое он жил, было время шекспировское и интересы того времени были интересы шекспировские, но и потому, что он знал, как указать на Шекспира. Подите-ка, укажите таким образом, как указывал Белинский, – мы послушаем.

Следить за личностью автора по его произведениям дело очень интересное и поучительное. Иной вот так и сыплет либеральными речами, так и надрывается по поводу великих общественных болей – и все-то он врет, все-то он с чужого голоса раздражается. Критик совсем незнаком с автором лично, а видит, однако, что автор не своими словами с публикой беседует, – почему он видит? А потому что в критике (даже и в тревожном критике) есть тонкое некоторое чутье, которое поражается фальшью самую неприметную и заставляет его смотреть на отношения автора к описываемому им предмету с похвальной подозрительностью. Это тонкое чутье в сильной степени имеется и в публике: оно отнюдь не составляет монополии критика. Почему, например, так скоро потеряла кредит так называемая обличительная литература? А потому именно, что большая часть обличителей относилась к делу обличения неискренно; потому что между обличителями являлись большею частью такие личности, которые заливаются-заливаются всевозможными либеральными колокольчиками, да вдруг как гикнут... ну, и выйдет мерзость неестественная! «Эге! да вы гуси!» – скажет публика и бросит книжку под стол.

Вот эту-то драгоценную искренностью в замечательной степени обладает г. Лажечников. Он весь виден в своих произведениях; читая его, можно не соглашаться с его образом мыслей, можно даже находить его несколько наивным и отсталым, но нельзя не сказать: это писал честный человек; это писал человек, которому нечего скрываться и не для кого рядиться в шутовские одежды притворных радостей и своекорыстного скороудовлетворяющегося либеральничанья.

Например, г. Лажечников вполне уверен, что в настоящее время Россия представляет собой земной рай, – и я верю, что он искренно верит этому. Для него задачей всей его жизни, раем всех его помыслов было уничтожение крепостного права; как скоро событие это совершилось, то вместе с ним совершилась вся задача его жизни, вместе с ним опустился на землю рай его помыслов. Он начинает писать роман и, изображая в нем горькое недавнее, не только верит, что это недавнее прошло, но каждой строчкой, каждой буквой так и говорит читателю: «Счастливец! ты наслаждаешься!» Описывает ли он губернатора нерадивого, губернатора, не чуждого лихоимства, – он прощает ему, ибо таких губернаторов больше нет. Описывает ли он городничего своекорыстного, готового, из угождения начальству, сделать всевозможное мерзкое дело, – он прощает ему, ибо таких городничих теперь нет. У него добро всегда торжествует, а зло наказывается, потому что для него добро разлито в воздухе, добром полнится вся земля русская. Он пишет и умиляется. Про него и про новый его роман можно сказать то же, что Дант сказал про кого-то из живописцев старой итальянской школы: рука, писавшая этот роман, от умиления дрожала.

По всем этим соображениям, мы исполняем нашу обязанность критика по отношению к

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
г. Лажечникову весьма неохотно. Нам хотелось бы безусловно сочувствовать автору, нам хотелось бы, чтобы земля русская была преисполнена славою его имени, а вместо того приходится указать на некоторые ошибки, на некоторые увлечения.

Первою ошибкою нам кажется, что г. Лажечникову вздумалось писать роман нравоописательный. Быть может, мы и сами ошибаемся, но думаем, что такого рода роман ему не по силам. Его на каждом шагу смущают старинные традиции; он никак не может отделаться от старинных теорий построения подобных романов. Во-первых, изображаемые им лица разделяются на две половины: на добродетельных и плутов; добродетельные – добродетельны сплошь, плуты – плуты сплошь. Этого в природе не бывает. Природа благодетельна и предусмотрительна: она знает, что если бы злые люди были сплошь злыми, то они не только перекусали бы всех добрых, но даже пожрали бы самих себя. Что бы из этого вышло? род человеческий прекратился бы, и вместо радости, которой так радуется г. Лажечников, на земле царствовало бы безраздельное уныние. Природа этого не хочет и потому злодея наделяет некоторыми человеческими чувствами и слабостями, которые мешают ему пожирать самого себя, а добродетельного человека наделяет некоторыми человеческими заблуждениями, которые мешают ему обращаться в жидкость или надоедать своею добродетелью подобно мухе, сующейся и в нос, и в рот, и в глаза. Во-вторых, он наполнил роман свой секретами, и притом секретами столь прозрачными, что читатель приходит почти в озлобление. Так и хочется сказать всем этим добродетельным людям, которых надувают злодеи: «Да что же вы, простофили, зеваете?» – но простофили продолжают себе зевать да зевать и поселяют в читателе чувство самое мучительное. Это нет нужды, что читатель наверное знает, что под конец плутни все-таки раскроются: хочется, чтобы они раскрылись поскорее, и именно потому хочется, что очень уж они просты. Завихрись несколько г. Лажечников в вымыслах фантазии, поведи он читателя куда-нибудь в подземелье или даже в водосточную трубу, как сделал недавно Виктор Гюго, читатель остался бы доволен; он говорил бы: что-то из этого выйдет? как-то Вальжан вывернется из своего анафемского положения. Но г. Лажечников в вымыслах фантазии не завихривается, а потому препятствия, которыми он угощает своих героев в продолжение романа, кажутся лишь препятствиями к скорейшему прочтению романа и не возбуждают тревоги в читателе, но поселяют в нем скуку. В-третьих, он и наружность своих героев описывает как-то по-старинному. У него, если человек имеет сердце прекрасное, то и наружность его прекрасная; если человек имеет природу паскудную, то и наружность его паскудная. Не то что, например, нынешние психологи-беллетристы: «она, говорит, была не красива, но на затылке у нее были три волоска, которые говорили о природе и силе», или «с первого взгляда она не нравилась, даже руки у нее были несколько красны, но когда она смеялась, то брови ее как-то так поднимались, что невольно приходило на мысль: а! да ты с душком!» Вот так пишете, г. Лажечников, и мы скажем, что вы тоже писатель с душком, а то для добродетельных черные волосы с синим отливом и темно-карие глаза, а для злодеев – бесовские взгляды и носы в виде пуговиц! Вспомните лермонтовского Демона, г. Лажечников; уж на что, кажется, ядовитее и безнравственнее – а какой красавец!

Все это делает роман г. Лажечникова несколько вялым и, главное, мешает высказаться лучшему его качеству – искренности, которая хотя и проглядывает мельком, но остается на втором плане. Пиши г. Лажечников свои мемуары, он не был бы стеснен ни Патокиными, ни Опенкиными, ни Изумрудными Крестиками: он имел бы дело с одною искренностью и, конечно, доставил бы читателям чтение занимательное, а не обременительное.

Но расскажем самое содержание романа.

Мы в уездном городе Луковках; перед нами богатое купеческое семейство Патокиных. Патокины давние купцы в Луковках, а фамилия их очень уважается; отец того Патокина, который действует в романе г. Лажечникова, был прозван даже Патокиным-королем, – прозвище, которое, как известно, выражает в наших городах и высшую награду, и высшую лесть. Патокин-отец был человек мало образованный, но «щедрые дары природы: бойкий, светлый ум и необыкновенная энергия – вознаграждали его за недостаток образования». Характера он был необыкновенно твердого, но «под этою наружною броней билось сердце, готовое на всякое добро и помощь ближнему». Англичане про него говорили: такой негодичант сделал бы честь нашему отечеству. Русские царедворцы старого времени не гнушались его мнениями. «Не раз приглашаем он был высоким административным лицом на совещания по делам внутренней и внешней торговли, и не раз принимались его мнения, несмотря на шероховатость его речи, которую не простили бы другому». Ничего из этого, однако ж, не вышло; Патокину прощали шероховатость речи, а дел внутренней и внешней

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
торговли не поправляли.

Итак, Патокин-король обладал светлым умом, энергическим характером, чувствительным сердцем и шероховатостью речи. По-видимому, в старые годы таких энергических характеров было великое множество: по крайней мере, старинного покроя романы то и дело изображают перед нами то премудрых бурмистров, то вдохновенных купцов, то даже простых крестьян, одаренных «щедрыми дарами природы». По-видимому, и царедворцы внимали им: «Садись, брат, потолкуем!» – говорили они и, по окончании разговоров, жаловали собеседников своих рюмкой водки. Однако дело не спорилось – отчего это? Мы думаем, что это происходило от того, что старинным нашим царедворцам во всех этих «сынах природы» не столько нравились «щедрый дары природы», сколько шероховатость речи, а преимущественно «толстые инвалидные бумажники», которыми они обладали. Приедет в Петербург сын природы, покажет толстый инвалидный бумажник – отчего же не дать ему и погрубить малую толику? Можно. Тем более можно, что за этим наружным грубиянством всегда скрывалась внутренняя улыбка; «дети природы» грубили на том же самом основании, на каком старик Державин «истину царям с улыбкой говорил». Это было зрелище не только не огорчающее, но даже увеселяющее; все равно как если б явился какой-нибудь *grognon*[5] медведь, который стал бы доказывать, что медвежью породу не истреблять следует, а напротив того, поощрять и награждать. Разумеется, ради чудодейственности факта, его выслушали бы, а породу медвежью все-таки продолжали бы истреблять.

И еще на целый ряд мыслей наводят нас эти премудрые бурмистры, вдохновенные купцы и одаренные щедрыми дарами природы поселяне. Все они, по общему сознанию их изобразителей, люди, заменяющие образование шероховатостью речи. Обладая умом сообразительным и в высшей степени практическим, они полагают, что это качество делает образование совершенно ненужною и лишнею вещью. Такого рода самомнение свойственно почти всем людям русского мира; по крайней мере, мы встречаем его не только в мудрых бурмистрах и вдохновенных мещанах, но даже в мудрых и вдохновенных администраторах. По мнению этих администраторов, наука – вздор, человеческий опыт – пустяки, история – ряд засоряющих глаза человеческих заблуждений. От этого происходит множество самых пагубных последствий; во-первых, самомнение и непосредственно следующий за ним (когда опыт докажет, что это самомнение ни на чем не основанное) упадок сил; во-вторых, появление изобретений давно уже изобретенных, открытий давно уже открытых, новых истин давно уже сделавшихся старыми. Представьте себе, что некоторый вдохновенный администратор изобретает табличку умножения; правда, он дошел до этого собственным умом, правда также, что это не позволяет сомневаться, что он действительно одарен «щедрыми дарами природы», но ведь табличка умножения уже изобретена давно, ведь она уже составляет математическую азбуку... Администратору докладывают это, но он не приходит в отчаяние, он с новым рвением шествует по пути изобретений и изобретает... теорию уравнивания, которая также давно изобретена. И таким образом проходит вся жизнь этих талантливых людей, заменивших образование – шероховатостью речи, а науку – глазомером и сметкою. Мы думаем даже, что здесь заключается действительная причина того, что на Руси так много мудрых бурмистров, которые занимаются отыскиванием *perpetuum mobile*[6] и квадратуры круга. Повсюду либо азбучность детская, до того детская, что на нее и смотреть-то иначе нельзя, как с точки зрения «дикивинки», либо самая непроходимая астрология и алхимия.

К такому-то разряду людей принадлежал и король-Патокин. Сметка и глазомер не мешали ему делать страшные глупости. Во-первых, он грубил-грубил, да и догрубился наконец до того, что его куда-то сослали за грубости. Спас его от этого какой-то «старичок со звездой»; но последствия этого происшествия были тяжкие: жена короля-Патокина лишилась рассудка; «голова ее начала трястись, мутные глаза часто останавливались на одном предмете; она помешалась на старичке со звездой». С тех пор, когда при ней упоминали о каком-нибудь дурном человеке, она говорила: «Бог его убьет; не придет старичок со звездой спасти его», – когда же рассказывали о человеке добром, но несчастном, она не упускала прибавлять: «Молите бога, чтобы старичок со звездой пришел к нему на помощь». Вообще описание этого происшествия есть драгоценнейший перл старой дорафаэлевской манеры. Тут вы увидите и детей, ломающих руки, и почтенных дам, трущих виски и обливающих водой... Вы знаете, что все это давно уже изобретено Сумароковым, Херасковым и Карамзиным, но г. Лажечников не знает этого и думает, что изобрел все сам. Во-вторых, Патокин дает своему сыну самое нелепое воспитание. Ездивши, как говорит автор, «на собственном суденышке в Англию и наглядываясь на тамошний люд, он смекнул здоровым умом, что наука не только не мешает наживать деньги, но

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) еще находит для тех, кто умеет пользоваться ею, новые источники богатства». На этом основании отдает он своего сына в науку сначала к некоторому Карлу Карлычу, который, однако, его из пансиона своего выгоняет (разумеется, по несправедливостям, ибо, по теории г. Лажечникова, добродетельный человек, от чрева матери, должен терпеть несправедливости, пока, наконец, кротостью и терпением не препобедит их), а потом к помещику Стародубову. Этому Стародубова Патокин-король знает за величайшего дурака и беспутного малого, но за всем тем отдает ему сына потому только, что у Стародубова жена разумница. Разумеется, плоды являются горькие; юный Сережа «усваивает себе манеры сына богатого русского дворянина», то есть заводит свой смычок гончих и слушает «Соблазнительные речи о крепостных Парашках и Матрешках». Патокин-король узнает об этом и, по энергичности своего характера, тотчас же отправляет сына доучиваться в Англию, где он и остается в продолжение нескольких лет. Но стародубовская школа уже сделала свое дело, и Сережа на всю жизнь остается в каком-то колеблющемся положении: с одной стороны одолевает стародубовское направление, с другой стороны надоедает направление английское.

Старик Патокин умирает, как и все вообще Патокины, то есть окруженный наемниками, которые крадут у него из-под подушки двадцать пять тысяч рублей. Наемники эти, Алешка и Елизар Опенкин, которые для совершения этого дела поджигают хозяйский дом, кротким манером умерщвляют старика Патокина, но не успевают задушить безумную жену его, а только накидывают на нее подушку.

Начало романа застаёт семейство Патокиных в следующем положении: Патокин-король умер, но после него остается безумная жена его, та самая, которая глядит на всё мутными глазами и в важных случаях кричит: «старичок со звездой». Молодой Патокин уже женат, жена у него добрая и прекрасная дама, но вспыльчивая и самолюбивая, хотя все самолюбие ее выражается единственно в глумлении над мерзавцем Опенкиным да в том, что она сына своего хочет женить на генеральской дочери. Разумеется, что она имеет столь же прекрасную наружность, сколько и прекрасную душу; за ней даже сильно ухаживал в Москве добродетельный генерал Огрызков, и когда она ему наотрез сказала, что, кроме дружбы – ничего, то генерал не только не огорчился, но даже почувствовал к ней уважение.

Сам Сергей Семеныч Патокин нечто вроде кисляя, непрестанно колеблющегося между стародубовским и английским направлением; если б он знал, что может существовать еще направление «Русского вестника», составляющее именно середину между английским и стародубовским, он, разумеется, успокоился бы. Но «Русского вестника» тогда не было, и он поневоле находится между Опенкиным, который его надувает самым грубейшим и постыднейшим образом, и честным Джонсом, который хочет сказать хозяину о проделках Опенкина, однако не говорит (да почему ж ты не говоришь-то? мучительно спрашивает читатель).

Джонс добродетельный, и потому имеет наружность привлекательную и мужественную. «Он высокий мужчина, средних лет и, по атлетическому сложению своему, готов, кажется, поддержать на плечах своих тяжелый дуб, который свалила бы на него буря (есть время буре производить опыты над плечами Джонсов!). Румянец играет на загорелом, открытом его лице. Волны белокурых его волос падают почти до плеч (это у машиниста-то!). Полный подбородок утопает в белом батистовом платке с пышным бантом. Косматая грудь видна сквозь разрез рубашки тонкого полотна».

Напротив того, Опенкин – подлейшая тварь, а потому и наружность имеет подлейшую. Он «приходится Джонсу под мышку, тощ, тщедушен, истерт невзгодами жизни. Порыв ветра мог бы повалить его; в лице ни кровинки, глаза косят. Глаза эти кажутся то серыми, то желтыми с темными крапинками; взгляд его как бы двойственный: один наружный, мягкий, другой – бесовский, внутренний, выглядывающий из него. Ноги его – тощи, как жерди».

Сверх этого у Патокина есть сын Владимир, который замечателен тем, что однажды его вывели из «благородного» собрания за то, что он сын купца, а он решает смыть с себя это пятно и с этой целью определяется в военную службу. Кроме того, у него есть приемная дочь Дуня Изумрудный Крестик (одно название чего стоит!), которая добродетельна и потому тоже прекрасна.

Мать и жена Патокина, а также Джонс, Володя и Дуня Изумрудный Крестик представляют собой начало добра, Опенкин и сын его, а также тесть Опенкина представляют начало зла. И все это группируется около Сергея Семеныча Патокина, который сибаритствует себе, взирая, как добро борется со злом. Напрасно жена

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Патокина уверяет мужа, что Опенкин вор, напрасно безумная мать его, при виде Опенкина, «выпрямляется и грозит на него»:

«Злодей!.. пожар... украл много у моего друга... старичок со звездой мне сказал... в аду сгоришь!» – говорит старушка.

Но Патокин Сережа ничего не понимает и продолжает все больше верить мерзавцу Опенкину на том, вероятно, основании, что есть в мире добро и есть в мире зло; добро и зло должны бороться, а он, Патокин, должен на эту борьбу смотреть, как на приятное театральное представление.

Само собою разумеется, что Дуня любит Володю, и наоборот; разумеется также, что самолюбивая мать Володи сначала не соглашается на брак его с Дуней, а потом соглашается. И еще разумеется, что Дуня оказывается дочерью благородных родителей и под конец открывает своих родственников, которые весьма раскисаются. Дуня эта выражается самым отборным образом; она занимается лечением бедных и много им помогает; она учит бедных детей грамоте и называет Джонса, по уши в нее влюбленного, не иначе как «мой старший брат»; вообще эта девчонка смешная и глупая, не потому чтобы глупо и смешно было учить детей и помогать бедным, а потому что она носится со всем этим, как неотвязная муха, и самые обыкновенные вещи делает, словно таинство какое совершает.

Между этими-то лицами завязывается драма, драма сама по себе очень незамысловатая, но затрудняемая различными пустяками. Поэтому мы драмы этой рассказывать не будем. Скажем только, что под конец Сергей Патокин делается совершенным банкротом, а имением его завладевает Опенкин, что все это не мешает Володе и Дуне сочетаться законным браком, что Алешка, укравший с Опенкиным двадцать пять тысяч рублей, отыскивается под именем лакея Румянцева и во всем сознается и что Опенкин прекращает свою жизнь самоубийством.

Кроме этого, в романе есть несколько эпизодов. Есть эпизод о благонамеренном губернаторе, которого автор описывает так:

Богатство, конечно, не есть достоинство; честность в борьбе с бедностью, выходящая победительницей из этой борьбы, возвышает более личность человека, нежели честность того, которому стоит только пожелать, чтобы иметь. Но надо и это приписать к достоинствам графа, что богатство не испортило его. Человек он был прежде, чем сделался губернатором, и, сделавшись губернатором, остался человеком. Он не добивался этого места; ему предложили его. Он принял место не для того, чтобы стать выше других (он не был ниже их и прежде), а для того, чтобы стать в ряду людей, истинно полезных своему отечеству, и заплатить ему свой долг. Властью, которую получил, он ничего не приобретал, кроме большего круга для своей деятельности и власти делать добро, которого он не мог делать прежде. Место это не возвышало его ни в глазах других, ни в собственных глазах, как это бывает с ничтожными людьми, которые из пресмыкающихся, угождающих и добивающихся власти стараются, получив ее, вдруг вознаградить себя на других за долготерпение и унижение. Не имея нужды ломать голову о приобретениях, он мог употребить все свои труды, все помыслы единственно на исполнение своих обязанностей.

Граф даже с мелкими чиновниками обращался вежливо и никогда не позволял себе нарушать общественного приличия в отношении к своим подчиненным, даже обвиненным... Не гремел он возгласами против взяточничества, не произносил изречений о долге и чести, которые можно найти даже в любой прописи, но имел особенный такт заставить зло спрятаться или притаиться в своих норах, а это уж большой шаг вперед на пути служебного прогресса. Все это без шума, без крика, без письменных выговоров, к которым так привыкли начальствующие лица, а подчиненные так пригляделись, как будто бы их потчевали каждую почту по ложке микстуры... Проглотят, поморщатся, махнут рукой и опять примутся за прежние проделки до новой ложки. Всякий проситель, кто бы он ни был, дворянин, купец, крестьянин, имел к нему скорый доступ. Он не конфузился в минуты трудных обстоятельств и отстаивал спокойно и энергически правое дело и правых людей, хотя бы громы над ним гремели. Форма для графа мало значила, он смотрел на дело. В своих сношениях с низшими местами и лицами он не предписывал строжайше, а просил; но знали эти места и лица, что просьба его важнее всех строжайших предписаний. Его боялись, хотя и не был он грозен по наружности. Знали, что его нельзя подкупить ни лестью, ни угождениями, ни даже точным исполнением формальностей, но знали также, что человек, сделавшийся ему известным бесчестным

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) поступком, не получит пощады, хотя б за него были исправное ведение делопроизводства и покровительство всех сильных мира сего. Честных, благородных сослуживцев, как он называл их, отличал особенным своим вниманием, публично выражаемым. Граф подавал свою чистую руку таким людям, хоть бы они не считались выше 10-го класса, и приглашал их на свои торжественные обеды, между тем как на этих обедах не видать было иного статского советника. Рассказывают, что жена одного дивизионного генерала, женщина очаровательная во всех отношениях, узнав, что не приглашен на такой обед советник какой-то палаты, покровительствуемый ею за то, что должна ему была, и за то, что он составлял почти ежедневную карточную партию с ее мужем, умоляла графа обратить гнев на милость и снять опалу с ее protégé. Граф, хотя и поклонник прекрасного пола, объявил генеральше, что он готов все для нее сделать, но отступить от своих правил не может. Он умел окружить себя избранными людьми, честными и дельными, большую часть университетскими кандидатами, хотя и не с великосветскими манерами и аристократическими именами. Небольшие оклады их он щедро дополнял из своего жалованья, в котором только расписывался. Достоянейших старался он возвысить и по служебной иерархии.

Есть эпизод о губернаторе лукавом, которого г. Лажечников описывает так:

Послышался звонок, затем суровый голос из кабинета: «Луковского голову!»

Патокин вошел.

Начальник сидел в креслах, у письменного стола, против двери, под портретом современного министра и еще какого-то знатного господина. Портрет бывшего министра был удален на более скромное место.

Он не мог не видеть прихода Патокина, но, для вящего эффекта, углубился в писание, бросая на бумагу дикие взгляды, которые должны были отпрыгнуть на сердце головы.

Жесткие черты шафранного лица, жесткие волосы, вставшие щеткой, злой взгляд – все это было уже знакомо Патокину. Пробегая про себя написанные строки, он неприятно чмокал губами. Так продолжалось несколько минут. Наконец Патокин осмелился прервать молчание.

– Честь имею явиться, луковский голова, – сказал он.

– Слышу и вижу, – отвечал сурово начальник и насупил юпитеровские брови.

– Скажи мне, пожалуйста, – продолжал он, когда достаточно потомил своим взглядом Сергея Семеновича, будто кошка свою крылатую жертву, пока не бросится на нее и не вонзит в нее своих когтей, – что у тебя за история на фабрике? Ты держишь у себя беспаспортных людей. Знаешь ли, чем это пахнет? Восточным воздухом, сударь. Не посмотрят, что на тебе навешаны медали и крест.

– Все люди, которых я имею на фабрике, – отвечал Патокин, – снабжены законными видами.

– Так-с, законными?.. писанными на простой бумаге? Это явный подрыв государственным доходам.

– Закон дозволяет помещикам выдавать такие виды своим людям, отпускаемым в заработки на тридцативерстное расстояние.

– Землемер нашел с лишком тридцать две версты.

– Мы не имеем возможности поверять расстояния и должны верить помещикам.

– Хорошо, мы увидим. Закон впереди всего. Я ничего тут не могу один, своим лицом; есть на то коллегия... Завтра решение состоится; тебе объявят. До свидания.

Начальник кивнул и стал опять писать.

Патокин поклонился и вышел.

Есть еще эпизод о лукавом городничем, о лукавой губернаторше и о некоторой

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) легкого поведения даме, г-же Можайской. Все это представляет положительно детское упражнение.

Из этого читатель видит, что мы не можем сказать ничего особенного о новом романе Г. Лажечникова, кроме того, что автор одушевлен прекрасными намерениями.

Мы надеемся, что автор не посетует на нас за эту откровенность.

Он простил лукавого губернатора, он простил лукавого городничего. Он простит и нас.

КРЕМУЦИЙ КОРД. Соч. Н. Костомарова. СПб. 1862 г.  
Сочинение Г. Костомарова не принадлежит к той тесной области искусства, которая называется беллетристикою. Это просто сделанное в драматической форме историческое исследование царствования римского императора Тиверия, который довел тиранию до той степени утонченности и подозрительности, что даже напоминание о старом Риме считал личным оскорблением, могущим привести к невыгодным для него сравнениям. В этом смысле труд, предпринятый Г. Костомаровым, исполнен им весьма добросовестно. Историк Кремуций Корд обвиняется в том, что в сочинении своем «Анналы Римской республики» написал похвалу Бруту и, говоря о Кассии, употребил выражение, что он был последним из римлян. Отыскиваются наемные обвинители; жертва заранее облюбвана и заранее обречена, но Тиверий хочет, чтобы она была обречена на законном основании. Напрасно Кремуций Корд оправдывается примерами Тита Ливия, Азиния Павлиона, Мессалы Корвина, которые тоже называли Брута и Кассия «людьми знаменитыми»; напрасно говорит, что он историк, только историк, а не политический человек, – сенат осуждает его на бессрочное тюремное заключение. Кремуций Корд не выносит этого и предпочитает смерть неволе; он отказывается от пищи и на десятый день испускает дыхание, произнося: «Скажите Тиверию, что история отомстит за историка».

Но дело не в факте, на котором построена драма, дело в подробностях, рисующих римскую жизнь того времени. Вот как изображает тогдашнюю правительственную тактику любимец Тиверия, Сеян, обращаясь к Юнию Вибии, явившемуся с доносом на своего отца, которым этот последний обвинялся в заочном оскорблении Сеяна:

Ужасные, потрясающие душу клеветы достойны, без сомнения, примерного наказания. Я должен представить твой донос цезарю. Но, восхваляя твое усердие, мой друг, я не могу воздержаться, чтоб не сделать тебе упрека. Ты сделал примерное дело, не жалея и родного отца для блага отечества, но... ты наполнил грудь мою тоскою. Я не мстителен от природы и склонен более простить отца твоего, чем преследовать; но, к несчастью, дело, касаясь меня, касается целого отечества, и тяжелый долг заставляет меня подавить врожденную склонность – забывать обиды. Впрочем, я все-таки постараюсь облегчить свою просьбою у государя участь отца твоего. (Обращается к Сатрию. [7]) Похвально служение музам, а еще похвальнее, когда с ним соединяется служение отечеству. Рим полон разврата, лихоимства и тайных замыслов против общественного порядка. Искоренять плевелы есть дело достойное каждого верного сына отечества, – также и поэта. Видишь ли, каков Вибий? Для цезаря и отечества он не пожалел и отца родного: вот пример, который я поставлю для подражания всем молодым гражданам Рима. Ты – поэт, бываешь в кругу поэтов, ученых, софистов; между ними много злонамеренных; будучи незамечаемы правосудием, они втайне, как змеи, извергают яд своих мнений; обнаруживать их заранее и лишать возможности причинять дальнейший вред обществу есть дело важное и спасительное. (Обращается к Пинарию.) Ты – историк и часто бываешь, конечно, между своими собратьями; к сожалению, они мало оправдывают покровительство, оказываемое императором искусствам и их служителям. Например, мне попадает в руки история, под названием – Анналы Римской республики, Кремуция Корда... просто вещь возмутительная! Автор хвалит злодея Брута и называет убийцу цезаря, божественного Юлия, Кассия – последним из римлян! Каково?! Да за это одно следовало бы отрубить руку, которая осмелилась написать подобные выражения! Вся эта история, с начала до конца, наполнена – если не явно преступными, то двусмысленными выражениями и неуместными похвалами прежней свободе, а следовательно – неблагоприятным к настоящему порядку вещей. Цезарь не любит этих возгласов о свободе и правах гражданских, о славе старого Рима, под которыми обыкновенно стараются укрыть возбуждения к необузданности и безначалию. Без сомнения, за подобные выходки Кремуция Корда следовало бы предать суду сената. Злодей, которого преступные намерения не вполне раскрыты, получит ничтожное наказание и – станет еще дерзновеннее. Справедливость требует, чтобы все тайные замыслы неблагоприятного человека были обнаружены, дабы можно было

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) истребить, так сказать, самый сок зла. Без сомнения, если Кремуций Корд, дерзнув написать подобные строки и своей истории, нагло похвалил убийцу Юлия Цезаря, то, конечно, питал злобу к императору и существующему порядку вещей. Надобно доказать это яснее. Император желал бы, чтоб вся тайна души этого зловредного человека была обнаружена... разумеется, сообразно строгой истине и нимало не примешивая клеветы, которая наказывается более всех преступлений.

А вот как сам Тиверий отзывается об отношениях своих к власти и ее наслаждениям.

Видеть глупость целого народа, глупость тысяч, чувствовать себя выше их и умнее... да!.. Я преследую благородного человека и уверяю всех, что он негодяй, – и все верят этому и величают меня добродетельнейшим и справедливейшим. Ты не раз упрекал меня, зачем я слишком много даю воли сенату, зачем оставляю следы старой республики; ты даже советовал мне – с помощью войска утвердить самовластие. Ах, Сеян! Ты знаешь, что приятнее приготовить к наслаждению Венерою, нежели тогда, когда уже насытишь страсть свою; приятнее ловить зверя на охоте, чем поймать его... Только голодный пролетарий-волк, поймав добычу, снедает ее; благородный тигр, прежде чем задушить ее, потешится над нею, выпустит ее из лап, будто дает ей свободу, но потом бросится за нею и опять накроет убийственной лапою. Я не хочу сразу уничтожить свободу Рима: я люблю – уничтожать ее! Эти проблески сопротивления моей власти, эти порывы пылких душ, легко уничтожаемые доносами и раболепным судом, – как это мне нравится! Здесь есть какая-то борьба, в которой я чувствую себя победителем. Мое положение подобно положению страстного игрока, которому всегда везет счастье в игре... А стая доносчиков, которые мне служат, стараются отличиться подлостью, а потом нередко губят самих себя тем же оружием, – ах, как это весело, как это забавно! Римский народ глупеет, подлеет, сам того не замечая; один я это замечая; один я разумею, что благородно, что низко; один я уважаю тех, которых преследую, и презираю тех, которым благодетельствую; я чувствую, что я выше всех, потому что вижу истину, обманываю всех и имею право смеяться над всеми. Уже в Риме мало остается благородного и высокого: я начинаю стравливать доносчиков между собою; а когда эти собаки перегрызутся и заедят друг друга, – я отпущу узду своей власти, дам римлянам подышать свободнее, начну покровительствовать литературе, любовь к истине, для того, чтобы снова явились люди, а не бессмысленные скоты, для того, чтобы снова было кого истреблять. Это – охота...

Трудно поверить, чтобы могли быть такие времена! А между тем они были: в том убеждает нас летопись Тацита.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ПОЧЕРПНУТЫЕ ИЗ МОРЯ ЖИТЕЙСКОГО

ВОСПИТАНИЦА САРА. А. Вельтмана. Москва

Болтливость, да еще старческая болтливость – вот порок, которого не могут искупить никакие добродетели, потому что в болтливости скрывается ложь, а ложь, как известно, есть мать всех пороков. В самом деле, если вам случалось встречать, благосклонный читатель, так называемых «любезных старичков», которые и молодыми людьми были любезны, и в пожилых летах были любезны, и в старости считают себя обязанными быть любезными, то, конечно, вы испытывали на себе тяжелое впечатление, производимое тою болтливою распушенностью, в которой преимущественно проявляется утонченная старческая любезность. Вы чувствуете, что тут есть какое-то ярмо, нечто вроде крепостной зависимости; вы чувствуете, что стоящий перед вами «старичок» хотя и мнит себя свободным, но в сущности далеко не свободен, что каждый шаг его связан фантомом любезности, что если он без умолку болтает, то не потому, чтобы ему было о чем болтать, а потому только, что он прежде всего связан желанием «нравиться» и «занимать». Грибоедов мастерски воспроизвел этот тип в своем бессмертном Репетилове. Это совсем не преднамеренный лгун, не хвастунишка по профессии; это просто любезный человек, который потому и лжет и хвастается, что уж очень любезен. Это просто человек, который не хочет, чтобы об нем отзывались, что он «скучный» и что «не знаешь, чем его занять», и который, напротив, всеми силами добивается, чтобы каждый хозяин или хозяйка дома, в котором он имеет честь быть гостем, говорили об нем: «Мы мсьё Репетилова не занимаем! мы знаем, что он и сам найдет, чем занять себя!»

Что за болтливостью непременно должна скрываться ложь, в этом не может быть ни малейшего сомнения. Поставив себе непременною обязанностью болтать без умолку, неутомимый болтун, по необходимости, не может довольствоваться миром видимым, действительным. Этот мир тесен для него, да притом же, вследствие некоторой ограниченности воззрений, он исчерпывается им в каких-нибудь два сеанса. После

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) этого болтуну остается одно из двух: или повторяться, или делать набег в область вымыслов. Повторяться нельзя – не будешь забавен (а это главная цель, из-за которой хлопочут болтуны); стало быть, остается прибегать к вымыслам. И тут-то начинается то раздражающее нервы театральное представление, в котором что ни слово, то фальшь, что ни слово, то противоречие, что ни слово, то забвение старого слова, непосредственно ему предшествующего. На первых порах это бывает забавно, то есть забавна собственно не болтовня, а личность болтуна, но очень скоро и она надоедает; не только надоедает, но даже поселяет какую-то ненависть к себе; вы видите болтуна, еще издали направляющего к вам шаги, и уже принимаете меры, чтобы скрыться от него; вы отказываетесь от интересной беседы, вы отказываетесь от еды, лишь бы не быть под одной кровлей с болтуном; если бы не было другого способа скрыться от него, как пролезть сквозь подворотню, вы не задумались бы и к нему прибегнуть. А болтун видит это и удивляется; он удивляется тому, что вот он такой любезный, так старается нравиться и занимать всех, и в ответ на это встречает одну неблагодарность, одно холодное, почти враждебное чувство...

Из всех видов болтовни, несомненно, самый ужасный – болтовня литературная. Болтуна устного есть возможность избежать; болтуну устному можно сделать отеческое увещание, с ним можно, наконец, раззнакомиться, можно перестать ему кланяться, даже высунуть язык; но какое средство освободиться от болтуна печатного, который стремится заболтать не Ивана, не Петра, а целые тысячи индивидуумов? Не читать его – нельзя, потому что он заявляет себя перед вами, как продукт известного общественного строя, как факт психологический, а пожалуй, и политический; не говорить об нем – опасно, ибо надо предостеречь простодушных, которые, без этого, и впрямь, пожалуй, поверят, что «царь фараон каждую ночь из Чермного моря выходит», как выражается достолюбезная Устинья Наумовна в комедии Островского «Свои люди – сочтемся».

Это болтовня хладная, вроде тех «восторгов хладных», о которых некогда упоминал Пушкин. Предмет ее не только чужд болтуну, но даже за минуту перед тем был ему совершенно неизвестен. Он и в эту минуту не знает, о чем будет болтать в следующую; он ищет и просит сюжета. «Дайте мне только сюжет, – говорит, он, – а уж я изболтаюсь на нем!» Дадут ему сюжет – он будет болтать плавно, с соблюдением грамматических и синтаксических правил; не дадут ему сюжета – он болтать перестанет, но шевелить во рту языком все-таки будет.

Верховным жрецом литературной болтовни заявил себя покамест известный московский публицист Н. Ф. Павлов. О чем не писал этот знаменитый писатель! И о чиновничестве, как о неизбежном признаке и спутнике общественного бессилия, и об отношениях г. Григорьева к Грановскому, причем выказал изрядное знание восточных языков, и о бесполезном посыпании песком московских тротуаров во время летних жаров. То было время, когда Н. Ф. Павлов был ревностным вкладчиком «Русского вестника» и когда сюжеты задавал ему М. Н. Катков. Теперь Н. Ф. Павлов добалтывается в «Нашем времени»; не знаем, кто задает ему сюжеты, но руководит его г. Чичерин.

Да простит нам г. Вельтман, что все эти размышления пришли нам в голову именно по поводу нового романа его. Хотя мы отнюдь не думаем и не желаем приравнять его к Н. Ф. Павлову, тем не менее должны сознаться, что сочинение его представляет образец самого невинного переливания из пустого в порожнее.

Пусть, в самом деле, представит себе читатель, что в нем идет дело о каком-то русском князе, который законную и любимую свою дочь отдает на воспитание привилегированной повивальной бабке Викторине, живущей в одном из самых темных захолустьев Москвы, что эту дочь подменивают и что все это наконец открывается, не потому открывается, что должно открыться, а потому, что так того хочет автор. Кроме того, тут есть еще карлик Митя, который проливает слезы умиления и чуть не падает в обморок от удовольствия быть крепостным карликом. Происходит невинная путаница, в продолжение которой автор хочет обмануть читателя, а читатель не поддается обману, ибо видит автора насковозь. Проходят перед глазами Иваны Артемьичи, Марьи Ивановны, Авдотьи Петровны, сверкает шпорами гусар Лонский – и ничему этому читатель не верит, ничем не интересуется, потому что знает, что автор не взаправду об этом пишет, что никогда нигде ничего подобного не случалось, да и случиться не может. Не болтовня ли это? и не грех ли нарезать из бумаги мужчинок и женщин, да и заставлять их участвовать в какой-то человеческой комедии перед лицом недоумевающей публики?

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
Впрочем, у г. Вельтмана в новом романе есть-таки одно живое лицо – это Потап Савич. Конечно, он не более как повторение Репетилова, но он стоит перед нами, как живой, с своими подмаргиваниями, с своею сладостною болтовнею, с своею угодливою иронией, сквозь которую, однако ж, просачивается полный нравственный цинизм. Он так, кажется, и говорит вам: «Вы не смотрите, что я как будто благоговею перед чем-то, как будто преклоняюсь; коли хотите, я, пожалуй, и наплюю на все эти святыни, перед коими сейчас благоговел!» Так и ждешь, что вот-вот он возьмет в руку перо да и сделается публицистом!

Да, это создание мастерское, и г. Вельтман заслуживает за него полной благодарности.

СТИХИ ВС. КРЕСТОВСКОГО. 2 тома. СПб. 1862 г  
Способностью раздражаться чужою мыслью, чужими действиями отнюдь не следует пренебрегать, ибо она дает нам второго сорта литераторов, второго сорта философов, второго сорта публицистов, второго сорта администраторов, второго сорта полководцев.

Известно, что подвиги Александра Македонского воспламеняли не одного учителя уездного училища, который горячностью своею дал повод Сквознику-Дмухановскому сказать: «Конечно, Александр Македонский великий человек, но зачем же стулья ломать?», но и многих молодых офицеров, из которых нередко образовались со временем изрядные второго сорта полководцы.

Известно, что, например, Кодекс Наполеона воспламенил множество европейских правительств, которые наперерыв спешили ввести нечто подобное в управляемых ими государствах, и хоть это были кодексы второго сорта, но всё же были кодексы, а не разбросанная какая-нибудь дребедень.

О философах и публицистах второго сорта нечего и говорить: этих господ расплодилось до того много, что нынче даже «Московские ведомости» имеют своего публициста в лице М. Н. Каткова, даже «Русский вестник» обладает своим философом в лице г. Юркевича.

На этот раз мы будем говорить о второго сорта поэтах, тем более что г. Вс. Крестовский, издав свои «Стихи», представляет нам весьма удобный для этого случай.

Повторяем: способность раздражаться чужою мыслью есть способность весьма полезная; но не следует притом упускать из вида, что процесс этого раздражения может происходить тремя путями. Иногда раздражение является в виде преемства мысли; здесь чужая мысль служит только исходным пунктом, из которого усвоивший ее идет далее, то есть не только развивает чужую мысль, но претворяет ее в свою собственную; здесь чужая мысль служит только поводом к пробуждению внутренней самодеятельности человека, и затем дальнейший процесс развития мысли представляется уже процессом постоянного взаимодействия. В этом смысле, Пушкин раздражался Байроном, но это не мешало ему быть вполне самостоятельным, не мешало создать «Русалку», «Галуба», «Медного всадника» и множество других произведений совершенно национальных, не мешало ему даже там, где он является совершенно под влиянием чужого мирозерцания, как, например, в «Подражаниях Данту», быть господином своего образца и полным хозяином своей мысли. Иногда раздражение чужою мыслью действует на человека оглушающим образом, поражает его до такой степени, что отнимает всякую возможность и охоту мыслить и действовать иначе, нежели мыслит и действует образец. В этих случаях раздражение объемлет не только содержание, но и форму мысли, не только действия поразившего нас героя, но и самую личную его обстановку, самые его привычки: манеру причесываться, ходить, держать руки, манеру одеваться. Кто из нас не помнит, какой в этом смысле переполох произвел даже в нашем обществе Наполеон I?

На нем трехугольная шляпа... – декламировали мы на все лады, принимая грустно-величественные позы и складывая на груди крестом руки. Владимир Рафаилыч и Рафаил Михайлович Зотовы так-таки даже и отгравировали себя с сложенными на груди руками. Этого рода раздражение чужою мыслью в особенности часто встречается в области администрации, во-первых потому, что чужая мысль, действующая на практике, сделавшаяся, так сказать, живым организмом, оглушает человека могущественнее, нежели мысль, витающая в сферах идеальных; а во-вторых, и потому, что в области администрации раздражение чужою мыслью представляет самый легчайший способ управления: возьми Кодекс

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Наполеона, переведи его на немецкий или итальянский языки – и дешево и мило! Конечно, это будет кодекс второго сорта, но нам-то что до этого за дело! Мы устроили свою маленькую штучку, а там и с колокольни долой – пусть распутывают те, которым суждено быть нашими наследниками! Нас, собственно, увлекает то, что очень уж мил Фиален Персиньи – вот мы и одеваемся à la Persigny, и причесываемся à la Persigny, и так же величественно-благородно-холодно держим себя, как Фиален Персиньи! А на наше место поступит кто-нибудь другой, которого увлечет генерал Еспинасс и который будет одеваться à la Éspinasse, причесываться à la Éspinasse и так же добродушно-горячо-карательно держать себя, как Еспинасс. Так оно и пойдет кругом: сегодня Фиален Персиньи, завтра Еспинасс, послезавтра опять Фиален Персиньи, потом опять Еспинасс; как в древние времена Тьер да Гизо, Гизо да Тьер – фу ты черт! да и дошли полегоньку до 24 февраля 1848 года! Вероятно, подобного же рода раздражение происходило в то время, когда на русский язык переводились шведские законы; что эти законы сделались законами второго сорта, в этом нам служит ручательством то, что они и доньше представляют мертвую букву. Вероятно, то же самое случилось бы с нами, если б мы вздумали переводить на русский язык Кодекс Наполеона, или, например, целиком пригонять законы о книгопечатании, написанные Наполеоном III на пользу свою. Наверное, то были бы законы второго сорта. Но и в области изящной литературы встречаются примеры подобного раздражения чужой мыслью. Вспомним, например, школу Гоголя; мало того что она всемерно старалась выдать из себя что-нибудь очень смешное, но даже принялась рабски копировать у Гоголя самую его манеру писать. И всего досаднее то, что подобные благоприятели всегда раздражаются одною слабейшею стороною своего образца. Например, Гоголь сам признавал, что «Вечера на хуторе близ Диканьки» – самое слабое из всего им написанного: ими-то именно и раздражались поклонники. Этого недостаточно; в самых «Вечерах» есть вещи первоклассного достоинства: есть прелестная Оксана, есть достолюбезный Иван Федорыч Шпонька – поклонники увлеклись не ими, а надоедливым «Пасичником», а дьячком села Диканьки, а тем, что была у пасичника тетрадь, да жена его употребила последние листы для того, чтобы печь на них пироги. И было тогда на Руси великое наводнение смешных повестей, рассказывавших о том, как свинья, подслушав разговор двух любовников, утащила у одного из них свитку (раздражение по поводу «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»), о том, как ехала баба на возу и ругалась, и как в это время у лошади ее некто отрубил хвост по самую репицу (раздражение по поводу «Сорочинской ярмарки»)… Наконец, есть третий способ раздражения чужою мыслью – самый последний способ и самый опасный. Он составляет нечто среднее между первым и вторым; человек овладевает чужою мыслью, чужим типом, рабски придерживается их, но не хочет сознаться в этом, а хочет показать, что он сам первого сорта деятель, что он сам может создать лухмановские картоны Рафаэля. Для достижения этой цели он к чужой мысли, к чужому типу подмешивает своего собственного естества, сдобривает их своим собственным запахом. Писатели и деятели первого сорта всего более должны опасаться такого рода подражателей, ибо они имеют талант сразу убивать всякую новую мысль, всякое новое направление, доводя его до крайностей и делая из него карикатуру. Можно подумать даже, что тут присутствует умысел: до того оно иногда игриво выходит. Эти подражатели редко восходят до первоначальных оригиналов; большею частью они привязываются к таким же подражателям, как и они, но сохранившим в некоторой чистоте дух первоначального оригинала, и таким образом делаются писателями не второго, а уже третьего сорта, далее которых идет уже бессмыслица, идет толкучий рынок и холуйско-мстёрская школа живописи. В этом последнем развитии всякая свежесть первоначального оригинала окончательно пропадает, а остается лишь собственный запах, запах ужасный, напоминающий Петрушку…

Положимте, например, читатель, что вы чувствуете в себе охоту раздражиться Майковым. Вы берете его стихотворения и наслаждаетесь: какие-то там все груди сверкающие, да спины круглые – любо! И вот вы берете перо и пишете

Фрина

У Фрины пир. Давно Афины  
В тиши уснули мирным сном,  
Лишь у одной развратной Фрины  
Огнями блещет шумный дом.  
Вокруг стола, налив потери  
Вином душистым, все в цветах,  
Едва прикрытые гетеры  
Лежат на пурпурных коврах…  
Все это точно так, как и у Майкова: и «потеры», и «гетеры», и «пурпурные ковры»

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) (известно, что можно раздражаться не только по поводу хороших мыслей, но и по поводу хороших слов), но каким же образом поместить тут что-нибудь такое, что не слишком бы смахивало на подражание? А вот как:

И кто-то вдруг, для смеха, шляпу  
Его (архонта) надел на плешь Приапу...  
Потом опять как у Майкова:

На блюдах третью перемену  
Рабы азийские несут,  
И гости шумные на сцену  
Плясать танцовщицу зовут...  
Ибо известно, что греки только и занимались тем, что взирали на сверкающие груди, гладили круглые спины и забавлялись с гетерами, «лежа на пурпурных коврах». Является «харита лесбиянка».

Она танцует и сжигает  
Огнем любви мужей и дев;  
То вдруг летит, то замирает  
Под ионический напев...  
(желательно бы слышать этот «ионический напев»; что, если он был чем-нибудь вроде: «выйду ль я на реченьку»?). Как тут опять ввести что-нибудь свое, оригинальное? Очень просто: нужно заставить фрину возгореть ревностью к некоему Гипериду, который

. пляску  
Очами страстными следит...  
и заставить ее сделать следующую неслыханную штуку:

Все гости пляске рукоплещут,  
Гетер вниманьем не даря, –  
И взоры фрины пылко блещут,  
Лесбосской страстию горя;  
И, подзывая лесбиянку,  
Она ей лечь с собой велит,  
И всех на новую приманку  
Коварно дразнит и манит...  
«Ах!» – произносит читатель, прочитывая эти неслыханные строки; мы же, с своей стороны, думаем о том, в какой гнев должен был войти г. Майков, встретив ужасный стих

Гетер вниманьем не даря...  
Ведь это все равно что встретить в стихе словечко, вроде «тово», «таперича», «тововонокаконо». Приятный жанр скрытной клубнички, которого тайною обладал доселе один г. Майков, вдруг разрушен и уничтожен окончательно откровенным и хладным прикосновением к нему г. Вс. Крестовского! Да, нет сомнения, это те же самые хладные восторги, которые некогда прикрывались пышными ризами и которые теперь откровенно говорят:

И, подзывая лесбиянку,  
Она ей лечь с собой велит,  
И всех на новую приманку  
Коварно дразнит и манит...  
Вот и все содержание этой, хладной «поэзии». Г-н Майков обманывал нас; г. Вс. Крестовский усугубил обман – и вывел из заблуждения, как это всегда случается, когда хотят усугубить обман или очарование (это в особенности часто встречается в области администрации, когда пустоту и неумытность действительности хотят затемнить посредством приятных манер).

Но Майкова вам мало, вы хотите пройти по части испанских романсов (кто писал испанские романсы из русских поэтов? но кто не писал их? Петр Исаич Вейнберг! вы не писывали ли испанских романсов?).

И вот вы пишете на белом листе: «Гитана».

Сначала все идет изрядно, то есть настолько изрядно, насколько это возможно испанской жгучести в переводе на русские «хладные» восторги. Но вот является на сцену нищий и просит у гитаны денег и хлеба.

Просит в песне, ради неба,  
Говорю ему я: «Брат!  
Нет ни денег, нет ни хлеба  
В этой роскоши палат.  
Но взамен грошей да пищи  
Есть лобзанья без ума,  
Прелесть тела – хочешь, нищий,  
Вместо хлеба – я сама!»  
Мало вам «Гитаны» – вот вам «Затворница». Эта женщина с первых слов объявляет:

Запретный плод, как яд, и жгуч, и сладок;  
А я одна  
Вникать во смысл таинственных загадок  
Обречена.  
Сего недовольно. «Вникать во смысл таинственных загадок» одной скучно, – и вот затворница идет в сад.

И меж могил, где тень дерев неясных (?)  
Мрачней легла,  
Одну из нас – моих сестер несчастных –  
Я там нашла.  
Она, как я, тайком сюда бежала  
С огнем в крови;  
Она, как я, томилась и страдала,  
Моля любви.  
И поняли без слов мы взором счастья  
На дне души (?),  
Что обе мы так полны сладострастья,  
Так хороши...  
И с грудью грудь слилась в объятьях жгучих –  
И плеском струй  
Был заглушен в тени кустов пахучих  
Наш поцелуй.  
И каждый раз приходим на свиданье  
Мы с ней с тех пор,  
Хоть, может быть, за грешный миг желанья  
Нас ждет костер.

«Ах!» – восклицает читатель, но восклицает не потому, чтобы лесбийская поэзия была противна ему, а потому, что она так прозаически, так голо, так пахуче-просто выражена. Читатель негодует, потому что перед ним происходит не история любви, с ее жгучими порываниями и стыдливими возвратами, а только простой и несложный процесс плотского вожделения.

Г-ну Фету посчастливилось несколько более; потому ли, что в стихотворениях этого поэта в самом деле преобладает невинная, несколько балетная грация, а не античный клубничизм, только и в подражаниях ему поползновение к клубничке сказалось с меньшею наготовою. Вот лучшие стихотворения в фетовском роде:

I  
На груди моей Миньоны  
Я хотел бы отдохнуть,  
Чтоб под жаркою щекою  
Колыхалась эта грудь,  
Чтоб подслушало бы ухо  
Шепот сердца твоего,  
Чтобы сердце рассказало,  
Сколько счастья у него. (Стр. 106.)

II  
Мать в сердцах меня журила:  
«Я ль тебя не зарекала,  
Чтоб любви ты окаянной  
Пуще польмя бежала –  
Да родительский зарок,  
Видно, был тебе не впрок!»  
– Мама, мама! что ж мне делать!..  
Я сама ее боялась,  
Да она-то во светлицу,

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Не спросясь, ко мне врывалась  
Сквозь окошко, майским днем,  
С каждым солнечным лучом.  
Я бежала из светлицы,  
В темный сад от ней бежала, –  
А она мне тихим ветром  
Все лицо исцеловала,  
И от мамы в ту же ночь,  
Увела тихонько дочь!.. (Стр. 114.)

III

Здесь-то, боже! сколько ягод,  
Сколько смелой земляники!  
Помнишь, как мы, ровно за год,  
Тут сходились без улики?  
Только раз, кажись, попался  
Нам в кустах твой старый дядя,  
И потом, когда встречался,  
Все лукаво улыбался,  
На меня с тобою глядя... (Стр. 120.)

Даже русские сказки – и те могут произвести раздражение пленной мысли. Для этого стоит только вспомнить нечто из слушанных в детстве сказок и изукрасить слышанное некоторыми внешними принадлежностями псевдонародной поэзии: рябинушку назвать разрябинушкой, почаще употреблять вводные словечки «что уж», «а и», «уж и» и т. д.

Как хотите, а это жалко. Потому что, в сущности, ведь г. Вс. Крестовский все-таки писатель не без таланта. В этом нам служат порукою как приведенные выше три стихотворения в фетовском роде, так и в особенности стихотворение «Теремок», которое вполне хорошо.

ГРАЖДАНСКИЕ МОТИВЫ. Сборник современных стихотворений, изданный под редакцию А. П. Пятковского. СПб. 1863

\*\*\*

ПЕСНИ СКОРБНОГО ПОЭТА. СПб. 1863

Г-н Пятковский представляет собой цветок, выросший на почве российской гражданственности, которая, как известно, появилась на свет божий после Крымской войны и с тех пор развивается неуклонно и непрерывно. Явились граждане озлобленные, скорбящие и обличающие, явились граждане веселые, умиляющиеся и благословляющие; г. Пятковский не нашел в себе способности ни благословлять, ни обличать собственными своими словами и потому возымел счастливую мысль благословлять и обличать посредством других. Эта история не новая; возникает новое направление, выступают на сцену новые деятели, а около них образуется целая толпа людей, которых занятия заключаются исключительно в сочувствии. Эти люди похаживают кругом («хоть бы посидеть-то мне около!» – восклицают они), посматривают, похваливают и попрашивают: «Пожалуйста списать!» Если вы им добровольно не дадите, они и не спросясь возьмут да спишут, и не только спишут, но, пожалуй, и издадут.

Изданием «Гражданских мотивов» г. Пятковский доказал, что он не только цветок, но и изрядная пчела. Он собрал свой мед с двадцати двух поэтов (шутка!) и, собравши, не замедлил устроить литературный сот в 87 страничек, за который и желает получить по 50 к. за экземпляр. Мы ничего не говорим против трудолюбия этого цветка, сделавшегося пчелою: пускай себе собирает мед помаленьку; но решительно восстаем против претензии пчелы ценить свою деятельность столь высоко. Неужели г. Пятковский имел какое-нибудь основание вообразить, что книжка его может стоить дороже 5 к. сер.? Если же он возразит нам, что при книжке имеется собственное его оригинальное предисловие (четыре странички), то мы можем, пожалуй, набавить ему за это одну копейку серебром, но никак не больше. В какой степени ни с чем не сообразна назначенная г. Пятковский цена, это явствует из следующих расчетов. Предположим, что г. Пятковский издал свой литературный сот в числе пяти тысяч экземпляров (кто же, при его трудолюбии, может ему в том воспрепятствовать?); предположим также, что все пять тысяч экземпляров разойдутся (чего на свете не бывает!); стало быть, трудолюбивая пчела получит две тысячи пятьсот рублей; если исключить из этой суммы около четырехсот рублей за набор, печатанье и бумагу, да пятьсот рублей за комиссию в пользу книгопродавцев, все же останется на услаждение цветка тысяча шестьсот рублей – как хотите, а это уж слишком роскошно! Тогда как, если б г. Пятковский назначил книжке цену 6 коп. сер. (1 коп. за предисловие), как мы предположили выше, то

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru расчет был бы следующий: полная сумма за все пять тысяч экземпляров 300 р.; за набор и печатание (6 листов по 18 р. за каждый) 108 р., за бумагу (60 стоп по 1 р. 50 коп. за стопу, ибо нет никакой надобности печатать «Гражданские мотивы» на отличной бумаге) 90 р. и за комиссию в пользу книгопродавцев 20 % или 60 р., итого издание стоило бы ему 258 р.; затем, осталось бы чистого барыша 42 р. Не правда ли, что этого совершенно достаточно для скромной и трудолюбивой пчелы?

Воззрения г. Пятковского на литературу и искусство просты до наивности. «Было бы невозможно теперь явиться Гомеру с его младенческой верой в богов преисподней», – говорит он, и затем очень тонко, в пяти строках рисует, почему, вместо Гомера, явился сначала Дант, а потом Бакон и Спиноза, а потом Шиллер и Гёте. Из этого видно, что г. Пятковский чистосердечно думает, что Гомер не может явиться именно только потому, что имел «младенческую веру в богов преисподней» (может быть, дескать, и обретаются где-нибудь Гомеры да имеют «младенческую веру в богов преисподней» – ну, и не смеют явиться!), да, быть может, еще и потому, что он был слепой (этого г. Пятковский не говорит, но, вероятно, скажет, когда издаст новый литературный сот). Что же касается собственно до гражданских чувств, то г. Пятковский имеет взгляд на этот предмет весьма оригинальный. Он видит, например, гражданский мотив даже в следующем стихотворении г. Майкова:

#### ПОСЛЕ БАЛА

Мне душно здесь! Ваш мир мне тесен!

Цветов мне надобно, цветов,  
Веселых лиц, веселых песен,  
Горячих споров, острых слов,  
Где б был огонь и вдохновенье,  
И беспорядок, и движенье,  
Где б походило все на бред,  
Где б каждый был хоть миг поэт!

А то – сберетесь вы чинно;  
Гирлянды дам сидят в гостиной;  
Забава их – хула да ложь.  
На лицах их не разберешь –  
Тут веселятся иль хоронят...  
Вы сами – бьетесь в ералаш.  
Чинопоклонствуете, лжете;  
Торгуете и продаете –  
И это праздник званный ваш!  
Недаром, с бала исчезая  
И в санки быстрые садясь,  
Как будто силы оправляя,  
Корнет кричит: «Пошел в танцкласс!»

А ваши дамы и девицы  
Из-за кулис бросают взор  
На пир разгульный модной львицы,  
На золотой ее позор.

– Что ж тут гражданского? – спрашивает себя читатель, – поэт просто не любит играть в ералаш и просит –

Цветов мне надобно, цветов!

что ж тут гражданского? Вот другой манер, если б поэт сказал: вы, дескать, тут пляшете да играете в ералаш, а лучше вспомнили бы о воскресных школах – ну, тогда точно был бы гражданский мотив! А то ведь, пожалуй, таким образом все куплеты из «Героев преферанса» можно сопричислить к гражданским мотивам!

Г-н Пятковский, в предисловии, между прочим, «предоставляет другим – собрать в отдельные сборники прозаические произведения русской литературы, выражающие собой новый момент в ее развитии»... Мы считаем долгом предостеречь этого будущего собирателя словесного меда, ибо г. Пятковский скрыл от него: а) что прозаические произведения, по большей части, заключают в себе более одного печатного листа; и б) что перепечатывать, без дозволения автора, более печатного листа воспрещается законами о литературной собственности.

Итак, пускай г. Пятковский ограничивает свою гражданскую деятельность одними стихотворцами. Мы можем даже предложить ему совершенно новую и оригинальную мысль, которая, нет сомнения, бесконечно и не без выгоды расширит его деятельность. Мысль эта заключается в следующем: взять все стихотворения

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Некрасова, все стихотворения Плещеева, все стихотворения Майкова, прибавить к ним все стихотворения Щербины и издать их вперемежку под общим названием «эротическо-гражданских стихотворений», а в предисловии тончайшим образом намекнуть, что в этом издании заключаются именно все стихотворения Некрасова, Плещеева, Майкова и Щербины. Цена 99 к. сер. и за предисловие 1 копейка – раскупят наверное.

Затем, что касается до «Песней Скорбного поэта», то и это цветок, выросший отчасти на почве русской гражданственности, отчасти на почве русского эротизма. Впрочем, любителям чтения легкого мы эту книжечку рекомендуем: они в ней найдут некоторую частицу остроумия. В особенности указываем на веселую пьеску «Литературные старожилы».

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОДПИСЬ. Соч. А. Скавронского. («Время» за 1862 г., № 12) 1 стр Г-н А. Скавронский взволнован; великий А. Скавронский скорбит. Он желает оправдаться, он ищет вывести публику из заблуждения. В Москве появился другой Скавронский, Н. Скавронский, который тоже пишет повести и которого, по сходству талантов, принимают за него, А. Скавронского. Повесть Н. Скавронского приписывают А. Скавронскому; повесть А. Скавронского приписывают Н. Скавронскому; происходит духовно-нравственная чепуха, совершается кабалистический маскарад, в котором А. и Н. Скавронские интригуют друг друга и не могут никак опознаться. «Да ты Н. ли Скавронский?» – вопрошает А. Скавронский. «Да ты А. ли Скавронский?» – в свою очередь, вопрошает Н. Скавронский. «Моя ли повесть «Село Сарановка»? – мучительно спрашивает сам себя А. Скавронский, – или я все это во сне видел: и «Сарановку», и «Пенсильванцев и Виргинцев», и «Бедных в Малороссии»?»

Публика, присутствующая при этом волнении, ничего не понимает. Она спрашивает сама себя, кто этот А. Скавронский, который утруждает ее внимание констатированьем своей личности, и начинает подозревать, что, должно быть, это псевдоним Петра Иваныча Бобчинского, того самого Петра Иваныча Бобчинского, который просил Хлестакова доложить и государю, и министрам, что вот, дескать, там-то, в таком-то уездном городе есть Петр Иваныч Бобчинский.

Или, быть может, А. Скавронский есть псевдоним Н. Скавронского, и наоборот?

Или, быть может, сочинение А. Скавронского есть невинная реклама, с помощью которой А. Скавронский хочет возбудить участие к Н. Скавронскому да кстати напомнить и о себе?

Вот вопросы, которые приходят на мысль публике.

Публика права, ибо она не знает ни А. Скавронского, ни Н. Скавронского. Быть может, она, от нечего делать, действительно прочитала и «Село Сарановку», и «Бедных в Малороссии», и несколько повестей из купеческого быта, но имена гг. Скавронских канули для нее в ту же безразличную бездну, в которой утонули Николаенки, Вахновские, Сердобские обыватели, Калужские обыватели, Прохожие, Проезжие и т. д. Она даже и припомнить ничего этого не может: «Было что-то такое всякое», – говорит она, и никак-таки не может вообразить себе, чтоб когда-нибудь мог существовать А. Скавронский.

Несмотря на горячие уверения г. А. Скавронского, что он именно Петр Иваныч... нет, не то! что он именно А., а не Н. Скавронский, публика и теперь не поверит этому. «А мне что за дело! – скажет она, – оба вы братья родные – ну, и целуйтесь!» Мы думаем даже, что публика смешивает их обоих с г-жою Вахновскою... Для чего же вы не протестуете, г. А. Скавронский! для чего вы не спешите вывести публику из заблуждения, что вы не Николаенко, а Скавронский? Имя ваше – легион, г. Скавронский! Вы напрасно тщитесь перечислять, какие именно ваши произведения помещались в «Современнике» и во «Времени». Вы думаете, что это достаточная для вас рекомендация; в таком случае, спешим вас разуверить. Журнальное дело в России – плохое и трудное дело: журналов много, а деятелей мало – вот почему журналы иногда помещают повести и рассказы вроде повестей и рассказов А. Скавронского. Читатели отлично знают это и снисходят, лишь бы напечатанное не слишком воротило человеческое сердце. Один г. А. Скавронский не понимает или не хочет понять этого; если б он понимал, то очень хорошо сознавал бы, что для него выгоднее было бы оставаться в той безразличной бездне, где свили себе гнездо гг. Николаенки и Вахновская. Журналы печатали бы да печатали себе его повести, а он получал бы за это умеренный гонорарий – никто бы и не заметил!

Быть может, история этим еще не кончится. Быть может, г. Н. Славронский будет отвечать г. А. Славронскому и предъявит публике все относящиеся к этому делу документы (ведь тут целая дипломатическая переписка была между А. и Н. Славронскими... родные-то братья!). Тогда мир увидит невиданное, услышит неслыханное! нечто вроде о споре семи городов относительно месторождения Гомера: только не семь городов будут доказывать, где именно родился г. А. Славронский, а г. А. Славронский будет доказывать, что он родился во всех семи городах.

Нам кажется странным, что почтенная редакция «Времени» решилась напечатать письмо г. А. Славронского. Во-первых, оно обидно для г. Н. Славронского, который может справедливо сказать, словами г-жи Толстогогарздовой (в комедии г. Островского «Не сошлись характерами»): «да что ж в этом есть постыдного, что я назвался Н. Славронский?» во-вторых, редакция «Времени», если даже она и дорожит сотрудничеством г. А. Славронского, все-таки обязана была внушить ему, что хлестаковщина в литературе допущена быть не может. Ведь «Время» очень хорошо знает, что не «Село Сарановка» и не «Бедные в Малороссии» составляют силу журнала – ну, и пускай бы себе шел г. А. Славронский с своими протестами в «Сын отечества».

В заключение, мы просим извинения у г. Н. Славронского, что привлекли его к этому нелепому делу. Он поймет, что предметом статьи нашей служил не он, а собственно А. Славронский, который почему-то впился в Н. Славронского и требует, чтоб их разлучила публика.

Мы просим извинения и у публики, потому что и она вправе претендовать на нас за то, что мы занимаем ее гг. Славронскими. Нам невозможно было иначе поступить, потому что в последнее время самохвальство сделалось какою-то эпидемическою болезнью между русскими литераторами. Поверит ли, например, кто-нибудь, что один литератор вдруг ни с того ни с сего объявил недавно в «Северной пчеле», что он так велик, что его даже во сне видит другой литератор? Что должна думать и чувствовать публика, которую потчуют подобными заявлениями? Публика недоумевают; она видит, что происходит нечто таинственное, и понимает, что по поводу всех этих снов можно только предложить себе вопрос: что сей сон значит?

О СТАРОМ И НОВОМ ПОРЯДКЕ И ОБ УСТРОЕННОМ ТРУДЕ (TRAVAIL ORGANISE) В ПРИМЕНЕНИИ К НАШИМ ПОМЕСТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ. Членом Вольного экономического общества Н. А. Безобразовым. СПб. 1863

Упразднение крепостного права вызвало множество элегических голосов. Замечательно, что все эти голоса совсем не заявляют себя противниками идеи освобождения крестьян, но более подступают к читателю по части чувствительности, то есть с точки зрения забот о меньшей братии. Все проекты разные пишут, как бы это улучшить да как бы так сделать, чтобы младенцам-то, младенцам-то хорошо было. Недавно, например, случилось прочесть в «Московских ведомостях» один такой проектец. Некто А. Муравьев («Моск. вед.» 1863 г., № 3) обеспокоился тем, что многие помещики не могут воспользоваться выкупною ссудой от правительства, потому что собственно, что крестьяне не соглашаются на дополнительные платежи, и что ж бы вы думали, какой он проектец сочинил? А вот какой.

Следующая мера правительства, без увеличения цифры выкупной ссуды, без малейшего обременения крестьян, могла бы, мне кажется, облегчить выкупные сделки.

Возьмем для примера местность, где высший размер оброка 9 рублей.

За выкупную ссуду 120 рублей крестьяне обязаны платить в казну, в продолжение 49 лет, по 7 руб. 20 коп. в год, следовательно, на 1 руб. 80 коп. менее оброка, платимого помещику.

Если правительство признало бы возможным, при выкупной ссуде, назначить, в продолжение 16 лет и 8 месяцев, сбор с крестьян полного оброка в 9 руб. и выдавать ежегодно помещикам по 1 руб. 80 коп. за каждый душевой надел, то, по истечении этого срока, они получили бы капитальную сумму дополнительного взноса в 30 рублей. Хотя при этом землевладелец и лишится процентами 11 руб. или 71/3 % полной выкупной суммы, но так как без рассрочки дополнительного платежа выкуп угодий редко может состояться, то и потеря неизбежна. Зато, для получения выкупной ссуды, землевладелец не будет зависеть от прихоти и своекорыстных видов крестьян. Главная же выгода этой меры та, что, не увеличивая налогов, она облегчает достижение цели выкупа угодий, а именно сохранения общественного

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) спокойствия прекращением обязательных и, следовательно, более или менее неприязненных отношений двух сословий. Крестьяне, увидя, что не выиграют ничего от своего упорства и от неисправного платежа оброков, сделаются сговорчивее при выкупных сделках, и цель правительства сделать крестьян собственниками осуществится легко в России.

Вот изволите видеть: крестьяне будут в течение 16 лет и 8 месяцев платить по 1 руб. 80 коп. с души лишнего – а налоги не увеличатся: крестьяне заплатят 30 руб. из своих собственных денег в пользу помещика – ан нет, не заплатят! или заплатят? или не заплатят?.. И все это на пользу меньшей братии: она, дескать, сама не понимает, что для нее выгодно! Мы ни слова не говорим здесь о том, справедлива или несправедлива мысль об обязательности выкупа земельных крестьянских угодий, мы не входим в разбирательство способов, посредством которых такой выкуп мог бы быть произведен, мы только спрашиваем, возможно ли до такой степени нерационально защищать свое дело, позволив ли во всеуслышание говорить, что дважды два составляют три, а не четыре?

Замечательно, что подобною детскою наивностью взглядов и доказательств отличаются вообще все скрытные защитники крепостного права. Сочинения и проекты их можно назвать упражнениями воспитанников средних учебных заведений; тут не только не может быть речи о зрелости мысли, но даже самый слог отличается чем-то детским.

Г-н Н. Безобразов принадлежит к числу бойцов, наиболее уязвленных уничтожением крепостного права, но теперь он уже не говорит, что уязвлен, а напротив того, отзывается, что крепостное право «тяготело над сельско-поместным бытом и стягивало его мышцы страдальческими узами». Что же беспокоит его? что заставляет его к простому и несложному вопросу об учреждении при Вольно-экономическом обществе справочного стола для приискания управляющих населенными имениями привязывать какие-то темные исследования насчет истинного значения крестьянской реформы? Ведь сам же он (и по нашему мнению, совершенно справедливо) говорит, что «общие качества хорошего управляющего суть: ум, знание, опыт, честность» и что человек, обладающий этими качествами, «всегда сможет приноровиться к новым требованиям и условиям», – казалось бы, что возбужденный вопрос этим и разрешается. Но у г. Н. Безобразова есть другой умысел: он хочет побеседовать о «неточном понимании так называемого старого и так называемого нового порядков», до чего, конечно, никакому управляющему никакого дела нет.

Г-на Н. Безобразова тревожит, что большинство русских смотрит на упразднение крепостного права слишком просто: ему желательно было бы, чтоб в этом явлении видели нечто более, нежели упразднение крепостного права. И вот он просит позволения «остановиться с сугубым вниманием над разъяснением себе как истинных значений старого и нового порядков, так и взаимного их соотношения».

Плодом такого «сугубого внимания» оказывается прежде всего, что «никакая новизна не может сделаться действительностью иначе, как прививкою себя к существующему и, следовательно, обращением себя как бы в последствие предшествовавшего» (такого рода философия, кроме воспитанников средних учебных заведений, заражена еще редакция «Русского вестника»). «Ужели кто решится сказать, – продолжает г. Н. Безобразов, – что в основах нашего сельского хозяйства – существующего не со вчерашнего дня... и лоно которого есть помещный быт – ничего нет благого, ни разумного? Да это было бы оскорблением разума целой страны!.. скажу более: это было бы поруганием богу, который допустил бы огромную отрасль человечества тысячелетствовать – в безрассудстве!»

Как видите, дело заходит довольно далеко, коль скоро в нем считается не лишним заинтересовать вседержителя. Читатель с изумлением спрашивает себя, о чем идет тут речь: об устранении ли препятствий к приисканию хороших управляющих, об условиях ли, при которых может развиваться русское сельское хозяйство, или о том, что упразднение крепостного права есть только прививка к существованию этого права, только последствие предшествующего? Очевидно, однако ж, что речь идет не об управляющих, – это уж дело, решенное самим г. Безобразовым, – а об условиях сельского хозяйства, столь радикально изменившихся с упразднением крепостного права.

Когда мысль об условиях, при которых может идти наше сельское хозяйство, озабочивает человека, относящегося к крестьянскому вопросу просто и принимающего его за факт совершившийся, то и вопросы, которые приходят на ум, имеют свойство

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) простое, прямо относящееся к сельскому хозяйству и ни к чему более. Он спрашивает себя о наиболее выгодных системах эксплуатации земли, о наилучших способах обработки, о средствах привлечь капиталы, создать кредит, необходимый при замене крепостного труда вольнонаемным, и т. д. Но для г. Безобразова все это частности, не стоящие разговора; он хлопочет совсем не о том, чтобы поставить на ноги сельское хозяйство, а о том, чтобы внушить, что уничтожение крепостного права есть собственно продолжение того же права и что, следовательно, старый порядок нисколько не изменился.

Поэтому он привлекает сюда помещный быт и находит, что освобождение крестьян дало возможность «развить... роскошно развить!.. основные и прекрасные его свойства».

«Подробное описание природы наших помещных отношений, – говорит г. Безобразов, – составило бы такого размера картину, которой вы, вероятно, от меня теперь не потребуете» (отчего же? это во всякое время очень интересно!). И вслед за тем очерчивает эту природу «в легком обрисе».

Этот легкий «обрис» природы помещного быта мы охотно изложили бы читателю, если б не были уверены, что это гораздо с большим талантом и умением может быть сделано драгоценным сотрудником нашим Кузьмою Прутковым. Но и при всей своей веселости, Кузьма Прутков едва ли сумел бы, без особенно тяжких усилий, выполнить ту задачу, которую г. Н. Безобразов выполняет с легкостью невероятной. Исходя все из той же плодотворной мысли, что упразднение крепостного права не есть упразднение, а только продолжение и развитие того же права, он целым рядом блестящих, но непонятных доказательств приводит читателей к убеждению, что все, происходящее вокруг них, есть водевиль, да и водевиль-то мнимый.

«Назовем ли мы новым порядком изложение двух тысяч с лишком статей, присовокупляя к тому три тома печатных циркуляров?» – спрашивает оратор и, нисколько не затрудняясь, отвечает: «Нет. Самая плодovitость этого явления – и в столь короткое время – доказывает, что в нем – попытка... прекрасная!.. но попытка, из коей иное привьется, другое же совершенно отпадет. А по общему закону разума, руководящего гражданством, привьется к жизни только то, что или отвращает прежний вред, или развивает дознанное уже благо».

А так как «дознанное благо» есть крепостное право, то и значит, что надобно его развивать, а на две тысячи статей смотреть, как на попытку... прекрасную!

В видах этого развития, г. Безобразов предлагает «устроенный труд». Что такое этот «устроенный труд», он не объясняет, но нет сомнения, что понимает. Ну, а мы тоже понимаем.

Но, сверх того, мы понимаем также, что г. Н. Безобразов выказывает себя, в своей речи, нигилистом самого крайнего свойства, ибо не признает действительного существования даже того, что успело себя заявить в числе с лишком двух тысяч статей.

АНАФЕМА, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ, СОВЕРШАЕМОЕ ЕЖЕГОДНО В ПЕРВЫЙ ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА. (Три письма к другу.) Составил А. А. Быстротоков. СПб. 1863 Грустно видеть, как иногда мы, люди, считающие себя образованными, нередко употребляем в разговоре слова не в истинном их значении. Еще грустнее то, что вместе с этим мы, иногда сами того не подозревая, делаем грех. Так, например, некоторые из нас имеют зазорную привычку служителей своих называть «анафемой»; конечно, мы делаем это по невежеству, ибо не знаем, что, произнося слово «анафема», мы вместе с тем отлучаем своих служителей от церкви. Если бы мы знали это, то, разумеется, прежде всего спросили бы самих себя, имеем ли право кого бы то ни было отлучать от церкви: одного этого вопроса было бы достаточно, чтоб воздержаться нас. А то мы часто думаем, что «анафема» есть выражение, равносильное «скверной роже», – ну, и анафемствуем, сами не подозревая, какой тяжкий берем на душу грех.

Вообще, в нашей жизни многое происходит неладно именно потому, что мы соединяем с некоторыми даже очень важными жизненными обрядами понятия самые неверные, а отчасти и нелепые. Так, например, многие ли из нас знают, что так называемые ефимоны представляют не что иное, как искаженное греческое слово мефимон (меф'имон, с нами, подразумевается: бог)? Не только не знают, но даже называют ефимоны филимонами – и где же называют? называют в благочестивой Москве! Такого

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) же рода извращенные понятия имеем мы и об обряде православия, совершающемся в сборное воскресение первой недели великого поста. Так, например, многие думают (преимущественно тоже в Москве), что при совершении этого обряда предаются, между прочим, анафеме те, которые ездят в экипажах с дышлами... ну, на что ж это похоже?

Очевидно, что все эти предрассудки необходимо истребить, так как сохранение их может повредить нам если не в сей, то в будущей жизни. К этой-то именно цели и направлена книжка А. А. Быстроотокова, которую мы теперь разбираем.

Так как читатели «Современника» вряд ли прочтут книжку почтенного автора, то мы считаем не лишним познакомить их с тем, кому именно произносится анафема. А именно, она произносится:

- «1) отрицающим бытие божие, и утверждающим, яко мир сей есть самобытен, и вся в нем без промысла божия, и по случаю бывают;
- 2) глаголющим бога не быти дух, но плоть; или не быти его праведна, милосерда, премудра, всеведуща, и подобные хуления произносящим;
- 3) дерзающим глаголати, яко сын божий не единосущный и неравночестный отцу, такожде и дух святой, и исповедающим отца и сына и святого духа, не единого быти бога;
- 4) Безумие глаголющим не нужно быти к спасению нашему и ко очищению грехов пришествие в мир сына божия во плоти, и его вольное страдание, смерть и воскресение;
- 5) Не приемлющим благодати искупления Евангелием проповеданного, яко единственного нашего ко оправданию пред богом средства;
- 6) дерзающим глаголати, яко пречистая дева Мария не бысть прежде рождества, в рождестве и по рождестве дева;
- 7) Не верующим, яко дух святой умудри пророков и апостолов, и чрез них возвести нам истинный путь к вечному спасению, и утверди сие чудесами, и ныне в сердцах верных и истинных христиан обитает, и наставляет их на всякую истину;
- 8) Отмещущим бессмертие души, кончину века, суд будущий, и воздаяние вечное за добродетели на небесех, а за грехи осуждение;
- 9) Отмещущим вся таинства святая, церковь Христовую содержащая;
- 10) отвергающим соборы святых отцев, и их предания божественному откровению согласия, и православно-католическою церковью благочестно хранимая;
- 11) Помышляющим, яко православные государи возводятся на престолы не по особливому о них божию благоволению, и при помазании дарования святого духа к прохождению великого сего звания в них не изливаются: и тако дерзающим против их на бунт и измену, яко Гришке Отрепьеву, Ивану Мазепе, и прочим подобным;
- 12) Ругающимся и хулящим святые иконы, ихже святая церковь к воспоминанию дел божиих и угодников его, ради возбуждения взирающих на оные к благочестию, и к оных подражанию приемлет, и глаголющим оные быти идолы».

Теперь читатели предупреждены; мы можем с своей стороны прибавить, что один из самых лютейших иконоборцев, греческий император Феофил, за это самое был поражен чревным недугом.

НЕСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫХ СЛОВ ПО СЛУЧАЮ НОВЕЙШИХ СОБЫТИЙ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ. Соч. М. Беницкого, издание К. И. Синявского. СПб. 1862 г  
\*\*\*

ЗАМЕТКИ И ОТЗЫВЫ. «Русск. вестн.» 1863 г., № 1-й  
Вести журнальное дело очень нетрудно. Надобно только взирать на вещи беспристрастно, то есть с патриотической точки зрения: дурное порицать, хорошее хвалить – и тогда все пойдет отлично. Никаких недоразумений не будет, никто к журналу не пристанет, и хотя вместе с тем никто его читать не станет, но проживет он все-таки покойно и неподозрительно. Я помню, один просвещенный

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) иностранец, лет пятнадцать тому назад, говорил мне: «Удивляюсь, как это Россию прославили в Европе варварским государством! да по-моему, нет в мире человека счастливее русского подданного! только ничего не трогай, и можешь быть уверен, что и тебя никто не тронет!»

Это правда.

Следовательно, чтобы прожить на свете спокойно, следует только иметь хорошее поведение, то есть ничего не трогать. Но этого недостаточно; мы, сверх этого, имеем право дурное порицать и хорошее хвалить. В приложении этой теории к практике не может встретиться никаких затруднений; ибо если сам не знаешь, что именно хорошо и что дурно, можешь обратиться к сведущим людям. И кажется мне, что просвещенный француз, основывавший наше русское счастье на одном ничего-нетроганье, был не совсем справедлив; нет, мы, русские, можем и трогать, с тем лишь ограничением, что должны трогать умеючи.

Это последнее право, то есть право «трогать умеючи» приобретено нами в течение последних восьми лет. Первый этим правом воспользовался «Русский вестник», который до того воспламенился им, что иногда даже трогал «не умеючи»; за «Русским вестником» поднялась целая фаланга «трогателей», которые все старались

...вникать во смысл таинственных загадок... – но успевали в этом не все равно: одни с большею, другие с меньшею прозорливостью, и в одном только были одинаково равны – это в умение трогать. Доказательством, как полезно такое умение трогать, служит то, что из этого троганья ничего не произошло, то есть ничего предосудительного, никаких неприятностей.

Тем не менее хотя право «трогать умеючи» само по себе не вредно, но я все-таки думаю, что система «ничегонетроганья» была не в пример полезнее. Во-первых, она национальнее, потому что мы, русские, вообще не охотники мешаться в чужие дела; это завещано еще стариком Гостомыслом, который и свои-то собственные дела советовал нам поручать людям, которые их лучше нашего знают. Во-вторых, эта система никого не спутывала, никого не обманывала, никого не обременяла; теперь поди еще справляйся, что следует хвалить, что следует порицать, а тогда просто: «ничего не трогай» – любезное дело!

Конечно, могут сказать, что человек, как существо разумно свободное, постепенным вниканием в существо лежащих на нем обязанностей и согласованием оных с потребностями людей сведущих может до такой степени усовершенствоваться, что даже самую природу свою препобедит. И тогда, скажут мне, не надо будет прибегать ни к каким справкам, ибо все эти справки будут, так сказать, раз навсегда заключены в человеческих сердцах. Это бывало. Сила этого «вникания» такова, что увлекает за собой не только людей, от природы расположенных к «согласованию», но и таких, которые первоначально никаких к «согласованию» способностей не выказывают. По крайней мере, история нам приводит достаточное количество примеров, как многие очень достойные и благонадежные люди первоначально были простыми озорниками, и именно благодаря постепенному вниканию сделались людьми достойными и благонадежными. В особенностях, такое вникание бывает полезно, когда им занимается очень понятливый человек. Такой человек может всякую штуку, всякий маневр над собой сделать; может раз навсегда вникнуть и согласовать до того, что и спрашивать ни у кого не будет нужды: точно он так и родился, точно сама природа еще до рождения напечатлела в его сердце золотыми буквами: «трогай умеючи»... Такие способные люди в просторечии называются золотыми.

Скажу более: можно обойтись и без вникания. Можно просто лечь спать озорником, а на следующее утро проснуться человеком достойным. Все зависит от свойства снов, какие видишь. Например, кто не знает, что нынешний французский министр без портфеля, г. Бильо, был когда-то самым отъявленным свистуном, и кто же не знает, что он в настоящее время один из самых достойных сынов Франции? И все это произошло без всякого вникания.

Итак, хотя я все-таки отдаю преферанс системе «ничегонетроганья», как не вводящей никого в соблазн, однако не могу противоречить, что встречаются искусные люди, которые и систему «троганья умеючи» успевают сделать весьма приятною, обратить ее себе, так сказать, в плоть и кровь, после чего она уже делается совершенно равносильною системе «ничегонетроганья».

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Талант «трогать умеючи» может иметь множество степеней и быть весьма разнообразным. Это зависит, во-первых, от богатства или убожества данных нам богом способностей, и во-вторых, от той специальности, которую мы разрабатываем. Но во всяком случае, на всех ступенях, во всех проявлениях, талант сей равно умилителен. Солнце, где бы оно ни было видимо: в капле ли воды или в пространной луже, везде солнце. Даже в капле воды видеть его любопытнее; думаешь: вот поди ты – капляшка малая, а солнце вмещает! Точно то же должно сказать и относительно права «трогать умеючи». Тут дело не в том, что у одного это право выражается чем-то вроде писка, а у другого вырывается из груди в виде бурного дыханья, а в том, что одно и то же начало смотрится и в капле малой и в луже пространной, что и та и другая служат принципу по мере сил своих, со всем усердием и со всякою готовностью...

Во всяком случае, система «ничегонетроганья», которую так умилялся просвещенный француз, уже отжила свой век, и мы должны с этим помириться. Мы обязываемся постоянно что-нибудь «трогать», потому, что первый же «Русский вестник» может спросить нас: а почему же вы того или другого вопроса не трогаете? а может быть, вы находите, что это вопросы, не заслуживающие вашего внимания? и может быть, вы думаете, что разрешение, которое дано им жизнью, несовместно с вашими фантазиями? что ж бы мы ответили на такие запросы? Нет, тут даже и скромная фигура умолчания неуместна! Ну вот, мы и «трогаем» помаленьку.

Мы трогаем, потому что нас самих очень многое трогает. Мы не можем оставаться равнодушными ко всем этим «штукам и экивокам», потому что эти штуки и экивоки близко касаются нас самих. В этом смысле, высокомерное к ним отношение было бы явлением в высшей степени неуместным и бесполезным, потому что, как бы ни были обширны наши требования от жизни, все-таки мы по временам бываем вынуждены, так сказать, смириться и заменить орлиный полет куриным. Конечно, сознавать себя скромной курицей не всегда приятно, но ведь что же станешь делать, когда размеры деятельности, мыслей, желаний и даже мечтаний полагаются внешними условиями и когда при этом сознаешь, что проспять жизнь невозможно.

По крайней мере, я за себя отвечаю. Я именно могу сказать о себе:

С природой одною я жизнью дышу,  
Я чувствую трав прозябанье... –  
а следовательно, могу понимать и всякие экивоки.

Правда, что по временам меня еще посещает мысль, что иногда можно бы допустить и систему «троганья не совсем умеючи». То есть не то чтобы совсем не умеючи, а так, с помощью, так сказать, некоторых невинных антраша. И не то чтобы взаправду допустить, а так вроде чего-нибудь примерного. По моему мнению, это было бы даже пользительно. Во-первых, эти антраша, сами по себе очень невинные, имели бы все внешние признаки виновности и наложили бы печать безмолвия на уста тех ничем не довольных грубиянов, которых как ни корми, а они всё в лес смотрят. Во-вторых, мы очень скоро бы убедились, что человек, в совершенстве обладающий систему «троганья не совсем умеючи», непременно, в самом непродолжительном времени и без всякой посторонней помощи, дойдет до системы «троганья умеючи». И вот тогда-то мы были бы вправе сказать во всеулышание: «Смотрите! не совершается ли перед вами наглядным образом естественный закон тяготения!» И никто бы не мог сказать против этого ни слова, кроме меня, разумеется, который всю эту штуку придумал и даже предусмотрел вероятные ее последствия.

Итак, повторяю: талант «трогать умеючи» умиляет меня во всех степенях и во всех проявлениях. В малой ли капле воды или в пространной луже он обнаруживает действие свое – везде он для меня приятен, везде я хвалю его. Иногда я могу не соглашаться с самым содержанием известного «троганья», но как принцип, как искусство для искусства, я не могу не благоговеть перед ним.

Вот, например, теперь передо мной лежит скучная, плохая брошюрка, под названием «Несколько серьезных слов по случаю новейших событий в С. Петербурге», и рядом с нею первый № «Русского вестника» за сей год с заметкой о польском вопросе, то есть не столько о польском вопросе, сколько о глаголемых «мальчишках» и «нигилистах». И если мне скажут, что о «нигилистах» и «мальчишках» тут нет и помину, а говорится об «изменниках», то я отвечу: да, действительно, слова «мальчишки» и «нигилисты» обойдены довольно искусно, но есть в статье запах такой, который ясно говорит о присутствии этих слов. Ведь и в брошюре г. Беницкого, трактующей собственно о поджигателях, не указывается прямо на

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) «мальчишек», но кто же, прочитав эту прекрасную брошюру, усумнится сказать: ну да, это они! Это мальчишки! Да сверх того, и память же какая-нибудь есть у читателей: все помнят, какие в прошлом году изрекал «Русский вестник» предики мальчишкам устами г. Белястина...

Читая эти два произведения человеческой преданности, я и в том и в другом равно удивляюсь, до какой смелости полета может возвышаться потребность облегчиться от всей чепухи, накопившейся на дне взволнованной души, и нахожу между ними ту разницу, что они различным слогом написаны. Это очень жалко, потому что из-за слога г. Беницкий, чего доброго, не попадет в сотрудники «Русского вестника», которого он мог бы быть истинным украшением.

Слог г. Беницкого не блестящ и не сжат; напротив того, он отчасти размазист, отчасти напоминает писк новорожденного поросеночка, да и то не настоящего поросеночка, а как будто бы рожденного от курицы. Должно быть, он еще молод и имеет чин не выше коллежского регистратора, потому что, несмотря на взволнованность своих чувств, все-таки пользуется удобным случаем, чтобы показать, что и он что-нибудь знает – как же! посмотрите, говорит, на Македонскую империю, вспомните, говорит, древнюю Грецию! Или, быть может, это происходит от того, что он слишком уж стар, а известно, что старики любят поболтать о прежних шалостях. Кто знает, быть может, г. Беницкий даже сверстник Александра Македонского, обратившийся, в течение времени, из македонской веры в православную; так как же ему и не поговорить о нем! Во всяком случае, эти ссылки на героев древности положительно вредят его слогу и наполняют брошюру его ненужными околичностями. Мысль, которую проводит г. Беницкий, так ясна сама по себе и так ароматна, что привлекать к ней македонян и греков нет никакой надобности. Сверх того, г. Беницкий излагает в своей брошюре какие-то теории, – ну, и это много ему вредит. Ну, посудите сами, каких еще нужно теорий, когда при взволнованности чувств одна только и может быть теория – любвеобильное человеческое сердце! Тут надо быть сжатым, кратким, удушливым, почти иссушающим.

Все это очень хорошо понял публицист «Русского вестника»; по всему видно, что это мужчина зрелых лет, и хотя не сверстник Александра Македонского, но и не коллежский регистратор. Он не ссылается ни на македонян, ни на греков, потому что знает, что всякий читатель заранее уверен в его знакомстве и с теми и с другими. Он не чувствует также надобности излагать какие-нибудь теории, потому что очень хорошо понимает, что в таком деле может быть допущена только одна теория. Поэтому речь у него краткая, знойная и удушливая. Подобно Белястину проносится он по рядам «мальчишек» и поражает их бестрепетно, ибо знает, что «трогает умеючи». Это волнение спокойное, это гнев, так сказать, сладкий, уверенный в будущей похвале. Это идеал неподозрительного гражданского слога, посредством коего всякий благонадежный человек может выражать свои чувства со всею откровенностью.

Но слогом и ограничивается разница между обоими публицистами. Намерения их одинаковы и заключаются в том, чтобы «трогать умеючи», то есть обвинять так называемых прогрессистов, нигилистов и мальчишек в измене и революционных стремлениях. Средства, посредством которых они всё сие производят, тоже одинаковы и заключаются в том, чтобы действовать на читателя не столько силою доказательств, сколько силою прозорливой уверенности в невозможности каких-либо возражений. Ни тот, ни другой не имеют в предмете обвинять людей зрелого возраста и даже средних лет, потому что между такими людьми могут встретиться генералы и действительные статские советники.

Г-н Беницкий очень наивно спрашивает себя, о чем он говорит и каких лиц разумеет? И очень наивно же отвечает: «обратите только внимание, сколько лиц суждено и осуждено за распространение возмутительных возгласов среди простых, невинных людей, если вспомним страшный пожар, бывший 28 мая в Петербурге, если судом будет доказано, что произошел он от поджогов, и на те подметные письма, которые публика неоднократно находила у себя, – тогда каждый поймет, о каких недостойных людях я говорю». Затем, далее он говорит, что пишет собственно в назидание молодых людей...

Публицист «Русского вестника» менее деликатен, потому что более уверен в своей прозорливости. Кроме положительных указаний г. Белястина по этому предмету, он имеет еще и некоторые врожденные идеи, которые не оставляют в нем никакого сомнения, что виновники всех бедствий – именно «прогрессисты». «Мы было думали, – говорит он, – что эта забава (хороша забава!) уже надоела нашим прогрессистам,

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) но вот перед нами новая прокламация со штемпелем земля и воля... Такого поступка нельзя было ожидать даже от наших прогрессистов: это еще хуже пожаров».

Г-н Беницкий прежде всего считает должным ознакомить читателя с теми началами нравственными, политическими и гражданскими, из которых он выходит. «Кажется, каждый, в особенности образованный христианин, – говорит он, – понимает, что только там государство процветает и славится, где подданные неуклонно повинуются властям, соблюдают в точности законы и ведут жизнь так, как благоприятно богу и свойственно христианину. Но, к сожалению, некоторые из малодушных людей смотрят на все в жизни в превратном смысле... Для них скучно смотреть на благосостояние отечества, видеть соотечественников в счастии и благополучии... Глупцы, в буквальном смысле, с подобными свойствами люди. Что было бы, если бы в государствах не было властей и законов? Конечно – хаос-кавардак!.. Тогда дети оскорбляли бы родителей, младшие обижали бы старших, кто силен, тот и был бы всегда прав, обижали бы, грабили друг друга открыто; вели бы жизнь самую развратную – и все бы это, конечно, повело государство к потрясению».

Нет сомнения, что эта государственная теория самая настоящая. Что может быть типичнее слова «хаос-кавардак»? и что может быть устрашительнее перспективы постоянного грабежа и постоянной развратной жизни? Однако публицист «Русского вестника» ничего об этом не говорит. Он не говорит, потому что знает, что есть мысли до того умные, что сделались даже глупыми; он не говорит, потому что предполагает, что никто не должен сомневаться, чтоб у него не было таких мыслей; он не говорит, наконец, потому, что наверное знает, что и г. Беницкому неоткуда было почерпать эти мысли, как из того же «Русского вестника».

Почтенный публицист знает, что в прежние времена россияне исповедовали, что хорошие мысли зарождаются в голове независимо от каких-либо государственных теорий, и что только со времени появления «Русского вестника» они начали прибегать к изъяснению хороших мыслей посредством хороших государственных теорий. Прежде россияне приказывали просто: «люби!» теперь они говорят: «люби!» потому что в противном случае выйдет хаос-кавардак!» Все это с достодолжною ясностью изложил «Русский вестник» в продолжение семилетнего своего существования и тем самым доказал, что любить, во всяком случае, есть первейший наш долг и самонужнейшая наша обязанность. Поэтому-то, быть может, он и не счел за нужное обращаться к этой материи в новом своем упражнении. Но почтенный публицист забыл, что хорошие вещи при всяком удобном случае повторять пользительно, потому что люди наивные и простодушные и до сих пор продолжают смешивать эти два рода любви: любовь практическую («люби!» просто) и любовь теоретическую («люби, потому что выйдет хаос-кавардак!»). Между тем первая есть плод системы «ничегонетроганья», вторая есть плод системы «троганья умеючи». Обе эти системы весьма различны, хотя они обе одинаковы; их нельзя между собой смешивать, хотя их нельзя и не смешивать. Вот на эту-то различную одинаковость обеих систем, на эту-то их несмешиваемую смешиваемость и должно быть обращено внимание. А внимание это каким образом может быть обращено? А это может быть сделано очень просто: не смешивай, дескать, – и дело с концом!.. О, черт возьми, да никак, мы опять пришли к системе ничего-нетроганья!

Далее г. Беницкий говорит: «Ах, какие гнусные поступки (пожары и прокламации)! Где же? в России, между православными и притом почти цивилизованными людьми. По моему мнению, – это не люди и не потомки праотца нашего Адама, а изверги рода человеческого».

Этого публицист «Русского вестника» тоже не говорит, но, наверное, думает что-нибудь в этом роде, потому что иначе откуда же мог бы узнать г. Беницкий, что есть на свете люди, которые могут не быть «потомками нашего праотца Адама». Это он мог узнать только из «Русского вестника», который один изредка занимался распространением подобных идей. Сверх того, я думаю, что «Русский вестник» идет далее г. Беницкого в том отношении, что последний полагает, что «гнусные поступки» могут составлять принадлежность людей только почти цивилизованных, между тем как «Русский вестник» положительно обвиняет в гнусных поступках одних «прогрессистов», то есть людей совершенно цивилизованных и передовых. Отсюда другое различие между гг. Беницким и публицистом «Русского вестника». Первый говорит прямо: «Я очень верю тому, что науки в жизни вещь похвальная; они юношей питают, отраду в старости подают»; второй, напротив того, косвенным образом доказывает, что науки могут вести лишь к «гнусным поступкам».

Не выдавая своего мнения за непогрешимое, я осмеливаюсь, однако ж, думать, что в

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) этом спорном вопросе правда на стороне г. Беницкого и что к «гнусным поступкам» более способности выказывают люди «почти цивилизованные», нежели «прогрессисты». Конечно, я этого не утверждаю, но думаю, что «позволительно так думать», как выражаются «Московские ведомости». Я спрашиваю себя: каким образом определить звание «почти цивилизованного» человека, о котором говорит г. Беницкий, и определяю его так: это человек низшего сорта, который услаждает свои досуги отчасти «Нашим временем», отчасти «Русским вестником», и, получив от этого занятия не здоровую и питательную пищу, а нервное лишь раздражение, делается способным к упомянутым выше поступкам. Напротив того, прогрессист есть человек, «Русского вестника» не читающий, но изучающий науку по подлинникам и вообще занимающийся делом, а не московскою публицистикой. Поэтому мне кажется, что прогрессисту даже времени нет для того, чтобы волновать общественное мнение, и что дело поддразнивания, дело подуськивания, кивания головами и подергивания носом есть дело тех «почти цивилизованных» колотырников, которые единственно об этом помышляют, как бы им свое самолюбьишко и свою изворотливость куда бы то ни было испоместить.

Таких изворотливых и самолюбивых людей очень много в наше тревожное время, и специальность их именно в том и заключается, чтобы волновать и пугать ложными страхами людей невинных и простодушных. Большею частью это люди уже взрослые и заглядывающие в чужие карманы с некоторым умилением, не лишенным характера плотоядности. Поэтому, когда они проходят мимо меня, то я прячу платок свой как можно далее, а четвертака даже и не показываю.

Что же мудреного, если люди сии, яко в бездельных изворотах искусившиеся, оказываются наклонными и к «гнусным поступкам»? Это их исконная профессия (врожденная идея) – и больше ничего. Итак, не они ли именно суть истинные виновники пожаров и того, что хуже пожаров?

Этот вопрос, или, лучше сказать, эту «серьезную мысль» я отдаю на рассмотрение г. Беницкому и публицисту «Русского вестника», предупреждая их, впрочем, что это с моей стороны остроумная догадка, и ничего больше. Вообще я много предоставляю разрешению этих публицистов и многого же от них надеюсь. Я надеюсь, например, что г. Беницкий возразит «Русскому вестнику», а «Рус. вест.» не оставит этого возражения без ответа, потом опять возразит г. Беницкий, и опять это возражение не останется без ответа. И будет наш отечественный мир свидетелем полемики, в которой оппоненты не понимают ни предмета своего спора, ни того, что они оба говорят одно и то же. Быть может, окажется, что они говорят совсем не о том, об чем говорят; быть может, окажется, что поджигатели совсем не прогрессисты, а коллежские ассессоры? Да, я надеюсь, что и это может оказаться, потому что ожидаю очень многого от диалектической наивности г. Беницкого.

Еще далее, г. Беницкий говорит: «Если подобные, унижающие человека заблуждения злочестивые люди считают вероятными, истинными, то почему же они свои похвальные идеи не решаются распространять между другими путем прямым, открытым?» Именно, именно так; скажите, почему? ну да, почему? хочет с своей стороны поддакнуть публицист «Рус. вестн.», но, неизвестно с чего, вдруг покрывается пурпуром стыдливости. Припоминаются ему все эти «Бруки и Броки», все эти «Китайские ассигнации»... «Господи! да неужели я все это делал? неужели и во мне когда-нибудь этот яд действовал?» – лепечет он, и в испуге уже представляется ему, что его заставляют лизать раскаленные сковороды...

И еще говорит г. Беницкий, что «ум человеческий слаб и переменчив, как крылья ветряной мельницы». Этого публицист «Русского вестника» не говорит, потому что это давно уже было высказано на его страницах г. Юркевичем.

Но всего умилительнее то, что и г. Беницкий не объясняет, кого именно он понимает под людьми «почти цивилизованными», и публицист «Русского вестника» умалчивает, кто такие «прогрессисты». И таким образом, и тот и другой занимаются своего рода таинственной литературой, в которой бог знает кто обвиняет бог знает кого. От этого читатель недоумевает. Он думает, что «прогрессисты» – это нынешние титулярные советники в первоначальном своем нераскаянном виде. Он думает, что если нынешние титулярные советники суть раскаявшиеся прогрессисты, то кто же мешает нынешним прогрессистам заключать в себе, как в зародыше, будущих титулярных советников?..

Никто.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ. Повесть времен Иоанна Грозного. Соч. гр. А. К. Толстого. 2 тома. С.-Петербург. 1863 г

Византийское это сочинение составляет как по внешней своей форме, так и по внутреннему содержанию, явление столь отличное в кругу современных литературных произведений, что редакция не нашла, в числе своих постоянных сотрудников, ни одного, который взялся бы написать на него рецензию. Между тем сочинение произвело в публике некоторое впечатление, так что игнорирование его могло бы быть сочтено за злонамеренность. Поэтому редакция вынуждена была обратиться за помощью к одному отставному учителю, некогда преподававшему российскую словесность в одном из кадетских корпусов. К сожалению, почтенный педагог, столь обязательно принявший наше предложение, не мог выполнить его до конца: ужасный паралич преждевременно прекратил дни его в самом начале труда. Тем не менее мы печатаем его рецензию так, как она нам доставлена, и думаем, что и в этом виде она могла бы служить украшением любой книжки «Северных цветов», точно так же как сам «Князь Серебряный» был бы весьма приятным явлением в «Аонидах».

Я помолодел; читаю и не верю глазам. Любезный граф! волшебную вашу кисть вы окунули в живую воду фантазии и заставили меня, старика, присутствовать при «делах давно минувших дней», исполать вам! Но еще больше вам исполать за то, что вы воскресили для меня мою юность, напомнили мне появление «Юрия Милославского», «Рославлева», напомнили первые попытки робкого еще тогда Ложечникова. Это было счастливое время, любезный граф; это было время, когда писатели умели

Истину царям с улыбкой говорить...

Когда всякий, не скрывая своего сердца, заявлял о чувствах преданности (да и зачем это скрывать?)... Но, конечно, никто еще не высказывал такой истины, какую вы высказали Иоанну Грозному! Да, вы воскресили для меня доброе, старое время, которое я считал давно погибшим! Но довольно о себе.

Внешнее построение романа графа А. К. Толстого вполне соответствует правилам, на предмет составления таковых упражнений преподаанным. В нем имеется завязка (и даже, как увидим ниже, не одна, а несколько завязок, что делает интерес романа почти нестерпимым), из которой действие развивается, постепенно возвышаясь, покуда, наконец, не достигает своего зенита; по достижении сего действие развивается уже понижаясь и незаметно утопает в развязке. Многие нынешние писатели правилами сими пренебрегают, думая, что завязка и развязка не составляют еще существенного условия литературного упражнения, но доказать неосновательность подобного воззрения очень нетрудно: стоит только вспомнить о том, что всякая вещь имеет свое начало и свой конец. Нынешние писатели думают, что обязанность их заключается лишь в том, чтобы поставить героев своих в критическое положение, и что, по исполнении сего, можно их бросить. «Сказав это, они вздохнули и разошлись» – вот фраза, которою модные современные повествователи позволяют себе заканчивать незрелые свои произведения. Но читатель любопытен; он хочет знать, куда разошлись герои, куда пошел он, куда направила путь она; что они делали, что в тот день обедали, сколько времени жили и как умерли. Все это графом Толстым исполнено. Исполнено им и другое требование теории, касающееся характеров действующих лиц. В сем отношении теория неумолима; она требует, чтобы действующие лица имели характеры разнообразные, и даже указывает, какие должны быть эти характеры. Впереди всех, разумеется, идет герой; герой должен быть из хорошего семейства; благороден, но тверд, чувствителен, но не лишен рассудка, правдив, но не без надежды, что автор, в сомнительном случае, найдет возможность вытащить его из беды, великодушен до безрассудства, но зная, что великодушные поступки никогда не пропадают даром; сверх сего, не худо, если герой человек с деньгами. Героинею может быть всякая хорошая женщина, которой наружность представляет в себе что-либо для мужчины привлекательное; нужно только, чтобы она была: или мужнею женою (это необходимо для завязки), или же хотя и девицею, но не одинакового с героем звания или состояния (это также необходимо для той же надобности). Засим, лица, окружающие героя и героиню, должны разделяться на друзей и врагов. Друзья могут быть следующих сортов: а) добродушный, веселый и верный (обыкновенно слуга); б) друг глупый, но тоже веселый (также из низшего звания); в) друг заблудшийся, но верный и умный (тоже из низшего звания, обыкновенно разбойник) и, наконец, г) друг из высшего звания. Враги могут быть трех сортов: а) враг честный, но неумышленно обиженный (обыкновенно муж героини или крестовый ее брат), б) враг жестокий, враждующий, сам не зная почему, и в) враг коварный. Затем следуют князие мира воздушного, их угодники, юродивые и колдуны, в отношении которых оставляется авторам полная свобода действия, с тем, однако ж, ограничением,

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) чтобы и сии лица непременно являли силу характера. Это второе требование теории также графом А. К. Толстым соблюдено, равно как и третье относительно слога. Слог этот можно назвать жемчужным (*style perlé*). Одно лишь условие (четвертое) не соблюдено любезным сочинителем: обычай требовал, чтобы роман был разделен на четыре части, а не на две, как это сделано в настоящем случае; но и этому читатель легко может помочь, умственно разделив каждую часть на две половины.

Что же касается до внутреннего содержания романа, до его основной идеи, то, кажется, я не ошибусь, если отыщу оную в следующих заключительных словах 9-й главы части 1-й. «Молится царь и кладет земные поклоны. Смотрят на него звезды в окно косячатое, смотрят светлые притуманившись, – притуманившись, будто думая: ах ты гой еси, царь Иван Васильевич! Ты затеял дело не в добрый час, ты затеял, нас не спрашаючи: не расти двум колосьям в уровень, не сравнивать крутых гор с пригорками, не бывать на земле безборящины!»

Надо сознаться, что в государстве, в коем еще недавно существовали так называемые «Редакционные комиссии», высказать подобную мысль есть дело довольно смелое... Умолкаю, дабы не навлечь автору неприятности.

Но довольно об общих чертах романа; буду разбирать по главам, как делывалось в наше доброе, старое время и как невозможно делать нынче, ибо нынешние литературные упражнения нельзя понимать иначе, как прочитавши все главы в совокупности. Разобравши сочинение по главам, приступлю к разбору характеров действующих лиц.

Первая глава начинается тем, что к деревне Медведевке, верст за тридцать от Москвы, подъезжает двадцатипятилетний князь Никита Романович Серебряный, возвращающийся из Литвы, куда он был послан царем Иваном Васильевичем для подписания мира. Удачное начало! Героя своего талантливый граф описывает простодушным, вспыльчивым, правдивым и имеющим соответственную сим качествам наружность. Наружность сия простосердечна и откровенна; роста он среднего, широк в плечах, тонок в поясе. Вообще, описание сие можно бы назвать мастерским, если бы не вкралась в оное некоторая непоследовательность, а именно, на стр. 12-й есть указание на некоторую косую складку, находившуюся между бровями и означающую, по мнению автора (весьма остроумному), беспорядочность и непоследовательность в мыслях, и вслед за тем говорится, что рот героя выражал ничем непоколебимую твердость. Из этого выходит, что рот в соединении с складкою выражал твердость непоследовательную и беспорядочную, или же твердую беспорядочность, что, всеконечно, не входило в расчеты деэписателя; но зато все прочее в сей главе превосходно. Князь возвращается на родину, не зная, что царь Иван Васильевич, в отсутствие его, испортил свое поведение и завел опричнину. Об этом он узнает от поселян деревни Медведевки, и вслед же за сим неожиданным образом знакомится и с самими опричниками.

Известно всякому, сколь пагубно было для России сие заведение... Но между тем, как князь добродушно присутствует при забавах поселян, вбегает окровавленный двенадцатилетний мальчик, и вслед за ним врываются опричники под предводительством Хомяка, стремянного Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского. Неистовства, которые производят опричники, описаны весьма естественно и в совершенстве напоминают изображаемые обличительною литературой наезды земской полиции. Само собой разумеется, что благодушный князь принимает сторону угнетенных и с помощью своих людей не только посрамляет опричников, но и освобождает от них еще двоих полоненных ими неизвестных людей. Сначала, следуя лишь внушениям своего благородного характера, князь намеревается перевешать опричников, но потом, однако ж, уступает резонам неизвестных людей и ограничивает кару тем, что допускает своего стремянного Михеича «влепить опричникам по полсотенке нагайками». Сцена эта исполнена истинно национального юмора; в ней чрезвычайно тонко выражен простодушный взгляд русского человека на нагайки, которые, пройдя сквозь горнило народного представления, утрачивают истязательный свой характер и представляются уму беспристрастного наблюдателя лишь простым и незлобивым времяпровождением. Здесь кончается эта замечательная глава, которая с тем вместе составляет и завязку романа. В самом деле, не влепи Михеич опричникам по полсотенке, и романа бы не было! Слог в этой главе представляет смесь высокого (*sublime*) с низким (*burlesque*), смотря по тому, кто говорит и о чем идет речь.

Во второй главе князь едет к Москве, сопровождаемый стремянным Михеичем и двумя спасенными незнакомцами. Едут лесом, и один из незнакомых затягивает песню; эта

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) песня наводит автора на размышления о русской песне вообще, поражающие тою самую оригинальностью, которая извлекает из учителя российской словесности полный балл в пользу отличившегося ею ученика. Вдруг раздается подозрительный свист, и путешественников окружают станичники (разбойники); очевидно, что князю предстоит опасность, но не бойся, читатель, его не убьют! И в самом деле, открывается, что спасенные незнакомцы суть тоже разбойники, и даже один из них, Ванюха Перстень, оказывается атаманом. Дело объясняется само собой, и путники благополучно приезжают на мельницу, в которой обитает колдун-мельник. Спасенные незнакомцы возвращаются восвояси, а князь с Михеичем остаются ночевать на мельнице и вскоре засыпают. И в этой главе слог представляет смесь высокого с низким, но более преобладает низкий элемент, ибо действуют преимущественно простолюдины.

В третьей главе мы знакомимся с князем Афанасьем Ивановичем Вяземским, одним из опричников Грозного. Он приехал к мельнику, чтобы воспользоваться его наукой и приворожить к себе ту, которую он любил.

До чего может довести любовь человека самого безнравственного и до какой высоты может идти слог уже сам по себе высокий, это явствует из следующей речи кн. Вяземского.

– Колдун, – продолжал князь, смягчая свой голос, – помоги мне! Одолела меня любовь, змея лютая! Уж чего я не делал! Целые ночи перед иконами молился! Не вымолил себе покою. Бросил молиться, стал скакать и рыскать по полям с утра до ночи, не одного доброго коня заморил, а покоя не выездил! Стал гулять по ночам, выпивал целые ковши вина крепкого, не запил тоски, не нашел себе покоя в похмелье! Махнул на все рукой и пошел в опричники. Стал гулять за царским столом вместе со страдниками, с Грязными, с Басмановыми! Сам хуже их злодействовал, разорял села и слободы, увозил жен и девок, а не залил кровью тоски моей! Боятся меня и земские и опричники, жалуется царь за молодечество, проклинает народ православный. Имя князя Афанасья Вяземского стало так же страшно, как имя Малюты Скуратова! Вот до чего довела меня любовь, погубил я душу мою! Да что мне до нее! Во дне адовом не будет хуже здешнего! Ну, старик, чего смотришь мне в глаза? Али думаешь, я помешался? Не помешался Афанасий Иванович; крепка голова, крепко тело его! Тем-то и ужасна моя мука, что не может извести меня!

Князь требует от мельника такой травы, чтобы «молодушка полюбила постылого», или же такой, чтобы свою любовь перемочь, но мельник отзывается, что он таких трав не знает, а знает: колюку-траву, тирлич-траву, плакун-траву, адемову голову, голубец болотный, ревенку-траву, кочадыжник, Иван-да-Марью, разрыв-траву. Однако свойства сих трав не таковы, чтобы потушить пожар, пламенеющий в груди свирепого князя, и потому он начинает трясти мельника за ворот. Эта сцена дышит такою правдою, что я не смею не привести ее целиком.

– Старик! – вскричал вдруг Вяземский, хватая его за ворот, – подавай мне ее! Слышишь? Подавай ее, подавай ее, леший! Сейчас подавай!

И он тряс мельника за ворот обеими руками.

Мельник подумал, что настал последний час его.

Вдруг Вяземский выпустил старика и повалился ему в ноги.

– Сжался надо мной! – зарыдал он, – излечи меня! Я задарю тебя, озолочу тебя, пойду в кабалу к тебе! Сжался надо мной, старик!

Мельник еще более испугался.

– Князь, боярин! Что с тобой? Опомнись! Это я, Давыдыч, мельник!.. Опомнись, князь!

– Не встану, пока не излечишь!

– Князь! князь! – сказал дрожащим голосом мельник, – пора за дело. Время уходит, вставай! Теперь темно, не видал я тебя, не знаю, где ты! Скорей, скорей за дело!

Князь встал.

– Начинай, – сказал он, – я готов.

Как хотите, а такой быстрый переход от трясения за ворот к валянию в ногах положительно доказывает, что автор добросовестно изучил науку словосочинения, которую подобные внезапные переходы не только не возбраняются, но даже поощряются, вопреки притязаниям другой науки, называемой психологией (известно, что в наших средних учебных заведениях науки, преподаваемые различными учителями, постоянно состоят во взаимной друг с другом вражде).

Затем мельник начинает колдовать и заставляет князя смотреть под колесо. Князь смотрит и видит будущую судьбу свою, то есть свою собственную казнь, но это его интересует мало; он хочет знать – такова уже сила любви! – любит ли она другого. С этой целью он опять смотрит под колесо и, разумеется, видит ее не одну, а с русым молодцом в кармазинном кафтане. «Анафема! – восклицает он, – они целуются! Анафема! Будь ты проклят, колдун, будь проклят, проклят!»

Разумеется, бросает мельнику горсть денег, вскакивает в седло и уезжает.

Это – вторая завязка романа. Читатель предчувствует героиню и знает, что есть некоторый русский молодец в кармазинном кафтане. Сказать ли более? кажется, что читатель начинает даже подозревать, что русский молодец в кармазинном кафтане есть не кто иной, как сам князь Серебряный.

Глава сия написана языком правильным и вообще ведена старательно. Но возникает вопрос: верит ли любезный граф в колдовство мельника или не верит? Если принять в соображение состояние отечественного просвещения, то, конечно, надо будет дать ответ отрицательный; если же принять в соображение, что, невзирая на просвещение, в природе все-таки скрывается много таинственного и что нельзя же предположить, чтобы князь Вяземский мог столь верно усмотреть ожидающую его участь, если б она не была ему показана в воде искусным мельником, то ответ будет едва ли не положительный.

Главы 4, 5 и 6-ю следует разбирать в совокупности. Они застают нас сначала в саду, а потом в доме боярина Дружина Андреевича Морозова, к которому приезжает князь Серебряный с грамотой от князя Пронского. В саду боярыня Елена утешается с сеньными девушками, в доме сидит старый боярин Дружина Андреевич и соболезнует о том, что находится под опалой и не видит светлых очей царских, за то, что на царском пире не захотел уступить свое место Годунову. Замечательная черта боярского самолюбия, подмеченная еще Карамзиным. Боярин и боярыня живут, как брат с сестрой, ибо Дружина Андреевич, по преклонности своих лет, иначе и жить уж не может, – это третья завязка романа. Является князь Серебряный и, еще не войдя в дом к Морозовым, через частокол видит в саду боярыню Елену, видит и не верит глазам своим. Прозорливость читателя оказывается вознагражденною: русский молодец в кармазинном кафтане есть именно князь Серебряный, а боярыня Елена есть именно та самая боярыня Елена, которая до замужества еще любила Серебряного, но впоследствии, чтобы избавиться от преследования князя Вяземского, вынуждена была выйти замуж за Морозова. Сцена свидания через частокол написана рукою искусного мастера. Сначала князь негодует и даже «не хочет тратить понапрасну речей», но под конец дело все-таки приходит к тому, что «они бросились друг к другу, и уста их соединились»... Чтобы достигнуть этого, не поломав разделяющий их частокол, князь поднимается на стременах, а боярыня становится на скамью. Опять дивный переход от негодования к нежности, после которого герой романа уже отправляется к Морозову в дом. Там они беседуют об опричниках, о перемене, происшедшей в характере царя Ивана Васильевича, и рядом логических умозаключений приходят к мысли, что все сие происходит по воле божией, карающей россиян для очищения от грехов.

Сия политическая теория столь достопримечательна, что нахожу не излишним на ней остановиться.

Если народ погрязает в грехах и через то оскорбляет промысл, то какой наилучший способ имеет сей последний, чтобы напомнить о себе и заставить народ восчувствовать? Тяжело сознаться, но совершенно достоверно, что наилучшими в сем случае орудиями всегда почитались вожди народные. Посредством их промысл еще древле наказывал Израиля, да и в новейшее время, по свидетельству П. И. Мельникова, Розенгейма и других опытных обличителей, продолжает следовать той же системе. Так, например, если град начнет утопать в роскоши и богатстве, то промысл посылает в оный градоначальника, который вскорости доказывает гражданам, что существенными интересами человеческой жизни должны быть не столько земные

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) интересы, сколько небесные. Что целые страны таким способом очищаются от грехов, в этом не может быть никакого сомнения, однако ж нельзя не сознаться, что и в этой теории имеется своя слабая сторона. Она заключается в том, что теория сия с преувеличенною, как мне кажется, строгостью относится к самым орудиям, посредством которых производится очищение от грехов. Положим, что народ, погрязший в грехах, не мешает по временам очищать, но чем же виноваты правители, кои, будучи сами по себе людьми невинными, именно для этой цели наделяются самыми зверскими качествами и через это погубляют свои души и впоследствии наследуют геенну огненную? Народ поражается казнью временною, правители – казнью вечною: неравенство перед законом очевидное. Не наказывать же правителей тоже невозможно, ибо в таком случае всякий охотнее предпочтет ремесло правителя ремеслу управляемого (это и бывает в эпохи затмения человеческого разума, называемые революциями, когда человек лезет на высоту, совершенно забывая, что за сие положена геенна огненная). И потому, дабы устранить всякие сомнения в столь важном деле, я полагаю бы возможным, чтобы промысл в таких случаях употреблял орудиями не действительных людей, а, так сказать, подобия их, или, лучше сказать, такие сомнительные существа, которые имели бы наружный человеческий облик, но внутреннего человеческого естества не имели бы. Думаю, что сочетание фотографии, метахромотипии и гальванопластики может легко привести к составлению такого рода людей.

Но довольно с проектами, возвращусь к роману. Побеседовавши довольно, боярин заставляет князя обедать, за обедом подают разного рода студень, кулебяки, жаркие, похлебки и буженину. Жаль, что любезный сочинитель подробнее не распространился об этом предмете, но этот недостаток он восполняет далее, при описании царского стола. После обеда Морозов наливает себе и князю малвазии и, откинув назад свои опальные волосы, произносит:

«– Во здравие великого государя нашего, царя Ивана Васильевича!

– Просвети его бог! Открой ему очи! – отвечал Серебряный, осушая стопу, и оба перекрестились».

Сия политическая теория также весьма достопримечательна, но я не считаю долгом распространяться о ней, потому что сущность ее по прямой линии выходит из той же теории очищения грехов, о которой говорено мною выше. Не могу, однако ж, не сказать, что в этой теории замечается четвертая завязка романа; не будь ее, князь Серебряный не поехал бы в Александрову слободу и не было бы пятой завязки романа. Пятая завязка происходит в Александровой слободе и занимает главы: 7, 8 и 9-ю. Князь Серебряный прибыл туда благополучно. Следует великолепное описание слободы и дворца царского. Въехавши во двор, князь Серебряный видит оживленную сцену опричников, играющих в зернь и в свайку, но картина сия едва не кончилась для него печально, так как опричники, немедленно возненавидев Серебряного, чуть-чуть не затравили его медведем. Избавленный благополучно от этой опасности, в самую критическую для себя минуту, сыном злейшего из всех опричников, Малюты Скуратова (шестая завязка романа), князь находится теперь в раздумье, знает ли царь Иван Васильевич о том, что он влил его опричникам по полсотенке, или не знает (седьмая завязка романа). Но покуда он размышляет, к нему подходит столярник и приглашает к царскому столу. Описание царского стола составляет верх совершенства. Читая, я не верил глазам своим и даже чувствовал невольный голод. Надеюсь, что и читатель испытает то же ощущение, я не могу воздержаться, чтобы не привести здесь несколько отрывков из этого описания.

В огромной двусветной палате, между узорчатыми расписными столбами, стояли длинные столы в три ряда. В каждом ряду было по десяти столов, на каждом столе по двадцати приборов. Для царя, царевича и ближайших любимцев стояли особые столы в конце палаты. Гостям были приготовлены длинные скамьи, покрытые парчою и бархатом, государю высокие резные кресла, убранные жемчужными и алмазными кистями. Два льва заменяли ножки кресел, а спинку образовал двуглавый орел с поднятыми крыльями, золоченый и раскрашенный. В середине палаты стоял огромный четырехугольный стол, с поставом из дубовых досок. Крепки были толстые доски, крепки точеные столбы, на коих покоился стол; им надлежало поддерживать целую гору серебряной и золотой посуды. Тут были и тазы литые, которые четыре человека с трудом подняли бы за узорчатые ручки, и тяжелые ковши, и кубки, усыпанные жемчугом, и блюда разных величин с чеканными узорами. Тут были и чары сердоликовые и кружки из строфокамитовых яиц, и турьи рога, оправленные в золото. А между блюдами и ковшами стояли золотые кубки, странного вида, представлявшие медведей, львов, петухов, павлинов, журавлей, единорогов и

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) строфокамилов. И все эти тяжелые блюда, суды, ковши, чары, черпала, звери и птицы громоздились кверху клинообразным зданием, которого конец упирался почти в самый потолок.

Чинно вошла в палату блестящая толпа царедворцев и разместилась по скамьям. На столах в это время, кроме солонок, перечниц и уксусниц, не было никакой посуды, а из яств стояли только блюда холодного мяса на постном масле, соленые огурцы, сливы и кислое молоко в деревянных чашах.

Далее:

Слуги, бывшие в бархатной одежде, явились теперь все в парчовых доломанах. Эта перемена платья составляла одну из роскошей царских обедов. На столы поставили сперва разные студени; потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с инбирем, бескостных куриц и уток с огурцами. Потом принесли разные похлебки и трех родов уху: курячью белую, курячью черную и курячью шафранную. За ухую подали рябчиков со сливами, гусей со пшеном и тетерек с шафраном.

Тут наступил прогул, в продолжение которого разносили гостям меда, смородинный, княжий и боярский, а из вин: аликант, бастр и малвазию.

Еще далее:

Уже более четырех часов продолжалось веселье, а стол был только во полустоле. Отличился в этот день царские повара. Никогда так не удавались им лимонные кальи, верченые почки и караси с бараниной. Особенное удивление возбуждали исполинские рыбы, пойманные в Студеном море и присланные в слободу из Соловецкого монастыря. Их привезли живых, в огромных бочках; путешествие продолжалось несколько недель. Рыбы эти едва умещались на серебряных и золотых тазах, которые вносили в столовую несколько человек разом. Затеиливое искусство поваров выказывалось тут в полном блеске. Осетры и шевриги были так надрезаны, так посажены на блюда, что походили на петухов с простертыми крыльями, на крылатых змиев с разверстыми пастями. Хороши и вкусны были также зайцы в лапше, и гости, как уже ни нагрузились, но не пропустили ни перепелов с чесночною подливкой, ни жаворонков с луком и шафраном. Но вот по знаку стольников убрали со столов соль, перец и уксус и сняли все мясные и рыбные яства. Слуги вышли по два в ряд и возвратились в новом убранстве. Они заменили парчовые доломаны летними кунтушами из белого аксамита с серебряным шитьем и собольею опушкой. Эта одежда была еще красивее и богаче двух первых. Убранные таким образом, они внесли в палату сахарный кремль, в пять пудов весу, и поставили его на царский стол. Кремль этот был вылит очень искусно. зубчатые стены и башни, и даже пешие и конные люди были тщательно отделаны. Подобные кремли, но только поменьше, пуда в три, не более, украсили другие столы. Вслед за кремлями внесли около сотни золоченых и крашенных деревьев, на которых, вместо плодов, висели пряники, коврижки и сладкие пирожки. В то же время явились на столах львы, орлы и всякие птицы, литые из сахара. Между городами и птицами возвышались груды яблоков, ягод и волжских орехов. Но плодов никто уже не трогал, все были сыты. Иные допивали кубки романей, более из приличия, чем от жажды, другие дремали, облокотясь на стол; многие лежали под лавками, все без исключения распоясались и расстегнули кафтаны. Нрав каждого обрисовался яснее.

Признаюсь, я не утерпел, чтоб не показать это описание своему коллеге, учителю латинского языка, который имеет весьма основательные сведения о том объядении, которому в древности предавались римляне. Но и он пришел в восторг и наотрез мне сказал, что римляне никогда ничего подобного не едали.

Нечто подобное обжорному московскому великолепию видим мы лишь в древнем Карфагене, как о том свидетельствует французский писатель Густав Флобер, издавший в прошлом году знаменитый роман «*Salammô*».

Содержание сих романов («Кн. Серебряного» и «*Salammô*») во многом до такой степени сходствует, что нелишне было бы провести между ними некоторую параллель, дабы видеть, что и кто у кого предвосхитил.

Место действия «Кн. Серебряного» происходит в древней Москве; место действия «*Salammô*» происходит в древнем Карфагене. По-видимому, тут сходства нет, но это лишь по-видимому, и это-то именно я берусь дока...

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
(На этом месте рукопись прервана несчастною смертью рецензента.)

СТИХОТВОРЕНИЯ К. ПАВЛОВОЙ. Москва. 1863

Г-жа Павлова занимает в русской литературе одно из самых видных мест: она чуть ли не единственная в настоящее время представительница так называемой мотыльковой поэзии. Мотыльковую поэзию эта называется по имени мотылька, самого резвого, но вместе с тем и самого легковверного из насекомых, а происходит она по прямой линии от знаменитой песни о чижике, потом проходит сквозь кн. Шаликова и г. Шевырева и заканчивается г-жою Павловой. Вся эта поэзия есть не что иное, как стихотворное применение приятных манер к случайно встречающимся на пути предметам. Встретит, например, г-жа Павлова поэта – она пишет послание поэту, увидит И. С. Аксакова – пишет послание И. С. Аксакову, заметит где-нибудь лампадку из Помпеи – и ее не оставит без песнопенья. Ей все равно, к кому бы ни обращаться, что бы ни петь, потому что не предметы внешнего мира поражают ее, а она поражает предметы внешнего мира галантерейностью своего обращения.

Главный мотив этой поэзии заключается в том, что все в природе не столько премудро, сколько прекрасно, и что единственно разумная цель человеческого существования состоит в непрерывном разыгрывании различных приятных *pièces de société*. [8] В силу такого воззрения, и жизнь и природа представляется рядом разнообразных *tableaux de genre*, [9] равно милых по достоинству и содержанию. Картина первая: вечер; синее небо усеяно звездами; река; за рекою роща, в роще рокочет соловей; на балконе сидят графиня и Вадим и объясняются в любви:

Графиня

Вы надо мной смеетесь.

Вадим

я?

Графиня

Немножко.

Вадим

Помилуйте, я?

Графиня

Продолжайте.

Вадим

Но...

Графиня

Смеетесь вы забавно и умно.

Извольте.

Вадим

Да поверьте...

(Графиня роняет платок. Вадим поднимает его и, подавая, говорит вполголоса.)

Что за ножка!

Прелестно. Картина вторая: полдень; небо столь же безоблачно, как и вчера, но на нем вместо звезд стоит палящее солнце; графиня и Вадим уже объяснились; они сидят на балконе несколько утомленные и смотрят, как по реке плавают белые лебеди; вдали виднеется пахарь, который всю грудью налегает на соху; но так как он далеко, то графиня и Вадим не видят его загорелого лица, не видят крупных капель пота, покрывающих это лицо, не видят испитой, ободранной клячки, через

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) силу передвигающей ноги в вязком черноземе; им кажется, что это лишь особый жанр, что это только милая подробность, необходимая для полноты общей картины. Под влиянием этой мысли графиня берет лиру и поет:

Труд ежедневный, труд упорный!  
Ты дух смиряешь непокорный,  
Ты гонишь нежные мечты;  
Неумолимо и сурово  
По сердца области все снова,  
Как тяжкий плуг, проходишь ты,  
Ее от края и до края  
В простор невзрачный превращая,  
Где пестрый блеск цветов исчез...  
Но на нее в ночное время,  
В бразды – святое сеять семя  
Нисходят ангелы с небес.

Не взывайте, что графиня поет нескладно; во-первых, она утомлена разговорами с Вадимом, во-вторых, ей жарко, и в-третьих, с мужичка будет и этого. Затем следуют картины: третья, четвертая и т. д. и т. д.

Хотя такие мотивы мало-помалу утрачивают в нашей литературе право гражданственности, однако есть еще избранные сердца, в которых они держатся упорно и которые не прочь даже подчас ими щегольнуть. Людям, отрицающим русский прогресс, чтоб убедиться в неосновательности подобного отрицания, достаточно прочесть сборник стихотворений г-жи Павловой. Они без всяких сторонних убеждений поймут, что нынче сделалось уже невозможным многое, что было не только возможно, но даже считалось довольно приятным явлением немного лет тому назад. С этой точки зрения, мы приветствуем книжку г-жи Павловой, как факт отрадный и даже достойный подражания не только в сфере поэзии, но и в различных других сферах человеческой деятельности. По крайней мере, люди, занимающиеся отрицанием для отрицания, могли бы легко удостовериться, что гиль современная все-таки имеет более складу, нежели гиль архивная.

Вот, например, какое представление составила себе г-жа Павлова о поэте:

Но проходит между нами  
Не один поэт немой,  
С бесполезными мечтами,  
С молчаливыми очами,  
С сокровенною душой.

.

Им внушают вдохновенье  
Не высокие труды,  
Их призванье, их уменье –  
Слушать ночью ветра пенье  
И влюбляться в луч звезды.  
Не говорим уже о том, что стихи эти не что иное, как лепет галантерейной души, по местам вовсе лишенный смысла; спрашивается, что ж в том особенно сочувственного, что человека не занимают высокие труды, а занимает луч звезды, что в том заслуживающего поощрения, что человек обуреваем бесполезными мечтами и ходит с молчаливыми очами и сокровенною душой? Всякий, встретив такого человека, скажет: быть может, сей человек весьма чист душой, но что он глуп, это доказывается именно тем, что он ходит с молчаливыми глазами и сокровенною душой. За всем тем г-жа Павлова все-таки чего-то требует для людей этой категории, правда, не очень много (*asini exiguo pabulo vivunt*[10]), но все-таки требует. Она обращается к толпе и требует:

Пусть им только даст она  
Уголок, где шум немеет,  
Где полудня солнце греет,  
Где с небес глядит луна, –  
одним словом, чего-то вроде дарового места в богадельне. Ну это, пожалуй, можно еще дать; но мы крепко сомневаемся, чтобы сами поэты удовольствовались такою скромною долей. Несмотря на бесполезные мечты, а быть может, именно по причине их, народ этот имеет склонности скорее сибаритские, нежели аскетические. Вспомните, какую тревогу поднял недавно г. Фет из-за 11 рублей, чуть-чуть не пропавших у него; да это и понятно, потому что ведь он поэт, а поэт, по

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
выражению г-жи Павловой,

Он вселенной гость, ему всюду пир,  
Всюду край чудес;  
Ему дан в удел весь подлунный мир,  
Весь объем небес.  
Все живит его, ему все кругом  
Для мечты магнит;  
Зажурчит ручей, вот и в хор с ручьем  
Его стих журчит.  
Заревет ли лес, при борьбе с грозой,  
Как сердитый тигр, –  
Ему бури вой лишь предмет живой  
Сладкозвучных игр.

Вот для того-то именно, чтобы предаваться этим «сладкозвучным играм» вполне свободно, и нужны те одиннадцать рублей, о которых хлопотал г. Фет. И затем, хотя г-жа Павлова в другом стихотворении «Мотылек» и советует поэту уподобиться этому красивому насекомому, то есть «покинуть земную обитель, упиться чистым эфиром и порхать оживленным сапфиром», но это она делает неосновательно, во-первых, потому, что поэт все-таки человек и мотыльком ни под каким видом сделаться не может, а во-вторых, потому, что если бы, вопреки всем ожиданиям, поэт сделался мотыльком, то ведь и мотылек совсем не «чистым эфиром» питается, а также находит для себя пищу более благопотребную.

Да, это действительно странное явление. Целые литературные поколения бесплодно погибали и продолжают погибать в непрерывном самообольщении насчет того, что действительно блаженство заключается в бестелесности и что истинный *сomme il faut* состоит в том, чтобы питаться эфиром, запивать эту пищу росой и испускать из себя амбре. Где источник этого сплошного лганья? С какой целью допускается такое тунейное празднословие? Ведь все эти поэты очень хорошо знают, что относительно еды и других органических отправлений они не уступят никому из простых смертных; мало того что знают сами, но знают также, что и другим неизвестно это их свойство, – и за всем тем все-таки упорствуют в притворстве, все-таки продолжают лгать самым постыдным образом. Повторяем: это явление странное, но оно не необъяснимо. Это продукт целого строя понятий, того самого строя, который в философии порождает Юркевичей, в драматическом искусстве дает балет, в политической сфере отзывается славянофилами, в воспитании – институтками, сосушими мел и грызущими карандаши. Тут нет ни одного живого места, тут всё фраза, всё призрак; тут одна нелепость доказывается посредством другой, и все эти пустяки, склеенные вместе, образуют под конец такую умственную трущобу, которую с трудом пробивают самые смелые попытки здравого смысла.

Чтобы читатель не подумал, что мы пристрастны относительно г-жи Павловой, мы охотно укажем еще на несколько стихотворений, в которых высказывается ее задушевная мысль. Заслышит ли г-жа Павлова о перевороте 1848 года, он кажется ей чем-то вроде холеры; вычитает ли из газет о попытке Ломбардо-Венецианского королевства освободиться из-под австрийского ига, попытка эта представляется ей детской вспышкой. Все это излагает она в послании к С. К. Н., где прямо так-таки и говорит, что знать ничего не хочет: ни

...про сейм немецкий,  
Давно стоящий на мели...  
ни

О вспышке этой детской,  
С которой справился Радецкий...  
О мотылек! да о чем же вы хотите знать, чем вы интересуетесь? чем вас можно утешить, милое, невинное создание? спрашивает несколько озадаченный читатель. На все эти вопросы мотылек отвечает самым удовлетворительным образом. Мы, мотыльки, говорит он, не станем обращать внимания на историю, в которой, того гляди, нас невзначай раздавят, а лучше уберемся-ка мы восвосяи от всех этих обидчиков и

...будем жить, свой пыл смиря  
И предаваясь хоть вере,  
Что свидимся, по крайней мере,  
В Москве, в начале октября.  
Как видите, желание не выпреннее, но ведь много ли мотыльку и нужно?  
Порезвиться на Арбате, попорхать на Спиридоновке и ужаснуться своей смелости,

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
залетев на Живодерку...

Точно таков же взгляд г-жи Павловой и на молодое поколение, выраженный ею в послании к И. С. Аксакову. Поколение это кажется ей толпой «пламенных невежд», по поводу которой приличествует сказать:

И, может, ляжет им на темя,  
Без пользы, времени рука.  
И пропадет и это племя,  
Как богом брошенное семя  
На почву камня и песка.

Одним словом, все живое представляется ей мертвым, все мертвое живым. Какой фокус-покус происходит в это время в ее сознании, посредством какого ряда умозаключений приходит она к такому неестественному результату – это тайна из категории тех самых тайн, при помощи которых человек делается мотыльком.

Только и можно отдохнуть на стихотворениях вроде «сцены графини с Вадимом», да еще на «Монахе». Это последнее стихотворение до того прелестно, что мы не можем воздержаться, чтобы не выписать первый куплет его. Вот этот драгоценный перл:

Бледноликий,  
Инок дикий,  
Что забылся ты в мечтах?  
Что так страстно,  
Так напрасно  
Смотришь вдаль, седой монах?

Далее этого мотыльково-чижиковая поэзия идти не дерзает.

ПОВЕСТИ КОХАНОВСКОЙ. Москва. 1863 г. 2 тома

Литературная известность г-жи Кохановской начинается повестью «После обеда в гостях», которая и донныне остается лучшим ее произведением. Талант этой писательницы очень симпатичен, хотя ее отношения к описываемой действительности замечательно односторонни. Сущность этих отношений можно определить так: каждый человек имеет возможность сам создать для себя жизненную обстановку; перед ним добро или зло, но выбор того или другого зависит от него самого. Таким образом, человек представляется существом изолированным в своей свободе и потому всецело несущим на себе ответственность за дела свои. Откуда пришла к нему эта свобода жизненного творчества и действительно ли существует такая свобода – это не полагается подлежащим какой-либо проверке, а просто принимается, как факт глухой, почти имеющий значение официального, из которого следует выводить всевозможные жизненные положения и отрицания. Можно догадываться, однако ж, что и эта аксиома есть плод наблюдения, но наблюдения грубого и очень неглубокого, вроде того, например, что когда человек на пути встречает лужу, то от него зависит или обойти ее, или идти в грязь. Человечество младенствующее и небогатое знаниями очень склонно к подобного рода грубым наблюдениям и к еще более грубым обобщениям их. До проверки (а проверка эта, вследствие разных условий, о которых здесь не место говорить, всегда идет очень медленно) эти обобщения называются истинами и носят характер непреложности: «Об этом не смей думать, а вот об этом не смей говорить». Совокупность подобных истин, по теории г-жи Кохановской, именуется нравственным кодексом, во главе которого самым крупным перлом красуется истина, гласящая о свободе жизненного творчества. В силу ее, несчастье, порок и заблуждение не составляют результата неприязненным образом сложившихся обстоятельств, а суть естественные и прямые следствия свободно направленной человеческой воли. Истории для человека не существует, равно как не существует того крепко сложившегося жизненного строя, который втягивает в себя всего человека и сковывает все его движения; то есть, коли хотите, они и существуют, но существуют вовсе не в смысле оправдания человеческих заблуждений и уклонений, а для того единственно, чтобы вызвать в человеке безусловную покорность.

По-видимому, между выражениями: «безусловная покорность» и «свободное творчество» существует противоречие, но это противоречие мнимое и легко улаживается посредством прибавления к последнему выражению слова «разумное». Значение этого слова не для всякого ума понятно, но изобретение его тем не менее драгоценно, ибо слово это полагает конец бесчисленным и бесконечным спорам. Скажите, например, человеку, что в таком-то деле необходимо наблюдать осторожность, он сейчас же заспорит; он будет говорить, что осторожность понятие относительное, что иногда осторожность хуже риска и т. д. и т. д.; но скажите

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) ему: необходимо наблюдать осторожность «разумную», он сейчас же поймет и пребудет безмолвен. В приложении к выражению «свободное жизненное творчество» слово «разумное» означает врожденную человеку способность различать между добром и злом. Что эта способность человеку врожденна, это тоже факт глухой, выведенный из той же категории наблюдений, о которой говорено выше. Что же касается до понятия о добре и зле, то и оно не упало с неба и не выползло из мозгов человеческих во всеоружии, а тоже составляет плод наблюдений и обобщений. В первоначальной форме можно эти наблюдения формулировать так: вот пункт, к которому ты хочешь прийти; к нему ведет торная дорога, по которой до тебя ходили и Иван и Петр; следовательно, если и ты пойдешь по этому пути, то не рискуешь ни поскользнуться, ни завязнуть, ни сломать себе шею, – это добро; если же ты свратишь в сторону, то непременно встретишься с разными случайностями, которые могут привести тебя к гибели, – это зло. Будучи перенесено в сферу более обширную, это наблюдение перефразируется так: добро есть все испытанное, удовлетворенное и установившееся; зло – все ищущее, порывающееся, неудовлетворенное и протестующее. Но если добро полезно, а зло вредно, то хотя человек и имеет возможность выбора между тем и другим, однако ж он обязан добровольно покориться первому, а не последнему, потому что в противном случае выбор его не будет заслуживать наименования «разумного» и он сам рискует понести тяжкую ответственность за «злоупотребление» своей свободой. И, таким образом, свобода жизненного творчества, которую обладает человек, является уже не просто свободой, а свободой разумно-покорною..

Вот нравственная теория, которую всякий, даже непрозорливый читатель может извлечь из сочинений Г-жи Кохановской.

Практические последствия такой теории столь же ясны, как и она сама. Это просто поголовное обвинение всего, что чувствует себя стесненным и неудовлетворенным и имеет силу или смелость протестовать, и сугубое поголовное оправдание всего, что хотя тоже чувствует себя утесненным, но имеет силу и смелость покоряться. Г-жа Кохановская имеет особенное пристрастие к этому последнему взгляду на жизнь; она очень часто заставляет своих героев сильно и искренно чувствовать дикость некоторых общественных положений (это, впрочем, как увидим ниже, составляет лучшее свойство ее таланта, ибо оставляет читателю свободу выводить свои собственные заключения, помимо навязываемых автором), но всегда за тем, чтобы привести их к уверенности, что истинное добро заключается в согласии с действительностью и строгом выполнении ее требований.

Каким образом люди очень даровитые иногда приходят к такому одностороннему убеждению, что всякое новое требование, простираемое отдельною личностью к жизни, есть посягательство на стройность ее, – это дело очень темное, которое, однако ж, можно отчасти объяснить и помимо тех первоначальных и грубых наблюдений над торными и неторными дорогами, о которых мы говорили выше. Дело в том, что жизненный строй, хотя и несостоятельный сам по себе, но существующий в силу начал, всеми признанных, все-таки представляет убежище более успокоительное, нежели строй, начинающий познавать хрупкость своих основ и ищущий заменить их новыми. Там, где первый дает опору, второй предлагает одно мучительное колебание, где первый откликается человеку целым рядом практических правил и истин, второй либо вовсе остается безответным, либо отзывается рядом новых и новых вопросов. Что нужды, что в первом случае опора не тверда, а истина призрачна, что нужды, что во втором случае самое колебание заключает в себе залог более обеспеченного будущего: ум человеческий не может долго оставаться в сфере колебания и отрицания совсем не потому, чтобы отрицание было бесплодно, а по тому одному, что оно составляет лишь начало той работы, к которой призвана человеческая мысль. Но для того, чтобы оставить сферу отрицания, представляется два выхода: один указывает назад, другой открывает дорогу вперед. Несмотря на огромную разницу, существующую между этими двумя исходными пунктами, у них есть, однако же, одна общая черта: как в прошедшем, так и в будущем жизнь представляется как нечто целое, определившееся, освобожденное от наплыва случайностей. Выбор между тем или другим выходом решается больше или меньше прозорливостью мысли, большим или меньшим просветлением ее посредством тех предварительных аналитических работ, в которых именно и заключается весь смысл и вся сила отрицания. Понятно, что ум сильный и последовательный не остановится долго на прошедшем уже по тому одному, что оно исчерпало свое содержание и естественным путем пришло к своей собственной ликвидации, что ум этот пойдет далее и, руководясь законом общего жизненного развития, будет искать в будущем те идеалы, в которых отказывает разорванное и колеблющееся настоящее; но понятно и то, что ум более робкий, ум, полагающий цель своих исканий не в удовлетворении

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) требованиям абсолютной справедливости, а исключительно в той целостности мирозерцания, которая делает жизнь легкой и удобоизживаемой, не решается пускаться так далеко и скромные, но изведенные идеалы прошедшего предпочитает сомнительным очертаниям будущего.

Вот последнего-то рода отношение к действительности и составляет преобладающий элемент в сочинениях г-жи Кохановской. Не то чтобы она неприязненно отзывалась на голос новой жизни, не то чтобы безусловно отвергала законность ее запросов, – скорее всего, ее отношение к новой жизни можно характеризовать чувством недоумения, выразившегося не прямою враждою, а тою несколько робкою уклончивостью, которая заставляет человека избегать мира, почему-либо ему мало доступного, и всецело отдаваться другому миру, в котором он чувствует себя вполне хорошо и уютно. Идеалы г-жи Кохановской не широки: это просто смирение, возведенное на степень деятельной силы, и прощение, как единственный путь к примирению жизненных противоречий. Это те же самые идеалы, какие лежат в основе славянофильского учения, которое, как известно, всю русскую историю объясняет смирением с одной стороны и прощением с другой. Нет нужды говорить здесь, что такой идеал далеко не удовлетворителен и что даже возникновением своим он обязан не простым и ясным требованиям рассудка, ищущего объяснить себе задачу жизни не посредством временных и всегда мнимых стачек, а посредством положительного ее разрешения, но болезненному стремлению во что бы ни стало примирить жизненную неурядицу и сообщить ей стройный и цельный вид. В самом деле, что такое это пресловутое смирение и какой смысл имеет не менее пресловутое прощение? примиряют ли они что-нибудь? разрешают ли? зачем смирение и где источник права прощения? Всё это вопросы весьма темные. Смирение, в строгом смысле, есть не что иное, как принижение частной человеческой личности или в пользу другой такой же личности, или же в пользу личности более высокой и обширной, в пользу общества. Но, повторяем, разве это разрешает что-нибудь? Разве временными и даже постоянными жертвами человек достигает того, что составляет высшую цель его жизни, то есть деятельного наслаждения всеми определениями, которые лежат в основе его человеческого организма? Разве такое общественное устройство, которое поддерживается подобными началами, не представляет собой, так сказать, безысходного круга, в котором постоянно возобновляются тождественные явления, без всякой надежды на возможность когда-либо разрешить их? Ответ на эти вопросы едва ли может быть сомнительным. Да, смирение и прощение суть начала чисто отрицательные, начала ничего не разрешающие и ничего не примиряющие. Это стачка, никогда не кончающаяся, это стачка, которая, будучи однажды допущена, служит источником целого ряда новых жертв, имеющих целью ценою своей приобрести не наслаждение жизнью, а скудную возможность как-нибудь избыть бремя ее. Во всяком случае, подобное содержание человеческой жизни может быть допущено не иначе, как при совершенной ненормальности общественного организма. Высший общественный идеал заключается совсем не в жертвах и принижениях, а в том, чтобы интересы частного лица и интересы общества шли рука об руку, не только не мешая друг другу, но взаимно друг другу помогая. Тут не может быть речи ни о смирении, ни о прощении, ибо ни на то, ни на другое никто не имеет не только повода, но и права. Смотри по той степени, на которой стоит общественный уровень, смирение может быть столько же оскорбительно, как и прощение. Это принципы, равно непригодные к жизни, равно не содержащие никаких положительных результатов.

Тем не менее, сказавши в начале нашей статьи, что считаем талант г-жи Кохановской симпатичным, мы и теперь не отопремся от нашего отзыва, несмотря на то что беспрестанно пробивающееся в ее сочинениях хладное и праздное резонерство, а также то авторское насилие, которое она допускает относительно героев своих повествований, производят на нас самое неприятное впечатление. Дело в том, что, верная своей теории смирения и прощения, г-жа Кохановская доводит ее до крайних последствий, видит в ней не просто искусство жить на свете, но нечто вроде искупления. Ей кажется, что если пристойно заставить человека быть покорным, то еще пристойнее заставить его сначала взбунтоваться и потом, проводив через все мытарства смирения, в виде особенной награды показать в перспективе прощение. Эта аскетическая последовательность автора, однако ж, спасает его, ибо она вынуждает его касаться тех действительных и живых неурядиц, которые никаким резонерским ломаньям не поддаются.

Эти неурядицы и человеческие страдания, которым они дают начало, до такой степени красноречиво говорят сами за себя, что перед их красноречием не устоит никакая преднамеренная неправда. Художник может дать им тот или другой исход по своему усмотрению, может даже, впоследствии, неуместными своими размышлениями совершенно испортить нарисованную картину, но оболгать факт, по воплотить его в

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) иной форме, нежели та, в которой он является в жизни, он не властен. Здесь вся суть заключается единственно в непосредственной силе таланта, и чем выше эта последняя, тем более даст она правды читателю, даже, быть может, и помимо воли самого художника.

Вот в этом-то последнем смысле произведения г-жи Кохановской и имеют свой неоспоримый интерес. В том маленьком мире, который ею избран, она является полною хозяйкою. Она не только коротко знает его, но сама постоянно является как бы действующим в нем лицом. Все его тревоги, все его радости, в ее глазах совсем не маленькие тревоги и пошлые радости, которые можно выставить напоказ, как более или менее забавные уклонения, но тревоги и радости настоящие, выросшие в меру человеческого роста. Нужды нет, что не раз, по поводу описываемых столкновений, невольно задаешься вопросом: да из-за чего ж это люди мучат себя, или не пустякам ли они радуются? дело не в том, чем человек огорчается и чем утешается, а в том, что в этих радостях и огорчениях, как бы ни казались они ничтожными сами по себе, все-таки пробивается наружу человек. Здесь симпатии автора к изображаемым лицам совершенно понятны и законны, ибо они относятся не столько к отдельным личностям, сколько к той общечеловеческой основе, которая и в них сказывается, к тому просветленному человеческому образу, который везде находит себе выход, несмотря на затмения и наносы жизни.

Всех повестей г-жи Кохановской, являющихся ныне особым изданием, четыре: «После обеда в гостях», «Из провинциальной галереи портретов», «Гайка» и «Настасья Дмитрова и Кирила Петров». Есть еще два рассказа: «Старина» и «Давняя встреча», но об них мы не будем говорить, потому что тут уже выступает вперед не творчество, а исключительно резонерство автора. Лучшие и наиболее характеристические повести две: «После обеда в гостях» и «Настасья Дмитрова и Кирила Петров». Ими мы и займемся.

Первая из них вводит нас в быт мелкопоместного русского дворянства, быт бедный и неразнообразный, но описанный г-жою Кохановскою теми ясными чертами, при посредстве которых самая бедность содержания исчезает и в сознании читателя восстает целый мир, мир своеобразный, но совсем не уродливый. Этот мир не чужд нам; нечто подобное ему мы прошли в эпохи нашего детства и отрочества: это мир неполного знания, мир смутных ощущений, в которых человек не дает себе отчета, во-первых, потому, что не чувствует еще в том настоящей потребности, а во-вторых, потому, что не умеет, как за это взяться. Человек свежий, не избитый жизнью, бывает легко доступен впечатлениям, но зато эти впечатления как бы скользят по нем, быстро сменяясь одно другим. Радость и горе бывают равно сильны, но вместе с тем и равно скоротечны, почти бесследны. Вот почему в мире детском и в этом другом мире, который описывает г-жа Кохановская и который так близко подходит к детскому, жизнь представляется, в общем своем строе, почти безразличною, и вот почему требуется очень много талантливой наблюдательности, а еще более сердечной памяти, чтобы воспроизвести эту жизнь осознанно и дать почувствовать читателю почти неуловимые ее света и тени.

Такою-то именно светозарною, самонаслаждающею представляет пред нами талантливая писательница жизнь молодой девушки в том бедном, но все-таки досужем быту, который она избрала предметом своих исследований. Это жизнь, которая заставляет девушку говорить: «Кажется, что краше-то тебя, молодой, и во всем мире нет! Идешь, земли под собою не слышишь»; эта жизнь – нескончаемая русская песня, та песня, о которой одно из вводных лиц повести так типично выражается: «Спой ты мне, матушка, такую песню, чтоб Замошников, Лукьян Алексеевич, не усидел, не улежал». Песня, в буквальном смысле, составляет все содержание молодого существования; ею оно начинается с той самой минуты, когда еще ребенком девушка приходит к сознанию самой себя, ею оно и кончается. Вот как описывает г-жа Кохановская эту песню:

За последнее время объявился у него, у Черного, новая песня, да ведь какая песня! Ни старые, ни бывалые люди отроду не слыхивали той песни, и как запоет он своим заливым голосом ту протяжную песню, просто душу у тебя силой берет, да и всё тут! Отец протопоп, старый же человек и степенный, что ему песня? – а он сидел под окном и слушал да слушал, как недалечко Черный пел; а далее опомнился, а у него, у отца протопоба, борода в слезах (сама матушка протопопша говорила), так он даже перекрестился. «Господи Иисусе Христе! сказал, вот песня!»

– Но какая же песня? – говорила я Любви Архиповне.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
– Да она будто не невеста какая и не мудреная, и всей-то ее, матушка, видеть нечего:

Воздохну, Дунай всколыхну.

Всколыхну ли я Дунай-реку,  
Что не к морю вода подымалася,  
По желтым пескам расплескалася,  
В зеленых лугах разливалася:

По девушке душа встосковалася...

– Песня-то и вся тут, – говорила Любовь Архиповна, – да что сидело в той песне, как Черный ее протяжно да переливно, идучи по городу, пел по вечерней заре... И еще как надойдет над гору и станет на ней, а внизу река в половодье разлилась, шумит, и он стоит, матушка, и поет: расплескалася, разливалася, – просто, говорили люди, отца и мать бы забыл и всё слушал его!..

– Как же, родная моя! Черному проходу не стало по городу. Купцы, как завидят его, из лавок выбегают навстречу. «Ваша милость, отец родной! Воздохну... Что хочешь из лавки бери, спой только Воздохну»... «Что ж, братцы, – говорил Черный, – не продажная. Самому дорого стоит. Удастся вам послушать, случаем, ваше счастье, а не удастся, не прогневайтесь». Так вот, чтоб удалось это счастье, за Черным по сту глаз смотрели. Чуть он заложил руки назад и пошел по городу, тотчас со всех сторон, присадысь и пригинаясь под плетнями, за ним следом и потянуло человек пятнадцать или двадцать. У хозяев над рекою все плетни по огородам осаждали, лазая через них, затем, что, значит, эти места облюбил Черный и уже заливался тут своим «Воздохну».

Признаемся, мы никогда не могли прочесть это место без сильного внутреннего волнения, и отнюдь не полагаем, чтобы чувство это было лишено своего серьезного значения. Нет, оно объясняется, и объясняется весьма рационально, ибо в основе его лежит не что иное, как внутренняя связь с народной массой, тою массой, которая до сих пор ни в чем еще не успела проявить себя, кроме упорного труда и песни. Нам часто случается высокомерно относиться к непосредственным проявлениям народной жизни, даже и тогда, когда мы заявляем себя сторонниками ее; ее предрассудки и верования кажутся нам ничтожными, чуть не презрительными; но такое отношение к народу едва ли справедливо, и во всяком случае никак не расчетливо. Скажем более: поступая таким образом, мы противоречим самим себе, противоречим своим убеждениям и целям, мы делаем совсем не то дело, которое хотим делать. Если мы действительно сочувствуем народным массам, мы должны брать их так, как они есть, мы должны принять за исходную точку нашей деятельности тот нравственный и умственный уровень, на котором они стоят, и из него уже отправляться далее. Наша роль – роль пропагандистов-образователей, но ведь понятно, что, прежде нежели приняться за пропаганду, надо изучить, понять и прочувствовать ту почву, на которую имеет пасть наша пропаганда. Иначе народные массы отвернутся от нас, и вся наша деятельность, как бы ни была она разумна, исчезнет в пустоте. Итак, источник сочувствия к народной жизни, с ее даже темными сторонами, заключается отнюдь не в признании ее абсолютной непогрешимости и нормальности (как это допускается славянофилами), а в том, что она составляет конечную цель истории, что в ней одной заключается все будущее благо, что она и в настоящем заключает в себе единственный базис, помимо которого никакая человеческая деятельность немыслима.

Вообще, Черный, этот один из множества неведомых творцов русской песни, представляет собой создание в высшей степени поэтическое и сочувственное, несмотря на то что оно введено в повествование г-жи Кохановской эпизодически. Есть много недосказанного в рассказе об отношениях его к героине повести, но в этих-то именно недомолвках и скрывается нечто такое, от чего веет девственно-поэтической свежестью. Мы думаем даже, что такое, преисполненное внутренней песни существо, как Черный, и могло впасть в жизнь другого лица не иначе, как эпизодически: иначе, жизнь была бы не драмой, а ликованием, а этого не могла иметь в намерениях талантливая писательница по тому одному, что этого не бывает в действительности. Поэтому автор и заставляет Черного погибнуть смертью, в такой же мере поэтичною, в какой была поэтична вся его жизнь: он умирает, спасши жизнь утопавшему мужику. И опять-таки мы не можем воздержаться, чтобы не выписать здесь высокопоэтическое описание его похорон, которым и заканчивает г-жа Кохановская свой рассказ.

– И как хоронили его! Вот, моя родная, прекрасно его хоронили! И теперь поезжай в Купянку, спроси, помнят люди, как Черного хоронили. Оно и забыть нельзя. Так

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) светло и радостно никого будто в жизни не хоронили, ни большого, ни малого. Купцы как улышались, что помер Черный, они ему поснесли всего: от свечей и ладану до всего, матушка, что нужно для гроба, и сами взяли гроб сделать и парчой золотою Черного накрыли. Барышни ему под голову кисейную подушку сшили, розовую тафтой подложили, изукрасили ее лентами, что ни есть лучше. Он себе безродный был, ни отца, ни матери, где-то далеко сиротою взрос. Кажись, и гробу-то его пустеть да сиротеть должно бы было; а вышло, нет, родная моя! Народ к нему валом валил, большие и малые, словно их посылал кто: «Иди, мол, иди, поклонися Черному!» И весь город шел – просто, говорили, как река тек. В среду на вечерню его вынесли в церковь, а наутро-то, значит, в четверг, как хоронить его, отец протопоп собором обедню служил (одно то, что Черный его прихода был, а другое, что и купцы просили). И знаешь, дни праздничные, в храме божием светлость такая, царские двери отворены, пение радостное на обедне льется, и Черный просто неузнаваем в гробу лежал, сказывали сестрицы. Большой такой да хороший; болезнь с него черноту сняла, и он, матушка, побелелый, обложился своими черными волосами, вот жив заснул, высоко на разубранной подушке в красоте лежит! Отпели погребение, и как пришло это время, что дадим последнее целование, отец протопоп первый приступил проститься с усопшим; наклонился он, и, видно, господь внушил ему такую мысль: «Христос воскрес!» – сказал он и трижды, как христосуясь, поцеловал Черного. А тут недалечко у самого гроба женщина с дитятею на руках стояла, и дитя забавлялось, держало в ручке красное яйцо. «Дай мне, дитя, твое яичко», – сказал протопоп. И малютка так ему с ручкою и протянула яйцо. Отец протопоп взял красное яйцо и положи его в гроб Черному, и при этом он слово такое хорошее сказал: пусть, дескать, и в самое недра земли он снесет с собой благовестие Христово. И так, матушка, за протопопом весь народ не прощаться, а христосоваться с Черным стал. Всякий подойдет к усопшему, и прежде, чем целование мертвецу даст, «Христос воскрес!» скажет ему, как живому. Приступили к выносу, так народ толпами толпился, чтобы понести гроб, и как понесли его, день такой прекрасный в полудне сияет, хоругви развеваются, парча золотая на гробе, как жар, горит, и откуда ни возьмись две ласточки вьются да щебечут над самым гробом, – в удивление привели народ. Просто сладость такая святая умилила людей, как стали заколачивать гроб; заколачивают его, опускают в могилу, а тут, матушка, поют: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Не один, не два человека, а целые десятки их, святым словом: ей-богу! говорили, что они с радостию бы легли и заняли место Черного... Вот какую бог судьбу Черному дал, – сказала Любовь Архиповна, – что он и песней своею и смертью, как силой какою, подвигал за собою людей.

Выше, поэтичнее, сладостнее этих строк мы положительно ничего не знаем в русской литературе. Читая их, чутким сердцем понимаешь, что есть, действительно есть в этой невежественной, погрязшей в предрассудках массе та «подвизающая за собою людей сила», которая и может многое сделать, и многое сделает. Если в настоящее время сфера ее деятельности только отрицательная, если в настоящее время эта масса вся опутана и наружными и внутренними путями, то придет же когда-нибудь час, когда эти пути разрешатся, и в тот час, торжествующая и просветленная, чего она не совершит, чего не подвигнет за собою?

Итак, не на долю Черного выпало положить конец песни и внести элемент драмы в жизнь молодой девушки. Драма начинается совершенно по-будничному, но чем менее в ней поэтических задатков, чем беднее она перипетиями и катастрофами, тем тяжелее она ложится на молодое существование, тем решительнее пригибает его. В Купянку (место действия рассказа) приезжает комиссионер «длинный, да худой, рябой; нос за три версты смотрит, и еще голову вперед вытянул». Вот этому-то господину и полюбилась героиня, рассказчица повести, купянская барышня Любовь Архиповна. Мало того что он наружно не пригож: и Черный не мог похвалиться красотой, но Любовь Архиповна не оставалась-таки к нему бесчувственной, – он и внутренне был далеко не привлекателен. От любви один шаг и до сватовства, до того сватовства, которое не слишком-то озабочивается о взаимности, а занято одними формальностями дела. Действующими лицами являются: комиссионер, как виновник сего торжества, мать Любви Архиповны и феська Неминучая, торговка бубликами, она же и сваха. Главная заинтересованная в деле сторона, сама Любовь Архиповна, и во сне не видит, как ею распоряжаются безапелляционные решители ее судьбы. Когда дело оказалось зрело обдуманым, когда матушка достаточно наторговалась, предлагая комиссионеру и Аграфену Архиповну, и Пелагею Архиповну (вероятно, это делалось для препровождения времени, а отнюдь не из того, чтобы мать жалела Любушу, как это утверждает автор, потому что ведь и Аграфенушка, и Пелагеюшка были той же матери дети), когда комиссионер объявил решительно, что ему никого не нужно, кроме Любуши, мать пришла в комнату, где работали дочери, и объявила свое

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
решение.

«Полно, говорит, оставьте работу, Любаша, я тебя просватала». За кого? говорю. «За комиссионера». Я ушам своим не поверила. «За кого, матушка?» – «Что ты, глуха, что ли? Говорят тебе, за комиссионера, – сказала матушка. – И ступай одевайся: жених к вечеру будет». Я, душа моя, и не знаю, всплеснула руками Любовь Архиповна, как и с чего я начала говорить и голосом голосить, что лучше бы меня в гроб живую положили, что пусть меня матушка убьет, а я не пойду за комиссионера. «Убить тебя я не убью, – сказала матушка, – а поучить хорошо поучу, чтобы ты знала, как слушаться матери». А я ей на это как-то скажи, что она меня за связку феськиных бубликов отдает комиссионеру, так уже матушка дала мне знать бублики! «Иди, говорит, одевайся». Я пошла, села в нашей горенке, и таки не одеваюсь. Глаза у меня от слез, как кулаки, напухли; коса моя русая растрепанная лежит на шее. Пришла матушка опять ко мне. «Одевайся, говорит. Я тебя еще побью». И другим приемом меня побила. «Если ты не станешь сейчас одеваться, – говорит матушка, – я косу тебе отрежу» (не знала уже, что сказать она), и схватила меня покойница за косу. «Сестрица, – говорю я (вижу, что сестрица Пелагея Архиповна на дверях стоит), – подай матушке ножницы», – так матушка даже плюнула. «Это бес, говорит, а не девка», – и ушла от меня. Тут скоро и жених-то пришел или приехал – уже я не знаю. Матушка послала звать Лукьяна Алексеевича с Марьей Кондратьевною; протопопша пришла, поприходили барышни. Стали меня все уговаривать, так нет! Я и осталась на том, что не оделась и не вышла. Жениху сказали, что у невесты голова болит, и она у меня, ох! болела, матушка!»

Далее все идет своим порядком; девушку смиряют надлежащими мерами и доводят до венца; и затем уже начинается та скорбная, затаенная драма, плод насильственного, механического сочетания людей, не связанных между собою никакими внутренними побуждениями, никакими общими чувствами. Любовь Архиповна уединяется и положительно чуждается своего рябого и неповоротливо-глупого мужа; но, по счастливой случайности, этот муж не надоедает ей и вообще выказывает деликатность чувства, в простом быту не совсем обыкновенную. Дело оканчивается благоприятно, хотя и не совсем естественно: та же случайность, чуждая каких-либо разумных оснований, которая свела эти два лица, столь чуждые друг другу, доканчивает и внутренне их примирение. С одной стороны, смирение и внезапное признание силы долга, с другой – прощение и забвение: вот разрешение, которое г-жа Кохановская сочла нужным дать драме.

Мы уже достаточно говорили о воззрениях г-жи Кохановской на жизнь, чтобы вновь возвращаться к этому предмету. Воззрения эти бедны и фальшивы, но здесь не в них и дело. Разве читатель не достаточно проницателен для того, чтобы вывести из приводимого художником-писателем факта свое собственное заключение? Разве он не достаточно силен для того, чтобы очистить этот факт от не идущих к делу толкований самого автора? Самый факт вовсе не фальшив и изображен вполне верно, как с внешней, так и с внутренней своей стороны. Да, описываемая автором жизнь именно такова; она именно составлена из насильств и лжей, которые, однако ж, вследствие известных условий, не признаются ни насильством, ни ложью. Что нужды до того, что ни сама героиня, ни автор за нее не протестуют: за них протестует сама судьба героини. Ведь от читателя не утаишь, никакими хитросплетениями не закроешь, что положение бедной девушки, которую облюбывал рябой комиссионер, есть все-таки положение овцы, которую ведут на убой, что самое примирение этой женщины с своею участью совсем не результат посредничества какой-то таинственной силы, произведшей внезапный переворот во всем существе пациента, но плод глубокого и вымученного сознания, что от комиссионера все-таки никуда не уйдешь. Самое страдание, непосредственно следующее за этим тяжелым нравственным кризисом, самый этот «великий плач», которому предается героиня, непосредственно вслед за примирением, достаточно доказывают, что тут и примирения-то в строгом смысле слова нет, а просто есть отчаяние, доведенное до крайних своих пределов и разрешившееся наконец чувством покорности. Все эти выводы легко сделает сам читатель и затем на все дальнейшие разглагольствования автора может смотреть, как на детское упражнение, сделанное в угоду какому-нибудь строгому педанту-учителю, требующему непременно, чтобы ученик выводил из сочинения своего приличное его возрасту нравоучение.

Все замеченные нами выше достоинства и недостатки еще с большею яркостью выступают в другой повести г-жи Кохановской «Кирила Петров и Настасья Дмитрова», хотя надо сознаться, что здесь недостатков более, нежели достоинств. И здесь двигателем драмы является то бесконечное горе, тот «великий плач» русской

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) женщины, который заставляет ее, в цвете лет, при полной наличности всех данных, обуславливающих право на наслаждение жизнью, говорить любимому человеку: «Утопите вы меня! деньте меня, куда знаете; заведите меня в лес и бросьте, чтоб я свету божьего не видела»; и здесь рассказывается целый искус страданий, сквозь который автор проводит молодую, нравственно чистую женщину, прежде нежели эта последняя купит себе незавидное право жить хотя тою невзрачною жизнью, которая, по общему, испокон веков установившемуся убеждению, считается единственно законною. Нельзя не сознаться, что содержание драмы задумано весьма чутко, в особенности если примем в соображение ту ограниченность общественной сферы, которая, при настоящем положении русской литературы, доступна ее разработке.

И герой и героиня повести – оба сироты, оба воспитаны в горькой школе нужды. Кирила Петров провел свое детство под руководством старого, вечно пьяного дьячка. Настасья Дмитрова еще того хуже – под ферулою тетки, одного из тех уродливо чопорных созданий, которые вырождало из себя по временам крепостное право, в лице экономок, барских барынь и барыниных фавориток-горничных. Благодаря своей талантливой натуре, Кирила Петров скоро вышел на ровную, самостоятельную дорогу, а Настасья Дмитрова, после смерти тетки, попала в горничные к бывшим господам своей воспитательницы. Господа были либеральные, то есть принадлежали к числу тех российских помещиков, которые, во времена оны, хвастались, что у них «почти конституция», дворовых людей содержали сносно, но в то же время морили над бестолковыми и совершенно непроизводительными работами. Кирила Петров еще ребенком полюбил Настю, и начало повести застаёт нас уже на сватовстве. По-видимому, и Настя любит Кирилу, однако из ее отношений к нему заметно, что чувство, ее одушевляющее, совсем не любовь, а скорее тихая, дружеская привязанность, порожденная привычкой и долгою взаимною доверенностью. Есть у нее другое чувство, которое охватило все ее существо, чувство, которое, по ее собственному убеждению, не имеет ни малейшей надежды на правильный исход, но которому тем не менее она не могла не отдаться со всею силой молодого, горячего увлечения. Человек, вызвавший это чувство, барин и имеет все свойства милого мерзавца. Настя несколько раз порывается сознаться Кириле в своем большом горе, но всякий раз, в решительную минуту признания, ее останавливает то невольное чувство женской стыдливости, которое нередко подсказывает ей слова полного отчаяния, вроде приведенных нами выше, но никогда не допускает высказаться до конца. В этом тревожном колебании, объясняемом сверх того и непрерывными отлучками жениха, и тою надоедливою суетою, которая всегда предшествует свадьбе, ни на минуту не оставляя свободными жениха и невесту, проходит все время до той минуты, когда всякие признания и всякий возврат делаются уже невозможными. Кирила Петров и Настасья Дмитрова уже муж и жена и приезжают в свой дом. Но здесь мы предпочитаем продолжать рассказ словами самого автора.

Войдя в дом молодым счастливым мужем, он (Кирила) оборотился к дверям домовитым хозяином и поискал рукою крючок, чтобы припереть двери на ночь.

– Не запирайте, Кирила Петрович. Выгоните вы прежде на улицу меня!

В первую минуту даже не дрогнуло сердце счастливого Кирилы. Войдя в комнату, где огни были потушены и только лампадка теплилась перед божничкою, он не увидел сначала жены и потом, увидя ее, не понял, слыша ее слова, не вслушался, что ему говорила она.

– Выгоните меня, Кирила Петрович, чтоб сырая земля меня приняла.

Что-то страшно дрогнуло внутри всего Кирилы.

– Что это вы говорите, Настасья Дмитриевна... радость моя!

Приостановился он с последним словом и вымолвил его с страшной силою находящего горя.

– Что я говорю? Разве я даром говорила вам, чтобы вы утопили меня – дели меня, куда знаете, чтоб я свету божьего не видала, страмоты не клала на себя!

– Настасья Дмитриевна! У меня свет заступается, побойтесь милосердного бога! Чтой-то вы такое взводите на себя?

В тиши и сумраке с минуту не слышно было ответа.

– Взвожу... Мне скоро на люди будет показаться нельзя.

Есть несчастные минуты у человека, что он верит и отказывается верить – видит своими собственными глазами, и ушами слышит, и словно не верит ни ушам, ни глазам своим! просит еще другого уверения.

И Кирила просил его.

– Перекреститесь, Настасья Дмитриевна! – После первого глотка воздуха, которым было задохнулся, Кирила крестил и себя и ее большим крестом... – Христос-бог с вами!

Бедная, потерянная девушка, до сих пор как бы застылая в своем откровенном позоре, зарыдала.

– Видит бог, Кирила Петрович! – говорила ему она, – хоть разрежьте мне сердце, сами увидите – одно, что я не хотела обманывать вас. Я и сама не знаю, как вы засватали меня! Все я хотела сказать вам, да горькое оно слово, с языка нейдет! На девичнике вы сами не дали мне; перед венцом просилась к вам – не пустили меня. Хоть в этом невиноватом деле простите вы, Кирила Петрович! не кладите вины на меня!

Настенька стояла у стены, как прикованная. Кирила сел.

– Опрочь того, бейте, карайте меня! Пусть я шатаюсь, где день, где ночь, и все люди указывают пальцами на меня...

– А сам я где денусь? – ударил Кирила обеими руками об стол и не то слезами, не то сухо голосом зарыдал он, – легче вы бы сняли голову с меня, чем вам говорить такие слова, а мне вас слушать!

Кирила совсем наклонился головою к столу. Сердечная мука донимала его.

– Напоили вы горем меня, как медом, Настасья Дмитриевна! Голова пьяна, – поднял он голову, сильно стряхивая тяжелый хмель ее с нависших на лицо кудрей. – Барышня моя! потчуйте разом до дна! Это на лизоблюдное лакейство сменяли меня, иль подымать выше?

– Не на лакейство, Кирила Петрович, не пейте вы моего горького вина! – покорно отозвалась от стены Настенька.

– Что ж мне делать-то? Наложить руки на себя? и рад бы я, так бог не велит.

Кирила встал; но хмелем его сильным так пошатнуло, что он не устоял, опять сел.

– Видишь оно, размывчивое пиво, с ног сбило, – с усмешкою проговорил он.

За эту сцену следует тот скорбный, страдальческий иску, о котором мы говорили выше. Замечательно, с какою грубостью даже такая честная и по-своему высокая личность, какою в самом деле представляется Кирила Петров, относится к тому, что разумеет своим правом. Правда, он не бьет жены своей, он не выгоняет ее из дома, но самая честность и относительная развитость его подсказывают ему кару, еще более мучительную. Эта кара заключается в том, чтобы заставить жену вконец истомиться под игом вечного нравственного укора, и вот с этою-то целью он ездит сначала с ней по монастырям, потом привозит в одну из донских станиц, где и оставляет. Положение бедной женщины, непрерывно видящей перед собой грозного судью всей ее жизни, тем более тяжко, что судья этот не пользуется бесспорным правом, которое дает ему общество, по предпочитает томить свою жертву медленным огнем, сопровождая эту страшную казнь всеми признаками наружной заботливости. Без ласки, без малейшей тени участия вянет это жаждущее любви сердце, питаясь одною боязливою надеждой, что энергия, с которою ведется преследование, утомит когда-нибудь самого преследователя. Где источник этой горькой надежды и откуда странное право на такую бесчеловечную кару? вот вопросы, которые, конечно, вправе будет задать себе всякий читатель, но г-жа Кохановская не ответит ему на них. По обыкновению своему, она доводит драму до высшего развития и потом пришивает к ней славянофильский водевиль.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Вот содержание двух замечательнейших рассказов Г-жи Кохановской. Повторяем: личные отношения автора к изображаемой им жизни, отношения, которые, к сожалению, почти везде насильственно выходят на первом плане, крайне односторонни, тем не менее мы должны быть благодарны ему уже за то одно, что он с таким верным инстинктом наметил нам те сердечные боли нашей общественной среды, которые служат для человека бесконечным источником мучительных и совершенно бесплодных тревог. Автор изобразил перед нами целый мир призраков во всей их мниможизненной силе, со всем тем условным гнетом, который один и составляет содержание этой силы; затем от нас самих уже зависит продолжить работу автора, перенести ее в другую сферу и сделать те выводы, которые сами собой из нее извлекаются.

СТИХОТВОРЕНИЯ А. А. ФЕТА. Издание К. Солдатенкова. 2 части. Москва. 1863  
В семье второстепенных русских поэтов Г. Фету, бесспорно, принадлежит одно из видных мест. Большая половина его стихотворений дышит самою искреннею свежестью, а романсы его распевает чуть ли не вся Россия, благодаря услужливым композиторам, которые, впрочем, всегда выбирали пьески наименее удавшиеся, как, например, «На заре ты ее не буди» и «Не отходи от меня». Если при всей этой искренности, при всей легкости, с которою поэт покоряет себе сердца читателей, он все-таки должен довольствоваться скромною долей второстепенного поэта, то причина этого, кажется нам, заключается в том, что мир, поэтическому воспроизведению которого посвятил себя Г. Фет, довольно тесен, однообразен и ограничен.

Это мир неопределенных мечтаний и неясных ощущений, мир, в котором нет прямого и страстного чувства, а есть только первые, несколько стыдливые зачатки его, нет ясной и положительно сформулированной мысли, а есть робкий, довольно темный намек на нее, нет живых и вполне определившихся образов, а есть порою привлекательные, но почти всегда бледноватые очертания их. Мысль и чувство являются мгновенною вспышкой, каким-то своенравным капризом, точно так же скоро улегающимся, как и скоро вспыхивающим; желания не имеют определенной цели, да и не желания это совсем, а какие-то тревоги желания. Слабое присутствие сознания составляет отличительный признак этого полудетского мирозерцания.

И не знаю я, что буду  
Петь, но только песня зреет...  
Вот как выразил сам Г. Фет сущность своей поэзии, и, по нашему мнению, выразил ее совершенно верно.

Родоначальником этой, так сказать, эмбрионической поэзии, от которого она перешла и на нашу почву, можно считать известного немецкого поэта Гейне; но у Гейне это просто один из множества разнообразных оттенков общей картины, свидетельствующей об избытке силы, у Г. Фета – это все содержание картины, содержание, из которого можно заключить только о скудости его творческих средств. Другие свойства таланта Гейне, как, например, его исполненное горечи отрицание, его желчный юмор и то холодное полуотчаяние, полупрезрение, выражающееся в постоянном и очень оригинальном раздвоении мысли, те свойства, которые именно и составляют основной и самый прочный капитал его поэтической деятельности, остались для нашего поэта чем-то вроде очарованного замка, в двери которого он даже и стучаться не пробовал, потому что инстинктивное (и, конечно, похвальное) чувство скромности подсказывало ему: беги сих мест, ибо здесь совершается запутанное и нерадостное людское дело! настоящее же твое место там, где кузнечики (цикады) поют свой радостный гимн. Он послушался этого тайного голоса и, разумеется, поступил весьма благоразумно, но поэзия его от этой скромности не выиграла: она все-таки скудна содержанием, все-таки страдает крайним однообразием мотивов и порою даже прискучивает. Прочешь одно, два стихотворения Г. Фета всегда бывает приятно, но прочешь целую книжку его стихотворений составляет уже труд довольно значительный. Бесспорно, в любой литературе редко можно найти стихотворение, которое своей благоуханной свежестью обольщало бы читателя в такой степени, как следующее стихотворение Г. Фета:

Шепот, робкое дыханье,  
Трепи соловья,  
Серебро и колыханье  
Сонного ручья,  
Свет ночной, ночные тени,  
Тени без конца,  
Ряд волшебных изменений

Милого лица,  
В дымных тучках пурпур розы,  
Отблеск янтаря,  
И лобзания, и слезы –  
И заря, заря!..

Но если это самое прелестное стихотворение представят вам в нескольких стах вариантах, то очень будет немудрено, что наконец и самая прелестность его сделается для вас несколько сомнительною. Ибо что, в сущности, составляет содержание этого прелестного стихотворения? содержание его составляет чувство до такой степени неясное, до такой степени мало себя сознающее, что даже для своего собственного определения оно не может остановиться ни на каком отдельном образе, а беспрерывно мечется от одного образа к другому. Тут что ни строка, то один или два образа, так что обилие их делается наконец равносильным совершенному их отсутствию. В сущности, это даже не образы, а просто недоконченные штрихи, по которым внимание скользит, не останавливаясь, и которые, в результате, производят впечатление очень смутное и потому малопродолжительное. Понятно, следовательно, что читателю, незнакомому специально с музой г. Фета, кажется, что он всё одно и то же стихотворение пишет, или много два, три стихотворения. И если такому читателю вы прочтете следующее, предположим, неизвестное еще ему стихотворение:

Летний вечер тих и ясен;  
Посмотри, как дремлют ивы;  
Запад неба бледно-красен,  
И реки блестят извины.  
От вершин скользя к вершинам,  
Ветр ползет лесною высью;  
Слышишь ржанье по долинам:  
То табун несется рысью.  
Или следующее:

Ночью как-то вольнее дышать мне,  
Как-то просторней...  
Даже в столице не тесно.  
Окна растворишь:  
Тихо и чутко  
Плывет прохладительный воздух.  
А небо? а месяц?  
О! этот месяц волшебник!  
Как будто бы кровли  
Покрыты зеркальным стеклом,  
Шпили и кресты – бриллианты;  
А там за луной небосклон,  
Чем дальше – светлей и прозрачней.  
Смотришь – и дышишь.  
И слышишь дыханье свое,  
И бой отдаленных часов,  
Да крик часового,  
Да изредка стук колеса  
Иль пение вестника утра.  
Вместе с зарею и сон налетает на вежды,  
Светел, как призрак,  
Голову клонит, а жаль от окна оторваться.

то он, наверное, скажет: да! это стихотворение прелестно, но я уже читал его! и не придет ему в голову, что он совсем не это стихотворение читал, а другое, начинающееся стихом: «Шепот, робкое дыханье», и не сообразит он даже, например, того, что в одном стихотворении («Ночью как-то вольнее дышать мне») изображается картина вечера городского, а в обоих других картина вечера сельского – до такой степени впечатление, производимое всеми тремя стихотворениями, одинаково по своей неопределенности.

Это вообще участь всех сильных и энергических талантов – вести за собой длинный ряд подражателей и последователей, которые охотно овладевают пышною ризой богатого патрона, но, не будучи в состоянии совладать с нею, расщипывают ее по кусочкам. Там, где патрон отзывается на многочисленные и разнообразные запросы жизни, клиенты его выбирают какой-нибудь один мотив и притом, по большей части, самый слабенький и, овладевши им, изуевичают его вконец. И несмотря на то что в некоторых из этих второстепенных деятелей отнюдь нельзя отрицать присутствия

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) таланта, бессилие и ограниченность этого последнего скажется непременно, и скажется очень скоро. В двух, трех пьесах он выльется весь со всем своим внутренним содержанием, и затем вся его дальнейшая поэтическая деятельность будет не более как повторением задов, иногда даже очень неловким.

До какой степени это последнее замечание справедливо, пример тому представляет Г. Фет. Читая его стихотворения в сборнике, отказываешься верить, что одна и та же рука писала приведенные нами выше три прекрасные, хотя и очень однообразные стихотворения и, например, следующее:

Ночь нема, как дух бесплотный,  
Теплый воздух онемел,  
Но как будто мимолетный  
Колокольчик прозвенел.  
Тот ли это, что мешает  
Вдалеке лесному сну  
И, качаясь, набегает  
На ночную тишину?  
Или этот, чуть заметный  
В цветнике моем и днем,  
Узкодонный, разноцветный  
На тычинке под окном?

Прочитывая это воплощенное противоречие грамматике, читатель недоумевает, уж не загадка ли какая перед ним, не «Иллюстрация» ли это шуточки шутит, помещая на своих столбцах стихотворные ребусы без картинок? Нет, читатель, это не загадка, а продолжение той же самой поэтической деятельности, которая уже исчерпала скудное свое содержание, но не хочет еще сознаться в этом. Поэтическую трапезу Г. Фета, за весьма редкими исключениями, составляют: вечер весенний, вечер летний, вечер зимний, утро весеннее, утро летнее, утро зимнее; затем: кончик ножки, душистый локон и прекрасные плечи. Понятно, что такими кушаньями не объешься, какие бы соусы к ним ни придумывались; понятно тоже, что придумыванье соусов представляет работу тяжкую и притом до того ослабляющую воображение, что последнее под конец даже вовсе отказывается от всяких придумываний, а просто-напросто довольствуется некоторыми слабыми и притом не всегда впопад делаемыми изменениями в старых рецептах. Вот в эти-то горькие минуты и пишутся стихотворения, подобные выписанному нами «Колокольчику».

И между тем находятся глубокомысленные критики, которые поэтическую деятельность Г. Фета ставят до такой степени высоко, что даже для оценки произведений других его собратий употребляют выражение: «тут есть что-то фетовское». Смеем их уверить, что даже в стихотворениях самого Г. Фета, некоторой части которых мы, впрочем, отдаем должную справедливость, есть очень мало «фетовского».

О РУССКОЙ ПРАВДЕ И ПОЛЬСКОЙ КРИВДЕ. Писано ко всем православным христианам из царствующего града Москвы, в лето от сотворения мира 7371, от рождества же бога слова 1863, иулия в 15 день, на память святого равноапостольного князя Владимира, в святом граде Киеве народ русский святым крещением просветившаго. Москва. 1863

Брошюрка эта представляет собой одну из бесчисленных, но до сих пор очень редко удававшихся попыток подделаться под русский народный толк и объясняться с народом языком ему доступным. Фактурой своей она напоминает псевдонародные, несколько ухарские рассказы Г. Андрея Печерского, в которых всегда нанизано множество народных слов и оборотов речи, но собственно народного все-таки нет ничего. Видимое дело, что автор брошюры человек бывалый, обращался с народом, знаком с его пословицами и прибаутками, но народной мысли, но кровной народной нужде все-таки остался чужд. А потому в книжке его прежде всего неприятно поражает фальшивый тон и желание автора во что бы то ни стало принизить себя до народного понимания; речь несвободна и сплошь испещрена всякого рода присловьями и стереотипными выраженьицами, для более или менее ловкого подбора которых не требуется даже знакомства с народом, а достаточно заглядывать почаще в труды Гг. Снегирева, Буслаева и Даля.

Именно то обстоятельство, что автор, очевидно, приискивал какую-то особенную манеру, чтоб разговаривать с народом, уже изобличает в нем человека, худо понимающего ту личность, к которой он обращается. Он видит в народе или низшую породу людей, или какое-то полудурье и, руководствуясь этим взглядом, измышляет для него низшего сорта мысли и форменно простонародные речи. А между тем это совсем не так; народ и не дурак, и не низшая порода; он страдает только

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) недостатком знаний, а потому и давайте ему знаний, только знаний, а не прикидывайтесь простяками, не обращайтесь к нему с речью и мыслями, с которыми вам было бы совестно обратиться к лицу, стоящему в общественной иерархии на одной ступени с вами.

Книжка написана с специальной целью: возбудить в русском народе патриотизм, по случаю совершающихся ныне в Польше событий. Само собой разумеется, что такая цель заслуживает всякой похвалы, но при этом не следует забывать, что народ русский и без внушений любит свою родину превыше всего, и что, следовательно, не столько о возбуждении в нем патриотизма надлежит хлопотать, сколько о том, чтобы патриотизм этот не являлся чувством чересчур непосредственным, чтоб он сознал самого себя. Чтоб достигнуть этого, достаточно изложить факты просто, кратко и ясно: они будут говорить сами за себя; народ поймет эти факты и отнесется к ним с тем здоровым смыслом, который составляет его неотъемлемую характеристическую черту, но чувство его положительно будет оскорблено, когда, вместо фактов или рядом с ними, ему навязывают нелепые формальные сентенции, когда к нему обращаются не с обычной речью и когда при этом позволяют себе преднамеренно извращать даже такие факты, которых смысл вполне изведен народом собственным горьким опытом. О, составители народных руководящих книжек! помните, что, прибегая к этим последним приемам, вы подрываете ту самую цель, к которой стремитесь! И потому, если вы, например, думаете сами и желаете передать народу свое убеждение, что смуты, которые в настоящую минуту господствуют в Польше, имеют гнилой и зловредный корень, то и излагайте дело, как вы его понимаете, а не приплетайте же в вашу речь каких-то добродетельных помещиков, потому что, делая это, вы вредите самим себе. «Ну, уж это он, кажется, солгал», – скажет русский мужичок, читая ваше идиллическое описание русских поместных отношений, да, пожалуй, подумает, что и в остальном вы точно так же солгали. Приятно ли это будет вам, приятно ли будет тем, которые, быть может, слишком понадеялись на вашу бывалость и мнимое знакомство с народной жизнью?

Чтобы говорить с народом, надобно прежде всего отречься от всяких преувеличений и быть строгим к самому себе; надо спросить себя: достаточно ли обуздана моя мысль для такого дела? Ничто так не противно народу, как мешанье дела с бездельем и переливанье из пустого в порожнее. Он сам никогда не бездельничает, а потому требует и от тех, которые к нему обращаются, чтоб они высказывали ему свое дело прямо и кратко, без подмеси пустых и наносных речей. Людей, которые сами не сознают своей мысли, а говорят, что им на ум взбрелет или с чужого шепота, называют в народе пустыми мельницами и на все их речи только машут руками. Поэтому, даже и для того, чтоб пустить в народ даже не совсем чуждую ему мысль, нужна крайняя осторожность; нужно прежде всего соблюсти чувство меры, а не потчевать, по пословице: чем богат, тем и рад, и не выбрасывать зараз весь запас своего скудненького мирозерцания, по пословице: что есть в печи, то и на стол мечи. Таким образом можно напотчеваться и на свою голову, ибо на такое потчеванье народ тоже может ответить пословицей: Еремея потчуют умея, за ворот да в три шеи.

Мы очень хорошо понимаем, что недостаток талантливых людей, которые могли бы просто и вразумительно говорить с народом, есть недостаток весьма печальный. В особенности должен он быть ощутителен для правительства, которое, по самому существу своему, не может иметь в виду иной цели, кроме народного образования и постановки народа, в делах внутренней и внешней политики, на ту точку зрения, которая согласна и с требованиями разума, и с историческим ходом вещей. На каждом шагу оно осаждается людьми усердными и, по-видимому, доброхотными, которые тем не менее, по ограниченности своих мыслительных способностей, предлагают вместо знания народности какую-то бывалость и прожженность, вместо знания народной речи пошлое балагурство, а вместо справедливости изуверство. После того, какая ужасная лож может вылиться из этого усердия. А между тем такая лож сплошь и рядом выдается за истину, и находятся наивные люди, которые верят ей и в простоте сердца воображают, что самое лучшее средство беспечно прожить жизнь заключается в том, чтобы систематически держать народ в неведении и систематически же возбуждать в нем какие-то темные силы, влиянию которых и без того слишком легко поддается человек, лишенный действительного знания.

Возьмем, для примера, ту же любовь к родине, о которой мы уже сказали вскользь выше. Любовь эта сама по себе так жива и естественна, что не требует никаких подстрекательств, а тем менее обращения к крайним ее проявлениям, доходящим до фанатизма. Человек и без того уже склонен воспитывать в себе чувство национальности более, нежели всякое другое, следовательно, разжигать в нем это

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) чувство выше той меры, которую он признает добровольно, будучи предоставлен самому себе, значит уже действовать не на патриотизм его, а на темное чувство исключительности и особничества. Этим-то именно усилиям и посвящена разбираемая нами брошюра; в ней на каждом шагу говорится о мерзости запустения, о том, что «не сегодня сказано, что у поляка совесть крива», что «поляк такой уж непостоянный человек: с ним дружи, а за пазухой камень держи», что поляки «хвастунишки и подлипалы» и т. д. С трудом верится, что под «мерзостью запустения» автор понимает римско-католическую веру, которая есть все-таки вера христианская, и что кривую совестью он поголовно укоряет народ, огромное большинство которого, быть может, и совершенно чуждо происходящим ныне смутам. Не ясно ли, что, поступая таким образом, он думает совсем не о том, чтобы пробудить в народе сознание правоты его дела, а о том единственно, чтобы поселить в нем слепую ненависть и презрение и содействовать еще большему распространению того невежества, в силу которого хорошо только наше, а все, что не наше, достойно осмеяния и оплевания.

Но этого мало: самые драгоценные перлы сумбурного усердия заключаются на стр. 48–49, где говорится о разных «русских ворах и изменниках». Уже само собой разумеется, что им достается как следует, но всего замечательнее, что автор под «ворами и изменниками» понимает всякого человека, который «начнет сказывать что-нибудь такое, о чем ни начальство не объявляло, ни отец духовный не говорил», и советует такого человека «немедленно задержать». Следовательно, если бы самому автору, еще как человеку бывалому, вздумалось в каком-нибудь селении сказать басню Крылова «Пустынник и медведь», которую, конечно, «ни начальство не объявляло, ни отец духовный не говорил», то и его надо бы «задержать»? Прекрасно. Мы думаем, однако, что подобные слова, обращенные к народу, представляют собой или плод горячечного бреда, или результат сознательного стремления подстрекнуть народ к междоусобию.

Вновь повторяем: мы совсем не против самой мысли разъяснения народу его прав на участие в таком жизненном вопросе, как тот, который занимает ныне все умы, но думаем, что в таком деле недостаточно одного добродетельства; если же вдобавок к этому чисто отрицательному качеству присовокупляется некоторая ухарская развязность, если автор при этом хранит такое убеждение, что «крестьянское горло, что суконное бердо – всё мнет», то он может быть уверен, что достигнет цели совсем противоположной, нежели та, которую себе предположил.

СКАЗАНИЕ О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ И ЧТО БЫЛА РОССИЯ, КТО В НЕЙ ЦАРСТВОВАЛ И ЧТО ОНА ПРОИСХОДИЛА. Князя В. В. Львова. (Посмертное издание.) С.-П.-бург. 1863  
Книжка эта представляет собой одну из бесчисленных, но до сих пор почти никогда не удававшихся попыток подделаться под русский народный толк и объясняться с народом языком ему доступным. Желание понравиться народу и быть в некотором смысле его руководителем соблазняет очень многих; г. Андрей Печерский пишет для него брошюры, г. Н. Ф. Павлов издает политическую газету, г. Кушнерев сочиняет назидательные повести, г. Розенгейм угощает язвительными стихотворениями; но увы! умение их далеко не равняется усердию. От всех этих попыток так и разит тлением и ветостью; авторы их, очевидно, люди бывалые, обращавшиеся с народом, даже знакомые с его пословицами и прибаутками, но в то же время положительно чуждые и народной мысли, и кровной народной нужде. В их книжках прежде всего поражает какая-то худоскрываемая преднамеренность и желание во что бы то ни стало принизить себя до народного понимания; поэтому речь не свободна и сплошь испещрена всякого рода присловьями и выраженьицами, для более или менее ловкого подбора которых не требуется даже знакомства с народом, а достаточно заглядывать почаще в труды гг. Снегирева, Буслаева и Даля.

Уже то одно, что все эти «сочинители» приискивают какую-то особенную манеру, чтоб разговаривать с народом, что они, нисколько не церемонясь, говорят своим читателям: «посмотрите, как я искусно притворяюсь!» – изобличает в них людей, худо понимающих ту личность, к которой они обращаются, и притом совсем не таких глубоких хитрецов, какими они себя почитают. Они видят в народе или низшую породу людей, или какое-то полудурье и, руководствуясь этим взглядом, измышляют для него низшего сорта речи и форменно простонародные речи. Между тем народ и не дурак, и не низшая порода: он страдает только недостатком знаний, а потому и требует знаний, и только знаний. Поэтому к тем проходимцам, которые обращаются к нему с такими мыслями и речами, с которыми им совестно было бы обратиться к лицам, стоящим, в общественной иерархии, на одной ступени с ними, он и относится так, как прилично к ним относиться: то есть не бросает их книжек под стол потому только, что вообще с печатною бумагою привык обращаться осторожно, но не читает

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
их, и сочинителей их называет ветряными мельницами.

Вообще, услужить народу по письменной части – дело очень трудное. Для этого мало бывалости, мало даже знакомства с сборниками народных пословиц и прибауток, а необходимо прежде всего отречься от всяких преувеличений и быть строгим к самому себе. Одним словом, необходимо спросить себя: достаточно ли обуздана моя мысль для такого дела. Тут более, нежели где-нибудь, требуется строго научный взгляд на вещи, не оравленный ни авторскими умозаключениями, ни желанием достигнуть каких-либо посторонних целей, потому что ничто так не противно народу, как мешанье дела с бездельем и переливание из пустого в порожнее. Он сам никогда не бездельничает, а потому требует и от тех, которые к нему обращаются, чтоб они высказывали ему свое дело прямо и кратко, без подмеси пустых и наносных речей. Людей, которые сами не вынашивают своей мысли, а говорят, что им на ум взбредет или же с чужого шепота, народ презирает и на все их речи только машет руками. Поэтому, даже для того, чтобы пустить в народ мысль и не совсем ему чуждую, чтоб укоренить в нем хотя бы и то, что, в качестве семени, уже залегло в него, нужна крайняя осторожность. Самую существенную опасность в этом случае представляют некоторые чувства, которые, при известных условиях, находят слишком легкий доступ к народу. Известно, что подобные чувства всего более находят панегиристов и истолкователей (потому что и дело-то это самое сподручное и неубыточное), и вот темные публицисты бросаются на них с жадностью и сразу вываливают из своих кошниц все плоды своей бывалости и прожженности. Но эту жадностью они только портят свое собственное дело; они забывают, что во всяком деле прежде всего нужно соблюсти чувство меры, а не потчевать по пословице: что есть в печи, то на стол мечи. Ибо, потчывая таким образом, можно напотчеваться на свою голову и можно, в ответ себе, напроситься на другую пословицу: Еремея потчуют умея, за ворот да в три шеи.

Возьмем, для примера, любовь к родине. Что может быть прекраснее? что может быть возвышеннее? Но если мы решаемся говорить об ней, если мы решаемся напоминать об ее существовании меньшей братии, то никак не следует забывать, что для последней это чувство понятно и дорого отнюдь не менее, как и для нас самих. Уже само по себе взятое, это чувство так живо, что избавляет нас от всяких подстрекательств, а тем менее от обращения к крайним его проявлениям. Человек и без того уже склонен воспитывать в себе чувство национальности более, нежели всякое другое, следовательно, разжигать в нем это чувство выше той меры, которую он признает добровольно, будучи предоставлен самому себе, значит уже действовать не на патриотизм его, а на темное чувство исключительности и особничества. Тогда-то и являются на сцену в изобилии все эти «мерзости запустения», все эти «хвастунишки и подлипалы», одним словом, все эти нелепые сентенции, которыми через край переполнены псевдонародные книжицы. Вместо того чтобы излагать факты просто, кратко и ясно и затем ожидать, чтобы народ отнесся к ним с тем здоровым смыслом, который составляет его характеристическую черту; вместо того чтобы хлопотать о том, чтобы патриотизм сознал самого себя и не являлся чувством чересчур непосредственным, наши неискушенные народоучители из того только и бьются, чтоб осветить факты своим собственным блудящим светом и заразить их своим собственным далеко не благовонным запахом. Ясно, что этим они только наносят ущерб тому делу, которому необдуманно берутся служить.

О, составители народных книжек! помните, что у народа есть очень простое, но вместе с тем и совершенно неизгладимое клеймо, которым он пятнает подобные попытки. «Ну, уж это он солгал», – говорит он, читая ваши радужно-идиллические повествования, и затем безразлично переносит этот взгляд на всю массу печатной бумаги, которая предлагается для его научения и назидания. Или вам этого-то и надобно?

Да; недостаток талантливых людей, которые могли бы просто и вразумительно говорить с народом, есть недостаток весьма печальный. Но что всего печальнее – это тот результат, который сам собой выходит из этой галиматии: народ, замечая, что с ним шутят, что к нему обращаются с мыслями, так сказать, получеловеческими, что на него смотрят, как на совокупность низших организмов, мало-помалу сам охладевает к делу образования и начинает отождествлять его с враньем, переливанием из пустого в порожнее и другими непроизводительными занятиями хороших, но праздных людей.

Впрочем, все изложенные выше размышления хотя и внушены нам сочинением кн. Львова, но могут быть применены к нему лишь отчасти. В авторе его не заметно ни преднамеренности, ни той развязности манер, которые отличают ходяков по этой

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) части; напротив того, видно, что он совершенно искренно верит в свое призвание и что он без всякого худого намерения объясняется с народом низшего сорта мыслями и низшего сорта языком. Он просто думает, что для того, чтобы что-нибудь внушить мужику, необходимо хоть на время прикинуться отчасти младенцем, отчасти юродствующим. Он даже не дает себе труда редактировать прибаутки и пословицы, которыми преисполнена его книга, согласно с редакцией Буслаева, Снегирева и Даля, а передает их в том самом виде, в каком они перешли к нему от какой-нибудь старухи-нянюшки. Это человек совершенно искренний, которому даже на мысль не может прийти, чтобы для народа было что-нибудь обидное в том, что к нему относятся, как к младенцу.

Начать с самого заглавия книги – что означает оно? Для чего не поставлено на обертке просто «Краткая история России», а «Сказание о том, что есть и что была Россия, кто в ней царствовал и что она происходила»? И что такое за выражение: «что она происходила»? Мы знаем, конечно, что народ иногда выражается: «такой-то медные трубы произошел», но смысл этого выражения ограниченный и притом исключительный. Следовательно, употреблять такое выражение для замены им другого, гораздо более понятного («история») – значит или придавать своему труду характер несколько юмористический, или же просто действовать по пословице: слышу звон, да не знаю, откуда он. А может быть, что и ни того, ни другого намерения тут нет, а есть только невинное желание пококотничать с народом, да и «своим» кстати показать, что вот, дескать, какое я слово знаю, что вы и животики надорвете (тоже хорошее выражение)? Может быть, и это.

Затем, начинается рассказ о том, при каких условиях составила книжка. Потребовалось, вот видите, уяснить (кому потребовалось?), «что такое Россия, велика ли она, всегда ли была такая, как теперь, прибавилась ли она против прежнего или убавилась?». Обязанность отвечать на эти вопросы возлагается на старика Наума, который, «сотворив крестное знамение», и начинает вести речь.

Уже по самым вопросам можно догадываться, что автор очень мало знает своего читателя. Он думает, что русского мужика прежде всего должна поражать громадность и что самый существенный вопрос, который ему представляется, есть вопрос о величине. Мы утверждаем, однако же, что это совсем не так, и в доказательство можем сослаться на множество русских пословиц, которые ясно свидетельствуют в пользу нашего мнения. И в самом деле, неужели же русского мужика могут интересовать прошедшие судьбы его родины только в силу вопроса о ее величине? Неужели между русским народом и его прошедшим нет другой живой связи, кроме той, которая заключает в себе представление о расширении и округлении границ? Не будучи специалистами по этой части, мы, конечно, не беремся разрешить, представляет ли наша история повод для вопросов иного свойства, нежели те, которые задаются кн. В. В. Львовым, но думаем, что если бы она не представляла таких поводов, то знание ее было бы знанием очень неплодотворным.

И вот, руководясь таким взглядом, старик Наум начинает сокращать Карамзина и Устрялова, пересыпая свой рассказ прибаутками вроде: «кто кого смога, тот того и в рога», «сердечный», «сем-ка» и т. д. Нередко Наум прокашливается и просится отдохнуть, но слушатели его ждут не дождутся, когда опять настанет вечер и опять потекут, словно река, напоенные медом словеса Наумовы.

Что же, братцы, не за дело ли нам? уж не бить ли челом свет Пахомычу?

Ну-тко, детушки, поднимайтесь, вокруг дедушки собирайтесь!

Уж стоит Наум оправляется, уму-разуму учить собирается.

И сошлись опять по-вчерашнему, по-вчерашнему, по-бывалому. Нишкнут все, дожидаются; крестным знаменем осеняются, и Наум, старик, честный крест творит, людям речь говорит.

И говорит он им, что пришли три брата, из них двое умерли, а Рюрик жив остался, что после Рюрика остался сын Игорь мал-малехонек, после Игоря княжил Святослав и т. д. Словом, кратко, но невразумительно излагает номенклатуру князей от времен древнейших и до новейших.

Об новгородцах автор выражается кратко, что их «угомоняли». Так, напр., Иоанн III «угомонил новгородцев, которых было смутил, кто? как же вы думали? женщина, Марфа, вдова посадника, по прозванью Борецкого: вот уж, прости господи, не за

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) свое дело взялась!» Даже о Кузьме Минине говорится только, что он был «молодец» и «мясник», но что «войском начальствовать не при нем писано: всякое дело мастера боится».

Одним словом, народ русский, тот самый народ, которому рассказывается его же собственная история, поставлен, как и следует, у воды, то есть там, где от века заведено заставлять плясать гостей и пейзаж.

Только и приходится ему утешаться следующими строками:

Так вы смекайте, что это значит такое: конь-то золотогривый (из сказки про Иванушку) – служба царская? (;) войдет в нее мужичок – трудно, словно коню в ухо влезть, а вылезть в другое, то есть (?) оботрется, выправится, и станет русским чудо-богатырем; подавай ему не одного француза, не одного англичанина, не одного турка, а всех вместе, подавай десяток на одного, так померится со всеми, да всех за пояс заткнет.

Нет сомнения, что автор и здесь кокетничал; нет сомнения, что он думал, что и невеста какой комплимент русскому мужику говорит. Представление о величине и представление о физической силе – вот, по мнению его, те два могущественные двигателя, которые могут ободрять русский ум и веселить русское сердце.

Ну, не обидно ли?

КИЕВСКИЕ ВОЛНЕНИЯ В 1855 ГОДУ. С. С. Громеки. С.-Петербург. 1863

Г-н Громека принимал личное участие в усмирении крестьянских волнений, бывших в 1855 году в Киевской губернии, и потому рассказ его об этом деле не лишен интереса. Как очевидец происшествия, он имел возможность изобразить его со всеми разнообразными подробностями или, по крайней мере, с теми внешними признаками истины, которые прежде всего бросаются в глаза. Но современники-очевидцы, в особенности же современники-участники, редко бывают прозорливыми историками; доля их собственного интереса в деле слишком значительна, чтобы не повлиять на их отношения к описываемому происшествию и не кинуть на них тень подозрения в пристрастии. Положим, что подозрение это будет и несправедливо, но дело совсем не в том, справедливо оно или несправедливо, а в том, что оно совершенно естественно возникает в уме читателя, который видит в рассказчике не просто рассказчика, но и действующее лицо, которого действия, наравне с прочими подробностями происшествия, подлежат критике и суду. А потому по большей части бывает так, что очевидцы благоразумно уклоняются от роли историков и довольствуются более скромною ролью летописцев, то есть простых собирателей фактов, которые впоследствии должны составить достояние истории. К сожалению, г. Громека увлекается своим предметом более, нежели приличествует летописцу; он не просто записывает внешние признаки факта, а усиливается проникнуть в его внутренний смысл, не довольствуется рассказом о мерах, которые были предприняты для того, чтобы прекратить волнения, а относится к ним критически: одно хвалит, другое порицает. Понятно, что при этих похвалах и порицаниях на первом плане стоит его собственная личность; он сделал то-то, отвечал то-то, написал то-то. Понятно также, что, по законам общечеловеческой слабости, г. Громека не мог явиться своим собственным карателем и что, в силу этой снисходительности, все совершенное собственно им является и умственным, и своевременным, и предусмотрительным, все же, сделанное без его участия, носит на себе характер бесполезности, нерасчетливости и во всяком случае могло бы быть сделано лучше, если б он, г. Громека, был тут. Так, например, вице-губернатор В-н, по рассказу г. Громеки, отличается лишь легкомыслием и неосновательностью суждений; генерал-майор Б-в «чинит телесное наказание», и, к сожалению, г. Громека приезжает на место уже тогда, когда нельзя предотвратить горестных последствий такого административного действия; полковник А-в хотя и не чинит телесных наказаний, но зато и не прекращает волнений, а только замазывает дело. Только главный начальник края да генерал-адъютант Я-ч пользуются сочувствием г. Громеки, но и то потому, что внимают его советам. Одним словом, г. Громека, будучи весьма строг к своим товарищам по усмирению, в то же время очень снисходителен к самому себе; эта нескромность значительно уменьшает интерес, представляемый его книжкой, и даже делает чтение ее не совсем приятным.

По сознанию автора, брошюра его издана с целью дать возможность читателю «почерпнуть кой-какие сведения о политических воззрениях, инстинктах и желаниях южнорусского народа». Цель тем более похвальная, что есть множество таких читателей, которые совершенно отказывают простому народу в способности заявлять

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) какие-либо политические воззрения. Убедить таких читателей, что простой народ совсем не настолько погружен в материальные интересы, чтоб из-за них не видеть интересов высших, – дело хотя и трудное, но в то же время и очень завидное. Посмотрим же, выполнил ли и каким образом выполнил г. Громека свою задачу.

По-видимому, разрешение такого рода задачи достигается очень просто: обращением к источникам, из которых вышел факт, раскрытием истории постепенного его развития и созревания и, наконец, рассказом самого факта со всеми его подробностями. Тогда, без излишних мудрований, дело объяснится само собою. Но в том-то и штука, что для лица, принимающего в деле непосредственное участие, такого рода приемы не только трудны, но и положительно невозможны. Он практик в полном смысле этого слова, и принимаемое им на себя звание историка ни в каком случае не может изгладить тех черт действующего лица, которые составляют всю основу его деятельности; как практик, он прежде всего имеет в виду успех и практические последствия своих действий, и в силу этого начинает совсем не с разыскания истины (до разысканий ли тут! разыскивать будем после! говорится обыкновенно в таких случаях), а напротив того, сам приносит на место уже совсем готовый и даже очень определенный взгляд на причины, породившие факт. Эти причины, смотря по большей или меньшей степени мягкосердечия действующего лица, принимают характер мягкий или суровый, и сообразно с этим определяются и просьбы к устранению причин – тоже мягкие или суровые. Так, например, можно приступить к факту с наперед заданною мыслью, что он есть плод простого недоразумения, и можно приступить с намерением видеть в нем порождение опасного буйства и преступного упорства. Можно даже дойти в этом случае до самых больших тонкостей: до различия между преступностью благонамеренною и преступностью неблагоприятною. Само собой разумеется, что здесь возможность построения теорий тем легче, чем доступнее возможность упразднения их. Если, например, действующее лицо, задавшееся, положим, хоть мыслью о так называемых заблуждениях и недоразумениях и сообразно с этим расположившее свой план кампании, убеждается, что план этот не приводит к желаемому результату, то ничто не препятствует ему перейти к другой мысли – например, к мысли о преднамеренном упорстве, и сообразно с сим начертать новый план кампании. Здесь практический успех или неуспех – вот единственный критерий, который указывает на годность или негодность предвзятой теории, но указывает опять-таки в сфере исключительно практической, а отнюдь не в отношении к абсолютной правде, которая так и остается нетронутою. Короче сказать, здесь теория является совсем не как объяснение истины, а просто как средство к удовлетворению известной потребности человеческого духа, потребности очень беспокойной, в силу которой человек ни на минуту не может остаться без того, чтоб не стремиться к осмыслению своих отношений к факту, хотя бы это осмысление было и совершенно произвольное. Исполнители скромные и не разумеющие себя бог весть какими философами и политиками так именно и взирают на свои теории, как на вещь очень гадательную, и успех или неуспех свой объясняют исключительно действительностью или недействительностью предпринятых мер и искусством или неискусством, обнаруженным в их употреблении; напротив того, исполнители нескромные и мнящие себя урожденными философами не только самих себя уверяют в своей непогрешимости, но и других стремятся поставить на ту точку зрения, на которой стоят сами. Успех только укрепляет их в таком убеждении, дает им повод к беспрестанным ссылкам и к построению целой системы доказательств. Таких философов, кои стремятся проникнуть в таинства природы, а не ограничиваются одним ее созерцанием, очень много, и множество их равняется только множеству и разнообразию их философических попыток. Понятно, какая «рогатая штука» (выражение г. Громеки) может вылиться из этого философического разнообразия.

Вот почему мы позволяем себе думать, что все рассуждения, которые высказывает г. Громека о причинах, породивших киевские волнения 1855 года, суть рассуждения очень мало убедительные; что они даже повредили его брошюре в том отношении, что породили в читателе сомнение относительно правильной постановки самых рассказываемых фактов. Например, г. Громека, как очевидец, утверждает, что волнения эти сами по себе имели значение, заслуживающее даже поощрения, и что тот прискорбный характер, который они с самого начала приняли, и тот еще более печальный исход, который получили впоследствии, объясняется отчасти недоразумениями, сопровождавшими обнаружение манифеста 1855 года, призывавшего всех русских подданных «с железом в руке и с крестом в сердце» ополчиться за отечество, отчасти же южнорусским простодушием. Следовательно, если тут и есть преступность, то, по свидетельству автора, она заключается не в намерениях, а лишь в тех наружных действиях, в которых эти намерения проявились. Напротив того, полковник А-в, тоже очевидец, «приписывает главную причину волнений

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) озлоблению крестьян против экономических властей; дело же об указе и казачестве считает побочным и не более как предлогом» (стр. 14). Тут, стало быть, преступность является уже не в одних наружных действиях, но и в самых намерениях, следовательно, и степень ее значительно усугубляется. Вот два мнения, и оба принадлежат очевидцам. Г-н Громека, быть может, скажет: мое мнение оправдывается успехом; но и г. А-в может сказать, что он также действовал вполне успешно и прекратил волнения, возникшие в Каневском уезде, очень скоро и притом одними «благоразумными» мерами. На это г. Громека, конечно, опять скажет: «Вы не прекратили волнений, а только замазали дело»; но кто же может поручиться, что и г. А-в, в свою очередь, не ответит ему: «А вы разве прекратили что-нибудь? а вы разве не замазали?» Кто разрешит эту прю? кто скажет, кто прав и кто виноват? Конечно, все это, впоследствии, разрешат и расскажут нам знаменитые историографы наши, гг. Соловьев и Иловайский, но отнюдь не гг. Громека и А-в, потому что эти последние совсем не историки, а простые исполнители начальственных предписаний.

Оканчивая свою брошюру, г. Громека заключает: «Хорош ли факт или дурен, но он состоит в том, что украинский народ предан русскому царю и не хочет ни английских, ни французских, ни иных каких-либо царей». С этим, разумеется, невозможно не согласиться, но здесь невольно рождается вопрос, для кого писана брошюра г. Громеки? кто сомневался когда-нибудь, что украинский народ хочет английских, французских и еще каких-то «иных» царей? Судя по тому, что брошюра написана по-русски, надобно думать, что она предназначается для русских же, которые, конечно, ни тени сомнения в этом смысле ни на минуту допустить не могут. Если же брошюра написана для таких людей, для которых Украина составляет неизвестную землю (такowymi представляются все иностранные публицисты), то ведь этих людей ничем не убедишь: у них тоже имеются на этот счет свои теории, в которых желания украинского народа играют ту самую роль, какую на сцене играют гости и пейзажи.

РУКОВОДСТВО К СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ К. Ю. А. Миттермайера. Издание А. Унковского. Москва. 1863 г

Переводом этого руководства начинается ряд изданий, предпринятых А. М. Унковским ввиду ожидаемых Россией преобразований по судебной части. Практическая польза подобного предприятия слишком очевидна, чтобы нужно было много распространяться об этом предмете: оно отвечает настоятельной потребности публики, и притом отвечает в такую минуту, когда эта потребность всего живее чувствуется. Руководствуясь этим соображением и имея притом в виду, что сделанный г. Унковским выбор сочинений вполне соответствует своему назначению, мы смело рекомендуем его издания всем желающим ознакомиться с характером и подробностями гласного уголовного суда, совершаемого при участии присяжных, обвинителей и защитников.

СОВРЕМЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ В РАСКОЛЕ. I. Изгнание Белокриницкого митрополита из Москвы. II. Окружное послание раскольничьих архиереев и возбужденные им волнения между раскольниками. Соч. Н. С-на. Москва. 1863

Раскол составляет загадочное явление в русской жизни. По совершенно справедливому замечанию автора рассматриваемой брошюры, мы гораздо обстоятельнее знаем о том, что делается в Мексике, нежели о том, что такое этот раскол, которого имя с некоторого времени так часто слышится. Какая причина глубокого мрака, окутывающего явление до такой степени нам близкое, об этом мы объясняться не считаем удобным, но не можем, однако ж, не указать на тот факт, что до сих пор наша так называемая публика знакома с расколом исключительно по сочинениям, направленным в одну сторону и изображающим не столько сущность дела, сколько обрядовые его признаки. Понятно, что, при таком одностороннем, да к тому же еще и недостаточном знакомстве, живого представления о расколе возникнуть не могло; понятно также, что большинство публики должно было составить понятие о расколе как о чем-то мертвом, вращающемся исключительно в сфере сугубой аллилуйи и перстосложения. Какое представление имеет о расколе, или точнее сказать, о внутренней его сущности, простой народ и каким образом он к нему относится – этого мы тоже не знаем, или знаем очень смутно и поверхностно.

Между тем имеются некоторые признаки, по которым можно догадываться, что раскол, рассматриваемый как явление генерическое, далеко не исчерпывается одними обрядовыми, формальными разногласиями. Первый признак такого рода составляет его непосредственная живучесть, несмотря на неблагоприятную для него обстановку; второй – замечательная сила перзелизма, которая постоянно ему сопутствует от первых моментов его возникновения до настоящей минуты; третий, наконец, признак – это чрезвычайная солидарность, которая обыкновенно связывает всех

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) последователей одной и той же секты или толка. Все эти признаки, даже не прибегая к подробному и глубокому их анализу, имеют силу достаточно решительную, чтоб опровергнуть слишком поверхностные и опрометчивые суждения об этом замечательном явлении. И мы очень рады, что автор «Современных движений», по-видимому, близко знакомый с внутренней жизнью одного из разветвлений раскола, с самого начала считает нужным сделать оговорку, именно в этом смысле.

Нынешнее царствование принесло много облегчений раскольникам, и притом весьма значительных. Подробности этих облегчений известны публике только отчасти, но благоприятное их действие не подлежит никакому сомнению, и притом выражается довольно наглядно. Относительное спокойствие и свобода, которыми ныне обладают раскольники в пользовании общими правами, достаточно доказывают, что взгляд администрации на это дело подвергся изменению весьма существенному, а вместе с тем видоизменилась и самая система действий, направленных против распространения и утверждения расколоучений. Нет уже того горячего преследования, того непрерывного процесса, который, еще в весьма недавнее время, неутомимо вчинался против раскольников и составлял отличительную черту отношений администрации к расколу; нет и того далеко не гуманного воззрения, в силу которого раскольник ни у себя дома, ни вне своего дома не признавался полным гражданином: в этом отношении раскольники сравнены со всеми. Сверх того, самая среда, в которой жили и действовали раскольники, значительно изменилась, и притом изменилась к лучшему. Не стало, например, крепостного права, в осуждении которого согласны были все расколоучения. И если все эти облегчающие условия еще не выразились в форме совершенно ясного и постоянного правила, то это происходит, очевидно, от того, что история вообще совершает свое течение довольно туго. Но поводов ссылаться в этом случае на какую-то случайность и зыбкость решительно нет никаких.

Раскольники прежде всего должны были почувствовать эту перемену системы на самих себе и на своих отношениях к церкви. И тут-то именно прежде всего оказалось, что враждебность раскола основывалась отнюдь не на одних обрядовых различиях и так называемых новшествах, но на причинах несравненно более глубоких и жизненных. Если бы дело шло только об обрядах, то в отношениях раскола к господствующей церкви не могло бы вкратце никакой перемены, ибо разность в обрядах существует все в одной и той же степени, не умаляясь и не увеличиваясь. Стало быть, если оказываются признаки подобной перемены, то мотивировать их должно нечто совершенно другое. Это нечто, на нашему мнению, заключается именно в тех изменениях экономических и юридических условий народного быта, которые принесло с собой нынешнее царствование. Получилась большая или меньшая свобода располагать своею личностью, достигнута большая или меньшая возможность устраиваться у себя дома с некоторою уверенностью, не опасаясь беспрестанного и не всегда полезного вмешательства местных административных властей во внутренний распорядок домашних дел. При этой новой обстановке общественный характер раскольничьего протеста терял часть своих оснований и вынужден был сузиться; живое дело ускользало из рук за постепенным приведением его в действие. Естественно, что и в среде раскольников должно было повториться то же самое явление, которое первоначально отразилось на так называемом русском обществе; а именно: некоторая довольно значительная часть этого общества, находившаяся до известной минуты в неприязненных отношениях к действительности, увидев, что мечты и желания ее осуществились, вдруг перестала мечтать и желать. Естественно также, что новые порядки и новая обстановка должна была коснуться и раскола и произвести в нем некоторые колебания. В особенности же сильно должно было отразиться это явление в секте поповщинской, которая и без того захватывала жизненные вопросы менее глубоко и радикально, нежели прочие раскольничьи секты.

Историю одного из таких колебаний рассказывает нам теперь г. С-н, и брошюрка его должна иметь для нас тем большую важность, что в ней идет дело о старообрядцах-поповщинах, занимающих, как известно, самое видное место в общей старообрядческой семье.

Известно, что в сороковых годах нынешнего столетия поповщинцы успели добыть себе архиерея, в лице бывшего боснанского митрополита Амвросия, лишённого кафедры и находившегося под запрещением. Амвросий держался недолго, однако успел посвятить другого архиерея, Кирилла, который сделался его преемником и продолжает править раскольничью митрополией до сих пор. Местопребывание раскольничьего митрополита находится в Белокрыницком монастыре, в Буковине (в австрийских владениях). В Москве большинство старообрядцев-поповщинцев признало сперва Амвросия, а потом и Кирилла верховными пастырями новой иерархии, и впоследствии число епископов

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) австрийского рукоположения возросло до значительной цифры (см. статью г. Мельникова «Старообрядческие архиереи», «Русский вестник» за 1863 г., № 6).

Дело, по-видимому, шло к общему удовольствию, но в феврале нынешнего года случилось в Москве что-то такое, что дало ему совершенно иной оборот. Автор не рассказывает подробности события, а говорит только, что в обществе московских старообрядцев «произошли какие-то беспорядки», однако ж можно догадываться, что «беспорядки» эти были совсем другого рода, нежели те, которые описывает о. Андрей Иоаннов в своем сочинении «Известие о Стригольниках». В последних на первом месте были формальности и разногласия об обрядах, между тем как в февральских «беспорядках» главное место занимали вопросы самого существенного, интимного свойства; а именно, дело шло: во-первых, о независимости русской старообрядческой церкви от австрийского главного иерарха и, во-вторых, о рассмотрении, в самой их сущности, отношений попощинского толка как к господствующей церкви, так и к другим старообрядческим согласиям. Эта последняя задача в особенности замечательна, потому что она заключает в себе не что иное, как поверку всего внутреннего содержания секты. Автор совершенно справедливо говорит, что попощинцы с каждым днем всё более и более утрачивают свой авторитет, а беспопощинцы всё более и более приобретают значение. Действительно, попощинская секта составляет какой-то недоносок, постоянно находящийся на распутьи, постоянно питающийся чужими сектами и не преследующий никакой своей собственной, ясно определенной цели. Поэтому-то она и представляет обширное поприще для колебаний, поэтому-то дело внутренней поверки стоит у нее всегда на первом плане и составляет вечное *memento mori*, [11] свидетельствующее о недостаточной глубине и крайней зависимости ее содержания.

Беспорядки в московском обществе были таковы, что некоторые влиятельные прихожане Рогожского кладбища серьезно встревожились ими и признали за нужное вызвать в Москву самого лжемитрополита Кирилла. Кирилл приехал; на пути он был в Петербурге, где местные старообрядцы устроили ему парадную встречу. В Москве его приняли также с большим почетом. Прежде всего, он созвал «собор» для устройства церковных дел. Первый вопрос, который возник на этом «соборе», касался назначения епископа, который управлял бы всею, как называют раскольники, «российскою церковью». Назначен был Афанасий, лжеепископ саратовский, но назначен условно, до особого благоустройства. Очевидно, Кириллу тяжело было уступить часть своей власти.

Такая уклончивость, разумеется, не могла быть по сердцу «собору»: в ней видели только внушение личного интереса лжеиерарха. Сверх того, в то же время возникла польская смута; раскольники почувствовали потребность выяснить свои отношения к ней, пришли к необходимости оправданий и заявлений. Подобно «московским студентам», очищавшимся в «Дне», и они сознавали за собой нечто такое, что требует «очищения». На сцену выступили «благоразумнейшие», и автор совершенно справедливо дает понять, что преобладающим мотивом, вызвавшим с их стороны движение, было опасение «неблагоприятных последствий для всего общества старообрядцев». Это опасение, прибавим мы от себя, конечно, совершенно неосновательно, но таково уже свойство всякого рода секретных занятий, что они, основательно или неосновательно, но вынуждают во всякое время чего-нибудь опасаться.

«Благоразумнейшие» составили прошение на имя лжеосвященного собора и в прошении этом, обращая внимание на политическое значение пребывания Кирилла в Москве, требовали, чтоб он немедленно выехал из столицы «и даже из России». «Собор» дал знать об этом Кириллу, а так как он все-таки медлил отъездом, то 10 марта послана была ему грамота, в которой требовалось, чтоб он «не отягощал более своим здесь бесполезным и даже опасным существованием для мирных христиан сей столицы, сейчас же с Сергием и Филаретом отправился обратно в Белую Криницу, с тем что за противозаконные, никак не терпимые церковью деяния он, с наложением запрещения от священнодействия, подлежит суду большого освященного собора». Кириллу ничего больше не оставалось делать, как повиноваться.

Таким образом, на Рогожском кладбище был сделан первый шаг к освобождению «российской» старообрядческой церкви от влияния австрийской иерархии, а вместе с тем, выказался во всей силе тот повсеместно существующий у всех раскольников факт, который доказывает, что там в делах церкви решительный голос имеют не так называемые «соборы», а простые миряне, прихожане. Это последнее предположение еще более подтверждается протестом гуслицких раскольников, о котором будет сказано ниже. Затем, окончательное обособление «российской» старообрядческой

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) церкви совершилось уже в прошлом августе, когда старообрядческие архиереи соборную свою власть возвели Антония, лжеархиепископа владимирского, в сан митрополита московского и всея Руси. Слышно, что и на этом деле не остановилось, что и Антоний уже низложен, а на место его в сан митрополита возведен другой.

Но рядом с этим событием совершилось и другое, по крайней мере, настолько же естественное и необходимое, как и первое; а именно: произошла проверка самой сущности поповщинского раскола и его отношений к господствующей церкви с одной стороны, и к прочим раскольническим разветвлениям с другой. Мы уже сказали выше, что секта поповщинцев, более, нежели всякая другая, представляет обширное поприще для всякого рода колебаний. В смысле социальном, она не идет, подобно многим беспоповщинским сектам, до отрицания основ, которые признаются существенным условием для всякого законно организованного общества, и следовательно, с этой стороны, руки у них развязаны. Протест ее ни глубиной, ни размерами своими не превосходил того протеста, который заявлялся московскими публицистами 1856 и 1857 годов, не шел далее некоторых частных, положим, довольно существенных, но все-таки далеко не исчерпывавших всего положения. Следовательно, как только те частные стеснения, которые сообщали этому протесту жизненный характер, устранились сами собою, то поповщинцам оставалось одно из двух: или примириться с господствующей церковью, которая даже предлагает в этих видах весьма удобное средство (единоверие), или же идти далее на пути отрицания, то есть сблизиться с беспоповщинцами. И действительно, обнаруживающееся ныне между прихожанами Рогожского кладбища движение именно обнаруживает этот двойственный характер. Покамест дело, конечно, ограничивается одними колебаниями, но, во всяком случае, уже и то важно, что поповщинцы сознали, наконец, всю неестественность своего положения, всю ненужность и несвоевременность своего протеста.

Двадцать четвертого февраля, в то самое время, когда «беспорядки», для усмирения которых так спешил в Москву лжемитрополит Кирилл, не только не утихли, но приняли еще более серьезный и горячий характер, старообрядческие архиереи (очевидно, без участия Кирилла) издали очень любопытный документ под следующим названием: «Окружное послание возлюбленным чадам единыя, святыя, соборныя, апостольския, древлеправославно-кафолическия церкви, всем и повсюду пребывающим». Этот замечательный документ служит очевидным доказательством того тягостного, а отчасти и нелепого положения, в которое поставлены современные поповщинцы. «Послание» писано, по наружности, с целью полемической и кажется направленным исключительно против беспоповщинской пропаганды (угрожающей, как кажется, сильною опасностью всей поповщине), но, в сущности, оно заключает в себе не что иное, как попытку примирения с господствующей церковью. По крайней мере, в нем торжественно признается, что последняя ни в чем существенном нисколько не отступила от чистоты православия, – и это признание, по нашему мнению, есть единственный факт, на котором можно остановиться с уверенностью. Правда, что, при дальнейшем, более подробном рассмотрении вопроса о поводах к несогласиям, «Послание», между прочим, поименовывает и такие, которые оно называет «новодогматствованиями» и без устранения которых, по мнению его, полное согласие невозможно, однако ж не нужно много проницательности, чтобы заметить, что это не более как простое празднословие, подходящее под категорию таких же невинных соображений, какие заставляют страуса думать, что если он спрячет голову под крыло, то охотник уж его и не увидит (далее окажется на деле, что такие опытные охотники, каковыми оказались гуслицкие раскольники, усмотрели, однако ж, голову страуса). Г-н С-н видит в этом послании непоследовательность и противоречие самому себе и говорит, что заключающиеся в нем «несообразности очень легко могут внушить (кому?) подозрение относительно искренности тех благосклонных отзывов о церкви, которые встречаются в Послании и которых доселе не встречалось ни в одном из старообрядческих сочинений». Напрасно. Тут действительно есть непоследовательность, но эта непоследовательность совсем не из рода тех, которые могут внушать опасения или подозрения. Это непоследовательность не преднамеренная, а, так сказать, органическая; это обычный плод колебания; это тысячекратное повторение того образа действия, который так рельефно воссоздается русской поговоркой: «Собака волка дерет: и драть не умеет, и не драть не смеет».

Тем не менее действие, произведенное «Окружным посланием» на раскольников-поповщинцев, далеко не отвечало тем надеждам, которые, по-видимому, возлагали на него «благоразумнейшие» и сам лжеосвященный собор. Преимущественно возмущались против него поповщинцы гуслицкие, которые и протестовали в самых резких и не терпящих никаких уступок формах. «Молим мы, – говорят они, –

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) уничтожьте новые составленные мнения Окружного Послания, а мы его не приемлем, но боимся, не пострадать бы, как пострадала церковь во время никона патриарха...»

Поводы, которые побудили гуслицких и других раскольников отозваться так жестко на Окружное Послание, обрисованы г. С-ным довольно неясно. По изложению его выходит, что здесь главную роль играет обрядовая сторона дела, но такое заключение явно противоречит тому мнению о сущности раскола, которое он предпослал своей брошюре и с которым мы вполне согласны. Мы разъясняем себе совершенно иначе. Не надо забывать, что здесь речь идет исключительно об одной поповщине, а эта секта, как мы уже сказали выше, по самой своей внутренней сущности, представляет, в настоящее время, почти совершенный non-sens, [12] поражающий своею бессодержательностью и ненужностью. Такие отрицательные качества, конечно, не привлекут к ней много прозелитов, но в то же время дают ей полную возможность свободно протягивать руки во все стороны. И если можно предположить, что «благоразумнейшие» сочиняли свое «Послание» под наитием благоразумия, то отчего же не предположить, что гуслицкие поповщинцы отвергли этот документ под влиянием какого-нибудь другого соображения, тоже имеющего очень мало общего с коренными основами собственно поповщинской секты?

На этот раз гуслицкая строптивость одержала верх. Лжеосвященный собор вынужден был смириться и уступить; с этою целью он издал новое Соборное Определение, которое заключает в себе даже не оправдание, а просто-напросто уничтожение всех примирительных попыток, изъясненных в Окружном Послании. На этом документе и оканчивается, покамест, любопытный рассказ г. С-на; на нем же кончим и мы.

Мы называем этот рассказ «любопытным», ибо, несмотря на то что в нем о многих интересных подробностях совершенно умолчано (по незнанию, как объясняет сам автор), главный факт до того богат содержанием, что сам по себе дает возможность делать выводы, помимо всяких пропусков и опущений. Но все это не дает нам, однако ж, право назвать издание этого рассказа уместным и своевременным, а тем менее выводить из сообщаемого факта те заключения о неискренности и двусмысленности, какие выводит из него г. С-н. По мнению нашему, дело это находится в состоянии колебания, а до тех пор пока оно не вышло из этого состояния, невозможно сказать об нем ничего положительного, кроме того, что содержание, которое до известной поры питало его, начинает, видимо, истощаться. Самое зрелище колебания, всегда сопряженное с непоследовательностями и противоречиями, в сущности, представляет лишь один из естественных и законных фазисов всякого человеческого дела, которому предстоит близкий перелом или поворот. Никакой преднамеренной неискренности или хитро задуманного двусмыслия не может тут быть. Мы желали бы ошибиться, но, судя по тону брошюры, считаем себя вправе думать, что г. С-н именно упустил из вида это обстоятельство; ибо в противном случае он, конечно, усумнился бы обнародовать такие факты, обнародование которых, не отвечая покамест никакой существенной потребности, может лишь усугубить ту непоследовательность и противоречия, на которые жалуется автор.

ВОЛЯ. Два романа из быта беглых. А. Скавронского. Том 1-й. Беглые в Новороссии (роман в двух частях). Том II-й. Беглые воротились (роман в трех частях). СПб. 1864

Роман этот составляет совершенно исключительное явление в современной русской литературе. Беллетристика наша не может похвалиться капитальными произведениями, но, конечно, никто не упрекнет ее в невоздержности, в фантазерстве и в бесцеремонном служении тому, что по-французски зовут словом *blague*, [13] а по-русски просто-напросто хлестаковщиной. Внешним, чисто сказочным интересом она даже вовсе пренебрегает и, по нашему мнению, поступает в этом случае вполне разумно, потому что жизнь и сама по себе есть сказка весьма простая и мало запутанная. То есть, коли хотите, в ней есть даже очень большая доля запутанности, но эта запутанность чисто внутренняя, составляющая, так сказать, интимную ее принадлежность и вовсе не зависящая от случайных передвижений человека с одного места на другое, от переодеваний, от состояния погоды, местоположения и других более или менее произвольных причин. Объясним это примером, близко подходящим к разбираемой нами книге. Если человека секут, как сечет, например, беглого Левенчука полковник Панчуковский, то драматизм этого положения, конечно, не в том заключается, что человеку дали столько-то розог, выпустили из него столько-то крови и что после этого человек или остервенился, или смирился, а в обобщении факта, в раскрытии его внутренней ненормальности. Чтобы исполнить все это надлежащим образом, вовсе не требуется истязать человека палками, а достаточно дать ему одну, только одну розгу; вовсе не требуется

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) представлять наказуемого в виде вельзевула или кровопийца, а достаточно показать его человеком увлекающимся и порой даже одушевленным самыми прекрасными намерениями. Ибо действительная, настоящая драма, хотя и выражается в форме известного события, но это последнее служит для нее только поводом, дающим ей возможность разом покончить с теми противоречиями, которые питали ее задолго до события и которые таятся в самой жизни, издавек и исподволь подготовившей самое событие. Рассматриваемая с точки зрения события, драма есть последнее слово, или, по малой мере, решительная поворотная точка всякого человеческого существования, и всякое человеческое существование, если оно не совсем уж пустое, непременно имеет свою драму, развязка которой для иных отзовется совершенной гибелью, для других равнодушием и апатией, для третьих, наконец, принижением и покорностью. Дело, стало быть, вовсе не в том, чтобы изобразить событие более или менее кровавое, а в том, чтобы уяснить читателю смысл этого события и раскрыть внутреннюю его историю. Иначе, написать драму было бы делом чересчур уж легким; стоило бы, например, представить врага, а на берегу его вообразить себе всадника; вдруг лошадь закусывает удила и бросается вместе с всадником в овраг – чем не драма! А еще будет драматичнее, если мы представим себе целую сотню всадников, которых лошади закусывают удила и бросаются в овраг. Сколько тут детей одних после них останется, сколько вдов! Право, если написать судьбу каждого из этих сирот, то выйдет, пожалуй, роман, и не в пяти, а в пятидесяти частях. Точно то же следует сказать и о сущности комизма, и почаще припоминать при этом анекдот Гоголя об извозчике, которого наняли на Пески, а он привез на Петербургскую сторону. – В этом происшествии столь же мало действительного комизма, как и в том, например, что автор одной недавно сыгранной в Петербурге комедии заставляет кого-то из своих героев съесть шубу. Это не комизм, а просто-напросто чепуха.

Своим несомненно воздержным и трезвым отношением к действительности литература наша обязана покойному Белинскому. Он первый высказал те простые истины, которые приведены нами выше и которые высказать было в то время совсем не так легко, как кажется. Он первый вооружился всею силою своего критического таланта против преобладания в русской беллетристике сказочного таланта; он, можно сказать, дал тон нашей беллетристике. И действительно, в нашей литературе совсем нет громоздких вещей вроде тех, какими в свое время потчевали французскую публику Дюма-отец и Феваль, а если иногда и прорывается нечто подобное, то положительно в виде исключения.

К такого рода исключениям принадлежит, к сожалению, и разбираемый нами роман г. А. Скавронского. Читая его, вы не видите ни характеров, ни своеобразного языка, ни действительной драмы, а просто вступаете в какой-то темный лабиринт, в котором событие нагромождается на событие. И такова сила общего, господствующего тона литературы, что даже эта чисто внешняя работа ведется автором крайне неискусно и неаккуратно, что он очень часто противоречит самому себе, впадает в забывчивость совершенно непростительную и представляет, например, незнакомыми друг другу таких людей, которые, за несколько страниц перед тем, были чуть-чуть не приятелями. В результате, не достигается даже та чисто внешняя, вытягивающая жилы цель, которую предположил себе автор, и читатель, вместо того чтоб интересоваться судьбою героев романа, чувствует утомление и скуку, а под конец даже и негодование против усердного, но неискusstного автора, который так явно его обманывает. Очевидно, что для читателя уже мало того, что автор скажет ему: «представим себе, что вот в таком-то месте случилось такое-то происшествие», а нужно, чтобы это происшествие именно могло случиться в таком-то месте, чтобы оно носило в себе признаки жизненной правды, чтобы оно не отзывалось выдумкой и не представляло собой лишь образчиков более или менее правильного словосочинения.

«Воля» заключает собственно два романа, которые не имеют между собой никакой связи, кроме разве того обстоятельства, что оба они рассказывают похождения беглого русского люда. Расскажем содержание первого романа, носящего название «Беглые в Новороссии».

Действие происходит в некотором царстве, некотором государстве. Определяя таким образом место действия романа, мы совсем не думаем шутить, и хотя автор положительным образом удостоверяет нас, что действие его романа происходит в Новороссии, но мы не можем верить ему ни под каким видом. В этом случае, мы имеем весьма основательные причины для недоверия, хотя сами и очень мало знаем о Новороссии. Причины эти мы укажем после, а теперь будем рассказывать самое содержание романа.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Итак, в некотором царстве, в некотором государстве, пробираются «свинными тропинками» два пешехода: Милороденко и Левенчук, оба беглые, из крепостных крестьян. Милороденко рассказывает свои похождения, как в него однажды влюбилась барышня. Говорят они таким языком:

– ...Влюбилась в меня, до побегу еще значит, племянница самого барина... да!

– Что ты? ах, братец ты мой! – даже вскрикнул с испугу в темноте Левенчук и вспрыгнул (?) на корточки.

– Эх, дурачина ты, брат, дурачина! Ну, что смотришь так? вот то-то и дело, что ничего! – продолжал, вольготно потягиваясь, Милороденко, – это почти то же самое дело, никакой разницы нет, кроме опчей, значит, чистоты (?)...

И так далее. При этом, чтобы ловчее обмануть читателя, что он действительно мужик, а не барин, Милороденко называет вакштаф «акштафом», вместо «выучился» говорит «вывчился», вместо «заманили» – «заманули» и т. п. Одним словом, употребляет всевозможные хитрости. Пробираются эти путники в обетованный край, называемый автором Новороссией, и наконец достигают его. На рубеже Милороденко напился пьян и поколотил Левенчука, после чего приятели разошлись в разные стороны, но на другой день опять-таки сошлись на работе у некоего полковника-колонииста Панчуковского, и здесь Левенчук отказался в пользу Милороденки от своей винной порции. Этот великодушный поступок составляет завязку романа, ибо он связал Милороденку вечною признательностью.

Проходит три года. На сцену героем является полковник Панчуковский. Он едет по степи и встречает богатого колонииста Шульцвейна, который хлопочет над сломавшимся экипажем. Разговорились и познакомились. Из разговора этого видно, что Шульцвейн ворочает миллионными делами, что он недавно был в соседстве Панчуковского, на Мертвых Водах, у священника, отца Павладия и что у этого Павладия есть хорошенькая воспитанница. При этом последнем известии Панчуковский задумывается и упрекает своего кучера Самуилика за то, что он не доложил ему до сих пор о поповой воспитаннице. Оказывается, что он сластолюбец.

На другой день, по случаю рождения Панчуковского, у него праздник. Гости разговаривают о различных торговых предприятиях и о благословенном положении того края, который называется некоторым государством и в котором полиция, как ни старайся, никак ничего поделать не может.

С одной стороны, обширность, с другой – малонаселенность сделали из этого уголка надежное убежище для всякого рода беглых людей, наплывом наплывающих туда из России. Полиция, несмотря на свою прозорливость, положительно теряется среди этой обширности и малонаселенности и в этой крайности скромно решает ограничить свою деятельность взятками.

Среди этих разговоров к Панчуковскому подходит студент одесского лицея Михайлов, живущий в учителях у одного тоже колонииста, купца Шутовкина, и просит займы денег, которые ему нужны для какой-то спекуляции. Панчуковский денег ему не дает и адресует к отцу Павладию, которому и поручается за будущего коммерсанта; но при этом он требует от студента некоторой услуги, а именно, чтобы он высмотрел у отца Павладия его воспитанницу и о том, что окажется, донес. «Извольте», – отвечает студент Михайлов и мчится к священнику.

Что за человек этот отец Павладий – это понять очень трудно. Даже просто невозможно понять. Он и ростовщик как будто, и как будто не ростовщик; он и умен как будто, и как будто дурак; он и злой и добрый; и любознательный и невежда. Одним словом, лицо это нарисовано словно в каком-то жару; как будто бы автор имел перед собой лексикон, брал из него наудачу слова и нанизывал их одно на другое. Причем не пренебрегал и словами, слышанными случайно на улице. Всё, что ни говорит этот человек, не только к делу не имеет никакого отношения, но просто ни к чему. Священник дает Михайлову деньги за поручительством Панчуковского и лупит при этом с него жидовские проценты; с своей стороны Михайлов пристально всматривается в поповскую воспитанницу («пуркуа регарде?» – спрашивает его по этому случаю отец Павладий... о читатель! не думай, чтоб эта фраза была нами выдумана, нет, она буквально красуется на 61 стр. I-го тома) и летит доложить Панчуковскому, что девица первый сорт и что она дочь какого-то убитого беглого. В это самое время, то есть покуда студент Михайлов докладывает своему патрону о результатах поручения, к отцу Павладию приходит Левенчук и вступает с ним в

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru разговор, из которого явствует, что Левенчук и Оксана (воспитанница) любят друг друга и что священник не прочь их обвенчать, но требует, чтоб Левенчук внес за Оксану двести целковых. Часть этих денег Левенчук отдает тут же, и священник позволяет ему уйти с Оксаной под ракушку, с тем, однако ж, чтобы далее поцелуев – «ни-ни».

Вот какой благодатный край это «некоторое государство»! Из этого же разговора видно, что Милороденко знаком с отцом Павладием и что его знает и Оксана, которая на стр. 87 даже вздыхает об нем. Это замечание необходимо нам, потому что оно впоследствии послужит к обличению г. Скавронского в непозволительной рассеянности, которой он, конечно, не мог бы иметь, если бы действие его романа воистину происходило где-нибудь на земле, а не в пространстве и во времени.

Итак, покуда перед нами семь действующих лиц: Панчуковский, Левенчук, Милороденко, Шульцвейн, студент Михайлов, отец Павладий и Оксана. Зачем являются они в романе? Яснее мы это увидим впоследствии, но уже и теперь для всякого читателя понятно, что студент Михайлов и колонист Шульцвейн – лица совершенно ненужные, что их можно было бы, без всякого ущерба, соединить в одно лицо, или же заменить Милороденкой, или же, наконец, и совсем выбросить. Результат был бы тот, что печатной бумаги оказалось бы меньше – и только.

Панчуковский решился похитить Оксану и находится по этому случаю в самых приятных мечтаниях. Думы его прерывает купец Шутовкин, «грязный и жирный толстяк, с маленькими свинными глазками, с одышкой, с миллионным состоянием». Шутовкин – это комик романа, а потому у него и наружность такая уморительная. Он объявляет Панчуковскому, что влюблен, и просит его содействия.

– Bravo, Мосей Ильич! Кто же эта особа?..

Толстяк оглянулся кругом и, сопя от одышки, прошептал, трепля по руке полковника:

– Одна тут колонистка есть, болгарка, девка просто ошеломительная... Что делать! Я уже и старух к ней подсылал, видите ли, и подарки ей делал, – ничто не берет... Такая рослая-с, как кедр ливанский, всю душу изморила. Решился я ее просто живьем-с украсть; завезу ее на свой завод, или в город прежде, и спрячу, и в недельку авось ее завербую совсем!

Шутовкин перевел дух. Пот валил с него в три ручья, а руки и губы его дрожали. Панчуковский чувствовал к нему отвращение, но слушал его усердно.

– Полковник, – сказал гость, – мы с вами коммерческие дела обделывали; помогите мне в этом! Я к вам обратился, как к доброму человеку. На людей своих мы положиться вполне не можем; у вас дворня дружная подобрана, да и они ничто пред вами. Я у вас навеки останусь в долгу. Помогите!

– Как же мы дело устроим, Мосей Ильич?

– Сегодня вечером у Святодуховки, по поводу праздника, как я узнал, соберутся с окрестностей девки и парни; мы подведем двумя тройками, – моя красавица тоже там будет... Ну, а уже самое дело покажет, как его порешить...

Полковник встал.

– Согласен, извольте. – Абдулка, Самусь! – крикнул он в окно любимцам своим. И, запершись в кабинете, господа обдумали всё, как надо.

– А полиция? – спросил Панчуковский, – ведь эти болгары народ мстительный и злой, не то что наши; пойдут с ябедами. Станут искать пропавшую...

– Э, полковник! Какие вы пустяки, извините, говорите: а это зачем?

И Шутовкин потрепал себя по бумажнику. Боковой карман был туго набит.

Сказано, сделано: красавицу болгарку похищают, и это еще более раззадоривает сладострастного полковника. Не думая долго, он, вслед за похищением болгарки, отправляется в дом отца Павладия и, пользуясь отсутствием этого последнего, насильно увозит к себе Оксану. В одной главе и в одну ночь совершаются два

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) похищения, причем первое допущено автором без всякой нужды для романа и, в доказательство своей ненужности, так здесь и замирает, на страницах 7-й главы. «Господи! да как же это так? – восклицает изумленный читатель, – как же это так: захотел, взял и похитил... фу!»

– А всё от того, что край обширный и полиция ничего поделывать не может, – отвечает автор, – погодите, то ли еще будет!

Оксана живет под замком у Панчуковского и вздыхает по Левенчуке; но неволя сделала свое дело, и Оксана уже отдалась своему тирану. Левенчук знает это и горит мщением. Он отправляется к полковнику, сначала умоляет отдать ему Оксану, и когда тот не соглашается, то возбуждает против него толпу пьяных батраков. Происходит нечто вроде балетного бунта, в котором бунтующие так, кажется, и ждут, не подъедет ли капитан-исправник и не вздует ли их на порядках. А он, и в самом деле, тут как тут; его обо всем уже уведомил Шульцвейн, которому, в свою очередь, шепнул об этом автор. Исправник этот, по фамилии Подкованцев, бездельник естественнейший и притом большой шутник, но остроты его не простираются далее того, что он, вместо «пить» и «есть», говорит «бювешки» и «манжешки». Тем не менее г. Подкованцев появлением своим доказывает, что даже и в «некотором царстве» полиция, если захочет, то может же что-нибудь поделывать. Он усмиряет бунт и про штрафовывается разве только тем, что недостаточно бодрствует над Левенчуком и тем дает ему возможность скрыться. «Но почему же Подкованцев не явился тогда, когда Шутовкин похищал прекрасную болгарку, а Панчуковский – Оксану?» – спрашивает читатель; однако автор ничего не отвечает на вопрос его и всячески старается замять этот неприятный для него разговор.

Вторая часть застаёт Оксану все еще пленницей Панчуковского; она по-прежнему воркует о Левенчуке, и хотя обнимает сладострастного полковника и сидит у него на коленях, но, очевидно, делает это больше для проформы, потому что последний недоволен ее холодностью и обещает ей в случае попытки к побегу: «Поймаю – извини: на конюшне, душечка, выпорю... О, я злой на это! чик-чик, чик-чик! да!» У полковника появляется в это время в числе дворовых Аксентий Шкатулкин, который до того овладевает доверенностью своего барина, что последний допускает его сопровождать свою пленницу в прогулках. Этот Шкатулкин не кто иной, как известный уже нам Милороденко, который знаком и Оксане; но тут происходит какое-то умопомрачение, в совершенстве напоминающее прекрасную поговорку, приводимую Любимом Торцовым в комедии Островского «Бедность не порок»: я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик! Автор уже забыл об этом знакомстве и заставляет их встречаться, как людей совершенно друг другу неизвестных. Аксен имеет нечто на уме; он помнит, как Левенчук уступил ему свою чарку водки, и, в благодарность за это, хочет что-то сделать в пользу Оксаны, но не делает ничего, а проводит время в балагурстве самом скучном и тупоумном, точно говорит читателю: а вот погоди! мы сначала побеседуем несколько печатных листов, а там и вызволим! уж вызволим, будь покоен! В это же самое время приезжает в «некоторое государство» из внутренней России помещица Перепелицына и оказывается женой Панчуковского, которую он обокрал и бросил. У Перепелицыной на дороге сбежал слуга, и об этом заведено дело у станового пристава. История, очевидно, начинает запутываться, так что и следить за ней трудно, и запутывается она совершенно без нужды, а потому только... да почему же, наконец? неужели потому, что автору хотелось покрыть типографскими чернилами несколько лишних листов бумаги? О происшествии этом узнает и Панчуковский и едет за справками. Он является к становому приставу от лица помещицы, у которой сбежал слуга, и тут опять происходит нечто вроде «я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик!». Автор, забывши, что заставил своего героя рекомендоваться становому от лица самой Перепелицыной, через одну страницу заставляя его спрашивать того же станового: «Куда же эта барыня проехала?» Читатель охает, а издатель-книгопродавец Вольф потихоньку посмеивается и говорит: «Каков роман-то я издал! а! каков роман!» Подлинно, роман удивительный.

После продолжительной безобразной болтовни между Панчуковским и Шутовкиным и между Панчуковским же и Шкатулкиным, болтовни, ни к чему решительно не ведущей и занимающей целую одиннадцатую главу, действие романа снова возобновляется. Является Левенчук и покушается убить полковника; но его ловят и секут.

Тут же действие быстро подвигается к развязке. Шкатулкин снимает с себя маску, освобождает Левенчука из заключения, крадет у Панчуковского значительную сумму денег, перевязывает ночью сонную дворню и бежит вместе с своим приятелем и Оксаной. На это происшествие опять бегают исправник Подкованцев и производит облаву на беглых (и после этого, не совестно говорить, что полиция ничего не

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru может поделаться!). Однако облава до такой степени не удается, что, в заключение, Подкованцев оказывается убитым из ружья, а Шкатулкин, Левенчук и Оксана спасаются.

Помещица Перепелицына влюбляется в студента Михайлова и уезжает с ним в Тамбовскую губернию...

Вот содержание первого романа. Содержание второго, «Беглые воротились», мы рассказывать не будем, хотя и оно в своем роде до крайности поучительно, как доказательство того, что для автора, одаренного твердыми намерениями, нет ничего невозможного. Между прочим, там есть действующее лицо, г-жа Перебоченская, которая, завладевши чужим именем, не впускает в него настоящего владельца, несмотря на решение судебного места, несмотря на то что полиция насильственными мерами выпроваживает ее оттуда. Всех полицейских и понятых она побивает при помощи девки Палашки, которую, в свою очередь, успеваешь усмирить только одаренный особую полицейскою конструкцией чиновник, по фамилии Ангел. Эта Перебоченская такое лицо, что просто пальчики оближешь. Есть тут даже крестьянский бунт, заправский крестьянский бунт с «пророком» и «пророчицей»... Ну, вот это уж и нехорошо, г. Скавронский! Ну, как-таки братья за такой предмет! ведь это не то, что «бювешки» да «манжешки» описывать, ведь это сюжет серьезный!

Из всего изложенного выше читатель сам может вывести заключение, правы ли мы были, утверждая, что действие романов г. Скавронского происходит в «некотором государстве», а отнюдь не в Новороссии? Где люди забывают то, что они говорили страницу или две назад? в некотором государстве. Где, без всякой надобности, привлекаются к делу такие лица, как Шутовкин, Шульцвейн, о. Павладий, Подкованцев, студент Михайлов, помещица Перепелицына и даже сам Панчуковский? – в некотором государстве. Где исправники появляются из-под земли в такую именно минуту, когда их присутствие наиболее требуется? – в некотором царстве. Где г-жа Перебоченская может разбивать полицию с помощью девки Палашки? – в некотором царстве. Именно, в некотором царстве, а отнюдь не в Новороссии и даже не на Лысой горе.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЯ Г. ГЕЙНЕ. В русском переводе, издано под редакцией Ф. Н. Берга. Том I. Салон, Германия и Атта Троль. СПб. 1863 г  
О собственном поэтическом таланте г. Ф. Берга читатели «Современника» знают по его песне о птицах, которая была однажды цитирована в нашем журнале и которая начинается стихами:

Из-за моря птицы прилетали.

Прилетали, в роще толковали...

Теперь г. Ф. Берг пробует свои силы на издательском поприще и для первого опыта предположил познакомить русскую публику с Гейне, в переводах различных русских писателей. В вышедшем ныне томе помещены переводы самого издателя, гг. Страхова, Вс. Костомарова и Аверкиева. О достоинстве переводов можно сказать следующее: прозаические сочинения переведены добросовестно, хотя и довольно бесцветно; что же касается до стихотворных переводов, то их нельзя назвать иначе, как систематическим претворением Гейне в гг. «Скорбного поэта», Адамантова и Монумендова. На этом поприще претворения в особенности отличился г. Вс. Костомаров, который начало 4-й главы поэмы «Германия» перевел следующим образом:

В славном Ахене, в древнем соборе стоит

Императора Карла гробница;

Но Карл Мейер не есть Карл Великий: они

Совершенно различные лица.

Даже с скиптром в руках не хотелось бы мне

Быть схоронену в склепе огромном.

Лучше жить, – даже так, как малейший поэт, –

Жить на Неккаре, в Штутгарте скромном! –

и т. д. Вот как переводится на русский язык Гейне, тот самый Гейне, единой

крупницы которого достаточно для того, чтобы напитать целую стаю русских чирикающих воробьев! По нашему мнению, такой поступок доказывает не только самую черную неблагодарность, но и ужаснейшую воробьиною смелость.

НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ А. ПЛЕЩЕЕВА (Дополнение к изданным в 1861 году.) Москва. 1863 г

Скромная муза г. Плещеева достаточно известна читающей русской публике; тем не менее мы охотно останавливаемся на вновь вышедшем собрании его стихотворений,

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) так как, по нашему убеждению, Г. Плещеев принадлежит к самым искренним и наиболее симпатичным русским поэтам.

Наше время, богатое всякого рода общественными недоумениями, представляет слишком немного благоприятных условий для спокойного творчества. В сущности, эти недоумения не прерывались никогда и отнюдь не составляют исключительной принадлежности именно современной эпохи, но нельзя не сознаться, что никогда они не чувствовались так живо, никогда так глубоко не захватывали всего человека, как ныне.

Недовольство насущным положением и неопределившаяся, но тем не менее очень настоятельная потребность чего-то лучшего – вот та болезнь, которую, с сознанием или без сознания, носит в груди своей каждый современный человек и которую, по всей справедливости, следует назвать завистью будущего.

Но чем живее недовольство настоящим и чем естественнее возникающие отсюда стремления к идеалу, тем досаднее бледность тех красок, которыми мы располагаем для уяснения этого идеала. Материалов, на основании которых мы могли бы воссоздать хотя часть великой цели, стоящей в конце наших стремлений, или совсем не имеется, или же качество их до того спорно, что едва ли можно прибегнуть к ним с пользой и уверенностью. Прямой результат такого положения заключается в том, что стремления остаются стремлениями, принимают исключительный характер болезненных и далеко не осмысленных порываний к неизвестному. Неприятность очевидная, ибо, идя по этому пути, можно дойти до совершенного забвения целей, до окончательного их устранения, а за этим уже ничего другого не остается, кроме осуществления в громадных размерах знаменитой теории искусства для искусства.

Жизнь и наука – вот единственные убежища, в которых можно укрыться от опасностей, ожидающих на указанном выше пути. Формы жизни, несмотря на свою запутанность и обветшалость, все-таки достаточно ясны, достаточно представляют резкого и действительного дела, чтоб не предохранить человека от излишней расплывчатости. Здесь цели, быть может, и ограничены, но они притягивают к себе ближайшую свою осуществимость и сверх того совершенно совпадают с тем естественным отвращением от праздности, которое так присуще человеку. С другой стороны, наука если и не воссоздает в живых и ясных образах того общественного идеала, к которому неудержимо влечется современный человек, то, по крайней мере, дает способ сознательно относиться к предмету его недовольства, указывает на тот метод, с помощью которого можно легчайшим образом прийти к желаемым результатам. Эта последняя услуга в особенности важна, и никто, конечно, не станет оспаривать, что громадное большинство человеческих заблуждений, крайняя медленность прогресса и прочие бедствия, до сих пор удручающие человечество, имеют источник не в чем ином, как в недостатке разумного метода, которым определялся бы характер отношений человека к природе, и в тех блужданиях, которые отсюда происходили.

Тем не менее все сказанное нами выше касательно науки и жизни имеет верность лишь относительную. Наука до сих пор доступна лишь незначительному меньшинству, и указания ее проходят в массе весьма туго и с большими затруднениями; следовательно, она не в силах еще покамест сообщить человеческим стремлениям ни твердой формы, ни положительного внутреннего содержания. Что же касается до жизни, то дело, ею представляемое, есть меч обоюдоострый; с одной стороны, оно дает человеку готовое поприще для деятельности положительной, не фантастической, с другой – оно же может этой деятельности сообщить характер самодовольства и мелочности, не столько оберегающий человека от излишней расплывчивости, сколько отвращающий его от всякого стремления к идеалам.

И таким образом, большинство так называемых «хороших людей», то есть тех, которые уже сознали ненормальность некоторых жизненных основ, фаталистически осуждается на вечные и довольно смутные стремления, без всякой надежды на какой-нибудь исход. Ни науке, ни жизни (практической, организующей жизни), конечно, нет никакого дела до этих стремлений, так как и та и другая преследуют лишь положительные результаты, но в так называемом «обществе», то есть в собрании людей достаточно обеспеченных, чтобы позволить себе желания, но недостаточно прозорливых, чтобы формулировать цель этих желаний, подобные порывания к неизвестному могут находить себе место совершенно удобно.

Тем легче проникают они в область гуманитарного лиризма, который и сам по себе есть не что иное, как милая, но грустная повесть беспредметных человеческих

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) тревог, и который умеет сообщать этим тревогам жалостливую, а нередко и действительно трогательную форму. Там, где наука говорит человеку: ты страдаешь, потому что со всех сторон окружил себя призраками, и будешь страдать дотопле, покуда не изменишь самых приемов, посредством которых устанавливается связь между тобой и остальной природой, а приемы эти должны быть такие-то и такие-то; там, где простая, не щеголяющая обширными запросами жизнь говорит: ты страдаешь, потому что или хочешь слишком многого, или же сам не знаешь, чего хочешь; во всех этих случаях гуманитарный лирик выражается так: ты страдаешь, потому что страдание есть удел всего прекрасного на свете, а потому мужайся, друг! страдай, крепись и жди! а я тебе буду сочувствовать.

Конечно, гуманитарный лирик ничуть не виноват в том, что не может ни дать более ясное определение общественных недугов, ни заключить свою речь никаким другим утешением, кроме обещания сочувствия. И то и другое повело бы его к разъясениям и выкладкам, не укладывающимся в поэтические формы. В этом случае он исполняет должность простого летописца и относительно людских волнений и желаний занимает ту же роль, какую собратья его, принадлежащие к школе мотыльковой (А. Фет, Г-жа К. Павлова и другие), занимают относительно желаний и волнений божьих коровок, комаров и других милотвидных насекомых. И тот и другой записывают только то, что видят и как видят, с тою только разницею, что поэзия гуманитарная настолько же выше поэзии мотыльковой, насколько человеческий выше мира насекомых.

Да не подумает, однако ж, читатель, что цель настоящей статьи заключается в глумлении над поэзией вообще и над почтенным автором рассматриваемого сборника стихотворений в особенности. Нет, мы желаем только сказать, что бедность содержания современной русской поэзии есть бедность фаталистическая, имеющая свой источник в разорванности самой жизни. Разумеется, и здесь дело не обойдется без исключений; разумеется, во всякое время найдутся личности, которые у самой, что называется, расшатавшейся жизни сумеют исторгнуть мотивы полные энергии (мы, конечно, разумеем здесь энергию не в выражениях только, но преимущественно и даже исключительно энергию мысли); но, во-первых, это все-таки будут исключения, а во-вторых, для того, чтобы достигнуть этого, необходимо, по нашему мнению, ни простирает свои требования слишком далеко, ни ограничивать их слишком малым.

Что же касается собственно до г. Плещеева, то мы относимся к нему вполне сочувственно и находим в нем все данные таланта скромного, но честного и искреннего. Несомненное достоинство этого таланта заключается уже в том одном, что он сумел возвыситься над миром мотыльковым и перенес свою лиру в мир человеческих интересов. И при этом нет у него ни того паскудного кривлянья, ни того отвратительного жеманства, которые замечаются у большинства наших лириков, искателей так называемых гражданских мотивов, и за которыми так и сквозит беззастенчивое любованье поэта самим собой. Чувство, дающее содержание стихотворения г. Плещеева, не временное и не напускное, но вынесенное из всей его жизни – за это ручается самая простота формы, в которой оно выражается. В доказательство нашего мнения мы могли бы цитировать здесь любое из стихотворений, помещенных в изданном ныне сборнике, но удерживаемся от этого, так как большинство их уже известно читателям «Современника».

НАШИ БЕЗОБРАЗНИКИ. Сцены Н. А. Потехина. С.-Петербург. 1864 г  
Вот эту книжку мы, конечно, не будем рекомендовать нашим читателям. Быть может, г. Н. Потехин и очень благонамеренный молодой человек; быть может, цели его и прекрасны, но таланта у него нет ни малейшего – это верно.

Содержание книги составляют различного рода безобразия, совершаемые на бесконечной лестнице современного русского общества. Действующими лицами являются попеременно то купцы, то приказные, то откупщики, то русские гулящие люди за границей. Сюжет, как видится, довольно благодарный, но увы! при совершенном отсутствии таланта даже богатство сюжета не выручает, а как будто еще более обнажает внутреннюю несостоятельность автора.

В наше время составление подобного рода книжек – дело далеко не трудное. Стоит только начитать пьес Островского и не полениться заглянуть в рассказы обличительного свойства – и книжка готова. Главное дело – колорит дать, украсить свое произведение известными выражениями, которые, несомненно, принадлежали бы лицу такого, а не иного сословия, затем, какая из этого выходит яичница, соответствуют ли подобранные выражения какому-нибудь делу и согласны ли они даже с правилами словочинения, к которым каждый сочинитель обязывается придерживаться хоть из приличия, – все это вещь второстепенная, не обращающая

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) никакого внимания счастливому и беспечному автору. Серьезно, иногда сдается, что произведения подобного рода пишутся не самими авторами, а типографскими корректорами, которые, видя по местам совершенное отсутствие смысла, думают отделаться тем, что вставляют между словами как можно более точек (это, дескать, человек в волнении чувств говорит). Так добродушный аматер-актер, усердно наблюдая за игрою актера настоящего и видя, что последний по временам делает жесты, приходит к заключению, что чем более жестов, тем выше игра, и, воротясь на свой бедный домашний театр, начинает исполосовывать воздух руками и вдоль и поперек...

Велика должна быть сила таланта Островского, что даже подражательные коверкания, вроде разбираемых нами теперь, не могут подействовать на него губительно. Вот, например, как выражается один из безобразников г. Н. Потехина, купец Кошедавлев: «Вот и аз, а там будут буки... выпил – побежали веди... на постели – мыслете. Ха, ха, ха! здорово живете, широко шагаете, ярмонку встречаете, товар спущаете, руку набиваете, деньги собираете, людей надуваете. Слава! Здесь мой друг!.. Возлюбим друг друга!» Подделка под Любима Торцова очевидная, но язык, которым выражается последний, по всей справедливости, называется художественным, а язык безобразника Кошедавлева, тоже по всей справедливости, называется бессмысленным набором слов, сопровождающих в непрерывной борьбе с знаками препинания (одно из несчастьев, сопровождающих такого рода произведений, заключается именно в крайней затруднительности приискивать приличные знаки препинания). Не знаем, как на кого, а на нас подобные подделки всегда производят самое тяжелое впечатление.

СКАЗКИ МАРКО ВОВЧКА. С.-Петербург. 1864 г

Всех сказок три: «О девяти братьях-разбойниках и о десятой сестрице Гале», «Невольница» и «Медведь»; из них последняя, без всякого ущерба для литературной репутации автора, могла бы явиться и ненапечатанною, но первые две, по всей вероятности, прочтутся с удовольствием.

Мы даже полагаем, что они прочтутся и с пользою. Не дурно вводить детей в мир действительного горя и нефантастических нужд; не дурно рисовать перед ними фигуры несколько суровые, но честные и сильные, вроде Остапа в «Невольнице». Мы вообще без особенного восхищения смотрим на большое распространение у нас так называемой детской беллетристики, но уж если участие ее в деле воспитания, вследствие различных условий, еще признается необходимым, то думаем, что сказки Марко Вовчка удовлетворят этой потребности гораздо ближе, нежели так называемые нравственные повестушки, которые составляют настоящий фонд нашей детской литературы и в которых рассказывается, что Ваня был груб и за это его не пустили гулять после обеда, а Маша была умница и за это получила яблоко.

Марко Вовчок не имеет в виду никаких подобных предвзятых целей; он не желает ни учить, ни исправлять, не обещает никаких наград за хорошие поступки и никаких кар за дурные. Он просто-напросто описывает, какая такая бывает трудная жизнь на свете, как люди бодрые и сильные побеждают эту трудную жизнь и как другие, тоже бодрые и сильные, изнемогают под игом ее. Детям это знать не бесполезно, потому что и им, конечно, придется со временем встретиться с трудною жизнью; следовательно, не мешает, чтоб она нашла их бодрыми и сильными, а не дряблыми и готовыми продать свою душу первому, кто обещает им яблоко.

В «Сказке о девяти братьях» рассказывается жизнь одного бедного и честного семейства, которое как ни бьется с преследующею его нуждою, но естественным путем выбиться из-под ее ига все-таки не может. Стремления примириться с жизнью, пойти на стачку с нею изображены автором довольно живо, но, само собой разумеется, что все эти робкие попытки не имеют никакого успеха, ибо жизнь охотно признает только того, кто является с правом господствовать над нею, а совсем не того, кто ищет примазаться к ней без всякого права. Очевидно, что этот последний есть не что иное, как гнусный обманщик и неблагонамеренный льстец. Автор очень хорошо понимает это и потому, показав героям своим всю пошлость подобных обманных приемов, приводит их к необходимости искать другого выхода из гнетущего положения, выхода не обманного, но в то же время и не вполне естественного. Но неестественность эта почему-то кажется совершенно естественною, и читатель не сетует на нее. Мы тоже, с своей стороны, не считаем себя вправе претендовать на него за то, что он не дал героям своим по яблоку за их долготерпение, но тем не менее не можем скрыть, что мелодраматический конец, приделанный к сказке, значительно вредит ее простоте и что, по нашему мнению, дело очень легко могло бы обойтись и без трогательных сцен, сопровождающих тройную смерть: Гали, ее мужа и брата.

В сказке «Невольница» изображается одна из тех оригинальных личностей, которые почему-то с особенною горячностью принимают к сердцу всякое чужое горе, которых сердца закипают гневом при всякой человеческой несправедливости. Вот, между прочим, как рисует автор героя своего рассказа.

Давно когда-то в Овруче, если знаете, находился у одного казака мальчик Остап, и как только этот мальчик Остап стал на свои ножки, сейчас пошел по Овручу, всюду поглядел, посмотрел, да и говорит: «Ге-ге! не хорошо людям в Овруче жить! Надо б этому помочь!»

А тогда, видите ли, делала набеги на Украину всякая бусурманщина, турки, татары, – не так, как теперь, что теперь хоть бывает тоже попуст, да уж иначе, христианский, – по-христиански – почему-то не так должно быть обидно... Так вот, говорю вам, тогда делала набеги всякая бусурманщина, турки и татары жгли, грабили, совсем уничтожали прекрасные города; мало ли казачества с свету божьего согнано преждевременно, побито, позамучено; много девушек и жен в плен забрано.

Приходит Остап домой, а отец и мать его спрашивают – известно, единственное дитя, так в глаза ему глядят и сейчас же подстерегут всё, всё заметят, – спрашивают: «Чего это ты, сыночек, задумался?»

– А того я, – говорит Остап, – задумался, что не хорошо людям в городе Овруче жить.

– Ге-ге-ге! – говорит отец, а мать только тяжелешенько вздохнула.

– Надо этому помочь! – говорит Остап.

Не правда ли, что характер очень недюжинный и что детям совсем не мешает знакомиться с подобными личностями? Но и здесь нам приходится сетовать на автора, во-первых, за то, что он заставил Остапа истратить кипучую свою деятельность на борьбу с какими-то балетными турками, и во-вторых, за то, что пришил к рассказу такой конец, который вовсе из него не вытекает. Вообще, это, кажется, порок, общий многим из наших лучших современных беллетристов: задумают они, по-видимому, нечто действительно хорошее и глубоко захватывающее жизнь, а концов свести не умеют или не смеют. И происходит тут что-то странное: сначала драма, а потом водевиль.

НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ А. Н. МАЙКОВА. (Приложение к «Русскому вестнику» 1864 года.) Для всех очевидно, что искусство мало-помалу начинает расширять свои пределы и допускать в свою область такие элементы, которые долгое время считались ему чуждыми. Искусство жило отдельно от дел сего мира жизнью; оно направлено было исключительно к тому, чтобы украшать и утешать, и, надо сказать правду, исполняло свою задачу очень исправно, то есть обманывало и обольщало, насколько хватало у него сил. Будучи плодом досужества, оно обращалось исключительно к досужеству же; услаждало досуги досужих людей, и это сообщало ему тот чистенький, аристократический характер, который составляет необходимую принадлежность всякого рода успокоительных веяний и усладительных снов.

Я лиру томно строю  
Петь скорбь, объявшу дух;  
Приди грустить со мною!  
Луна, печальных друг.

Так говорил поэт-художник и совершенно основательно изображался на картинках с лирой в руках и с обращенными к небу очами. «Скорбь», которую он намеревался воспеть, вовсе не была скорбью действительною, хватающею за живое; это была та тихая, сладкая и неопределенная скорбь, потребность которой в особенности сильно чувствуется досужеством. Это не скорбь, а приятное чувство томного расслабления; человек доволен и счастлив; он хорошо обставлен, не чувствует над собою тяготения страшной материальной нужды; но в то же время смутно ощущает, что ему чего-то недостает. Это что-то недостающее, это нечто, составляющее необходимую подробность в общей картине жизни, и есть та самая «грусть», во свидетельницы которой приглашается луна и которая, в виде утратившего свою едкость дыма, доходит до обоняния досужего человека (благо, щели не окончательно наглухо законопачены!) из тех низменных пространств, где она зарождается, со всеми признаками действительного, а не увеселительного горя, где она зреет и обсеменяет почву своими проклятыми семенами. Коли хотите, это даже и не грусть

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) совсем, а просто увеселительное представление, которому, для разнообразия, дается меланхолический характер.

Тем не менее мы были бы неправы, не отдавши поэтам-художникам должной справедливости. Как ни лимфатична была их «грусть», как ни незначительна была ее доля в той общей массе всякого рода воинственно-увеселительно-полового клубничества, составлявшего главное содержание их песнопений, все-таки эта «грусть» о чем-то напоминала, все-таки она была отблеском (хотя и очень слабым) той действительной грусти, которая росла и растет, невидимая даже сквозь щели, в тех темных пространствах, о которых сказано выше. Без этого отблеска, без этих напоминаний, досужество окончательно погрузило бы в грубом служении Астарте. А из этого прямо следует вывести то заключение, что поэты-художники, несмотря на свое умственное малокровие, все-таки имели с так называемым «темным царством» органическую связь, внутренние признаки которой не изглаживались даже тогда, когда наружные исчезали окончательно.

И в самом деле, история искусств показывает нам, что поэты-художники, по большей части, были люди второго сорта и далеко не досужие. Досужие люди, предававшиеся искусствам (потому ли, что они выродились, или потому, что в их однообразно безмятежной жизни неоставало тех переливов света и тени, которые составляют одно из существеннейших условий искусства), были в состоянии производить только ерунду и потому, для оживления своего досужества, вынуждались обращаться к людям «темного царства». Здесь тоже немаловажная заслуга со стороны последних, хотя заслуга и бессознательная. Они невольны способствовали постепенному освобождению «темного царства» из тенет, которые его опутывали, невольны выводили за собой из тьмы более или менее значительные группы узников, которые таким образом делались причастниками света. И хотя этот свет был смурый, хотя люди, сделавшиеся участниками его, сами неминуемо заражались умственным малокровием, тем не менее это все-таки был тот свет, к которому стремилось все живущее, и он-то делался общим достоянием.

Должно думать, что число этих новых участников, с течением времени, сделалось до того значительно, что оно подействовало выгодным образом и на духовное малокровие. Роли перевернулись; прежде досужество развращало пришельцев и подчиняло их условиям своего малокровия; с течением времени уже пришельцы стали развращать досужество и постепенно подкрашивать его лимфу. И не надобно совсем думать, что в этом процессе досужество играло какую-то страдальческую и вынужденную роль – совсем напротив.

Досужество всегда и везде действовало исключительно в видах собственного своего увеселения. Оно всегда и везде пользовалось слишком выгодной обстановкой, чтобы покоряться действию внешнего напора и выходить из своей замкнутости, вследствие какого бы то ни было насилия. Если оно выходило из этой замкнутости, то это было результатом скорее внутреннего, нежели внешнего насилия, актом естественного внутреннего сознания, что всякая замкнутость сама в себе носит семена смерти. Досужество растлеваются, но растлеваются, так сказать, добровольно, ибо растление это таится в нем самом, в том малокровии, на которое оно фаталистически осуждено, в том опасении смерти, которое преследует его с самой минуты его рождения. И вот оно ищет возобновиться и освежить себя притоком свежего, неспертого воздуха; со временем, быть может, этот свежий воздух сшибет его с ног; быть может, оно даже и предвидит этот конец, но предвидит или не предвидит, а идет к нему непринужденно и даже, так сказать, веселыми ногами.

Повторяем: в этом случае поэты-художники оказывают помощь очень действительную. В их чистеньких манерцах, в их клубничных помыслах есть нечто такое, что по плечу досужеству; они тем успешнее вносят заразу в это последнее, что оно не пугается их и даже охотно предоставляет им право увеселять себя. Но все-таки никак не следует забывать, что это заслуга невольная и что все ее достоинство заключается не в ней самой, а в тех неизбежных последствиях, которые она за собой влечет.

По мере вторжения в сферу досужества новых сил, прежние отношения искусства к жизни делаются всё более и более невозможными. Жизнь заявляет претензию стать исключительным предметом для искусства, и притом не праздничными безмятежно-идиллическими и сладостными, но и будничными, горькими, режущими глаза сторонами. Мало того: она претендует, что в этих-то последних сторонах и заключается самая «суть» человеческой поэзии, что игривые ландшафты и надзвездные пространства, хотя и могут еще, по нужде, оставаться более или менее

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) приятными аксессуарами, но действительного, истинно человеческого содержания искусству ни под каким видом дать не могут. Искусство, следуя этой теории, принимает характер преимущественно человеческого, или, лучше сказать, общественный (так как человек, изолированный от общества, немислим), и чем ближе вглядывается в жизнь, чем глубже захватывает вопросы, ею выдвигаемые, тем достойнее носит свое имя.

Такой крутой переворот в понятиях о значении искусства необходимо требует новых деятелей, которые, конечно, и являются; но он до того жизнен и силен, что охватывает собой даже и тех старых поэтов-художников, которые до тех пор пели исключительно о счастье птиц. Всем хочется приобщиться к движению, ибо, благодаря своей жизненности, оно всех затрагивает за живое, всех неслышно в себя втягивает.

Но понятно, в каком затруднении должны находиться эти благонамеренные и восчувствовавшие старички. С одной стороны, сердца их несутся к птицам и надзвездным высотам, с другой – нечто смутно говорит им, что птичьи песни уже никого не удовлетворяют и никому не нужны. И вот они начинают соединять несоединимое, начинают склеивать старое, привычное и любезное для них дело с делом новым, привлекающим их взоры своею жизненностью. И начинают они вдумываться, куда бы им примкнуться, начинают вникать в смысл происходящего перед ними движения, но смысла этого угадать не могут, а только улавливают одни внешние признаки, те самые, которые и в старинных реториках уже были помечены известными рубриками.

Вторжение новой жизни собственно в нашу литературу (разумеется, в смысле искусства, а не науки) выразилось или в форме сатиры, которая провожает в царство теней все отживающее, или же в форме не всегда ясных и определенных приветствий тем темным, еще неузнанным силам, которых наплыв так ясно всеми чувствуется. Это и понятно. Новая жизнь еще слагается; она не может и выразиться иначе, как отрицательно, в форме сатиры, или в форме предчувствия и предведения. Но и для того, чтобы иметь право выразить их таким образом, искусство все-таки обязано иметь понятие о том, о чем оно ведет свою речь, и сверх того обладать каким-нибудь идеалом. Вот этим-то последним условиям и не может никак отвечать «поэт высот надзвездных», ибо все, что ни делается нового в мире, все это, так сказать, не при нем делается, и как ни усиливается он приобщиться к движению, но успеваает в этом только отчасти, то есть именно схватыванием только некоторых внешних его признаков. И выходит из этого либо явная ложь, либо смех, либо бессмыслица, ибо нет в мире положения ужаснее положения Ювенала, задавшегося темой «бичевать» и недоумевающего, что ему бичевать, задавшегося темой «приветствовать» и недоумевающего, что ему приветствовать. За что он ни примется – везде попадет не туда, куда следует, за какой кусок ни зацепится – всегда пронесет его мимо рта. Начнет ювенальствовать – никого не покарает; начнет приветствовать – отприветствует так, что до новых веников не забудешь. Ибо и ювенальствует-то он против такого зла, которого никто не замечает, и приветствует-то совсем не ту силу, которая грядет, а ту, которая давным-давно отжила свой век.

Очевидно, что результатом таких усилий может быть только изобилие «мудреных слов», тех самых слов, о которых с таким страхом рассуждает Настасья Панкратьевна в комедии Островского «Тяжелые дни». «Как услышу, – говорит она, – слово «жупел», так руки-ноги и затрясутся». Но Настасья Панкратьевна, по крайней мере, откровенна: она прямо и сознается, что от этих слов ей страшно, а певцы «высот надзвездных», напротив того, всячески стараются скрыть свой страх и даже, как нарочно, нанизывают слова пострашнее и помудреннее: смотрите, дескать, какой я храбрый!

Да, это истина неоспоримая, но, к сожалению, очень немногими она понимается: надо уметь вовремя спеть свою песенку. Ну, спел, пролил утешение и веселость в сердца досужих людей, получил лавровый венок – и будет с тебя! Вспомни хоть Рубини, например; он тоже не умел кончить вовремя и в последнее время не пел, а только рот разевал, а люди, не видевшие дней его славы, и впрямь думали, что он всю жизнь только и делал, что рот разевал...

Но от этих общих размышлений перейдем к настоящему предмету нашей статьи, к сборнику новых стихотворений А. Н. Майкова. К сожалению, мы не можем не сознаться заранее, что размышления наши имеют очень близкое отношение к этому сборнику.

Всякому читателю, конечно, известно, что означает на сценическом языке слово *utilité*. [14] Так называется обыкновенно актер на роли второстепенные, не требующие очень яркого таланта, но все-таки достаточно обращающие на себя внимание публики, чтоб быть выполненными со смыслом. На актеров этих никто не ссылается, и никто не приводит их в пример; но когда случайно заходит о них речь или когда они сами о себе напоминают, то отзывы всего чаще бывают в их пользу. «Да, это полезный актер, – говорится обыкновенно в таких случаях, – и в общем составе труппы он занимает свое место с честью!» Теперь представьте себе, что вдруг этот самый актер, эта самая полезность, вместо того чтоб добросовестно исполнять роль маркера Шарова (водевиль «Ворона в павлиньих перьях»), берется за роль Гамлета, вместо того чтоб по мере сил своих лицедействовать в роли нигилиста Вертяева (комедия «Слово и дело» г. Устрялова), начинает то же лицедейство производить в роли «Короля Лира»? Что может подуматься об нем публика, та публика, которая смелость еще не ставит решительным доказательством таланта?

Такого же рода «полезность» представлял собой в русской литературе г. Майков. Первые его стихотворения были встречены с заметным и вполне заслуженным, по времени их появления, сочувствием, а некоторые из них даже и теперь прочтутся не без удовольствия. Правда, что все они как-то смахивают на игрушку, что после всех их остается как-то так гладко на душе, как будто ничего туда и не западало – все равно, что читал, что не читал, – тем не менее в общем итоге тогдашней русской литературы они были под стать: не многим ее украшали, но и не вредили. В них всегда замечалась некоторая доля хладного резонерства, прикрываемого так называемую пластичностью, но так как публике было решительно все равно, каким именем называется тот умеренный поэтический жар, которым обладал ее менестрель, то она и относилась к нему благосклонно, то есть с теми умеренными похвалами, с которыми обыкновенно относятся ко всем вообще «полезностям». Казалось бы, это жребий довольно завидный, и г. Майков, конечно, поступил бы благоразумно, если бы не выходил из того мирозерцания, которое так долго служило ему путеводною литературною звездой. Скажут, быть может, что это мирозерцание слишком ограничено, что почва, которую разработывал наш поэт, давно иссякла и что стоять на ней дольше невозможно. Но на это есть очень простое возражение. Поэт! если ты из мирозерцания своего выжал последние соки, то замолчи! ведь есть же на свете многие миллионы людей, которые не написали в жизнь свою ни одной строчки, и живут же! – отчего ж и тебе не последовать их примеру?

Но г. Майков не внял этому простому голосу и, начиная с 1854 года, вступил на почву политическую и социальную. Он бичует и приветствует; бичует старую «клубнику», которую сам же воспевал; приветствует... приветствует всё ту же старую клубнику, которую он потому только мнит быть новою, что она окрещена «мудренными словами».

Рассмотрим сперва так называемую сатиру г. Майкова.

Сатира, как составной элемент, входит в значительную часть стихотворений г. Майкова, но вполне сатирическим по содержанию можно назвать только одно из них; это – «Другу Илье Ильичу». Так как оно очень длинно, то мы не будем его выписывать, ибо хорошо понимаем, что прочесть такую тяжеловесную и в то же время вялую и бесцветную вещь – труд далеко не маловажный. Но признаемся, что, по запутанности своего содержания, оно представляет весьма любопытный психологический факт.

В прошлом году (да простит нам читатель этот маленький анекдот) к одному из наших сотрудников явился молодой человек. «Я желаю свистать», – сказал он вместо всякой рекомендации. «Свищите», – был ответ. «Но я желал бы знать, об чем свистать?» Вот и весь этот краткий, но поучительный разговор, который, конечно, не стоило бы и вспоминать, если б не напомнила его нам выписанная выше сатира г. Майкова. Сатиру эту следовало бы собственно назвать так: «Ювенал неведающий, или Бичевать желаю, но что – не знаю».

В самом деле, для того, чтоб сатира была действительною сатирою и достигала своей цели, надобно, во-первых, чтоб она давала почувствовать читателю тот идеал, из которого отправляется творец ее, и во-вторых, чтоб она вполне ясно сознавала тот предмет, против которого направлено ее жало. Ни того, ни другого сознания в сатире г. Майкова не замечается.

Идеал скрыт нашим сатириком до такой степени тщательно, что уяснить его читателю

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru нет никакой возможности. Что хочет он бичевать? Во имя чего протестует? желает ли крикнуть жизненному движению: довольно! пора воротиться назад! или же находит, что даже и сего недовольно, что совершающийся на его глазах прогресс есть прогресс мишурный и что жизнь должна отыскать себе другое, более широкое ложе?

Ни на один из этих вопросов сатира его определительного ответа не дает.

На первый взгляд может, однако, показаться, что автор более склонен показывать дорогу назад.

В самом деле, единственные сочувственные строки, которые встречаются в его сатире, относятся к лицу, называемому им «папенькой». Это человек, который

Раздавит, кажется... ан, смотришь, покричит –  
И сам расплачется, да тут же и простит!  
и далее:

Конечно, память твой папа у стариков  
Оставил добрую – и ставят пред икону  
И нынче за него свечу...  
Сочувствие, по-видимому, несомненное; но в то же время сатирик как будто стыдится своего сочувствия и спешит отречься от всякой солидарности с рисуемым им идеалом. И вот он надевает на своего героя следующий не совсем лестный костюм:

Вот, в самом деле, был забавный-то старик!  
Полжизни на плацу вытягивал он ногу,  
Был губернатором, здесь чем-то управлял...  
Застегнут, вытянут, каким-то дикобразом  
Старался выступать – казалось, съест вот разом!

. . .

Закон – не любил! его боялся даже,  
Всегда в нем видел то, против чего на страже  
Быть должно всякому...  
Отсюда двойственность; с одной стороны, похвальные качества: накричит человек, да тут же и простит; с другой стороны, качества непохвальные: выступание на плацу дикобразом и законобоязнь. Конечно, если мы будем вникать очень пристально в существо этой двойственности, то без труда найдем, что она составляет, так сказать, только последнюю уступку чувству ложной стыдливости; тем не менее она все-таки поражает очень неприятно и обнаруживает в сатире совершенно неуместную в его ремесле шаткость воззрения на жизнь. Сатирик всегда несколько фанатичен своих воззрений, и потому в нем всего менее понятна уступчивость, и особенно такая уступчивость, которая явно допускается под влиянием внешнего гнета и собственной внутренней робости. И если б г. Майков был вполне искренен, то он, конечно, не колеблясь, стал бы на сторону «папеньки», ибо, в сущности, здесь самые противоречия устраняются очень легко, ибо здесь похвальные качества до такой степени примиряются с качествами непохвальными, что едва ли даже отыщется в целом мире то тонкое перо, которое в состоянии провести между ними разделяющую черту. И действительно, весь идеал г. Майкова заключается, кажется, в том, чтоб в России были начальники вспыльчивые (по человечеству, это им прощается), но добрые, чтоб они, пожалуй, и кричали, но умели бы снисходить к оправданиям и слабостям подчиненных. Не хорошо только то, что они выступают «дикобразами» и «боятся закона». Но разве стоит из-за этого распинаться? Разве стоит из-за этого острить жало сатиры? Не достаточно ли внушать этим людям, что ходить дикобразом не следует, равно как не следует и бояться законов, но видеть в них вящее для себя поощрение?

Уверяем, что это гораздо легче, нежели кажется с первого взгляда, и что г. Майков совершенно напрасно скрывает свое сочувствие к «папеньке», ибо скрытность эта, без всякой надобности, лишает его сатиру силы. Мы понимаем: его смущает в этом случае образ Скалозуба, нарисованный мастерской рукой Грибоедова, но ведь кто же может поручиться, что и за него никто не «ставил пред иконы свечу»? Да и на каком, наконец, основании сатирик усматривает противоречие между непохвальными свойствами своего скрытного идеала и другими, которым он положительно сочувствует? Мы думаем, что те и другие совсем не чужды друг другу, что они суть явления одной и той же категории, не только взаимно друг друга

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) пополняющие, но и не могущие существовать один без другого. Мы слишком охотно говорим иногда: «хороший человек: накричит, да зато потом и простит!», однако, выражаясь таким образом, мы прямо свидетельствуем, что мало понимаем значение употребляемых нами слов. Что такое «накричит»? что такое «простит»? Неужели же так трудно понять, что самое существование подобных слов говорит об отсутствии первого и самого необходимого условия всякого человеческого общежития, – об отсутствии равноправности? Да вникните же, вникните хорошенько в прямой смысл этих слов и поймите, наконец, что в них заключается гораздо более горечи, нежели в том выступании дикобразом и в той законобоязни, которые кажутся вам столь смешными!

Из такого-то смутного идеала приходит г. Майков к бичеванию. Кого он бичует? Мы думаем, что он сам не найдет что-либо ответить на это, кроме того, что он бичует «друга Илью Ильича». Кто же таков этот Илья Ильич? С одной стороны, это пропагандист либерализма, ревнитель свободы, с другой – это отчасти департаментский сторож, отчасти бюрократ чичеринской школы, отчасти один из тех дрянных Робеспьериков, сведения о которых можно почерпнуть в исторических анекдотах, лихо рассказываемых гг. Семевским и Есиповым. Мы не отрицаем, что такое противоестественное смешение понятий самых противоположных и несовместимых совсем не составляет редкости в нашем так называемом обществе; мы даже думаем, что это могло бы навести талантливое писателя на множество очень комических соображений, но г. Майков не имеет ни возможности, ни права воспользоваться комизмом этого положения, потому просто, что он сам очень искренно признавал и признает, что либерализм и плевание в лицо истории, свобода и регламентация – вещи совершенно однородные. Он сам искренно смешивает эти понятия и, смешавши, силится испоместить по этому поводу все острые слова, которые имеются у него в запасе.

Как назвать такую сатиру? Разумеется, если бы она носила хотя малейший признак преднамеренности, то ее надлежало бы заклеить именем клеветы, но так как она свидетельствует лишь о близорукости самого сатирика, не умеющего полагать различие между представлениями совершенно противоположными, то и следует ее просто-напросто приобщить к числу прочих опытов попадания пальцем в небо, которыми так богата новейшая русская литература.

Посмотрим теперь, каковы-то приветствия г. Майкова. Эти приветствия всецело выразились в стихотворении под названием «Картинка», которое мы приведем здесь вполне.

КАРТИНКА  
(После манифеста 19 февраля 1861 г.)

Посмотри: в избе, мерцая,  
Светит огонек;  
Возле девочки-малютки  
Собрался кружок;  
И с трудом, от слова к слову  
Пальчиком водят,  
По печатному читает  
Мужичкам дитя.  
Мужички в глубокой думе  
Слушают, молчат;  
Разве крикнет кто, чтоб бабы  
Уняли ребят.  
Бабы суют детям соску,  
Чтобы рот заткнуть,  
Чтоб самим хоть краем уха  
Слышать что-нибудь.  
Даже с печи не слезавший  
Много-много лет,  
Свесил голову и смотрит,  
Хоть не слышит, дед.  
Что ж так слушают малютку, –  
Аль уж так умна?..  
Нет! одна в семье умеет  
Грамоте она.  
И пришлось ей, младенцу,  
Старичкам прочесть

Про желанную свободу  
Дорогую весть!  
Самой вести смысл покамест  
Темен им и ей:  
Но все чуют над собою  
Зорю новых дней...  
Вспыхнет, братцы, эта зорька!  
Тьма идет к концу!  
Ваши детки уж увидят  
Свет лицом к лицу!  
Тьма пускай еще ярится!  
День взойдет могуч!  
Вещим оком я уж вижу  
Первый светлый луч.  
Он горит уж на головке,  
Он горит в очах  
Этой умницы-малютки  
С книжкой в руках!  
Воля, братцы, – это только  
Первая ступень  
В царство мысли, где сияет  
Вековечный день.

Признаемся: нужно много решимости, чтоб прочесть до конца эту более нежели странную штуку. Здесь что ни слово, то фальшь. Г-н Майков сумел соорудить водевильно-грациозную картину даже из такого дела, которое всего менее терпит водевильную грациозность. История не новая, повторяющаяся неоднократно со всеми переделывателями французских водевилей на русские нравы. Поэт, очевидно, вдохновился каким-нибудь французским эстампом с подписью: *La petite Nini faisant la lecture à sa mère*, [15] и задумал снискать расположение почтеннейшей публики, изобразив этот эстамп в стихах и переложив его на русские нравы. И, может быть, он действительно успел бы в своем намерении, если б не сбили его с толку так называемые современные тенденции и если б он местом действия для картинки выбрал не избу, а коттедж досужих людей. Но кто же поверит этой русской семье, где

...с трудом, от слова к слову  
Пальчиком водят,  
По печатному читает  
Мужичкам дитя...

Кого обманет этот балетный обман? Кого не возмутит этот противный ненужный отвод глаз? И неужели в самом деле не может быть ничего священного, коль скоро речь идет об увеселении досужих людей? Неужели даже такой предмет, как свобода нескольких миллионов людей, не огражден от водевильных попользований?

Грустно.

ВОЗДУШНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ АФРИКУ. Составленное по запискам доктора Фергюссона Юлием Верн. Перевод с французского. Издание Алексея Головачева. Москва. 1864 год Мы с удовольствием обращаем внимание наших читателей на издательскую деятельность г. А. Головачева. Книга, которой заглавие выписано выше, вместе с недавно изданною «Историей кусочка хлеба», непременно должна сделаться настольною детскою книгой, особенно если принять во внимание скудость нашей текущей детской литературы. Ребенок не встретится здесь ни с благонравным Ваней, ни с обжорливою Соней, ни с лгуном Павлушей, рассказы о которых так тлетворно извращают детский смысл, но сразу увидит себя окруженным здоровой и свежей атмосферой. Он увидит, что автор не обращается к нему, как к низшему организму, для которого требуется особенная манера говорить с картавленьем, пришепетываньем и приседаниями и которому нужны какие-то особенные «маленькие» знания; он поймет, что ему дают настоящие знания, что с ним говорят об настоящем, заправском деле. По нашему мнению, этот взгляд на педагогическую деятельность есть единственно верный, и мы охотно поговорили бы об этом предмете подробнее, но в настоящем случае ограничиваемся лишь краткою заметкой, так как в скором времени надеемся возвратиться к нему по поводу бесполезной деятельности московского общества распространения полезных книг.

Но так как всякое даже самое лучшее дело не избавляется от некоторых недостатков, то и в изданном г. Головачевым «Путешествии» мы можем указать на один такой недостаток, который, по нашему мнению, значительно вредит книге. Он заключается в слишком большом изобилии юмористических и не относящихся к делу

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) разговоров между Фергюссоном и его спутниками. Дело отвечает само за себя и имеет свой собственный внутренний интерес, достаточно значительный, чтобы представлялась крайность прибегать к сдобриванию его какими-нибудь околичностями. И издатель, конечно, поступит очень хорошо, если, при дальнейшем развитии своей деятельности, будет без милосердия урезывать из французских подлинников все, что не относится прямо к делу.

ЗАПИСКИ И ПИСЬМА М. С. ЩЕПКИНА. С его портретом, факсимиле и статьей о его сценическом таланте, писанною С. Т. Аксаковым. Москва. 1864 г  
Пробегая эти «Записки», читатель не должен забывать, что имеет дело не столько с знаменитым и полезным деятелем русской сцены, деятелем, которого имя надолго останется в ее летописях, сколько с одною из тех даровитых русских натур, которые, несмотря на самые неблагоприятные условия, успевают-таки возвыситься над общим уровнем и умеют поставить себя в положение далеко не заурядное.

К сожалению, записки Щепкина дают очень немного для биографии знаменитого актера, да и то, что они дают, представляется в виде каких-то разрозненных отрывков, между которыми лежат значительные промежутки. А между тем биографии таких людей, как Щепкин, не только интересны, но и в высокой степени поучительны; только, разумеется, нужно, чтобы такого рода труд был выполнен не только с талантом, но и без малейшей утайки. Не легка жизнь русского человека, а в особенности подневольного русского человека, каким, по рождению, был Щепкин. Самая страшная сторона неволи измеряется не числом ударов, и не в том состоит, что она с маху бьет человека, а в том, что она всасывается в его кровь, налагает руку на его внутренний мир и незаметно заставляя его не только примириться с неволей, как с таким состоянием, против которого всякая борьба была бы материально напрасна, но даже относиться к нему, так сказать, художественно, все свои умственные и нравственные силы направлять к его вящему утверждению и украшению. И если изобразить историю такого разлагающего действия подобных форм жизни на человека есть дело далеко не легкое, то еще труднее поддается художественному и правдивому воспроизведению та борьба с ними, на которую решается человек смелый и сильный. Тут предстоит проследить не только все фазисы борьбы, но и то клеймо, которое она необходимо оставляет после себя на человеке, даже в случае его торжества; а здесь-то именно и встречаются на каждом шагу такие тонкие штрихи, которые могут быть уловлены только при полной свободе биографа от всякой фальшивой примеси и при совершенной известности ему даже мельчайших подробностей жизни избранного лица.

Мы слышали, что биография Щепкина пишется и что с этою целью уже собираются материалы. От души желаем, чтобы намерение это осуществилось, хотя, признаемся, не можем ожидать от него многого. Кроме того, что у нас есть дрянная привычка показывать в таких случаях только казовые концы жизни, мы думаем, что есть еще множество и других условий, которые положительно неблагоприятны для трудов подобного рода. Рассказать с большею или меньшею подробностью происшествий жизни известного лица, конечно, очень легко и возможно, но ведь для добросовестного биографа этого недостаточно. Он захочет увидеть своего героя лицом действующим, окруженным известною средою, а тут-то именно и предстоят ему со всех сторон различные непреодолимые преткновения. «Вот это неловко, вот это несвоевременно, а вот этого и совсем нельзя» – будет он слышать на каждом шагу и поймет, что задуманное им дело не только трудно, но едва ли и удоисполнимо.

Сравнительно с другими людьми, воспитавшимися на лоне крепостного права, судьба была довольно снисходительна к Щепкину: господа у него были добрые и милостивые. Родился он в Курской губернии, Обоянского уезда, в селе Красном, что на речке Пенсе (так начинается он свои записки); отец его был камердинером, а впоследствии управляющим имениями графа Волькенштейна, мать – горничною графини. И мать и отец пользовались неограниченным доверием своих господ, которые перенесли свое расположение и на маленького Мишу. В рассказе Щепкина помещики его являются действительно очень добродушными, но, к сожалению, записки его имеют слишком личный характер, и потому очень трудно определить по ним общий характер этого помещичьего добродушия. Известно, что пресловутая патриархальность тем и отличается, что одних благодетельствует, других угнетает, и притом сегодня благодетельствует, а завтра угнетает, и наоборот, вследствие чего одни не нахвалятся ею, а другие не знают, как от нее избавиться. Мать и отец Щепкина, по-видимому, настолько были довольны своим положением, что решились удержать его за собой, в чем и успели; отсюда благоприятные последствия для нашего будущего знаменитого актера: господа позволяли ему валяться на господских диванах и жаловали его к ручке. Это же самое обстоятельство дозволило Щепкину получить

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
сравнительно порядочное первоначальное образование и потом беспрепятственно удовлетворить своей страсти к театру.

Щепкин довольно пространно объясняет в своих «записках», каким образом возникла в нем склонность к сцене, но, к сожалению, мы не можем вынести из этих объяснений никакого определенного впечатления. Здесь автор стоит ниже своей задачи, и пространность его объяснений есть не что иное, как многословие. Он, видимо, не может уловить и определить признаков зарождавшейся в нем страсти, и потому ограничивается повторением, в разнообразных формах, таких избитых фраз, как, например: «я весь горел», «я ничего не помнил», «слезы брызнули из моих глаз». Поэтому-то, хотя детству и первым еще ребяческим сценическим попыткам посвящено почти три четверти всей книги, но впечатление, получаемое читателем, очень неполно. Подробностей, мелочей, которые относились бы именно к этой главной, артистической стороне жизни знаменитого актера и которые в таком случае всего драгоценнее, почти нет, а имеется именно одно разглагольствование, вдобавок еще перемешанное со многими рассказами, которые не могут иметь ни для кого интереса (к таким совершенно лишним подробностям мы относим, например, рассказы: о потере маленького Миши в дороге, об ухе из ершей, о спасении двоих утопающих и т. д.). Нет также ровно никаких заметок о нравах и обычаях тогдашних провинциальных театров, о требованиях публики, о жизни, которую вели тогда актеры, кроме разве того замечания, что актрис в то время «господа» считали неприличным поить чаем в гостиной, а угощали вместе с дворовыми людьми.

Но если так мало представляют интереса рассказы Щепкина о его детстве и первых сценических попытках, занимающие, как сказано выше, более двух третей всей книги, то еще беднее содержанием остальные главы его записок, относящиеся к дальнейшему и притом самому любопытному периоду его разнообразной и далеко не заурядной деятельности. Вся эта часть записок посвящена рассказу об актрисе С-ной, не имеющему никакого отношения к жизни автора, да двум-трем анекдотам, из которых в одном повествуется о том, как одна курская аристократка вылечилась от ипохондрии тем, что каждый день давала одной из горничных девок две пощечины, а в другом – о том, как покойный Щепкин препирался с каким-то генералом, причем генерал нападал на новые времена и отстаивал старые, а Щепкин нападал на старые времена и отстаивал новые. В этом последнем анекдоте всего замечательнее то, что Щепкин говорит генералу вы, а генерал отвечает ему ты.

Одним словом, записки Щепкина ничего не характеризуют: ни того времени, в которое он жил, ни его собственной замечательной личности. А между тем в одном месте записок автор выражается о себе так: «Я знаю русскую жизнь от дворца до лакейской». И нет сомнения, что в этом отзыве нет ничего преувеличенного, потому что Щепкин был человек высокодаровитый, и притом отличный рассказчик. Следовательно, он и мог бы рассказать о многом, да и было о чем рассказать; однако не сказалося ровно ничего, кроме нескольких пустых анекдотов. Отчего это? Не оттого ли, что при известной обстановке жизнь самая замечательная и разнообразная в конце концов все-таки истрачивается на пустяки?..

МОЯ СУДЬБА. М. Камской. Москва. 1863 г

Недоумения играют весьма важную роль в человеческом существовании. В особенности сильно сказываются они в так называемом обществе, в том обществе, которого вся жизнь сложилась под влиянием искусственных форм, условных понятий и всякого рода случайных или не случайных предрассудков. В такого рода среде люди говорят и не договаривают, хотят идти и не идут, хотят сидеть и не сидят. Вечно им что-нибудь мешает, вечно они чего-то боятся, перед чем-то трепещут. Сумма таких недоумений, постепенно накопляясь, образует наконец такую громадную бессмыслицу, которая на здорового и не причастного этой недоумевающей среде человека действует вытягивающим жилы образом. Так и хочется всем этим резонерствующим куклам сказать: что вы дразнитесь? что вы приседаете друг перед другом? чем намазан у вас язык, что вы ни одного слова сказать без ужимок не можете? Да идите же! да садитесь же! да говорите же, говорите же, черт возьми!

Но если такова роль недоумений в жизни вообще, то еще более решительную роль играют они в жизни современной женщины. Положение этой последней в обществе таково, что каждый ее шаг есть самое неистовое и неестественное кривлянье. Мужчина все-таки имеет средство более или менее уклониться от гнета форм, которые почему-либо кажутся ему мертвыми и бессодержательными; он может хотя по временам отдаваться свободным внушениям рассудка; в нем самый протест даже охотно оправдывается. Напротив того, женщина, так сказать, фаталистически осуждена делать то, что ей не хочется, молчать, когда она чувствует желание

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) говорить, говорить, когда она не имеет к тому ни малейшего поползновения; одним словом, осуждена соблюдать приличия, то есть кривляться. Самый протест с ее стороны, если таковой по временам и прорывается, кажется каким-то кривляньем; от того ли, что мы привыкли ее видеть постоянно запуганною и стянутою, или от того, что она, именно по причине этой запуганности, не умеет даже формулировать свой протест вразумительным образом, нам все кажется, что она домогается чего-то не должного, что, по-настоящему, ей следовало бы сидеть смиренно и ожидать, покуда мы сами не догадаемся: отчего, дескать, наши самочки сидят, повесивши носики?

Чем обуславливается такое содержание жизни вообще и женской в особенности – это вопрос очень обширный, который неуместно было бы здесь разбирать, но верно то, что положение это есть факт несомненный, и следовательно, наравне с прочими жизненными явлениями, подлежащий изучению и дающий обильную пищу для наблюдений. И действительно, мы видим, что недоумения дали содержание целому очень обширному отделу беллетристики, и если не вполне, то в весьма значительной степени легли в основание так называемого домашнего романа, играющего такую блестящую роль в современной английской литературе. В особенности искусными в анализе и описании таких недоумений оказываются женщины-писательницы. Потому ли, что они на самих себе испытывают всю силу такого неестественного положения, или потому, что оно до того уже прочно осело над ними, так слилось со всею их жизнью, что не представляется даже ненормальным, как бы то ни было, но в исследованиях своих по этому предмету женщина-писательница обнаруживает мастерство изумительное. Быть может, в их описаниях читатель не почувствует правильного и резонного отношения автора к предмету, но верность подробностей, наглядное сходство описываемых форм с действительно существующими и добросовестность разработки положения в том виде, как оно есть, не должны подлежать никакому сомнению.

Образцы подобного отношения к делу мы видим в английских писательницах, между которыми ярче прочих выдаются авторы романов: «Джэн Эйр» и «Адам Бид». Вся основа этих романов лежит на психологических недоумениях, к которым авторы относятся не только без малейшего нетерпения или негодования, но, напротив того, с полным и невозмутимым спокойствием. В глазах их, жизнь есть узел, в котором перепутаны все нити, но перепутаны не случайно или вследствие известных, иногда очень досадных условий, а, так сказать, преднамеренно искусственно, и именно для того, чтобы люди, попавшие в этот узел, имели удовольствие его распутывать. Понятно, что при таких условиях изображаемые лица не могут быть ни истинно живыми, ни истинно страстными лицами. Конечно, они, в качестве врожденной силы, могут в избытке обладать и энергией, и страстностью, но и то и другое уйдет у них на пустяки, то есть на борьбу с пустяками, на распутывание пустяков и на постоянное самонадувание посредством пустяков. Как тонко ни исследуйте, с каким искусством ни извлекайте напоказ, одно за другим, их внутренние сокровища, все-таки это будут сокровища мертворожденные, и сами обладатели их будут не живыми лицами, а более или менее искусно сделанными фарфоровыми куклами. Поэтому-то, при всем искусстве и несомненно замечательном таланте упомянутых выше авторов, сочинения их никогда не могут удовлетворить вполне и оставляют в уме читателя то неполное и отчасти болезненное впечатление, которое необходимо должно иметь место во всех тех случаях, когда автор-художник не настолько стоит выше своего предмета, чтобы вполне свободно им обладать, когда он не только не обладает им, но сам, так сказать, неотвязно и шаг за шагом за ним плетется.

К такой именно категории повествовательных сочинений относится и рассматриваемый нами роман. Но если уже в самом своем источнике этот род производит не всегда удовлетворительное впечатление, то понятно, что перенесенный на иную, не совсем благоприятную для него почву и разрабатываемый менее искусными руками он должен поражать еще более невыгодным образом. Как ни мало развито русское общество, но, быть может, по этому-то самому в нем меньше замечается той тошной и скучной искусственности, которая так ловко замаскировывает себя всякого рода лицемерными тонкостями и приличиями. Характеристические черты русской жизни крупны, резки и откровенны; в ней можно отыскать непочатые углы всякого рода грубости и самого несносного невежества, но очень мало лицемерства. Поэтому-то, быть может, писательница, сама по себе очень даровитая (мы говорим о Крестовском, авторе повести «В ожидании лучшего»), но постоянно стоявшая в своих сочинениях на почве психологических тонкостей, никогда не пользовалась у нас тем успехом, который принадлежал ей по праву таланта, и стяжала себе лишь почетную известность.

Тем меньшее право может предъявить на внимание публики г-жа Камская. Роман ее положительно плох. Тут все дело в том, что какая-то Настасья Алексевна не может дать себе отчета в том, любит ли она Александра Сергеича или не любит. С лишком

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) 160 стр. очень убористой печати наполнены этим каверзным распутыванием и запутыванием нитей, лежащих ровно и не нуждающихся ни в каком сплетении. Напутает эта девица – и станет поодаль, полюбуется, хорошо ли напутала; потом зачнет распутывать, распутает – и опять станет поодаль, посмотрит, не рано ли распутала. Даже законных побудительных причин для путаницы никаких нет, а просто хочется нелепым образом подразнить себя и других. С своей стороны, Александр Сергеич тоже охотник попутать; он любит Наталью Алексевну и даже знает это, но в то же время действует относительно ее как совершенный шалопай. В заключение эти люди соединяются браком и уезжают куда-то в захолустье, где, конечно, будут с успехом продолжать свою игру в прятки. Сознаться, что неестественнее этого положения трудно что-нибудь выдумать.

Ко всей этой путанице очень неискусно приплетено несколько вводных лиц, которые бродят, как тени, и решительно не знают, что над собою сделать. Им даже и путать нечего, а приходится состоять при чужой путанице, что уже из рук вон мучительно.

РАССКАЗЫ ИЗ ЗАПИСОК СТАРИННОГО ПИСЬМОВОДИТЕЛЯ. Александра Высоты. С.-Петербург. 1864 г

К этой книге может быть отнесено все, что было сказано в одном из предыдущих номеров «Современника» о рассказах г. Горского. Но у г. Высоты еще меньше таланта, нежели у г. Горского, меньше даже, нежели у г. Ильи Селиванова. Эти писатели все-таки хоть хныканья кой-какого в свои сочинения напустят, а у г. Высоты и этого нет: просто какая-то голь перекатная.

СБОРНИК ИЗ ИСТОРИИ СТАРООБРЯДСТВА. Издание Н. И. Попова. Москва. 1864 г  
Составитель этого «Сборника» имел, по-видимому, цель весьма скромную – приобрести себе несколько лишних рублей посредством продажи его. В этих соображениях он достал различными путями (источник, откуда взяты четыре статьи, указан, об остальных же четырех статейках издатель, вероятно из скромности, умолчал) восемь статей, ничем между собою не связанных, сшил их вместе и, перепечатавши, издал особенною книгой, не потрудившись даже предпослать своему сборнику никакого предисловия. Труд, как видите, легкий и, к счастью для автора, даже благодарный, ибо дело идет о разоблачении тайн раскола, до которых публика в настоящее время довольно охоча. И действительно, статейки подобраны все «таковские», то есть самые благонадежные, так что охотники до скандалов останутся отменно довольны. В особенности же разутешит их «Рассказ о Рогожском кладбище», в котором они найдут такого полициимейстера и другого какого-то «старшего начальника Н. Н.», что просто пальчики облизать можно. Эти друзья человечества действовали просто: когда понадобятся деньги, то арестуют какого-нибудь раскольнического попа и потом, получив деньги, отпускают. Иногда, впрочем, и разнообразили свои действия: арестуют, возьмут деньги, а попа все-таки не отпускают. Разумеется, это очень утешно, но ведь тут потеха, так сказать, обоюдоострая, так что не знаешь, над кем уж и смеяться: над попом ли Иваном Матвеевичем, который охоч был с какой-то Анной Федоровной в П-ские бани ездить, или над упомянутым выше «старшим начальником Н. Н.», который, принявши от раскольников поднос с фруктами, между которыми положен был и пакет с двадцатью пятью тысячами рублей, очень любезно спрашивал приносителей: «Впрочем, позвольте, господа! много ли я у вас беру взаймы денег?»

Впрочем, хотя скандалов в этой книжонке предостаточно, мы все-таки предостерегаем неопытных читателей от покупки ее, так как она заключает в себе всего 162 страницы разгонистой печати, а стоит 1 р. с., а с пересылкою 1 р. 50 к. По нашему мнению, деньги эти следует приберечь, потому что они могут пригодиться на покупку нового романа г. Вс. Крестовского «Петербургские трущобы», в котором, судя по отрывку, помещенному в журнале «Эпоха», скандалов и ужасней будет даже больше, нежели сколько было прошлой зимой ухабов на петербургских улицах.

ЧУЖАЯ ВИНА. Комедия в пяти действиях. Ф. Н. Устрялова. С.-П.-бург. 1864 года  
С легкой руки г. Львова (автора комедии «Свет не без добрых людей») в российской литературе образовался новый род сочинительства, который все более и более ищет в ней утвердиться. Русские сочинители убедились, что относиться отрицательно к жизненным явлениям невозможно, что это занятие фальшивое и невыгодное, что, наконец, ввиду известных данных, громко вопиющих о прогрессе, оно не только не своевременно, но и несправедливо. Из всех этих соображений, конечно, всего более веса представляет то, которое говорит о невыгодности отрицательного отношения к жизни. Действительно, писатель, который не умеет отличить прогресса истинного от прогресса преувеличенного и не понимает, что первым следует удовлетворяться, а

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) второго избегать, едва ли может иметь много шансов на устройство своей карьеры. Благовоспитанное большинство (то самое, которое держит в своих руках писателя) любит понежиться и отдохнуть от трудов по части прогресса и потому с недоверчивостью и нетерпением смотрит на тех, кои действуют слишком назойливо и настоятельно. Всякому действующему в этом смысле на литературном поприще оно говорит: погоди! разве ты не видишь? – и если деятель продолжает не видеть, то без церемоний отменяет его от общения с жизнью и от участия в ее увеселениях. Стало быть, невыгода здесь несомненная и очевидная. А затем уже следуют и прочие соображения: о несвоевременности отрицания, о его несправедливости и о том, что «это, наконец, уж слишком». Они, разумеется, тоже хороши и справедливы, но все-таки несколько слабее предыдущих, ибо не всякому уму доступны.

Итак, русские сочинители убедились, что отрицательное отношение к действительности невыгодно, и, убедившись в этом, бросились отыскивать в русской жизни так называемые положительные стороны. Это искание в одинаковой степени отразилось и в нашей публицистике, и в нашей беллетристике. Публицисты отыскивают положительные стороны путем умозрения, беллетристы – путем художественного воспроизведения; первые находят искомое в тех указанных правах и обязанностях, которыми в данную минуту пользуется общество; вторые – в тех живых типах, которые служат воплощением упомянутых выше прав и обязанностей. Но у всех у них один родоначальник – г. Львов, автор комедии «Свет не без добрых людей». Он первый указал, что и в становой приставе есть нечто положительное, первый изобразил, что в установлении управы благочиния можно отыскать высокий, нравственно-консервативный смысл, если чиновники ее будут заниматься своим делом неленостно и нелюбопытно.

Публицисты «Голоса» и «Московских ведомостей», а также романисты и драматурги, действующие под их обаянием, обязаны помнить это и не слишком-то заноситься мечтами о том, что они новаторы. Все эти Русановы, Вертяевы и тому подобные представители «хорошего направления», все эти разглагольствования о том, что божий мир прекрасен и что людям остается только скромно себя вести, совсем не ими выдуманы, а г. Львовым. Они в этом случае являются лишь пропагандистами – правда, пропагандистами очень полезными, доведшими тип приветливого и исполнительного начальника отделения до высшей степени ясности, – но все-таки только пропагандистами, а отнюдь не инициаторами.

В самом деле, мудро и не соблазниться перспективами, открытыми г. Львовым. Что усматривает перед собой писатель, действующий на почве отрицательной? Он, по выражению Гоголя, усматривает одни «свинные рыла». Чем потчует и с чем знакомит он своих читателей? Он потчует и знакомит вас с теми же свинными рылами. Ясно, что таким свинойством удовлетвориться нельзя. Даже критики строгие и наименее благосклонные к свинным рылам, как, например, г. Писарев, и те советуют оставить их в покое, и те говорят: довольно! давайте-ка поищем чего-нибудь положительного; достаточно разрушать, будемте созидать! Это и понятно: русская литература так долго и так усердно занималась отрицанием и разрушением, что дальновидные люди должны были наконец убедиться, что отрицать больше нечего, что ветхий мир уже в развалинах и что на этих развалинах следует создать новые монументы и искать примирения. Вот этой-то последней потребности и взялись отвечать публицисты и беллетристы львовской школы. Они прямо говорят отрицателям: врите вы все со своими свинными рылами! Свинные рыла бывали прежде, но теперь с ними все счеты покончены; теперь у нас есть милые молодые люди, скромно занимающиеся «наукою» или же приносящие пользу отечеству бескорыстною службой и приветливым обращением с просителями!

Следовательно, надо созидать и отыскивать в жизни типы положительные – этого же убеждения, вместе с г. Львовым и его последователями, держится и г. Ф. Н. Устрялов. Чтобы доказать эту истину, он в 1862 г. написал комедию «Слово и дело», в которой изобразил, что нынешние молодые люди совсем не имеют в себе ничего подозрительного, что, напротив того, это просто малые дети, любящие читать книжки. Мысль эта до того ему понравилась, что в нынешнем году он решился подкрепить ее новою пятиактною комедией, которой заглавие написано выше. Эта комедия так же, как и первая, написана на тему неподозрительности, с тою только разницей, что в первой комедии герой ее, Вертяев, доказывает свою неподозрительность тем, что занимается какою-то «наукою», а во второй – некто Зарновский ту же неподозрительность доказывает тем, что едет в Сибирь в качестве управляющего золотыми приисками с жалованьем в пять тысяч рублей. В обоих случаях г. Устрялов говорит: нет, мы не отрицатели и не разрушители, но скромные созидатели, действующие иногда по рецепту «Русского слова», а иногда по рецептам

Но расскажем содержание новой комедии.

Сцена открывается в семействе Возницыных, состоящем из Петра Степановича, жены его Марьи Васильевны, и дочери их Верочки; к этому же семейству прикомандирован в качестве родственника и благодетельного гения отставной капитан Платон Степанович Возницын. Нравы у этих людей следующие: Петр Степанович – дурак; Марья Васильевна – дура; Верочка – глупа, но может в конце пьесы исправиться; Платон Степанович – едва ли не глупее прочих, но в нем глупость умеряется добродетелью и вследствие того приобретает вид еще более тошный. При открытии занавеса лица эти занимаются разговором о том, что пора выдать Верочку замуж и что имеется уже в виду достойный жених в лице Николая Алексеича Зарновского, у которого хорошее место по службе и который «должен скоро выиграть процесс и сделать миллионером». Поговоривши, эти люди расходятся, кроме Платона Степановича, который выпытывает у Верочки ее тайну и узнает, что Зарновский ей не противен. При этом оказывается, что Верочка воспитывалась в институте и до того уже невинна, что даже не знает, что «в жизни не одни туфли бывают». Платон Степанович, с своей стороны, тоже не может растолковать, что такое бывает в жизни, кроме туфель, и таким образом разговор мог бы принять самые утомительные формы, если бы он не был прерван приездом Зарновского и его начальника, барона Талецкого. Нравы сих новых людей таковы: Зарновский – умен, приветлив, бескорыстен, обладает хорошим слогом и жаждет заняться «делом»; Талецкий – пронырлив, любит полиберальничать, но в сущности взяточник. Затем приезжают еще: Данкова, племянница Талецкого, женщина легкого поведения, и некто Стожников, молодой человек окончательно малоумный. Все эти лица несколько времени между собой разговаривают и разъезжаются. Первое действие кончено.

Второе действие – через три месяца. Зарновский женат на Верочке, но процесс он проиграл, и все его ресурсы заключаются в службе. Нечего и говорить, что он по-прежнему умен, приветлив и бескорыстен, но Верочка начинает пошаливать. Она с утра до вечера шатается по знакомым и этим значительно огорчает своего супруга и добродетельного дяденьку Платона Степановича, который очень часто ее вразумляет, но вразумить не может, потому что сам ничего не понимает. Пользуясь стесненным положением Зарновского и шаловливостью Верочки, подрядчик Медный предлагает ему денег за какое-то «подлое» дело, но Зарновский, оставаясь приветливым, по обыкновению от взятки отказывается. Приходит Верочка, и Зарновский выговаривает ей за то, что она слишком часто выезжает и преимущественно с Стожниковым, и в заключение говорит, что «пора, наконец, это кончить». «Отчего же ты на мне женился?» – спрашивает его Верочка. «Оттого, что ты – примирение», – отвечает Зарновский и, сказавши эту глупость, убегает, спеша застать дома какого-то нужного человека. А Медный только и ждет его ухода, чтобы явиться в виде змия-искусителя к этой новой Еве. Он предлагает ей дорожную шаль; Верочка сначала колеблется, но потом как-то так делается, что шаль остается у нее. Входит Зарновский, который не застал дома нужного человека (вечно эти скромные труженики никого дома не застают!) и видит на жене шаль. Происходит следствие, и юная лихоимца окончательно посрамляется.

Действие третье. Верочка не исправилась, потому что ее сбивает с толку развратная Данкова, которая уговаривает ее разлюбить мужа и обратить внимание на Стожникова. Входят Зарновский и Талецкий; последний требует, чтобы дело Медного было решено в пользу просителя, но Зарновский не соглашается и изъявляет намерение выйти в отставку. Естественно, Талецкий уходит со сцены взбешенный, и вслед за ним оставляет сцену и Зарновский, потому что его ждут в кабинете. Является Верочка, и за ней Стожников; происходит сцена нежничанья, в заключение которой Стожников целует у Верочки руку. На этом застают их Зарновский. Приезжают: Петр Степанович, Марья Васильевна и Платон Степанович и взапуски друг перед другом говорят чепуху.

В четвертом действии Зарновский, оставшись без службы и проиграв процесс, отправляется в Сибирь в качестве управляющего золотыми приисками. Верочка, однако ж, за ним не следует, а остается в Петербурге. В пятом действии Верочка оказывается падшею женщиной, и Зарновский узнает об этом. Он приезжает в Петербург, но, как истинный создатель, не только не огорчается своим супружеским положением, а усматривает в падении жены лишь новый способ выказать свою неподозрительность. Он прощает. Верочка схватывает его руку и целует ее.

Вот голый остов новой комедии г. Устрялова. Но, употребляя выражение «голый

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru оств», мы сознаемся, что оно не совсем верно. Есть такие литературные произведения, для которых не может существовать «голового остова», которые сами по себе составляют такой голый оств, дальше чего идти совершенно невозможно. Трудно себе представить что-нибудь тошнее и неестественнее этих бесконечно тянущихся, бессодержательных разговоров, этих преднамеренных появлений и исчезновений действующих лиц, которых автор высылает на сцену единственно в том соображении, что надо же как-нибудь и чем-нибудь сцену занять. И над всем этим царствует кисло-сладенькая мораль о каком-то таинственном «деле», из которого должна произойти невеста какая польза, но которое, если поразобрать хорошенько, не стоит выеденного яйца.

Итак, вот откуда к каким результатам приводит нас сочинительство, ищущее положительных сторон в русской жизни. Оно говорит: довольно отрицать, будемте созидать и, в подкрепление своей мысли, высылает на нас целые сонмы теней в виде Вертяевых, Русановых, Зарновских, стреляет руководящими статьями «Московских ведомостей» и «Голоса» и потчует «скромною наукой»... Доказывают ли что-нибудь, удовлетворяют ли кого-нибудь благонамеренные усилия? Нет сомнения, что доказывают и удовлетворяют, ибо спрос на «скромную науку», очевидно, усиливается. Но что именно доказывают и кого удовлетворяют – это вопрос особый, разрешение которого в тесных пределах библиографической статьи было бы не совсем у места.

РОЛЛА. Поэма Альфреда Мюссе. Перевод Н. П. Грекова. Москва. 1864  
Мир поэзии – безграничное; поэт творит под влиянием возбужденного чувства (вдохновения); вдохновение, с своей стороны, есть нечто совершенно особое, независимое, не столько управляемое поэтом, сколько управляющее им. Поэтому поэт имеет такие свойства, каких не имеют другие смертные, а именно, он может непосредственно проникать в тайны природы и даже прорицать будущее.

С природой одною он жизнь жил,  
Он чувствовал (sic) трав прозябанье...

Таковы приблизительно понятия, которые не только у нас, но и в Европе (особливо же в отечестве всякого фразерства – Франции) до сих пор соединяются с словами: поэт, поэзия. Разумеется, если вдуматься в них попристальнее, то очень скоро окажется, что в них, кроме ребячества и великолепной чепухи, ничего нет, тем не менее авторитет их несомненен и имеет силу не только для толпы, непосвященной и бессознательно повторяющей всякого рода определения с чужого голоса, но и для самих так называемых жрецов искусства. Сами поэты (по крайней мере, огромное их большинство) очень серьезно мнят себя служителями безграничного, прорицателями неведомого и на указания науки, здравого смысла и опыта смотрят как на что-то такое, что подрывает поэзию в самом ее корне и существенно противоречит провиденциальной их миссии. И лишь немногие, уже совершенно гениальные личности уразумели, что конкретность, отсутствие преувеличений, определенительность представлений и жизнь, настоящая, невыдуманная жизнь... что-то становится тогда с тобою, служительница безграничного, бесконечного, неизведанного и неисповедимого?

Нет сомнения, что вся изложенная выше путаница происходит, как выражается у Островского Липочка Большова, единственно от необразования. Чем более знаний проникает в массы, тем менее делаются возможными разнузданность фантазии и «смелость полета». Точно то же должно произойти и относительно многих других неосновательных фраз и выражений, которые ныне, благодаря вдохновенным жрецам искусства, пользуются правом гражданственности. Призраки рассеются, туманы упадут, неопределенность исчезнет, их место заступят: знание, ясность представлений и жизнь, настоящая, невыдуманная жизнь... что-то становится тогда с тобою, служительница безграничного, бесконечного, неизведанного и неисповедимого?

Но откуда все это не больше как гадательное будущее, и потому мы вынуждены довольствоваться поэтцами и поэтиками, которые всею силою своих легких отстаивают права мрака и невежества на господство над миром.

У этих маленьких поборников таинственной чепухи бывают иногда престранные фантазии. То кажется им, что мир исполнен света, красоты, чудес и всякой благодати, то вдруг покажется, что мир погряз в зле и безобразии. Сегодня они будут радоваться и петь восторженные гимны, завтра – посыплют главы пеплом и разразятся проклятиями всему человеческому роду. Одним словом, это народ, живущий вдохновенно-бессознательной жизнью, восторгающийся и проклинаящий под

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
иглом первого и притом всегда случайного впечатления, а потому в высшей степени непостоянный и малосообразительный.

Повторяем: все это, то есть и бессознательное ликование, и бессознательная скорбь, происходит единственно от необразования. Если бы поэт обладал достаточным количеством знаний, то никак бы не мог сказать:

И не знаю я, что буду

Петь, но только песня зреет...

Ибо сказать это – значит сказать красивую бессмыслицу (даже не столько красивую, сколько поражающую своею неожиданностью), ибо ничто в жизни не приходит случайно и бессвязно, ибо и на песне лежит печать общего строя жизни, и человек, находящийся в твердой памяти и здравом рассудке, не может не знать, что он будет делать при таких или других (и притом совсем не отдаленных) обстоятельствах. Следовательно, сегодня радоваться восходу солнца, а завтра по поводу восхода солнца печалиться – никак невозможно, так как восход этот сам по себе всегда самому себе равен и всегда имеет одинаковые причины и одинаковые последствия.

Но ежели бы последствием невежественности было только легковерие и волтижерство самих поэтов, то это была бы еще не бог знает какая печаль. Но есть последствия гораздо более вредные и серьезные: мы говорим о предрассудках, которым служит наша заурядная поэзия и распространению которых она всячески способствует. В этом отношении «поэты» не только не могут назвать себя передовыми людьми, но, напротив того, должны сознаться, что суеверия и предрассудки толпы тяготеют над ними всю свою массу.

Поэзия, будучи в высшей степени причастною всем упомянутым выше предрассудкам, является совершенно неспособною руководить толпою. Ежели толпа убеждена, что солнце восходит оттого, что восходит, а заходит оттого, что заходит, то поэзия утверждает, что отсутствие на горизонте солнца ночью происходит оттого, что

Спит с Фетидой Феб влюбленный,  
а появление его утром – оттого, что

...Аврора уж не спит

И, смутясь блаженством бога,

Из подводного чертога

С ярким факелом бежит.

Спрашивается, велика ли же разница между убеждениями толпы и представлениями поэзии?

Все, что сказано выше, отнюдь, однако ж, не должно быть принимаемо за непризнание поэзии, а тем менее за презрение к ней. Напротив того, мы думаем, что поэзия сама по себе представляет одну из законных отраслей умственной человеческой деятельности и что она ничуть не враждебна ни знанию, ни истине. В подтверждение этой мысли мы можем привести множество примеров, которые прямо доказывают, что чем выше и многообъемлющее поэтическая сила, тем реальнее и истиннее ее мирозерцание. Не говоря уже о Шекспире, этом царе поэтов, у которого всякое слово проникнуто дельностью, не упоминая также о множестве менее сильных поэтов, которые тоже были непричастны лганью, мы можем на примерах, гораздо более нам близких удостовериться, что невежество, преувеличения и фальшь никак не могут считаться неотъемлемою принадлежностью поэзии.

Вот, например, описание весеннего вечера:

«Солнце село, но в лесу еще светло, воздух чист и прозрачен; птицы болтливо лепечут; молодая трава блестит веселым блеском изумруда... вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет; алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается все выше и выше, переходит от нижних, почти еще голых веток к неподвижным, засыпающим верхушкам... Вот и самые верхушки потускли; румяное небо синеет. Лесной запах усиливается; слегка повеяло теплой сыростью; влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают, не все вдруг – по породам: вот затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу всё темней да темней. Деревья сливаются в большие, чернеющие массы; на синем небе робко выступают первые звезды. Все птицы спят. Горихвостки, маленькие дятлы одни еще сонливо посвистывают... Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голосок пеночки; где-то печально прокричала иволга, соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше (охотника) томится ожиданием, и вдруг в глубокой

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) тишине раздается особого рода карканье и шипенье, слышится мерный взмах проворных крыл – и вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему выстрелу».

Наблюдатель не-поэт описал бы этот вечер так: «в такой-то местности, под таким-то градусом северной широты и таким-то восточной долготы, такого-то года, месяца и числа, захождение солнца произошло во столько-то часов, минут и секунд. При этом в воздухе было тихо, а небо было чисто; барометр показывал то-то, термометр то-то». Нет сомнения, что это был бы не более, как тощий формулярный список весеннего вечера, но в массе других подобных же списков и он имел бы свое почтенное значение; нет сомнения также, что г. Тургенев (приведенное выше описание принадлежит ему) тот же самый вечер изобразил несравненно поэтичнее, тем не менее описание его ни в одной черте не противоречит истине, и ни один метеоролог или астроном-наблюдатель не позволит себе сказать, что тут есть что-нибудь неверное, нелепое или преувеличенное. Спрашивается теперь: утратила ли картина сколько-нибудь своей поэтической прелести от того, что в ней нет ни «влюбленного феба, спящего с фетидой», ни «Авроры, бегущей с факелом из подводного чертога»?

Или вот еще пример:

Здравствуй! тысячу раз мой привет тебе, ночь!

Опять и опять я люблю тебя;

Тихая, теплая,

Серебром окаймленная!

здесь также нет спящего феба и вообще ни малейшей клеветы на действительность, но это не мешает быть картине в высшей степени поэтичною. И страннее всего, что прекрасные эти стихи принадлежат тому же самому перу, которое изобразило и Аврору с факелом в руках.

Все эти соображения пришли нам на мысль по поводу поэмки Альфреда Мюссе, заглавие которой выписано выше. Сама по себе, она не стоила бы даже упоминения – до того поразительно ее ничтожество; но в ней типически выразились те стремления к милому невежеству, которые, к сожалению, еще в весьма большом ходу между так называемыми поэтами.

Дело, составляющее сюжет этой тощей поэмки, по-видимому, очень простое. Дрянной человечешко, по имени Ролла, истощивши свои силы в дешевом и гадком разврате и растративши все свое состояние, решается покончить с жизнью. Чтобы выполнить это намерение, он придумывает пошлую мелодраматическую обстановку, вполне достойную всей его жизни, а именно: покупает у гнусной матери невинную дочь, проводит последнюю ночь в ее объятиях и затем, выпивши яд, умирает. Сюжет, как видится, дюжинный, и проникаться по поводу его негодованием к человеческому роду, выставлять подобный поганый случай, как результат распротранившейся страсти к анализу, совершенно ни на что не похоже. Конечно, и ныне встречается на свете довольно количество шалопаев и негодных людей, но ведь никак нельзя же сказать, чтобы и в прежние времена в них ощущался недостаток. Напротив того, история и этнография самым убедительным образом доказывают, что в те времена и в тех странах, где знания слабы, негодяев и безнравственных людей бывает гораздо более, нежели в те времена и в тех странах, где сумма знаний сравнительно больше, где люди осмысливают свои поступки и желают видеть факты в их настоящем свете, а не окруженными непроницаемым мраком невежества.

Но не так мыслит маленький поэт Альфред Мюссе. Пошлый поступок своего пошлого героя он приписывает – чему бы вы думали? приписывает влиянию Вольтера! Что может быть общего между Вольтером и дрянным человечешком, называющимся Роллоу, этого постичь совершенно невозможно; тем не менее Мюссе твердо стоит на своем и всячески клянется, что не будь Вольтера, не было бы и его дрянного Роллы. По несообразительности своей, он даже не задает себе вопроса: а что, если бы, вместо истории Роллы, рассказать историю какого-нибудь Каталины или другого подобного ему древнего героя, возможно ли было бы обвинить по поводу его Вольтера и страсть к анализу? Он поэт, и в этом качестве не хочет иметь никакого дела с показаниями истории. Полагая всю сущность поэзии в смелости полета, а всю прелесть жизни – в невежестве, он весьма естественно желает уязвить если не самое знание, то, по крайней мере, поползновение к знанию. Одним словом, он чувствует необходимость защитить дорожное его сердцу невежество, под покровом которого, по мнению его, неприкосновенно сохраняется поэтическая свежесть и цельность жизни. И вот, вооружась всею силою нелепого негодования, он

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
возглашает:

Вольтер! спокойно ли ты спишь в своей могиле?  
Ты улыбаешься ль, смотря на подвиг свой?  
Ведь век твой молод был, и были не по силе  
Ему твой злой сарказм и гений адский твой.  
Но нами понят ты. На нас все пало зданье,  
Которое рука воздвигнула твоя.  
О, с нетерпением, наверное, тебя  
Ждала немая смерть в могилу на свиданье:  
Ты восемьдесят лет ухаживал за ней,  
И вы должны пылать друг к другу страстью сильной,  
Обнявшись горячо под грудью червей и проч. и проч.  
Далее, изобразив самую пошлую сцену, в которой главную роль играют «сладкие  
немые содрогания», и заметив, что все сии содроганья происходят при совершенном  
равнодушии обеих заинтересованных сторон, поэт восклицает:

И вот твоё деяние,  
Вот славный подвиг твой! Ты видишь, Аруэт,  
Как этот юноша – весь жизнь, весь пыл и цвет,  
Целует грудь её? как пламенно и нежно  
Склонил к её плечу пылающий свой лоб?  
Сегодня он умрет, сегодня неизбежно  
Его под сень свою возьмет холодный гроб.  
Ведь он читал тебя – и всякая отрада  
Чужда его душе и проч.  
Что касается до перевода г. Грекова, то он напоминает собой золотые времена  
Василия Кирилловича Тредьяковского. Уже выписанные выше места достаточно  
характеристичны, но есть вещицы и покуръезнее этих. Так, например:

И встанет он могуч,  
И в этот темный гроб сойдет без содроганья,  
Рассеяв страшный мрак над ним висящих туч,  
И жертву своего разврата в тьме полночной  
Поднимет с ложа он позора непорочной  
И от души её вручит он богу ключ.  
Спрашивается: зачем г. Греков перевел сию ерунду? На этот вопрос мы должны  
отвечать словами самой поэмы: затем он её перевел, что

...полет его потреба.

В СВОЕМ КРАЮ. Роман в двух частях. К. Н. Леонтьева. С.-Петербург. 1864  
Сочинение г. Леонтьева нельзя назвать просто романом; это, если можно так  
выразиться, роман-хрестоматия. В нем вы на каждом шагу встречаетесь с  
воспоминаниями о Тургеневе, графе Л. Н. Толстом, Писемском и других. Вот Татьяна  
Борисовна, которая у г. Леонтьева называется Катериной Николаевной, вот тот  
молодой цыган-шалопай (фамилии его не помню), который у Тургенева пленяет дам  
залихватскими русскими песнями, подражанием жужжанию мухи и другими такой же  
силы талантами и который у г. Леонтьева называется Милькеевым; вот цыганка –  
любовница Чертопанова, которая у г. Леонтьева называется Варей; вот добродушный  
и действительно прелестный старик-полковник, который у Тургенева ходит взад и  
вперед по кабинету и произносит: брау! брау! и который у г. Леонтьева называется  
Максимом Петровым; вот дети гр. Л. Н. Толстого, которых без всякого законного  
акта усыновляет г. Леонтьев. Всё люди знакомые. Кажется даже, г. Леонтьев не  
чужд некоторым измышлениям г. Ключникова, хотя роман его печатался одновременно  
с «Маревом»: вот что значит основательное изучение одних и тех же образцов.

Говоря откровенно, мы признаем составление подобных хрестоматий делом далеко не  
бесполезным. Есть литературные произведения, которые в свое время пользуются  
большим успехом и даже имеют немалую долю влияния на общество, но вот проходит  
это «свое время», и сочинения, представлявшие в данную минуту живой интерес,  
сочинения, которых появление в свет было приветствовано общим шумом, постепенно  
забываются и сдаются в архив. Тем не менее игнорировать их не имеют права не  
только современники, но даже отдаленное потомство, потому что в этом случае  
литература составляет, так сказать, достоверный документ, на основании которого  
всего легче восстановить характеристические черты времени и узнать его  
требования. Следовательно, изучение подобного рода произведений есть  
необходимость, есть одно из неперемных условий хорошего литературного  
воспитания. Тем не менее не нужно скрывать от себя, что разрешить

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) удовлетворительно эту задачу совсем не легко. В самом деле, прочитать до тридцати томов, сочиненных в разное время гг. Тургеневым, гр. Л. Н. Толстым, Писемским, Авдеевым и друг., сделать из этих сочинений выборки, привести эти выборки в систему, – все это для современника, не слишком отдаленного от того мирозерцания, которое руководило упомянутыми выше авторами, еще может быть делом занимательным, но для потомства подобная работа должна сопрягаться с чрезвычайным утомлением. Облегчить эту работу крайне полезно, и вот тут-то именно являются те драгоценные литературные архивариусы, которые трудолюбием своим оказывают истории литературы гораздо более услуг, нежели даже писатели, хотя действительно даровитые, но не настолько, чтоб целиком перейти в потомство. Архивариусы эти берут полное собрание сочинений знаменитейших авторов известной эпохи, компилируют их, делают из них резонированные выборки и затем передают свой скромный труд тиснению, как бы говоря публике: зачем тебе читать Тургенева, Толстого, Писемского и друг.? прочти лучше меня: тут найдешь ты все, что тебе нужно знать об этих писателях.

Итак, г. Леонтьев трудится для потомства. Он не претендует на оригинальность, не говорит читателю: слушай! я тебе преподам нечто новое; напротив того, он прямо сознается: это не я говорю, это говорят гг. Тургенев, Толстой, Авдеев и Писемский, я же состою при них только в скромной роли собирателя всероссийского мирозерцания. Все это, конечно, с его стороны очень мило, тем не менее мы не можем скрыть, что даже и для того, чтобы тронуть нас скромностью, нужен талант, и притом талант не менее существенный, как и тот, который трогает нас действительною силою своего содержания.

Тут нужен талант критический. Г-н Леонтьев, быть может, удивится, читая эти строки (ежели, конечно, он прочтет их); быть может, он примет их за иронию и даже за мистификацию, но мы совершенно далеки от того и от другого. Мы искренно убеждены, что автор, являющийся в публику с таким «сочинением», как «В своем краю», не может иметь в виду иных целей, кроме критическо-хрестоматической, и потому, не обинуясь, высказываем наше мнение как относительно самой задачи, так и относительно способов ее выполнения.

Задача хороша – это скажет всякий. Археолог и историк, и даже современный наблюдатель, утративший мерило для оценки явлений современной русской беллетристики с кисейными героинями и обтянутыми лайкой *jeunes premiers* – все от души поблагодарят за такой труд. Но одного похвального намерения мало; необходимо уменьье, необходим критический талант.

Только критика может провести ту раздельную черту, которая существует между гг. Тургеневым и Ключниковым, только она одна может до очевидности доказать, что если между этими двумя авторами и есть сходство, то это последнее следует уподобить тому сходству, которое существует между настоящим французским виноградным вином и тем, которое выделяется усердием гг. Рызыкиных, Термековых и Соболевых. И хотя критика во всей неприкосновенности сохраняет свое право относиться неодобрительно ко всем вообще виноградным винам известных достоинств и марок, но это отнюдь не освобождает ее от обязанности делать даже и в этом смысле строжайшие различия. В качестве ценовщика критик не имеет права не знать, что как ни плохо вино французское, все-таки же оно настоящее виноградное, тогда как вино рызыкинское не может быть ничем иным, как дрянной и не всегда безвредной фабрикацией.

В этом последнем смысле, г. Леонтьев являет себя критиком весьма неопытным. Решившись компилировать Тургенева, Писемского, Толстого и друг., он, во-первых, не разложил тех ядов, которыми каждый из этих писателей обладает в частности, и не определил их значения в общественной токсикологии; во-вторых, он даже не спросил себя, для чего он компилирует и какие могут быть достигнуты цели с помощью подобной компиляции?

Первое условие, то есть разложение ядов, определение их свойств и указание того значения, которое каждый из них имеет в общей токсикологической системе, – совершенно необходимо. Каждый яд, как известно, действует двояко, то есть имеет свойство и убивать, и восстанавливать здоровье. Все зависит от большей или меньшей значительности приема и от того, в каких условиях происходит действие яда. Есть яды, взаимно друг друга уничтожающие и одновременное действие которых должно произвести в результате нуль, есть яды, которые, при несоразмерно-усиленном употреблении, тоже не расстраивают организма, а дают в результате нуль. Точно то же следует сказать и о ядах литературных. Ежели, например, взять яда

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru тургеневского и употребить его в надлежащей пропорции, то он, конечно, может оказать действие до некоторой степени человекоубийственное; но ежели к этому яду присовокупить яд клещниковский или григоровичевский, то всякий без труда убедится, что тургеневский пресловутый яд есть не что иное, как невинный сироп. То же самое надо сказать о яде г. Писемского, о хныкательной эссенции, изготовляемой г. Ф. Достоевским. Тут необходимо различать, ибо, в противном случае, яд самый смертельный может оказаться смешным и годным только для истребления мух.

Затем, что касается до целей, то они могут быть двоякого рода: или просто изобразить положение и направление всероссийской литературы (а в то же время и всероссийского общества) в данный момент, или же изобразить его с некоторым нажимательством на известные более или менее чувствительные пункты. В первом случае задача разрешается просто. Надобно только взять отрывки из одного, другого, третьего и т. д. писателей и переписать их в таком порядке, чтоб они не противоречили друг другу, чтоб герои не обедали после ужина и чтоб Иван 24-й страницы не назывался Прохором на странице 25-й. Достигнуть этого не трудно. Самое важное здесь вкус и орнаментальное искусство, и ежели бы подобное дело и в тех условиях, в каких существует русская литература в настоящее время, было поручено нам, то, признаемся, мы поступили бы следующим образом. Для начала выбрали бы Тургенева, для середины Тургенева и для конца Тургенева. Мы просто перепечатали бы «Отцов и детей» и подписались бы: «с подлинным верно. К. Н. Леонтьев». Публика, наверное, прочтала бы наше сочинение с удовольствием, потому что воззрение сколько-нибудь цельное и оригинальное можно найти только у г. Тургенева, а у гг. Писемского и Григоровича следует искать лишь аксессуаров. Аксессуары эти суть: пьяницы и обжоры, отменно изображаемые г. Писемским, и девицы, коих кринолины разорваны и кои очень смешно изображаются г. Григоровичем. Аксессуарами этими можно воспользоваться так: перепечатывать себе да перепечатывать роман Тургенева, да вдруг и воскликнуть: а посмотрим-ка, читатель, что-то подельывает наш любезный Иона-циник, – да и хватить целиком из Писемского главу об Ионе-цинике. Вполне органической связи и тут, конечно, не будет, но читатели в претензии не останутся, ибо знают, во-первых, что перед ними не сочинение, а образцы сочинений, и во-вторых, что г. Леонтьеву все-таки не сочинить так, как сочинит г. Писемский. И таким образом цель будет достигнута, цель, правда, не хитрая, но в то же время и не бесполезная. Читатели увидят, что в данный момент направление всероссийской литературы главнейшим образом заключалось в сильном испускании некоторого тонкого яда, что яд этот с одной стороны умерялся хныкательною эссенцией г. Достоевского, с другой стороны усиливался человекоубийственною поварней г. Писемского, и что поставленный в такие условия он никакого ощутительного действия ни на кого не производил.

Гораздо, разумеется, сложнее будет дело романиста-хрестоматика, который, вместо простого и нехитрого изображения литературного положения известной эпохи, задумывает еще заняться по части нажимательной. Кроме того, что такой компилятор должен быть замечательным токсикологом, то есть уметь разлагать чужие яды, он обязан обладать некоторым запасом и своего собственного, оригинального яда. Яд этот должен преимущественно обнаруживать свое действие в том остром соусе, которым обливаются подобные компиляции, в той ехидной преднамеренности, которая высказывается в подборке и сортировке чужих ядов. Ясно, что в этом случае без критики, и притом самой основательной, нельзя ступить ни шагу, что без нее невозможно оттенить как следует собранный материал.

Ни одной из объясненных выше трех задач не удовлетворяет г. Леонтьев. С одной стороны, он положительно не знает толку в ядах, и потому в один и тот же сосуд кладет и сильнодействующие средства г. Тургенева, и тараканные отравы г. Григоровича, и гнилостно-заражающие припасы г. Писемского. От этого в результате выходит не яд, а мутный сироп, отнюдь не вредный, а в то же время и не полезный. С другой стороны, отнестись просто к своему хрестоматическому делу он не хочет, потому что считает подобный труд ниже себя, ниже своих сил. Затем, г. Леонтьеву оставалось приступить к делу третьим из указанных выше способов, то есть взять из сочинений Тургенева, Писемского и др. разных Татьяна Борисовна, Базаровых, Проскриптских и переженить их на свой собственный манер: он так и сделал, но удачи не получил.

В первой части, где автор ближе придерживается избранных им образцов, дело идет еще довольно изрядно. По крайней мере, читатель может сразу сказать: вот это Тургенев, это Писемский, это Толстой и т. д., и даже похвалить трудолюбивого собирателя за его умение сортировать этот более или менее разнообразный

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) материал. Но во второй части, то есть там именно, где приходится женить героев, почтенный компилятор постоянно стоит своей задачи. Он положительно не умеет свести концы с концами и, поставив в первой части своего труда на первом плане интерес внутренний, вдруг круто поворачивает и начинает заботиться исключительно о поддержании интереса внешнего.

Какого достоинства этот внешний интерес, можно судить из того, что он главным образом основывается на нерешимости героев романа, кого им любить и на ком жениться. Милькеев не знает, жениться ли ему на Нелли, или на Любаше, или на дочери Катерины Николаевны, или, наконец, просто любить Катерину Николаевну по-прежнему, и как любить, как мать, или более нежным манером. Лихачев не знает, жениться ли ему на Нелли или на Любаше, или возвратиться к Вареньке. Любаша не знает, за кого ей выйти замуж, за Руднева, за Милькеева, за кн. Самбикина или за Лихачева. И так далее. Такое невежество героев относительно положения их собственных чувств тяжело действует на читателя. Он подозревает, что перед ним развивается не драма, а какая-то бессвязная и очень неловко организованная игра в жмурки. Имея положительное убеждение, что нельзя сказать: не хочу есть, когда чувствуешь голод, нельзя сказать: хочу гулять, когда гулять не хочешь, он начинает догадываться, что г. Леонтьев затеял всю эту игру неспроста, что он и тут преследует какую-нибудь высоко-хрестоматическую цель...

И читатель не ошибается. В числе корифеев нашей литературы есть один, которого мы не назвали, – это г. Скавронский. Задача, которую предположил себе этот мало знаменитый писатель, заключается в том, чтобы доказать миру, что истинный герой романа должен на следующей странице забывать то, что он делал и говорил на странице предыдущей. Нельзя, конечно, утверждать, чтобы это была задача особенно глубокомысленная, но в то же время невозможно отказать ей в некоторой оригинальности. Это последнее качество, очевидно, поразило г. Леонтьева, и он, как добросовестный хрестоматист, счел долгом указать, что в российском государстве, кроме гг. Тургенева, Писемского и друг., существует еще и г. Скавронский. Однако мы похвалить его за это не можем, так как, по нашему мнению, всякое кушанье требует своего особенного специального соуса, и обливать Тургенева Скавронским совершенно ни с чем не совместно.

Но всегда похвалим за то, что г. Леонтьев первый возымел мысль о повествовательной хрестоматии, и хотя опыт, сделанный им в этом смысле, и не вполне удачен, но для нас важно уже то, что дело пущено в ход. Деятели не замедлят явиться, и мы уже теперь можем начертать приблизительную картину, изображающую гг. Пятковского, Гербеля, Геннади и других собирателей русской литературы, готовых ринуться в бой по первому знаку г. Галахова, этого Гостомысла российской хрестоматической промышленности.

О ДОБРОДЕТЕЛЯХ И НЕДОСТАТКАХ, какие замечаются на всех ступенях развития общественной жизни, или нравственные правила в руководство к исправлению недостатков и к утверждению добрых начал в многосторонней земной жизни для блага общего. Сочинение переводное с иностранного. П. Б. Суходаев. К. У. С портретом автора. Москва. 1864

\*\*\*  
ЗЕРКАЛО ПРОШЕДШЕГО. Выписки и записки многих годов. Москва. 1864  
\*\*\*

РИМ. Современный очерк («Эпоха», 1864 г., № 8)

\*\*\*  
ПРИМЕЧАНИЯ К СТАТЬЕ «МОНТАНА» Г. КАЛУЗОВА («Эпоха», 1864 г., № 8)

\*\*\*  
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ЖУРНАЛА «ЭПОХА», литературного и политического, издаваемого семейством М. М. Достоевского («Эпоха», 1864 г., № 8) Стрижинская литература решительно процветает. Чувствительность сердца, добродетель, кроткое поведение, почитание усопших, умеренность в употреблении яств и прочих напитков – вот новые принципы, которые внесены в нашу литературу стрижами. Правда, что проповедь эта не совсем-таки нова, а только позабыта; правда, что опыты обращения русской литературы в «Лизин пруд» начинаются уже с Карамзина, но никогда они не были так настоятельны, никогда не лезли так напролом, как в настоящее время. Прежние проповедники чувствительности и аккуратности были, по крайней мере, кратки и не ложились на душу читателя излишним грузом; нынешние проповедники тех же истин извергают из себя целые монументы и решительно притесняют публику своею настойчивостью.

Прежнее русское общество было само очень чувствительно; воспитанное на почве

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) крепостного права, оно любило отдых за картинками содержания чувствительного и аккуратного. Видя в Ваньках-разбойниках и Машках-подлячках одну нравственную необразованность и, сверх того, примечая в их обжорливости явный и положительный для себя ущерб, оно охотно останавливалось на повествовании о каком-нибудь Агатоне, который не ел и не пил, а только проливал слезы, или о какой-нибудь Хлое, которая, невзирая на настойчивость своего Алексиса, посолила-таки свою невинность впрок. «Вот, подлецы, как жить нужно, а не то, чтоб лопать да брюхо набивать», или: «Вот, девки, как нужно себя соблюдать, а не то, чтоб целые ночи по коридорам шляться», – говорило оно и сладко-пресладко вздыхало. Ибо видело в этих картинах и повествованиях не токмо утешение, но и подкрепление.

Совсем не таково положение современного общества относительно аккуратно-чувствительной литературы. Заботы по насаждению нравственности в сердцах Ванек с него сняты; ущербы, проистекавшие от прожорливости Машек, или устранены, или вошли такую определенной статьей в бюджет, что отвертеться от них нет возможности. Следовательно, надобности в примерах разного рода окаянству решительно не стоит. Пример Агатона, питающегося слезами, важен для нас в том только смысле, что он врачует наши сердца, уязвленные примерами других Агафонов, таскающих из наших кладовых огурцы и капусту для своего насыщения; но как скоро мы сродняемся (или что-нибудь сродняет нас) с мыслью, что упомянутые выше огурцы и капуста не составляют еще особенной манны небесной, то воспоминание об Агатоне-слезо-истребителе и Хлое-блюстительнице не только не утешает, но даже бесит нас. Нам кажется, что все это пишется нам в пику, что тут заключается тайное злорадство, недобросовестный намек на то, что вот и хорошо бы, да не хочешь ли выкусить! И так бывает нам в то время скверно и огорчительно, что мы были бы готовы горло зубами перервать тому стрижу, который так и зудит около нас с своею проквашенною кротостью и посоленной впрок невинностью.

А стрижиная литература все пристаёт да пристаёт потихоньку. Словно вот ядом поливает. «Да будьте же вы, говорит, кротки, черт вас дерит! вспомните, говорит, об Косте-прожорливом, о некоторой Насте, которая позволяла коленьке свою ручку целовать! Куда вы угодить хотите? вспомните, наконец, о некоторых «стрижах», которые без ума без всякого вдруг вздумали странствовать, – что постигло их?» Слушая это унылое голошение, видя этих пришельцев с того света, колотящих себя в грудь даже без приглашения полиции, публика сначала недоумевает, но, наконец, положительно озлобляется. «Что я вам сделал? долго ли притеснять меня будете? и как я покажусь в люди с вашею выеденною добродетелью!» – говорит читатель неотвязчивым птицам. А стрижи пристаёт себе да пристаёт полегоньку.

Вот лошадки для езды,  
Пистолетик для стрельбы,  
Барабан, чтобы стучать  
И в солдатики играть! –  
кричат они хором, и какие бы усилия ни употребляла публика, чтоб унять их, – все будет бесполезно. Во-первых, они от рождения находятся в «забвении чувств», а во-вторых, в самом воздухе есть нечто им покровительствующее.

Да, это так; действительно, нечто покровительствует им. Известно, что ничто так не утверждает общественного благоустройства на незыблемых основаниях, как невинные занятия. В сем отношении игра «в солдатики», «в лошадки», «в фофаны» и проч. занимает самое видное место. Люди, занимающиеся такими непредосудительными поступками, суть те самые граждане, на коих всегда положиться можно, ибо они никогда не выдадут. Затем, к числу непредосудительных ремесел следует отнести также балет, в особенности же с превращениями, полетами и исчезновениями, так как от одного ведут свое родоисхождение занятия балетно-философические, тоже немало к утверждению общественного благоустройства содействующие. Человек, уязвленный до глубины души игрою в фофаны, до такой степени закаляет себя в этом занятии, что никаким порочным движениям доступен быть не может. Видя конец платка, вылетающий из кафтана ближнего, он не только не присвоит его себе (то есть весь платок, а не конец его), но даже не соблазняется; видя людей, беседующих о деле действительно, он не только не принимает участия в их беседе, но даже не соблазняется; видя людей, страдающих не едиными чирьями и золотухой, он не только не спрашивает о причине страданий их, но даже не соблазняется. Как некоторый адамант светлый, проходит он посреди людского торжища, поражая всех своею невинностью и аккуратностью. Правда, что и им, в свою очередь, никто не соблазняется, но всякий при виде его говорит: оставьте сего невинного, ибо если вы его тронете, то извергнет из <пропуск в корректуре> всякий остерегается, всякий себя <?> монумент, известный под именем «сапогов всмятку!» проходит мимо.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
Ибо все мы – члены общества, и в этом качестве должны всемерно заботиться о благоустройстве. А от кого же и можем мы ждать порядка, как не от тех, кои никогда беспорядка произвести не могут? Следовательно, поощрять и охранять их суть прямой долг наш и главнейшая обязанность. А ежели мы должны поощрять их, то, стало быть, должны выносить и их приставанья. Вот истинная причина возникновения «стрижей» и их процветания; вот почему им нет и не может быть перевода, так что ни трескучие морозы, ни летний зной не могут оказать на них решительно никакого влияния.

Итак, несмотря на то что характер общества русского значительно изменился, несмотря на то что наше общество стало менее чувствительно, процветание стрижиной литературы совершенно законно. Само общество обязано всемерно заботиться о возможном его продолжении, ибо в процветании этом заключается самое действительное отвлекающее средство, при помощи которого различные горькие заботы и думы уже не представляются уму с такою мучительною назойливостью, как это обыкновенно бывает, когда человек предоставлен самому себе и своим размышлениям. Кто огорчен, угнетен или обижен, тот пусть возьмет в руку стрижа: он споет ему повесть о Феденьке-нестроптивом, который тоже был когда-то строптивым, и тогда все у него шло скверно, но потом предоставил себя на волю провидения – и все пошло у него хорошо. И стал Феденька торговать отчасти выеденными яйцами, отчасти непредосудительными выражениями – и расторговался так, что ныне завел даже в Мещанской колбасную лавочку. Можно ли, спрашивается, устоять против такого соблазна? Можно ли не оставить все горькие житейские помышления, когда в перспективе виднеется колбасная лавочка? Нет, нельзя; кремень – и тот не устоит, особливо когда ему объяснят, что колбасы, выделяемые в этой лавочке, не взаправду колбасы, а простая тряпочка, набиваемая без разбору всяким сором. Только одно серьезное возражение предвидим мы против такого соблазна: а что, ежели все примутся вдруг торговать выеденными яйцами, – кто тогда станет покупать их?

По нашему мнению, стрижи могли бы даже служить отвлечением и в смысле политическом, если б политика не имела в своем распоряжении других средств, более быстро действующих. Ведь оказывает же, сказывают, Наполеон III некоторое покровительство спиритам, а чем они лучше наших стрижей?

Да простят нас многоуважаемые авторы выписанных выше сочинений, что мы как будто по поводу их заговорили о стрижах. По правде-то сказать, во всех этих сочинениях действительно есть немножко стрижиного... ну, хоть немножко! Но во всяком случае, и смысл, и направление, и даже слог – все у них совершенно общее. Ежели сочинение «О добродетелях и недостатках», а также «Зеркало прошедшего» не помещены в «Эпохе», а являются изданными отдельно, то это есть лишь признак прискорбного недоразумения, признак того, что «Эпоха» недостаточно еще разлилась по лицу земли, не знает сама, где ее агенты, где ее счастье, и что агенты ее, с своей стороны, не знают, где их счастье, где та укромная роща, в которой они могли бы по душе потолковать. Ни «Добродетели и недостатки», ни «Зеркало прошедшего» не могли бы, конечно, быть помещены ни в одном русском журнале, а в «Эпохе» прочитались бы с удовольствием, и притом довольно многочисленную публикой, которая обращается к этому журналу именно как к средству позабыть о всех горестях. Точно так же нельзя бы было поместить ни в одном журнале ни «Рима», ни «Объявления» об издании «Эпохи» в будущем 1865 году, ни других выписанных выше статей, а «Эпоха» поместила их – почему? Потому, что она издается с известными отвлекающими целями, для которых все эти статьи как нельзя больше пригодны. А чтобы доказать самым делом, что факт появления «Добродетелей и недостатков» и проч. отдельно от «Эпохи» есть не что иное, как недоразумение, объяснимся несколько подробнее.

Все сочинения, заглавия которых выписаны нами выше, трактуют о том, что человек должен украшать себя добродетелями, а не пороками, что он должен от рождения считать себя виноватым, что невинность есть то качество, которое хотя он и утратил однажды, но стремиться к которому не возбраняется и дондесь, что науки, конечно, полезны, но – вопрос, какие науки? Не те науки, в основании которых лежит кичливый разум, а те, кои зиждутся на стыдливом уповании, что понимать ничего не следует, ибо понимание разрушает ценность жизни и устраняет прелесть бестолковщины и что, впрочем, необходимо всегда и везде главную надежду возлагать на провидение. Затем, слог, которым написаны эти сочинения, может быть назван высоким, по временам впадающим в «забвение чувств».

Вот общие черты; что касается до отличий, то их немного – всего два. Во-первых,  
Страница 102

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) автор «Добродетелей и недостатков» приложил к сочинению свой портрет, а прочие сочинители портретов не приложили. Мы находим, что со стороны последних это большое упущение, ибо ежели вошло в обычай сохранять для современников и потомства черты знаменитейших злодеев, то тем справедливее соблюдать это обыкновение относительно благодетелей человечества. Из портрета, приложенного к «Добродетелям и недостаткам», мы видим, что г. Суходаев человек средних лет, что он кавалер трех медалей, что глаза его устремлены к потолку и что под рукой у него две книги (должно полагать: научно-полемиическая статья «Сказание о Дураковой плещи» и игриво-философское рассуждение об индюшках и Гегеле). Таким именно мы представляли себе сотрудника «Эпохи». Второе отличие состоит в том, что г. Суходаев посвятил свое сочинение «достойнейшему князю Георгию Иоанновичу, сыну Окрапира-царевича», посвятил явно и открыто и даже записал, когда и где сие совершалось, а именно: «20-го июня 1863 года на южном берегу Крыма, на даче генерала Лешневич» (ведь записывал же Иван Иванович Перерепенко на семенах «сия дыня съедена такого-то»), между тем как публицисты «Эпохи» хотя и посвящают свои монументы гг. Каткову и Аксакову, но посвящают тайно, с полным сознанием своей виноватости. Это отличие тоже, по нашему мнению, служит в пользу Суходаева. Во-первых, мы вполне признаем, что поступки явные гораздо прочнее и заслуживают большего уважения, нежели поступки тайные, и охотно верим в этом случае г. Суходаеву, который вот что говорит в главе о «Тайных грехах»:

«Как, неужели злодей, впавший в явные преступления, достоин большей казни, чем сии скрытные беззаконники, от которых никто не может остеречься, потому что они скрывают свою развратность под личиною добродетели?»

И далее, очертив мастерскою рукой изображение тайного беззаконника, который, между прочим, «сплетничает, а между тем хочет слыть человеком честным, о благе всех пекущимся», автор в негодовании восклицает:

«Узнай себя в этом изображении, скрытный беззаконник, и ужаснись, если в тебе осталось еще столько совести, чтобы различать, что достойно и что недостойно человека! Узнай себя, вероломный сквернитель чужой чести» и т. д. и т. д.

Во-вторых, мы полагаем, что беззакония тайные никогда не сопровождаются ожидаемым успехом, и опять-таки охотно верим в этом г. Суходаеву, который так отзывается об этом предмете в своем сочинении:

«Поистине ты (то есть беззаконник тайный) для других опаснее явного беззаконника; но ты еще более опасен себе самому; таковы последствия твоего притворства. Ибо тебе никто не может подать совета, пока ты скрываешь язвы сердца твоего от взоров других; никто не может помочь до самого падения твоего в пропасть, изрытую твоими пороками. Твоя пагуба лишь скорее дает тебе созреть для ужасной развязки той пьесы, которую ты столь искусно играешь. Тем ужаснее будет твоя гибель».

И далее:

«...ты сам и твое тело обличает тебя перед светом. Тайное беззаконие выкажется в твоих впалых глазах, в твоем расстроенном здоровье. Смотри на болезненных, убитых, рано увядших потомков твоих, ты будешь сокрушаться. Остальное поприще твоей жизни и самая могила порастут терниями».

Картина ужасная, и ежели припомнить, что она начертана, собственно, для страстей, то надобно удивляться той закоснелости, с которой они внимают словам учителя, продолжая в то же время производить тайные беззакония, как будто бы совсем не об них шла речь.

Итак, отличия все в пользу г. Суходаева; но мы увидим далее, что и родственные черты гораздо больше выигрывают под пером этого философа, нежели под перьями эпохиных публицистов.

Вот, например, что говорит г. Суходаев о вреде наук:

«И просвещение, подобно всем вещам, имеет свойственные себе опасности, когда для приобретения его надобно читать много сочинений различного рода. В те времена, когда не было еще никаких других книг, кроме рукописных, одни только отличные мужи отваживались письменно излагать и распространять свои мысли».

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
И далее:

«Истина, собственным нашим размышлениям открытая, драгоценнее тысячи слышанных, которые остаются бесплодными в нашей памяти: подобно как небольшой недостаток, нажитый собственными нашими трудами и употребленный с пользою, несравненно большую имеет цену, чем груды золота, даром доставшиеся и в сундуке скряги лежащие».

И вот об этом же самом предмете говорит «Эпоха» (см. Объявление «Об издании в 1865 г. ежемесячного журнала «Эпоха», литературного и политического, издаваемого семейством М. Достоевского»):

«От науки никогда народ сам собой не отказывается. Напротив, если кто искренне чтит науку, так это народ. Но тут опять то же условие: надо непременно, чтоб народ сам, путем совершенно самостоятельного жизненного процесса, дошел до этого почитания».

Мысли совершенно верные, хотя и вполне стрижиные. Но у г. Суходаева они выражены рельефно и вполне резонно, тогда как в «Эпохе» они принимают несколько вялый и притом только полурезонный характер. Г-н Суходаев прямо говорит: человек, конечно, должен иметь табличку умножения, но он обязан выдумать ее сам, а не заимствовать из арифметики Меморского; «Эпоха» говорит: «народ, конечно, сам должен додуматься до таблички умножения, но он имеет право обойтись и без нее». Г-н Суходаев не подвергает никакому сомнению ни пользы, ни своевременности таблички умножения, «Эпоха» же явно настаивает на ее своевременности. Разница, очевидно, в пользу г. Суходаева.

Другой пример. Г-н Суходаев выражается о «путях провидения» следующим образом:

«Зачем ты, сердце мое, столь часто сокрушаешься о судьбе своей? Зачем с неудовольствием смотришь на счастье многих других, жалуясь, что ты его не имеешь? Зачем ты плачешь о своих неудачах, почитая себя рожденным для всегдашней горести?.. Ты говоришь, мое сердце: я несчастно, ибо никакие предприятия мне не удаются; заботы мои и труды никогда не достигали желанной цели. Сколько уже сплетал я предположений о моей будущности, но они никогда еще вполне не сбывались! Сколько планов строил я в мыслях, как бы улучшить положение мое собственное и моих домашних; но все напрасно!»

«Эпоха» о том же предмете выражает так (зри там же):

«Эпоха» с самого начала своего существования подверглась большим и неожиданным неудачам (следует слезный перечень неудач)... Образовавшаяся наконец редакция увидела вдруг перед собой бездну новых трудностей, которые должна была преодолеть».

Опять-таки мысли совершенно верные и опять-таки совершенно стрижиные. Но и здесь преферанс положительно на стороне г. Суходаева. Г-н Суходаев прямо говорит о предприятиях сердца и объясняет, что предприятия эти заключались в том, чтоб обеспечить его и домашних. Из объяснений же «Эпохи» можно усмотреть одно: что у нее были «предприятия сердца», что и она видела перед собой «бездну», но с какою целью предпринимались эти «труды сердца» – ничего об этом не сказывается. Скрытность явная и положительно говорящая не в пользу «Эпохи».

Третий пример. Суходаев так говорит о современном обществе:

«Преступное искажение естественной потребности оказывается в столь различных видах, производит опустошения столь обширные, явно и тайно свирепствует во всех состояниях, полах и возрастах с такою жестокостью, что верный последователь Христосов с ужасом отвращает свои взоры от людей, до такой степени унизившихся».

О том же «Эпоха» гласит следующее (там же):

«Мы видим, как исчезает наше современное поколение само собой, вяло и бесследно, заявляя себя странными и невероятными для потомства признаниями своих и лишних людей».

Опять, с одной стороны, определенность; с другой, неясность, хотя существо мысли в обоих случаях совершенно одинаково. Оба единомышленника соглашаются, что

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru современное поколение погибает, но первый указывает и на причину этого явления, которая, по мнению его, состоит в «преступном искажении естественной потребности», второй же говорит, так сказать, сплеча, а потому совершенно бездоказательно. Кому отдать преимущество?

Четвертый пример. Г-н Суходаев говорит: «Женщина стремится вступить в брачный союз не с женщиною, но с мужчиною»; «Эпоха» же хотя ничего об этом предмете не высказывается, но это, очевидно, пробел, который, подобно и прочим пробелам, очень мало говорит в ее пользу.

Наконец, г. Суходаев говорит, что его «Сочинение» – переводное с иностранного; «Эпоха» говорит, что ее издание есть издание, издаваемое... Кому отдать преферанс относительно этого пункта, «решить не решаемся», ибо опасаемся посредством какофонической какофонии впасть в тавтологическую тавтологию.

Затем, прочие сочинения, заглавия которых выписаны нами в начале статьи, поражают не столько умозрительностью, сколько кротостью и, так сказать, беззащитностью. Вот, например, какие «сапоги всмятку» проповедует г-жа Анопуте в своем «Зеркале прошедшего»:

«Хотя женщина должна покоряться общему мнению; но довольно в душе своей может иногда презирать его, видя, как оно часто бывает неосновательно, ветрено, переменчиво. Довольно иметь чистую совесть, тихое самоудовольствие – и свое собственное мнение, утвержденное на оных, должно быть дороже мнений целого света».

А вот «сапоги всмятку» г. Н. М., напечатавшего под именем «Современного очерка Рима» краткое извлечение из руководств Кайданова и Смарагдова:

«Главным предметом их (пап) заботливости сделалось сохранение и увеличение папских владений, которым они незаконно придали название наследия св. Петра, как будто св. апостол, которого имя они употребляли во зло, мог с высоты своего небесного жилища утвердить то, чему так явно противоречила вся его земная жизнь».

Но еще наивнее примечания к статье «Монтана». Примечания эти до того прелестны, что мы не решаемся даже выписывать их. Пусть читатели обратятся прямо к источнику и там удостоверятся, какие у нас на Руси еще могут издаваться журналы.

Мы оканчиваем. Надеемся, что «Эпоха» перестанет огорчать нас и не будет более помещать на своих столбцах статей, подобных «Зеркалу прошедшего» и «Объявлению об издании «Эпохи» в 1865 году». Мы даже имеем полное основание выражать такую надежду; в прошлом году мы подали подобный же совет насчет г. Ф. Берга – и с тех пор имя этого знаменитого сатирика не появляется на обертке «Эпохи». Вероятно, точно так же будет поступлено с гг. Н. М., Ф. Достоевским, Н. Страховым и Дм. Аверкиевым. В добрый час!

#### РЕЦЕНЗИИ

(1868–1883)

БРОДЯЩИЕ СИЛЫ. Две повести В. П. Авенариуса. I. Современная идиллия. II. Поветрие. СПб. 1867\*

Господин Авенариус писатель молодой, но положительно ничего не обещающий в будущем. Клубничизм новейшего времени взрастил два цветка на своей почве: гг. Стебницкого и Авенариуса; но если первый из них веселит глаза радужными колоритами и утешает обоняние пряными запахами, то последний, напротив того, поражает вялостью и линючестью колоритов; благоуханий же решительно никаких: ни приятных, ни неприятных, не испускает. Даже в тех литературных закоулках, где он привитает, г. Авенариус, по-видимому, не пользуется особым авторитетом, и сам г. Стебницкий, который, по всей справедливости, считается его духовным родителем, отзывается об нем с снисходительностью более нежели ироническою.

В самом деле, писать так, как пишет г. Авенариус, доступно решительно всякому. Даже в знаках препинания нет надобности, потому что они только препятствуют текучести наблюдения. Чтобы написать повесть, роман, комедию, драму вроде «Поветрия», нужно только сесть у окошка и пристально глядеть на улицу. Прошел по улице франт в клетчатых штанах – записать; за ним прошла девица с стриженными волосами – записать; а если она при этом приподняла платье и показала ногу – записать дважды; потом проехал извозчик и крикнул на лошадь: «Эх ты, старая!» –

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) записать. Посидевши таким образом у окна суток с двое, можно набрать такое множество наблюдений самых разнообразных, что затем остается только бежать в типографию и просить метранпажа привести их в порядок. Метранпаж исполнит это с удовольствием и даже, для клейкости, подбавит разных Моничек, Наденок, Ластовых, Куницыных и проч. Ни складу, ни связи, конечно, от этого не прибавит, но печатной бумаги выйдет тюк преизрядный.

Разверните книжку г. Авенариуса, возьмите на себя нестерпимый труд прочитать ее – и вы убедитесь в истине сказанного выше, как оно ни представляется маловероятным. Это какая-то неслыханная агломерация слов, тянущихся, как канитель, одно за другим, без всякой иной связи, кроме метранпажной, и если можно тут чему-нибудь удивляться, то именно искусству, с которым автор умел к этим бессодержательным словам приурочить своих Наденок и Моничек.

Вообще, новую нашу литературу упрекают в недостатке творчества, в неумении группировать и в дагерротипичности ее отношений к действительности – в этом упреке, несомненно, есть значительная доля правды; но про г. Авенариуса и того нельзя сказать: если у него и был дагерротипный снаряд, то снаряд этот был наверное испорченный, способный изображать не облик человеческий, но носы, рты, брови, ресницы и т. д. вразброс и без всякой связи.

Решительно нельзя понять, каким образом при таких небольших творческих силах может выйти печатная книга в 452 страницы. Правда, что новейшая французская литература представляет немало образчиков такого рода подвигов; но у французов, по крайней мере, вы встречаетесь с обилием происшествий, одно другого чуднее, одно другого невероятнее. Убийца оказывается спасителем, прелюбодей – евнухом, нищий – миллионером, беременная женщина – невинною, вот как, например, у г. Крестовского. На людей простосердечных это действует без промаха. У г. Авенариуса нет данных даже для этой чисто внешней занимательности. Происшествия, которые он рассказывает, или, лучше, размазывает в своем сочинении, суть происшествия самые несложные, даже почти глупые. Это просто обыденные физические отправления, которым подвержен всякий человек, независимо от его внутренних определений, и которые повторяются с однообразием, могущим составлять предмет наблюдения для физиолога, но никак не для романиста.

Г-н Погодин в своем «Путешествии за границей» представил некогда незабвенные образцы этого рода отношений к действительности. Он также ничего не призывал и не отыскивал, он также пел лишь то, что попадалось ему на глаза. Но он был добросовестен; он не мнил себя художником; он не придумывал ни Моничек, ни Наденок для придания своему рассказу клейкости; он просто снабжал себя по всем гостиницам прейскурантами, разъяснял их и разнообразил эти разъяснения воспоминаниями о разговорах с содержателями отелей. А так как отелей было много, прейскурантов много, разговоров о прейскурантах тоже много, то и вышла книга объемистая. Все это понятно и резонно. Но ухитриться, подобно г. Авенариусу, об одном и том же прейскуранте написать около 500 страниц – это такой *tour de force*, [16] которого ни понять, ни объяснить невозможно.

Если мы захотим быть краткими, если мы пожелаем в одном фокусе увидеть тот творческий бюджет, которым располагает г. Авенариус, то бюджет этот несомненно весь выразится в следующей примерной повести.

#### СКАЗАНИЕ О КЛУБНИКЕ

I

18\*\* г. в жаркий июньский день, в одной из гостиниц, расположенных на берегу бирюзовой Аар, NN (герой романа) встал особенно рано, потому что его побуждала к тому естественная надобность. Возвращаясь оттуда по коридору, он увидел приветливое личико Мари и ущипнул ее за щечку. После этого он надел на себя сюртук, как вдруг заметил, что на нем еще нет штанов. «Ах, какой я рассеянный!» – сказал он и, скинув сюртук, начал одеваться как следует. Потом пошел в общий зал, где уже сидели Наденька и Моничка, и спросил себе блюдо клубники. Поевши клубники, он вступил с Наденькой в разговор о различных физиологических отправлениях, причем хотя и не желал касаться актов, предшествующих деторождению, но Наденька его к тому вынудила, сказав, что она студентка и небезызвестна о сем. После того обедали и пили кофе, по исполнении же сего, целый вечер говорили о деторождении и легли спать каждый в своем особливом номере, хотя каждый же при этом не мог не помыслить: «Ах! отчего не спим мы вместе!»

II

На другой день утром NN встал еще раньше вчерашнего и вновь ущипнул Мари. Потом пошел на террасу и увидел, что Наденька с Монишкой уже едят клубнику. «Я не могла целую ночь сомкнуть глаза, потому что вчерашний разговор о процессе деторождения...» – сказала милая Наденька и вдруг задумалась.

– Эх, вы! с вами и разговора-то порядочного нельзя иметь – сейчас и раскисли! – отвечал NN и, плюнув, удалился. Весь этот день он был мрачен, ибо боль в желудке не давала ему покоя.

III

На третий день утром NN встал еще раньше и понял, что разговоры о процессе деторождения и на него подействовали губительно. Он вышел в сад и встретил там Наденьку.

– Я вас люблю, – сказала Наденька, – но должна вам признаться, что у меня... – Тут она произнесла такой медицинский термин, что как ни был NN беззастенчив относительно женских немощей, но и его ожгло. Стремглав бросился он от нее, и вдруг... Через несколько минут отчаянные крики послышались по направлению к Аар. В это время NN пил кофе и бранил учтивого кельнера за то, что ему подали мало сливок. Услышав крик, он бросился к реке, но уже было поздно. Тело Наденьки бездыханное лежало на берегу, окруженное родными и знакомыми, причем сорочка спустилась с ее девственной груди. Тут понял дурак NN, как много любила его Наденька, тут только заметил он, какая прекрасная была у нее грудь.

Конец

Смеем уверить читателя, что роман этот, хотя и поражающий своей простотой, не только не хуже романа Г. Авенариуса, но даже значительно лучше, потому что доктор Хан за наш роман, по расчету, много-много заплатил бы двадцать копеек, а за произведения Г. Авенариуса, вероятно, оплачивает целые уймы денег.

Но ежели Г. Авенариус слаб как художник, то, быть может, он велик как философ и общественный физиолог? Увы! как мыслитель он принадлежит к партии так называемых клубничников, нередко, впрочем, именующих себя столпами и консерваторами. Но даже и в этой нетрудной сфере он умудрился явиться клубничником не первой, но лишь второй руки. Половые отношения, которые у него всегда на первом плане, выражаются до такой степени голо и незамысловато, что рассказ об них возбуждает в читателе не игривость в мыслях, а отвращение. В самом деле, можно ли назвать каким-нибудь именем, например, следующую сцену. Молодой негодяй лежит больной в постели, около него влюбленная в него девушка. Негодяй хвастается и рассказывает, как хорош и грандиозен Париж.

«– Там, – говорит он, – все в колоссальных размерах: лежит, например, груды не груды – целая гора брелоков для часов, микроскопических каких-нибудь биноклей, а посмотрите в такой бинокль, увидите прелюбопытную фотографию. Вот и у моих часов, как видите, привешена такая штука.

– Можно взглянуть?

– Да вы, пожалуй, рассердитесь. – Там что-нибудь нехорошее?

– Напротив, очень хорошее; а впрочем – как знаете.

Монишка отцепила часы от жилетки молодого денди и поднесла привешенную к цепочке крошечную зрительную трубку к глазу.

– Ах, какой вы! – пролепетала она, вспыхнув и быстро опуская часы с замечательным брелоком.

– Ха, ха, ха! – смеялся правовед, – что же в этом дурного? ведь и себя же вы видите иногда в подобном туалете. Никто не родится на свет в платьях.

Опустив личико, чтобы не рассмеяться, Монишка вложила часы обратно в жилетку их владельца и, закусив губы, принялась вновь с усердием прикладывать лед к руке его».

А вот и еще сцена. Молодые люди объяснились в любви и начинают сознаваться друг перед другом в своих недостатках.

«– Ну, да это еще ничего (сказала Лиза), вот у меня недостаток... Ты ведь знаешь, что я пью здесь сыворотки?»

– Знаю.

– Но знаешь ли, против чего?»

Не хуже медика начала она рассказывать ему о своей болезни.

Его передернуло: он, казалось, не ожидал от нее такой наивной беззастенчивости.

– Вот доктора и посоветовали мне поскорее выйти замуж...

Змеин не вытерпел и грубо оттолкнул от себя ее руку, упирающуюся на него.

– Какие речи!.. Вот плоды вашей прославленной эмансипации! Догадался я, чего тебе недостает: женственности, женственности нет в тебе! Дурак я, болваниссимум!

Лиза также взволновалась.

– Позвольте узнать, Александр Александрович, за что вы назвали себя дураком? Не за то ли, что приняли мою руку?»

– За то, душа моя, за то!»

Неужели же это не геркулесовы столпы пошлости и аляповатейшего клубницизма?»

В СУМЕРКАХ. Сатиры и песни Д. Д. Минаева. СПб. 1868 г  
Сатире, бесспорно, посчастливилось на Руси. Если мы припомним достославное изречение: «Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет», то окажется, что родоначальником русской сатиры был едва ли не Гостомысл. За ним следовал целый ряд более или менее блестящих сатириков, которых имена с признательностью сохранила русская история на скрижалях своих и которых сатира, не имея, конечно, привлекательных литературных форм, которыми обладает сатира Г. Минаева, язвительностью своею не только не уступала последней, но даже превосходила ее.

То была сатира по преимуществу поучающая и вразумляющая. Изменяя свои внешние формы, смотря по тому, варяги, монголы или немцы участвовали в ее сочинении, она относительно внутреннего содержания оставалась всегда неизменною, всегда верною своим дидактическим целям. Исходя от идеалов весьма определенных, как, например, охранение княжеских и ханских интересов, своевременная и безнедоимочная уплата налогов и даней, она тем с большим успехом могла действовать на искоренение противных сим идеалам пороков, что к услугам ее всегда был готов целый арсенал вспомогательных средств также несомненно дидактического свойства. Это был золотой век русской сатиры; ибо в продолжение его сатира воздействовала не только на порочную волю русского человека, но и на порочное его тело.

Но с тех пор как, по соображениям высшей важности, попечение об интересах русской сатиры признано возможным предоставить литераторам, дело пошло несколько иначе. Новые деятели, не получив в свое распоряжение никаких вспомогательных средств, очутились в самом затруднительном положении. Попробовали поискать идеалов с намерением сделать из них нечто вроде крепости, из которой можно было бы с удобностью стрелять по проходящим, но и в том не успели, потому что как идеалы, так и прочие украшения остались по-прежнему в заведовании надлежащих комендантов... Остались, правда, кой-какие идеальчики, но очень маленькие, так сказать, бросовые – ими и удовольствовались.

Из этих бросовых идеальчиков каждый сатирик выбрал себе такой, какой приходился ему по комплекции. Который сатирик – евнух, тот, увидя на Невском камелию, непременно заскрежетает зубами; который сатирик предпочитает пенное – тот непременно обругает всех пьющих дорогое виноградное вино; который сатирик возлюбил халатную простоту – тот с негодованием отнесется к фракку, шитому Шармером. Далее камелий, фракков и шестирублевого лафита дерзают очень немногие, да и такое ли теперь, впрочем, время, чтобы дерзать!

Время теперь стоит самое веселое; пороки истреблены, злоупотребления уничтожены, гнусные поползновения, какие были, посрамлены. Остались лишь пороки и

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) злоупотребления второго сорта, а именно: камелии, шармеровские фраки и колониальные магазины купца Елисеева; правда, что истребить эти пятна, затемняющие солнце русской добродетели, очевидно, не под силу нашим сатирикам, но зато они тем удобны, что стрелять в них предоставляется даже без пороха. Таким образом, утратив свой величавый, равно для всех обязательно-дидактический характер, сатира приобрела значение камелиино-панталонно-колониальное и, за немногими исключениями, сосредоточилась преимущественно около Петербурга, да и в самом Петербурге распалась еще на адмиралтейскую, коломенскую, Васильевскую, нарвскую и т. п.

Такое исключительное сосредоточение русской сатиры около Петербурга представляет большую ошибку. В самом деле, что такое Петербург? С точки зрения общественной жизни – уличной и салонной, – это город водевильных нравов, водевильных подвигов, водевильных измышлений – и больше ничего. Изобразите русскому человеку самым подробным, самым наглядным образом эту водевильно-беспутную жизнь – он останется совершенно безучастен к ней. Одной половины этих подробностей, как слишком специальных, он не поймет, другая представится ему чем-то вроде сказочной пошлости. Конечно, Петербург для него небезызвестен и даже небезынтересен, но совсем не в том смысле, какие там процветают камелии и какого цвета носят панталоны, а исключительно как складочный магазин тех шишек, от которых, по пословице, тошно приходится бедному Макару. Все остальное, то есть все то, в чем следовало бы искать материала для характеристики общества, представляет такую мелкую и притом неяркую, несвоеобразную подробность, которая в общем строе русской жизни остается совершенно вне всякого влияния.

К сожалению, современная русская сатира, прилепившись к Петербургу, ищет в нем совсем не того, что искать надлежит, а того, до чего никому нет никакого дела. Мишенью для своих сарказмов и стрел она избрала не то мероизлиятельное значение Петербурга, которое понятно для каждого русского человека, а так называемые петербургские нравы. Но, как сказано выше, в Петербурге нравов нет и никогда не было, а есть и было отсутствие нравов, в самом деле, представьте себе хоть целое сонмище камелий, собранных вкупе и оскверняющих взоры проходящих своими оголтелыми прелестями, – что можно сказать по поводу такого сюжета, кроме того, что вот женщины, которые, не опасаясь простуды, обнажают себя для удовольствия своих ближних? Если вы вместо слова «женщины» поставите «бесстыдницы», то это уже будет высшая мера того сатирического негодования, которого этот предмет достоин. Представьте себе легион молодых шалопаев, гранящих мостовую в шикарных пиджаках, – что может сказать об них сатира самая злая, кроме того, что это легион шалопаев, гранящих мостовую в шикарных пиджаках? Представьте себе целый рой отупевших от обжорства старцев, проводящих лучшие часы жизни в колониальных магазинах Елисеева, – что может Евменида самая разъяренная сказать об них, кроме того, что это старцы, отупевшие от обжорства, проводящие лучшие часы? и т. д.

Эти люди определяют сами себя с такою наглядностью, что не представляют даже предмета для наблюдения. Они мало кого могут интересовать уже по тому одному, что в сущности и оголение женских тел, и щеголяние пиджаками, и смакование колониальных товаров – все это занятия свободные, вмешиваться в которые никто не имеет права до тех пор, покуда не будет доказано, что от этого происходит ущерб для государственной казны и общественного благоустройства. Говоря о людях этого замкнутого, ничтожного мира, признавая их за людей, а не за простую слякоть, сатира не только искажает свое значение, но даже перестает быть чистоплотною. Возможны ли выводы в виду этих общественных курьезов? Возможен ли суд? Нет, ни для тех, ни для другого не имеется достаточных оснований, ибо курьезы тем именно и замечательны, что из них ровно ничего не следует и что относительно них принцип вменяемости становится совершенно излишним. И вот почему, когда сатира, желая придать важность подобным неважным предметам, становится на ходули и принимает ювеналовские тоны, то бичеванье ее кажется похожим на стрельбу из пушек по воробьям.

Одним словом, сатира, замыкающая себя в кругу общественных курьезов и странностей (которыми так изобилует петербургская общественная жизнь), едва ли может даже заслуживать название сатиры. Как ни натуживайся сатирик, какую ни давай форму своему произведению, содержание его все-таки будет внешнее, водевильное.

Несколько иной оборот примет дело, ежели мы представим себе, что эти курьезы, по случайному насилию судьбы, становятся в ближайшее отношение к тем шишкам, о которых сказано выше. Тут уж действительно есть над чем призадуматься и найти

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) возможность для целого ряда сопоставлений более или менее поразительных. В самом деле, с одной стороны, общественное мнение, забытое и приниженное, с одной стороны, несмелые порывания к чему-то лучшему, мучительные сомнения, прискорбная неуверенность в поступках и действиях и неудовлетворенная жажда света, истины и добра, с другой стороны, торжествующее сонмище грызунов-шалопаяев, сонмище самодовольное, самоуверенное, пользующееся, недоступное ни для каких колебаний – трудно себе представить что-нибудь более горькое, более способное возмутить мысль самую незлобивую! Тут уже чувствуется дело, могущее возбудить не один водевильный и скоро проходящий смех, тут уже имеется исходная точка для выводов, разрабатывая которые сатира может достигнуть результатов довольно серьезных и понятных не для одного петербургского старожилы.

Тем не менее, ежели мы всмотримся ближе, то увидим, что и этого рода сатира не только не исчерпывает всей жизни общества, но даже относится к ней односторонне и поверхностно. Как ни прискорбна мысль о торжестве сонмища шалопаяев, мы должны, однако ж, сознаться, что влияние их на судьбу масс далеко не столь решительно, как это кажется на первый взгляд. Если мы думаем, что жизнь общества совершает свой круг в неразрывной и исключительной зависимости от этого влияния, если в ней ярче всего бросаются нам в глаза имена и события, ни о чем не говорящие, кроме насилия, и если повествование об этих насилиях мы принимаем за действительную историю общественного развития, то взгляд такого рода положительно ошибочен. Действительная история человеческих обществ есть повесть неписаная и по преимуществу безымянная, которой нет дела до случайных наплев, образующихся на поверхности общества. Она воспроизводит не ту кажущуюся, богатую лишь внешними признаками жизнь, которая мечется в глаза поверхностному и легкомысленному наблюдателю, но ту безвестную жизнь масс, где совершаются дела и события, почти всегда находящиеся в явном противоречии с показаниями истории писаной и щеголяющей именами.

Вот ежели мы спустимся в эти таинственные, неизвестные народные глубины и найдем там лишь убожество, нищету да бессилие, – ежели мы встретимся там лицом к лицу с жизнью, со всех сторон опутанною всякого рода тенетами, с жизнью, находящеюся в постоянном и бесплодном борении с материальною нуждой, с жизнью, которая эту никогда не прерывающуюся борьбой как бы осуждена на вечный мрак и застой, – вот тогда-то перед нами откроется зрелище действительно потрясающее, которое всецело и навсегда прикует к себе лучшие силы нашего существа и в то же время даст нашей деятельности и богатое, неисчерпаемое содержание, и действительную исходную точку.

Таким образом, оказывается, что единственно плодотворная почва для сатиры есть почва народная, ибо ее только и можно назвать общественной в истинном и действительном значении этого слова. Чем далее проникает сатирик в глубины этой жизни, тем весче становится его слово, тем яснее рисуется его задача, тем неоспоримее выступает наружу значение его деятельности. Дело будет слышаться в его речи, то кровное человеческое дело, которое, затрогивая самые живые струны человеческого существа, нередко возвышает до героизма даже весьма обыкновенного человека.

Переходя от этих общих замечаний к сатире г. Минаева, мы должны сознаться, что эта последняя, в большинстве случаев, носит характер слишком большой исключительности, чтобы иметь действительное значение для русского общества. Произведения его музы, за весьма малыми исключениями (переводами или пьесами, навеянными иностранными образцами), имеют в виду некоторые особенности общественной жизни столичного города Петербурга, а так как особенности эти очень неважны, то из этого естественно вытекает, что и воспроизведение их может интересовать только небольшой круг прикосновенных.

Но ежели принять в соображение то общее правило, что всякий писатель дает только то, что может дать, ежели отбросить в сторону оценку тех задач, которые избрал г. Минаев предметом своей литературной деятельности, то окажется, что это писатель остроумный, даровитый и притом обладающий прямыми и честными убеждениями. Это последнее качество сообщает его «сатирам и песням» известный колорит искренности и неподдельности изливаемого им негодования, например, по поводу аристократки барыни, которая публично проповедует строгую мораль, а в тиши уединения весьма недвусмысленно любезничает с лакеем-французом (см. поэму «Раут»).

Чтобы познакомить читателя несколько ближе с приемами и предметами сатиры г.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Минаева, выпишем первую и, по нашему мнению, самую характерную пьесу его  
сборника.

МУЗА

Муза, прочь от меня!  
Я с тобой разрываю все узы..  
Право честного слова ценя,  
В мир хочу я явиться без музыки.  
Прочь, развратница! Твой Геликон  
Шарлатанам стал местом базара,  
Лучезарный твой бог Аполлон  
Нарядился в ливрею швейцара;  
Опозоренный, дряхлый старик  
Мелкой лестью сменил вдохновенье  
И в прихожих, в грязи униженья,  
От речей неподкупных отвык.  
Муза, прочь!.., не нужна  
Мне опора твоя ненавистная.  
Ты порой, как весталка, скромна,  
То нагла, как блудница корыстная.  
Перед юным и честным певцом  
Ты свой умысел гнусный скрывала,  
Подходила с невинным лицом.  
Как невеста пред брачным венцом,  
Целомудренно взор опускала.  
Ты водила поэта в поля,  
В наши грустные, русские степи;  
Ты рыдала, кляня  
Крепостничества ржавые цепи.  
Ты на вопли народные воплем своим отвечала,  
И могучая песня стонала,  
Как стонала родная земля.  
Время шло... На мотивы гражданские мода  
Обратилась в плохое фиглярство;  
Спали цепи с народа  
На глазах изумленного барства;  
На вчерашние темы напев,  
Что ни шаг, представлял неудобства,  
И свободная муза свой гнев  
Променяла на лиру холопства.  
А ты, поэт, спокойней путь избрав,  
Не постыдился жалкого юродства:  
За чечевичную похлебку, как Исав,  
Ты продал на обедах первородство.  
Нет, муза, – прочь!..

Пьеса эта производит какое-то странное, смешанное впечатление. Начало ее хорошо  
бесспорно; сатирик негодует на музу, и так как причин (и притом весьма законных)  
для такого негодования весьма много, то читатель охотно ему в этом сочувствует,  
тем более что гнев сатирика нашел для своего выражения и яркое, задушевное  
слово. Чем же, однако же, раздражается это негодование? против чего оказывается  
оно направленным? Против того, что

...поэт, спокойней путь избрав,  
Не постыдился жалкого юродства:  
За чечевичную похлебку, как Исав,  
Ты продал на обедах первородство..

Уже не говоря о том, что вся эта строфа есть не что иное, как *Iapsus  
linguae*, [17] и что г. Минаев, вероятно, хотел сказать, что поэт продал, подобно  
Исаву, свое первородство, взамен чечевичной похлебки на обедах (так, по крайней  
мере, гласит смысл пьесы, но сатирик, очевидно, спутал Исаву с похлебкою), можно  
ли представить себе заключения более неожиданного, более несоответственного  
общему тону пьесы и в особенности начала ее?

Подобная невыдержанность мысли – явление весьма нередкое в стихотворениях г.  
Минаева. В особенности поражает она в пьесах: «Раут», «Обманутая муза», «Золотой  
телец», «Загадка», «Одна из многих», «На сон грядущий», «Прерванные куплеты». В  
некоторых из этих стихотворений непонятен даже самый предмет сатиры, как,  
например, в «Золотом тельце». Известно, что страсть к золоту издревле служит

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) темой для всевозможных сатирических выходов, но странно, что до сих пор ни один сатирик не сообразил, что золото совсем не само по себе составляет предмет человеческих стремлений, а только в качестве менового знака, с помощью которого приобретаются различные материальные и духовные удобства. Спрашивается, что же в этих последних заключается постыдного, что заслуживало бы сатирических стрел вроде следующих:

Пролетарий и жирный банкир –,  
Всех равно увлекает кумир,  
Пред которым, с пеленок растленная,  
Пресмыкается в прахе вселенная...  
Или:

Наконец, на вершине избранники!  
И – ужасны бездушные странники:  
В них, достигших заветных чудес,  
Человеческий образ исчез...

Почему банкир непременно «жирный»? Почему люди, стремящиеся к золоту, то есть опять-таки к материальным и духовным удобствам, представляются «с пеленок растленными»? Почему, наконец, у человека, который достиг этих удобств, непременно должен исчезнуть «человеческий образ»? Не потому ли, что все это рутина, рутина и рутина?

Повторяем: г. Минаев сатирик местный и петербургский, и в этом смысле можем с удовольствием указать на две пьесы: «Вампир» и «Приап», как на особенно удачные.

Не можем также не указать на прекрасную пьесу «Добрый совет», которая свидетельствует, что муза г. Минаева может со временем выйти из тесной сферы исключительно петербургских интересов.

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК. Комедия в 5 действиях Н. И. Чернявского. С предисловием автора о значении брака. Издание второе. СПб. 1868 \*

С легкой руки г. Львова (автора комедии «Свет не без добрых людей») в русской литературе образовалась совершенно новая школа, которая поставила целью своих усилий утверждать утвержденное, защищать защищенное и ограждать огражденное. Школа эта считает ныне в своем составе довольно значительное число композиторов, хотя и слабых талантами, но сильных благонамеренностью дерзновения. Общий характер деятельности этих сочинителей, их внутреннее направление заключается в том, что отрицательное отношение к жизненным явлениям бесплодно, что это занятие фальшивое и невыгодное и что, наконец, в виду известных данных, громко вопиющих о прогрессе, несвоевременно и несправедливо указывать на какие-то пятна, без которых не может обойтись даже солнце. Сверх того, они проводят ту мысль, что в настоящее время не отрицать и обличать, а «любить» должно. И вот, они принялись «любить» и отыскивать в русской жизни так называемые положительные стороны.

(Оговоримся прежде всего, что выражение «отрицание» употребляется здесь совершенно неправильно. По крайней мере, мы не можем указать в нашей литературе ни на один пример отрицания, который бы не имел в основании своем положения самого ясного и твердого. Скорее всего, направление, о котором идет речь, следует назвать не отрицательным, а сознательным и основанным на анализе.)

Каким путем сошло к упомянутым писателям убеждение в бесплодности сознательного отношения к жизни – объяснить довольно трудно. Как ни ясны те громко вопиющие о прогрессе данные, о которых говорено выше, но нельзя же утверждать серьезно, чтобы мы до того пресытились благами прогресса, что только и остается оградить свои головы от всяких дальнейших выводов мысли и затем, по выражению старинной поговорки, начать жить да поживать. Думаем, что писатель самый мыслелюбивый согласится, что в обществе нашем далеко не все предрассудки истреблены, не все злоупотребления искоренены и что хотя золотой век и близко, но все же надобно обладать довольно длинной рукой, чтоб иметь право сказать: вот он, рукой подать! Следовательно, убеждение в абсолютной бесплодности анализа не могло выйти из наблюдения над жизнью, так как эта жизнь на каждом шагу доказывает, что дело сознательной мысли нимало не истощилось. С другой стороны, ежели считать поводом к утверждению подобного убеждения то обстоятельство, что анализирующая, нелегко принимающая на веру мысль нередко впадает в преувеличения, а всего чаще грешит несвоевременностью, то и такой повод едва ли может быть признан согласным с действительностью. Оглянитесь кругом, всмотритесь ближе в нашу литературу, и вы убедитесь, что участие в ней отрицающей мысли далеко не столь ощутительно, чтобы

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) представлять что-нибудь угрожающее. Три, четыре писателя, которых произведения, однако ж, совсем не имеют свойств пороха или гремучего серебра, – это столь малая капля в океане благонамеренности, что может успокоить даже человека самого подозрительного. Да притом, если уже говорить о преувеличениях отрицающей мысли, то не мешает при этом принять в соображение, во-первых, что для признания известной мысли ложною нужно прежде всего доказать, что она несправедлива и распространяет в обществе невежество (вне этого обвинения, по нашему мнению, никакое иное не может быть признано за серьезное), и в-третьих <во-вторых>, наконец, что ежели мысль и признана будет ложною, то и в таком случае она представляет собой не что иное, как простое предложение, которое всякий волен принять или не принять. Что же касается до несвоевременности известных убеждений, то аргумент этот довольно сомнительный: ведь у нас, в иных сферах общества, даже естественные науки признаются несвоевременными и вредными.

Итак, все эти разглагольствования насчет пресыщения прогрессом, несвоевременности и преувеличения некоторых требований отрицающей мысли, все эти убаюкивающие размышления о том, что мир божий прекрасен и что людям остается только скромно себя вести, оказываются несостоятельными и совершенно несоответствующими действительности. Ежели нам выставляют их напоказ, то мы должны принимать эти заявления с крайнею осторожностью, ибо это, так сказать, парадные одежды, которыми прикрывается весьма непарадный хлам. Странно защищать то, что уже само по себе защищено как нельзя более; странно укреплять то, что уже собственными средствами укрепилось на славу. Жаловаться, показывать рвение и выходить из себя в этом случае – значит только портить дело, значит наводить на публику сомнение в действительной крепости и огражденности тех самых интересов, на защиту которых мы ополчаемся.

В сущности, есть третья, совсем не парадная причина, которая заставляет нас приходить к заключению о бесплодности отрицания и о необходимости «любить». Причина эта, сколько мы можем догадываться, заключается в том весьма некрасивом положении, которое занимает в нашем обществе анализирующая мысль. В самом деле, писатель, который не умеет отличить прогресса достаточного от прогресса преувеличенного, который не понимает, что первым следует удовлетворяться, а второго избегать, едва ли может иметь много шансов на успех. То цивилизованное большинство, которое держит в своих руках судьбы писателя, любит отдохнуть от трудов по части прогресса и потому с нетерпением смотрит на тех, которые действуют в этом смысле слишком настойчиво и назойливо. Деятелю этого рода оно бесцеремонно говорит: погоди! разве ты не видишь? – и ежели он продолжает не видеть, то, нимало не медля, отметаёт его от общения с жизнью. Понятно, что такого рода перспектива представляет очень мало интересного: во-первых, она делает хлеб писателя чрезвычайно черствым; во-вторых, она ставит писателя в чрезвычайно фальшивое положение между наставлениями образованного большинства и требованиями жизни, которые могут возникнуть и помимо этих наставлений. Если же мы припомним, что, кроме требований жизни, имеются требования еще более настоятельные и обязательные для честного литературного деятеля – требования собственной его мысли, – то крайняя напряженность деятельности, поставленной между запросами, столь несовместимыми, сделается в глазах наших еще более рельефною.

Очувившись на этом вынужденном распутье, писатель, отстаивающий право мысли на дальнейшие выводы, не может не почувствовать сразу, что положение его во многих отношениях очень стеснительно. С одной стороны, давление наставлений образованного большинства настолько сильно, что не считаться с ним невозможно. Как ни пренебрегайте им, как ни старайтесь его обойти, оно непременно настигнет вас, и настигнет именно потому, что свойства его чисто механические. Можно сделать доступными всякие дебри, можно, при помощи известной суммы усилий, расчистить глухие тущобы, можно пески сделать плодоносными, но против глухой стены мысль человеческая остается бессильною, если не навсегда, то, по крайней мере, на долгое время. По-видимому, при таких невыгодных условиях, остается одно из двух: или пригнуться, или же осудить себя на вынужденное бездействие; но оба эти выхода представляют очень много неудобств, с которыми почти невозможно примириться. Искусственное самодовольство и напускные умиления так мало естественны, что мысль даже достаточно развращенная не может долго выдержать ту нравственную смуту, которая сопряжена с подобного рода ремеслом. Она выскажется невольно, выскажется помимо намерений ее обладателя, и тем ярче явятся ее очертания, чем темнее и тяжелее был предшествовавший плен. Примеры такого рода возвратов встречаются до такой степени часто, что писатели даже самые отчаянные – и те не решаются действовать наголо, но всегда стараются дрянные поползновения

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) перепутать благоприличными внешними формами и украсить некоторыми не паскудными изречениями. Что же касается до насильственного бездействия мысли, то на него, очевидно, можно смотреть не иначе как на болезнь, от которой всякий живой организм стремится освободиться во что бы то ни стало. И вот каким образом, при давлении цивилизованного большинства и при невозможности вполне свободно примириться с этим давлением, открывается третий и единственно возможный для мыслящего человека исход – это удовлетворять потребности мышления на собственный свой риск.

Невыгоду этого риска очень хорошо поняли писатели, избравшие себе профессию «любить» во что бы то ни стало (как будто бы нельзя любить и в то же время сохранять за собой свободу мысли и отношений). Мы, конечно, не имеем основания и не хотим объяснять этот факт какими-либо своекорыстными побуждениями упомянутых писателей, но очевидно, что в основе его все-таки лежит недальновзоркость довольно замечательная. Недальновзоркость эта заставляла человека привязываться к интересам ближайшим и осязаемым и в пользу их жертвовать интересами более отдаленными. Жить не волнуясь, сдерживать свою мысль в границах требований дня, презрительно относиться ко всем предвидениям будущего – вот девиз тех деятелей, которые собрались осчастливить русское общество своею «любовью». Нельзя спорить, что с точки зрения гигиенической это девиз бесполезный, но невозможно отрицать и то, что ежели целое общество начнет руководиться подобными принципами, то едва ли оно далеко пойдет на пути преуспевания. Способность отворачиваться от вопросов есть способность мертвая и очень мало свидетельствующая в пользу того, кто обладает ею, и человек, который наделен этим добром в излишестве, который смотрит на общество как на что-то замкнутое, порешившее со всеми сомнениями, несомненно опаснее даже того, кто усиленно побуждает общество к развитию деятельности. Нет злее тревоги, как тревога апатии, несмотря на то что выражения «тревога» и «апатия» на первый взгляд кажутся несовместными. Если вы видите перед собой человека ленивого и вялого, не думайте, что эта вялость равносильна отсутствию тревог. В этом-то именно субъекте и свила тревога настоящее гнездо свое. Он тревожится постоянно; тревожится и за то, чего он не сделал, и за то, что ему еще предстоит сделать. Но ежели отдельная личность увядает и погибает жертвою подобной тревоги, то это еще не большая потеря с точки зрения общей экономии жизни; дело принимает оборот несравненно более серьезный, когда целое общество поражается вялостью мысли, когда в целом обществе закрадывается опасение о том, чего оно не сделало, и о том, что ему предстоит сделать... Спрашивается: чего больше заслуживают в этом случае благонамеренные убаюкиватели общества – похвалы или порицания?

Искатели положительных сторон русской жизни появились в нашей литературе после очень значительного перерыва, и притом в весьма недавнее время. Прежде этим искательством занимался едва ли не один Ф. В. Булгарин, в писаниях которого как-то странно лепились рядом и добродетели россиян, и свежепривезенные к Елисееву устрицы. Умер Булгарин – и с ним вместе на время умолкла апология устриц и добродетели. Небулгаринской школе (за исключением, впрочем, г. Львова, который расцвел и увял гораздо ранее) суждено было возникнуть в 1862 году при зареве пожаров, опустошавших Петербург. Тогда расцвели самые пышные цветы этого нигилизма положительного, нигилизма несомневающегося, нигилизма удовлетворенного, в противоположность нигилизму отрицающему, сомневающемуся и ищущему. Тогда расцвели те пламенные любовники России, которые так много накричали про свой пламень, что многие даже опасаются, как бы усиленное цветение этого нового рода орхидей не повело за собой столь же усиленного и быстрого увядания. Ведь увял же точь-в-точь таким образом после сильного, но непродолжительного цветения сам родоначальник школы, г. Львов. Оговариваемся, однако ж, что если мы приравниваем искателей положительных сторон жизни Булгарину, то отнюдь не в том смысле, в каком нередко упрекали этого сочинителя его современники, а единственно с точки зрения ограниченности кругозора.

Посмотрим, в чем же заключаются те положительные стороны жизни, которые раскрывает перед нами школа г. Львова.

С наибольшею ясностью, хотя с меньшим талантом, нежели его последователи, эти стороны изобразил сам родоначальник школы. В комедии «Свет не без добрых людей» и еще другой, названия которой не припомним, он первый дал понять, что и в станом приставе может быть нечто положительное, если он не берет взятки, первый указал, что и в управе благочиния может заключаться высокий смысл, если чиновники ее занимаются своим делом неленостно и нелицеприятно. Из последователей его г. Манн довел до ясности тип приветливого и исполнительного

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) начальника отделения, г. Устрялов показал в перспективе скромный труд и скромную науку, г. Ключников, в лице Русанова, изобразил умеренность и аккуратность, наконец, г. Стебницкий и за ним Авенариус пропагандировали клубнику, как единственную положительную сторону русской жизни и русских нравов. Вот те блестящие картины, которые до сих пор могли представить нам наши нигилисты положительные и несомневающиеся.

Само собой, однако ж, разумеется, что с таким запасом далеко уйти невозможно. Как ни привлекателен образ станового, не берущего взяток, но все же едва ли найдется тот легковверный, который согласится, что спасение России зависит от бескорыстия становых. Да и пьеса, в которой звучит только одна струна, покажется публике утомительной, что, например, и случилось с гг. Львовым и Устряловым. Необходимы делаются противоположения, позволяющие завязать интригу и повести веселый разговор.

Героями этих противоположений обыкновенно выбираются люди ищущие и сомневающиеся, которые и изображаются, как контраст добродетельным становым приставам, в самом смешном и развратном виде. Казалось бы, что можно видеть смешного в том, что человек ищет, рассуждает, сомневается, а не сосет лапы и не бежит с зажмуренными глазами навстречу всякой нелепости? Но это-то именно и кажется смешным и даже предосудительным нашим несомневающимся нигилистам. Как древле было принято изображать человека, побывавшего за границей, в виде обезьяны, облаченной в голубой фрак, снабженной козлиною бородкой, бормочущей на французском диалекте бессмысленные слова и питающейся лягушками, так ныне, и даже еще с большею рельефностью, рекомендуется публике человек рассуждающий, сомневающийся и ищущий. Краски кладутся самые дешевые, следовательно, беречь их нечего; нужно ли, например, изобразить человека, неимеющего надлежащего уважения к авторитетам, – для сего избирается гимназист, покрытый золотушными сыпьями; нужно ли отрекомендовать человека, которого интересует женский вопрос, – призывается на сцену медик-студент, пораженный приапизмом. Выходит до того смешно и радостно, что исполнительные начальники отделения даже надрывают животы от смеха. В их умах окончательно утвердилось убеждение, что сомневаться может только золотушный гимназист, а интересоваться женским вопросом только герой фонарного переулка и Мещанских улиц.

Такое отношение к пытливости человеческого разума (хотя бы стоящей и на неправой стезе) до того необыкновенно, что было бы даже трудно поверить подобному явлению, если бы мы не встречались с ним на каждом шагу. Во всех образованных странах мира мы можем встретить людей, разномыслящих весьма существенно; мы видим одних, которые ставят разрешение общечеловеческих задач в зависимость от успехов наук политических, других, – которые те же самые задачи подчиняют успеху наук естественных, и т. д. Но чтобы где бы то ни было избирали предметом потехи занятие анатомией или физиологией, чтобы находили в этом повод к обвинению в разврате, чтобы предумышленно навязывали такого рода замятия исключительно людям развратным, глупым и самонадеянным – это просто факт небывалый и неслыханный. Отчего же нас так смешит это вовсе не забавное стремление к приобретению знаний? Отчего нам кажется, что люди, горящие этим стремлением, суть люди злокозненные и притом растленные и легкомысленные?

Не оттого ли, что мы сами до мозга костей растлены невежеством? Не оттого ли, что мы охотно переносим наши собственные разлюбезные качества на тех людей, которых стремлений мы не можем понять и которых потому ненавидим?

Комедия г. Чернявского, которой заглавие выписано выше, есть именно одно из произведений того положительного нигилизма, о котором говорено выше. Отличается оно от прочих композиций этой категории лишь особенно малою степенью талантливости ее автора и крайнею запутанностью предположенных им к разрешению задач. В предисловии, написанном с рассудительностью благонравного гимназиста, автор говорит, что за свою комедию он удостоился чести быть обруганным нашими сатириками, но что за всем тем пьеса его обошла почти всю Россию, и ее пересмотрела такая масса народа, какая уже, вероятно, не подписывается ни на один русский журнал! Не знаем, велика ли честь «быть обруганным русскими сатириками» (предполагаем, однако, что тут действительно особенной чести нет), но думаем, что самомнение автора очень велико, ежели он выводит какие-нибудь заключения из того, что пьесу его пересмотрела почти вся Россия.

Не только «почти», но положительно вся Россия пересмотрела «Стряпчего под столом» и «Проказы барышень на Черной речке», но едва ли кому-нибудь приходило в

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) голову смотреть на эти пьесы серьезно, да еще вдобавок издавать их с предисловиями.

Комедия написана с целью подать руку помощи церковному браку – цель бесспорно похвальная, но не слишком ли широкую задачу поставил себе автор, да и нуждается ли еще церковный брак в защите его? Что задача, избранная автором, совершенно ему не по силам, это явствует из того, что Г. Чернявский, в изобретенной им фабуле, не указал ни на одно из действительно существенных последствий, которые влечет за собой уклонение от соблюдения известных, признанных законом и обществом форм и условий жизни, а просто-напросто сочинил анекдот, в котором безмозглый юноша пленяется красивой и доверчивой юницею и затем, пресыщенный физическими увеселениями, начинает мало-помалу одуревать и в конце концов бросает юницу на распутье, где подбирает ее некоторый благонамеренный и сведущий в законах молодой человек. Неужели подобного анекдота, и притом скомпонованного весьма неискусно, достаточно, чтобы доказать в живых образах необходимость церковного брака? И не проще ли поступил бы автор, если б вместо того разослал многочисленным своим почитателям краткое извлечение из свода гражданских законов, где последствия уклонения от церковного брака, а равно права и обязанности супругов определяются с полною ясностью, не допускающею даже толкований?

Да, мы можем сказать смело: церковный брак столь достаточно защищен нашими законами, что положительно не нуждается в чьей-либо защите. А защита, сочиненная Г. Чернявским, уже потому неудобна, что главные ее аргументы сосредоточены на половых побуждениях, между тем как закон в своих воззрениях на это установление постоянно держится на исключительно нравственной высоте. Полезно ли те права и обязанности, которые вытекают из понятий чисто нравственных, подкреплять примерами и анекдотами из истории петербургского клубничества – вопрос этот, полагаем, ни для кого не может подлежать сомнению.

Что автору не нравится самая идея гражданского брака, это мы допускаем охотно, но опровергать ее все-таки следует иным оружием, а не отрывками из клубничной летописи, которые ничего не доказывают. Этим отрывкам можно противопоставить, что как ни мало симпатична идея гражданского брака, но есть на свете целые государства, и притом населенные отнюдь не нигилистами, где идея эта признана законом и сделалась, так сказать, идеею официальною. Можно опровергать нужность или ненужность, своевременность или несвоевременность подобного установления для той или другой страны – это вопрос особый; но для глумлений тут нет повода, ибо здесь вопрос идет о формах общественного быта, которые каждый народ волен выбирать по усмотрению. Что же тут смешного? и почему именно выразителями идеи гражданского брака необходимо выбирать людей безмозглых и страдающих болезненным раздражением половых органов?

В заключение считаем нелишним представить здесь образцы приятного слога и деликатных отношений автора к своему предмету. Так, например, один из героев комедии, доказывая вред гражданского брака, говорит: «К величайшему стыду нашему (и зачем тут стыд?), нам все еще женщины нужнее ночью, чем днем»; в другом месте, другой герой, защищая гражданский брак, говорит, что ему «плевать на всех», а оппонент его, опровергающий ту же идею, отвечает: «Смотри, слюней не хватит!» Вот до каких рельефностей достигла эта слюнявая литература, которая поставила себе целью защищать защищенное и ограждать огражденное!

И еще одно слово: наши положительные нигилисты до того оперились в последнее время, что у них вошло, так сказать, в привычку бросать грязью во все, что высоко поставлено в мнении мыслящей части общества. Одною из мишеней этих комков грязи сделалась известная французская писательница Жорж Занд. Положительному нигилисту нет надобности ни до высоких талантов этой писательницы, ни до тех наслаждений, которые она доставляла своими произведениями целым поколениям; ему достаточно встретить нахальную русскую барыню, которая «с мужем не живет, трещит против брака, курит сигары (о преступление!), винцо потягивает не хуже любого кавалерийского ротмистра, верхом ездит, как мужчина (еще преступление!), носит стриженные волосы (какова наглость!) и в заключение бенефиса мужские штаны (наглость сугубая!)», чтобы заклеить эту барыню именем Жорж Занд...

Похвально.

НОВЫЕ СОЧИНЕНИЯ Г. П. ДАНИЛЕВСКОГО (А. Скавронского, автора «Беглых в Новороссии»). Издание исправленное и дополненное А. Ф. Базунова. 2 тома. СПб.

1868

Заглавие этой книги представляет факт самонадеянности, довольно редкой в нашей литературе и, к сожалению, начинающей входить с некоторых пор в обычай. Было время, что самые талантливые наши писатели всегда очень скромно заявляли о себе публике; они не заискивали ее внимания напоминанием о прежних литературных подвигах, но ждали, что публика сама вспомнит об них. И. С. Тургенев, бесспорно, известнейший из ныне действующих повествователей, никогда не именовал себя ни автором «Записок охотника», ни автором «Дворянского гнезда», и за всем тем, публика знала и знает, что это тот самый Тургенев, который написал и «Записки охотника», и «Дворянское гнездо». Ныне являются авторы «Некуда», авторы «Марева», авторы «Беглых в Малороссии» и напоминаниями своими с первого же шага ставят публику в тупик. Что такое «Беглые в Малороссии»? спрашивает себя публика, и следует ли читать «Новые сочинения Г. П. Данилевского» потому только, что он, Скавронский, автор «Беглых в Малороссии»? Согласитесь, что для разрешения этих недоумений следовало бы, по малой мере, прилагать ко вновь издаваемым сочинениям неизвестных знаменитостей библиографические изыскания, которые бы свидетельствовали, что имя Скавронского не выдумка и что «Беглые в Малороссии» действительно были когда-то где-то напечатаны.

К несчастью, в этом случае мы можем помочь нашим читателям очень мало. Нет сомнения, что со временем трудолюбивый наш библиограф, М. Н. Лонгинов, разъяснит вопрос о г. А. Скавронском во всей подробности и даже, быть может, отыщет могилу его; но мы об этом псевдониме знаем так немного, что должны относиться к г. Г. П. Данилевскому, как к писателю начинающему.

С сожалением должны мы сознаться, что этот молодой деятель вносит в нашу скромную литературу элемент совершенно новый – элемент легкомыслия, девизом которому служит известная присказка: «По щучьему веленью, по моему хотенью, стань передо мной, как лист перед травой». Присказка, что большинство наших романистов и повествователей в произведениях своих обращают преимущественное внимание на психологическую разработку характеров и на разрешение тех или других жизненных задач, интересующих общество, фабулу же собственно ставят на отдаленный план, г. Данилевский решил поступить совершенно наоборот, то есть начал писать романы и повести совсем без всякой мысли, с одною фабулой. Коли хотите, в этом могла бы быть своя недурная сторона: на Руси еще так много праздношатающихся, что занять их досуги даже фабулой было бы далеко не бесполезно; но для того чтобы такая цель была достигнута, необходимо, во-первых, сильное воображение, во-вторых, острая память, которая предостерегала бы автора от противоречий, в-третьих, умение распорядиться с материалом таким образом, чтобы фабула казалась сколько-нибудь правдоподобною. Впрочем, это последнее условие нужно только тогда, когда сам автор желает, чтобы на повествование его смотрели как на правдоподобное; если же он заранее говорит: читатель! во всем, что ты имеешь прочитать, нет ни на грош правды! – то читатель и с этим мирится и затем уже ожидает, что, взамен правды, его, по малой мере, попотчуют пребыванием во чреве крокодила и чудесным оттуда освобождением.

Никаких подобных данных в таланте г. Данилевского не усматривается. Хотя и видно, что он всю душу желает сделаться родоначальником школы легкомыслия, но это ему удастся лишь в малой степени. Это слабая попытка, быть может, имеющая принести в будущем сочные плоды – но и только; это, так сказать, первоначальная манера легкомыслия, которая, подобно манере старинных итальянских мастеров, может со временем произвести своих Рафаэлей, но откуда производит только живописцев суздальской школы. Да и дай бог нам дожить до этих Рафаэлей как можно позднее...

Воображение г. Данилевского не отличается ни силой полета, ни разнообразием и колоритностью картин. Нельзя сказать, чтоб фабула его романа «Новые места» была недостаточно сложна; но вместе с тем она страдает такою вялостью в рисовке картин, такою неясностью в изложении фактов, что критика самая добросовестная должна отказать от попытки передать ее содержание. Как человек трудолюбивый, автор очень старательно нанизывает одно происшествие за другим, но из множества отдельных эпизодов, которыми обилует его рассказ, нет ни одного настолько занимательного, чтобы можно было вспомнить о нем даже немедленно по прочтении романа. Бог знает, чего тут нет: и степи, и суслики, и аисты, и исправники, и колонисты, и разбойники, и делатели фальшивых ассигнаций; но ни одному из этих элементов действия не отведено определенного места, все они до того сбиты и спутаны, что читатель не может даже дать себе отчета, суслики ли поймали фальшивых монетчиков или наоборот, или же и тех и других накрыл деятельный

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) исправник Капканчиков. Нет ничего томительнее, как присутствовать при процессе того тяжелого творчества, когда автор останавливается на каждом шагу в раздумье, чем-то придется наполнить следующую страницу и не лучше ли совсем бросить это дело, тем более что тут нужна только решимость раньше против предположенного написать слово «конец». Именно такую картину раздумий и сомнений представляют «Новые места»; в романе этом великое множество лиц; но все они не оправдывают не только ожиданий читателя, но даже собственного своего появления. Лица эти толкаются, делают вид, что о чем-то разговаривают и чем-то занимаются, но, в сущности, ни о чем не говорят и ничем не занимаются. Приходит на мысль, что автор взял завалявшиеся Куртнеровы диалоги и выписал из них избраннейшие места.

Острою памятью г. Данилевский тоже похвалиться не может; так, например, на стр. 12, говоря о земле, которую герой романа снимает в арендное содержание, автор называет ее целиной и вековиной, а на стр. 16-й оказывается, что земля уже была до этого в двенадцатилетнем содержании и кого-то «кормила да рублевики растила». Понятно, что писатель, который до такой степени неосторожен, что забывает, что он говорил за три-четыре страницы назад, не может внушить к себе ни малейшего доверия. Он может сколько ему угодно утверждать, что герой его брюнет, а читатель будет думать, что он блондин. Он будет твердить, что на Вареньке Чемодаровой женился колонист Чулков, а читатель останется при убеждении, что рукою этой милой женщины завладел злодей Музыкантов.

Отсюда третье, несовместимое с значением основателя школы свойство – неправдоподобие. Г-н Данилевский до такой степени дурно распоряжается своим материалом, что позволяет своему герою в первый же год аренды получить с десятины пшеницы по 20, а с десятины льна по 30 рублей – «в очистку»! И замечьте, что арендная плата за подобную десятину всего полтинник, что в торгах на отдачу земли, кроме Чулкова (человека, занесенного в тот край совершенно случайно), участвовали некоторые местные жители, что Чулков взял в аренду землю только весной, а осенью уже отсчитал себе в карман по 20–30 целковых с десятины в очистку! И все это без всякого труда, по одному щучьему веленью и авторскому хотению! Есть ли тут тень какого-нибудь вероятия и возможно ли без улыбки читать детские похождения этого нового Робинзона, этого белокурого брюнета, который владеет вековиною, двенадцать лет сряду паханною, и получает с нее без труда в самое короткое время более четырех тысяч процентов на рубль?

Столь же мало правдоподобен рассказ и о производстве торгов на эту знаменитую вековину. Во-первых, торги производятся в каком-то городке и в каком-то неизвестном «присутствии», тогда как казенные оброчные статьи, к которым принадлежит и упомянутая вековина, сдаются с торгов в «присутствии» весьма определенном, называемом палатою государственных имуществ. Во-вторых, на торгах этих происходят такие вещи, которые в самом беззаконном «присутствии» никогда не допускались и не допускаются по той простой причине, что в них не предстоит никакой надобности. Торгующиеся шепчутся друг с другом, делают друг другу предложения... и все это перед зеркалом и в глазах чиновников, производящих торг! Согласитесь, что как ни развязны наши чиновники и как ни отзываются наши торги одною формальностью, но подобной нелепой и ненужной бесцеремонности положительно встретить нигде нельзя.

Ясно, что такое отсутствие качеств, столь необходимых для литератора, пишущего без мысли, не может служить рекомендацией для произведений его. Их не заменит ни трудолюбие, ни развязность, хотя эта последняя, в соединении с другими упомянутыми выше свойствами, довольно драгоценна. Читатели не увлекутся автором, не поверят его сказаниям о легкой прибыли в четыре тысячи процентов на рубль и не потянутся вереницей с насиженных мест, с коих получается на рубль 4–6 процентов, на «новые места». Да и благо им будет; увлекись они г. Данилевским – бог знает, как бы еще взглянула на это дело полиция.

Во всяком случае, мы отменно рады, что попытка основать новую литературную школу легкомыслия на первый раз не обещает больших успехов.

ЗАСОРЕННЫЕ ДОРОГИ И С КВАРТИРЫ НА КВАРТИРУ. Роман и рассказ соч. А. Михайлова. С.-Петербург. Издание В. Е. Генкеля. 1868 г

Г-н Михайлов начал свое литературное поприще в 1864 году романом «Гнилые болота». Гнилые болота – термин иносказательный: это жизнь в тех ее формах, которые завещаны нам историей, это сплетение всякого рода обрядностей, хотя и утративших живой смысл, но имеющих за собою внешнюю, грубую силу и потому безапелляционно подавляющих в человеке всякое движение в смысле самодеятельности

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) и независимости. Нельзя, однако, не сознаться, что сравнение это было проведено автором довольно голословно и что ни содержание романа, ни положение действующих в нем лиц нимало не указывали на то, в чем, собственно, заключается сущность жизненных «гнилых болот» и в чем выражается тлетворное их влияние на судьбу людей. Участники драмы, по-видимому, живут очень спокойно, в весьма приличных квартирах, не терпят никаких ущербов, не искалечиваются, не обезображиваются, и все их отличие от других людей, живущих также в приличных квартирах, заключается в том, что они совершенно добродушно трактуют о том, что жизнь есть «гнилое болото», которое может и искалечить, и обезобразить, и нанести ущерб.

Это обилие диалогов и крайняя бедность действительного, живого содержания сообщили роману г. Михайлова характер чего-то напускного, сочиненного с чужих слов. Самое название романа казалось несколько претенциозным и далеко не отвечающим действительному выполнению избранной автором задачи. Но так как, за всем тем, это было первое произведение молодого автора и в основании его лежала мысль несомненно честная, то оно было встречено публикой не только снисходительно, но даже с симпатией. Казалось, что тут есть начатки чего-то хорошего и серьезного, что если автор и страдает неясностью, то это происходит оттого, что, как все начинающие, он не может еще совладать с своим материалом, что он спешит поделиться с публикой всеми результатами своих размышлений и наблюдений, так как все они имеют в глазах его одинаковую важность и интерес.

С тех пор г. Михайлов написал довольно много, но все вновь написанное оказывается повторением «Гнилых болот», и, к сожалению, повторением довольно слабым. Сфера наблюдения нимало не расширилась, а тот горячий лиризм, который примирял читателя «Гнилых болот» с недостаточностью действительного содержания, утратил свою первоначальную свежесть и приобрел какие-то фальшивые тоны. Напускное, измышленное негодование по-прежнему стоит на первом плане, даже темы для этого негодования намечены те же, но страстности мысли, которая по временам проглядывала в «Гнилых болотах», не осталось почти и следа. Это, впрочем, всегда случается с авторами, которые в разнообразии жизни умеют подмечать только одни, так сказать, избранные стороны. Авторы эти очень скоро исчерпывают небольшой запас своих наблюдений и, в конечном результате, если желают продолжать работать, то бывают вынуждены подражать самим себе (разительнейший пример в этом смысле представляет г. Н. В. Успенский, который уже несколько лет сряду подвизается на печальном поприще подделки под самого себя).

Нет ничего тяжелее, как видеть людей, страдающих несознанными страданиями и обладающих способностью во всякое время заниматься разговорным негодованием. Мало того что эти люди не могут определить свойство боли, на которую непрерывно жалуются, они едва ли даже в состоянии указать на факт, производящий в них досаду или волнение. Это своего рода махание картонным мечом, это маневры чувствительности и благодетельства, в которых нет ни одного движения, не свидетельствующего о натяжке и выдумке. Слышится томное, наводящее тоску голошение, но даже самое привычное ухо едва ли сумеет различить в нем хоть одно внятное слово.

Мир – гнилое болото; жизнь – засоренная дорога! – вопиют эти люди на все лады, и притом так самоуверенно, как будто и действительно это унылое голошение нечто определяет, как будто и впрямь они понимают и достоверно указать могут, где находятся эти гнилые болота и в чем заключается суть засоренных дорог.

Нет никакого сомнения, что в том строе жизни, который представляется нашим глазам, насорено очень достаточно; но для того чтобы иметь право негодовать на этот сор, необходимо, по малой мере, уметь назвать его по имени. Человек на каждом шагу чувствует себя связанным и опутанным по рукам и по ногам – это так; но он опутан совсем не тем, что миру присвоено остроумное название гнилого болота, а тем, что в этом гнилом болоте настроено великое множество всяких капищ, с которыми нельзя разминуться и которые действительно наносят человеческой свободе немалый ущерб. Эти капища так явны и до такой степени у всех на виду, что даже не требуется особенно изнурительных умственных затрат, чтобы заметить их. Тут необходимо только отнестись к делу просто и не замуривать преднамеренно глаза.

Но эта простота не по нутру очень многим. Охотники до легкого труда справедливо рассуждают, что несравненно покойнее покончить с известным рядом явлений, отделавшись от него каким-нибудь общим местом, нежели анализировать и исследовать его. Как ни грубы явления, опутывающие человека в данный

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) исторический момент, но для того, чтобы каждому из них указать свое место, все-таки необходимо употребить известную сумму труда. Но, кроме нежелания труда, тут не обходится и без хитрости. Известно, что человек, который ведет счет с жизнью и не запирается от нее, более подвергается всякого рода рискам, нежели какой-нибудь высокодобродетельный дармоед, который придумает меткое словцо да и скроется в свою раковину. Анализировать капища вещь не столько трудная, сколько опасная. С одной стороны, в них накоплено множество нечистот, которые прилипают; с другой стороны, и сзади, и с боков всегда лежит такой запас всякого хлама, что исследователь нередко останавливается в недоумении, отвергнуть ли капище безусловно или только уяснить себе его значение в ряду других капищ. А так как, сверх того, прикосновение к живому материалу и само по себе уже имеет свойство смягчать слишком суровые взгляды на жизнь, – то нужно действовать очень осторожно и иметь очень твердую опору в самом себе, чтобы не запутаться и не попасть, незаметным образом, в общую засоренную колею. Ни одной из этих случайностей высокодобродетельный дармоед не подвергается, да и подвергаться не хочет. Как истинный дворянин-белоручка, он упорно отвращается от черной работы и ревниво блюдет, чтобы на одежде его не показалось какое-нибудь пятнышко и чтобы право на беспрепятственное производство нетрудного негодовательного ремесла было обеспечено за ним на неопределенное время.

Таких заносчиво-гадливых дармоедов шатается по белу свету великое множество. В оправдание своей гадливости они говорят обыкновенно, что слишком близкое общение с жизнью может подвинуть на сделки с нею, сделки же, в свою очередь, могут подорвать чистоту мысли, чистоту убеждения. В этом объяснении, как мы уже видели, конечно, есть известная доля правды, но рядом с этою правдою невольно рождается много вопросов, которые в значительной степени видоизменяют ее. Во-первых, если и действительно нами создается, что жизненные дороги засорены, то ужели этого сомнения <сознания?> достаточно, чтобы удовлетвориться им и затем уже смотреть на сор, как на что-то фаталистически присущее жизни и осужденное загромождать ее бессрочно? Во-вторых, ежели мы в общении с жизнью видим нечто несовместное с чистотою наших убеждений, то какими же глазами мы взглянем на эту честную, бодрую, трудящуюся толпу, для которой подобное общение есть неизбежное условие всей жизни и которая только при его посредстве может обеспечить себе скудный кусок хлеба? Ужели мы назовем этих тружеников людьми бесчестными или слабохарактерными? Ужели мы скажем им: сгибайся, бедствуй и умирай, но счетов с жизнью иметь не моги! В-третьих, наконец, ежели мысль наша и подлинно пришла к убеждению в негодности известных форм жизни, то для того ли только она убедилась, чтобы приобрести право на бессильные жалобы?

Такого-то рода суесловных героев, томящихся скукою праздности и вечно собирающихся что-то накуролесить, но только не знающих, на что именно им обрушиться, изображает г. Михайлов в своих произведениях. Нет никакого сомнения, что тип этот не лишен ни оригинальности, ни современной жизненной правды, но, к сожалению, г. Михайлов относится к нему без малейшего признака объективности. По-видимому, он даже искренно сочувствует своим героям и признает их в этом качестве без всяких оговорок; и хотя каждого из этих крошечных злопыхателей приличнее представить себе в образе халатника, раскладывающего гранпасьянс, но автор очень серьезно заставляет их выходить с железом в руке и с бессилием в сердце и повторять вместе с поэтом:

Я в мире боец! Я за правду ору!

Понятно, что эффект выходит поразительный, но едва ли не в обратном смысле...

Содержание романа «Засоренные дороги» так немногосложно, что его почти нельзя передать. Нельзя также сказать, чтобы роман был очень длинен, но странное явление иногда происходит в беллетристике: вещи очень длинные кажутся короткими, вещи несомненно короткие кажутся такими длинными, что читатель едва осиливает их до конца. Все это, конечно, зависит от того, в какой мере сознал или не сознал автор предстоящую ему задачу. Весьма неприятно нам сознаться, что впечатление, произведенное на нас «Засоренными дорогами», было именно впечатление последнего рода.

Действие открывается сборищем молодых людей, только что кончивших курс в университете. Каждый говорит о своих намерениях и надеждах, и говорит очень смутно и неопределенно. Это еще, конечно, небольшая беда: мечтательность и неопределенность стремлений не только свойственны юношескому возрасту, но даже сообщают ему известный симпатичный колорит; беда в этом, а в том, что разговоры юных героев г. Михайлова до очевидности заражены пресным старческим

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) доктринерством. Эти юноши не что иное, как несозревшие старички, в словах и действиях которых обнаруживается преждевременное бессилие, нагота которого не прикрывается даже изобильным напусным пылом.

Они как будто во всем уже убедились и разделили мир перегородкой на две половины, из которых в одной стоят они, благодетельные, умудрившиеся мальчики, и неукоснительно излагают только избраннейшие места из одобренных хрестоматий, а в другой – подлецы, тупоумные шалопаи и дармоеды, излагающие избраннейшие места из сочинений Баркова. Хорошо еще, что вторая половина мира всегда представляется в романах г. Михайлова отсутствующею, а то ведь очень может быть, что, поговоривши между собой, обе стороны равно убедили бы друг друга в несомненном своем дармоедстве. Слышатся остроумные выходки против беложилетников; высказывается мнение, что нет никакой привлекательности «в золоте и батисте щеголя, отнявшего этими украшениями законную долю у нищего». Все это говорится так, без всякого повода, все это выбрасывается из уст на распутие и оставляется там гнить, никем не подобранное. «Что же, виноват я, что ли, – говорит один из этих неоперившихся перестарков, – что у меня желчь к горлу подступает (не слишком ли громко, милый молодой человек?), что я не могу балагурить и смотреть на жизнь шутя? Жизнь не шутка! Не шутка и то, что человек вперед знает, что он идет на гибель (?), на прозябание в каком-нибудь вороньем гнезде (?), где нет ни общественной жизни, ни порядочных людей, ни книг, где у него не будет даже средств выписать на свои деньги нужные книги, а кругом будут пьянствовать, кутить втянувшиеся в этот омут субъекты, будут давить новичка, чтобы он не был лучше их, чтоб он пошел по их торной дорожке...»

Видите, этот юный птенец еще от земли не вырос, а уже чувствует, что у него подступает желчь (куда?); он никаких не изведает страданий, кроме тошноты, причиняемой безмерным курением табака, а уже громит во все лопатки, уже предсказывает себе, прекрасному молодому человеку, гибель... Да, все это так; все это хотя и книжно, но при известных условиях и в данном возрасте книжность не только простительна, но даже прилична и привлекательна. Это, так сказать, книжность естественная, вполне согласная со всею обстановкою жизни. Но г. Михайлов ухитрился этой книжности придать еще особенный книжный характер, и вышла у него книжность натянутая, ни при каких условиях жизни не допускаемая. И произошло это оттого, что автор сам видит в этой книжности нечто нормальное и весьма премудрое, а героев своих считает не зачатками героев, но героями настоящими и заправскими.

Показавши, с какими людьми мы должны иметь дело, автор переносит место действия в провинцию, в дом помещика Пашенко, куда приезжает брат его, один из кончивших курс студентов. Описание помещичьего быта очень любопытно. С тех пор как И. С. Тургенев подарил нас мастерскими картинами «дворянских гнезд», описывать эти гнезда «по Тургеневу» почти ничего не стоит. Прежде всего, нужно изобразить страдающего одышкой помещика, слегка пришибленную и бросающуюся из угла в угол хозяйку-помещицу и подле них молодое, страстное существо, задыхающееся в тесноте житейских дрызг. Затем, варенье, варенье, варенье, сливки, сливки, сливки, ночью же припустить соловья. Такими чертами описана жизнь помещика Константина Ивановича Пашенко, его жены Дарьи Дмитриевны и сестры Кати, у которых поселяется «в мире боец» Иван Иванович Пашенко. Само собой разумеется, что «в мире боец» сейчас же начинает задыхаться, а чтоб не задохнуться окончательно, принимается за реформы по части меньшей братии. Эта меньшая братия – просто клад, и ежели бы ее не было, то, право, не знаем, что делали бы наши проказливые «в мире бойцы». Но ежели справедлива пословица, гласящая, что «в мужицком брюхе долото сгниет», то не мешало бы подобную же пословицу сложить и насчет мужицкой спины. К ней всякий подходит свободно и всякий кладет на нее какую угодно реформу, как будто это не живая спина, а простой, покрытый сермягою стол. С такою же развязностью подходит к этой спине и «в мире боец» Иван Иванович Пашенко, подходит без надобности, без убеждения, просто с одним ребяческим любопытством: попробую! Происходят трагикомические сцены, в которых слышится сквозь видимые миру слезы не менее видимый смех. Мужики, разумеется, ничего не понимают; им дарят лес (лес – это слабая струна, это *couleur locale* никогда не бывавших в деревне авторов), а они, вместо того чтобы употребить его на дело, пропивают; мало того, некоторые из них до того извольничались, что стали даже просить, чтоб их выпороли. Все это приводит реформатора в великое смущение. «Бывали дни, – говорит автор, – или, лучше сказать, ночи, когда он сотни сотен раз ходил взад и вперед по своей комнате, волновался, сжимал руками пылающую голову, падал духом, решался отдать крестьянам зараз все и оставить их на произвол судьбы...» И ведь ни разу во время этих сотни сотен раз не пришло на мысль этому безмозглому с пылающей головой «в

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru мире бойцу», что все это он выдумал и что на порку не только мужик, но даже лошадь никогда добровольно согласия не изъявит.

Дни проходят за днями, и покуда Иван Иванович Пашенко сжимает пылающую голову, к Катеньке подъезжает чиновник Благово и женится на ней. Этот Благово стоит по другую сторону перегородки, и потому он шалопай, дармоед и подлец. То есть, коли хотите, он совсем не шалопай, не дармоед и не подлец, а просто лицо без всяких качеств, но автор так настойчив в этом отношении, что не верить ему нельзя. Действие переносится в Петербург, куда вслед за Благовыми переезжает и «в мире боец» Пашенко, у которого в Петербурге есть невеста, хорошая девушка, не чуждая вопросу о женском труде и потому стоящая по сю сторону перегородки. Благово намекает Кате, что она не дурно сделает, если подаст некоторые надежды его начальнику, графу Баумгрилле; это, разумеется, ее возмущает, и она убегает в семью брата. Там встречается она некоего Крючникова, другого «в мире бойца», который оказывается еще тупее Пашенко и ничего не ест и не пьет. Напрасно Катенька признается ему в любви, напрасно просит спасти ее – этот мрачный идиот, этот непоколебимый поборник либерального онанизма остается глух и непреклонен. Из-за чего? – а вот из-за чего: «из боязни, что неостанет куска хлеба, что этот кусок придется воровать у других людей, неповинных в том, что я вздумал потешить себя любовью, пороскошничать!»! Можно ли быть менее вежливым и в то же время менее сообразительным!

Кончается тем, что Катенька уезжает в деревню, а Крючников вдогонку, как бы нечто почувствовав, пишет к ней письмо.

Вот и все. Мы неприхотливы и не избалованы богатством внешнего содержания в наших повестях и романах – да и бог с ним, с этим богатством внешнего содержания! Но самая простая азбука беллетристики требует, чтобы повествователь, по малой мере, объяснял внутренние побуждения, руководящие его героями. У г. Михайлова лица слоняются из угла в угол без всяких побуждений, даже без всякого внешнего повода: это просто пружинные куклы.

Мы знаем, что нам могут указать на благонамеренность автора, как на смягчающее обстоятельство. Мы нимало не сомневаемся в этой благонамеренности и даже уважаем ее, но не можем же смешивать это отличное качество с талантливостью, особенно после довольно многочисленных попыток, доказывающих, что благонамеренность растет, а талант умалывается.

ЖЮЛЬ МУРО. Задельная плата и кооперативные ассоциации. Перевод и издание Ф. П. Соллогуба. Москва. 1868 г

В современной нашей журналистике вопросы экономические отодвинуты на самый задний план и держатся, так сказать, в черном теле. В прежнее, недавно прошедшее время это было совершенно иначе: достоинство журнала определялось его экономическими тенденциями, измерялось тем или другим взглядом его на существенные экономические вопросы. Одно время даже, под влиянием экономических идей, общество наше грозило распасться на враждебные партии: с одной стороны разных ненавистных истов, с другой – людей, несокрушимых в своих экономических убеждениях, установившихся по преимуществу под влиянием желудочных внушений. Не обошлось и без стычек, в которых выказано было не мало ехидства и инсинуационных наклонностей, особенно со стороны несокрушимости. Словом, общество обнаружило некоторую долю жизненности, и эта жизненность была замечательна особенно тем, что вызвана была она всего больше экономическими стремлениями. Нынче совсем не то: о вражде партий нет и помину, тем менее о такой вражде, которая коренилась бы в разногласиях в вопросах чистой экономической теории; умы успокоились и ненавистные вопросы, поселившие было разлад в нашем любвеобильном обществе, изгнаны из него со стыдом.

Не знаем как других, но нас это новое направление современного общества положительно радует и наводит на много весьма отрадных мыслей и надежд. На наш взгляд, в этом новом направлении следует видеть признак того, что общество наше процветает во всех отношениях, что если мы еще блаженствуем не все, то такое всеобщее ликование наступит в самом наикратчайшем времени. В самом деле, практика как отдельных людей, так и целых народов учит нас, что вопросы экономические начинают волновать нас только при дурном положении наших хозяйственных дсл. Иногда мы должны дорожиться, что называется, над каждым грошом, когда все наши мысли бывают устремлены на то, как бы на долю ближнего не перепала лишняя копейка. Экономические науки процветают только в тех странах, в которых мы замечаем постоянное брожение народных масс, брожение, производимое,

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) как известно, недовольством этих масс своими хозяйственными делами. Это подтверждается и историей нашего собственного развития. До Крымской войны у нас и в заведении не было, чтобы когда-нибудь кто-нибудь проговорился об экономической науке, как ее там изобретали на Западе. Причиной этого было, очевидно, то, что наши дела шли в то время очень хорошо, так хорошо, что мы успели возбудить к себе зависть западных государств, что, как известно, и было главной причиной Крымской кампании. После этой кампании, когда, по достоверному рассказу одного очевидца, на наше отечество сделал нашествие генерал Конфузов, мы на время как-то оторопели, понятия наши перепутались, и в замешательстве мы так и поверили, что наши дела из рук вон скверны и будто для очищения от этой скверны нам необходимо прибегнуть к помощи западной науки. И, признаться надо, было от чего прийти в конфуз: все нам завидовали и завидовали, а вдруг взяли да и побили. Это огорошит хоть кого. Но царство конфуза длилось недолго, скоро мы пришли в себя и увидели, что черт вовсе не так страшен, как мы приняли его с испугу, и что нам еще долго хватит, на что жуировать. Прежнее ликование вернулось к нам снова, и первым делом, конечно, должно было быть торжественное изгнание экономических вещаний, чуть не заполонивших было наши сердца.

Но как вообще стоит раз открыть истинную причину какого-нибудь явления, как множество фактов сами собою приурочиваются к найденному объяснению, служа ему ваящим подтверждением и уяснением, так и представленное нами объяснение отклонения современного общества от вопросов политико-хозяйственных подтверждается целым рядом других проявлений его духовной деятельности. На чем главным образом сосредоточено теперь внимание читающей публики? Какие литературные произведения больше всего теперь в ходу и имеют наибольший круг читателей? Кто следит за нашей журналистикой, тот знает, что всего больше публика накидывается на романы, и не на все безразлично, а на романы специальные, клубничные. История же литературы как нашей, так и иностранной показывает, что настоящая, заправская клубничность всходит и процветает только в такие времена, когда каждый мирный гражданин и патриот может невозбранно простирать свои руки и получать вождельное. Никогда европейские общества не наслаждались таким мирным и тихим счастьем, как во времена благородного рыцарства, и, с другой стороны, никогда клубничка не созревала в такой сочный плод, как в нежных руках трубадуров и минезингеров.

Другой важный интерес современной нашей литературы составляет вопрос о «славянских братьях». Нет журнала или журнальца, нет газеты или газетки, которые не распиались бы из-за «братьев-славян», которые не готовы были бы тотчас же открыть у себя ежедневные проповеди о крестовом походе против нового антихриста, явившегося в лице барона Бейста. Кроме обилия сердечных соков, которым вообще отличаются потомки древних Россов, такое пламенное сочувствие к интересам и судьбе других наций не указывает ли также и на полное внутреннее процветание нашего отечества, готового при первом востребовании поделиться своими избытками со всяким нуждающимся и обделенным на жизненном пире. Мы могли бы подтвердить нашу мысль еще и многими другими фактами, напр., необыкновенным приемом, оказанным нашими соотечественниками г-же Лукке, предупредительной готовностью, выказанной обществом при первом призыве о помощи голодающему народу, готовностью, благодаря которой мы в каких-нибудь четыре-пять месяцев собрали почти полтора миллиона рублей серебром, и т. д. Но на сей раз довольно и этих.

На все эти глубокие и приятные размышления мы наведены были лежащей пред нами книжкой г-на Жюля Муро, переведенной и изданной г. Ф. П. Соллогубом. Прочитавши ее заглавие, мы опасались было, что вот опять начнется старая канитель о рабочих, об ассоциациях, никому ненужная и всем надоевшая, опять пойдут разглагольствования об экономических несовершенствах современного человечества, о разных утопических проектах к их искоренению и т. д. Опасения наши усилились еще больше, когда мы прочитали предисловие переводчика о том, что «всегда и везде рабочим преимущественно вредит недостаток солидарности и общности интересов, вследствие которого каждый работник обращает внимание исключительно на самого себя и не принимает в расчет интересов всего класса, к которому он принадлежит», и затем приводит длинные выписки из Керра, Милля для доказательства, что «эта разрозненность составляет главный признак недостаточности умственного развития и гражданской зрелости рабочего». Господи! – подумали мы: давно ли мы успокоились, давно ли мы избавились от назойливых требований во что бы то ни стало разрешать рабочий вопрос, и вот опять уже пристают с этими проклятыми вопросами, опять требуют каких-то решений, до которых нам решительно нет никакого дела. Пусть бьют себе голову над этими решениями те, которым жутко без них, – а нам-то до них что за дело? У нас все

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) обстоит как нельзя лучше; был, правда, маленький голод, да и тот скоро усмирили. Вот с какими было горькими опасениями мы приступили к чтению изданной г. Ф. П. Соллогубом книжки. Но чем больше мы углублялись в чтение ее, тем больше таяли наши опасения, и под конец мы почувствовали даже некоторую зависть к автору ее, г-ну Жюлю Муро. Вот кабы у нас научились так ловко морочить добрых простяков, тогда зажили бы мы на славу! Спасибо же г-ну Ф. П. Соллогубу, что он взял на себя труд пересадить этот прелестный цветок на нашу отечественную почву!

Книга предназначается главным образом для рабочих, и цель ее та, чтобы сообщением им правильных экономических понятий о «капитале и труде» содействовать прекращению незаконных притязаний рабочего класса, притязаний, порождаемых, по мнению автора, незнанием основных истин экономической науки. Овладев этими основными истинами, познакомившись и досыта усвоив себе экономические законы и условия, управляющие размером задельной платы, рабочий поймет, что как бы ни была незначительна часть, перепадаящая на его долю, хотя бы она и не покрывала издержек на пищу, освещение и содержание его семейства, он все-таки должен воздержаться от всяких выражений своего неудовольствия, не прибегать к насильственным средствам с целью оттянуть от фабрикантов вполне законно и на экономических основаниях причитающуюся им долю барыша, и не станет слушаться тех опасных людей, которые выдумали «право на труд», «право труда», «минимум задельной платы». Не сделает он этого, во-первых, потому, что так за него уже решила экономическая наука, имеющая своим предметом прогресс человеческой свободы, а послушаться людей науки он, конечно, не захочет (какого они мнения о нем будут после этого?); во-вторых, потому, что против рожна не попрешь. Последний мотив автор с особенной энергией старается популяризировать рабочим, и за это, конечно, его нельзя не похвалить,

Вот главная его цель. Посмотрим теперь, насколько ему удастся последовательно проводить свои мысли и достаточно ли убедительно он говорит. Мы постараемся передать его мысли в том же последовательном порядке, в каком он излагает их сам, а из нашего изложения читатель увидит, как победоносно должна действовать аргументация автора на тот класс, экономическому и нравственному прояснению которого он посвятил свой труд.

Начиная с определения термина рабочей или задельной платы, автор прежде всего, как подобает благородному борцу за свободу и нравственное достоинство рабочего класса, старается очистить его от тех неосновательных представлений, которые обыкновенно с ним связываются. Обыкновенно в понятии задельной платы видят наем услуг рабочего, подобно тому как нанимают труд животного взамен потребляемой им пищи. Автор с благородным негодованием отвергает этот взгляд, приравнивающий «рабочего, признанного свободным и нравственностью и законом, к неразумному деятелю, каков бык или лошадь. Такой взгляд непростителен даже старикам и людям, живущим в прошедшем (как сильно сказано!)». Автор, напротив, длинной цитатой из Росси доказывает рабочим, что они получают не плату за услуги, не вознаграждение за труд, а дивиденд, причитающийся им по условиям сделки, в которую они вступают с капиталистом. Словом, между ними и капиталистами «имеет место ассоциация (курсив в подлиннике)». После этой блестящей тирады он переходит к исследованию законов, влияющих на размер рабочей платы. Законы эти: количество предлагаемой работы, число работников и, наконец, цена продуктов, потребляемых рабочими. Признаемся, мы с особенным замирением сердца вчитывались в эту главу: что, думали мы, если он вдруг проболтнется и разъяснит своим читателям истинное значение последнего пункта – зависимость рабочей платы от цены продуктов? Ведь тогда беда! ведь тогда, значит, все его прекрасные речи о значении ассоциации для рабочих улетучатся бесследно. Но нет, опасения наши оказались напрасными: он ловко обошел этот вопрос и как ни в чем не бывало приступает к изложению следствий, вытекающих из основных законов рабочей платы. Из того, что рабочий не есть собственно рабочий, получающий вознаграждение, какое заблагорассудится дать ему наемщику, а, напротив, есть в полном смысле пайщик, получающий из производства долю, причитающуюся ему соответственно его трудам и заслугам, следует право работника «условливать» о размере вознаграждения и прибегать для его возвышения к всевозможным средствам, исключая, конечно, те из них, которые несовместны с общественным спокойствием и уважением к чужой собственности». Конечно, последняя фраза несколько неопределенна и мало согласуется с строгою ясностью экономической науки, но что ж делать, любезный читатель? Нельзя же в самом деле предоставить рабочему право прибегать ко всевозможным средствам для увеличения своей задельной платы! Чего доброго, он тогда потребует, пожалуй, и вмешательства государства в его экономические дела, что ж? и это ему позволить?

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Но из того, что наука дает ему право делать стачки, еще не следует, чтоб ему следовало их делать. Право-то ему дано, потому что экономическая наука есть «наука о прогрессе человеческой свободы»; но пользоваться своим правом ему вряд ли будет выгодно. Рабочий не должен забывать, что размер его задельной платы определяется, во-первых, отношением между спросом и предложением, и потому неблагоприятно требовать от фабриканта возвышения платы, когда отношение это неблагоприятно; во-вторых, от количества рабочих рук, в которых, слава богу, недостатка никогда не будет, так как число бедных на земле покамест все увеличивается. Стачки ведут только к обнищанию самих рабочих, раздражают и повергают в беспокойство фабрикантов и, наконец, могут на время уменьшить промышленность страны, которою рабочим, как патриотам, следует дорожить пуще всего. Но если, с одной стороны, такая зависимость задельной платы от числа рабочих рук на рынке и предостерегает рабочих от неумеренного пользования правом стачек, то, с другой, она дает им могущественное средство улучшить свое положение, средством, которым чем неумереннее они будут пользоваться, тем лучше. Средство это – «нравственное принуждение» Мальтуса. «Зная, что число работников влияет на количество задельной платы, постараемся не увеличивать его без меры и не будем подражать примеру животных, лишенных разума. И так как бог дал нам эту способность, делающую нас ответственными за наши поступки, то будем употреблять ее для улучшения нашего состояния, что будет некоторым образом выполнением его планов».

Но «хотя нравственное принуждение и обдуманые браки, в противоположность преждевременным, должны произвести возвышение рабочей платы, но это возвышение не воспоследует сейчас же, непосредственно», а рабочим, разгоряченным борьбою и надеждою на успех, нужно разрешение практическое, непосредственное.

Это непосредственное практическое разрешение рабочего вопроса представляют ассоциации. «Ваша задельная плата недостаточна; положим, она не удовлетворяет вашим первым потребностям и известным привычкам, порожденным движущею вперед цивилизацией (заметьте, как ловко вплетены слова: привычки, порожденные цивилизацией!), привычкам, сделавшимся, в свою очередь, нуждами. Но таково же и положение фабрикантов, промышленников, стесненных, с одной стороны, низкою ценою вследствие конкуренции, которой подвергаются их произведения на рынке, побуждаемых, с другой стороны, вашими новыми требованиями, и оно не позволяет им, несмотря на их собственное желание, удовлетворить вас, выполнить ваши справедливые требования. Что же остается делать? Вот в этом-то случае и можно с пользою прибегнуть к ассоциации, имя которой долго было пугалом для зажиточных классов».

«Нужно вступить в товарищество не для того, чтобы уничтожить машины, но чтобы приобрести дешевле предметы первой необходимости; не для того, чтобы силою заставить принести жертву, признанную невозможной, но чтобы получить на более честных и менее обременительных условиях кредит, который дорого оплачивается у булочника, портного и вообще всякого продавца».

Мы выписали эту длинную тираду, чтобы показать ловкость, с какою автор расправляется с своим предметом. Заметьте, что о производительных ассоциациях нет ни слова: они действительно не пользуются его благорасположением, он как-то успел усмотреть в них социалистические и коммунистические затеи. Ассоциациями же потребления и кредита он нахвалиться не может. Им-то, по преимуществу, предназначено разрешить этот неразрешенный гордиев узел – рабочий вопрос. Только надо хлопотать о том, чтобы рабочие устраивали эти ассоциации на свои собственные средства, не прибегая к помощи общества или, что еще хуже, государства. И хлопочет он об этом очень усердно, так что было бы неблагоприятно со стороны рабочих, если б им вздумалось ослушаться его.

Пересказывать мнения Мура о достоинстве и значении ассоциаций мы не станем. Дело это, вероятно, знакомо нашим читателям. Сделаем только небольшое замечание для уяснения внезапного расположения, почуявшегося господами, подобными нашему автору, к рабочим ассоциациям. Оно объясняется очень просто и, конечно, к великой чести буржуазных либералов. Дело в том, что антибуржуазная школа для своих собственных целей взяла на себя труд исследовать открытый Рикардо закон зависимости задельной платы от цены на предметы первой необходимости, который до сих пор понимался буржуазными экономистами не во всей его полноте и полезности для буржуазных интересов. Оказалось, что в своих колебаниях задельная плата всегда вращается около минимума потребностей, необходимых для поддержания жизни рабочего соответственно существующим в данное время привычкам, так что раз

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) жизненные продукты, вследствие ли потребительных и других ассоциаций или по каким-нибудь другим причинам, удешевятся, рабочая плата тотчас же упадет. Закон этот как нельзя лучше оказался на руку буржуазии; он, кроме того что отвлекает на время внимание рабочего от их проделок, в конце концов послужит в пользу буржуазных карманов. Вот почему они всячески рекомендуют ассоциации, пишут о них популярные трактаты, в которых, прикрываясь личиной доброжелательности и общей пользы, они самым возмутительным образом забивают головы несчастных рабочих своими экономическими софизмами, отвращая их от тех людей, которые желают им истинного добра и действительно понимают интересы рабочих.

СМЕШНЫЕ ПЕСНИ Александра Иволгина (Чижик). Издание А. Каспари. СПб. 1868  
Трудно живется нашей сатире. Капитал, которому некогда положил основание Гоголь, не только не увеличивается, но видимо чахнет и разменивается на мелкую монету. Сатирики наши как будто стали в тупик и кружатся на одном месте, удивляя читателей кропотливостью своего трудолюбия, однообразием типов и замечательную поверхностностью своих отношений к жизни.

Возьмите любое собрание сатирических стихотворений, любой русский фельетон, и вы, не читавши, можете определить, какую пищей вас там питают. Вы встретитесь там с нажившимся взяточником-чиновником, с камелией, с пустою светскою барышней, с откупщиком. Это все типы торжествующие и блаженствующие и потому подлежащие обличению. Не говоря уже о том, что все подобные обличения пишутся задним числом, с наложением на них, так сказать, казенного клейма, они и потому еще поражают бессилием, что нимало не затрагивают того положения, которое порождают обличаемые явления. Явления эти стоят одиноко, вне пространства и времени, и потому несут на одних себе всю ответственность перед негодованием сатирика. Притом, эти взяточники, камелии, откупщики рисуются как-то сплошь одною и тою же краскою; это просто разбойники, грабители, наглецы, которым настоящее место в дневнике происшествий «Полицейских ведомостей», а не в литературе. Как противоположность этим торжествующим типам, является тип человека приниженного, тип бедняка, но не того русского бедняка, которого трагическую судьбу так просто и незатейливо рассказывает, например, г. Решетников, а бедняка, сбежавшего из романов Евгения Сю. Избитость мотивов, отсутствие чуткого отношения к жизни, бедность, грубость и однообразие красок – вот существенные недостатки современной русской сатирической литературы.

Нельзя сказать, однако же, чтобы текущая жизнь не представляла обильной пищи для сатиры. Напротив того, последнее время создало великое множество типов совершенно новых, существования которых гоголевская сатира и не подозревала. Сверх того, гоголевская сатира сильна была исключительно на почве личной и психологической; ныне же арена сатиры настолько расширилась, что психологический анализ отошел на второй план, вперед же выступили сила вещей и разнообразнейшие отношения к ней человеческой личности. На горизонте русской жизни периодически появляются своего рода моровые поветрия и поглощают целые массы людей. Вспомним язву либерализма, язву празднословия, язву легкомыслия; вспомним нелепую и жалкую борьбу так называемых благонамеренных отцов против детей-нигилистов. Примем в соображение ту легкость, с которою русский человек научился менять убеждения; не забудем и того, что никогда так быстро не исчезали люди со сцены, никогда так легко не колебались репутации, по-видимому, самые прочные – и мы убедимся, что предметов для сатиры существует весьма достаточно и что эти предметы совершенно новые. Каждое из этих моровых поветрий воздействует не на Ивана или Петра, но на целые массы Иванов и Петров и начертывает новые страницы на скрижалях российской истории. Уж одно то, что русские из народа солидного и наклонного к утучнению сделались чем-то вроде северных афинян – одно это может дать для сатиры почти неистощимый запас материала весьма разнообразного.

Но сатирики наши с равнодушием истинно геройским проходят мимо самых характеристических явлений и треплют да треплют чиновников-взяточников, да камелий, да откупщиков. Если же и случится кому-нибудь из них обмолвиться живым словом, то надо видеть, как жадно наскочат на это слово со всех сторон собратья по ремеслу, как живо расклюют его по зернышку. Это своего рода шарманщики, которые до тех пор не перестают насвистывать пользующийся успехом мотив, покуда не искалечат его и не разобьют сверху донизу.

Быть может, есть какие-нибудь особые, внешние причины, обуславливающие оскудение нашей сатирической литературы; быть может, это оскудение от того именно и происходит, что сатира с почвы психологической ищет перейти на почву общественную, где несколько труднее ратовать, но публика всех этих причин не

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) знает и не желает знать. Она видит результаты наших сатирических потуг и неодобрительно покачивает головою. Если даже до нее и доходят темные слухи о том или другом великом произведении, которому не суждено увидеть свет по независящим обстоятельствам, то она и тут не смягчается, но являет себя склонною заочно судить эти великие произведения по тем малым образцам, которые ей известны.

Конечно, сатирики наши могут в свое оправдание привести ту основательную русскую поговорку, которая удостоверяет, что выше лба уши не растут, но, с другой стороны, и публика не совсем неосновательна в своем недоверии к русской сатире *in petto*. [18] Во-первых, наши русские поговорки тем именно и хороши, что служат прекраснейшею для всех случаев лазейкою; во-вторых, публика не специалист и не библиоман, чтобы разыскивать перлы русской сатиры по карманам и портфелям авторов; в-третьих, она резонно говорит: «Не пишите совсем, ежели по каким-либо причинам не можете так писать, как желаете». Увы! она не знает даже, что существуют причины, которые именно заставляют писать не так, как желается...

Все изложенные выше размышления как нельзя более относятся к изданной Г. Иволгиным книге: «Смешные песни». Выпишем наудачу одну из этих «песен».

– Карл Адамыч!.. извините!  
Любопытный я такой..  
Вы уж слишком, как хотите,  
Избалованы судьбой!  
Вы имеете значенье,  
Пропасть денег, и притом  
И роскошное именье,  
И солидный очень дом..  
Извините... как достались  
Вам значенье и доход?..  
По наследству отказались?  
– Х-ха, х-ха, ха... наоборот!.,  
– Ах, так, стало быть, трудами  
Это вы приобрели?  
Вы трудились дни за днями.  
Чуть не улицы мели..  
Может, ночи вы не спали..  
Честно бились с нуждой,  
Голодали, холодали..  
Кровью плакали порой?  
Быть лакеем не хотели  
У влиятельных господ..  
Вы ведь так разбогатели?  
– Х-ха, х-ха, ха... наоборот!  
– Ах, теперь я понимаю..  
Позабыл я об одном!..  
Значит, вы родному краю  
Принесли талант с умом!  
Может, каждая идея  
Много горя вам несла:  
И угрозы от лакея  
И насмешки от осла..  
Все же честно вы стояли,  
В лучший веруя исход..  
Вы не так ли в ход попали?..  
– Х-ха, х-ха, ха... наоборот!  
– Карл Адамыч!.. непонятно!..  
Ухитрились – так сказать –  
Извините... вероятно,  
Вы того... наворовать?  
Может, были вы пролазом,  
Или ловким простачком  
С тонким слухом, острым глазом..  
Ну, и с длинным язычком?  
Всех, кто верен чести строгой,  
Вы умели только гнать..  
Значит, подлости дорогой..  
– Что?.. ты дерзости опять?  
Вот какую солью угощает нас современная русская сатира. По нашему мнению, эта

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) соль удивительно напоминает ту, которую в изобилии рассыпал покойный Ленский в «Стряпчем под столом», «Девиче-кавалеристе» и других подобных же перлах золотого века молчания нашей литературы.

А. БОЛЬШАКОВ. Роман в двух частях И. Д. Кошкарлова. СПб. 1868 г. \*

Роман этот написан на тему: всякий человек обязан приносить посильную пользу обществу. Почтенный автор следующим образом развивает свою мысль: «Не может, – говорит он, – добрая лошадь не рвануться вперед, когда ее ударят кнутом; не может отказаться от пения соловей, побуждаемый к тому (?) любовью; не может здоровый юноша обратиться мгновенно в старца; не может также отказаться от добрых побуждений человек, широко обнимающий все формы нашего общежития». Усомниться в непреложности этих истин едва ли возможно; но надо сказать правду, что и изобрести их не составляет особенного труда. Стол не может сделаться стулом, тарелка – ложкою, хомут – оглоблею, говядина не может превратиться в телятину – все это бесспорные истины, но истины, так сказать, кучерские и кухонные, которых обращение в литературе может быть допущено лишь с крайнею умеренностью. Иначе мы получим столь легкую возможность сравнивать человека с тряпичей, уполовником, навозом и т. п., которая еще менее приведет нас к добру, нежели сравнение общественного деятеля с лошадыю, рвущейся вперед под ударом кнута.

Как бы то ни было, но истина о здоровом юноше, не могущем мгновенно обратиться в старца, служит соединительным звеном между двумя существами, которые ждут только уяснить себе этот вопрос во всей подробности, чтобы навсегда соединиться узами любви. Кажется, как мало нужно, чтобы удовлетворить человека, и вот, однако ж, он целых 173 страницы мучится, чтобы доказать себе, что человек, не чуждый понятия об общей пользе, стоит, по малой мере, на такой же нравственной высоте, как и чумичка, разумно употребляемая разумною кухаркой. Он переписывается об этом, входит по этому поводу в бесконечные словопрения и мимоходом возвышается даже до таких истин, что мужчины ставят себя выше женщин только «вследствие счастливого случая, которому они обязаны своим появлением в свет в виде мальчика». Мало того: пользуясь своим появлением в свет в виде мальчика, он делается способным доказывать и другие, еще более глубокие истины, как, например: быть лишенным точки опоры – «это все равно что переходить по реке, на которой с каждым шагом под вашими ногами ломается лед – тогда гибель неизбежна». И все эти истины, вместе взятые, как-то: «добрая лошадь не может не рвануться вперед, когда ее ударят кнутом», «юноша не может сделаться старцем» и проч., – все эти аллегории о появлении в свет в виде мальчика и о переходе через реку, на коей ломается лед (и зачем ходить?), не мешают, однако ж, открытию самой главной и окончательной истины, которая гласит, что в деле устройства крестьянского быта (уж на что, кажется, предмета общепольнее?) необходимо: «отделить межою крестьянский надел, нанять хорошего сторожа, который днем и ночью будет охранять помещичью землю от потрав». Когда же крестьяне будут «неприятно удивлены такою находчивостью» и когда, сверх того, в их наделе не будет «места для попаса скота», тогда можно будет вступить и в переговоры с ними. Наверное, они поймут, что «положение их весьма стеснительно», что «не иметь места для попаса скота», пожалуй, еще хуже, нежели «переходить по реке, на которой с каждым шагом под вашими ногами ломается лед», и что хотя они, крестьяне, тоже «обязаны своим появлением в свет в виде мальчиков», но, стало быть, есть такие положения, когда появление в свет даже в виде двухголового мальчика – и то помочь не может.

Что же может помочь? Какой «вид мальчика» нужно принять, чтобы иметь в свете успех и чтобы домогательства ваши не разбивались об какого-нибудь сторожа, который день и ночь что-то охраняет, а что именно охраняет – и сам не ведает. По нашему мнению, в этом случае может помочь только такой «вид мальчика», который с утра до вечера тянет нелепую канитель с полным убеждением, что это не канитель, а премудрость, и с уверенностью, что эта канитель изобретена именно им самим, а не найдена где-нибудь в будке.

Таких «видов мальчика» мы встречаем на свете целыми бесконечными бунтами. При постепенном распространении болезни, известной под именем мыслелюбости, и при всеобщем стремлении обходиться посредством истин скотодворских и кухонных, мудрецы становятся почти ничем. Копейка за пару – вот настоящий *prix fixe* [19] им на Сенной и в Гостином дворе. Но замечательно, что по мере удаления от этих действительных центров, порождающих мудрецов, цена на них все более и более повышается. Стало быть, существуют такие улицы, где и копеечный мудрец (за пару) может очутиться «во пророцех». Но какая же цена этому пророку? – разумеется, пятак медный – и больше ни денежки.

ПЕРЕМЕЛЕТСЯ – МУКА БУДЕТ. Комедия в пяти действиях И. В. Самарина  
В прошлый театральный сезон мы имели драму Г. Стебницкого, комедию Г. Чернявского и, наконец, комедию Г-жи Себиновой «Демократический подвиг» – три произведения, в которых вполне выразился наш положительный нигилизм, тот нигилизм, который учит мыслить затылком и кричать: «пожар!» – при малейшем сознательном движении жизни вперед. О первых двух пьесах мы уже отдали отчет в нашем журнале; что же касается до третьей, то она свидетельствует только о том, к каким тенденциозно-наругательным подвигам может быть способна мысль, доведенная до совершенной неурядицы и споспешествуемая при этом крайним недостатком самых простых сведений о свойствах человеческого разума и совершенным отсутствием таланта. Более говорить об этой пьесе не стоит.

Нынешний театральный сезон начинается, по-видимому, под предзнаменованиями более примирительными. Разумеется, мы отнюдь не можем считать публику настолько обеспеченною, чтобы до масленицы ее опять не ушибли каким-нибудь новым «Гражданским браком», но покамест дело идет довольно благополучно. В соседстве с «Прекрасной Еленой» (это ли не примирительная пьеса, на которой, по-видимому, должны сойтись все партии, как литературные, так и политические!) театр дарит нам новую комедию Г. Самарина, название которой значит выше. Предоставляя специалистам отчитываться перед публикой о достоинствах «Прекрасной Елены», мы считаем нелишним, для начала наших бесед о петербургских театрах, сказать несколько слов о произведении Г. Самарина.

Комедия «Перемелется – мука будет» не без претензий. Она желает что-то выразить, что-то оправдать, кому-то оказать услугу; она, видимо, не хочет, чтоб ее причислили к разряду тех произведений, к которым принадлежит, например, «Демократический подвиг» и которые в умах благонамеренных петербургских столоначальников посевают семя сомнения насчет будущего России, якобы охваченной пожаром отрицания. Она даже сама нечто отрицает, разумеется, отрицает с булавочную головку, то есть настолько, насколько капельдинеры Александрійского театра могут вместить вещь столь ужасную, как отрицание.

В сущности, пьеске Г. Самарина было бы всего приличнее именоваться так: «Детские мысли, или Чего хочу – не знаю, о чем тужу – не понимаю». Как ни скромно такое название, но, во всяком случае, оно выражает основную мысль пьесы гораздо полнее и точнее, нежели заглавие «Перемелется – мука будет», которое не только ничего существенного не выражает, но даже оставляет зрителя в недоумении: где же тут мука? и какого она сорта?

Чтобы сделать нашу мысль более ясною, расскажем прежде всего содержание пьесы.

Сцена открывается тем, что некто Решетов (Г. Бурдин) рассказывает своему приятелю Егорову (Г. Малышев), как он, бывши некогда крепостным крестьянином графов Шитвинских и заметив в своем сыне, Гане, особенную остроту ума, пробовал откупиться на волю, как Шитвинский притеснил его слишком несоразмерным запросом цены крови и как, наконец, Положение 19-го февраля 1861 года разрешило этот узел, освободивши Решетовых вместе с прочими, помимо согласия Г-г. Шитвинских. Из разговоров этих мы узнаем, между прочим, что Ганя Решетов – малый самый отличный, скромный, с дамами вежлив, с старшими почтителен, с сверстниками обходителен, на лекциях исправен, Г-же Онопè в «Жизни за царя» не аплодировал, а потому и мировым судьей Нероновым ни к какому наказанию приговорен не был, и, в довершение всего, до такой степени влюблен в своих преподавателей, что даже получил за это степень кандидата Московского университета. Покуда приятели переливают таким образом из пустого в порожнее, приходит сам молодой Решетов (Г. Нильский) в сопровождении четверых студентов и бутылки шампанского...

Шампанское – это какой-то неотразимый атрибут Г. Нильского; оно преследует его, как преследовала некогда Эльвира Дон-Жуана. Это, впрочем, объясняется отчасти складом новейшей русской жизни, в которой ни одного великодушного или даже просто благонамеренного начинания не предпринимается без шампанского. А так как благонамеренных начинаний пропасть и во всех непременно участвует Г. Нильский, то и шампанского выпивается тоже пропасть и во всякой выпивке главным участником и даже инициатором является тот же Г. Нильский. Это сделалось почти народною чертою наших драматических пьес, все равно как оплеуха является главным льстящим народности двигателем пьес французского репертуара. Зайдите в Михайловский театр, и вы заранее можете быть обеспечены, что если в спектакле участвует Г. Жанен или Г. Дьедонне (а они редко в какой пьесе не принимают участия), то

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) кто-нибудь из них непременно получит несколько пощечин. Это явление до такой степени специализировалось на обеих сценах, что установившаяся обычая номенклатура драматических амплу становится тесною, а именно, к прежним разновидностям «первых любовников» требуется прибавить две новых: первого любовника с шампанским и первого любовника с пощечинами. Но будем продолжать наше изложение.

Подают шампанское; молодой Решетов объявляет, что его посылают на казенный счет за границу для усовершенствования в любви к науке, а покамест он отправляется на лето в деревню к графу Борису Федоровичу Шитвинскому, который приглашает его, чтобы давать уроки маленькому своему сыну, Северу. Провозглашаются тосты, от которых, как и следует ожидать, всего больше достается нашей alma mater – Московскому университету. Бедная alma mater! Каким неистовым ласкам, каким припадкам сыновней нежности не подвергалась ты со стороны твоих благодарных питомцев! О, если б от них зависело! они, конечно, истрепали бы тебя так, что и следа не оставили бы твоей первоначальной, исторической красоты. Но в книгах написано: не до конца заслонишься – и вот ты цветешь по-прежнему, несмотря на утраты, понесенные тобой в лице гг. Чичерина, Дмитриева и чуть-чуть не Соловьева... Провозгласивши тосты, господа студенты затягивают *Gaudeamus igitur*, чем и доказывают, что гг. капельдинеры Александринского театра в вопросе об образовании придерживаются преданий классицизма.

Второе действие приводит нас в деревню графа Шитвинского (г. Самойлов). Как это заведено уже издревле, у графа, кроме сына, есть еще дочь (г-жа Струйская 1-я). Граф – человек либеральный, но памятующий, что в Петербурге издается газета «Весть», которая вообще всех графов снабжает готовыми либеральными афоризмами. Он, по-видимому, всему сочувствует, даже акцизно-социально-демократическому либерализму чиновников министерства финансов, но строго блюдет чистоту своей графской кров, предполагая наверное, что у графов она какая-нибудь особенная и что хотя обновление ее, в крайнем случае, и может быть допущено, но только потихоньку и не иначе, как при содействии других, более цивилизованных национальностей, без всякой примеси акцизного демократизма. К сожалению, он не внушил этих убеждений дочери, которая, благодаря такому непростительному пробелу в воспитании, пошла так далеко по пути либерализма, что чуть было не зашла в самую трущобу.

Змием-искусителем является молодой Решетов, который как будто нарочно и поездку свою за границу отложил с этою целью. Своими разговорами о пользе наук и о преимуществе прилежания над ленью он до того отуманил головку графини Софьи Борисовны, что не дал г. Самарину даже времени подготовить зрителя к драматической катастрофе. Второе действие уже застаёт наших влюбленных влюбленными, каковая похвальная их влюбленность проходит и через все третье действие. Разговаривают они и дома, и ночью в саду, при свете луны. Она рассказывает ему, что он для нее все, что через него она увидела свет; но он останавливает и охлаждает ее порывы. Он говорит, что ему надо еще учиться, что он из вольноотпущенных, что граф никогда не согласится, и т. д. Но она так твердо надеется на либерализм своего папаша (очевидно, он упитывался «Вестью» тайком от домашних), что боится только, чтоб он-то, Ганя Решетов, как-нибудь не отказался быть ее мужем; причем присовокупляет, что и ей не век же печатные пряники есть, а надо учиться, учиться, учиться... «Ганя!» «Соня!» восклицают эти любовники науки, и уж целуются же они... Боже мой! как целуются, повторяя свои клятвы быть верными науке! Тоска по науке так и охватывает зрителей-столоначальников при виде этих надрывающих душу сцен, сопровождаемых поцелуями. «Господи! да ведь никак и мы ничему не учились?» – восклицают они мысленно и дают себе клятву на другой же день купить в Гостином дворе книжку. Но в Гостином дворе, вместо книжки, заворачивают им «Бродящие силы» г. Авенариуса; происходит печальное *qui pro quo*... [20] Столоначальники опять идут в Александринский театр и опять не могут понять, по какой же книжке публично изнывают в стенах его.

Нет ничего пагубнее подобных недоумений, особливо ежели они посеваются в ночное время и при свете луны. Как раз примешь одну книжку за другую и, прочитавши «Жертву вечернюю» г. Боборыкина, получишь фальшивое убеждение, что ознакомился с «Новейшими основаниями науки психологии», и, чего доброго, пожалуй, сочтешь себя образованнейшим молодым человеком.

Но для чего же, спросит читатель, эти разговоры об науке в саду, ночью и при луне, тогда как, принимая в расчет заведомый либерализм графа, их можно вести на

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) свободе дома и днем? Читатель! хотя мы и не можем разрешить этот вопрос, но думаем, это не более как драматический прием или, лучше сказать, авторская хитрость, пущенная в ход для того, чтобы пьеса не могла растянуться до бесконечности. Дело в том, что нигде так не удобно камердинеру Николаю застать воркующую пару, как в саду, где он тоже прохаживается ночью по своим делам; Николай же питает к Решетову непримиримую злобу за то, что барышня-графиня слишком исключительно с ним занялась и вследствие того Решетов возгордился. Разумеется, Решетов возгордился совсем не этим, а тем, что он выучил книжку; но Николай этого не понимает (может быть, и он с своей стороны считает себя вправе гордиться тем, что прочитал «Воительницу» г. Стебницкого) и доносит о своем открытии графу. Граф

...дал ему злата и презрел его, – или попросту выгнал, а змию-Решетову отказал от должности, то есть тоже выгнал, и тоже дал на дорогу злата.

Но Сонечка очень хорошо помнит, что папà ее либерал, и в ту минуту, когда уже подаются лошади, чтоб увлечь Решетова в Москву (Николай отправлен просто на подводе, а может быть, даже и пешком), она вбегает и требует объяснения. Открывается тайна несчастной любви, провозглашаются устами графа целые тирады из «Вести», начинаются стоны – слабое предвкусие тех стонов, которые ожидают зрителя в четвертом акте!

Четвертый акт – это та темная область стонов, в сравнении с которыми ничтожен даже могущественный стон, который производят колеблющиеся тени в глюковском «Орфее». Трудно себе представить, чем может сделаться стон, когда производство его поручено театральным начальством г-же Струйской 1-й. Это что-то такое ужасное, перед чем, мы уверены, не могла бы устоять даже самая непоколебимая административная твердость. Застони таким образом недоимщик-крестьянин – можно сказать наверное, что исправник простит его! Г-жа Струйская стонет в продолжение получаса без отдыха, как будто бы угрожая зрителю: «Погоди! вот в пятом акте застонет г. Нильский – тогда-то ты восчувствуешь!» Этот систематический преднамеренный стон изредка перемежается непреклонностью старого графа, который по-прежнему остается верен афоризмам «Вести». На помощь графу является сестра его, генеральша Каратаева, и тоже убеждает Софью Борисовну, что ежели что сказано в «Вести», – так тому и быть. Но тщетно все. Г-жа Струйская продолжает стонать и, наконец, захлебнувшись стоном, падает на сцене мертвая.

Мы следили за лицами собравшихся вкупе столоначальников и ясно видели в них недоумение. «Ужели, – думалось им, – страсть к науке может довести до таких пароксизмов? уж не бросить ли нам?» С другой стороны, может быть, им думалось и то: из-за чего эта глупенькая девочка стонет, когда ей стоило бы только бросить своего тупоумного отца, чтобы жить да поживать с своим милым Ганечкой да детей наживать? Увы! они не знают, эти неопытные администраторы, коррозионной силы афоризмов «Вести»! Они не понимают, что эти афоризмы всасываются в кровь человека и окрашивают ее особенною краскою, даже до третьего колена! Мы, с своей стороны, нимало не удивились ни неистощимой непреклонности графа, ни неистощимой стонательной способности его дочери. Мы тем более не удивились этому, что знали наверное, что г. Самарин все это с тем и представил, чтобы ничему не верили, и что ни подобных графинь, ни подобных графов на свете не существует.

Многих из зрителей приводило в недоумение: что сделалось с графом после таких потрясений? Убедился ли он в несостоятельности афоризмов «Вести» и стал подписываться на «Московские ведомости»? Или он подкрепил себя еще афоризмами «Нового времени» и продолжает пропагандировать учение о чистоте крови? Не он ли, прикрывшись именем г. Скарятина, отправляется с тоски на торжество открытия Орловско-Витебской железной дороги? – раздавалось по театру; не его ли так утонченно-язвительно отделали наши либеральные и любезно-верные смоленские сеятели и деятели? Но г. Самарин оставил этот вопрос без ответа и, вместо того чтобы разрешить его, предпочел произвести в пятом акте новый стон, горше первого.

Пятый акт составляет совершенно лишний придаток к пьесе, и г. Самарин без ущерба для своего произведения мог бы совсем уничтожить его. Впрочем, он мог бы столь же легко остановиться и на третьем акте, потому что и тогда уже исход драмы ни для кого не подлежал сомнению. Но автор, как видно, человек солидный и аккуратный: он хотел показать зрителю, что случилось с его героем, Решетовым-сыном, и как он перенес потерю Сонечки, то есть пал ли или воспрянул.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Но, с другой стороны, зачем же он не объяснился с зрителями насчет судьбы старого графа? Зачем он не показал нам, перестал ли пить Егоров, как живет да поживает Решетов-отец, и получил ли место и за какое жалование камердинер Николай? Все это такие промахи, которых он, конечно, постарается на будущее время избежать, сочинив такую комедию, которую мы будем смотреть три дня и три ночи, но в которой зато уже ничто не останется необъясненным.

Пятый акт начинается, подобно первому акту, разговором Решетова-отца с Егоровым, который является на сцену порядочно уж выпивши. Решетов рассказывает, что сын его совсем испортился: не пьет, не ест, не умывается, а только все толстеет. Следуют рассуждения, вроде того: каково-то родительскому сердцу! и за что он себя губит! и как это все приключилось! и т. д. Рассуждения эти позволяют безобидно протянуть время, покада Решетов-сын не сделается снова действующим лицом. Но вот и он. Лицо его распухло и в пятнах (очевидно, он не умывается с тех пор, как его примчали из деревни графа Шитвинского), зубы не вычищены, ногти отросли и в беспорядке; одним словом, все так и говорит в нем: вот истинная горесть! вот как надо оплакивать потери сердца! Начинается стон, но, к удивлению зрителя, Решетов-сын не только не ослабевает в этой тяжелой работе, подобно Сонечке, но как будто бы почерпает в ней новые силы. Долгое время Егоров доказывает его без всякой пользы; долгое время коснеющим от вина языком он доучивши книжку, он тем самым нагло обманывает доверие начальства, что у него есть отец, о котором он не должен забывать, что он, наконец, не имеет права бросить науку, ибо за что же она-то будет страдать, и т. п. увы! Доброе семя не вдруг принимается в этой неблагодарной почве, и Решетов-сын продолжает стонать, переходя от рыданий к вздохам...

Но вот он задумывается; зрители ожидают, что он чихнет. Ничуть не бывало. Он вздрагивает, он проводит рукой по волосам, он подходит к шкафу с книгами и берет одну из них. Кончено! Спасительный кризис совершился! Из стона рыдательного г. Нильский делает быстрый переход в стон ликующий и удивляет зрителей разнообразием своих дарований. Он машет книжкою (мы очень хорошо помним, она была в синей бумажной обертке) и объявляет, что отныне его любовницей будет одна наука. Учиться!. , кто не учился... о, если бы все учились... все зло от того, что мы не учились – вот слова, которые так и сыплются градом из уст его на зрителей. «Засядем в ночную!» – возглашает он в заключение, и только быстрое падение занавеса мешает нам видеть, что шампанское уже готово и что любовник науки приступает к занятиям в первый раз тем, что с гитарой в руках дирижирует: «Gaudeamus igitur».

Пьеса кончилась, и цель пятого акта объяснилась. Он лишний – в этом нет никакого сомнения; но в то же время он главный, а лишними скорее должны быть названы остальные четыре акта – и в этом тоже не может быть сомнения. Бывают такие пикантные положения в драматической литературе, когда не знаешь сказать наверное, что именно лишнее: хорошо бы и такой-то акт выкинуть, да и такой-то, пожалуй, не дурно... а не вычеркнуть ли всю пьесу? Гм... жалко! но с другой стороны, что же делать, мой друг? Мы, конечно, не принадлежим к числу тех лиц, которые охотно подали бы г. Самарину совет снять его пьесу с репертуара, но не принадлежим единственно потому, что для нас решительно все равно, будет ли на сцене Александринского театра одной плохой пьесой более или менее.

Таково содержание драматического опыта г. Самарина. Не имея под рукой подлинного текста пьесы, мы, конечно, не можем представить читателю выдержек из нее, но, во всяком случае, ручаемся, что внутренний смысл комедии передан нами вполне согласно с истиной. Теперь обратимся опять к тому, с чего мы начали наше обозрение.

Мы сказали выше, что комедии г. Самарина всего ближе было бы присвоить заглавие: «Детские мысли, или Чего хочу – не знаю, о чем тужу – не понимаю». Постараемся, по мере сил наших, объяснить причины, побудившие нас высказать такое мнение.

Что такое детские мысли? Это суть такие мысли, которые, получив право гражданства за несколько тысячелетий до рождества Христова, постепенно изъеются из всеобщего обращения или как ненужные, или как слишком общеизвестные, но в то же время продолжают волновать некоторые умы, недостаточно знакомые ни с историей развития человеческой мысли, ни с тою суммою истин, которая в данный момент составляет ее достояние. Вслушайтесь в детский лепет, и вы наверное узнаете из него множество таких истин, которые вам не только давно

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) известны, но с которыми вы отчасти даже уж порешили, как с непригодными или имеющими слишком слабое значение, чтобы с ними нянчиться. Эти истины, конечно, могут быть до известной степени интересными, если они составляют плод самостоятельной умственной работы ребенка; но ежели этот ребенок вам почему-либо дорог, то вы, погладив его по головке за остроту ума, все-таки поспешите объяснить, что есть истины гораздо более полезные и плодотворные, нежели те, до которых он дошел при помощи собственных усилий. Так, например, ежели вы увидите, что ребенок, убедившись в пользе таблички умножения, будет ломать свою голову над ее изобретением, то наверное не будете столь жестоки, чтобы скрыть от него, что эта табличка уже изобретена. Точно такое явление очень часто встречается и в людях взрослых, с тою только разницею, что малые дети ищут пищи для своей наивной изобретательности в области мира реального, а дети взрослые – в области мира нравственного. Так называемые общие места, ничего не определяющие, не заключающие в себе никакого действительного содержания, становятся в этих случаях таким неистощимым источником изобретательных наслаждений, в чадю которых всякое, даже ничего не значащее слово уже кажется чем-то плодотворным, проливающим новый и яркий свет на жизненные отношения. Человек, произносящий, в сущности, лишь бессодержательные звуки, мнит себя новатором потому только, что никто не дал себе труда объяснить ему, что нет надобности беспокоиться об изобретении таблички умножения, как скоро она уже изобретена.

К числу подобных, давно открытых и отчасти уже упраздненных истин принадлежит большая часть изречений так называемой народной мудрости. Если бы кто задумал написать трагедию на тему «праздность есть порок», то его труд наверное послужил бы только наглядным доказательством этой истины. То же самое должно сказать и об истине: «ученье – свет, а неученье – тьма», которую проводит г. Самарин в своей комедии. Нет спора, это истина очень почтенная, но слишком ошибается тот, кто вздумает заявить претензию, что он первый додумался до нее. Он не получит привилегии на ее пропаганду уже по тому одному, что мысль эта давным-давно свила себе гнездо в сердце каждого извозчика.

Вот почему мы, кажется, были правы, предложивши назвать основную мысль комедии г. Самарина мыслью детскою.

Но, сверх того, эта мысль поражает нас и своею чрезвычайно неопределенностью. Конечно, ученье – свет, а неученье – тьма, но история человеческих обществ была свидетельницею учений столь разнообразных и достигавших столь различных целей, что любопытство относительно действительного значения, которое скрывается в этом слове, делается не только позволительным, но и необходимым. Конечно, очень приятно было слышать из уст г. Самарина проповедь о необходимости ученья; но было бы еще приятнее, если бы г. Нильский объявил публике, по крайней мере, заглавие той книжки, которою он так усердно махал перед ее глазами. А ну, если и в самом деле это не иная какая книжка, как вторая часть «Жертвы вечерней» г. Боборыкина? Как поступить, куда деваться с подобным учением?

Предположим, однако, что автор хотел в этом случае предоставить зрителю свободу выбора. Тем не менее и за это его похвалить нельзя. Очевидно, он забыл, что так называемые «излишества свободы», вредные вообще, нигде не приводят к таким печальным результатам, как в деле выбора руководящих книжек. Здесь свобода не развязывает зрителю руки, а, напротив того, угнетает; он чувствует, что от него чего-то требуют, что его дразнят какою-то книжкой, и, не будучи в состоянии уяснить себе этих подразниваний, ожесточается. «Да ты сам-то, полно, знаешь ли, какая у тебя книжка в руках?» – восклицает он и, в неразумии своего негодования, охотно смешивает и Решетова-сына, и г. Нильского, и даже самого г. Самарина.

А между тем не было ничего легче, как устранить все эти недоразумения: стоило только присвоить пьесе название: «Чего хочу – не знаю, о чем тужу – не понимаю». Несмотря на свою кажущуюся скромность, это заглавие разрешило бы многое: оно не только освободило бы почтенного автора от обязанности называть заглавие таинственной книжки, но и зрителю дало бы понять, что эта книжка самая беспутная, по поводу которой нет даже надобности мучить себя излишнею любознательностью.

Рассказав таким образом содержание новой комедии и те впечатления, которые мы из нее вынесли, считаем нелишним прибавить несколько слов об исполнении пьесы на сцене Александринского театра.

Персонал петербургской русской сцены возобновляется до крайности туго. Вот уже

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) много лет, как не появляется ни одного сколько-нибудь замечательного дарования, между тем как старые актеры, в былое время удовлетворявшие публику, очевидно, ветшают. Характер репертуара в последние десять лет изменился настолько же, насколько изменились и самые интересы русской публики. Вместо «Булочной» и «Героев преферанса», с грехом пополам изображавших былую современность, явились пьесы тенденциозные, бескуплетные и имеющие в виду одну цель: как-нибудь так ошеломить почтеннейшую публику, чтоб она сколь можно дольше не могла поправиться. Нет спора, что эти наружно-увесистые произведения в существе своем столь же легковесны, как и «Герои преферанса», но эта увесистая легковесность имеет тот неизбежный результат, что она совершенно вытесняет со сцены всех старых, более или менее талантливых актеров. У них нет для подобных пьес ни нужных слов, ни нужных движений; они и рады бы изобразить радость по случаю, например, открытия земских учреждений, но что делать, если руки у них двигаются наоборот? То же должно сказать и о так называемых капитальных пьесах репертуара. Упразднился целый репертуар Полевого, Зотова, Кукольника, и вместо него на сцену выступили пьесы с бытовым содержанием, но и в них актеры прежнего времени не появляются, да и появиться не могут, потому что привыкли ходить в порфирах, а не в зипунах. Положим, это беда еще небольшая, что мы редко наслаждаемся игрою гг. Григорьева и Каратыгина, но беда в том, что вместо них мы слишком часто видим гг. Озерова и Шемаева, которые продолжают их традицию на русской сцене, забывая, что эта традиция уже анахронизм и что они, сверх того, не имеют в своем распоряжении и десятой доли той талантливости, которою обладали их предшественники.

Из прежних актеров остался один Самойлов, у которого нашлись и нужные слова, и нужные движения. Правда, что это один из тех немногих сценических деятелей, которые могут украсить любую сцену; но, во-первых, в большинстве пьес нового репертуара он все-таки не участвует, а во-вторых, мы невольно спрашиваем себя: что же останется на сцене Александринского театра, если Самойлов почему-либо оставит ее? Останется, конечно, два-три полезных артиста, а затем... Подумайте, читатель, что не только Мартынов, но даже Максимов до сих пор не заменен – а затем судите, не вправе ли мы ожидать повторения того же явления и относительно Самойлова?

Эта бедность подготовки составляет своего рода загадку, распутать которую было бы весьма небезынтересно. Ни в одном ведомстве (а сколько их в нашем отечестве – одному богу известно) она не выступает так ярко, как в театральном. Зайдите в любой департамент, и вы увидите целые легионы молодых столоначальников, которые не только не уступают старым, но развязностью манер даже превосходят их. Мало того: каждый из сих малых едва вступит на сцену администрации, уже тяготится, своим скромным положением и угрожает в непродолжительном времени сделаться администратором в полном значении этого слова. Загляните в ведомство более подходящее – в балет, и там вы убедитесь, что каждый год непременно приносит что-нибудь новое: то г-жу Канцыреву, то г-жу Вергину, то г-жу Вазем. Везде прогресс, везде неторопливое, но неуклонное шествие вперед: вводятся самострельные ружья, появляются самоговорящие ораторы, издаются самошпионствующие журналы, выходят на сцену самопишущие литераторы, – тронь только за пружину, и вдруг все разом начинает выкидывать такие артикулы, что даже смотреть зазорно! Одна русская драматическая сцена до сих пор не успела ничего придумать для своего облегчения, даже самоиграющего актера.

Нам скажут, может быть, что создать хорошего столоначальника нетрудно, потому-де, что тут нужно только уметь подшивать бумаги. Но возражение это, очевидно, основано на недоразумении, на воспоминании о старом типе петербургского столоначальника. Что прежние столоначальники только подшивали бумаги и нюхали табак – в этом не может быть сомнения; но нынешний столоначальник смотрит на свое дело уже совсем другими глазами; он бдит, предусматривает и стоит на страже. Поэтому-то бумаги у него остаются пеподшитыми, зато стража и пронзительность – превыше всяких похвал. Не нужно думать, что в природе существуют занятия высокие и занятия низкие. Все занятия одинаковы, все требуют участия той обременительной для многих работы, которая называется работою мозгового вещества.

Итак, особенностями актерского ремесла тайна нимало не разъясняется. Не разъяснится ли она особенным устройством нашего театрального училища или какими-нибудь оригинальностями, допущенными в самом образе командования российскими драматическими искусствами? Как ни прискорбно такое предположение, но, по мнению нашему, оно одно только и может объяснить бедность нашего

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) драматического персонала. Тем не менее мы оставляем нашу беседу об этом предмете до другого раза, во-первых, потому, что статья наша и без того вышла достаточно обширна, а во-вторых, потому, что мы имеем в виду собрать достаточное число фактов, необходимых для нашей цели.

Что касается собственно до исполнения комедии «Перемелется – мука будет», то говорить об нем значит говорить об одном г. Самойлове. Нам положительно редко случалось видеть на какой бы то ни было сцене игру более умную, изящную и приличную. Главная задача актера – представить цельное лицо (иногда даже и помимо воли автора) – была выполнена здесь вполне. Г-н Самойлов не позволил себе ни одного резкого жеста; по-видимому, он даже позабыл о том, что актер должен непременно что-то изображать. Он жил на сцене, а не изображал.

Из остальных актеров упомянем о гг. Бурдине и Горбунове, которые сдали свои роли весьма прилично. Но зато г. Нильский, г-жа Струйская 1-я...

ВНУЧКА ПАНЦИРНОГО БОЯРИНА. Роман из времен последнего польского мятежа И. И. Лажечникова. В трех частях. СПб. 1868 г

Кто любит добродетель и желает продолжать любить ее, тот пусть не читает нового романа г. Лажечникова. Помимо воли почтенного автора, добродетель является в его произведении не в виде скромной и почтенной личности, которая действует честно и справедливо, потому что для нее это самая естественная и согласная с указаниями здравого рассудка форма действия, но в виде надоедливой старухи-салопницы, которая никак не действует и не поступает, а только выпрашивает грош в вознаграждение за свою бессодержательную болтовню.

Кто любит порок – тоже пусть не читает романа г. Лажечникова. Правда, что порок в этом романе ни в ком не возбудит негодования, никого не заставит страдать нравственно (что, как известно, для безнравственного читателя хуже ножа острого), но в то же время он не представляет никаких приманок, а следовательно, не имеет никаких шансов в смысле прозелитизма. Порок является здесь в виде плохого провинциального актера, который намазывает себе сажей лицо с целью возбудить в зрителях ужас или сострадание, а вместо того возбуждает только смех.

Вообще, ежели кто-нибудь что-нибудь любит, кто-нибудь о чем-нибудь думает, – тот пусть не читает романа г. Лажечникова.

Роман этот следует читать в те минуты, когда мозговое вещество утомлено и безучастно к впечатлениям, приходящим извне, когда на дворе царствует темная ночь, а в комнате нет ни одной свечи. Вы спросите, читатель, каким же образом можно читать ночью без свечи? На это мы ответим: ежели нельзя, то, следовательно, и читать не нужно.

Мы очень хорошо понимаем, что г. Лажечников имеет за собой весьма почтенное прошедшее; мы помним, что его «Последний Новик», «Ледяной дом» и «Басурман» доставляли нам когда-то большое удовольствие (а давненько-таки, признаться, мы читали их), но потому-то именно мы и убеждаем всех и каждого: останьтесь при тех впечатлениях, которые оставил в вас прежний Лажечников, и не читайте нового Лажечникова.

Герои почтенного автора разделяются на добродетельных и порочных. Первые одарены прекрасною и привлекательною наружностью: мужчины имеют хороший рост, женщины – поражают соразмерностью форм и обжигают молнией глаз; оба пола великодушны и порывисты, даже почти нерассудительны в своих движениях (так, например, старик Ранеев (ч. I, стр. 28) в порыве великодушия приказывает дать почтальону гривенник вместо обыкновенных трех копеек, следующих за доставку письма); они не помнят зла, никогда ничем не хвастаются, кроме добродетели, на фортепиано играют не только прекрасно, но вдохновенно, не читают ни Бокля, ни Молешотта, ни даже Либиха и за всем тем имеют ум пронизательный. Напротив того, порочные герои одарены и внешностью самою бестолковою: глаза у них «кошачьи», а ежели не кошачьи, то испускают «какой-то демонический блеск», которого не смягчает даже «демоническая усмешка на губах»; они вероломны и охотно эксплуатируют московских купчих, наклонных к телесной любви; они не дают почтальону гривенника; они не хвастаются, но не потому, чтобы не хотели хвастаться, а потому, что нечем; они играют на фортепиано посредственно и, во всяком случае, не вдохновенно; они читают Бокля, Молешотта и Либиха и за всем тем не имеют ума, а ежели и имеют, то непроницательный.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)

При таких условиях, казалось бы, первым следовало наслаждаться и торжествовать, вторым же – скитаться по свету с Молешоттом под мышкой и угрызениями в душе; но у Г. Лажечникова выходит совсем наоборот. Коли хотите, добродетель в конце концов и торжествует, но уже до того поздно, что в минуту торжества победитель, от старости и расстройств умственных способностей, вместо победного крика, может испустить только слабый писк. Напротив того, порок хотя и наказывается, но уже тогда, когда он успел перепортить целые стада добродетельных людей и когда, исполнив свою задачу, он может спокойно сложить руки и сказать: ну, теперь мне на все наплевать!

Мы знаем, что это так исстари заведено, чтобы торжеству добродетели предшествовали некоторые предварительные истязания, и что без этого никакой роман состояться не может; но мы знаем также, что в этих случаях, для успокоения встревожившейся совести читателя, всегда дается какая-нибудь конфетка, которая и помогает угнетенной добродетели справиться с истязаниями. Так, например, добродетельному, но угнетенному чиновнику ассигнуется из государственного казначейства пенсия; оставленной на произвол судьбы сироте является на помощь благодетельная старушка, которая учит ее по-французски и танцевать. Все это делает жизнь униженных, но добродетельных людей довольно приятною, так что порою они даже и сами не могут объяснить, в чем заключается так называемое угнетение. Но поэтому-то именно они и не торопятся восторжествовать слишком скоро над пороком, они как будто говорят: пускай, мол, его пороскошничает; все равно, ему не уйти из наших рук, а между тем И. И. Лажечников успеет написать роман.

Герой романа, заглавие которого выписано выше, некто старик Ранеев, чином генерал, но до того беспутный, что даже при совершенном оскудении в генералах трудно себе представить, какими путями подобный сорванец мог добиться генеральского чина. Типическую черту его характера составляет так называемая честность, которая выражается, во-первых, в том, что, кого бы и где бы он ни встретил, сейчас же начинает лаять на луну; во-вторых, в том, что лицо у него во всякое время свободно передергается от негодования; и в-третьих, в том, что он кричит на столоначальников: «негодяи!», полагая, вероятно, что это самый дешевый и притом совершенно безнаказанный способ сделаться благодетелем рода человеческого. Но за всем тем, старикашка и не без хитрости, как это явствует из того, что в видах устройства своей генеральской карьеры он не брезгает расположить к себе некоего Анонима предложением ему займы значительной суммы денег. Другая типическая черта его характера – это порывистость движений, с помощью которой он, среди многолюдной улицы, хватая за воротник неизвестного человека, вступает с ним в борьбу и разбивает при этом свои очки. Сверх того, он не может без слез видеть гравюр, изображающих женщин, кормящих грудью младенцев, и предпочитает их тем, в которых изображены просто обнаженные, купающиеся женщины.

Этот бестолково-стремительный, но не чуждый созерцания женских грудей старец встречается на Кузнецком мосту с другим добродетельным героем, Сурминым, отставным кавалергардом, который также не чужд склонности к созерцанию женских грудей. Встречаются они перед выставкой магазина Дациаро, где созерцательности этого рода представляются, как известно, богатая пожива. Оказывается, что как ни добродетелен старик Ранеев, но ему небезызвестно ощущение юноши, который, при виде купающихся женщин, «хотел бы превратиться в волну, которая скатывается по их прекрасным формам». Оказывается также, что и Сурмин, несмотря на то что служил в кавалергардском полку, этом рассаднике отечественного целомудрия, тоже не прочь от знакомства с актрисами и камелиями и даже некоторым из них «позволил себя похитить на несколько упоительных часов». Люди столь целомудренные не могли не понять друг друга с первого взгляда, и вот между ними завязывается обмен мыслей, из которого читатель узнает, что Сурмин, независимо от основательного воспитания по части картинок, приобретенного на службе в кавалергардском полку, когда-то был одолжен Ранееву правильным решением его дела («негодяи!» крикнул он в то время на столоначальников и этим восклицанием сразу разрешил дело Сурмина). Тем не менее очень может быть, что этот разговор так бы на этом и кончился, если б Ранеев не вцепился в какого-то прохожего молодца, в котором он заподозрил врага своего, коллежского советника Киноварова, не вступил с ним в борьбу и не разбил себе при этом головы. Тогда потребовалось ехать домой и, разумеется, не иначе, как в сопровождении Сурмина.

Дома их встречает дочь Ранеева, Лиза, которая тотчас же обжигает Сурмина молнией глаз. Но, увы! – она любит уже другого, а именно поляка Владислава Стабровского. Стабровский, впрочем, малый отличный; он состоит в Москве на службе и обращает

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) на себя внимание начальников, а поэтому мог бы даже считаться обладающим проницательным умом, если бы не сбивала его с толку польская интрига. Он хорош собой (г. Лажечников удостоверяет даже, что на лице его «отпечтался тип Авзония»), но глаза его испускают демонический блеск, в чем опять-таки оказывается виновною польская интрига. Он и с своей стороны любит Лизу, но польская интрига, в лице капитана Жвирждовского, и тут предъясвляет свое разрушительное действие. В колебаниях между Лизой и польской интригой застаёт его начало романа, и, к величайшему сожалению читателей, победительницею остается не Лиза, а польская интрига. И что всего замечательнее – чтобы рассечь этот узел, Лизе стоило только сказать: я твоя. Если б она выговорила эти простые слова, Владислав не бежал бы до лясу, и роман был бы кончен на двадцатой странице. Но она не говорит их; почему не говорит? – а просто потому: дай не скажу, авось это поможет И. И. Лажечникову написать роман.

Разумеется, добродетельному кавалергарду Сурмину такие колебания очень на руку, тем более что у Лизы есть приятельница, премилая блондинка Антонина Лорина, которая тоже способна обжигать молнией глаз. В этом милом обществе он, как говорится, катается как сыр в масле.

Покуда Сурмин наслаждается, Стабровский с товарищами, в самом сердце Москвы, организует измену. Но так как, без всякого сомнения, г. Лажечников не был лично свидетелем совещаний польских повстанцев, то мы предполагаем, что начертанные им по этому поводу сцены суть сцены вымышленные и совершенно несоответствующие действительности. Почтенный автор, очевидно, руководствовался в этом случае старинным правилом, в силу которого чем нелепее и неестественнее живописуется неприятный субъект, тем лучше. Так, например, поляков он рисует и вероломными, и кровожадными, и сластолюбивыми, и безмозглыми, и вообще не останавливающимися ни перед какою подлостью; ежели же и находит в них какое-нибудь человеческое свойство, смягчающее несколько вышеупомянутые зверские инстинкты, то свойство это – безумие. Напротив того, русских он изображает добродетельными, но в то же время до того легкомысленными и легковерными, что они даже у себя под носом ничего не видят. Он забывает, во-первых, что в природе вообще не существует сплошных злодеев, а во-вторых, что легкомыслие, даже в соединении с добродетелью, тоже не бог знает какой драгоценный алмаз, чтобы можно было им хвалиться и выставлять напоказ.

Затем, что происходит далее – мы решительно не можем пересказать нашим читателям. Является множество новых лиц, совершенно ничем не вызываемых и ни для чего не нужных; эпизод лепится на эпизоде без всякой естественной связи с предыдущим и последующим; люди бродят из угла в угол, не находя себе ни занятия, ни пристанища, словно души грешников в чистилище, этом скучнейшем из всех скучнейших помещений. Раневская умирает жертвою приливов правдолюбия, которые не помешали, однако ж, ему прожить до глубокой старости; Сурмин, как истинный кавалергард, не смутившись отказом Лизы, обращается с своими чувствами к Тонечке и сочетается с нею законным браком; Владислав, изменивши однажды русскому правительству, изменяет и делу повстанца, за что, с одной стороны, получает руку и сердце Лизы, а с другой стороны, пулю в грудь от одного из повстанцев; Киноваров проигрывает в карты все состояние и с отчаяния топится в реке...

Когда-то г. Лажечникову был высказан совет оставить область творчества и заняться, буде он находит для себя литературный труд бесполезным, изданием мемуаров, которые, во всяком случае, должны быть небезынтересны. Совет этот мы и с своей стороны находим весьма разумным и охотно присоединяем к нему наш слабый голос.

ВОСПОМИНАНИЯ ПРОШЕДШЕГО. Были, рассказы, портреты, очерки и проч. Автора «Провинциальных воспоминаний». Москва. 1868  
Вот и еще старичок, и притом презлопамятный. Все, что видел или слышал в течение своей многолетней жизни, – все это он аккуратно записал на бумажку и теперь неукоснительно предает тиснению. Нельзя сказать, конечно, чтобы виденное и слышанное им было особенно умно; скорее можно даже так выразиться, что это не более как беспорядочный сброд анекдотов из области сновидений. Все, что автору или его знакомым приходилось видеть во сне, пересказывается читателю как факт, не требующий разрешения; то же, что удавалось им видеть наяву, тоже оставляется без истолкования, на том основании, что право толкований и разрешений принадлежит только богу – сердцеведцу.

Говорят, что юмористы наши нередко впадают в преувеличения и что, например,

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) повествования г. Щедрина о разных губернских помпадурках и помпадурках представляют некоторые юмористические излишества, ни для кого будто бы несомненные. Мы, однако ж, сильно сомневаемся в справедливости этого суждения и знаем такие примеры, что некоторые помпадурки сами о себе, и притом самым серьезным образом, писали такие юмористические сочинения, перед которыми бледнеет самая резкая русская юмористика, и которые могли бы быть сочтены клеветой, если б не существовало пословицы: *scripta manent*. [21]

Подобное же юмористическое о себе сочинение оставил для потомства и г. И. В. Селиванов в предисловии к «Воспоминаниям прошедшего». Это предисловие так любопытно и притом представляет такую полную характеристику разбираемой нами книги, что мы даже считаем себя не вправе не выписать его вполне, тем более что это свидетельство о себе самого автора увольняет нас от дальнейшего разговора по поводу его книги. Вот оно:

Рассказы, составляющие этот второй выпуск «Воспоминаний» (кроме последнего, помещенного в «Искре» за 1865 год), нигде напечатаны не были. Большая часть из них, может, покажется читателям игрой праздного воображения: на мне, как на издателя, лежит, следовательно, обязанность удостоверить их, что рассказы эти не фантазия, и указать источники, откуда они взяты, оставляя, разумеется, за них ответственность на тех, от кого слышаны. Мертвых, где можно, я назову по имени; живых буду означать заглавными литерами, потому что не знаю, будет ли им приятно видеть свое имя в связи с такими происшествиями, в которых большинство, боясь быть смешным, сомневается публично и верит втихомолку.

Печатаю эти рассказы, я имел в виду поднять несколько вопросов в высшей степени интересных и требующих всевозможного обсуждения. Отрицать что-нибудь не значит доказывать, – и я думаю, что история Наполеона I, отсылающего Фультона как идеалиста (то есть сумасброда), когда тот стал предлагать ему устроить пароход, теперь понятный всякому мальчишке, – должна быть у всякого перед глазами. Смеяться можно надо всем, за насмешку ведь пошлости не берут; не надо только забывать пословицу: *rira bien qui rira le dernier!* [22] А кто будет этот *dernier* – это знает один бог. Так точно и с отрицанием. Отрицайте, что хотите, только исследуйте прежде. И когда опытом убедитесь, что предлагаемое вам – вздор, тогда отрицайте во имя науки и опыта. Но до тех пор воздержитесь, потому что еще неизвестно: *qui rira le dernier*.

Первый и второй рассказ взяты из моей собственной жизни. В них все верно, кроме испытания огнем и водою да убийства: эти три случая взяты мною из рассказов, помнится, Н. Ф. Ладыженского о вступлении его в какую-то масонскую ложу. Господин, уверявший меня о возможности превращения жезлов в змей, был Г. Н. К., человек в высшей степени почтенный; тот, на кого он указывал как на призванного, – был его тесть В. С. К. Оба они принадлежали, ежели не ошибаюсь, к обществу среднего пути. Явление поэта Дельвига рассказано мне было К. Г. Л-ой слово в слово так, как здесь написано. Хотя ни Г-д Г. К. и В. К-, ни Г-жи Л. нет уже в живых, но я не помещаю здесь их полных имен, не зная, как понравится это их детям, мною искренно уважаемым. Рассказ Матрены слышал я от Г. Никитникова, бывшего моего товарища по службе в горном правлении. Он был сын того священника, в доме которого событие это происходило, в приходе богоявления на Элоховом мосту; домик этот, кажется, и теперь еще существует. Он был человек достойный всякого вероятия. С. С. Коровин лицо не вымышленное; он жил, действовал и рассказывал так, как здесь написано; я знал его, будучи еще ребенком, и сохранил об нем самое теплое воспоминание. Рассказ о двигающейся мебели слышал я, вместе с другими гостями, в Коломенском уезде, в доме Г. Л-и, за большим именованным обедом, ежели не ошибаюсь, в 1833 или 34 годах, от Г. Мейера. Убийство Зазубрина (Заборовского) случилось, кажется, в 1853 или 54 году; здесь рассказана догадка членов уголовной палаты об этом убийстве, которое так и осталось необъясненным. Рассказ о двойнике-родственнике слышан был мною от А. А. С., человека истинно и достойно мною уважаемого; словам его, какие бы они ни были, я верю безусловно, ибо уверен вполне, что сказать неправды он не может. Событие о том, как Н. И. Н. хотел увезти себе жену, тоже не выдуманно и верно от слова до слова. Длинник был живое лицо; похождения его рассказаны с математической точностью; это было лет 30 тому назад. Рассказ о 12 светильниках слышан мною от моей прабабушки, А. А. Нестеровой; все, что об ней говорится, верно, как нельзя более. Опыты над пишущими столами деланы были мною самим, и я принимаю на себя вполне за них ответственность.

Тех, которые и после этого объяснения будут сомневаться в том, что написано в

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) этой книжке «Воспоминаний», я попрошу вспомнить слова Шекспира, поставленные эпиграфом к Вечерним рассказам; а ежели и этого им будет недостаточно, пусть припомнят они слова древних: безрассуден тот, кто всему удивляется; ко еще безрассуднее тот, кто ничему не удивляется...

«Имеяй уши слышати, да слышит».

Вот каковы бывают перлы, которыми угощают публику старички-писатели. Задумай какой-нибудь юморист выдумать что-нибудь подобное – скажут: шаржа, клевета, глумление. К счастью, автор «Провинциальных воспоминаний» разрешает этот вопрос настолько удовлетворительно, что даже сомнений никаких оставаться не может. Нет шаржи более забавной и веселой, нежели та, которую способен сочинить сам на себя слишком злопамятный и аккуратный старичок-писатель.

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ. Роман в трех частях М. В. Авдеева. С.-Петербург. 1869  
Время, которое предпринял г. Авдеев изобразить в своем романе, бесспорно представляет одну из интереснейших страниц в истории нашей общественности. Это – всем памятное время упразднения крепостного права, время литературного и общественного движения, время оживления русской мысли, время всяческих заявлений и надежд. Трудно выбрать момент более драматический и животрепещущий, и с этой стороны нам, конечно, приходится только отдать полную справедливость похвальной чуткости почтенного автора. Вспомним, что крестьянская реформа есть исходный пункт всех последующих явлений русской жизни и что ею одной объясняется, например, та рознь, та нравственная и умственная смута, которая вслед за тем возникла и утвердилась в нашем обществе.

Нам скажут, быть может, что крестьянская реформа – явление слишком к нам близкое, что оно чересчур живо затронуло лично каждого из нас, чтобы можно было в настоящую минуту отнестись к нему совершенно свободно. Повествователь-очевидец, скажут нам, едва ли сумеет воздержаться от употребления неумеренных и густых красок для рисовки того или другого явления, уже по тому одному, что он сам был участником во всех перипетиях драмы, сам принадлежал к той или другой из действующих партий, сам страдал, ненавидел, любил. Но, как ни справедливо это замечание теоретически, мы, русские, можем принять его лишь с значительными ограничениями. Соглашаясь безусловно, что настоящая наша современность есть не что иное, как логический и необходимый продукт современности 1861 года, мы тем не менее были бы очень близоруки, если б пропустили без внимания, что между тою и другою уже легла очень резкая черта, которая круто заканчивает едва начатое и начинает вновь едва законченное. Благодаря этой черте, результаты 1861 года настолько выяснились, что мы можем оглянуться назад без волнения, и беспристрастная оценка побуждений, руководивших участвовавшими сторонами, делается доступною даже для тех из нас, которые были в самом центре недавней лихорадочной деятельности.

Движение, которое вызвано было крестьянской реформой, было одним из тех внезапных и решительных движений, которые сразу обнаруживают правоспособность или неправоспособность страны. Мы не можем сказать, чтоб реформа была встречена нами равнодушно; напротив того, она вызвала скорее всеобщее и повсюдное ликование; но глаз опытного наблюдателя даже в первые минуты ликования мог заметить, что в этой внезапной восторженности есть что-то непрочное и случайное. Прежде всего поражало, что область восторженности ограничивалась исключительно крестьянскою реформой, не захватывая никаких других явлений жизни, не допуская никаких дальнейших развития и выводов. Во-вторых, казалось странным, что общество и непосредственно вслед за освобождением, да и в последующее время, всецело предалось гимнам и песнопениям, как бы забыв совершенно, что реформа затрогивала очень много таких интересов, устройство которых требовало совсем не песнопений, а спокойной работы мысли, а пожалуй, и способности анализировать, возражать и вообще отстаивать свое мнение. В-третьих, еще более странным казалось, что вчерашние несомненные противники реформы сегодня уже находятся в рядах ее ревностных защитников. В-четвертых, сравнивал вчерашний застой с сегодняшним движением, и отсутствие посредствующего звена между тем и другим не могло не наводить на сомнения. В общем же результате движение представлялось смутю, тою нравственною и умственною смутю, которая временно вводит людей в заблуждение насчет самих себя, насчет их собственных надежд и стремлений, которая соединяет в один лагерь личности, ни в чем между собой не согласные, которая поселяет рознь и вражду между единомышленниками, которая богата грядущими обличениями, клеветами, изменами и отступничествами.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) чтобы дать понять, до какой степени подобные минуты в жизни обществ бывают богаты всякого рода противоречиями, мы считаем нелишним указать здесь на недавний драму-роман Жорж Санда «Кадио». Действие этого замечательного произведения происходит в Вандее во время известного междоусобия (1792–1795 г.). На сцене с одной стороны полные энтузиазма республиканцы, с другой – не менее горячие монархисты; посреди сцены – так называемые эклектики, люди практики, умеющие ловить рыбу в мутной воде. Но глубоко ошибется тот, который, имея дело, например, с республиканцем, скажет себе: я знаю, с кем имею дело, знаю, чего этот человек хочет и как он вслед за сим будет поступать! – потому что этот человек сам всего менее знает, какой нравственный перелом совершится с ним в следующую минуту. В этой потрясенной среде, в этом полуфантастическом мире нет ни одного общественного агента, который мог бы считать себя свободным от нравственной смуты, который бы каждую новую минуту не вспоминал с некоторым изумлением (а иногда даже с невольною краскою на лице) о минуте только что прошедшей.

Жорж Санд, с мастерством поистине поразительным, сумела проникнуть в самое святилище этой смуты и воспользоваться теми потрясающими положениями, которые естественным образом из нее вытекают. Вы видите перед собой людей,двигающихся в каком-то чаду, под гнетом фаталистической силы, людей, идущих наугад и очень часто приходящих совершенно не к той цели, к которой они стремились. И совсем не потому, что это были люди не убежденные или малодушные, а просто потому, что убеждения их на каждом шагу подвергаются самым непредвидимым испытаниям, что их самих всецело заливают жизнь с ее противоречиями, сплетениями и трудностями. Одним словом, вы видите даже почти не отдельные личности, а саму живую смуту, которая вочию проходит перед вами и в которой, как в громадном муравейнике, произвольно шевелятся и дышат те или другие человеческие клочки. Все это, конечно, может и не изменить вашего взгляда на самое событие и его исторические результаты, но наверно, и значительным образом, изменит ваше отношение к тем общественным агентам, которые участвовали в событии, которые изменяли и вновь возвращались, ненавидели и вновь любили.

Нечто подобное этой смуте – конечно, в неизмеримо меньших размерах – происходило и у нас вследствие крестьянской реформы. Все в эту минуту изменилось как бы волшебством: и пропорции, и формы, и имена. Приниженное вчера – сегодня восходило вверх; стоявшее вчера на высоте – в одно мгновение скрывалось и утопало в той области безвестности и безразличия, из которой если, по временам, и выходило вновь наружу, то для того только, чтобы пропеть в унисон.

Индивидуальная истина, которую до тех пор каждый самоуверенно выставлял вперед, перестала быть истинною; она уступила место с одной стороны – голословному энтузиазму, с другой – выжидающему лицемерию. Каким перипетиям могло дать место подобное запутанное и натянутое положение, какую роль могла играть в этой смуте отдельная человеческая личность той или другой партии, в чем состояли стремления партий, как они уживались и сговаривались друг с другом, чем разрешались эти стремления, как произошло из них то, что произошло – вот, без сомнения, задачи, достойные талантливейшего наблюдателя общественной жизни и в то же время могущие дать материал для исследования не только интересного, но и глубоко поучительного.

Но покамест мы можем сказать, что эпоха 1861–1863 годов еще ждет своего бытописателя и что до сих пор для разъяснения ее русская литература не сделала ровно ничего. Повторяем: мы отдаем полную справедливость намерениям г. Авдеева и его чуткости в выборе предметов для своих беллетристических трудов, но этим и должна ограничиться наша похвала его новому произведению. Скажем более: на этот раз даже обычная чуткость изменила почтенному автору, так как он отнесся к интересному времени до крайности бесцветно и вяло и воспользовался им исключительно в качестве рамки, которую и наполнил довольно бледною и не новою фабулой.

Значение г. Авдеева в русской беллетристике нельзя назвать особенно сильным. Никто (а тем менее мы), конечно, не решался отказать ему в таланте, да и нельзя этого сделать без явной несправедливости, но в то же время очень немногие считали нужным останавливаться на его произведениях и пристально вглядываться в них. Оказывалось, что все, что в них повествуется, уже было когда-то и где-то написано и что это когда-то и где-то написанное было и полнее выражено, и образнее нарисовано, нежели у г. Авдеева. Часто подражательные свойства таланта автора помогали ему увлечься общим мотивом и колоритом того или другого образца,

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) но в то же время препятствовали усвоить этот мотив в такой степени, чтоб он мог претвориться в живой образ, или, лучше сказать, в то многообразие живых образов, которое так или иначе сгруппировывается около основной идеи произведения. Ничто так легко не поддается подражанию, как общие мотивы, и ничто так легко не ускользает от художественных повторений (за исключением, разумеется, случаев явной литературной экспроприации, в чем мы считаем даже невозможным упрекнуть г. Авдеева), как образцы. В произведениях автора «Меж двух огней» читатель на первом плане находит именно колорит; что же касается до действующих лиц, то они кажутся только случайным придатком, не имеющим даже настолько определенных красок, чтобы на нем могло остановиться внимание читателя. Колорит, навеянный г. Авдееву образцом, почти всегда не изъят известного поэтического элемента, который и делает его привлекательным; напротив того, лица бледны, неясны и до такой степени друг на друга похожи, что со стороны читателя требуется немало усилий, чтоб запомнить, что такое-то слово сказано именно тем, а не другим из участвующих в драме лиц.

Всякому, кому привелось читать «Вареньку», «Тамарина» и пр., непременно приходил на память «Герой нашего времени» Лермонтова. Но ежели всякий и теперь помнит и Печорина, и Максима Максимыча, и Грушницкого, и Бэлу, и княжну Мери, то, конечно, никто не помнит, кто были действующими лицами в «Тамарине» или «Вареньке». Читатель, нет спора, и теперь может сказать, что впечатление, вынесенное им когда-то из чтения, например, «Вареньки», было впечатлением приятное, но и только. Это приятное впечатление было впечатлением общего колорита повести, в котором не принял участия ни один живой образ, а потому оно и осталось впечатлением смутным. Давно ли печатался и производил очень хорошее впечатление «Подводный камень», а между тем едва ли найдется много из недавних современников этого произведения, которые сохранили об нем ясное представление, тогда как произведения Тургенева, от которых «Подводный камень» позаимствовался колоритом, и до сих пор у всех в памяти.

Новый роман г. Авдеева, заглавие которого выписано нами выше, к сожалению, слабее прежних произведений того же писателя. В нем, как и в «Подводном камне», он остается верен тургеневской манере, но знакомая читателю восприимчивость автора уже в значительной степени подрывается вялостью, которая таким образом и становится характеристической чертой романа. Отсутствие метких черт в характерах действующих лиц, бесцветность языка, слабость и случайность вымысла – вот качества, которые делают чтение этого произведения делом весьма нелегким и удовольствия не доставляющим. Автор, как сказано выше, был у самого источника интереснейших общественных осложнений и не воспользовался ничем из богатого материала, который находился у него под руками.

Действие романа происходит в губернском городе Великофедорске, сначала в самый разгар толков об ожидаемой крестьянской реформе, потом – во время осуществления реформы.

Герой, некто Камышлинцев, принадлежит к числу тех праздношатающихся русских людей, которые со времен «Евгения Онегина» не перестают пользоваться сочувствием наших беллетристов. Камышлинцев ни к чему не мог себя пристроить: ни к науке, ни к государственной службе, ни к деятельности по выборам почтеннейшего дворянства. По справедливому выражению г. Авдеева, он мог себя назвать «помещиком не у дел, то есть помещиком, не занимающимся ни собаками, ни хозяйством и не знающим, что из себя делать». Сверх того – и по мнению автора это обстоятельство смягчающее – Камышлинцев постоянно находился в ожидании «большого дела» и «большой любви», для чего решил даже остаться холостяком. И вот этот-то человек, слонявшийся всю жизнь праздну, учившийся чему-нибудь и как-нибудь и вследствие того не находящий себе нигде приюта; этот не помнящий родства бродяга, изнывающий в ожидании «большой любви», вдруг догадывается, что, наконец, наступил и на его улице праздник и что вдали показался приют, в котором он может отдохнуть от подвигов праздношатапия. Что же это за приют? спросите вы, читатель. Увы! это крестьянская реформа, это то великое дело, которое дало жизнь столь малым людям и приютило в недрах своих столько калек и чающих движения воды! Стало быть, сильна была наша праздношатапательная самонадеянность, коли мы, всю жизнь употребив на то, чтобы куда-нибудь приклонить голову, и не найдя нигде места для этого пустого и бесполезного сосуда, вдруг встrepенулись при мысли о возможности устроиться с этим хламом... где? – в вопросе об освобождении десятков миллионов людей!

Тип подобного гулящего русского человека, без сомнения, не новый; но и за всем

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) тем он так для всех памятен и полон такой недавней действительности, что основать на нем повесть или роман – предприятие далеко не безынтересное. Люди подобного закала принадлежат к тому бесчисленному легиону, члены которого, руководствуясь пословицей: «Не боги горшки обжигают», охотно принимают всякое дело за глиняный горшок и приступают к орудованию не столько с размышлением, сколько с дерзновением. Что может наделать такой господин, сколько он может намесить пирогов из грязи, благодаря своему дерзновению, – это предмет не только любопытный, но и поучительный, тем более что в этом случае bestолковые вождения отражаются не исключительно на самом bestолковом деятеле (который нередко за это даже хорошее жалованье получает), но и на целой среде. Однако ж Г. Авдеев взглянул на своего героя совсем другими глазами. По какому-то необъяснимому недоразумению, почтенный автор нашел, что у этого гулящего, пошлого человека есть хорошие дрожжи и хороший живчик.

«У всякого человека есть свои дрожжи и свой живчик», – прибавляет автор, и хотя нигде не дает удовлетворительного объяснения, что, собственно, означает загадочный живчик, однако не затрудняется пустить своего героя на поиски какого-то «большого дела» и какой-то «большой любви», вооружив его одною этою легкою и загадочною ношею. Этого «живчика», в соединении с двумя громкими, но, к сожалению, совершенно бессодержательными словами («большое дело», «большая любовь»), кажется автору совершенно достаточно, чтобы взглянуть на Камышлинцева не только снисходительно, как на ребенка, подающего ранним лепетанием некоторые надежды, но и серьезно, как смотрят на личность недюжинную и стоящую целой головой выше окружающей среды. Посмотрим же, прежде всего, что это за «большое дело», к которому стремится Камышлинцев, а потом порасскажем кой-что и о его «большой любви».

Сам Камышлинцев ни одним словом не проговаривается об «деле». Напротив того, из всего, что об нем узнает читатель, видно, что он никогда никакого дела не видал в глаза и даже потребность в нем не сознавал; что он только «присматривался», но ни к чему присмотреться не мог, то есть ни к науке, ни к службе и ни к какому другому труду. Он сам, на вопрос одного из братьев Мытищевых (братья кирсановы! откликнитесь! где вы?), адресованный уже в то время, когда крестьянская реформа окончательно была решена, что он намеревается делать? – отвечает: «Да сам не знаю; хочется работать, да не могу придумать». Стало быть, до самой последней минуты этот герой представляется нам человеком не только не имеющим никакого мирозерцания (без чего немислимо никакое «дело»), но положительно самым простым искателем приключений, который старается наткнуться на дело, вовсе не помышляя о том, в чем будет оно заключаться: в том ли, чтобы создавать, разъяснять и ограждать возникающие народные права, или в том, чтобы месить из грязи пироги.

Тем не менее дело возникает, но оно приходит извне, приходит сюрпризом. Ни Камышлинцев, ни другие подобные ему искатели приключений ничего не сделали ни для того, чтоб ускорить, ни для того, чтоб отдалить появление его на сцене русской жизни. Но для скромных нахалов подобного закала соображения такого рода препятствием служить не могут. Ни к чему не приготовленные, ни о чем не думавшие, они не задают себе вопроса, какого же рода может быть их участие в предполагаемом деле, но, без всяких рассуждений, вылезают из всех нор, чтобы положить и свою скудную лепту на алтарь отечества. И вот, вместе с толпою прочих цивилизованных бродяг, спешит из-за границы и Камышлинцев, спешит затем, чтобы и для своего бесполезного сосуда найти где-нибудь временный приют. Но, приехавши в Россию, он убеждается, что все, что ни проходит перед его глазами, представляет собой тот же дремучий лес, каким были до сих пор и прочие явления жизни, к которым он думал приурочиться. Он начинает вновь «присматриваться», то есть продолжает ту же самую бесконечную и безрезультатную игру, которой предавался и доселе, и предметом своих «присматриваний» избирает русского меньшого брата. История сближения Камышлинцева с меньшим братом (по поводу какой-то гулящей полянки, которая принадлежит герою романа и которую крестьяне желают взять в кортому) описана автором до того наивно, что одно это описание вполне выдает мирозерцание, разлитое в новом произведении Г. Авдеева. Представьте себе, с одной стороны, премудрого кадета, который с детскою рассудительностью решил, что отношения тогда только бывают прочны, когда они основаны на расчете, и который вследствие того по поводу выторговываемых крестьянами за полянку тридцати рублей являет непоколебимую стойкость души; с другой же стороны, представьте стадо не то меньших братьев, не то человекообразных, которые из-за тех же тридцати рублей не только решаются на всевозможные лукавства и коленопреклонения, но и сами себя готовы проклясть в преисподнюю, – и вы будете иметь поверхностное понятие о том,

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) что означают так называемые «присматриванья» Камышлинцева. Борьба ужасная и для кадетской стойкости весьма решительная, но, к счастью, действие, которое она производит на читателя, отнюдь не соответствует ожиданиям почтенного автора. Читатель припоминает, сколько было на его памяти совершено геройств из-за полтинника, и, соображая малую ценность этой монеты, без труда приходит к заключению, что здесь именем героизма украшается едва ли не очень обыденная кадетская пошлость...

Сказанного выше, кажется, очень достаточно, чтобы определить личность Камышлинцева и степень его участия в деле, к которому, по собственному сознанию, он чувствует себя совершенно неприготовленным. И действительно, как ни усиливается г. Авдеев сообщать деятельности своего героя характер борьбы за убеждения, факты, которые им представляются в подтверждение этой мысли, свидетельствуют, что тут совсем нет борьбы, а есть неуместное и очень невинное подразнивание со стороны человека, стоящего отнюдь не на высшем уровне, нежели те, которые обретаются в так называемом враждебном лагере, но находящего для себя выгодным временно побудировать. Самая горячность, с которою Камышлинцев и ему подобные бросились на защиту подробностей и частных, уже доказывает, что они не поняли ни общего смысла дела, ни тех выводов, которыми оно так богато. От внимания их ускользнуло, что реформа отнюдь не ограничивалась освобождением Петра и Ивана, но в то же время освобождала всю русскую жизнь, полагая для нее новые и более широкие основания. Растратив на первых же порах слабый запас своих сил на мелочи, эти люди оказались и несостоятельными, и бессильными, и трусливыми, как только жизнь представила нечто более, нежели угнетенных Петров и Иванов. Что же мудреного, что из всей совокупности подразниваний ничего иного не вышло, кроме водевиля, в конце которого дразнители были с позором выгнаны со сцены?

Таким образом, оказывается, что «большое дело», предчувствием которого томилась душа Камышлинцева, если и имеет право на название «большого», то потому только, что предмет его составляет наполнение той действительно безграничной бездны, которая называется праздностью. И напрасно почтенный автор будет доказывать, что деятельность его героя все-таки не была бесследною; напрасно он будет утверждать, что около Камышлинцева группировались партизаны, что против него составлялись комплоты, что он – о, чудо! – приобрел популярность даже в той измененной среде, которая, по всем соображениям, может всего менее сочувствовать бессознательной деятельности. Все это очень возможно, ответим мы ему, но все это доказывает только то, что мир странностей, в котором живут и действуют люди, подобные Камышлинцеву, достаточно обширен, чтобы вместить в себе не только деятелей, не понимающих, что они делают, но даже целую среду, которая спокойно терпит давление бессознательной деятельности и даже умеет проникаться по поводу ее чувством благодарности. Одна из характеристических особенностей той фантастической сферы, которой касается разбираемый нами роман, именно в том и состоит, что тут никто не знает, чего он хочет, об чем думает и к чему стремится.

Таково пресловутое «большое дело». Посмотрим теперь, какова та «большая любовь», на которую не без ударения намекает Камышлинцев в начале романа.

Любовь является совершенно внезапно. Предмет ее – Ольга Мытищева, жена декабриста, возвращенного из ссылки в нынешнее царствование; это хорошенькая женщина, одна из тех провинциальных шикарных барынь, которые особенно падки до интимно-скоромных разговоров. Ища «большой любви», Камышлинцев так же случайно наталкивается на Ольгу Мытищеву, как случайно наталкивается он и на крестьянскую реформу, ища «большого дела», то есть без малейшего участия сознания, а только потому, что у Ольги, как выражается г. Боборыкин, есть «перси». «Время шло (и очень короткое время, заметим мы от себя), говорит автор, люди жили, их чувства жили и развивались, а известно, какое направление принимают они, когда молодые мужчина и женщина, ничем особенно не занятые, часто видятся, да еще иногда и наедине!» Просто до безобразия. «А известно, какое направление», – в этих словах открывается вся история «большой любви» Камышлинцева и в то же время рекомендуется довольно пошлая теория отношений мужчины к женщине. Но так как теория эта слишком достаточно говорит сама за себя, то мы и не остановимся на ней, а будем продолжать наш рассказ о любви Камышлинцева. Действительно, чувства его развивались быстро, и вот в одно прекрасное послеобеденное время, когда Мытищев ушел спать, они приняли уже совсем то направление, которое г. Авдеев предполагает неизбежным. Мы вообще неохотно делаем выписки из разбираемых нами авторов, но для того, чтобы читатель мог с надлежащею ясностью представить себе, какие

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) бывают признаки «большой любви», считаем нелишним выписать здесь одну сцену.

Когда они очнулись и Мытищева, оправляя волосы, отодвинулась от Камышлинцева и решила взглянуть на него, ее разгоревшееся лицо дышало такой нежной, стыдливой и полной любовью, ее карие глаза глядели так ласково, что Камышлинцеву было видно до самого дна все ее нежное, горячее чувство, и, исполненный глубокой любви и благодарности, он снова припал к ее руке.

Вскоре пришли муж и деверь, приехала Барсукова, за которой еще утром посылала Мытищева, подали самовар на террасу, и хозяйка, по-прежнему милая, но еще более веселая и одушевленная, как ни в чем не бывало разливала чай. Только нежный румянец ее лица был живее и глаза стали темнее и вместе блестящее. Но Камышлинцев был рассеян, точно перед ним все рисовалась какая-то другая картина и он не мог оторваться от нее. Никто, впрочем, не заметил какой-либо перемены в отношениях молодой пары. Только старик Василий Сергеевич, вскоченный и заспанный, принимая от золовки стакан, поглядел на нее и сказал: «Что это, Ольга, ты сегодня нестерпимо хороша?»

Внимание всех обратилось на Мытищеву.

Муж с улыбкой и любовью поглядел на жену, Барсукова взглянула как бы спроста, но внимательно, а Камышлинцев уткнулся в стакан. Ольга вспыхнула несколько и сказала:

– Смотрите, старый, я Агафье пожалуюсь!

Агафья была шестидесятилетняя ключница, которая заведовала его хозяйством.

– Агафье! а на тебя кому жаловаться? – спросил старик, насмешливо поглядывая на нее из-под густых бровей своими еще быстрыми, но старческими с красноватыми жилками глазами.

Вместо ответа Мытищева жестом Рашели подняла указательный палец к небу.

– Ну, это слишком высоко! – проворчал старик.

Сценка эта очень характеристична, ибо показывает, как близко иногда граничит милая безделица с милым бездельничеством, именуемым, для красоты слога, «большой любовью». Люди совершают так называемый «решительный шаг» и вслед за тем столь же спокойно впадают в обычное вседневное течение жизни, как будто бы ничего и не случилось. Она – оправляет прическу и разливает чай, он – немножко рассеян, – и только! Ни тому, ни другой не приходит на мысль, что есть еще третье лицо, которое насчет «решительного шага» может иметь понятия, допустим, и неправильные, но все же достаточно окрепшие, чтоб можно было свободно их обойти. И этот третий – не шалопай какой-нибудь, а человек, которого автор рекомендует, как образец честности, нежной чувствительности, добродушия и доверчивости (Кирсанов-младший). Как примирить это половое легкомыслие с представлением о «большой любви»? Не приличнее ли, напротив, употребить тут более подходящее название *résché mignon*. [23] Почему, спрашивается, эти два существа разного пола сошлись друг с другом? Участвовала ли тут страсть, положим, неразумная и несправедливая, но тем не менее всецело поработавшая человека? – нет, не участвовала, потому что главным мотивом сближения было безделье и взаимное самораздражение с помощью интимных разговоров. Участвовало ли разумное сознание о сходстве понятий, характеров, о том, что эта непрерывающаяся симпатия ничем иным и разрешиться не может, кроме полного сближения? – нет, и этого участия не было. Люди сближаются потому только, что «им часто приходилось видеться наедине», и потому, что они принадлежат к разным полам. К этому определению невозможно прибавить ни одного слова – к чему же тут «большая любовь»? Не проще ли было охарактеризовать это явление, сказавши, что в такой-то день и в таком-то городе, в постели такого-то (имярек) поселился лишний паразит? Но в таком случае, стоило ли так громко публиковать о столь негромком происшествии?

Насколько мизерно и бессознательно началась «большая любовь» Камышлинцева, настолько же мизерно и бессознательно она и кончилась. Кончилась она в ту самую минуту, когда началось «большое дело», о котором мы объяснили выше. Ольга не понимала и не могла понять (да и кто же бы на ее месте понял?), что на свете есть какое-то «большое дело»; она видела, что в глазах ее беспрерывно мелькают какие-то Петрушки и феньки, в которых Камышлинцев почему-то считает своим долгом

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) принимать участие и которые, очевидно, отвлекают его от прямых обязанностей, налагаемых «большой любовью». Естественно, что она возропала, и вот начинается ряд так называемых недоразумений, в которых для одной стороны поправкой является флигель-адъютант Гогенфельд, для другой стороны – молодая, слегка эмансипированная девица Аня Барсукова.

Эта последняя пленяет Камышлинцева своей рассудительностью, деятельностью и основательными замечаниями о женском труде. Камышлинцев одумывается и начинает понимать, чего ему нужно. Он убеждается, что все человеческие бедствия происходят оттого, что большая любовь мешает большому делу. Но нужно ли рассказывать еще историю и этой второй большой любви? Полагаем, что это будет совершенно излишне, тем более что и всего сказанного нами выше уже достаточно, чтобы убедить читателя, какого рода характер предъявляет г. Авдеев читателю в лице Камышлинцева, как характер серьезный, от которого, пожалуй, позволительно ожидать чуть-чуть не обновления отечества, и который потому только проходит бесследно, что окружающая среда не в силах понять и оценить его.

Мы могли бы, кроме того, сообщить читателю некоторые небезыңтересные подробности и о прочих действующих лицах романа, но рецензия наша и без того вышла неумеренно длинна. Тем не менее мы не можем отказать себе в удовольствии выписать здесь окончание сцены, изображающей момент, в который Мытищев узнает об измене жены и освобождает ее от обязательных отношений к себе.

– Я знаю, – продолжал Мытищев, – что надо мной будут подсмеиваться. Но я презираю эти дрязги и сумею стать выше их. И вы должны мне помочь, – сказал он строго. – Вы должны поднять головы высоко и смотреть всем прямо в глаза. Слышишь, Ольга! Если я не виню тебя, то тебе нечего бояться света: ему нет дела до наших семейных отношений!..

Он прошелся несколько раз молча.

– Я перемену квартиру, и вы должны жить с нами, – сказал он Камышлинцеву. – Сегодня у нас будут обедать несколько человек; вы должны тоже быть. Постарайся оправиться, Ольга, и чтобы все было как обыкновенно. На нас будут смотреть, и я не хочу никому доставить удовольствия радоваться моему несчастью.

При слове «несчастье» ему припомнилось все, что он терял и что с ним случилось: одушевление, в котором он себя поддерживал, расступилось, и голая, грозная правда пробилась наружу. Голос дрогнул у Мытищева и он готов был разрыдаться, но сдержал себя и вышел, по-прежнему печальный, твердый и несколько торжественный. Римские герои, как изображают их легенды и старые учебники, должны были так удаляться с трибуны после своих речей.

Не правда ли, что неожиданнее этого сравнения с «римским героем» трудно даже придумать.

МЕЩАНСКАЯ СЕМЬЯ. Комедия в четырех действиях М. В. Авдеева. (Бенефис г-жи Жулевой 17 января)

Я мог бы писать отличные драмы, прекраснейшие комедии и дышащие животрепещущим интересом романы, но воспоминания преследуют меня. Они осаждают меня толпою, как только я берусь за перо. То Жорж Занд, то Тургенев, то Островский, то Гоголь, то Бальзак – держат мою мысль в такой тесной осаде, что я не могу сделать шагу, чтобы не раздражиться ими. Я очень прилежен и изо всех сил стараюсь что-нибудь выдумать, но сведущие люди утверждают, что все мои выдумки давно уже выдуманы и даже изложены в гораздо приличнейшей форме. Тем не менее я человек скромный; я охотно примирился бы даже с ролью изобретателя изобретенного, если уж нет для меня никакой другой роли; но тут меня настигает другая беда, никак не могу свести концы с концами. Начну-то я довольно благополучно; жили да были такие-то и был у них подводный камень такой-то (смотри Жорж Занда, Бальзака, Тургенева и других изобретателей), но каким образом поступить с этим подводным камнем, каким образом сделать, чтоб он был действительно подводным, а не аэролитом – никак не придумаю. Много могу я измыслить всякого рода действующих лиц – и седых, и брюнетов, и белокурых, и скромных, и напыщенных, и прилежных, и ленивых; много могу написать разнообразнейших диалогов; но как свести этих действующих лиц в одно место, как заставить их быть именно «действующими», а не просто слоняющимися из угла в угол лицами, как устроить, чтоб мои диалоги приходились ко времени и к месту, чтоб суп у меня не подавался после пирожного и чтоб рубашка не надевалась после фрака – решительно ума не приложу. Всегда как-то так

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) случается, что не сюжет обладает мною, а я обладаю сюжетом. Когда я пишу, то – много ли, мало ли я ни написал – я чувствую, что пьеса моя не имеет конца и иметь его никогда не может. То есть, коли хотите, он и есть, этот конец, но приходит он совсем не тогда, когда ему прийти нужно, а тогда, когда я сам того пожелаю.

В этом отношении я деспот беспримернейший; захочу – напишу пять действий; не захочу – окончу на третьем. Конечно, эта свобода имеет свои выгоды, но не могу скрыть, что иногда на меня нападает сомнение, действительно ли во всех случаях свобода есть такое сладкое благо, чтоб можно было пользоваться им без соблюдения экономии. Да и публика, как слышно, не очень-то долюбивает, когда в искусстве слишком исключительно господствует правление монархическое, неограниченное.

Вот мысли, которые невольно приходили мне в голову, когда я смотрел на новую комедию г. Авдеева, название которой выписано выше. Она с такою ясностью поставила передо мной вопрос о моем драматическом бессилии, что, выходя из театра, я дал себе слово впредь всегда оставаться самим собою и как огня опасаться чужих одежд. Сверх того, мне показалось, что неизлишне будет, если я по временам буду остерегаться слишком широко захватывающих мыслей. Слов нет, оно хорошо, думалось мне, если мысль у меня с крылышками, а ну как, упаси бог, я не сумею совладать с нею да вдруг и сведу хорошую-то мысль к нулю. Ведь тогда, чего доброго, скажут, что я стреляю с ковра, а бью с рогожи. Нет, лучше оставлю-ка я хорошие мысли и буду довольствоваться мыслями средними. Пусть будет мой удел скромен, пусть буду я простым рассказчиком, фельетонистом, рецензентом; пускай называют меня человеком среднего полета; но, по крайней мере, я буду в состоянии утверждать, что те средние мысли, которыми я пробавляюсь, суть мои собственные мысли и что то добро, которым я от времени до времени делюсь с публикой, есть мое собственное добро.

По моему мнению, скромный удел есть в то же время и самый завидный удел в целом мире. Не тот писатель блажен, который, подобно орлу, ширяет в высотах, высматривая, не завалюсь ли где годного для употребления вопроса, а тот, который имеет хотя и не мудрые, но свои собственные вопросы. Очень может быть, что найдутся зоилы, которые скажут, что обладатель немудрых вопросов мелко плавает, но наверное никто не будет отвергать, что у него есть собственное место в литературе. Его не смешают ни с кем другим и тем избавят от неловкой обязанности выслушивать комплименты за Тургенева, Островского и Бальзака.

Хотя публике мало известно, что г. Авдеев несколько лет, сряду агитирует в русской литературе вопрос о положении современной женщины в семействе и обществе, тем не менее эта неизвестность происходит совсем не от того, чтобы попытки почтенного автора в этом отношении могли подлежать какому-либо сомнению, а от причин совершенно особого рода. Между этими причинами самое главное место занимает то обстоятельство, что г. Авдеев нигде с достаточной ясностью не высказал, что, собственно, его беспокоит в современном состоянии женского вопроса, почему он находит положение женщины неудовлетворительным и чего бы он желал для улучшения его? Хотя героини романов г. Авдеева прежде всего рекомендуются читателю как женщины угнетенные и недовольные, но это недовольство имеет очень мало действительных точек соприкосновения с женским вопросом, и стихия, которая ярче всего выступает вперед в этом случае, есть стихия, так сказать, камелийная. Женщина г. Авдеева не ищет никакой другой свободы, кроме свободы любви, так что, ежели мы сравним эту основную идею его произведений с теми традициями, которыми издревле руководился роман, изображая так называемую «преступную любовь» или «любовь с препятствиями» (обыкновенное содержание всякого романа), то легко убедимся, что между первой и последними не имеется никакой существенной разницы. А так как читатель всегда усматривает в книге не более того, что она ему дает действительно, тенденциозность же г. Авдеева выражается не столько ясностью возбуждаемых им вопросов, сколько частым обращением к одной и той же теме, то из этого выходит, что все старания его указать на неудовлетворительность положения современной женщины в обществе пропадают для большинства читателей даром, то есть представляются обыкновенными приемами, к которым прибегает каждый автор, желающий сделать «преступную любовь» одним из элементов изображаемой им драмы. И таким образом, значение г. Авдеева, как писателя – специалиста по части женских интересов, не успело в глазах публики получить никакой силы и с самым именем почтенного автора не связывается в уме читателя иного понятия, кроме того, что оно принадлежит писателю, подобно прочим приятно описывающему те случайности, которым подвергается женщина, желающая испытывать волнения «преступной любви».

Нельзя не признаться, что подобное определение литературной физиономии г. Авдеева вполне справедливо; тем не менее оно было бы очень односторонне в устах людей, занимающихся русской литературой *ex professo*. [24] Эти последние при оценке автора обязаны принимать в соображение не только действительное его значение, но и те намерения, которые он сам предъясвляет. Если адвокат на бракоразводном деле постоянно проигрывает процессы, которые он берет на себя, то это все-таки не отнимает у него права именоваться адвокатом не по каким-либо другим, а именно по бракоразводным делам. Можно назвать его несчастным адвокатом, но отрицать его специальность нельзя. Точно так же нельзя отвергнуть и специальность г. Авдеева. Приступая к чтению или слушанию каждого нового произведения этого автора, можно заранее и безошибочно сказать, что на сцену наверное явится женщина, которая или преступила, или, по малой мере, нашалила и тем доказала свою правоспособность в сфере понимания женских интересов. Можно опровергать доказательность воззрений автора на существо женского вопроса, можно утверждать, что они поверхностны и ограничены, но усомниться в его намерениях нет ни малейшего основания. Самое постоянство в выборе сюжетов уже доказывает, что тут нет никакой случайности, и я тем охотнее признаю этот факт, что он до крайности облегчает мой труд как рецензента.

Нет ничего приятнее, как иметь дело с писателем-специалистом. В последнее время наши литературные деятели заявили решительную склонность устроиться каждый в своем углу и там на свободе предаться разработыванию различных специальностей, не допуская к ним никаких общечеловеческих примесей. У нас есть специалисты по части вольной клубнички, специалисты по части извещения, специалисты по части чиновнических обличений; если не ошибаюсь, то есть даже специалист по части легкомыслия. При взгляде на сочинения этих авторов вы сразу угадываете, о чем тут будет идти речь, и сразу же знаете, что следует сказать об них в качестве рецензента. В этих сочинениях все специально, а следовательно, и все просто. Вы не рискуете встретиться тут ни с какою нравственно запутанностью, которую вам предстояло бы разъяснить, не найдете ни одного положения, которое являлось бы продуктом известного жизненного строя. Все здесь просто и изолированно; все живет своею собственною, независимою жизнью. Следовательно, рецензенту при разборе такого рода сочинений предстоит одно: удостовериться, в какой степени автор остается верен своей специальности, то есть ежели он специалист по части легкомыслия, то до конца ли остается легкомысленным, ежели специалист по части вольной клубнички, то не заставил ли своего героя страдать от недостатка оной. И если автор оказывается исправным, то рецензенту ничего больше не остается, как доложить публике: такая-то книга принадлежит специалисту такому-то и, не представляя никакой пищи ни для ума, ни для сердца, в достаточной степени удовлетворяет избранной им специальности.

Признаюсь откровенно, точь-в-точь таким образом намеревался я поступить и в настоящем случае, когда отправлялся в Александринский театр в бенефис г-жи Жулевой. Признавая г. Авдеева одним из самых решительных литературных наших специалистов, а именно специалистом не столько по части женского вопроса, сколько по делам бракоразводным, я рассуждал так: хотя мне положительно известно, в чем заключается сюжет новой пьесы, и я мог бы с помощью одной афиши рассказать читателю ее содержание, но так как мне пришлось бы при этом утверждать, что я лично присутствовал при ее представлении, то пойду в театр хотя бы только для очищения совести. Однако на сей раз ожидания мои были обмануты, и самым неприятным образом.

Нельзя сказать, чтобы г. Авдеев совершенно покинул дорогой ему бракоразводный вопрос, но он дал ему в новом своем произведении эпизодическое значение и тем значительно повредил своей репутации как специалиста. К счастью, в то же время он остался совершенно верен другой своей специальности, то есть той чуткости, с которою он постоянно относится к произведениям других своих собратьев по ремеслу.

Идея «Мещанской семьи» не новая, но очень благодарная. Разбогатевшее, завистливое мещанство, охотно отрекшееся от своего прошлого, но еще не успевшее отыскать для себя твердой почвы в настоящем; мещанство, беспрестанно само себя обличающее, самодовольное и в то же время на каждом шагу озирающееся; мещанство, видящее себя предметом самых грубых ласкательств и в то же время не могущее скрыть от себя, что за этими ласкательствами таится едва сдерживаемое и потворное, – вот тема, которую избрал г. Авдеев для нового своего произведения и которую, по всем видимостям, внушила ему комедия Ожье: «*Le gendre de monsieur Poirier*». Повторяю: тема очень благодарная и в руках талантливого автора могущая дать

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru канву для разнообразнейших и интереснейших драматических комбинаций. В этом фальшивом мешанском мире нет ни одной ноты, которая звучала бы правильно, ни одного поступка, который не был бы недоумением и не заключал в себе зародыша бесчисленного множества других недоумений. Трудно дышится в этой грубо намалеванной сфере, в которой до того извращены все понятия, что самые естественные требования здравого смысла и чувства представляются чем-то вопиющим, неестественность же и чудовищность, напротив того, усваивают себе все признаки естественности и нормальности. Но для того, чтобы сделать для зрителей эту нравственную смуту сколько-нибудь понятною, для того, чтобы зритель увидел в ней нечто более, нежели простую диковину, необходимо, чтобы автор отнесся к своей задаче не только как к сброду более или менее комических подробностей, соединенных между собой чисто механической связью, но раскрыл бы тот внутренний прах, которым, собственно, и держится эта чудовищная агломерация всевозможных бессмыслиц, недомолвок и недоразумений. К сожалению, г. Авдеев предпочел пойти первым путем, как легчайшим, и дал нам ряд сцен, которые ничего не объясняют и следуют одна за другой иногда даже без видимой нужды.

На сцене семейство богатого откупщика Кубарева; члены его: сам Кубарев (г. Васильев 2-й), добрый, но довольно глупый и слабый старик, мечтающий со временем достигнуть баронства; жена его (г-жа Жулева), из рода разорившихся дворян, проникнутая чванством и глубоко уязвленная неаристократическою специальностью своего супруга; две дочери, из которых одна (г-жа Читау) замужем за остзейским бароном Штернфельдом и требует свободы любви, другая (г-жа Яблочкина 1-я) еще в девушках и представляет собой одну из тех бесцветных личностей, о которых даже сказать ничего нельзя; наконец, сын-гусар – стереотипный наглец, из которого г. Журин, сверх того, потрудился сделать личность совершенно противную и непозволительную. Кроме того, у Кубарева есть мать, простая старуха, которая носит на голове волосники и которая, как нарочно, приезжает в Петербург, чтобы подлить еще более горечи в эту и без того преисполненную всякого рода горечью семью. Такова внешняя обстановка новой комедии, обстановка хотя и не поражающая авторскую изобретательностью, но тем не менее могущая служить канвою для содержания довольно разнообразного. Но этою внешнею обстановкою все дело и оканчивается, так что в дальнейшем совершенно достаточно прочесть афишу, чтоб угадать, какого рода драматические положения выведет автор для удовольствия и назидания зрителей.

Из первого действия зритель узнает, что существует на свете некто господин Панкратьев (г. Нильский), который находится в довольно странных отношениях к дочерям Кубарева. Со старшей он находится в любовной связи и в то же время ищет руки младшей дочери. Нужно сказать, что эта интрига совсем не нужна ни для хода пьесы, ни для ее идеи и что даже сам автор оставляет ее без всякого развития, но такова уже сила бракоразводной специальности г. Авдеева, что он не мог воздержаться, чтобы и тут не коснуться ее, хотя бы с явным ущербом для своего произведения. Скучными объяснениями этого Панкратьева и очень неловкими увертками его между двумя сестрами наполняется целая половина первого акта. Наконец на сцене собираются все члены семьи, из которых каждый хотя и своими словами, но, в сущности, совершенно однообразно объясняет зрителю свой характер. Между прочим, молодой гусар Кубарев рассказывает, как он кутил целую ночь на Средней Рогатке и подшутил там над какою-то старухой, которая ехала из Москвы в Петербург не по железной дороге, а на лошадях. Едва успел он досказать последнее слово своей эпопеи, как эта самая старуха тут как тут. Оказывается, что это мать Кубарева, женщина ужаснейшая, ходящая в волосниках и вдобавок чихающая. Общее смятение, которое усугубляется еще докладом лакея о приезде князя Жижимского. Пробуют спрятать куда-нибудь старуху, выискивая для этого благовидные предлоги, но она слишком много усчитала на своем веку целовальников, чтоб поддаться на живую нитку сшитому обману. Что ж, прячьте мать-то! прячьте! восклицает она гневно, и тем полагает предел первому действию.

Во втором действии к Кубареву-отцу приезжает зять его, барон Штернфельд. С легкой руки автора «Окраин России» вошло во всеобщее обыкновение обращаться с остзейскими баронами без церемонии. Этому обыкновению последовал и г. Авдеев, выведя своего барона на сцену для того только, чтобы заставить его попросить денег и высказать несколько бессмыслиц, перед которыми бледнеют даже откупщицкие бессмыслицы Кубарева. Завязывается бой на пошлостях, бой, довольно удачно напоминающий таковые же бои в названной выше пьесе Ожье, и победителем на сей раз оказывается премудрый откупщик. По изгнании остзейского барона на сцену является князь Жижимский (г. Самойлов 1-й), нечто вроде умственно развинтившегося сановника, ничего не говорящего, кроме: «что, бишь, я хотел

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) сказать?» да «как здоровье?» Тем не менее родителям Кубаревым удастся понять, что князь приехал неспроста и что он не прочь предложить руку и сердце младшей их дочери, Аделаиде Васильевне.

В третьем действии на сцене бал. Проходят разные лица: генералы, офицеры, чиновники на хорошей дороге, молодые люди с будущностью, молодые люди без будущности и т. д. Автор, как человек аккуратный, не поспешил на характеристики и, во избежание недоразумений, отпечатал их в афишках. Старуху Кубареву запирают в какой-то закоулок вроде чулана, в котором она подслушивает любовное объяснение между баронессою Штернфельд и Панкратьевым и, к довершению всего, раздражается таким неистовым чиханьем, что производит общее смятение. Между тем гости распускают на бале слух, что Кубарев разорился; происходят сцены, совершенно подобные тем, которые разыгрываются на бале в «Горе от ума».

Это до такой степени обманывает зрителей, что больших усилий нужно, чтобы воздержаться от вызова: Грибоедова! В заключение князь Жижимский делает формальное предложение младшей дочери Кубаревых, но Адель, к великому ужасу родителей, отказывается наотрез.

В четвертом действии Кубарев-отец объясняет технологу Пенкину (г. Самойлов 2-й), что он разорен и что дочери его Адели необходимо выйти замуж за князя Жижимского, потому что она привыкла к комфорту и жизнь с бедным человеком для нее невыносима. Кубарев обращается к содействию Пенкина, чтоб убедить Адель в непреложности этой истины. Пенкин сам любит Адель и любим ею взаимно, но, по какому-то непонятному соображению, не отказывается от исполнения навязываемого ему поручения. Происходит объяснение между влюбленными – и что же оказывается? – что Адель действительно до такой степени заражена любовью к комфорту, что скорее соглашается жить в чертогах с расслабленным сановником, нежели в хижине с милым сердцу человеком. Эта сцена столь удивительна, что надо видеть ее собственными глазами, чтобы понять, какое тяжелое впечатление может производить несвязный сумбур на зрителей самых невзыскательных. Кончается, разумеется, тем, что является г. Самойлов 1-й, подадут шампанское, и занавес падает среди громаднейшего шикарья.

Вот какого рода нехитрою стряпнею накормил г. Авдеев свою публику. Мне скажут, может быть, что если стряпня эта такова, то не стоило и говорить об ней. Это так. Но не надо забывать, что мы не можем выбиться из этой стряпни, что когда бы мы ни заглянули в театр, мы ни под каким видом не разминемся либо с «Пробным камнем», либо с «Фролом Скобеевым», либо с «Прекрасной Еленой». Этот факт сам по себе достаточно обременителен, чтобы поговорить о нем. И в самый этот вечер, когда шла «Мещанская семья», все-таки не обошлось без «Прекрасной Елены»; хоть один акт, а дали. И надо было видеть, какое было написано уныние, чуть не омерзение, на лицах актеров, исполнявших этот несчастный первый акт. Пожалеем их, читатель; вспомним, что в ту минуту, когда я дописываю эти строки, «Прекрасная Елена» выдерживает тридцатое представление, независимо от тех, которые были даны в бенефисы. И это в продолжение каких-нибудь двух месяцев с половиной!

Об игре актеров, участвовавших в «Мещанской семье», с особенной похвалой отозваться нельзя. Кроме г-жи Линской, которая была, как и всегда, неподражаема, и г. Васильева 2-го, который сыграл свою роль прекрасно, прочие актеры были ниже своего обыкновенного уровня. К сожалению, замечание это относится даже к г. Самойлову 1-му, который своею постоянно прекрасною игрою приучил публику быть требовательною. Но ведь и то сказать: каждый день вести изнурительную борьбу с авторами, которые, по-видимому, никакой другой мысли в голове не держат, кроме той, как бы сломить непокорного актера, – это может хоть кого утомить.

ГОВОРОУНЫ. Комедия в четырех действиях И. А. Манна. Издание Кожанчикова. СПб. 1868

Новые идеи решительно мешают спокойствию наших драматургов. Коли хотите, оно и понятно, потому что так называемые старые идеи до того уже затаскались, что ничего из них не выжмешь, ничего на них не выстроишь. Непонятно одно: почему новые идеи, эти кормилицы-поилицы современных витязей Александринского театра, почти постоянно изображаются ими с самой враждебной, почти омерзительной стороны. Хотя из чувства благодарности не мешало бы поступать несколько осмотрительнее.

К числу таких неблагодарных принадлежит и г. Манн. Не знаем, сам ли он дошел до

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru познания новых идей или слышал об них от людей посторонних, во всяком случае, они произвели на него самое неблагоприятное впечатление. С тех пор как не стало возможности (разумеется, не в жизни, а на подмостках Александринского театра) выступать перед публикою с консервативною теорией всеобщего оглушения, мир кажется населенным не солидными начальниками отделения, а какими-то не помнящими родства бродягами, которые только о том и сокрушаются, как бы стянуть пирог с прилавка или на даровщинку попрелюбодействовать. И не потихоньку стянуть, не секретным манером пройтись насчет клубнички, как дельвали прежние солидные люди, а со взломом, с треском, с разговорами и развитиями, дабы ведали люди, что в этом-то именно и замыкаются те новые идеи, которые перешли к нам... по прямой линии от начальников отделения.

Вопрос о собственности, вопрос о семейном начале, вопрос о правах женщины – ничто не чуждо нашим чутким и впечатлительным драматургам. Около всякого вопроса они найдут возможность пожужжать, со всякого снимут хоть капельку меда. Конечно, этот мед не бог знает какой душистый (мед дивий), но тут не в качестве дело, а в количестве. Наберут они этого меда ровно столько, сколько нужно, чтобы настряпать из него диалогов, разделят эти диалоги на действия и явления, приютят около них до десятка Петров Платонычей, Вадимов Петровичей, Настенек и т. п. и устремляются с этою легкою добычей на подмостки Александринского театра. Нет нужды, что диалоги эти – отчасти бессмысленные, отчасти клеветнические: они наверное будут по плечу зрителям-столоначальникам и убедят их, что кража пирогов российскими драматургами не поощряется, но возбраняется; нет нужды, что прикомандированные к диалогам Петры Платонычи, Настеньки, Вадимы Петровичи – не что иное, как тени, лишенные прав состояния: гг. Самойлов, Васильев, Зубров и г-жа Линская, с помощью гримировки и собственных артистических соображений, наверное, найдут возможность, даже независимо от воли автора, придать этим теням человеческую форму и смягчить внезапность и нецелесообразность их нелепых движений.

Хотите ли вы знать, например, что такое принцип собственности по понятиям новых людей – Петр Платоныч Чигасов ответит вам: «Принцип наследства – ложный принцип; наука (?) не признает нежностей. Разве птицы оставляют запасы корма для своего потомства? Каждая из них питается тем, что находит сама». В другом месте этот самый Чигасов, прося взаймы денег, объясняет так: «Я занимаю именно у вас, потому что у вас всегда есть лишние деньги, стало быть, вы не имеете основательного повода отказывать». Но этого мало; не успевши занять денег у лица, всегда имеющего лишние деньги, Чигасов решается обокрасть свою сестру и для этого задумывает целую махинацию, которой подлость равняется только ее глупости, и при этом восклицает: «Стоит ли церемониться с этими скотами! Этих господ надо допекать всеми возможными способами; тут надо действовать ради принципа»...

Хотите вы иметь понятие о том, что такое брак по понятиям новых людей, – автор заставит некоего г. Кренева убеждать Вадима Петровича Ладушкина жениться на Настеньке Чигасовой, и когда Ладушкин предложит вопрос: «А ты, само собой разумеется, будешь продолжать ее любить?» – то Кренин не усомнится ответить: «Отчего же нет?» Этого недостаточно: в подкрепление своей теории свободных отношений между мужчиной и женщиной Кренин не постыдится высказать следующую неистовую чепуху: «Скажи, пожалуйста, долго ли вы будете смотреть на любовь так цинически, допускать это чувство в самом низком, животном смысле? По-вашему, уже никак и не может быть свободной, благородной гармонии между живущими существами? По-вашему, все вали в одну яму, все топчи ногами».

Хотите ли, наконец, знать, что такое женский труд, – автор, устами Ладушкина, объяснит вам, что это – слово, которым «пользуются злодеи, чтобы прикрывать свои страсти». «Оторвать, прежде всего, женщину от семьи! – гремит добродетельный Ладушкин, – научить ее смеяться над семейными узами, заставить ее забыть, что ее назначение быть верною женой и доброю матерью семейства, убить в ней и скромность и стыд, сознание и чести и достоинства женщины... вот ваши идеалы! от них отвернется с ужасом и презрением каждый честный человек!»

Напрасно вы будете спрашивать себя:

С кого они портреты пишут?

Где разговоры эти слышат?

Напрасно вы будете говорить себе: да ведь это же, наконец, неслыханное дело, чтобы человек, для оправдания своих теорий (положим, и ложных), употреблял не

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) только слабые, но даже самые глупые доказательства! – автору нет дела ни до доказательств, ни до художественной верности речей и поступков изображаемых им лиц. Задача, которую он предположил себе выполнить, гораздо скромнее: он хочет оградить начальников отделения от наплыва новых идей и для этого берет первые доказательства, которые валяются на дороге, и складывает их в одно место.

По нашему мнению, это–то именно и называется: «Все вали в одну яму, все топчи ногами!»

ГДЕ ЛУЧШЕ? Роман в двух частях Ф. Решетникова. СПб. 1869

Мы не имеем намерения подробно разбирать новый роман г. Решетникова, с содержанием которого, впрочем, уже знакомы читатели «Отч. записок». Мы надеемся обратиться к этому роману в одной из следующих книжек нашего журнала и разобрать его значение в связи с другими явлениями русской беллетристики последнего времени. Таких новостей, по-видимому, набирается довольно много, но большая часть их продолжается печатанием в различных журналах, и потому нельзя еще дать себе полного отчета о достоинствах и недостатках их. Теперь же, извещая о выходе произведения г. Решетникова отдельной книгой, мы считаем нелишним лишь самым кратким образом указать на сущность таланта этого автора, выразившуюся в романе «Где лучше?» едва ли не ярче, нежели в прежних его сочинениях.

Г-н Решетников начал свою литературную деятельность в 1863 году повестью «Подлиповцы», которая тогда же обратила на себя внимание публики новостью обстановки, своеобразием языка и оригинальностью идеи, лежавшей в ее основании. Уже с конца сороковых годов русская беллетристика начинает обращаться к простонародному быту и отыскивает в нем черты и явления, могущие дать материал для художественного воспроизведения, но нельзя сказать, чтобы попытки эти были вполне удачны; внимание беллетристов было исключительно обращено или на черты случайные, или же на черты хотя и характерные, но слишком частные, чтобы исчерпывать собою все разнообразие простонародного быта. Эти частные черты и явления давали материал до того скудный, что он легко помещался в самых узеньких рамках, и притом сами они уже до такой степени представлялись оригинальными, что тут оригинальность очень близко граничила с диковинностью. В этом закрытом со всех сторон мире все представлялось особенным, обусловленным всякого рода понятиями, обычаями, обрядами, стоящими в прямом противоречии с тем жизненным уровнем, который выработан цивилизацией; самая жизнь масс казалась построенною на совершенно иных основаниях, нежели жизнь цивилизованного меньшинства. Обреталась как бы особенная разновидность человека, сохранившая от человека только название, а во всем прочем, начиная от одежды до склада ума и чувств, нисколько на него не похожая. Отсюда, во-первых, то следствие, что наши народные беллетристы не могли дать ничего более, кроме весьма коротких рассказов, а во-вторых – то, что, несмотря на свою краткость, эти рассказы всегда страдали этнографическою незаконченностью и разбросанностью. Нет драмы в жизни русского мужика, так, казалось, говорили русские беллетристы, нет драмы, а есть только курьезные случаи – мы их и представляем, благо в настоящее время они сделались более или менее доступными для наблюдения.

А между тем драма есть, и г. Решетникову бесспорно первому принадлежит честь открытия этого факта. Эта драма очень большая и называется борьбою за существование. Это в одно и то же время и драма, в которой фаталистически вращается существование русского простолюдина, и действительный стимул всех его движений и действий. Как драма, эта мысль до такой степени обширна, что дает полную возможность вместить в нее все разнообразие простонародной жизни; как стимул, она достаточно человечна, чтобы при помощи ее добросовестный наблюдатель мог даже так называемые курьезы объяснить себе с точки зрения общечеловеческой.

Мы не желаем преувеличивать и потому не скажем, чтобы г. Решетников разрешил эту задачу так, чтобы ничего не оставалось и желать; но отнюдь не думаем заблуждаться, утверждая, что он первый поставил эту задачу правильным образом и что, начиная с «Подлиповцев», все дальнейшие его произведения более и более стремятся сделать эту постановку совершенно ясною и общедоступною. Г-н Решетников первый показал, что русская простонародная жизнь дает достаточно материала для романа, тогда как прочие наши беллетристы, затрогивавшие этот предмет, никак не могли выбиться далее коротеньких и малосодержательных рассказов.

Но люди, которых соединяет такой гнетущий интерес, как борьба за существование, уже по этому самому не могут давать место большому разнообразию типов. Все они,

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) или, по крайней мере, громадное большинство их, живут как один человек. Отсюда новая характеристическая черта народного романа – та черта, что в нем главным действующим лицом и главным типом является целая народная среда. В разбираемом романе г. Решетникова является очень много действующих лиц (в особенности укажем на Пелагею Прохоровну, представляющую, по нашему мнению, тип прелестнейшей русской женщины), но рядом с ними является великое множество других лиц, являющихся на минуту в качестве «неизвестных» и потому кажущихся посторонними для хода романа; но, в сущности, на этих-то лицах и строится весь роман. Где-нибудь на Никольском рынке, на барках, на заводах Обводного канала и Охты совершается нечто такое, что самого истого героя романа внезапно перевернет вверх дном, расстроит все его соображения и надежды и погонит в ту или иную сторону. Кто совершит это «нечто», так решительно влияющее на судьбу простолюдина? – его совершит эта толпа «неизвестных», эта совокупность неделимых, из которых каждый имеет свой личный роман, но в то же время каждый до такой степени впадает в жизнь каждого, что никакая личная драма не может иметь места иначе, как в связи с драмою общюю

Вот эту-то неразрывную связь г. Решетников и дает нам чувствовать на каждой странице своего романа, и мы думаем, что покуда народные массы еще не в состоянии выделять из себя отдельных героических личностей, эта точка зрения на художественное воспроизведение народной жизни есть единственно верная.

В заключение нелишним считаем сказать несколько слов и о недостатках нового романа г. Решетникова. Эти недостатки общи и прежним его произведениям, а именно: большая неловкость в построении романа, неумение распорядиться материалом и великое изобилие длиннот, которые делают чтение романа весьма утомительным. Недостаток знакомства с беллетристическими образцами чувствуется на каждом шагу; должно думать, что с устранением его г. Решетников выиграет очень много.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. I. Литературное объяснение с Н. А. Некрасовым. М. А. Антоновича. II. Post-scripium. – Содержание и программа «Отечественных записок» за прошлый год. Ю. Г. Жуковского. СПб. 1869 \*

После довольно продолжительного молчания гг. Антонович и Жуковский вновь вступили на поприще русской публицистики и, как всегда водится в подобных торжественных случаях, ознаменовали свое вступление особого рода подвигом. Не надо думать, однако ж, чтоб этот подвиг заключал в себе что-либо необычайное или чтобы он был совершен в интересах добра и истины; нет, это просто горькое воспоминание о некоторых личных неудачах и разочарованиях, соединенное с невинным поползновением выместить эти неудачи и разочарования даже не на тех, кто был главною и действительною их причиной (до тех-то, в ком собственно и заключается источник всевозможных литературных неудач, пожалуй, рукой не достанешь), а на тех, кто находится ближе под руками. Предпринятый, с таким расчетом, подвиг имеет вид довольно сердитый и в то же время обходится чрезвычайно дешево.

Главным поводом для совершения этого сердито-дешевого подвига послужили гг. Некрасов и Елисеев. Способность, которою обладают эти два писателя, очаровывать стоящих близко к ним людей, так велика, что равняется лишь способности очаровываться, которою одержимы гг. Антонович и Жуковский. Первый из них целых три года, последний в продолжение пяти месяцев находились в самых близких сношениях с названными писателями, и в течение всего этого времени ни тот, ни другой не догадывались, что Некрасов и Елисеев не что иное, как боа-констрикторы, под отуманивающими взглядами которых они совершенно задаром разыгрывали роли очарованных кроликов. Эта недогадливость, сама по себе очень замечательная, приобретает под пером наших дебютантов характер настолько трогательный, что читателю действительно остается только сказать: ну да, это кролики! Это подлинные, несомненные кролики! Стоило г. Некрасову произнести «страстную речь», чтобы в сердцах их мгновенно прозяб и расцвел целый цветник; стоило кому-то сказать во «Внутреннем обозрении» «Современника» несколько искренних слов о литературных и не литературных звонарях, чтобы в умах их поселилось убеждение, что сей некто ни под каким видом, помимо них, Антоновича и Жуковского, не войдет ни в какое литературное дело. Одним словом, очарование было почти паническое и до такой степени полное, что потребовалось не меньше трех лет разлуки, чтобы кролики вышли из оцепенения. Но здесь невольно возникает вопрос: а что, если вновь как-нибудь опять случай сведет Некрасова и Елисеева с названными выше добровольными кроликами? Например, на улице или в обществе?

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Оцепенеют ли они вновь или не оцепенеют?

Как ни интересна, однако ж, история этих оригинальных отношений гг. Антоновича и Жуковского к гг. Некрасову и Елисееву, мы не имеем ни надобности, ни повода заниматься ею в той мере, как она того заслуживает. Думаем, что гг. Некрасов и Елисеев, ежели пожелают, сами сумеют очистить себя от взводимых на них обвинений в констрикторстве, вероломстве и других не менее важных преступлениях. Но так как гг. Антонович и Жуковский по поводу своих личных неудач и разочарований заблагорассудили мимоходом бросить грязью в весь вообще нынешний состав редакции и сотрудников «Отечественных записок», то мы считаем нелишним рассмотреть те упреки, которые делаются нашему журналу, независимо от гг. Некрасова и Елисеева.

Упреки эти главным образом формулируются так:

I. По Антоновичу, нынешние редакторы и сотрудники «Отеч. записок» – не литераторы и даже не люди, а просто «разная шушера и шелуха из «Современника» (стр. 54). По Жуковскому, в настоящее время Некрасова, как редактора «Отеч. записок», окружают люди «гроша не стоящие» (стр. 117), то есть совсем не то, как было, например, в «Современнике», когда Некрасова подпирали два таких столба, как Антонович и Жуковский, за которых, конечно, грош дать можно.

Нельзя не сознаться, что такие определения, как «шушера» и «шелуха», весьма сильны; но презренная энергичность этих выражений не должна изумлять читателя, если он припомнит, что они принадлежат перу того самого г. Антоновича, который, в 1865 году, отправным пунктом полемики между «Современником» и «Русским словом» поставил то положение, что г. Благодетель имеет обыкновение спать в лакейских на барских шубах. Тем не менее в настоящем случае этот свойственный г. Антоновичу полемический прием замечателен тем, что обращен к лицам, с которыми полемист был несколько лет сряду сотрудником по журнальному делу и которых он, в то время, не признавал или, по крайней мере, не смел признавать ни «шушерой», ни «шелухой». Конечно, в виду откровенных признаний о многолетнем цепенящем действии Некрасова и Елисеева, недогадливость гг. Антоновича и Жуковского и способность их подчиняться всякого рода «очарованиям» не могут подлежать никакому сомнению, но все-таки трудно допустить, чтобы и кролик мог быть до такой степени кроликом, чтобы не избежать чарующего влияния даже таких лиц, которые, в сущности, не стоят другого названия, кроме «шушера» и «шелуха». Мы знаем, что гг. Антонович и Жуковский, со свойственной им ругательною находчивостью, возразят нам: мы, дескать, и тогда точно так же смотрели на нынешних сотрудников «Отеч. записок», как смотрим теперь, но по обстоятельствам и т. д. Но это будет не возражение, а неловкий изворот. Такого рода оправдание еще может быть принято, с грехом пополам, от какого-нибудь лжелиберала, увлекающегося перспективою материальных благ, но всем известно, что гг. Антонович и Жуковский суть не только подлинны либералы, но и столбы... страдающие излишнею способностью очаровываться. Зачем они работали заодно с «шушерой»? зачем они терпели ее присутствие в том святилище, в котором они воздевали руки, преклонялись, благоговели и произносили возгласы? Ведь с «шушерой», «шелухой», с людьми, которые «не стоят ни гроша», ни одной минуты и ни по каким обстоятельствам не могут оставаться такие люди, коим цена грош? И вот, однако ж, эти грошовые люди идут вместе несколько лет сряду и ни одним словом, ни одним жестом не показывают, что их блазнит оттого, что товарищи их по журнальной деятельности на одну сотую копейки против них дешевле... Скажите, читатель, не загадочное ли это дело? и не доказывает ли оно, что даже легкомысленной недогадливости и способности очаровываться должны быть известные пределы, за которыми эти сами по себе невинные качества делаются уже просто непозволительными? Нам скажут, может быть, что характер распри с Некрасовым сам по себе так важен, что делает неизбежным бросанье грязью даже в тех, кто хотя и не прикосновенен к этой распре непосредственно, тем не менее имеет какое-нибудь дело с этим отягченным преступлениями лицом; но, к сожалению, мы и это возражение не можем принять за основательное. Во-первых, мы положительно не видим в названной распре никаких признаков серьезности и замечаем в ней только следствие некоторых неудавшихся денежных расчетов; во-вторых, только истинно ребяческое тщеславие может ставить вопрос так: Некрасов, бывший многолетним моим другом, с нынешнего дня, вследствие личного моего усмотрения, сделался моим врагом, а следовательно, всякий, кто с ним встречается, сидит в одной комнате, работает в одном журнале и т. д., становится ipso facto [25] моим врагом и заслуживает от меня наименования «шушеры», «шелухи» и человека «гроша не стоящего».

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
В самом деле, представьте себе, читатель, что вы русский литератор, что вы занимаетесь литературной профессией, во-первых, потому, что она всего более отвечает вашим склонностям; во-вторых, потому, что вы, по мере ваших сил, надеетесь принести пользу общественному самосознанию; в-третьих, наконец, потому, что литература доставляет вам известное материальное обеспечение. Может быть, вы ведете ваше дело слабо, может быть, вы заблуждаетесь насчет суммы и качества приносимой вами пользы – это вопрос другой, – но, во всяком случае, и усилия ваши, и даже заблуждения (если справедливо, что тут есть заблуждения) вполне добросовестны. И вдруг невесть откуда набегают какие-то люди, очевидно находящиеся в состоянии невменяемости, которые из-за того, что не получили у Некрасова хороших кондиций и снедаемые бессильной яростью на бывшего хозяина, мимоходом бросают и в вас «шушерой», «шелухой» и наименованием людей «гроша не стоящих». Скажите, не глубочайшее ли это несчастье вдруг, нечаянно, без всякого повода получить подобное укушение? Где, в каком другом общественном положении, можно встретить подобное явление? Сколько лет и в каком протухлом уединенном месте должны были прожить эти пользующиеся правом невменяемости кусатели, чтобы воспитать в себе столь чудовищную неразборчивость в обращении с словом?

И кто бросает в нас эту презренную брань? Кто те «Платоны» и «славные разумом Невтоны», которые осмеливаются смотреть на нас с высоты величия! Это, с одной стороны, г. Антонович; это, с другой стороны, г. Жуковский... Памятны ли кому-нибудь сии знаменитые незнакомцы? Какие их права думать и заявлять печатно, что ни один порядочный журнал не может существовать без их содействия, что одних их имен достаточно, чтобы привлечь к журналу целую уйму «шатающихся» подписчиков?

Нет спора, что гг. Антонович и Жуковский были далеко не бесполезными членами редакции «Современника»; нет спора, что даже и теперь, в виду брошенной ими в нас «шушеры» и «шелухи», мы никак не позволим себе назвать их прохвостных дел мастерами, выдающими себя за ювелиров; но ведь ампула «полезностей», которое они занимали и занимают до сих пор в нашей литературе, настолько скромно, что никаких особых прав не дает, а тем менее права смотреть на род человеческий с горделивым презрением. Чем же можно объяснить себе такое изумительное явление? Как растолковать, что два полезных незнакомца вдруг возмнили себя центром вселенной и вследствие того объявляют, что всякий, кто случайно или не случайно не находится с ними, есть шушера, шелуха и человек не стоящий гроша?

Ответ на эти вопросы может дать нам только следующее изречение Екатерины II, сказанное ею хотя и по обстоятельству совершенно другого рода, но весьма подходящему к настоящему случаю, а именно: «Сии люди сложения унылого и все видят (кроме себя, прибавим мы) в темно-черном виде; имеют воображения довольно, и любят распространять гипохондрические и уныльные мысли».

Да, это именно не более как «унылого сложения люди»; это явления, пропущенные психиатрией. Читатель с трудом свыкается с мыслью, чтобы могли существовать такие субъекты, которые, при полном обладании умственными способностями, позволили бы себе наскакать на людей, относящихся к ним, по малой мере, индифферентно. Мы думаем даже, что для того, чтобы совершить такой подвиг, необходимо предварительно устроить свою жизнь на таких основаниях, которые не имеют ничего общего с самыми простыми условиями человеческого общежития.

II. Второй упрек, делаемый «Отеч. запискам», составляет имя г. Краевского, ежемесячно появляющееся на обертке журнала. На это мы можем отвечать категорически. Г-н Краевский ответственный редактор, а потому и имя его печатается на журнале. Но из этого вовсе не следует, чтоб г. Краевский присвоивал себе право на стеснения, которые, по предположению гг. Антоновича и Жуковского, должны испытывать от него лица, занимающиеся ныне редакцию «Отеч. записок» и сотрудничающие в них. В действительности единственное ограничение, которое могут иметь и действительно имеют в виду наши сотрудники, – это закон 6 апреля 1865 года.

Но при этом г. Антонович, чтобы тверже установить предположение о солидарности между г. Краевским и нынешней редакцией «Отечественных записок», предлагает вопрос: пользуется ли г. Краевский благами от издания журнала? На это отвечаем: да, вероятно, пользуется, но это нимало не может стеснять (по крайней мере, нравственно) ни редакцию, ни сотрудников «Отечественных записок», а может стеснять разве одного г. Антоновича, добровольно принявшего на себя роль контролера над благоприобретениями, делаемыми гг. Краевским и Некрасовым.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «Шушера», «шелуха» и «люди не стоящие гроша», которых мы исключительно и имеем в виду защитить здесь от наездов людей, коим цена грош, наверное не хуже этих последних понимают, как важно разрешение вопроса о распределении благ, доставляемых журнальным делом (об этом зри ниже), но так как это разрешение, по-видимому, зависит не от них (и даже не от гг. Антоновича и Жуковского), то с их стороны уже и то имеет немаловажное значение, что они не считают этого вопроса солидарным с их нравственным отношением к журналу и не подчиняют последнего первому.

Очевидно, стало быть, что все предположения г. Антоновича о нравственной зависимости «Отечественных записок» от г. Краевского и о солидарности этого журнала с «Голосом» суть предположения или праздные, или преднамеренно ядовитые. Мы склонны даже думать, что в них скорее участвует преднамеренность, нежели простое легкомыслие. Мы убеждены, что для составителей разбираемого памфлета (а тем более для г. Жуковского, который, как видно из его признаний, имел даже переговоры об участии в нашем журнале) вопрос этот настолько же ясен, как и для нас самих, но для чего-то им необходимо затемнить его. Не для того ли, чтобы возбудить для журнала какие-нибудь затруднения со стороны цензурных формальностей? Очень может быть; но в таком случае, зачем же вы, г. Антонович, обвиняете, и притом голословно (стр. 12), г. Некрасова в том, «будто бы он пробовал средства заставить вас замолчать или не пустить в литературу»? Сами-то вы что другое делаете (и притом совершенно сознательно), как не то самое, в чем вы гадательно обвиняете других?

III. Третий упрек – недостаток и даже отсутствие либерализма. По мнению гг. Антоновича и Жуковского, либерализм, предъявляемый нынешними «Отеч. записками», есть лжелиберализм и ничего не стоит сравнительно с тем либерализмом, которого единственными сосудами были (да сплыли) они, гг. Антонович и Жуковский. Г-н Антонович, впрочем, соглашается, что бывают обстоятельства, когда даже и такие патентованные вместилища либерализма, как, например, он и г. Жуковский, не могут либеральничать столько, сколько бог на душу положит, но все-таки, по мнению его, это дело поправимое. Против подобных неблагоприятных обстоятельств, говорит он, существуют известные «маневры», к которым издревле прибегала русская либеральная литература. Первый из этих «маневров» заключается в том, чтоб выбрать какой-нибудь нелиберальный сосуд, например, «московскую пару» – Каткова и Леонтьева (в pendant [26] к которым теперь устроилась петербургская пара: Антонович и Жуковский), или Краевского, или Некрасова, и начать их обстреливать (то есть вот так, как в настоящем случае: назвать «шелухой», «шушерой» и т. д.).

Второй маневр, предлагаемый тем же глубокомысленным публицистом, состоит в том, что в тех случаях, когда «либеральной литературе неудобно давать прямые и верные ответы на известный вопрос, то следует ограничиваться опровержением неверных ответов».

При всем нашем уважении к журнально-стратегическим способностям автора знаменитых полемических статей, от которых, впрочем, довольно благополучно отделялся г. Благосветлов, мы не можем признать за предлагаемыми им маневрами ни особенной премудрости, ни целесообразности. Подобно страусу, г. Антонович думает, что, спрятавши голову под крыло, он сделает невидимым все свое тело. Но это не так. Не надо забывать, что предлагаемые маневры (и, между прочим, от частого и неловкого употребления их. г. Антоновичем) сделались до того общеизвестными, что даже и обмануть никого не могут. К сожалению, и до сих пор необходимость заставляет иногда даже «шелуху» и «шушеру» прибегать к указываемым средствам, то есть не прямо относиться к вопросам, а маневрировать по поводу их; но, независимо от того, что такой способ литературной пропаганды сам по себе до крайности противен для тех, которые вынуждены прибегать к тому, мы можем, с полным знанием дела, сообщить г. Антоновичу, что люди, препоставленные для наблюдения за «маневрами», сделались не в пример прозорливее, нежели в те счастливые времена, когда маневрировали гг. Антонович и Жуковский. Отсюда – почти постоянные неудачи «маневров»; отсюда же указание опыта прибегать к ним, по крайней мере, настолько редко, чтобы журнал не казался наполненным одними «маневрами». Конечно, есть один «маневр», для которого всегда и безвозбранно все двери настезь отверсты – это есть друг друга и самих себя, но так как это специальность гг. Антоновича и Жуковского, то мы и оставляем ее за ними.

В противоположность г. Антоновичу, г. Жуковский самого дурного мнения о либеральных маневрах. По мнению его, преступления «Отеч. записок» именно в том и заключаются, что они прибегают к «фразеологии» и «либеральным загвоздкам» (а в

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) чем же, по вашему мнению, состоит сущность как бывших, так и настоящих маневров г. Антоновича?), в то время когда «одновременно решается вопрос о торговле государством и его промышленности, свирепствует неурожай и голод в нескольких губерниях, решается вопрос о повинностях и проводится целая сеть железных путей». При этом г. Жуковский с полной развязностью утверждает, что разъяснение всех этих вопросов не только полезно, но и вполне доступно для либеральной литературы, ибо не может даже повести разъяснителей за пределы тех легальных границ, которые предоставлены русской литературе.

Мы сами очень хорошо сознаем слабые стороны нашего журнала и даже соглашаемся, что в нем чувствуется недостаток именно в статьях, имеющих интерес непосредственный и практический. Но нас поистине изумляет, что упрек подобного рода приходит к нам от г. Жуковского и что он, а не всякий другой, является поборником «элементарного представления» разного рода сведений, которое он рекомендует нам, как наилучший в настоящее время способ литературной пропаганды. В этом случае г. Антонович кажется нам более последовательным и верным своему прошлому: он как был при маневрах, так и остался при них; а г. Жуковский вдруг из упорных маневристов делается поборником «элементарных изложений»!.. Что это такое? действительное ли обращение? или просто недобросовестный полемический прием? Мы, конечно, скорее думаем, что это не более как неловкий полемический прием, употребленный с тем, чтобы укорить «Отеч. записки», с одной стороны, в отсутствии характерных статей, а с другой стороны, в недостатке статей бесхарактерных, то есть таких именно, какими должны быть и всегда бывают «элементарные изложения». Очевидно, что знаменитая «петербургская пара» еще так недавно спарилась, что даже не успела прийти к согласию даже насчет такого важного вопроса, как необходимость или ненужность «маневров».

Но с нашей стороны было бы большою ошибкою не воспользоваться этим случаем, чтобы объяснить и г. Жуковскому, а вместе с тем публике, почему отдел «элементарных изложений», как выражается автор разбираемого памфлета, или статей, имеющих в виду потребности текущей жизни, как выразились мы сами, не достигает в «Отеч. записках» желаемого разнообразия и полноты. Прежде всего, «Отеч. записки» журнал не специальный, а общеобразовательный, следовательно, читатель ожидает от него не «элементарных изложений» (то-то насмеялся бы г. Жуковский, если бы мы последовали его совету!), а ясно сформулированного взгляда на тот или другой вопрос. Увещания, делаемые г. Жуковским, на тему об элементарных упражнениях, – такой вздор, которому, конечно, он сам первый не верит; стало быть, вопрос заключается единственно в том, настолько ли умственно развита нынешняя редакция «Отеч. записок», чтобы иметь ясный и оригинальный взгляд на те или другие жизненные явления из указываемых г. Жуковским, например, на повинности, на железнодорожное дело, и ежели она в состоянии обладать таким взглядом, то почему недостаточно высказывает его? Что г. Жуковский отрицает возможность такого развития – это его право, данное ему неполучением хороших кондиций у Некрасова и уполномочивающее его валить в одну яму все, что ни попадет под руку. Но чтобы он внутренне был убежден, что устами его говорит истина, – это, по малой мере, невероятно. В самом деле, ежели вы сообразите, какими вопросами предлагает г. Жуковский заняться «Отеч. запискам», то вы убедитесь, что не нужно быть особенным мудрецом не только для того, чтобы написать на это темные «элементарные изложения», но и для того, чтобы высказать по поводу их совершенно ясные и самобытные суждения. Ведь не особенною же мудростью обладают гг. Катков, Трубников, Скарятин и т. п., а посмотрите, с какою легкостью они каждый день разрешают намеченные вами вопросы. Да и не они одни – эти вопросы разрешаются любым столоначальником. Стало быть, если какой бы то ни было журнал касается этих вопросов с осторожностью, а иногда даже и совсем обходит их, то причина этого заключается не в недостатке ясного их понимания, а в чем-то другом. Вы с снисходительною любезностью упоминаете, г. Жуковский, о «легальных границах», в которых находится русская литература, и приглашаете вплотную наполнить их; но скажите откровенно, возьметесь ли вы со всею точностью определить эти границы, возьметесь ли указать, что входит в них плотно, что не доходит и болтается в них, как в халате, и что переливается за них через край? Нет, ничего подобного вы не сделаете, то есть не определите и не укажете. Если бы вы могли это сделать, то, без сомнения, сами, не говоря худого слова, пустились бы судить и рядить и напечатали бы по каждому вопросу тьму брошюр, которые, конечно, были бы полезнее скандальной книжицы, изданной вами в союзе с г. Антоновичем.

Затем, остальные обвинения в лжелиберализме основаны на том, что «Отеч. записки» не препираются с г. Краевским. Да, это действительно обвинения капитальные, но,

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) несмотря на то что они направлены против нас такими знаменитыми незнакомцами, как гг. Антонович и Жуковский, мы все-таки заранее считаем себя оправданными в них перед судом публики. Мы очень хорошо понимаем, что полемика может представлять собою «маневр», но утверждаем, что это маневр не всегда полезный, а нередко даже надоедающий, чему блестящим примером может послужить полемика г. Антоновича с гг. Благосветловым и Писаревым. Может быть, вы думаете, милостивые государи, что мы, например, и теперь увлечемся вашими ругательствами, что таким образом произойдет у нас непрерывный обмен мыслями, вы нас, мы вас, и вы будете под шумок сбывать да сбывать ваши книжицы... Но вы ошибетесь в расчете. Мы сознаем, что это, без сомнения, самый легкий способ прослыть в нашем отечестве публицистами, но в то же время не чувствуем ни охоты, ни надобности полемизировать по поводу неполучения вами хороших кондиций и обещаемся, что настоящая статья есть последняя, которую мы посвящаем вам, хотя бы вы и еще тысячу раз обозвали нас «шушерой», «шелухой» и т. п.

Итак, вот три обвинения, направленные против нынешней редакции «Отеч. записок» двумя столбами русского либерализма, столь усердно подпиравшими г. Некрасова в редакции «Современника». Мы видели, что одно из них равняется площадному ругательству, другое – и фактически, и нравственно неверно, а третье написано на ребяческую тему о маневрах и элементарных упражнениях.

Сверх того, гг. Антонович и Жуковский с любовью и не раз возвращаются к мысли о распределении «благ», приносимых журнальным делом, причем последний, со свойственной ему догадливостью, исчисляет даже сумму (миллиард в тумане), которую, по его мнению, должен г. Некрасов своим сотрудникам (разумеется, бывшим, то есть все-таки Антоновичу и Жуковскому, а не другим каким) за двадцать лет журнальной деятельности. Но на этом остроумном вычислении, к сожалению, все дело и оканчивается; в чем же должны заключаться те «новые основания», о которых, по-видимому, хлопочет г. Жуковский, – он благоразумно умалчивает, хотя и видно, что ему лично хотелось быть «хозяином» не только в редактировании журнала, но и в доходах его. Мы можем сказать по этому поводу, что и сами не прочь от «новых оснований» в журнальном деле, но, по нашему мнению, допущение г. Жуковского, одного или вместе с г. Антоновичем, к роли «хозяина» журнальных доходов все-таки нимало не разрешает этого вопроса. Мы думаем, что, кроме этих знаменитых незнакомцев, есть еще «шушера» и «шелуха», которую тоже удовлетворить не лишнее. Мы очень хорошо понимаем, что вопрос о том, кто должен быть участником в журнальных прибылях, можно довольно легко разрешить, ответив на него: «вы да я», и что через это значительно устраняется дробность в расчетах, но подобное разрешение едва ли может соответствовать выгодам и видам «шушеры» и «шелухи». Нельзя полагать, чтобы «шушера» уже всегда являлась только «шушерой», напротив того, иногда она является довольно пронизательной. А потому, едва ли не целесообразнее было бы, если б вы, вместо того чтоб беседовать с читателем о ваших личных огорчениях, представили ему проект, в котором бы привели основания: 1) как приобщить не только вас с г. Антоновичем, но и «шушеру» и «шелуху» к тем «благам», о которых вы так умильно говорите; 2) какую принять норму для оценки писательского труда, то есть ценить ли все статьи одинаково, руководствуясь только объемом их, или же принимать в соображение и степень дельности и талантливости, с которыми они написаны; и 3) на кого возложить или как устранить тот риск, который сопряжен с изданием журнала, в том случае, если он не будет иметь успеха в публике? Вот если вы разрешите эти насущные в журнальной практике вопросы, то мы будем вам весьма благодарны.

В заключение повторяем: мы не имеем ни надобности, ни права заниматься личной распрю, возникшею между гг. Антоновичем и Жуковским с одной стороны и г. Некрасовым – с другой. Но считаем нелишним обратить внимание на те приемы, к которым прибегает знаменитый либерал г. Антонович для уязвления своих противников. Так, например, он рассказывает, что находил в доме у г. Некрасова какие-то визитные карточки, от которых ему становилось жутко. В другом месте он с удивительною развязностью повествует, какой разговор имели с ним когда-то гг. Елисеев и Слепцов. Нет спора: это действительно полемический прием, довольно близко подходящий к «маневру», но спрашивается: затем ли г. Некрасов пусквал вас в свою квартиру, чтоб вы занимались разбором находящихся у него визитных карточек (хорошо еще, что не писем)? затем ли гг. Елисеев и Слепцов разговаривали с вами, чтобы вы их подлавливали и предавали слова их тиснению?

Нет, не затем. Им, вероятно, и на мысль не приходило, чтобы вы, относительно их частных сношений и разговоров, предприняли систему домового обыска и даже устранили при этом понятия, которые могли обеспечить правильность и

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) неприязнительность обыска. Во всяком благоустроенном обществе само собою предполагается, что публичный деятель в своих частных сношениях, в своих разговорах, то есть вообще у себя дома, – действительно настолько дома, что самая мысль о непрерывном домовом обыске устраняется, как нечто нелепое и дикое... хотя бы эти обыски предпринимались и с либеральными целями. Торквемадство, даже и либеральное, есть явление настолько противное человеческой природе, что общества цивилизованные все усилия свои прежде всего устремляют к тому, чтобы оградить себя от наплыва его, и только тогда считают себя достигшими действительной свободы, когда успевают в этом ограждении. Конечно, примеры подобного либерального торквемадства в истории нередки, но мы, по совести, не можем их одобрить. Так, например, известный либерал XVIII века Феофан Прокопович (см. сочинение Г. Чистовича: «Феофан Прокопович и его время») таким образом формулировал допросные пункты некоему Аврамову, написавшему против него обличение: «В известном сем, от вас затянном действии, с кем ты входил в общество и беседы о сем, а наипаче не сообщал ли ты о сем особам знатным, и до кого из знатных лиц имянно ты прихаживал и об сем имел разговоры, а как часто, и что советовали?» и т. д. и т. д. Нельзя не сознаться, что подобная манера относиться к пациенту довольно язвительна, но в тоже время всякий, кто провел свою жизнь не на цепи и не в уединенном месте, согласится, что есть в ней и нечто в высшей степени уродливое.

ПОВЕСТИ, ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ М. СТЕБНИЦКОГО (автора романов «Некуда» и «Обойденные»). 2 тома. С портретом автора. 1868 и 1869 \*  
Имя Г. Стебницкого получило известность с 1863 года, то есть с того времени, когда его знаменитый роман «Некуда» в первый раз появился в печати. Это произведение пера Г-на Стебницкого имело для него самого роковое и почти трагическое значение: по милости этого романа литературная репутация его сразу была составлена, известность упрочена и судьба его, как писателя, тут же решена была навеки. Этим романом он сам собственноручно подписал себе приговор, которого уже не в силах изменить никто, даже сам Г. Стебницкий. Все, что было им писано прежде, и все, что он писал впоследствии, уже не имело и не могло иметь существенного влияния на его литературную карьеру по той причине, что она была уже сделана. Роман этот был решительным шагом. Подобный шаг писатель может делать только один раз в жизни, но этого раза совершенно достаточно на всю жизнь. Произведения такого рода составляют событие, после которого можно, пожалуй, и ничего не писать и ни о чем больше не беспокоиться, потому что получить в литературе почетное место Стебницкого или Булгарина это значит, так сказать, приобрести некоторое право на бессмертие, это почти то же, что сделаться членом Французской академии.

Но известно, что славу, – какая бы она ни была, худая ли, хорошая ли, – обыкновенно изображают с трубою. Это значит, что появление нового громкого имени никогда не обходится без скандала: всякое такое событие имеет свойство производить в обществе и в литературе некоторого рода переполох, сеять смуты и поселять раздоры. Знаменитый роман «Некуда», стяжавший славу Г-ну Стебницкому, не избежал этой участи; тотчас же по выходе в свет он возбудил в публике междоусобие: одни стали говорить, что роман списан с натуры и что поэтому он имеет громадное обличительное значение; другие же утверждали, что это вовсе и не роман, а просто сбор разных сплетен, следовательно, он и значения никакого иметь не может. По этому поводу между спорящими вспыхнул перекрестный огонь; с обеих сторон посыпались насмешки, ядовитые намеки и т. д. О романе кричали много, он был руган и переруган несчетное число раз, наконец, самое имя Г. Стебницкого приобрело какой-то особенный смысл, которым одна партия поносила другую. Таким образом, обряд причисления Г-на Стебницкого к лику бессмертных обошелся ему не даром. Но интереснее всего в этой истории было то, что как во время самого разгара смуты, так и впоследствии – литературная критика относилась к роману «Некуда» совершенно безучастно и ни разу не удостоила его разбора, которого, по-видимому, следовало ожидать, судя по впечатлению, произведенному романом. В журналах действительно появлялись довольно часто, особенно вначале, разные так называемые «отзывы»; но все они, во-первых, отличались краткостью, а во-вторых, были совершенно чужды обыкновенных критических приемов. Отзывы эти были не более не менее как частные взрывы личного негодования, это была просто-напросто брань. Авторы «отзывов», говоря о романе, даже не трудились указывать страницы, по их мнению достойные порицания; никто не приводил ни одной цитаты, никто не выписывал ни одной строки из романа в подтверждение своих слов, а все его ругали; ругали огулом «за все», ругали сплеча, кратко, но сильно, даже с каким-то соревнованием: точно каждый спешил от своего усердия принести свою посильную лепту в общую сокровищницу и только боялся, как бы не опоздать к

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) началу. Само собою разумеется, что во всем этом поголовном ругательстве было очень много ожесточения и ни на волос не было того, что мы привыкли понимать под словом «критика».

Но этого мало, что критики не было; ее и не могло быть; а не могло быть потому, что изделие г-на Стебницкого, известное в продаже под названием «Некуда», никогда не было литературным произведением; стало быть, и относиться к нему как к настоящему роману не только не было надобности, но даже и не было никакой возможности. Эта особенность романа «Некуда» и была причиной того, что журналистика признала его не подлежащим суду литературной критики, а смотрела на него как на житейское дело, как на личный подвиг г-на Стебницкого, за который он обязан отвечать перед судом общественного мнения. Эта же особенность была, вероятно, причиной и того, что даже из людей, сочувствующих г-ну Стебницкому и вполне разделяющих его мнения, ни один не решился вступить за него печатно и заявить свою солидарность с автором романа «Некуда». У каждого из этих господ хватило настолько такта, чтобы отмолчаться и даже виду не показывать, что они втайне ему сочувствуют. Наконец, и сам г. Стебницкий своими действиями вполне подтвердил мнение о нелитературности его произведения. Он принял отзывы о своем романе прямо на свой личный счет, то есть видел в них не критику своих произведений, а просто-напросто личное для себя оскорбление, и отвечал на это бранью. И в этом случае он был совершенно прав: брань он не принимал за критику, ибо очень хорошо понимал, что это брань. Он одного только не мог понять и не понимает, как видно, до сих пор, что ему за роман ничего больше и получать не следовало...

И действительно, роман «Некуда» – это своего рода феномен в русской литературе; такой же точно феномен, как, например, Юлия Пастрана или знаменитый бык о шести ногах. Конечно, интерес, возбуждаемый в публике этого рода знаменитостями, может быть, для них и не совсем приятен, но, с другой стороны, положение феномена имеет также свои удобства. Шестиногого быка, например, ни один пастух, вероятно, не пустил бы к себе в стадо, а другие быки, может быть, и не признавали бы в нем товарища, но зато и он, как феномен, не лишен некоторых особенных привилегий: он смело глядит в глаза мясникам, его не гоняют по грязи, он не мокнет на дожде, проводит время в праздности и не подчиняется правилам, установленным для прогона скота, потому что он не простой бык, а феноменальный. Точно так же и Юлией Пастраной быть, положим, не особенно весело, но зато ведь и к нравственным качествам подобного существа нельзя относиться с особою строгостью. Таким образом, все феноменальное имеет как бы свои права. Роман «Некуда», как феномен, тоже их имеет, почему и нельзя его судить особенно строго.

История об этом знаменитом романе давно уже кончилась и, как всякая знаменитая история, успела всем надоесть настолько, что, кажется, позволительно было бы оставить ее в покое; к несчастью, оказывается, что сам г. Стебницкий смотрит на дело иначе: он не только не думает оставлять ее в покое, но даже уверен, что она вовсе не кончена; он не только сделал в последнее время новое покушение поднять ее на ноги, но даже придумал для этого очень оригинальное средство. Более года тому назад он издал первый, а теперь издает и второй том своих сочинений под названием «Повести, очерки и рассказы». Читатель, купивши эту книгу, думает, конечно, что он купил именно такую книгу, какую хотел купить; и действительно, подвергнув ее предварительному осмотру, видит, что все означенное в заглавии находится налицо и что обмана тут нет никакого. Только уже по прочтении книги он убеждается, что за два рубля он приобрел не книгу, а апелляционную жалобу г. Стебницкого. Само собой понятно, что и книга г. Стебницкого, точно так же как его роман, никаким образом не может быть рассматриваема с точки зрения литературной критики, потому что и в ней литературные интересы принесены в жертву личным интересам автора; но зато она может быть предметом изучения как курьез, подобного которому в русской литературе еще не было. С этой стороны книга оказывается не только занимательною, но даже и назидательною. Главное достоинство ее состоит именно в том, что в ней автор с обязательною предусмотрительностью собрал все, что только мог, для того, чтобы облегчить читателям знакомство с своею особою. И действительно, в этом отношении сделано все, начиная с портрета, гравированного в Нюрнберге, и кончая самыми разнообразными сведениями о частной жизни автора и об отношениях его к разным лицам. Благодаря этой заботливости г. Стебницкого, читатель знакомится с автором романа «Некуда» так же легко и приятно, как будто встретил его где-нибудь у своих знакомых и был ему лично представлен. При этом он узнает: какое участие г-н Стебницкий принимал в журналистике, какую роль он играл в истории петербургских пожаров и почему уехал за границу, что он там делал и как

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) разочаровался в «новых людях». Наконец, желающие могут узнать самым положительным образом, в котором году какие убеждения имел Г. Стебницкий и почему сменил их на другие, а также кого именно он считает своими врагами и за что они его преследуют. Все эти сведения собраны очень тщательно и рассыпаны везде, но больше всего встречаются в письмах под названием «Русское общество в Париже». Эти письма, можно сказать, битком набиты сарказмами, которыми автор из Парижа поражал своих врагов, проживающих в России. Поэтому читателю нетрудно догадаться, что, читая книгу Г-на Стебницкого, не следует обращать слишком строгого внимания на заглавия и что, в сущности, все эти «повести, очерки и рассказы», о которых упоминается в оглавлении, служат только канвой для объяснений его с читателем, которого он непременно желает во что-то посвятить и что-то ему открыть. Такое внимание со стороны Г-на Стебницкого хотя и лестно, но чем дальше, тем оно становится стеснительнее и наконец естественным образом приводит к вопросу, однако на что же, собственно говоря, это нужно? Читатель, как известно, человек снисходительный и его можно заставить читать все, что угодно, но с одним условием: прежде всего он желает знать, на что ему это нужно. Более или менее удовлетворительный ответ на этот вопрос, конечно, отыскивается и в книге Г-на Стебницкого, но, говоря откровенно, это не так-то легко дается.

Чтение этой книги, особенно на человека, незнакомого с литературной деятельностью Г-на Стебницкого, производит очень странное впечатление. Сначала решительно невозможно понять, что такое делается с автором, почему он, заговорив об одном, вдруг перескакивает на другое: примется, например, рассказывать какую-нибудь повесть и вдруг ни с того ни с сего начинает огрызаться на кого-то в сторону или старается разжалобить читателя рассказами о том, как несправедливы и безжалостны к нему люди. Сначала эта странность сбивает с толку читателя; ему начинает представляться, что за Г. Стебницким в самом деле кто-то гонится, что его преследуют, что ему угрожает какая-то опасность... Но чем больше вчитываешься, вдумываешься и соображаешь, тем яснее выходит, что вся эта раздражительность и некоторая путаница в мыслях автора происходят от того, что кто-то его обидел. Почему, когда и как это случилось – добраться довольно трудно, но что это так, что автор действительно обижен, – это не подлежит никакому сомнению. Доказательством этому служат, во-первых, жалобы на несправедливости и гонения, которым подвергался автор от своих врагов, и, во-вторых, надежда, выраженная им в одном письме из Парижа, что «бог и более беспристрастное потомство» оценят его со временем; и, наконец, тон, преобладающий в книге. Это именно такой тон, которым обыкновенно говорят обиженные люди, какой-то сбивчивый тон: не то жалуется человек на кого-то, не то грубит, и, уж во всяком случае, о чем бы ни начал говорить, непременно сведет на врагов.

Эта щекотливость и раздражительность сквозит у него в каждой строке и проглядывает всюду. Заговорит ли он о том, например, что русский народ невзыскателен и желания его ограничены – непременно прибавит, что он и сам «не гонится за идеальной справедливостью и за идеальным осчастливлением всего человеческого рода огулом», за один прием, потому что он не теоретик, ни Современника, ни Русского Слова не читал; начнет ли сокрушаться о том, что иностранцы бранят Россию – тут же заметит: «А свои родные нигилисты еще лучше обрабатывают». Примется ли рассказывать историю, как одному русскому эмигранту «блеснула счастливая мысль скомпрометировать Г-на Стебницкого перед правительством», написал ему возмутительное письмо, которое могло быть прочитано на почте, – сведет на то, что этот эмигрант потому осмелился написать такое письмо, что, по глупости, вообразил себе, будто всякий русский писатель должен «исповедовать писаревский принцип: бей направо и налево, что уцелеет, то останется».

Благодаря этому тону, большая часть повестей и рассказов Г-на Стебницкого, в особенности же «Парижские письма», приобретают чисто полемический характер, и читателю в этом случае поневоле приходится быть каким-то посредником между автором и его врагами. Спрашивается, однако ж, к чему это нужно? Очевидно, что это нужно только самому автору, Г-ну Стебницкому; что ему одному необходимо показать, что его преследуют безвинно и что он вовсе не такой человек, каким его считают по милости врагов. «Письма из Парижа», о которых неоднократно упоминается выше, были написаны автором к редактору покойной «Библиотеки для чтения», в которой и напечатаны в свое время. В настоящем, «исправленном и дополненном» издании этих писем беспрестанно попадают рассуждения о таких событиях, которые, во-первых, совершились в России, а во-вторых, гораздо позднее выхода «писем» в их первоначальном виде; как, например, о возвращении Г-на Кельсиева и его книге «Прожитое и продуманное», которая, как известно,

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) напечатана только в прошлом году. Таким образом, выходит, что г. Стебницкий писал из Парижа в 1863 году о том, что должно было совершиться в 1868 году, то есть ровно за пять лет вперед! Это он называет: «дополнить и исправить». Но это, конечно, еще беда небольшая; известно, что наш читатель человек до крайности сговорчивый и заводить спор из пустяков не станет; рассказывайте ему все, что хотите, только бы было интересно; начните ему рассказывать о Париже, он будет вас слушать, а вместо того сведите на неуважение к властям, он и на это согласен; даже это еще лучше, если хотите. На эту-то сговорчивость г. Стебницкий, как видно, и рассчитывал, дополняя и исправляя по мере надобности свои парижские письма. В чем, собственно, состоят эти дополнения и какого они свойства, видно, например, хоть из следующего примера.

Рассуждая в одном месте своей книги о деликатности чехов, г. Стебницкий вдруг ни к селу ни к городу замечает, что «от этой милой черты (то есть от деликатности) очень далеки наши наглые и невежественные революционеры, считающие в обязанностях своего звания рвать всем носы и наступать на ноги, пока не получат сами хорошей затрещины». Понятно, что здесь неожиданная выходка против революционеров есть следствие бессознательного сродства идей. Заговорил он о том, что чехи вообще очень деликатны и никого не обижают, – и вдруг вспомнил о людях, которые рвут носы; это воспоминание рассердило его, и вот ему сейчас же захотелось их за это обругать и пригрозить хорошею затрещиною, которой они дождутся когда-нибудь за свою наглость и невежество. И при этом ему не пришло даже в голову, что читатель непременно должен спросить, какие же это такие «наши революционеры» и где мне их видеть, г. Стебницкий?

Но на этот вопрос читатель, разумеется, ответа не дождет, потому что выходка о наших революционерах безотчетна и скоропостижна. Подобные дополнения встречаются у г. Стебницкого даже и в повестях; например, в повести «Леди Макбет Мценского уезда» автор рассказывает об одной бабе – фионе и говорит, что она никогда не отказывала ни одному мужчине, и затем прибавляет: «Такие женщины очень высоко ценятся в разбойничьих шайках, в арестантских партиях и социально-демократических коммунах».

Все эти дополнения о революционерах, отрывающих всем носы, о бабе фионе и о нигилистах-чиновниках – без всякой связи рассеяны там и сям в книге г. Стебницкого и служат только доказательством того, что у автора время от времени бывают какие-то особые рода припадки, причем у него является не столько злостное, сколько забавное желание – вдруг размахнуться по воздуху. Но все-таки, должно быть, и сам он чувствует, что это средство для уничтожения врагов еще недостаточно сильно, что одним грубиянством не проберешь, и поэтому пускается на хитрость: заведет, например, разговор о каком-нибудь постороннем предмете, положим, о народности в литературе, и тут же схвастанет, что он отлично знает русский народ, совсем не то, что, например, Успенский и Якушкин, а гораздо лучше.

«Я, – говорит он, – не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе на гостомельском выгоне, с казанком в руке, я спал с ним на росистой траве ночного под теплым овчинным тулупом» и т. д., и, несмотря на это, все-таки до такой степени скромно, что даже несколько не гордится этим перед товарищами. Затем вдруг объясняет, что «я, говорит, перенес много упреков за недостаток какого-то неизвестного мне уважения к народу». Это все, разумеется, напраслина, потому что г-ну Стебницкому сроду никто никогда никаких упреков не делал, и сам г. Стебницкий это очень хорошо знает; но эти упреки ему нужны. Нужно с чем-нибудь подойти к читателю, он и выдумал упреки. Затем он уже продолжает: «Я равнодушен к этим упрекам не потому, что, с тех пор как я пишу, меня только ругают (вот оно!) и я привык знать, что эта ругань значит и сколько она стоит; но насчет упреков в так называемом нечестном отношении к народу я равнодушествую не по привычке к лаю, раздающемуся вслед за каждым моим словом из всех литературных нор и трещин, приютивших издыхающих нигилистов, а потому, что имею уверенность...» и т. д.

Вот для чего г. Стебницкому непременно нужно было, чтобы его упрекали в неуважении к народу. Совершенно для того же нужно было ему, заговорив о русских женщинах, проживающих в Париже, свести речь на опасности, угрожающие семейному быту. «Посмотрите, – говорит он, – на этих дочерей, честных, лелеянных, составлявших радость семейства и убегающих из этих семейств на растление, в вертепы петербургских нигилистов!» Одним словом, о чем бы он ни начал говорить, можно смело заранее дать подписку, что в конце непременно будут нигилисты. И

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) действительно, это у него какой-то кошмар: нигилисты не дают ему покоя, они его со света сживают; даже за границей он не мог от них скрыться, и там они везде становились ему поперек дороги.

Многие отечественные беллетристы писали и против русского нигилизма, и по поводу его; можно даже сказать, что значение этого учения (до сих пор, однако ж, никем обстоятельно не разъясненного) в последнее время до того усилилось, что для деятелей нашего литературного вертограда сделалось ясно, что без этой лакомой приманки почти невозможно залучить к себе внимания публики. Даже г. Гончаров, до сих пор очень скромный, и тот в последнее время счел нелишним заявить, что в стремлениях современного молодого поколения нет ничего «прочного, живого и верного» и что надобно, по малой мере, обратиться за полстолетия назад, чтобы заснуть с уверенностью, что вас не обокрадут, не соблазнят и не попросят взаймы денег. Но ни у одного из русских писателей так называемый нигилизм не является тем давнящим кошмаром, каким он представляется в произведениях г. Стебницкого. Для гг. Тургенева, Гончарова, Писемского и других нигилист – это не более как особенная разновидность человека, представляющая опытным беллетристам случай показать, что они так глубоко поняли тайны человеческого сердца, что даже такая мрачная пучина, как сердце нигилиста, – и та не осталась для них сокровенною. Они относятся к нигилистам, конечно, не без внимательности, но вместе с тем все-таки помнят, что «делу время, а потехе час», и затем у них сейчас же пойдут писать: Татьяны Марковны, братья Кирсановы, Марфиньки, Одинцовы – одним словом, все те, которые, по мнению почтенных авторов, воплощают в себе «прочное, живое и верное». Одним словом, нигилист в глазах этих писателей – это только новое полезное украшение в повествовательной литературе, несколько более пикантное, нежели прежние Стародумы и Правдины, но настолько, однако ж, насколько текущая современность более пикантна современности давно прошедшей. Совсем иначе смотрит на нигилизм г. Стебницкий. Нигилизм для него – это поэма всей его жизни, это нечто вроде «Потерянного рая». Ни один из его героев – ни одна Платонида, ни один «Овцебык» не существуют в его глазах сами для себя; все это призраки, которые дают только повод вызвать другой, ненавистный, но вечно милый призрак: призрак нигилизма.

В пользу этого призрака он жертвует всем: и запасом своей наблюдательности, и теми проблесками дарования, которые, по временам, пробиваются в его произведениях. Когда беллетрист относится к своим героям несвободно, когда он задумал в одних из них совокупить всевозможные добродетели, в других – изобразить порождение ада, то весьма естественно, что он и в самой фабуле романа становится рабом своего умысла, что он заставляет героя убивать, тогда как, по ходу вещей, ему следует спасать, грубить, когда следует приносить чувствительную благодарность. Вместо таланта выступает сноровка, вместо наблюдательности – инсинуация. Вот эти-то качества именно и преобладают в произведениях г. Стебницкого. Он не пишет повесть, а делает ее. Его герои идут не туда, куда следует, говорят не так, как следует, питаются не тем, чем следует. А отчего? Оттого, что есть некоторый «Потерянный рай», который смущает мысль автора.

Не доказывает ли это, что и в «Потерянном рае» имеется своего рода сладость, утрата которой может привести человека в немалое беспокойство?

СОЧИНЕНИЯ Я. П. ПОЛОНСКОГО. Два тома. СПб. 1869 \*

Значение второстепенных деятелей на поприще науки и литературы немаловажно. Они полезны не только в качестве вульгаризаторов чужих идей, но иногда даже в качестве вполне самостоятельных исследователей истины. Мысль заключает в себе источник такого богатства выводов и применений, около которого могут найти для себя пищу не только так называемые инициаторы, но и просто люди с чутким и восприимчивым умом. Очень часто от внимания инициаторов ускользают подробности весьма существенные, которые получают надлежащее развитие лишь благодаря их последователям. Эти последние дают новые подкрепления возникающим жизненным вопросам, проливают на них новый свет и отчасти даже видоизменяют их. В этом случае относительное достоинство второстепенных деятелей определяется, во-первых, широким и ясным пониманием внутренней сущности (а не буквы только) того или другого учения и, во-вторых, способностью развивать его и обогащать новыми выводами и применениями.

Если мы ограничим нашу речь о второстепенных писателях одною беллетристикой, то увидим, что и в этой сфере сказанное выше может быть приложено с полным основанием. В литературе, даже не весьма богатой, всегда существует довольно большое количество различных школ, в состав которых входят люди талантов весьма

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) неравных. Каждая школа имеет и своего мастера, и своих подмастерьев и чернорабочих, но критика, конечно, была бы неправа, если б одних мастеров признавала подлежащими ее суду, а писателей, идущих по их стопам, оставляла в забвении. Во-первых, это было бы несправедливо, потому что второстепенность отнюдь еще не равняется отсутствию таланта, а означает только недостаток почина, а во-вторых, пренебрежение к подражателям может сделать ущерб самому критическому исследованию в том отношении, что оставит без разъяснения те характерные стороны школы, для изучения которых подражатели почти всегда представляют материал гораздо более разнообразный и яркий, нежели сами образцы.

Что г. Полонский писатель второстепенный и несамостоятельный, с этим согласится всякий, кто прочтет на выдержку хоть несколько строк из изданных им ныне двух томов сочинений; но ежели бы мы захотели определить, к какой он принадлежит школе, какому образцу следует и каким мирозерцанием вдохновляется, то встретили бы большое затруднение. По-видимому, он эклектик, то есть берет дань со всех литературных школ, не увлекаясь их действительно характеристическими сторонами, а ограничиваясь сферами средними, в которых всякое направление утрачивает свои резкие особенности. Такого рода прием, быть может, весьма благоразумен в том отношении, что не дает повода обвинять прибегающего к нему писателя в слишком наглых заимствованиях или в явном опoшлении образцов, но он опасен в том смысле, что может породить значительную долю вялости и бесцветности.

В литературном произведении нет недостатка более нестерпимого, как вялость и безличность. Преувеличение, напыщенность, шаржи приводят читателя в негодование, но иногда могут даже подкупить его; вялость всегда оставляет его равнодушным. Подражатель наименее самостоятельный найдет больше участия в публике, нежели бледный эклектик, производящий свое литературное взяточничество втихомолку со всех знаков, произрастающих на литературной ниве. Встречаясь с первым, публика знает, что она услышит напоминание того, что ей почему-либо дорого или почему-либо ненавистно; ей кажется, например, что г. Авдеев совсем не г. Авдеев, а просто псевдоним Тургенева, под которым последний издает свои произведения поплoше, но отчего же не почитать ей и плохих произведений Тургенева? Напротив того, встречаясь с эклектиком, она рискует услышать одно бессодержательное сотрясение воздуха. Бесконечная канитель слов, связь между которыми обуславливается лишь знаками препинания; несносная пугливость мысли, не могущей вызвать ни одного определенного образа, формулировать ни одного ясного понятия; туманная расплывчивость выражения, заставляющая в каждом слове предполагать какую-то неприятную загадку, – вот все, чем может наградить своего читателя второстепенный писатель-эклектик.

Г-н Полонский очень мало известен публике, и это, как нам кажется, совсем не потому, что он писатель только второстепенный, а потому, что он, благодаря своей скромности, записал себя в число литературных эклектиков. С именем каждого писателя (или почти каждого) соединяется в глазах публики представление о какой-нибудь физиономии, хорошей или плохой; с именем г. Полонского не сопрягается ничего определенного. Во внутреннем содержании его сочинений нет ничего, что поражало бы дикостью; напротив того, он любит науки и привязан к добродетели, он стоит почти всегда на стороне прогресса, и все это, однако ж, не только не ставится ему в заслугу, но просто-напросто совсем не примечается. Начните читать любое стихотворение этого автора, и вы можете быть уверены, что во время чтения будете чувствовать себя довольно хорошо; но когда вы кончите, то непременно спросите себя: что ж дальше? Конечно, это вопрос совершенно праздный, ибо если г. Полонский будет продолжать говорить тридцать лет сряду, он все-таки никогда не упразднит вопроса: что ж дальше? но как хотите, а неизбежность подобного вопроса не лишена своего значения. Ведь ежели бы все русские авторы писали так, что за прочтением их произведений непременно следовало бы требование: дальше! – то это равнялось бы упразднению русской литературы и, сверх того, изнурило бы самих авторов без всякой для дела пользы.

Прочтите, например, следующее стихотворение, которое положительно может назваться одним из лучших во всем собрании.

Царство науки не знает предела,  
Всюду следы ее вечных побед –  
Разума слово и дело,  
Сила и свет.  
Гордая Муза! не бойся коварства! (?)

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Крикни толпе: отзовись хоть один!

Этого светлого царства

Кто гражданин?

В темной толпе мы не много услышим

Братски отзывных, живых голосов:

Много ли дел мы запишем?

Много ли слов? –

Слов, разрешающих наше сомнение,

В чем наша сила и где наш покой.

Вещих и полных значенья

Правды святой.

Миру, как новое солнце, сияет

Светоч науки, и только при нем

Муза чело украшает

Свежим венком

Кончено или не кончено? или разъяснения загадки должно ожидать в следующем номере? Постараемся, однако ж, разгадать ее теперь же.

«Царство науки не знает предела» – это так, по крайней мере, в том смысле, что мы, современники, этого предела указать не можем. «Всюду следы ее вечных побед» – и это так, хотя тоже не безусловно, ибо нам известны целые учреждения, которые заведены именно с целью противодействовать победам науки, и, следовательно, несут на себе лишь в весьма слабой степени следы этих побед. «Разума слово и дело, сила и свет» – это уж совсем не так, ибо не наука родоначальница разума, а разум родоначальник науки. «Гордая Муза! не бойся: коварства» и т. д. Это тоже совсем не так: во-первых, с какой тут стати приплетено «коварство»? во-вторых, если видны «всюду следы ее (науки) вечных побед», то, стало быть, не для чего и ревизовать толпу, потому что она несомненно составляет часть этого «всюду», а тем более поручать эту ревизию Музе, которая двух фраз сряду не может сказать, чтобы не впасть в противоречие. «В темной толпе мы не много услышим» и т. д. Да, действительно, услышите очень мало, но потому-то именно и не следует обращаться к «темной толпе», если желаешь что-нибудь услышать, кроме «ура». «Миру, как новое солнце, сияет» и т. д. В этих четырех стихах что ни слово, то загадка. Для чего нужен светоч науки для Музы, которая не может связать двух понятий? для чего только при этом светоче Муза «чело украшает свежим венком»? почему непременно «свежим», а не просто венком? по поводу чего все это взбрело в голову? какая связь между наукой и украшением чела Музы свежим венком?

И наконец, все-таки что ж дальше? Ну, положим, «светоч науки сияет» и «Муза при нем украшает» – неужто ж этим дело и покончено? Куда же девалась «темная толпа», которую вы только что вывели на сцену? или это было только вводное предложение, или просто-напросто бессознательная модуляция голоса, нужная для того, чтоб не сразу прийти к изображению Музы, «украшающей чело»? А между тем сделать это сразу было бы гораздо естественнее и стихотворение много выиграло бы, если б было напечатано в следующем виде:

Царство науки не знает предела,

Всюду следы ее вечных побед, –

затем две строки точек, как будто вымарала цензура, и продолжаем так:

Миру, как новое солнце, сияет

Светоч науки, и только при нем

Муза... –

опять две строки точек, дабы читатель мог думать, что, благодаря светочу науки, Муза перестает ветреничать и делается способною к логическим выводам.

Нам могут сказать: помилуйте! да вель это поэзия! можно ли строго с нее взыскивать! Позвольте, милостивые государи! Конечно, вопрос о соглашении поэзии с здравым смыслом еще не разрешен вполне, но все-таки нам кажется, что те имеют очень фальшивый взгляд на поэзию, которые не видят в ней ничего противного бессмыслице. Пора, наконец, приучаться употреблять слова в их действительном значении, пора и поэтам понять, что они должны прежде всего отдать самим себе строгий отчет в том, что они желают сказать.

ЗАПИСКИ О СОВРЕМЕННЫХ ВОПРОСАХ РОССИИ, составленные Георгием Палеологом. СПб. 1869 г

Когда наши дедушки писали свои мемуары, то в них можно было встретить только такого рода отметки, которые ни прямо, ни косвенно не касались политической

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) современности. «Тогда-то выпал град с голубиное яйцо», «тогда-то был в гостях, из которых воротился довольно-таки весел» – вот незатейливые факты, за пределы которых не переходила скромная литературная деятельность добрых хранителей нашей юности. Они слишком высоко ценили значение литературы, чтобы вносить в занятие ею какие-либо раздражающие элементы; сверх того, они и потому уже обязывались быть воздержными в разглагольствиях, что арену для их литературной деятельности обыкновенно служили белые листки, вклеиваемые в академический календарь предусмотрительною его редакцией. Им они обязывались поверить сполна все свои горести и радости, а так как число белых листков было ограничено, то весьма естественно, что это обстоятельство сдерживало порывы старческой болтливости в пределах благоразумия.

Ныне все это изменилось. 19-го февраля 1861 года выпал такой град, величина которого равнялась яйцу гусиному; дедушки поехали в гости и в первый раз в жизни воротились из оных не веселы; они поехали при звуках песни:

Ладушки! ладушки!

Где были? – у бабушки! –

но в гостях их попотчевали такую неслыханною стряпнею, что старички, не дождавись ни «кашки», ни «бражки», разъехали по домам, изумленные, голодные и недовольные. Мысли их внезапно усложнились; в их лексикон насильственно вторглись неведомые дотоле слова. «Эмансипация», «реформа», «антагонизм» – вот выражения, которыми в то время наиболее украшалась речь русского человека. Для нас, свидетелей иной современности, значение этих слов, конечно, раскрылось настолько, что невинность их сделалась очевидною для каждого; но в то время они были еще очень таинственны, а известно, что ничто так не угрожает и не устрашает, как таинственность, к которой никто не решается подойти, предполагая за ней бог весть какие чудеса.

Долгое время старички крепились и поверяли свою тоску все тем же белым календарным листочкам, начертывая на них факты антагонизма, нашедшего для себя исход в неисправной чистке сапогов и неучтивом подавании тарелок. Но постепенно, поощряемые дешевизною бумаги и благосклонной снисходительностью начальства, они ободрились и начали предавать свои заметки тиснению, делая таким образом публику соучастницей их невинных измышлений. Сколько помнится, первыми, робкими деятелями на этом поприще явились Н. А. Безобразов и Гр. Бланк; за ними последовали «Московские ведомости», имея во главе публициста В. Ржевского, но последовали, должно сказать правду, нерешительно и очевидно смешивая эмансипацию с ненавистным им сепаратизмом и нигилизмом; наконец, орган крупных землевладельцев «Весть» привел это дело в совершенную ясность, отделив его от нигилизма и сепаратизма и сделав арену «реформ» доступною для всех желающих. Благодаря постоянным усилиям этого почтенного органа, всякий желающий может ныне свободно беседовать с публикой о какой угодно реформе, нимало не стыдясь и даже не стесняясь правилами правописания.

Если б книга г. Палеолога, заглавие которой выписано нами выше, была издана в 1861 или даже в 1862 году, то появление ее можно было бы счесть гражданским подвигом. В то время Россия, в буквальном смысле слова, изнемогла под бременем усиленных надежд, возбужденных крестьянской реформой и теми преобразованиями, которые ожидалась вслед за нею. Все ждали, все говорили: золотой век не позади нас, а впереди, вот здесь, сейчас подать рукою; все надеялись вкушать от плодов вольнонаемного труда. В такую горячую минуту услышать отрезвляющее слово, сказанное хотя и неуверенным голосом, было, конечно, далеко не бесполезно, и многие были бы весьма признательны автору за то, что процесс охлаждения, благодаря его содействию, совершился бы пятью минутами раньше, нежели он совершился в действительности. «Опомнитесь, безумцы! – мог бы сказать г. Палеолог тогдашним энтузиастам, – знаете ли вы, к чему, например, поведет проповедуемая вами отмена телесных наказаний!» – и затем ему стоило бы только нарисовать мрачную картину своеволия, пьянства, дикого разгула и лености, краски для которой всегда имеются в готовности на палитре любого доморощенного Теньера, чтобы энтузиаст самый пламенный немедленно охладел. Это был бы подвиг. Но ныне подобные угрозы совершенно утратили свое воспитательное значение: во-первых, отмена телесных наказаний, в тех резких формах, которые наиболее возмущали нравственное чувство, есть факт уже совершившийся, и, следовательно, возвращаться к нему значит только дразнить самого себя, а во-вторых, мы и без угроз достаточно отрезвились, чтобы понять, какую услугу может принести наказание на теле в видах укоренения нравственности и чувства долга в тех, для коих нравственность и чувство долга останутся неразрешимой загадкой до тех пор,

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru)  
покуда они не будут введены в их сознание путем спины.

Сочинение г. Палеолога можно назвать полною энциклопедией по части реформ последнего времени. Ничто не минуло его пронизательности, начиная от вопроса о вольнонаемном труде и кончая вопросом о заготовлении провианта и фуража для войск; на каких-нибудь 260 страницах он посетил мысленно все закоулки нашего государственного устройства и всякой замеченной им подробности успел дать хотя не очень сложную, но вполне откровенную оценку. Не надо думать, что почтенный автор относится к реформам с порицанием; он слишком учтив для того, чтобы позволить себе такую бестактность, и потому всякой оценке неизменно предпосылает несколько сочувственных и благопожелательных слов. Но он не энтузиаст и не может быть таковым, потому что этому препятствует тот здравый принцип, из которого он выходит и который заставляет его под каждым цветком прежде всего усматривать змею. Этот принцип, заключающийся в том, что всякому государству следует давать только то, чего оно заслуживает, проводится им очень тонко и осторожно. «Для нравственного обсуждения политических и административных вопросов, говорит он, прежде всего нужно определить основное начало известного государственного строя и с этой точки зрения рассматривать ту или другую административную меру», и затем объясняет, что основное начало русского государственного строя есть самодержавие. С этим положением, конечно, невозможно не согласиться, потому что оно неотразимо подтверждается и свидетельством истории, и не менее непрерываемым свидетельством Свода законов Российской империи. Остается, стало быть, приступить к рассмотрению каждой реформы в отдельности и показать, согласны ли сделанные в последнее время самодержавной властью преобразования с теми основными принципами, на которых она покоится?

Но тут-то именно и доказал г. Палеолог, что он или недостаточно уяснил себе ту задачу, которую сам себе сгоряча поставил, или слишком поверхностно отнесся к ней. Вышедши из того здравого принципа, что не основное начало должно искать соглашения с подробностями государственной жизни, а наоборот, он впоследствии совершенно удалился от своей исходной точки и приступил к рассмотрению реформ вполне независимо от идеи, которая, по-видимому, руководила им первоначально. От этого у него и вышло не исследование в действительном значении этого слова, а просто блуждание без всякой определенной цели, кроме желания высказать некоторые личные взгляды и мнения, до которых никому нет дела. Ему следовало бы показать, в каком отношении находится к принципу власти каждая из дарованных ею же реформ, а он, вместо того, ограничился только изложением своих личных вкусов. Подрывает или, напротив, усиливает власть такая, например, административная мера, как смягчение дисциплинарных наказаний в войсках? или введение системы военно-окружных управлений? или отмена откупов? – вот что предстояло разрешить почтенному публицисту, но, к сожалению, мы напрасно стали бы искать в его книге ответа на эти важные вопросы, ибо г. Палеолог, поставив их в предисловии к своим критическим этюдам, не только забыл об них впоследствии, но исключительно наполнил свое сочинение довольно бессвязными толками на тему: что русскому здорово, то немцу смерть, или, лучше сказать, наизнанку этой темы.

Нечего и говорить, как было бы любопытно, если б г. Палеолог в своей критике реформ удержался на высоте принципа, высказанного им в предисловии. Мы, конечно, узнали бы многое, о чем и «не снилось нашим мудрецам», и узнали бы именно в том смысле, в каком это всего более должно нас интересовать. Какая нужда нам до мнения автора, что акцизная система распространила в России пьянство в ужасающих размерах, или до того, что смягчение дисциплинарных взысканий заставило командиров отдельных частей, как уверяет почтенный автор, «записывать как можно больше подчиненных в штрафной журнал», дабы приобрести этим право наказывать на теле большее число людей? Что все это, как не жалкие подробности, все значение которых зависит от большей или меньшей степени согласия их с «основным началом»? Для нас важны не пьяные, изнемогающие под игом бессознательности, и не нижние чины, вновь попадающие, благодаря ловкости командиров отдельных частей, в ту область телесных наказаний, из которых они извержены законом; для нас важен вопрос: ослабляет ли распространение пьянства то основное начало государственного устройства, о котором говорит автор в своем предисловии, или, напротив того, усиливает его? соответствует ли сохранению этого начала эмансипация человеческой спины или не соответствует?

Повторяем: автор не захотел или не сумел удержаться на той принципиальной высоте, которую сам себе указал вначале, и заставил читателей довольствоваться его личными вкусами и воззрениями на реформы нынешнего царствования. Может быть, он вынужден был поступить так потому, что довольно трудно провести ясную связь

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) между пьянством, например, и основным началом какого бы то ни было государственного строя; но в таком случае было бы лучше или совсем не трогать подобных задач, или прямо сказать: не нравятся мне эти реформы не потому, чтобы я что-нибудь в них понимал, а потому, что кругом они меня обидели и изнурили. Так, по крайней мере, поступили бы наши дедушки, о которых мы упоминали в начале нашей статьи. Но нынче, по-видимому, так поступать нельзя, ибо подобное отношение показалось бы слишком наивным. Нынче везде необходима инсинуация, везде прежде всего потребно указать на злоумышление, бунт и измену. Нет нужды, что эти инсинуации лишены всякой логической последовательности, что они привлекают к бунту то самое «основное начало», против которого предполагаются направленными злоумышления, выраженные реформами, – наши инсинуаторы не формализируются подобными безделицами, как отсутствие логики и здравого смысла. Они надеются, что главная суть их инсинуаций будет понятна, несмотря на оговорки, которые ее запутывают, что их задача в том только состоит, чтобы в данный промежуток времени выпустить как можно больше всякого рода хульных и бессодержательных слов, а там, дескать, и без нас разберут, что до кого относится. И должно сознаться, что эти надежды не всегда лишены основания и что успех «хульных слов» вовсе не обуславливается их доказательностью.

Чтобы читатель мог судить, до какой степени неприхотливы вкусы и требования г. Палеолога, выпишем здесь хоть один образчик взглядов его на предметы, насчет которых он взял на себя труд поучать публику. Вот, например, что он говорит по поводу смягчения дисциплинарных взысканий в наших войсках, смягчения, несомненно, обусловленного не одними требованиями гуманности, но и соображениями практического опыта.

«По ныне действующему уставу, ротный командир и эскадронный могут подвергать телесному наказанию только штрафованных. Уже непрактично то, что здесь нарушается равенство прав между нижними чинами...»

Далее:

«Не лучше ли было бы оставить в руках ротных и эскадронных командиров право телесного наказания? Это лучше уже потому, что так дело было бы прямее и равномернее. Все нижние чины были бы равны между собой, без этой разности прав штрафованных и не штрафованных»...

И еще далее:

«Мы предвидим и знаем, как гуманные теоретики напустятся на нас за то, что мы сейчас сказали»...

Мы не будем оспаривать взглядов, заключающихся в приведенных выше кратких выдержках, но считаем своею обязанностью предостеречь г. Палеолога, что сказанное им о необходимости телесных наказаний может быть истолковано совершенно противно намерениям автора. Употребляя столь охотно слово «равенство», он может ввести в заблуждение читателя и прослыть за демагога и тайного поборника тех разрушительных идей, которые обыкновенно отводятся в удел «гуманным теоретикам». Что нужды, что его «равенство» совсем особое, что оно влечет за собою лишь одинаковое для всех право пользоваться наказанием на теле: читателя нельзя заставить быть прозорливым, как равно и нельзя ограничить область его понятий о равенстве одною сферою телесных наказаний. Если он испытал на себе силу так называемого «сцепления идей», то легко может отыскать для идеи «равенства» и другие применения, о которых, быть может, почтенный автор совсем даже не помышляет.

НЕДОРАЗУМИЕ. Повесть в трех частях Данкевича. С.-Петербург. 1869  
Когда известные формы жизни, несмотря на обветшалость, находят себе искусственную поддержку отчасти в недальновидном упорстве одних, отчасти же в бессознательности и малодушии других, то из этого возникает множество недоразумений, которые, незаметно вкрадываясь в существование человека, охватывают его со всех сторон. При помощи привычки эти недоразумения не только не поражают заинтересованные в них стороны, но даже кажутся совершенно естественными и находят горячих поборников, которые охотно прибегают к насильственным средствам, чтобы отсрочить их падение. Творческая сила общества как бы иссякает; не общество становится зиждителем своих внутренних распорядков, но, напротив того, являясь распорядки совсем готовые, завещанные отсталою мудростью предания, и втягивают в себя всех без исключения членов общества: и

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) дальновидных и недальновидных, и смелых и робких. В таком положении дела, чем более сознательно жизнью живет человек, тем более горьким делается для него существование. Нет спора, что сознательность сама по себе представляет большое утешение, и наслаждения, доставляемые ею, могут поддерживать и ободрять человека в борьбе с запутанностями жизни, но, с другой стороны, та же сознательность немало подливает и отравы, раскрывая безвыходность положения, доказывая бесплодность борьбы и больнее растравляя и без того наболевшие раны. Обязанность признания разумности неразумного есть одна из самых мучительнейших; она мучительна не только потому, что возмущает совесть человека, но и потому, что, при помощи продолжительной и непрерывно повторяющейся практики, налагает на действия человека печать автоматизма. Встречаясь во всех сферах жизни лишь с бессрочными обязательствами, человек принимает эти обязательства совсем не вследствие сознания их пригодности для его счастья, а только потому, что непринятие их было бы равносильно добровольному самоисключению из жизни. Не так живи, как хочется, или лучше сказать: не так живи, как говорит разум – вот тиранический припев упорно отстаивающей себя искусственности общественных отношений, и когда наконец сама практика приходит разъяснительницею очевидной нелепости ею же наложенных уз, то она приносит не помощь человеку, а, напротив, горшее подтверждение его бессилия и беспомощности. Два выхода возможны в таком положении: или примирение и окончательный автоматизм всех действий, или борьба, истощающая силы и преисполненная всевозможных рисков и опасностей, начиная от мелких придинок и покаяваний и кончая перспективой жить в обществе на правах зачумленного.

В особенности богата всякого рода недоразумениями та область общественных отношений, которая определяет взаимное положение мужчины и женщины. Это, впрочем, и понятно, потому что вопрос об этом положении испокон веку считался преобладающим в обществе. Воспитание наше и до сих пор ведется до такой степени односторонне, что не может быть и вопроса о так называемом гармоническом развитии всех сил и способностей человека. Весьма естественно, что последствием такой односторонности бывает чрезмерное развитие одной какой-либо наклонности на счет всех остальных. Жизнь человека направляется исключительно в одну сторону, поглощается одною страстью, и счастье или несчастье его становится в прямую зависимость от более или менее благоприятного питания этой исключительной страсти. Недаром взаимное влечение мужчины и женщины и донныне, в глазах общества, представляет страсть по преимуществу, то есть такую страсть, подробности развития которой всегда возбуждают любопытство и живое участие общества, тогда как различные фазисы, в которых может находиться всякая другая страсть, встречают в обществе если не полное равнодушие, то участие весьма умеренное. Очевидно, это происходит от того, что господствующие системы воспитания направлены преимущественно на развитие в человеке эстетического чувства и нимало не указывают благотворного и безопасного исхода ни для одного из остальных свойств, определяющих человека. Но в то самое время, когда эти остальные свойства гложут в бездействии, не полагая, таким образом, никакого ограничения господствующей страсти, эта последняя, с своей стороны, подвергается различным искажениям именно вследствие того, что повсюдная ее разлитость привлекла на себя исключительное внимание общества и вызвала такую регламентацию, какой не подвергались никакие другие человеческие отношения, не исключая даже вопроса о власти человека над вещами. По-видимому, однако ж, эта регламентация уже дошла до тех крайних пределов, когда вопрос о ней может считаться вполне созревшим. И действительно, беллетристика всех стран (надобно сказать правду: почин в этом деле положительно принадлежит беллетристике) сделала вопрос о взаимных отношениях полов до такой степени общедоступным, что нет, кажется, того положения, той подробности, которая не была бы исчерпана до конца, нет той коллизии, того мельчайшего страдания, которое не было бы замечено и не нашло бы себе красноречивого толкования. С своей стороны и наука обратила на этот вопрос внимание и, конечно, не замедлит подвергнуть его философской разработке. Следом за беллетристкой и наукой пробуждается и общественное мнение; устраиваются митинги, конгрессы и т. д. Не потому общественное мнение высказывается позднее, чтобы оно чувствовало себя в этом случае менее заинтересованным, нежели литература и наука, а потому, что оно уже давным-давно допускало более или менее значительные отклонения от регламентации и в этом послаблении находило для себя возможность примиряться с нею; теперь же оно ставит вопрос прямо и требует такого разрешения, которое устранило бы не только регламентацию, но и отклонения от нее, как противные человеческой совести. Но, по нашему мнению, вопрос этот, даже и в настоящем его положении, ставится довольно односторонне, ибо и литература, и наука, и общественное мнение все внимание свое, по-видимому, исключительно обратили на так называемое порабощение женщины

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) и ее сравнительно меньшую правоспособность. Мы думаем, что как бы ни был удовлетворительно разрешен этот вопрос, это разрешение все-таки не устранил недоразумений, узел которых лежит в стеснениях обоюдных, а отнюдь не в односторонней подчиненности женщины. Развяжите этот узел, и вопрос о сравнительной неправоиспособности женщины уладится сам собою.

Высказанные нами выше мысли невольным образом возникают при чтении повести Г. Данкевича «Недоразумение». К сожалению, автор, впервые вступающий на литературное поприще, как кажется, слишком увлекся успехами (впрочем, уже отживающими) так называемой художественной школы и потому недостаточно проникся важностью бывшей у него под руками задачи (недоразумение, источником которого служит регламентация отношений мужчины к женщине). По-видимому, он даже преднамеренно устраняет себя от преследования каких бы то ни было задач, полагая, вероятно, что присутствие этого элемента в беллетристическом произведении может только послужить во вред силе творчества и поэзии. Но он ошибается в этом случае и, конечно, сам сознает эту ошибку в то время, когда, вследствие дальнейшего упорного устранения задач (от чего мы его, однако ж, предостерегаем), увидит, что герои его произведений дойдут наконец до того, что будут действовать с той же бессознательностью, с какою ходят по столу мухи. Мысль и творчество отнюдь не враждебны друг другу: мысль есть главный и неизбежный фактор всех человеческих действий; творчество же есть воплощение мысли в живых образах или в ясном логическом изложении. Пора наконец убедиться, что тут совсем не может быть речи о какой бы то ни было враждебности.

ДВИЖЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ. Отделы: I, II, III и IV Д. с. с. Григория Бланка. СПб. 1869

Невнятное бормотание самоучек-философов столь же трудно доступно для чтения и понимания, как и любой трактат трансцендентальной философии. Если в последнем случае чтение затрудняется отвлеченностью содержания, требующей довольно сложной предварительной подготовки, сбивчивостью и необычностью терминологии, то в первом случае внимание читателя без всякой пользы задерживается сумятицей, господствующей в понятиях самого диссертанта, важностью тона, с которою он изрекает неслыханнейшие пустяки, и, наконец, совершенным презрением к каким бы то ни было синтаксическим и этимологическим приличиям. Вы видите человека, торопливо взбирающегося на кафедру; вот он насупил брови и, очевидно, нечто злоумышляет; жилы у него на лбу готовы лопнуть от натуги, ноздри раздуваются, губы трепещут; он то раскрывает уста, то смыкает их и опять раскрывает... Вы удивлены и встревожены; вас даже несколько утомляет зрелище беспрерывно разевающегося и смыкающегося рта; но в то же время вы не прочь допустить и то, что причина происходящих перед вами мучительных потуг имеет источником глубину и обширность соображений, обуревающих диссертанта. Ничуть не бывало. Он натуживается совсем не от того, что ему трудно вытащить свою мысль на свет божий, а от того, что у него совсем нет мысли и он в эту самую минуту ищет ее по всем извилинам своего мозгового вещества. Но вот он наконец на что-то набрел; впопыхах он не замечает, что находка его не только не имеет ничего схожего с мыслью, но что это даже не зародыш мысли, а просто выброшенная за негодностью тряпица, и спешит поделиться с публикой целым трактатом. Вы читаете, видите буквы, слова, останавливаетесь над каждой фразой, вдумываетесь – и все-таки ничего не понимаете. Вы наконец начинаете самого себя обвинять в тупости, в том, что ваша мысль не может стать на один уровень с мыслью писателя-самоучки. Успокойтесь. Вы не понимаете оттого, что тут нечего понимать, что тут либо подлежащее пропущено, либо сказуемое позабыто, либо на связку опущен чересчур непроницаемый покров таинственности.

Философ-самоучка всегда забирается высоко и для представлений самых низменных ищет гегелевских формул. Заберется-заберется куда-то далеко, да там и лопнет. Может быть, это оттого происходит, что являться в публику нараспашку с одними отставными мыслями, похожими на стоптанные башмаки, довольно зазорно; но в таком случае, кто же заставляет всенародно срамить себя, кто препятствует сидеть дома хоть совсем нагишом? Кто? Станный вопрос! Не забудьте, что нет ничего самолюбивее умственной голытьбы, собственным умом дошедшей до каких-нибудь младенческих соображений, и что однажды она дошла до них, ей уже не терпится и не сидится на месте, покуда она не выложит на стол всех грошей, которые ей удалось скопить. Что нужды, что она ходит в стоптанных башмаках, – ей кажется, что никто этого не заметит и что ежели она кой-что подправит, кой-что подмажет, то и отставные мысли, пожалуй, сойдут за настоящие. И вот, с криком: с нами бог! – она входит в самое святилище упраздненных мыслей, ищет там обрывков далекого школьного прошлого, припоминает их, перевирает и в конце концов произносит такую

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) речь, которую не только логически, но и синтаксически разобрать ни под каким видом нельзя.

Заветная мысль г. действ. статск. сов. Григория Бланка известна давно всем, кто хоть поверхностно знаком с литературой по крестьянскому делу. Эта мысль может быть сформулирована так: в России не было рабства, а было крепостное право, то есть такое блаженное состояние, в котором помещик является и просветителем, и промыслителем, и защитником, и упразднение которого должно свергнуть наше отечество в бездну революций. На долю помещика выпадали все заботы: он уплачивал за крестьян подати, он ставил рекрут, наряжал подводы, приходил на помощь крестьянам в неурожайные годы, разливал просвещение, устраивал крестьянские браки и т. д. На долю крестьян приходилось одно: блаженствовать и не грубить. Эту же самую мысль повторяет г. Бланк и в ныне изданном им сочинении, в котором он предположил порядком-таки пожурить кой-кого за реформы последнего времени. Конечно, этой мысли вся цена грош, тем не менее она понятна, и если изложить ее без синтаксических ошибок, то, пожалуй, может даже и сочувственников себе найти в известных сферах. Но в том-то и беда, что г. действ. статск. сов. Григорий Бланк устыдился наготы этой мысли и, вместо того чтобы совсем зачеркнуть ее, вступил в неравный бой с синтаксисом и грамматикой.

Неизвестно, для чего ему понадобилось подкрепить эту мысль какими-то общими философскими положениями. И вот он начинает свою речь *ab ovo*[27] и для пущей важности задает себе следующий вопрос: что такое закон? Закон, говорит он, есть правило для руководства в известных обстоятельствах. Представьте себе, что вы перечитали целые груды книг по части истории и философии права; с другой стороны, представьте себе, что вы не только ничего не читали, но даже никогда не думали о том, что обуславливает и направляет ваши шаги в жизни, – вас одинаково и в том и в другом случае поразит это определение своею неожиданностью. Вы будете над ним думать, думать и думать... Есть что-то такое в природе, о чем вам смутно припоминается, что вы где-то видели или читали, но где именно?.. Ах да! наконец! «В сей лес за грибами ходить запрещается», «в сем месте мочиться не дозволяется», «сей книге цена рубль»... черт возьми! ведь все это законы! все это правила для руководства в известных обстоятельствах! Откуда пришли эти законы – не знаю; но знаю, что я читал их на досках и на обертках книг. И еще знаю, что г. Бланк заявил себя изрядным законодателем, назначивши два рубля за книгу, заключающую в себе меньше трехсот страниц.

Но г. действ. статск. сов. Григорий Бланк идет дальше; он спрашивает себя: как составляется закон? воображая, по-видимому, что закон есть микстура, которую можно составить во всякое время. Ответ: «Для составления закона должны быть известны все обстоятельства государства в полной, истинной своей действительности и общей связи». Но это определение даже воспоминаний никаких не пробуждает, ибо его никто не читал ни на какой доске, ни в каких местах. Какие это «государственные обстоятельства»? какая «истинная действительность»? и может ли быть действительность не истинная? К чему слова эти собраны вместе? Кому и о чем они дают какое-нибудь понятие? И главное, зачем все это было нужно, когда основная мысль сочинения: упразднение крепостного права есть начало революции – сама по себе так понятна, что ухищрениями можно только затемнить ее?

Но до сих пор мы видели г. Бланка в борьбе только с здравым смыслом; далее он уже вступает в борьбу с этимологией и синтаксисом и окончательно изнемогает в ней. Он смешивает «исполнительность» с «исполнимостью», он придумывает смешное слово «актальность». Мало того, рассуждая о том, что закон должен быть исполняем, он говорит: «Слабость исполнительности законов может проявляться со стороны жителей и правительственных органов; если дух законов правилен, благотворен и сообразен с обстоятельствами государства, то первое не бывает без последнего». И только. Где тут подлежащее? где сказуемое? откуда явилось «первое»? какой процесс предшествовал зарождению «второго»? Конечно, ни один смертный не измыслит ответа на эти вопросы.

Все это доказывает, однако ж, ту старую непререкаемую истину, что прежде, нежели писать трактаты, надобно твердо знать грамматику и не показывать слишком явного отвращения к правилам словосочинения. Трудно исчислить все блага, доставляемые твердым знакомством с синтаксисом, но между ними есть одно, которое бросается в глаза особенно ярко. Это благо – говорить и писать так, чтобы вас понимали. Если нам говорят: «Закон есть правило для руководства в известных обстоятельствах», то мы, конечно, этого не понимаем, но не понимаем оттого только, что тут и понимать-то нечего; но когда нам говорят: «То первое не бывает без последнего»,

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) то это уже нас огорчает, ибо кто же знает? будь говорящий несколько более тверд в правилах синтаксиса, может быть, мы и невесть что услышали бы от него...

Еще одно слово: по поводу реформы г. действ, статск. сов. Григорий Бланк считает нелишним упомянуть и о покушении 4 апреля 1866 года. Это сопоставление производит странное впечатление. Ужели и в самом деле г. Бланк думает, что между этими фактами существует какая-нибудь связь? Если ж он не думает этого, то с какого повода, предположив говорить о реформах, давших жизнь нашему отечеству, он примешивает в свою речь воспоминание о происшествии, взволновавшем всю Россию? Нет ли тут желания намекнуть, что стремления, давшие начало реформам, суть те же самые, которые породили и происшествие 4 апреля? Если же нет, то к чему по поводу реформ, всеми и бесповоротно признанных за благодетельные, заводить речь о «пролетариате неразвитых масс» и о «пролетариате развитого меньшинства» и все в связи с 4 апреля? Воля ваша, а тут что-то не просто.

Мы думаем, что с подобными игривыми сопоставлениями пора бы и покончить.

В РАЗБРОД. Роман в двух частях А. Михайлова. СПб. 1870 г  
Жизнь самого обыкновенного смертного настолько сложна, что с трудом исчерпывается общими определениями. Если нам говорят, что такой-то человек добродетелен, а такой-то порочен, то это столь же мало знакомит нас с индивидуумом, о котором идет речь, как если бы нам сказали о прохожем, что он прохожий. Люди, относящиеся к жизни сознательно, никогда не довольствуются подобными определениями, и это вовсе не означает недоверия к лицу, прибегающему к ним, а означает только отвращение от всякого рода бездоказательности, из какого бы источника она ни выходила. С другой стороны, сами люди, делающие подобные определения, всегда чувствуют их недостаточность и идут несколько далее, то есть вслед за определением стараются объяснить его примерами. И не только целая жизнь человека, то есть вся совокупность его поступков, но каждый отдельный поступок имеет свою историю, с помощью которой можно убедительно доказать, что даже дикое самодурство имеет в своем основании известные законы, за пределы которых оно переступить не может. Этого мало: из уст человека не выходит ни одной фразы, которую нельзя было бы проследить до той обстановки, из которой она вышла. Так, например, ежели человек говорит: «обещайте мне работать на пользу ближних, думать больше о других, чем о себе» и т. д. («В разброд», ч. 2, стр. 247), то слушающий эту фразу, если захочет, непременно найдет возможность восстановить тот жизненный процесс, который заставил ее произнести. Этот процесс окажется или нормальным, если фраза сказана искренно (хотя, впрочем, здесь дозволительно некоторое сомнение насчет ясности понятий человека, который ставит какую-то непроницаемую преграду между эгоизмом и любовью к ближнему), или ненормальным, если фраза сказалась ради одного хвастовства и вопреки общему типу убеждений человека. Но во всяком случае процесс существует, и его необходимо объяснить себе, если хочешь понять действительный смысл фразы и убедиться, что она зародилась в человеке, а не где-нибудь в пустом пространстве.

Чтобы сделать нашу мысль более вразумительною, объясним ее примером. По-видимому, нет ничего легче, как рассказать день любого человека. Встал, умылся, занимался с отвращением или с увлечением, читал Дарвина или Аскоченского, обедал, после обеда спал или опять занимался, поехал в театр, оттуда в общество, в котором говорились умные или глупые речи. Но такого рода описание, как ни преисполнено оно будет всякого рода подробностей, не удовлетворит никого. Можно разнообразить его сколько угодно, можно ввести в него не только простое воровство, но воровство со взломом, не только простой либерализм, но либерализм со ссылкой, куда Макар телят не гонял – и все-таки ничего из этого не выйдет. Потому не выйдет, что в жизни нет голых фактов, нет поступков, нет фраз, которые не имели бы за собой истории, которые можно было бы представить себе без всякого отношения к целому ряду других фактов, поступков и фраз. Это понимается всеми, и ценители самые обыкновенные относятся с недоверием к самым характерным подробностям, ежели они поставлены изолированно. Сознательно или бессознательно, но всякий чувствует, что за внешними, разбросанными признаками есть внутренний мир, который связывает поступки человека не одною наружною связью, но приурочивает их к известному типу, в котором и заключается разгадка того или другого поступка, той или другой подробности.

Все это делает роль лица, наблюдающего жизненные явления, и в особенности желающего поделиться своими наблюдениями с публикой, чрезвычайно трудною. В обыкновенных житейских сношениях суждения бездоказательные или не представляющие полного живого образа сплошь и рядом проходят мимо ушей и извиняются

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) невозможностью исчерпать предмет в коротких чертах. Но в сфере литературы подобным извинениям нет места; тут опрометчивость, если даже она соединена с благонамеренностью, не может произвести никакого другого впечатления, кроме изумления. Читатель берет за книгу если не для того, чтобы поучаться, то, во всяком случае, для того, чтобы вынести из нее какое-нибудь общее впечатление; и ежели вместо сознательных мыслей и строго соображенных образов он встречается только с бесплодной тавтологией слов, то это его огорчает. Чем полезнее мысль, чем благотворнее предполагается ее влияние на общество, тем тщательнее она должна быть разработана, потому что здесь неудача не просто обрывается на том или другом авторе, но распространяет свое действие и на самую идею. Истины самые полезные нередко получают репутацию мертворожденных, благодаря недостаточности или спутанности приемов, которые допускаются при их пропаганде.

Мы не сделаем никакой натяжки, если применим сказанное выше к новому произведению г. Михайлова. Несмотря на то что мы в полной мере сочувствуем тем общим началам, которые лежат в основании литературной деятельности этого писателя, мы и теперь не отступаем от отзыва, который был дан нами по поводу романа «Засоренные дороги», вышедшего в прошлом году. По мнению нашему, г. Михайлов стоит на фальшивой дороге, на которой недостатки его с течением времени будут обрисовываться все ярче и ярче и в конце концов совершенно затемнят те достоинства, которые были обнаружены в первых произведениях его пера. Главнейшие из этих недостатков: голословность и чуждое ясности резонерство.

Г-н Михайлов изображает в своих романах преимущественно так называемых «новых людей», которые и представляют у него казовый конец общества. Мы не имеем ничего против этого взгляда, а думаем вообще, что мысль представить в живых образах людей, которых идеалы сложились несколько иначе, нежели идеалы людей сороковых годов, занимавших до сих пор всю ширину нашей беллетристической сцены, есть мысль, заслуживающая всякого сочувствия. Не можем скрыть, однако ж, что у г. Михайлова эти люди выходят как-то чересчур уж бледно, а поступки или, лучше, слова их, напоминают скорее надерганные из новейших прописей изречения, нежели живые поступки и слова. Быть может, нам возражат, что типы, намечиваемые г. Михайловым, еще мало разработаны и трудно поддаются изучению. Стремления современного молодого поколения, скажут нам, обставлены слишком грозно, и авторитетное невежество, обзывая их общим наименованием «вредных идей», устраивает особую обстановку, которая делает доступ к ним почти непроницаемым. Предположим даже, что писатель вполне сознал сущность этих стремлений; ему остается преодолеть еще другую трудность, а именно найти живое слово для выражения их, и притом такое слово, которое не слишком бы шло против течения. Между прочим, ничто так ярко не характеризует того или другого направления, как так называемые крайности его. Эти крайности полагают основание великому множеству разнообразнейших характеров, присутствие которых на арене искусства совершенно необходимо, если мы желаем получить действительную характеристику общества в данный момент. Представьте себе, что возможность вывести подобные характеры устранена, и вы получите разъяснение того факта, почему попытки изобразить типические лица из современного молодого поколения (вне сферы карикатуры и клеветы) почти всегда сопровождаются неудачей. Вот возражение, которое может быть сделано против слишком строгой оценки подобного рода попыток.

Несмотря, однако ж, на относительную вескость этих соображений, вполне согласиться с ними нельзя. Те самые трудности, которые существуют в настоящее время по отношению к людям современного молодого поколения, существовали в свое время и по отношению к людям сороковых годов. Тем не менее мы имеем довольно богатую литературу, из которой можно с достаточной ясностью разгадать настроение, господствовавшее в той небольшой части тогдашнего русского общества, которая не без основания считала себя представительницей либеральных идей. Как ни ревниво ограждает себя большинство от вторжения так называемых «вредных идей», оно не может замкнуться до такой степени, чтобы избежать столкновений, преемственное повторение которых образует борьбу, сначала глухую, но потом все более и более явственную. Скрыть смысл этой борьбы невозможно. Можно преследовать и карать известные личности, но нельзя преследовать целый строй идей, потому что против такого преследования восстанет сама жизнь, задача которой заключается в стремлении вперед, а не назад. Поэтому мы думаем, что какою бы непроницаемостью ни были прикрыты стремления, неприятные авторитетному большинству, публицистика и искусство все-таки имеют под руками достаточное разнообразие средств, чтобы сделать их понятными и доступными для пропаганды. Белинского и Добролюбова понимали все, хотя, конечно, они не менее были стеснены в выражении своих мыслей, нежели современные нам публицисты. Точно так же все

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
понимали Круповых, Бельтовых, Рудиных.

Возвращаясь к г. Михайлову, мы повторяем: при всем уважении к его либеральным намерениям, мы никак не можем признать удачными его попытки познакомить публику с типами «новых людей». Это даже не люди, а марионетки, сохраняющие лишь наружные признаки людей и в то же время остающиеся в совершенном неведении тех побуждений, которые двигают ими. Трудно понять, о чем они хлопчут, чем они недовольны и в чем заключается тот либерализм, за который они страдают. Иногда кажется, что в них есть сочувствие к классу обиженному и обделенному, но по зрелом размышлении нельзя не убедиться, что это только ярлык, наклеенный на них автором, и что деятельно сочувствие это ни в чем не выражается. И еще кажется, что в них есть отвращение к дурному и фальшивому, но в чем заключается это дурное и фальшивое – это опять остается загадкой. Далее общих определений автор не идет; далее поступков, в которых ничего нет, кроме несознанной затверженности, – не показывает. В этом смысле первые его произведения («Гнилые болота», «Жизнь Шупова»), несмотря на свою неясность, были несравненно привлекательнее. Это были просто лирические излияния довольно страстной природы, тронутой известными шероховатостями жизни, и в особенности того ее отдела, который носит название воспитания. Все сказанное в этих произведениях было сказано горячо, хотя и не поражало особенной новизною; все недосказанное было недосказано по праву, потому что и в жизни оно часто остается недосказанным. Энтузиазм, вера в будущее, горячий идеализм без определенных идеалов – вот материал, который доставляет питание героям первых опытов г. Михайлова. В позднейших сочинениях материал хотя остается тот же, но является уже значительно простывшим. Видится усилие сказать что-нибудь формулированное, и в то же время усилие это осложняется попытками на объективность. И что же? – новое слово, произносимое г. Михайловым, является не более как бесцветным общим местом, а претензия на объективность разрешается построением деревянных кукол.

Рассказать содержание нового романа г. Михайлова невозможно, потому что его нет. В романе около шестисот страниц, и нельзя даже утверждать, чтоб он не изобилует внешними событиями; напротив того, их больше, чем нужно, но в том-то и дело, что все они кажутся совершенно излишними. Ни на одном автор не остановился, необходимости ни одного из них не доказал. Его манера ведения рассказа напоминает времяпрепровождение помещиков доброго старого времени: вот, слава богу, мы пообедали – что будем теперь делать? – теперь будем чай пить, и т. д. Странную и даже несколько мистическую мысль положил автор в основание своего романа, а именно: будто бы родители за грехи свои наказываются в детях. Но, оставляя в стороне несостоятельность этого тезиса и рассматривая роман просто как историю развития человека при каких бы то ни было условиях, мы не найдем здесь ничего: ни условий, ни истории. Мы уже говорили однажды (по поводу «Засоренных дорог»), что автор делит человечество на две половины: добродетельную и порочную; эта же самая рутина господствует и в новом романе. Ни доказательств добродетели, ни достаточных указаний порочности не представляется. Как мухи мелькают герои романа, и как мухи же садятся в разброд на разные места без всяких видимых побуждений. И при этом автор заставляет их садиться и сниматься с мест с такою быстротой, которая заставляет предполагать, что этой быстротой он хочет восполнить недостаток внутреннего интереса. Выше мы указали на фразу: «обещайте мне работать на пользу ближних» и т. д. Кто говорит эту фразу? – ее говорит Наташа. Кто эта Наташа? – это Наташа, и больше ничего вы не добьетесь от автора в ответ. Это прохожий, – но кто этот прохожий, какое его мирозерцание и что он значит в общем круговороте жизни – это загадка, которую г. Михайлов и не старается разгадать. В романе его лица не создаются, а как-то невзначай рождаются совсем готовыми и с готовыми фразами на устах...

Еще одно слово: некоторые подробности слишком отзываются заимствованиями; так, например, сцена возвращения к мужу Зины напоминает сцену возвращения жены Лаврецкого в «Дворянском гнезде». Это тоже не говорит в пользу самостоятельности автора.

НЕРОН. Трагедия в пяти действиях Н. П. Жандра. С.-Петербург. 1870  
При появлении трагедии г. Жандра на подмостках Мариинского театра наши газетные рецензенты отнеслись к ней довольно неблагоприятно, а большие журналы даже ни одним словом не упомянули об этом произведении, как будто оно вовсе не появлялось. По нашему мнению, такое отношение критики к «Нерону» не вполне справедливо. Кажется, оно происходит оттого, что критика наша подходит к г. Жандру с меркою Шекспира, тогда как в этом случае совершенно достаточно мерки покойного Кукольника. Между Шекспиром и Кукольником есть довольно большой

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) провал, наполнение которого от г. Жандра совершенно не зависит; но как продолжатель Кукольника, он исполнил свое дело весьма добросовестно и даже пошел несколько далее, ибо совокупил в своей трагедии шесть предумышленных убийств (Британник, Агриппина, Октавия, Сенека, Бурр, Поппея), одно самоубийство (сам Нерон) и один пожар, чего Кукольник ни разу сделать не решился.

По нашему мнению, самая мысль представить Нерона, при начале своего поприща, добрым и либеральным заслуживает величайшей похвалы. Это черта, общая всем хищникам не только в Риме, но и в лесах Южной Америки и пустынях Африки. Тигр, облюбовавший свою добычу и заранее уверенный в том, что она ни в каком случае не ускользнет от него, никогда, однако ж, не набрасывается сразу, но всегда как будто либеральничает или, говоря другими словами, старается внушить к себе доверие. Чтò побуждает хищников поступать таким образом – это доселе тайна, в которую не успели проникнуть даже знаменитейшие исследователи природы, но можно догадываться, что это происходит оттого, что вообще в природе не существует живого организма, который был бы сплошь грубо-жесток, жесток до конца. Самый злой хищник – и тот инстинктивно как бы ищет оправдания своему хищничеству и вполне успокоивается лишь тогда, когда либеральными действиями доводит свою жертву до готовности, то есть до такого состояния, когда она приходит к сознанию, что единственное для нее средство разминуться со стоящею перед ней особою формой либерализма – это быть ею проглоченною. Так Нерон и поступал: сперва либеральничал, потом глотал, убивал, жег, травил зверьми, разбойничал и не только не понимал, что он глотает, убивает и разбойничает, но даже, по-видимому, был убежден, что либеральничает по-прежнему. Повторяем, эта черта подмечена г. Жандром очень верно, и за это одно трагедия его заслуживает полного сочувствия.

Правда, конечно, что все остальное выполнено автором довольно слабо; что герои его действуют несколько легкомысленно; что они слишком злоупотребляют своим правом говорить в сторону и через это ставят зрителя в довольно фальшивое положение: верить или не верить словам действующего лица, которое столько раз уже, сказавши фразу, тут же сряду обращалось к зрителю и говорило в сторону: не верь! это я нарочно! Правда также, что Шекспир, например, никогда не сосредоточил бы шести драм (тут каждое убийство настолько сложно, что может и даже должно быть предметом отдельной драмы) в пределах пяти действий, потому что такое обилие драматических коллизий в данном случае препятствует надлежащему их развитию, а в конце концов образует не трагедию, а кашу, но и за всем тем мы упорствуем в своей мысли, что критика была слишком придирчива к г. Жандру и недостаточно приняла во внимание, что мерка, которою ей предстояло мерить, отнюдь не Шекспир, а только Кукольник.

Мы вполне уверены, что если бы поступок г. Жандра, состоящий в сочинении им трагедии под названием «Нерон», был признан подлежащим ведению общих судов и если б почтенный автор сделал нам честь возложить на нас защиту своего дела, то оно, конечно, имело бы для него исход гораздо более благоприятный. Рецензенты поставили вопрос совершенно ошибочно и сбивчиво; они формулировали его так: «виновен ли г. Жандр в том, что он, желая затмить славу Шекспира, сочинил трагедию в пяти действиях под названием «Нерон», которую поставил на сцене в бенефис г. Нильского?» – и отвечали: да, виновен. Их положение было уже потому затруднительно, что тут явно смешаны два совершенно разные обстоятельства: с одной стороны, г. Жандр действительно виновен, ибо действительно сочинил трагедию, называемую «Нерон», но, с другой стороны, зачем тут припутан Шекспир? Ввиду этих затруднений следовало просто-напросто отвечать: «Нет, не виновен», хотя бы даже в этом ответе и была значительная доля несообразности; но все-таки пусть лучше десять виновных останутся ненаказанными, нежели один невинный понесет наказание незаслуженное. Обыкновенный суд, наверное, понял бы это и предложил бы присяжным заседателям не один, а три вопроса: 1) виновен ли г. Жандр в том, что, сочинив трагедию в пяти действиях под названием «Нерон», представил оную, при содействии артиста императорских театров г. Нильского (это обстоятельство предполагается выяснившимся в продолжение судебных прений), на сцене Мариинского театра? 2) виновен ли он в том, что имел при этом поползновение затмить английского драматурга Шекспира? 3) если во втором преступлении невинен, то не действовал ли в настоящем случае обвиняемый под влиянием русского драматурга Кукольника? Присяжные, с своей стороны, не удаляясь даже в комнату совещаний, объявили бы: на первый вопрос – да, виновен, но по обстоятельствам дела заслуживает снисхождения; на второй – нет, невинен; на третий – да, под влиянием и по подстрекательству русского драматурга Кукольника. По выслушании этого вердикта, судьи, тоже не удаляясь в комнату

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
совещаний, поставили бы следующий приговор:

Имея в виду:

Что г. Жандр присяжными заседателями признан виновным в сочинении трагедии в пяти действиях под названием «Нерон» и в постановке ее, при содействии артиста императорских театров Нильского, на сцене Мариинского театра; причем допущены для виновного смягчающие его вину обстоятельства.

Что вопрос о прикосновенности к сему делу Шекспира устранен присяжными заседателями безусловно.

Что хотя вопрос о подстрекательстве со стороны русского драматурга Кукольника присяжными заседателями разрешен утвердительно; но, с одной стороны, вышеописанного Кукольника, за сделанными розысками, нигде на жительство не оказалось, а с другой стороны, он, Кукольник, обвинительным актом, утвержденным судебною палатой, даже суду не предан, –

Постановили:

1) Предоставить г. Жандру представлять сочиненную им трагедию в пяти действиях под названием «Нерон» на всех театрах Российской империи, с тем, однако же, чтобы окольные люди не были понуждаемы к смотрению ее.

2) Обстоятельства: об английском драматурге Шекспире, за устранением его присяжными заседателями, и о русском драматурге Кукольнике, за неразысканием его на жительство и за непреданием суду, оставить без рассмотрения.

3) Обстоятельство о пособничестве артиста императорских театров г. Нильского, как не бывшее в виду судебной палаты, а обнаружившееся лишь во время судебных прений, передать прокурорскому надзору для возбуждения против г. Нильского преследования.

Таков был бы суд правый, скорый и милостивый. И защита, разумеется, не протестовала бы против него, хотя кассационных поводов тут найдется тьма-тьмуца.

НОВЫЕ РУССКИЕ ЛЮДИ. Роман Д. Мордовцева

Гораздо более г. Жандра виноват г. Мордовцев, и мы даже думаем, что никакой суд, даже самый скорый, не согласится оправдать его. Он виноват в том, что ввел читателя в заблуждение: обещал показать «новых русских людей», и мало того что не исполнил своего обязательства, но вместо людей, по выражению Гоголя, показал одни «свиные рыла». Виновность автора до того ясна, что не требует даже судебного следствия, и весь вопрос заключается лишь в том: с предумышлением или без предумышления совершено им упомянутое выше преступное действие? Или, говоря другими словами, был ли тип «нового русского человека» достаточно для него ясен, чтобы можно было предположить, что извращение допущено тут с заранее обдуманном намерением, или же этот тип был настолько же для него неясен, насколько, например, неясно для писмоносца содержание запечатанного письма, лежащего на дне его сумки?

По свойственному нам благодушию, мы отвечаем теперь же: «да, виновен, но без предумышления», и надеемся, что дальнейшее изложение обстоятельств подтвердит наш приговор без всякой отмены.

В одном месте своей книги г. Мордовцев приводит следующую характеристику «новых русских людей». «Шутя и смеясь, – рассказывает он, – молодежь не говорит пошлостей и не делает их, а в самой шутке преследует идею труда и честности, говорит о науке, о русском деле». В другом месте, устами одного из своих героев, автор выражается так: «Труд – вот единственное спасение России. Будьте поденщиком, возите воду, разбивайте щебень на мостовой и проч. Если способны на что-нибудь лучшее, работайте над этим лучшим... Кто не работает, кто не приносит своего труда в общую экономию человечества – тот подлец, подлец, и нет ему другого имени... Прочь все принятое – это цепи, ошейник, тюрьма, лизанье руки, которая вас бьет. Выходите на свет божий, новые люди, с новым, честным словом, и пусть это слово принимают не старые меха, а... новые люди!»

Из этого видно, что стремления «новых людей», по мнению г. Мордовцева, обнимают

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) следующие три задачи: самостоятельный труд, наука и освобождение жизни от искусственных условий, которые затрудняют правильное и естественное развитие ее. Очевидно, что человека, относящегося так симпатично к предмету своего исследования, невозможно заподозрить в злоумышлении против него.

И мы, конечно, не имели бы никакого препятствия к опубликованию этой декларации, если б почтенный автор ограничился лишь теми немногими строками, которые выписаны нами выше. Но тут-то именно и начинается преступное действие г. Мордовцева. Он решил, что столь малого количества строк недостаточно для читателя, что они составляют только канву, а не дело; что следует сообщить ему несколько более вразумительности и на этот конец показать читателю живьем «нового русского человека», то есть человека, действительно «не делающего пошлостей», действительно трудящегося, развивающего себя наукой и устраивающего свою жизнь по-новому. Решил – и пустился в путь; но, к сожалению, впопыхах не справился о том, где лежит страна, которую он собрался исследовать.

Результаты этой печальной поспешности сказались немедленно. На первых же порах автор с полной наивностью перемешал свойства и признаки ветхого «тургеневского» человека с свойствами и признаками искомого «нового» человека. «Шел в комнату – попал в другую». Он не понял, что между «новыми людьми» и кобнями Тургенева, занимающимися расковыриванием собственных болячек (эти кобени и до сих пор не утратили жизненной правды, но, конечно, сам автор не отнесет их к числу «новых людей»), нет ни одной точки соприкосновения; он забыл, что эти люди противоречат даже его собственной задаче, что это натуры больные, надломленные и изнуренные, а совсем не те здоровые, бодро трудящиеся и бодро переносящие невзгоды люди, которых он предположил изобразить. Мало того, он даже отвел «кривляющемуся человеку» гораздо более места, нежели новому типу, который затронут им лишь в конце романа, как бы мимоходом, и, как мы увидим далее, затронут столь же удачно, как и все остальное, к чему ни прикоснулось лишенное творчества перо его.

Кобенящиеся герои г. Мордовцева (Ломжинов, Тутнев и отчасти Туркин), несмотря на несомненную свою исковерканность, не имеют никакой подлинности. Подобно своим образцам, они неустанно предаются самооплеванию и самоизнурению, но делают это отчасти как бы во сне, отчасти же как бы рассказывая своими словами насвистанный кем-то урок. В первом случае читатель становится свидетелем какой-то беспутной репетиции любительского спектакля, в которой актеры как попало бродят по сцене и с трудом прочитывают роли по неразборчиво писанным тетрадкам; во втором – перед ним развивается утомительнейшая, расстроивающая нервы шаржа, в которой насвистанное перемешивается с чем-то собственным, или, лучше сказать, с чем-то отдающим запахом гоголевского Петрушки. Велика исковерканность «Гамлета Щигровского уезда», но она не поражает читателя, во-первых, благодаря отношению к ней автора, умевшего в самой исковерканности отыскать человека, и, во-вторых, благодаря тому, что за этой исковерканностью виднеется целый предшествовавший ей жизненный процесс. Но взгляните на исковерканность Ломжинова (главное действующее лицо «Новых русских людей») – и вы изумитесь, до какой безнадежной наготы, до какого отсутствия всякого признака человечности может дойти творчество в воспроизведении того же самого явления, которое за минуту перед тем, под пером другого художника, возбуждало в вас не отвращение, а почти симпатию. Откуда явился этот человек? как он жил? где и каким образом получил право показывать читателю свои болячки? какие это болячки? – Ничего этого не объясняется, а не объясняется потому, что, в сущности, ничего этого и нет. Это просто не помнящий родства бродяга, который бог весть откуда приходит, называет себя «мерзавцем и сыромядцем», грудь свою именует «поганю», ребра – «свинными» и, не довольствуясь пощечинами и подзатыльниками собственной фабрикации, привлекает к участию в этом любопытном процессе своего лакея Матвея.

«– Матвей!

– Что угодно?

– Дай мне пощечину.

– Что вы, барин?

– Дай, говорю тебе.

– Помилуйте, как же это можно?

– Бей!» и т. д.

Зачем понадобилась тут оплеуха? Является ли она, как возмездие за нравственную несостоятельность и негодность Ломжинова? – Нет, потому что тут не только несостоятельности, но даже поступков нет никаких. Или же автор прибегнул к ней, как к единственному средству, при посредстве которого представлялось возможным привести в себя этого странного «нового человека» с «поганою грудью» и «свиниными ребрами» и заставить его установить на чем-нибудь его разбегающуюся во все стороны мысль? – Опять-таки нет, потому что и после получения оплеухи Ломжинов нимало не исправляется и по-прежнему продолжает надоедать читателю своим бессмысленным бормотанием. Таким образом, ни карательных, ни воспитательных целей не достигнуто, и читателю остается объяснить этот факт только испорченностью вкуса, заставляющего человека предпочитать существование оплеушное – существованию безоплеушному.

Другой герой того же закала, Тутнев, додразнивается до того, что даже благомыслящая, но не вполне рассудительная, девица Елеонская только из учтивости не дает ему пощечины, а кротко замечает: «Вы пустой и жалкий человек». Тем не менее, этот «пустой и жалкий человек» находит, однако ж, средство в самом непродолжительном времени не только оправдать себя перед девицей Елеонской, но даже внушить ей страсть. Каким образом совершается этот переворот – автор, по обыкновению своему, не объясняет и прямо рисует целый ряд ничем не мотивированных приапических сцен самого неслыханного свойства. Тутнев «комкает» девицу в своих лапах, «трудится» над нею, «мнет ее девственное тело», а девица вместо того чтоб плюнуть негодюю в лицо, кричит ему: «Раздави меня совсем, раздави, милый, милый!» И читатель не во сне видит эти омерзительные сцены, а читает их в печатном литературном произведении, в котором, по какому-то диковинному недоразумению, героям домов терпимости присвоивается кличка «новых русских людей».

Но автор, по-видимому, сам чувствовал поразительную пошлость своих главных действующих лиц и потому в конце романа вывел на сцену несколько новых личностей с явным намерением хоть отчасти осуществить в них ту программу, которую он предварительно имел в виду. К сожалению, однако ж, и в этом случае хорошие намерения остались только хорошими намерениями, а в результате ничего, кроме самой безнадежной рутин, не вышло.

В нашей беллетристике относительно воспроизведения типа «нового русского человека» установилась в последнее время двоякая манера, смотря по тому, где тот или другой автор избирает место действия для своего измышления. Если «новый человек» орудует в провинции, то он обыкновенно начинает с того, что приезжает из Петербурга и тотчас же грубит родителям и доказывает им, что они ослы. Доказать он, разумеется, ничего не докажет, но непременно увлечет за собой маленького «братишку» и маленькую «сестренку», и тогда в этом злосчастном доме закипает нелепейшая из драм, какую только может измыслить праздное человеческое воображение. В первой главе петербургский гость говорит отцу, что он – осел, а матери, что она – содержанка; отец конфузится (ибо втайне понимает, что сын говорит правду), мать утирает слезы; братишка и сестренка прислушиваются. Во второй главе петербургский гость опять повторяет отцу, что он – осел, а матери, что она – содержанка; братишка и сестренка вторят ему; отец конфузится, мать утирает слезы.

В третьей главе сестренка фискалит петербургскому гостю на мать, что она потихоньку молится богу; петербургский гость говорит сестренке: «Ты у меня, сестренка, славный мальи!» и пушит мать на чем свет стоит: «Вы бы лучше канаву копали, а то только чужой хлеб едите!» В четвертой главе отец начинает поддаваться: «А ведь ты прав, мой друг, – говорит он, – я действительно не больше как старый осел». И так далее, до тех пор, пока автору самому не надоест тянуть эту канитель. Тогда он пишет «конец» и отправляет свое произведение в типографию.

Вторая манера, то есть когда место действия назначено в Петербурге, еще проще. Глава I: «новый человек» сидит в кругу товарищей; бедная обстановка; на столе колбаса, филипповский калач, стаканы с чаем. «Работать! – вот назначение мыслящего человека на земле!» – говорит «новый человек», и сам ни с места. «Работать! – вот назначение мыслящего человека на земле!» – отвечают все товарищи, каждый поодиночке, и сами ни с места. Глава II: бедная обстановка; на

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) столе колбаса, филипповский калач, стаканы с чаем; «новый человек» сидит в кругу товарищей. «За труд! за честный и самостоятельный труд!» – возгласает «новый человек», и сам опять-таки ни с места. «За труд! за честный и самостоятельный труд!» – отвечают поодиночке товарищи, и тоже ни с места. И так далее, до тех пор, пока автора не стошнит. Тогда – «конец», и рукопись в типографии.

Читатель прочитывает эти художественные произведения неизвестного ему мира и положительно не верит ни одному слову. Да и нельзя верить, потому что немыслимо даже вообразить себе, чтобы существовало такое поколение, которое ничем бы другим не занималось, кроме раскладывания словесного гранпасьянса. Хотя читатель и мало знает о «новых русских людях», но все-таки он кое-что слышал об них. Он слышал об увлечениях не книжных только, а действительных, о безвременно погубленных силах, о принесенных жертвах; он знает, что эти слухи не призрак, а суровая правда; поэтому он желает, чтоб ему объяснили, в чем заключаются эти действительные увлечения «нового человека», во имя чего приносятся им жертвы и как приносятся. А его, вместо того, потчуют каким-то беспутным гуляньем с филипповскими калачами, колбасой и бесконечным-бесконечным переливаньем из пустого в порожнее. Где же жертвы, где встреча молодого и страстного убеждения с самоуверенною и ни на что не дающею ответа действительностью? Или и в самом деле арена борьбы ограничивается стенами какого-нибудь домика на Петербургской стороне? Нет, это неверно уже по одному тому, что подобному заявлению противоречат факты, конкретность которых ни для кого не тайна.

По такому-то убогому и бессодержательному рецепту (манера № 2-й) нарисованы и «новые русские люди» г. Мордовцева. Великое множество лиц проходит перед глазами читателя, и все они кратко, но с невозмутимой назойливостью лгут на тему о необходимости труда. Каждый из этих призраков подойдет к читателю, покобенился перед ним, произнесет: «труд – вот единственное спасение» и т. д., и исчезнет куда-то без вести, чтобы дать место другому призраку, который точь-в-точь проделает ту же штуку и тоже исчезнет в царстве теней. Но так как общие места имеют то свойство, что, как их ни верти и сколько раз ни повторяй, они всегда останутся только общими местами или рядом общих мест, то весьма естественно, что даже самый учтивый читатель и тот спешит поскорее раскланяться с рекомендуемыми ему пристанодержателями пустопорожности и закрывает книгу, чтобы никогда не возвращаться к ней.

И, конечно, поступает весьма основательно.

СВОИМ ПУТЕМ. Роман в четырех частях. Л. А. Ожигиной. СПб. 1870  
Что потребность найти «свой путь» и вступить на него твердой ногой сделалась настоятельнейшею потребностью современного русского общества и в особенности той его части, которую принято называть «молодым поколением», – в этом нет ничего поразительного или внезапного. Явление это не чье-либо произвольное изобретение, не плод чьей-либо личной фантазии или увлечения, а просто естественное следствие сокращения средств и путей для беспечального существования при помощи чужого содействия. «Станешь плясать, как жрать-то нечего», – говорит не помним уж какая героиня г. Горбунова, и говорит резонно, хотя вместо слово «плясать» ей следовало бы сказать: «думать и сознавать». Покуда разлитое море существует, покуда «под каждым листком готов и стол и дом», только люди очень развитые могут критически относиться к такому благодатному положению, простодушное же большинство принимает его бессознательно, не анализируя ни сущности факта, ни тех дурных влияний, которые он оказывает на весь общественный строй. Но с той минуты, как разливанное море иссякает и начинает делаться заметным, что число праздных мест за даровым столом несомненно сокращается, – тогда не только для избранных умов, но и вообще для каждого из членов безместного большинства является необходимость обратиться к самому себе, уяснить свое личное положение и точнее определить свои отношения к тем материальным и умственным источникам, при помощи которых можно было бы без страха взглянуть в глаза будущему. Работа этого уяснения очень сложная, и исходным пунктом ее, конечно, может быть только осмысленный анализ того «прежнего положения», которое еще так недавно металось в глаза, полное жизни, подкрепленное всевозможными аргументами теории и практики, и которое тем не менее сделалось отныне невозможным. Но, как и всегда, анализ приводит к открытиям, которых до того не имелось и в подозрении. Прежде всего, разумеется, обнаруживается самая несправедливая сущность господствовавшего факта, потом, мало-помалу, выясняются и другие его провинности в отношении к общему жизненному порядку. Оказывается, например, что все, к чему в свое время привела старая тропка, уже взято и истощено; что все, что росло и цвело не только в конце ее, но и по сторонам, смято, вытоптано и уничтожено.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Следовательно, ходить по этой тропе не только зазорно, но просто незачем. И еще оказывается, что господствовавший факт делал несчастными не только тех, при содействии которых спалось, пилося и елось, но даже и тех, которые спали, пили и ели, не принося ни единого проявления своего творчества в сокровищницу общественной производительности. Эти последние были лишены целой обширной категории нравственных наслаждений, доступных только тому, кто сам нечто создает или устраивает; они жили бессознательной жизнью, не ведая сами, что творят, и только по наружности были людьми, внутренне же не обладали ни одним из типических свойств, отличающих человека от зверя. Для современного человека подобное существование немыслимо; в его глазах нравственные наслаждения не только в равной степени необходимы, как и наслаждения материальные, но последние даже становятся как бы в зависимость от первых.

Такого рода открытия не могут иметь иного результата, кроме окончательного и безвозвратного осуждения. Но это все-таки только первая половина предпринятого уяснительного процесса; вторая половина его естественным образом должна будет сосредоточиться на определении отношений современного человека к будущему, на обеспечении этого будущего более разумным и соответственным человеческому достоинству путем. Этот путь один, и название ему – личный труд. Он один снимает с человека клеймо осуждения, один делает его ответственным перед своей совестью, один дает возможность жить не краснея. Чтобы получить в будущем не одно материальное, но и нравственное обеспечение, надо опереться на самого себя, надо воспитать свои силы и извлечь из них все, что они способны дать. Эта мысль выступает вперед, как самое естественное последствие обращения к прошлому. Сокращение возможности жить при чужом содействии, казавшееся с непривычки обидным, горьким и как бы произвольным, становится явлением вожделенным, естественным и исполненным правды. Идея о «своем пути», о свободном и самостоятельном труде, о сознательном отношении к природе и жизни делается достоянием не одних избранных натур, но общим, мирским. Она становится в ряды обыденных жизненных задач, не говорящих ни о подвиге, ни о заслуге, ни даже о порывах энтузиазма.

Мы искренно думаем, что современное русское общество уже дошло до сознательного отношения к этой идее и что в этом, собственно, и заключается причина, почему на этом явлении и его логических отпрысках как бы исключительно сосредоточивается все внимание нашей литературы. Как и публицисты, так и беллетристы, без различия партий, указывают на него, как на типическую черту времени, и разница заключается только в личном отношении того или другого литературного деятеля к этому знаменательному факту.

Существует целая литературная партия, которая в настойчивом искании «своего пути» усматривает не более, как блажь, легкомыслие и даже уродливость. Она не может отвернуться от факта, не может не признать его конкретности, но это дает ей только повод относиться к нему с ожесточением. Все наиболее существенные задачи, вытекшие из этой главной идеи, трактовались этой партией не иначе, как с точки зрения покушения на прочность и неприкосновенность коренных основ общества. Вопрос о распространении естествознания приурочивался к вопросу о неверии, вопрос о положении в обществе женщины – к вопросу о вольном обращении. В сущности, это единственная литературная партия, которая подлинно заслуживает наименования нигилистов. Не было той омерзительной картины, которую отказалась бы начертать рука благонамеренного нигилиста-литератора по поводу самой скромной попытки человеческой личности освободиться от ига бессознательности; не было той гнусной подробности, которая не ставилась бы на первый план, на которую не указывалось бы, как на самую суть всего дела. Упоенные минутным успехом, эти господа доходили до опьянения, смешивали понятия самые разнородные и ставили их одно на место другого; свет называли тьмою, знание – невежеством, труд – праздностью, сознательность – распушенностью, хвастовством и мальчишескою дерзостью. И что же? – как ни бойки были первоначальные успехи этой литературы, в результате оказалось, что это все-таки были только успехи скандала, скользнувшие по поверхности и никого ни в чем не убедившие. Никого: не только тех, над кем зубоскалили господа подлинные нигилисты, но и тех, на пользу которых они думали зубоскалить. Даже талантливость перестала подкупать, ибо какую-то странную уродливость кажется совместное существование таких несовместимых элементов, как талант и упорный, слепой протест против всего, что знаменует действительный прогресс общества. Искание «своего пути» все-таки осталось насущною потребностью времени, так что люди иных привычек, иного склада, и те пришли к убеждению, что ежели времена бессознательности и жуированья на чужой счет еще не канули в вечность окончательно, то

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) обстоятельству этому нечего радоваться, но, напротив того, следует видеть в нем коренную причину всех зол и тревог, благодаря которым общество не может сделать ни одного твердого шага на пути прогресса.

Но само собою разумеется, что ежели литература дала у себя приют нигилистическим отношениям к современному направлению общества, то она же должна была воспитать и иные отношения к тому же предмету. Да, эти отношения существуют, и мы уже нередко встречаемся с выражениями их в литературе, хотя, в художественном смысле, эти выражения и заставляют еще желать многого. Неуверенность, бедность замысла, отсутствие теней, неумение поставить действующие лица в положение борцов и стремление заменить борьбу декламацией – вот капитальные недостатки той категории русской беллетристики, которую мы, в отличие от нигилистической, назовем положительною. Мы очень ясно сознаем эти недостатки, но и за всем тем не имеем никакого повода жаловаться на упадок нашей литературы. Главное сделано: найден путь, по которому должна идти литература, ежели хочет иметь в обществе значение действующей силы; остальное, то есть форма, придет сама собою, и придет непременно.

Роман г-жи Ожигиной, заглавие которого выписано нами выше, принадлежит к числу произведений второй категории, и мы, не покрививши совестью, можем сказать, что он довольно выгодно выделяется из общей массы беллетристического материала, с которым наши журналы познакомили публику в последнее время. Независимо от идеи, вполне верной и человеческой, самое воспроизведение ее доказывает в авторе присутствие таланта несомненного, хотя, впрочем, и не весьма крупного. Задача романа – первые шаги девушки на поприще самовоспитания. Обстановка детства, пребывание в швейной мастерской, в модном пансионе и, наконец, в качестве гувернантки в диком помещичьем семействе, – все это дает автору случай вывести на сцену множество разнообразных типов и нарисовать большой ряд сцен, довольно верно и живо характеризующих среду. Правда, что все это набросано несколько небрежно, но есть один признак, который в глазах наших до известной степени искупает эту небрежность, – это отсутствие декламации, которая таким удручающим образом действует на читателя в произведениях других наших беллетристов той же категории. Героиня г-жи Ожигиной не топчется на одном месте, не надсаживает свою грудь криками во славу самостоятельного труда и на погибель тем, которые ставят ему преткновения, но действительно трудится и по мере сил своих дает отпор тем темным силам, которые посягают на самостоятельность ее труда. Арена, на которой действует эта героиня, не широка – это правда; результаты, которых она достигает, очень скромны – и это опять-таки правда. Но кто же, положа руку на сердце, будет так смел, чтобы сказать, что арена более обширная может, при теперешнем положении нашей печати, уместиться в ней иначе, как в изображении благонамеренного нигилиста? Кто не затруднится утверждать, что наша жизнь когда-нибудь что-нибудь давала стучащимся в двери ее, кроме скудной подачки, которая способна только раздражить голод алчущего, а не утолить его?

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ АНАТОЛИЯ БРЯНЧАНИНОВА. Москва. 1870 г

Г-н Брянчанинов писатель тоже начинающий, но, по-видимому, решившийся стать совсем особняком в нашей литературе. Никакие «свои пути», никакие женские или вообще социальные вопросы его не занимают ни с какой стороны: ни с точки зрения глумления, ни с точки зрения панегиризма. Идея, которую он проводит в своих сочинениях, есть идея влюбленности. В одной повести кузен влюбляется в кузину; в другой – сосед помещик в свою соседку помещицу; в третьей – Вадим в Алину; в четвертой – агроном в экономку; в пятой – молодой посредник в одну из подведомственных ему помещиц, в шестой... но шестой повести мы, сознаемся откровенно, не читали. Если послушать г. Брянчанинова, то во всех российских градах и весях, под каждым кустом сидит прекрасная жена или дева и только ждет случая, чтобы учинить если не подлинное прелюбодеяние, то, по крайней мере, дать повод к помышлениям о нем. Самые неожиданные комбинации допускаются, чтобы провести эту мысль с успехом. Так, например, в повести «Три свидания» мысль о влюбленности сначала возникает в Екатерингофе. а потом вдруг разыгрывается на берегу речки Хвостовки. В Екатерингофе казалось все конченным; влюбленные влюбились друг в друга, подвергли друг друга взаимным лобзаниям, потом встретили препятствие и разбежались в стороны. И вдруг оказывается, что на берегу реки Хвостовки под кустом сидит прекрасная женщина. Вид этой женщины вызывает наружу всю влюбленность от рождения влюбленного героя; он всматривается в прекрасную женщину и видит знакомые черты! Оказывается, что это та самая, екатерингофская. Какими судьбами! на берегу речки Хвостовки? ночью? – А так, мой друг, по щучьему веленью, по твоему хотенью! любил ты меня в Екатерингофе, так надо же попробовать, какова будет твоя любовь на берегу речки Хвостовки! вот и все.

Но образец всевозможных влюбленностей – это, конечно, влюбленность мирового посредника Само собою разумеется, что это человек самый прекраснейший: воспитывался в артиллерийской академии, исполняет свои новые обязанности с примерным усердием, строг, но справедлив и т. д. О должности своей он выражается так: «Нам выпала тяжелая и завидная доля перевоспитывать народ, приготовить из него гражданина (в единственном числе?), развивать зародыш великой будущности... Мы должны знать, что встретимся лицом к лицу с упорством, невежеством, безнравственностью – но если б не было борьбы, не было бы и заслуги!» Эти слова до того огорошивают подчиненную помещицу, что влюбленность начинает действовать в ней, так сказать, не выходя из присутствия. Но посредник до того занят делом перевоспитания народа, что не сразу решается изъяснить помещице о своей взаимной влюбленности. Долгое время он проводит в разговорах о «разнице, которая существует между истинною любовью и капризом», о том, что любовь «есть влечение одной души к другой, слияние двух жизней, двух существований воедино, а не просто (грустно подумать!) стремление одного пола к другому!» Но, наконец, усматривается и для него минута досуга. Все дела переделаны; недоразумения улажены, мужики усмирены, уставные грамоты подписаны, гражданин приготовлен; ни необразованность, ни безнравственность, ни упорство – ничто не мешает влюбленности, ибо все уничтожено. Момент признания настал, и мировой посредник, конечно, не упускает его. «Я встретился, – говорит он помещице, – с женщиной, которая, как водная пропасть, притягивает меня к себе, а я не имею настолько силы, чтобы бороться с нею, хотя вижу, что эта женщина так же холодна, так же равнодушна, как эта бездна!» И что же! – представьте, какой приятный сюрприз оказывается, что женщина эта не только не имеет ничего общего с бездною, но давным-давно уж сидит под кустом и ждет не дождется, когда же наконец пройдет прекраснейший мировой посредник и сорвет цветок... Мы не спрашиваем: с кого они портреты пишут? – в этом несносном разглагольствовании нет даже намека на какой-либо портрет – мы просто, по мере наших сил, протестуем против намерения автора уверить публику, будто каждая помещица усадьба есть арена для влюбленности и что под каждым кустом помещицы сада сидит женщина «поразительной красоты». Это положительно несогласно с истиной. Даже г. Тургенев, первый провозгласивший идею прекрасной помещицы, ожидающей под кустом прекрасного помещика, – и тот не подтвердит этого.

ДВОРЯНСТВО В РОССИИ ОТ НАЧАЛА XVIII ВЕКА ДО ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА. А. Романовича-Славятинского, профессора государственного права в Университете св. Владимира. С.-Петербург. 1870 г

С давних пор у нас так повелось, что публичное обсуждение некоторых вопросов, близко касающихся нашей жизни, считается преждевременным. И именно тех вопросов, о которых говорить всего нужнее. Примеры этой осторожности мы видели на крестьянской и судебной реформах, на наших земских учреждениях. Самые влиятельные в обществе голоса в течение многих десятков лет твердили: «Не время! не забегайте вперед! ждите с терпением!» – как будто речь шла не о деле, близком каждому, а о какой-то личной причуде того или другого индивидуума, а пожалуй, даже и о заговоре против основ существующего порядка. И точно: литература ни одним словом не заявляла о своем участии в живых вопросах, касающихся страны, и разрешение их делалось известным публике лишь тогда, когда оно являлось уже совершившимся фактом. Но пользы от этого молчания не ощутилось никакой. Не говоря уже о том, что в самых разрешениях, достигнутых таким путем, могла играть немаловажную роль случайность, неподготовленность общества оказывала еще более вредное влияние в те минуты, когда приходилось осуществлять эти разрешения на практике. Совершившийся факт приходил внезапно и, конечно, вызывал в публике ощущения очень разнородные, но ни энтузиазм, ни враждебность, которые при этом проявлялись, не заключали в себе ничего действительно мотивированного и в большей части случаев свидетельствовали только о недоумении.

Справедливость сказанного выше будет еще яснее, если мы вспомним, что у нас очень нередко бывает, что даже самые лучшие намерения, которых выгоды, с точки зрения пользы большинства, ясны, как день, при своем осуществлении всегда являются окруженными предварительными предосторожностями, свидетельствующими об опасениях очень серьезного свойства. Очевидно, что опасения эти произвольны и имеют в виду возможность таких толкований, которые, в свою очередь, потребуют исправлений и вразумлений; но очевидно также, что больше половины их уничтожилось бы само собою, если б вопросы стояли открытыми с той минуты, когда они сами собой возникают в обществе, и если б общественное мнение имело возможность обсуждать их не урывками и не между строк (такого рода обсуждения всегда носят на себе характер раздражительности), но прямо и по существу.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Человек неприготовленный действительно бывает склонен думать бог знает что о явлениях, падающем как снег на голову, но эта-то податливость к так называемым превратным толкованиям, кажется, и должна бы свидетельствовать, что стремление стеснить пределы литературного обсуждения тех или других жизненных вопросов может скорее вызвать вредные последствия, нежели предупредить их.

Очень возможно, что в числе причин, побуждавших набрасывать на некоторые явления покров заповедности (оговариваемся: с изданием закона 6-го апреля 1865 года область этой заповедности значительно сокращена), было и довольно распространенное у нас убеждение, что литература наша, по незрелости общественного мнения, которого она служит выразительницей, более склонна к так называемым бесплодным обличениям, нежели к правильной и спокойной разработке вопросов. Но причина эта, несмотря на свою кажущуюся справедливость, не имеет, однако ж, за собой той внутренней основательности, которую предполагают в ней. Во-первых, укор в преобладании обличительного элемента, обращаемый к нашей литературе, есть укор обоюдоострый, и вряд ли кто решится утверждать положительно, что чему предшествовало – ограничение ли русской мысли преобладанию обличительного элемента, или наоборот. Мы, по крайней мере, думаем, что преобладание обличительного элемента выработано нашей литературой не свободно, а именно вследствие материальной невозможности относиться к великому множеству предметов с достаточной ясностью и определительностью. Во-вторых, если формы, к которым литература наша до сих пор прибегала для выражения своих воззрений на жизнь, были не вполне ясны и удовлетворительны, то не надо забывать, что они, как и все носящее в себе задатки жизненности, подлежат развитию и что развитие это начнется не ранее, как по получении более обильного и разнообразного внутреннего содержания. В-третьих, наконец, каковы бы ни были наши мнения о достоинствах и недостатках русской литературы, ограждения, которыми окружается тот или иной жизненный факт против неправильных суждений о нем, никогда не защитят его, а только набросят на него вящую тень. Неустойчивое явление не перестанет быть неустойчивым от того, что литература прикидывается игнорирующей его, а только поддастся наплыву самонадеянности и самодовольства, то есть именно тех двух опаснейших элементов, которые служат к отверждению слабых сторон явления и к разрушению тех сторон, которые, при разумном развитии их (а такое развитие без контроля литературы едва ли даже мыслимо), могли бы сообщить ему действительную прочность и силу.

В числе вопросов, разъяснение которых наименее было доступно для нашей литературы, долгое время числился вопрос о русском дворянстве, как об одном из факторов нашей общественной и государственной жизни. По-видимому, причина этой заповедности заключается в тех несовершенствах, которыми страдала эта корпорация и которых раскрытие полагалось преждевременным. Но эта-то мнимая преждевременность, кажется, всего больше и принесла дворянству вреда. Под сенью ее сословные несовершенства отверждались и усложнялись, задатки же силы действительной отступали все больше и больше на задний план. С самого начала парализованное табелью о рангах, дворянство наше пошло путем пассивности и отчужденности от истинных интересов народной жизни и, наконец, высказало очень мало предусмотрительности относительно такого явления, как крепостное право, которое в действительности более связывало его, нежели доставляло выгоды. Всё это несовершенство очень капитальное, но остановить их развитие могло только свободное обсуждение всех фазисов того воспитательного процесса, через который прошло дворянство от самого основания его, в качестве особенного шляхетского сословия, и до наших дней. Постепенно накапливаемые и потом соединенные в одном фокусе, подобные недостатки, конечно, могут поразить и возбудить подозрение в допущении предумышленного группирования фактов, но и с этим, кажется, полезнее было примириться, нежели успокоиться на одной подозрительности и затем предоставить дело своему собственному течению. Эти «собственные течения» очень опасны, ибо разрешаются преимущественно практикою, практика же хотя дает ответы всегда ясные и решительные, но всегда же имеющие характер внезапности. Будучи застигнуты врасплох, заинтересованные стороны ставятся друг к другу если не в совершенно враждебные отношения, то в отношения недоумения, которые на некоторое время прекращают правильный ход жизни. Все силы общества покидают стезю творчества и исключительно поглощаются устройством множества формальностей, имеющих чисто внешний характер. Начинается трудная и сложная работа обеспечений и регламентации, то есть та самая, которая не приносит никаких других результатов, кроме раздражения. При помощи этого раздражения внешние формальности разрастаются до неслыханных размеров и часто даже заслоняют собой существенные цели. Очевидно, что все это не могло бы иметь места, ежели бы ответам практики предшествовали ответы, полученные с помощью

Книга Г. Романовича-Славатинского, по поводу которой мы ведем речь, представляет первый опыт обстоятельного исследования о русском дворянстве, произведенного без преувеличений, но и без умолчаний. Очень возможно, что в глазах многих и теперь подобное сочинение кажется неуместным или преждевременным, но, сознавая откровенно, мы ни разу не трепетали за будущие судьбы нашего дворянства, читая, в изложении Г. Романовича-Славатинского, правдивое изложение его судеб прошлых. Упразднение крепостного права провело слишком резкую черту между прошлым и настоящим, чтобы дворянство само не сознавало, что предстоящие ему задачи совсем иного сорта, нежели те, которые оно преследовало (буде преследовало) в течение полуторавекового своего существования в качестве особого сословия. Если процесс развития нашего дворянства нельзя признать процессом органическим, а, скорее, идущим применительно к пользам правительства, то это, конечно, не свидетельствует в пользу его корпоративной самостоятельности, но зато оставляет неприкосновенными пользы правительства, которые, конечно, дороже интересов отдельного сословия, как бы ни было велико сочувствие, питаемое нами к нему. Вот почему нас не приводит в негодование ни то, что Шлецер даже во времена Екатерины II, которая, как известно, считалась благодетельницей дворянства, писал в своих письмах из России (1781 г.): *un gentilhomme n'est rien ici*, [28] ни то, что в то же царствование Захар Зотов, бывший камердинер Потемкина, а потом самой императрицы, «мог пользоваться большими внешними знаками отличия, чем князя Голицыны или Куракины, если только последние не служили и не имели чина», ни даже то, что того или другого дворянина и даже вельможу «снем рубашку секли». Все это история, читатель, и история, можно сказать, окончательно упразднившаяся с упразднением крепостного права, составлявшего самое существенное ее содержание. Какое ее отношение к будущему – это еще не выяснилось; это не выяснено и книгой Г. Романовича-Славатинского, который сам называет свое сочинение только кирпичами, долженствующими послужить материалом для позднейших исследователей судеб русского дворянства.

Одно несомненно – это неизбежность будущего и его полнейшая зависимость не от того или другого прошлого, но от большей или меньшей свободы в обсуждении предстоящих задач. В этой последней истине нас достаточно убеждает прошлое, свидетельствующее, каким колебаниям подвергается жизнь, не контролируемая общественным мнением, несмотря на искусственные меры, предпринимаемые с целью устранения этих колебаний.

Слияние сословий, или дворянство, другие состояния и земство. Ответ гг. Аксакову, Кошелеву и кн. Васильчикову. С.-Петербург. 1870 г., председателя приходского попечительства, члена земства, нового судебного состава и разных обществ, участвовавшего и в крестьянской реформе  
Брошюрка эта, неизвестного автора, выставляющего на вид свои почетные титулы и должности (вероятно, в доказательство, что при таком множестве должностей ни одной из них нельзя исполнить, как бы следовало), появилась в продаже одновременно с книгой, только что нами разобранной. Составителя ее занимает тот же самый вопрос, который поднят и Г. Романовичем-Славатинским, но только способы разработки, а следовательно, и выводы, у того и другого автора совсем разные. Почтенному профессору, чтобы дойти до каких-либо, далеко не решительных еще, выводов, привелось долгое время рыться в целой поленице книг Полного собрания законов и во множестве других, а скрывающий свою фамилию помещик только мельком заглянул в «Наказ» Екатерины II да в книгу Machiavelli «Il Principe» и тотчас же пришел к выводам самым решительным, не допускающим возражений, как, впрочем, и подобает помещику, исправляющему враз три или четыре важные должности, из которых каждая в отдельности в состоянии занять все время человека обыкновенного, не скрывающего своей фамилии. Впрочем, неизвестный помещик догадался придать своей брошюрке форму ответа или возражения на статьи гг. Аксакова, Кошелева и кн. Васильчикова, и это обстоятельство ему сильно помогло, потому что, по понятиям крупных землевладельцев, глаголы возражать и распекать имеют значение совершенно одинаковое.

Пользуясь благоприятным случаем, неизвестный помещик делает обширные выписки из статей распекаемых им авторов, занимает этими выписками страниц сто тощей брошюрки и прибавляет к выпискам строк по десяти своих собственных, которые, впрочем, сейчас же можно отличить от чужих по необыкновенно тяжелому слогу, а отчасти и по безграмотности. Чтобы познакомиться с общим характером возражений неизвестного помещика, достаточно привести несколько выписок из его книжицы. Г-н Аксаков, например, проводит в своих статьях мысль, что в настоящее время

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) дворянство, лишенное своих прежних привилегий, лишено и гражданской жизни в России; на это помещик возражает: «Нет, оно существует, оно живет, действует и стоит во главе всех легальных и доброполезных движений в государстве»... Далее следует выписка из статьи г. Аксакова, после которой помещено такое примечание г. помещика: «Что вы тут понимаете? Я ничего не понимаю!» – тогда как каждому, кроме г. помещика, совершенно понятно, что хотел сказать г. Аксаков (см. стр. 31). «В чем же я-то тут виноват, если вы ничего не понимаете?» – мог бы, в свою очередь, спросить г. Аксаков туго понимающего помещика. В другом месте своей брошюры неизвестный автор начинает уже прямо распекать г. Аксакова, вкуче с г. Кошелевым, за то, что эти писатели осмелились намекнуть на необходимость слияния сословий. «Если это слияние, – пишет разгневавшийся автор, – должно вести к пресловутым равенству, свободе и братству, то, кажется, такой подогретый французский союз 1789 года, имевший непосредственным следствием разорение государства, не входит в мысли гг. Кошелева и Аксакова, да и не пригоден нам, русским». Вот, мол, вам: съешьте!

Крепко достается также и князю Васильчикову, вероятно, именно за то, «что он князь, а говорит такие вещи!». Кн. Васильчиков в своей книге «О самоуправлении» совершенно основательно говорит, что каждый земледelec непременно должен быть поземельным собственником; что он получает гражданство и признается обывателем только под тем условием, что принимает землю. После Положения 19 февраля подобную мысль, казалось бы, никак нельзя считать непозволительной, но помещик, который до сей поры руководствуется еще «Наказом» Екатерины, смотрит на это дело несколько иначе. По его мнению, цель и значение дворянства в том именно и заключаются, чтобы оно, не имея ни малейшего понятия о том, как пахут и сеют, владело всеми землями в государстве, а те, которые пахут и сеют, нанимали бы землю по вольной цене. Чтобы отбить охоту у князя Васильчикова к неприличному при княжеском титуле либеральничанью, сердитый помещик начинает его распекать, или, как он сам думает, возражать на неправильную мысль. «Подобная запутанность выводов, – пишет помещик, – происходит от смешения понятий о собственности и пользовании. На подобной путанице идей социалисты, коммунисты, сенсимонисты, прудонисты и т. п. строят свои утопии»... «Конечно, не таково направление кн. Васильчикова, – снисходительно замечает расхордившийся помещик, чтобы вконец не загубить князя, – но оно не без влияния на сознанный им самим смутность его собственных мыслей...» и т. п. (стр. 93).

Сделав всем, кому следовало, надлежащие внушения, этот, уволенный с 19-го февраля 1861 года, полицеймейстер прямо ссылается уже на авторитет любезного Макиавелли. Расхордившемуся помещику никакого дела нет до того, что со времен Макиавелли много уже воды утекло; что с железными дорогами и телеграфами все условия изменились радикально; что и Италия стала уже совсем не такою, какой была прежде. Он не замечает даже, что и прислуги около него стало меньше, чем прежде, и обращение прислуги совсем уж иное, менее деликатное. Он все себе ходит взад-вперед по пустым покоям и твердит: «Я вас всех в бараний рог согну!» Не замечает он, что и «Весть» куда-то исчезла с лица земли и что систематическое изложение теории, ею проповедуемой, в очень неотдаленном от нас будущем удастся только услышать разве в окружных домах, воздвигаемых ныне для всех скорбящих.

ЗАПИСКИ Е. А. ХВОСТОВОЙ. 1812–1841. Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова. СПб. 1870

ПРОШЕДШЕЕ И НАСТОЯЩЕЕ. Из рассказов князя Ю. Н. Голицына. СПб. 1870

С некоторого времени мы открываем собственную Америку. Эта Америка – наше прошлое, и притом очень недавнее. Есть люди, которые даже утверждают, что это совсем и не прошлое, а просто-напросто настоящее, ради чувства деликатности рассказывающее о себе в прошедшем времени.

Мы, разумеется, не разделяем этого последнего мнения, а находим его слишком пессимистским. В рассказах о прошлом мы видим именно прошлое, а не памфлет на настоящее, и когда нам говорят, что пороки нашего времени имеют лишь несколько иную форму, отнюдь не закрывающую старого зерна, мы смело указываем на так называемые отрядные факты, которые украшают нашу современность и которых несомненно не было в прошедшем, и этими фактами разбиваем наших противников наголову. Публика, с своей стороны, по-видимому, тоже следует нашему взгляду и, с жадностью читая факты, собираемые усердием гг. Бартенева и Семевского, не ищет в них для себя поучений, а просто усматривает нечто вроде картинной галереи, которая, постепенно развертываясь, представляет изумленному взору целый ряд чудачков (иногда даже более невелики чудачков) – и ничего более. Об этих чудачках можно сказать: «Свежо предание, а верится с трудом», и затем, посмеявшись над их

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) проказами, успокоиться на новой книжке «Русской старины», где отрекомендуют себя новые чудачки с новыми проказами.

Этот взгляд самый верный и, во всяком случае, самый спокойный. Если наше прошлое – не больше как предание, то очевидно, что мы можем поставить под ним черту и затем уже на все, что находится над чертой, смотреть как на отрезанный ломоть, который может служить предметом для любознательности, но которому нет никакого дела до настоящего. Распоряжение о «неувертывании шей платками, косынками и шарфами» – предание; распоряжение о «неношении прихотливых причесок» – предание; изречение директора кадетского корпуса Клингера о том, что «русских надо менее учить, а более бить» («Записки Н. А. Титова» в «Русской старине») – предание; факты, сгруппированные в книге г. Романовича-Славатинского (об этой книге мы дали отчет в ноябрьской книге нашего журнала за 1870 г.) – предание. Мы можем смело оглядываться на все эти распоряжения, изречения и факты и, не отрицая в них некоторой дозы чудачества, относиться к ним, в полном смысле слова, *sine ira et studio*. [29]

На что негодовать, когда исчез самый объект негодования? Зачем возбуждать старые счёты, когда между нами и нашими предшественниками стоит черта, которая их защищает от обвинений в предумышлении, а нас освобождает от обвинений в солидарности? У нас есть «отрадные факты»; мы с них и начинаем нашу историю, а потому имеем полное право не только простить прошлому, но и забыть о трагической стороне некоторых «чудачеств», которых оно было свидетелем...

Не трагизмом, а юмором полны все эти предания. Так смотрит на них читающая и алчущая скандальных анекдотов публика, та самая публика, которая отрицает свою солидарность с этими анекдотами. Так смотрим и мы. Чем не юморист был, например, Степан Иванович Шешковский, который, в качестве начальника тайной экспедиции, всегда начинал допросы с того, «что допрашиваемое лицо хватит палкой под самый подбородок, так что зубы затрепещут, а иногда и повыскакают», и который в то же время был столь набожен, что «каждый день в обедню вынимали для него три просфоры»? Ведь те, которых он бил палкой в подбородок, давно уже спят в могилах, а те, до сведения которых, спустя восемьдесят лет, дошел этот анекдот, совершенно убеждены, что время Шешковских прошло и что, собственно, их никто палкой в подбородок бить не решится. Стало быть, возмущаться и негодовать не из чего. Был чудак Шешковский, который бил палкой в подбородки; были и другие чудачки, которых били палкой в подбородок, – все это юмор, возведенный на степень круговой поруки, и ничего больше. Но этого мало, что Шешковский был юморист; оказывается, что он вместе с тем был человек застенчивый и стыдливый. Когда Потемкин, в один из своих приемных дней, «спросил его при всех: много ли он персон из своих рук пересек?», то он «устыдясь, благодарил уклончиво за такую милостивую насмешку» (см. статью г. Ефремова «Степан Иванович Шешковский» в «Русской старине»). Очевидно, что тут было все: и битье и набожность, и сечение и стыдливость – все, кроме сознательности. Более же всего было веселонравия, которое одним помогало сечь, а другим помогало быть сеченными.

Тем не менее существуют признаки, которые заставляют догадываться, что, несмотря на господствовавшее веселонравие, предшественникам нашим жилось не легко. Напротив, можно думать, что они изнемогали под гнетом скуки и что, собственно, этот-то гнет и заставлял их по временам прибегать к тем проявлениям веселости, о которых сказано выше и которые были единственно доступны их тогдашнему нравственному уровню. Если мы припомним, что наше общество более столетия оставалось при тех формах, которые выработаны были табелью о рангах, то должны будем сознаться, что у него не было особенных задатков для развития. Табель о рангах не только подтвердила общесловную рознь, но и в каждом отдельном сословии выделила множество подразделений, из которых каждое составляло своего рода замкнутое сословие. В виду этой бесконечной лестницы чинов, должностей и званий, конечно, не могло быть места для личной инициативы, а ежели и являлась по временам на арену деятельности энергическая личность, пытавшаяся выбиться из замкнутой колеи, то ее или стирали, или она сама постепенно стиралась от соприкосновения с массою, запутавшеюся в сетях табели о рангах. Идея о ранге упразднила представление о пользах и нуждах общества и сосредоточила все помыслы на самом ранге и средствах достижения его. Общество не знало, что в нем самом происходит, не размышляло о прошлом, не загадывало вперед и постепенно до того утвердилось в этом незнании, неразмышлении и незагадывании, что в этих качествах увидело залогом своего благополучия. Спрашивается: какие могли быть у этого общества интересы? Что могло рассеять с недавшюю его скуку? Что могло пробудить в нем работу мысли, жажду подвига, стремление к самоотверженности?

Но ежели масса общества только скучала, поправляя свою скуку взрывами веселонравного бездельничества, то отдельные личности не могли не чувствовать всей ненормальности подобного положения. Мы не говорим уже о личностях более крупных и развитых, как, например, Пушкин, Лермонтов, Белинский и много других, которых называть еще неудобно и которые протестовали безвременною своею гибелью, но были личности гораздо более сносливые, – и они прорывались и не могли до конца оставаться в пределах смиренного мудрия и кротости. Известно, например, что когда М. И. Глинка (композитор) отправлялся в последний раз за границу, то он послал родной стране энергический, но далеко не лестный прощальный привет (желающих знать подробности отсылаем к запискам г. Шестаковой в «Русской старине»), а между тем Глинка был человек до того кротчайший из кротчайших, что, читая недавно изданные его записки, можно подумать, что таков уж первородный грех, опутавший русских талантливых людей, что в них неразвитость не только не мешает талантливости, но даже служит для последней подспорьем. Мало того: даже Кукольник (*horribile dictu!*[30]) – и тот вопиял: бежать от них! бежать хоть на время! (см. там же).

Причина этого явления очень простая: для человека сколько-нибудь причастного к сознательной жизни не было впереди целей, а следовательно, незачем было и жить. Какой может найти для себя исход энергия в таком обществе, которое приходящему говорит: «не твое дело»? Очевидно, что подобный ответ может родить только изумление или озлобление. А так как ни изумление, ни озлобление не могут без конца питать человеческое существование, то единственный исход – более или менее медленная агония. Цели реальные заменяются целями мнимыми, и на достижение их истрачивается целая человеческая жизнь. Салонное злословие, сплетни и дразги кружков, внешняя выдержка, любовные интриги – вот идеалы, которыми питается общество и перед которыми пригибаются даже энергические личности. И идет своим ходом эта общая агония, для большинства сопровождаемая бессознательностью, для меньшинства – вспышками бессильного протеста, покуда не наступит час разложения. К счастью, однако ж, что по отношению к обществам момент разложения не равнозначит смерти...

Такой исход окажется еще более поразительным, если мы примем в соображение, что наше прошлое было не лишено своего рода светлых точек или «опытов», которые, будучи взяты в отдельности, могли удовлетворять даже требовательных людей. В этих опытах было довольно такого, что, по известному техническому выражению, на сей предмет специально изобретенному, «бросалось в нос» даже иностранцам и заставляло их восклицать: «*C'est du Nord que nous vient la lumière!*»[31] Но, к великому удивлению, и эти светлые точки все-таки никого не удовлетворили, а главное, не оказали воспитательного влияния на общество. Причину этого неуспеха объяснить тоже нетрудно. В общественном смысле опыт всегда остается только опытом, если он не находится в тесной связи с целой системой. Можно дать стране целый ряд прекраснейших учреждений, написать довольно количество полезнейших уставов, но ежели они явятся особняком, без ясного отношения к общему строю жизни, то можно заранее быть уверенным, что они родятся, проживут и умрут никем незамеченными и не окажут творческого влияния на жизнь. Главным опытом, в общественном смысле, все-таки был, есть и будет опыт свободного отношения заинтересованных лиц ко всем последующим, частным опытам. Ежели этого главного опыта нет, то в основании самой «опытной» деятельности будет лежать все то же «не твое дело», какое лежит и в основании деятельности «безопытной», и грубо ошибаются те, которые думают, что совокупность разрозненных «опытов» может произвести что-нибудь, кроме смешения.

К счастью, эта последняя истина ныне признана всеми, и мы, благополучные сыны 2-й половины XIX века, переживающие столько блестящих и коренных реформ, призывающих народные силы к деятельному участию в жизни, – мы можем относиться к нашему опытному и безопытному прошлому, как к действительно минувшему и не имеющему никаких шансов на повторение в будущем.

Перед нами две книги, восстанавливающие именно то недавнее прошлое, о котором мы повели речь, и восстанавливающие его далеко не в привлекательном виде. В обеих, хотя и в неравной силе изобразительности, мы встречаем картины дикости и отупения; в обеих видим людей, изнемогающих под гнетом скуки, от которого они могут освободиться только посредством проявления самого неслыханного самодурства. И что всего важнее, все эти картины и рассказы живописуют именно высшее русское общество, в котором, по всем данным, должна была сосредоточиваться наша интеллигенция.

«Записки Е. А. Хвостовой», сами по себе, впрочем, довольно бледные, имеют специальный интерес, так как в них передается довольно много подробностей из интимной жизни М. Ю. Лермонтова. Интерес этот еще более усиливается вследствие того, что издателем, по поводу этих «Записок», собрано некоторое количество материалов (напечатанных в приложении к книге), относящихся к биографии знаменитого поэта. Из всех этих материалов читатель, однако ж, едва ли будет в состоянии воспроизвести образ того Лермонтова, который мелькал ему в создателе «Героя нашего времени», «Мцыри», «Сказки для детей» и других произведений, свидетельствующих о внутренней энергии и силе. Судя по рассказам близких к Лермонтову людей, можно заключить, что это был человек, увлекавшийся так называемым светским обществом, любивший женщин и довольно бесцеремонно с ними обращавшийся, наживший себе злословие множество врагов в той самой среде, над которой он ядовито издевался и с которой, однако ж, не имел решимости покончить, и, наконец, умерший жертвою своей страсти к вымучиванию и мистифицированию людей, которых духовный уровень (так, по крайней мере, можно подумать по наивному тону рассказчиков) был ниже лермонтовского только потому, что они были менее талантливы и не отличались особенно ядовитым остроумием. Одним словом, материалы эти изображают нам Лермонтова-офицера, члена петербургских, московских и кавказских салонов, до которого никому из читателей, собственно, нет дела. Но о том, какой внутренний процесс, при столь обыденной и даже пошловатой обстановке, произвел Лермонтова-художника – материалы даже не упоминают. Известно, что Лермонтов был постоянным участником одного из лучших журналов своего времени, которого душою был Белинский (в эпоху наибольшей зрелости своего таланта он исключительно печатался в этом журнале, и делал это, конечно, не по легкомыслию) – отчего же вся связь его с Белинским ограничивалась тем, что Белинский не раз пробовал завести с ним серьезный разговор, а «Лермонтов всякий раз отделялся шуткой»? Известно также, что в начале сороковых годов в Петербурге началось хотя смутное, но все-таки очень хорошее умственное движение – почему же Лермонтов не участвовал лично в этом движении, а предпочел ему сплетни и дразни великосветского общества? Что не боязнь жертв удерживала его – в том убеждают нас те жертвы, которые были им принесены на алтарь того общества, над которым он сам же постоянно глумился. Не было ли тут какой-нибудь китайской стены, которая отделяла поэта от мыслящей среды и держала его в плену между людьми маломысленными, которые были сподручнее потому, что над ними можно было удобно упражнять остроумие? Повторяем: на все эти вопросы книга, изданная Г. Семевским, не дает никакого ответа, так что процесс, посредством которого мысли поистине человеческие нередко проникают в сосуд скудельный, остается, и по прочтении изданных ныне материалов, неразгаданною тайной. Поэтому главным материалом для биографии Лермонтова и теперь остаются исключительно его произведения. Это понял немецкий переводчик Лермонтова Боденштедт, и издатель «Записок» поступил очень разумно, приведя, в числе материалов, мнение этого последнего о нашем поэте (точно так же, как совершенно неосновательно поступил, напечатав «Заметку» г. Лонгинова, заключающуюся в том, что в 1836 году в Коломне, за Никольским мостом, в доме Арсеньева, на святой неделе, Лермонтов прочитал г. Лонгинову несколько стихов из драмы «Маскарад»). Хотя это мнение и не выясняет нам всего Лермонтова, но оно указывает, с какими требованиями следует приступать к характеристике этой личности. Вот один отрывок из статьи Боденштедта:

«Произнося суд над умом, выходящим из ряда обыкновенных, следует брать мерилom не то, что в нем есть общего с толпою, которая стоит ниже его, а то, что отличает его от этой толпы и возвышает над нею. Недостатки Лермонтова были недостатками всего светского молодого поколения в России; но достоинств его не было ни у кого. Вернейшее изображение его личности все-таки останется нам в его произведениях, где он высказывается вполне таким, каким был»...

Как прием для охарактеризования замечательных личностей, это мнение весьма верно, и можно только пожалеть, что Боденштедт не настолько был близок к Лермонтову, чтобы рассказать нам внутреннюю жизнь поэта, не ограничиваясь тесною сферой пожиманий и целований ручек, дуэлей, острословия и пр.

Что же касается до «Записок» кн. Голицына, то содержание их известно уже читателям нашего журнала, так как изданные ныне отрывки были напечатаны в «Отеч. записках» 1869 г. Здесь же мы можем сказать, что «Записки» эти, по той искренности, с которой они написаны, и по той рельефности, с которой воспроизводятся ими интереснейшая (то есть не праздничная и официальная, а будничная и интимная) сторона русской общественной жизни, должны служить

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) драгоценнейшим материалом для истории нашей общественности в течение второй и третьей четвертей текущего столетия. Жаль будет, ежели автор остановится только на том, что издано ныне.

СУЕТА СУЕТ. Соч. Николая Соловьева. Москва. 1870 г  
Чтобы уразуметь эту брошюру, необходимо обратиться к прошедшему и припомнить тот момент в истории нашей цивилизации, когда издавался журнал «Время» (впоследствии переименованный в «Эпоху»), а в нем образовалась целая школа философов, публицистов, критиков, беллетристов и стихотворцев, приобретших себе скоротечную известность под именем «стрижей». Что такое «стрижи»? Стрижи – это благонамеренные птицы, которые, по замечанию наблюдателей-эмпириков, имеют дар предвещать хорошую или дурную погоду. Перед хорошей погодой они «мелькают и звенят», перед дурной – нахохливаются и спешат укрыться на колокольнях и чердаках. Тем не менее, так как это предвещения чисто бессознательные, то по временам в них вкрадываются ошибки (преимущественно, впрочем, в пользу хорошей погоды), которые вводят легковерных эмпириков в заблуждение и доставляют им немало хлопот. Доверившись стрижиному мельканию, люди начинают сушить сено, жать рожь, а тут вдруг затяжной дождь, слякоть, сырость, и все благодаря тому, что какой-нибудь стриж съел что-нибудь лишнее и тем нарушил соответствие своего маленького организма с состоянием атмосферы. А отсюда наблюдатели не эмпирики выводят то заключение, что отличительную черту стрижей составляет не столько дар предведения, сколько вообще сумбур, облекающийся в форму предведения единственно для того, чтобы удобнее скрыть свое происхождение.

Подобно стригам-птицам, стрижи-литераторы хвалились даром предведения, но не ограничивали сферы предвещаний одною погодою, а проникали дальше. Внимая их прорицаниям о «почве», о «новом слове», о «силе любви», публика уже думала, что все эти прорицания завершатся одним общим прорицанием о «влиянии романа «Во саду ли в огороде» на силу русского смирения», как вдруг «Эпоха» прекратилась, и «стрижи» разлетелись, унеся с собой все секреты, бывшие в их распоряжении. Некоторое время, впрочем, и после того еще слышалось в воздухе какое-то невнятное бормотание, испускаемое «холостыми» стрижами, продолжавшими прорицать и по разорении родного гнезда, и публика добросовестно прислушивалась к этим звукам, стараясь понять их смысл, но оказалось, что и до разорения и по разорении это был все один и тот же винегрет, составленный из всевозможных объедков. Тут были и объедки славянофильства, и объедки нигилизма, и объедки спиритизма, и даже своя собственная, маломысленная самодельщина. Благодаря этой последней, «стрижи» могли маскировать свои позаимствования. «Какие мы славянофилы! какие нигилисты! Мы – стрижи, предсказывающие хорошую погоду!» – так отвечали они людям, уличавшим их в плагиатах. И публика убеждалась их оправданиями и, по всестороннем обсуждении этого дела, в свою очередь восклицала: «Да, это не славянофилы и не нигилисты, это – стрижи, и ничего более».

Оказывается, однако ж, что отлет стрижей был мнимый, что эти интересные птицы не улетали, а только временно обмирали. В ту самую минуту, как мы пишем эти строки, весь их лагерь в движении. Замечается стремление организовать, образовать из всех наличных стрижиных сил стройный и сильный стрижиный хор. Раздаются памятные голоса, поющие, что все цветочки альенькие, да очень они маленькие, затеваются критические статьи без надежды высказать какую-нибудь определенную мысль, но в твердом уповании на милость божию; не оставляются без упования даже современные политические события. Выискивается бард, берет в руки лиру и, вдохновленный сражением при Гравелоте, бряцает так:

СЕГОДНЯ

Нет в сердце веры, нет любви,  
Полно все темной силой злобы;  
Где ни пройдут (кто?), – за ними вслед  
Война и смерть, пожар и гробы.  
Наука, гений, совесть, труд,  
Одев убийство багрянницей,  
Позорно, как рабы, бегут  
Вслед за кровавой колесницей.  
Как звери – сонмы христиан  
Терзают яростно друг друга...  
Течет кровавая река,  
Течет от Севера до Юга!

Смысл этого стихотворения ясен: война есть война, но, признаемся, такого

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
окончания, как:

Течет кровавая река,  
Течет от Севера до Юга! –  
нельзя было ожидать. Это ясный признак, что стрижи пробудились от обморока, но еще полны недавних грез. Что ж! в добрый час! пробуждайтесь, господа стрижи! Бряцайте на лирах, захлебывайтесь ежемесячно злобой, обуревайтесь страхами, пламенейте надеждами, напряживайтесь, прорицайте, прудите, прудите, прудите!.. Кстати, и время наступило для вас самое подходящее, самое стрижиное.

Г-н Н. Соловьев хотя и ведет свое дело особняком от организующегося ныне хора «стрижей», но это нимало не освобождает его от традиций «Эпохи», в которой он был усерднейшим вкладчиком, и не обеспечивает его мысли от всевозможных неопределенностей, которыми отличались и отличаются все произведения этой школы. Представление об «Эпохе» тяготеет над ним; одушевляя его охотой разрешать всякого рода философские, эстетические и общественные задачи, оно в то же время непроницаемым туманом заволакивает эти задачи перед его умственным взором, оставляя ему, таким образом, одно вполне твердое прибежище: надежду на неизреченное божие милосердие, которое как-нибудь поможет выйти невредимым из сети поправок, недомолвок и противоречий. К сожалению, однако ж, на сей раз и эта надежда обманула его самым обидным образом.

В разбираемой брошюре автор имел в виду проследить значение наслаждений «в сфере нравственных феноменов». Задача эта несомненно имеет очень живой интерес для современного человечества, но в том-то и дело, что исследователи, подобные г. Соловьеву, всегда берутся за самые живые вопросы и всегда же сводят их «на нет». Прежде всего, автору следовало бы, по крайней мере, определить, что он понимает под словом «наслаждение», но он забывает даже об этом и прямо начинает с голословного перечисления «утех», которые, по его мнению, наиболее распространены в современном обществе. Из того, что он наслаждению противопоставляет труд, еще не получается ровню никакого объяснения, потому что автор и тут ограничивается противоположением исключительно голословным, и того, что между этими двумя формами человеческой деятельности существует действительный антагонизм, ничем не доказывает. По мнению г. Соловьева, человек рождается с двумя карманами, из которых в одном находится труд, а в другом – наслаждение, и затем попеременно запускает руку то в один, то в другой карман. Прекрасно. Не будем доказывать, насколько это мнение нелепо, но имеем полное право заметить, что ежели бы оно было даже справедливо, все же необходимо разъяснить читателю эту справедливость, а не бросать ему нагой афоризм без малейшего ознакомления с теми посылками и тем умственным процессом, который привел автора к указанному заключению. Это отсутствие ясно сознанного исходного пункта, свидетельствующее о крайней запутанности мысли автора, отражается и в дальнейшем его изложении. Вот, например, как рассуждает автор о господстве цинического элемента в легкой литературе. «Последний (то есть цинизм), – говорит он, – потому теперь так поднял голову, что неразрешимость насущных вопросов жизни и все более возрастающая нужда общественная пришибли, подавили таланты; поэтому мы и видим, что многие даровитые и сильные голоса у нас молчат, а другие, более добродушные и более опрятные литераторы заговорили громче прежнего... Скажите на милость, ужели все эти слова не во сне написаны? Почему «возрастающая общественная нужда» может подавлять таланты? Что это за общественная нужда? Почему представителями цинизма являются «добродушные и опрятные литераторы»? Кто даст ответ на эти вопросы? Очевидно, что г. Соловьев уже слишком понадеялся на божие милосердие, а вышло, что в деле философии, как и во всяком другом, следует почаще припоминать пословицу: «На бога надейся, а сам не плошай».

СНОПЫ. Стихи и проза Я. П. Полонского. СПб. 1871 \*

По поводу сочинений г. Полонского случилось небольшое недоразумение. В прошлом году, разбирая том вышедших в свет стихотворений этого автора, мы выразились, что в литературной деятельности г. Полонского не усматривается никакого определенного характера и что по некоторым из произведений его прихотливой музы трудно даже угадать, чего он хочет и что желает сказать. Отзыв этот вызвал протест со стороны г. Тургенева и, по-видимому, не остался без влияния и на самого г. Полонского. Первый объяснил наше отношение к г. Полонскому очень простою причиною: клиентизмом; второй, в предисловии к «Снопам», упоминает о «литературных и нелитературных врагах», которые топчут его жатву «ради барской или наезднической потехи». Очевидно, что и г. Тургенев, и г. Полонский видят в критике нечто вроде домашнего дела, в котором рецензент, рассматривающий

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) произведения того или другого автора, обязывается руководствоваться не действительной их стоимостью, а какими-то иными соображениями, из которых некоторые могут быть даже совершенно ему неизвестны.

Обвинения в клиентизме и наездничестве огорчили нас; но огорчение все-таки было не настолько велико, чтобы заставить нас согласиться с мнением о правильности домашних отношений критики к литературным деятелям. Мы остались при прежнем убеждении, что мнение это совершенно негодно и что уже со времен Белинского его следует считать упраздненным. Критика имеет дело не с личностью, а с произведениями автора, и все, что мог заставить нас сделать энергический протест г. Тургенева, – это еще раз проверить выраженное нами в прошлом году мнение о сочинениях г. Полонского, что нами и исполнено по поводу издания «Снопов».

К сожалению, мы и теперь не имеем ни малейшего основания отступить от высказанных прежде заключений, несмотря на то, что в «Снопах» помещены, между прочим, «Признания Сергея Чалыгина», которые г. Тургенев в особенности рекомендовал нашему вниманию. Эти «Признания» нимало не объяснили для нас ни литературной физиономии г. Полонского, ни его мирозерцания, а ежели в «Снопах» можно найти какие-нибудь указания по этому предмету, то их следует искать не в «Признаниях», а в другом не менее капитальном произведении того же автора, носящем название «Ночь в Летнем саду». Но и здесь указания свидетельствуют лишь о недоразумениях, и притом о таких недоразумениях, которые положительно говорят не в пользу автора.

Мы не принадлежим к числу критиков, которые, по мнению г. Полонского, утверждают:

Что вовсе не цветы прекрасны, а картофель... – и даже, признаемся откровенно, совсем не знаем критиков, которые проповедовали бы подобную галиматью; но мы утверждаем, что неясность мирозерцания есть недостаток настолько важный, что всю творческую деятельность художника сводит к нулю. В этом нас убеждают примеры таких великих и общепризнанных художников, как Сервантес, Гете, Шиллер, Байрон и друг., которые всегда полагали в основу своих произведений действительные стремления и нужды человечества и, сверх того, умели с полною ясностью определить свои отношения к этим стремлениям и нуждам. Если произведения этих писателей имели в свое время громадное воспитательное значение, если это значение и поныне не утратило своей силы, то объяснения этого факта следует искать именно в их тенденциозности, в том, что они беседовали с читателями не о сновидениях, а раскрывали перед ними ту жизненную разрозненность и смуту, под гнетом которых страдало и страдает человечество. «Дон-Кихот», «Чайльд-Гарольд», «Фауст», «Разбойники» – все это произведения в высшей степени тенденциозные, и, стало быть, требуя от литературного деятеля, чтобы он избегал оговорок и с полною ясностью определял свои отношения к вещам мира сего, мы не только не являемся отрицателями здоровых преданий искусства, но, напротив того, не отступаем от них ни на шаг.

С другой стороны, мы не принадлежим и к числу тех придирчивых критиков, которые к второстепенным литературным деятелям относятся с теми же требованиями, как и к деятелям, намечающим эпохи в истории искусства. Мы очень хорошо понимаем, что нельзя винить человека в том, что он не совместил в своей груди всех скорбей человечества; мы знаем, что полет воробья не может быть сравниваем с полетом орла; но сокращение наших требований в этом случае все-таки касается не основ мирозерцания, а только объема и глубины его. Когда писатель, имея, перед собой образцы, указывающие ему истинный путь, все-таки отворачивается от вопросов жизни и предпочитает им любовные интриги синиц, мы имеем полное право и основание негодовать на него. Это доказывает одно из двух: или что он совсем не понимает и не может понимать истинных преданий искусства, или же что он обладает строптивым характером, который может со временем довести его до одичалости. В первом случае критике нет надобности ни убеждать, ни анализировать, а следует сразу зачислить писателя в разряд отчаянных; но во втором – она еще имеет надежду, что строптивый писатель тронется ее убеждениями, и ежели не вполне твердо станет на путь, указанный образцами, то, по крайней мере, не будет относиться к нему с презрением. И таким образом погибнет не до конца.

Следуя указаниям г. Тургенева, мы с большим вниманием прочитали все 342 страницы «Признаний Чалыгина» и за всем тем не вынесли из этого чтения ни общего, ни частного впечатления. Есть известная мягкость тона, которая (мы не отрицаем этого) не лишена некоторой привлекательности; есть намек на живой образ в лице

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) матери Чалыгина и, пожалуй, в лице ее чичисбея Кремнева, но все это нимало не выкупает бессвязности и бесхарактерности целого. Заглавие «Признания» может только ввести читателя в заблуждение, потому что никаких «признаний», собственно, нет, а есть довольно бледная история детства, которая прерывается совершенно неожиданно и из которой невозможно вывести решительно никаких заключений. Очень может статься, что мы и ошибаемся, требуя от писателя, чтоб он прежде всего ясно сознавал цель, с которой взялся за перо, но ошибка эта принадлежит не нам собственно, а истории искусства и литературы. Без ясно сознанный идеи художественное произведение является сбродом случайностей, в котором даже искусно начертанные образы теряют значительную долю своей цены, потому что не существует органической связи, которая объясняла бы их участие в общей экономии художественного произведения. Какую мысль имел в виду г. Полонский, сочиняя свои «Признания»? Желал ли он представить нам просто картину русского дворянского воспитания, без всякого отношения к тем влияниям, которые имеют это воспитание на образование характера и дальнейшие судьбы человека? или, быть может, имел он в предмете проследить эти влияния и в художественном образе воспроизвести их благотворность или зловредность? – На все эти вопросы «Признания» не дают никакого ответа, а потому и критика будет совершенно права, если скажет, что сочинение это лишено живой основы и не вызвано никакою внутреннею потребностью духа. По этой же причине и лица, скученные в этом сочинении, кажутся не имеющими законного места, несмотря на то что некоторые из них, взятые сами по себе, не лишены привлекательности и даже оригинальности. Нет предвзятой идеи (не в смысле пригибания живых лиц требуем мы предвзятой идеи, а в смысле общих намерений произведения) – нет и животворящего духа. Разрозненность, случайность, вялость – вот характеристические качества произведений, отвергающих так называемую тенденциозность, и не выкупаются эти недостатки никакими подробностями, как бы искусно и ловко они ни были составлены.

Гораздо более характерною представляется другая капитальная статья г. Полонского – «Ночь в Летнем саду», хотя по форме своей она несколько напоминает «разговоры» двадцатых годов о том, «кто истинно добрый и счастливый человек?». Вся эта статья, от начала до конца, проникнута протестом против буйственного духа времени, утверждающего, что картофель прекраснее цветов, что орлам следует поучиться летать у ос, что щебетание снегиря приятнее соловьиного пения и множество других умных вещей в этом роде.

Мы ничего не имеем против протестов, если они выражены ясно, хотя бы даже и с примесью некоторого преувеличения. Протестуйте против чего угодно: против солнечного света, против течения времени – все эти протесты мы примем без удовольствия, но и без озлобления. Мы оставляем за собой только одно право – право рассматривать ваши протесты и, в свою очередь, протестовать против них. Зачем вы требуете протеста одностороннего, протеста, исключительно обращенного в вашу пользу? Зачем вы, втапывая в грязь целое общественное направление, ропщете, жалуетесь на каких-то врагов, обзываете их клиентами и наездниками, потому только, что люди этого направления, в свою очередь, находят ваши протесты лишены разумных оснований? Согласитесь, что претензия подобного рода должна быть признана, по малой мере, нескромною.

Итак, мы охотно признаем всякого рода протесты, но, к сожалению, не можем не заявить, что в основании всех протестов, которые до сих пор появлялись в нашей литературе против буйственного духа времени, лежит или недоразумение, или совершенное непонимание тех явлений, о которых протестанты ведут речь. Мы очень легко можем доказать это, обратившись к произведению г. Полонского «Ночь в Летнем саду».

На сцене Летний сад в городе С.-Петербурге, в саду гуляет неосновательный мужчина. Мужчина этот нигде не может найти себе места, ни к чему не может пристроиться. Готовился он в университет, но «непредвиденные обстоятельства» не дозволили ему выдержать экзамен; поступил на службу, но далее писаря не пошел; стал писать стихи – но одни, прочитав произведения его музы, нашли, что в них преобладает чистая поэзия, другие – что в них преобладает гражданская скорбь. Это и не удивительно, потому что неосновательные люди тем и отличаются, что куда ни приткнутся – везде или экзамена не выдержат, или что-нибудь такое скажут, чего никто не поймет. В такой крайности, они обыкновенно приходят к тому, что самый лучший для них исход – это заниматься амурами. Так поступил и неосновательный человек, которого рукопись издал г. Полонский. Он пришел в Летний сад на любовное свидание, но свидание не состоялось (даже в любовных

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) занятиях эти люди несчастливы, ибо и тут действуют так, что никто ничего понять не может), и вот, застигнутый ночью, он остается в саду до утра. Дремота, полусон, фантастические видения. Оживает статуя Крылова, а за нею проникает дух жив и в тех низших представителей органической и неорганической природы (само собой разумеется, представители выбраны нарочито презрительные: кроты, лягушки, дождевики, осы, снегири, в противоположность трудолюбивым пчелам, величественно парящим орлам и сладкогласным соловьям), которых некогда знаменитый баснописец заставлял говорить языком людей. Начинается всеобщий протест: тумба протестует против статуи Юноны, оса против орла, снегирь против соловья, и больше всех протестует сам автор рукописи против дурной привычки протестовать.

Возьмем же наудачу несколько признаков, которыми, по мнению автора, характеризуется буйственный дух времени и против которых он обязывает протестовать каждого благонамеренного россиянина.

Признак первый: «слепорожденный крот» выползает из своей норы и доказывает:

Что вовсе не цветы прекрасны, а картофель...

Признак действительно замечательный, и если бы в природе существовало учение, которое обожествляло бы картофель и сводило с пьедестала цветы, то, с точки зрения благоустройства и благочиния, можно было бы обеспокоиться принятием мер против излишнего его распространения. К счастью, однако ж, это учение всецело принадлежит «слепорожденному кроту», который когда-то слышал звон, да не знает, откуда он. Действительно, существует учение, утверждающее, что цветы можно нюхать, а картофель есть, и что как в процессе обоняния, так и в процессе еды в одинаковой степени не заключается ничего презрительного; но этим простым утверждением учение и ограничивается. Цветы сами по себе, картофель сам по себе, и ежели по временам еще требуется подкреплять столь простую истину доказательствами, то потому только, что авторитет цветов признан даже неосновательными людьми, а авторитет картофеля оставлен в забвении, и, следовательно, необходимо вывести и его из тьмы и поставить на надлежащее место. Во всяком случае, что может быть понятнее, мирнее, спокойнее этого учения? Где тут повод для насмешки, а тем более для презрения?

Но неосновательные люди смотрят на это дело иначе. Они разделяют природу на две половины: прекрасную и гнусную. В первой помещают цветы, плоды и вольных птиц, во второй – траву белоус, овощи и пернатых, воспитываемых на скотных дворах. Почему это так и на каком разумном основании автор изданной г. Полонским «рукописи» противопоставил цветам картофель? что находит он презрительного в картофеле и почему картофель презрительнее цветов? На все эти вопросы автор, конечно, не даст никакого ответа, а не даст его и потому, что едва ли даже предполагает возможность вопросов в таком деле, которое испокон веку имеет за себя авторитет реторик и учебников, изданных для средних учебных заведений. Там строго-настроено предписывается делить природу на прекрасную и гнусную, ну, и он таким же образом делит да, вдобавок, еще сердится на тех, которые утверждают, что формы, в которых проявляет себя творчество природы, находятся в зависимости от точных и в данную минуту неизблемых законов, существование которых исключает даже самое предположение о прирожденной презрительности или прирожденном благородстве этих форм.

Древние реторики, несмотря на всю путаницу, которую они произвели в понятиях, высказали одно очень мудрое и полезное требование, а именно: они обязывали писателей, намеревающихся поучать публику, предварительно задаваться вопросами: *cur? quomodo? quando? quibus auxiliis?*[32] и проч. Если б автор изданной г. Полонским «рукописи» последовал этому совету, он наверное отступился бы от какого бы то ни было разглагольствия на тему о превосходстве картофеля над цветами, ибо тотчас же нашел бы, что ни на какой вопрос, вытекающий из подобной темы, никакого ответа дать невозможно. Почему (*cur*) крот есть эмблема презрительности, а орел – эмблема благородства? – непочему. Каким образом (*quomodo*) случилось, что крот сделался эмблемою презрительности, а орел – эмблемою благородства? – никаким. Когда (*quando*) это случилось? – никогда. И до тех пор продолжался бы этот замечательный *colloquium*, покуда сам автор, наконец, не пришел бы в себя и не воскликнул: господи! да никак я в бреде нахожусь!

Да; надо всемерно стараться обдумывать то, что намереваешься пропагандировать, и это правило, обязательное для всех вообще мыслящих людей, еще более обязательно для писателей, потому что *verba volant, a scripta manent*. [33] Пусть представление об этом «*manient*» неотступно сопутствует каждому литературному

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) деятелю, наверное тогда они и перестанут язвить картофель и не будут противопоставлять кротов орлам.

Другой, тоже достойный осмеяния признак буйственного духа времени – это склонность «ос» к естествознанию.

Не понимают,  
И как бы не желают понимать,  
Что я склонна к естествознанию  
Почти на столько же, на сколько и к жужжанию...  
Так жалуется оса, бесполезное и праздное насекомое, противопоставленное полезной и трудолюбивой пчеле. Оказывается, что пчелы уже давно обладают естествознанием (любопытно было бы видеть этих пчел), но не хотят делиться своими сведениями с осами, на том, конечно, основании, что по отношению к этим праздным и легкомысленным насекомым знание может быть только источником самой глубокой нравственной разнузданности. Истина эта уже не нова; еще г. Даль в оное время отстаивал право русского мужика на безграмотность, на том основании, что научите, дескать, слесаря грамоте, он сейчас же начнет ключи к чужим шкатулкам подделывать. Но допустим невозможное, предположим, что знание действительно вредно – на ком, спрашивается, лежит обязанность определить меру этого вреда и способы его устранения? Неужели на литературе? Нет, говоря по совести, утверждать этого нельзя. Литература не может принять на себя этой задачи, потому что она призвана разрабатывать и распространять знания, а не укорачивать их. Ей нет дела до последствий ее пропаганды, хотя бы ею воспользовались осы, трутни, кроты и другие презрительные разновидности. Пускай знание не всем равно идет впрок (чтобы оно производило прямой вред, мы не решаемся даже сказать подобную нелепость), но в том, что осы, кроты и дождевики почувствовали потребность в знании, нет еще ничего вредного, ни достойного осмеяния. Может быть, они воспользуются знанием дурно, может быть, и совсем не воспользуются, но все это до такой степени гадательно, что позволительно делать предположения и в обратном смысле. Если бы осы жаловались на то, что не удовлетворяют их склонности бить баклуши, тогда действительно можно было бы пожурить их, но видеть что-то неуместное в жажде к знанию, и именно к естествознанию, – это, по малой мере, опрометчиво.

Источник иронии, с которой автор изданной г. Полонским «рукописи» относится к жажде естествознания, по-видимому, кроется в том утвердившемся у нас мнении, будто естествознание подрывает цельность человеческого мирозерцания. Мнение это родилось первоначально на улице (едва ли даже не в среде городских), а с улицы мало-помалу проникло и в литературу. Но хотя уличные публицисты и утверждают, что человек счастливее тогда, когда он убежден, что гром пускает Зевес, нежели тогда, когда он знает действительные причины, обуславливающие гром, история до сих пор не представляла примеров, чтобы знание было причиной чьего-либо несчастья. Патагонцы обладают очень малыми знаниями, но это не делает их счастливыми; напротив того, например, мы, русские, обладаем достаточными знаниями и, вследствие того, чувствуем себя благополучными. Следовательно, ежели оса или еж требуют знания, не возбранять им сие следует, но к тому их поощрять. Распространение знаний приносит все приятства, которыми мы уже пользуемся, и, вероятно, принесет со временем и другие приятства, которыми мы еще не пользуемся; единоторжие же в области знаний, напротив того, делает эти приятства уделом очень ограниченного меньшинства, а большинство ставит в необходимость или завидовать, или облизываться. Подумал ли автор изданной г. Полонским «рукописи», к каким последствиям может привести чувство зависти, особливо ежели будут приняты все меры к постоянному его раздражению? – нет, очевидно, он не подумал, ибо, в противном случае, он понял бы, что единственное средство умиротворить это чувство заключается в удовлетворении, по крайней мере, тех его требований, которые не заключают в себе ничего противозаконного. Крот жаждет естествознания – ну, и дайте ему его, а там, ежели он от него пропадет, то пусть на себя и пеняет. Во всяком случае, он уже не будет иметь поводов для зависти и ропота.

Но ежели автор не подумал об этом, то зачем не подумал за него г. Полонский, взявший на себя труд издать его рукопись?

Наконец, третий признак (мы спешим покончить, хоть подобных признаков найдется еще не мало в этой злосчастной фантазии) выражается устами самого Крылова и состоит в том,

Что о свободе все пищат...

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
И, разумеется, лгут.

Тут всё ирония: и «все», и «пищат». Кто говорит о свободе? – «все», то есть не только столоначальники и благонамеренные литераторы, но сычи, осы, дождевики, кроты и т. п. сброд. Как они говорят? – ну, разумеется, «пищат», то есть несут всякую чушь, не понимая, в чем даже заключается понятие о действительной свободе... И смех, и горе! Смех, потому что если вообще писк не может не возбуждать смеха, то тем более должен быть смешон писк о свободе. Горе – потому, что всех этих маленьких насекомых, к сожалению, необходимо вразумлять, то есть просто-напросто воспретить им пищать о свободе.

Автор уважает свободу и называет ее «святою», но ему больно, когда об ней «пищат», и притом пищат «все». Как и по отношению к естествознанию, он желал бы, чтоб разговоры о свободе составляли предмет единоторжия людей вполне компетентных и подготовленных. Только тогда «святая» свобода не будет компрометирована, когда об ней спокойно будут рассуждать спокойные люди, и, порешив, что свобода есть свобода, разойдутся по домам... Все это прекрасно, но что же, однако ж, смешного в том, что «о свободе все пищат»? «Пищат» – ведь это только значит, что говорят тем самым голосом, который дан природой; «все пищат» – значит, все хотят определить себе значение слова «свобода». Это ведь тоже своего рода любознательность, и притом настолько естественная, что ее почти можно назвать невольною, а стоит ли обращать бич сатиры на такой грех, который совершается невольно. И, наконец, ужели рычание о рабстве слаще для слуха, нежели даже самый смешной писк о свободе?

Таковы признаки буйственного духа времени, которые послужили темой для насмешек автора изданной г. Полонским рукописи. Любопытно было бы знать, каковы же идеалы самого автора? Кто эти орлы, пчелы, соловьи, которых он противопоставляет кротам, осам и снегирям?

Мы не назовем здесь этих орлов; за нас назовет их вся русская жизнь. Но идеалы назвать мы можем; они таковы:

Презрение к полезному.

Концентрирование знания в среде ограниченного меньшинства, в массах же – поддержание невежественности.

Возведение понятия о «свободе» на степень секрета.

Насколько величественны подобные идеалы – предоставляем судить читателям.

Очень возможно, что и настоящая рецензия наша заслужит название придиричвой, внушенной клиентизмом и страстью к наездничеству; но мы не останавливаемся на этих упреках, ибо не имеем никаких сомнений насчет источника, из которого они выходят. С своей стороны, мы искренно желаем, чтоб наши пропагандисты уличной философии убедились наконец, что то, что они защищают, не имеет нужды в защите, а то, что осмеивают, не подлежит осмеянию.

МАНДАРИН. Роман в четырех частях Н. Д. Ахшарумова. СПб. 1870 г  
Герой этого романа принадлежит к породе хищных, то есть к числу тех самых орлов, которые так нравятся г. Полонскому и которых обаяние преимущественно заключается в том, что они питаются телами убиенных. Этот презрительный сорт людей, благодаря панике, произведшей неслыханную путаницу в понятиях, и содействию невежественной части литературы, поставившей себе задачею распространение презрения и ненависти к едва проявившемуся духу пытливости, играет очень немаловажную роль в современном положении нашего общества. Поэтому изучение этого типа, исследование его особенностей и нравов и обнаружение зловредного влияния, оказываемого им на развитие общества, могут представлять не только значительный интерес, но и пользу.

Очень часто хищники возбуждают удивление тою удачливостью, которая постоянно сопровождает выполнение их планов и намерений и которая дает повод предполагать в них сильное развитие умственных способностей; но ближайшее знакомство с каждым отдельным субъектом этой породы разъясняет, что здесь удача лишь в самой слабой степени зависит от соображений и расчетов ума. Хитрость, мелкая изворотливость и очень крупное нахальство, одним словом, самые низшие свойства духовной природы человека – вот орудия, с помощью которых действуют так называемые орлы и

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) которые, к сожалению, обеспечивают за ними удачу. Отсутствие совести, этого бесценного человеческого свойства, без которого немислимо не только устройство правомерных отношений в обществе, но и прочное обеспечение его будущего, тоже не мало придает блеска их действиям, успех которых только и объясняется их совершенную несвойственностью разумной природе человека. Такого рода действия невозможно предвидеть, а следовательно, и отразить. Нельзя предвидеть, чтобы человек для удовлетворения минутной прихоти жертвовал не только своим собственным будущим, но и будущим целого общества; нельзя ожидать, чтобы человек из личных целей не обвинял перегрыз горло другому человеку, а может быть, и тысячам других людей, потому только, что эти люди прямо или косвенно мешают ему. Все <это> такого рода дела, которые, по здравому смыслу, могут иметь исходом или дом умалишенных, или уголовный суд, а между тем «орлы» не только не кончают этим, но сами сажают в дома умалишенных и предают каре уголовных законов. И общество рукоплещет им и называет умниками, видя только успех и не понимая того, что <для того, чтобы> зарезать спящего человека, раздавить слабосильного и украсть платок из кармана у беспечного, не нужно никакого ума, а нужна только бессовестность.

Обилие «орлов» может довести общество до одичалости, превратить мир в пустыню. Будучи руководимы исключительно инстинктами плотоядности, «орлы» не только насыщаются с трудом, но алчут все больше и больше. Трудно представить нравственное разложение, господствующее в этой гнусной толпе, которая самодовольно стоит поперек человеческому развитию. И чем микроскопичнее ее цели, тем назойливее она ставит их средоточием целого мира, тем упорнее оправдывает совершаемые во имя их злодеяния. Эти злодеяния кажутся ненужными, да и в самом деле, ничто не свидетельствует, чтобы обойтись без них было невозможно, но они производят страх, а страх, в свою очередь, еще более запутывает понятия и, следовательно, еще прочнее обеспечивает успех наглости и насилия. Образуется порочный круг, в котором вращается бессильное общество, могущее только страдать, но не могущее определить источника своих страданий. Тут все приходит на ум: и буйственный дух времени, и излишняя пылливость, подрывающая цельность человеческого существования, и неумеренные предъявления требований, – все, кроме действительной причины всех страданий, то есть обилия хищников, со всех сторон заполонивших человеческую ниву.

Вот «орлы», которых надлежит отдавать на суд общественной совести, которых следует обнажать от наружных украшений, вводящих в заблуждение забитую и изнемогающую в чаду бессознательности толпу. А что же за особенная доблесть бросать камнями в снегирей, кротов и ежей, которых и без того только ленивый не бьет.

С точки зрения вышесказанного, мы можем лишь сочувственно отнестись к попытке Г. Ахшарумова изобразить одну из тех личностей, которые сделали себе ремеслом мелкое хищничество. Выбор такой задачи делает величайшую честь автору, хотя выполнение ее заставляет желать очень многого. В особенности, роману вредит его непомерная растянутость, привлечение множества вводных лиц, почти совершенно бесполезных для ясности задачи, а также некоторая несмелость в изображении существенных черт главных действующих лиц. Но и за то уже следует благодарить автора, что он угадал настоящую язву, точащую общество, и сделал начин к ее раскрытию.

**ОШИБКИ МОЛОДОСТИ.** Оригинальная комедия в 5-ти действиях Петра Штеллера. СПб. 1871 г

Издrevле известен афоризм, что молодость склонна ошибаться, но так как, несмотря на афоризмы и споспешествующие им меры, молодость все-таки упорствует в своем неисправлении, то, ввиду такого постоянства, невольно возникает сомнение, не грешит ли, в свою очередь, сам афоризм и не более ли склонна к ошибкам старость, нежели молодость. Молодость легко воспламеняется и увлекается; старость упорствует и пятится назад. Молодость охотно игнорирует затруднения и приносит жертвы; старость вызывает затруднения даже не существующие, останавливается на частностях и из выеденного яйца нередко делает общественный и политический вопрос. Какие из этих признаков составляют то, что признано называть «ошибкой», – это покамест еще не решено, но, во всяком случае, сомнение уже позволительно. Затем, когда речь идет собственно уже об «ошибках молодости», то представляется весьма нелишним различать, что в них следует отнести на долю действительных ошибок и что – на долю неудач. Если, например, молодость имеет в виду цели, без осуществления которых немислим общественный прогресс, и если она не достигает этих целей, но сама падает их жертвою, то подобного рода факт еще нет основания

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) характеризовать именем «ошибки», а можно назвать только неудачей, а иногда и несчастьем. Ошибка тут совсем не на той стороне, которая стремится и увлекается, а на той, которая упорствует и живет под игом панических страхов. Если же и допустить, что увлечение молодости легко развивается в фанатизм, а фанатизм сам по себе уже составляет ошибку, то и в таком случае главная доля ответственности за подобный факт все-таки падает на сторону упорствующую, потому что только ее систематические отпоры могут фанатизировать деятельность, направленную, в существе своем, исключительно к достижению спокойного и разумного человеческого прогресса.

Картина борьбы мнимых ошибок молодой воспламеняемости с действительными ошибками старческой мнительности, картина развития первых в увлечение и потом в фанатический идеализм и последних – в простое, грубо-материальное озлобление, сопровождаемое арсеналом принудительных орудий, могла бы быть до крайности интересной, если бы художник, избравший себе подобный предмет, взглянул на него глазами непредубежденными. Но в том-то и дело, что до сих пор успех слишком часто приписывается мудрости, а неудача – ошибке и заблуждению. Забитость умов, их неспособность отнестись критически к преданиям и взглядам, завещанным рутиную воспитания, наконец, нежелание нарушить личное нравственное равновесие участием в поисках, исход которых представляется уму не всегда отчетливо, – вот, кажется, где следует искать причину, почему литература и искусство так неохотно выступают на арену общественности и почему, однажды выступивши на нее, относятся к происходящему на ней движению с недоверием, с ироническим сожалением, а иногда и просто с злорадством. Блистательнейшим примером такого особенного отношения к общественному движению может служить наш современный общественный роман, наша современная общественная драма. За немногими попытками поставить вопрос на почву реальную, согласную с истиной (попытками, выполненными, впрочем, не весьма даровито), мы везде встречаемся или с недоразумением, или с открытой враждой. Можно подумать, что тут замешалось ежели не предумышленное, то крайне неряшливое забвение характера и законов общественного развития, и. что, вследствие этого забвения, явления и вещи называются совсем не теми именами, какими им называться следует. Ошибки называются мудростью; правильное отношение к жизни – ошибкой. И что всего страннее, это делается не потому, что обнажать так называемую мудрость от отягощающих ее покровов не всегда удобно, а с полной искренностью и с совершенным убеждением, что успех и сила – суть подлинные признаки мудрости, а неудача и слабость – подлинные признаки заблуждения. Картина выходит хлесткая и яркая, но, несмотря на свою яркость, – односторонняя, несмотря на свою искренность (в этом смысле мы не позволяем себе делать никаких исключений), – совершенно бессовестная. Забывается, по-видимому, нечто очень существенное: относительно «ошибок» оставляется без внимания процесс их первоначального трудного нарастания и потом искупления; относительно «мудрости» – процесс ее появления из головы Минервы во всеоружии и затем процесс употребления в дело метательных орудий и снарядов. Очень может быть, что это забывается по рассеянности или просто по глупости, но можно, кажется, сказать утвердительно, что если бы на эти эпизоды, составляющие неотъемлемую принадлежность всякой правдивой истории «ошибок», было обращено надлежащее внимание, то смысл картины изменился бы во многом и очень существенно.

Печальная сторона такого отношения литературы к жизни заключается в том, что оно вводит в заблуждение читающую общественную массу. Масса живет непосредственную жизнью, не анализируя явлений, а следуя за течением их. Проверки и уяснения своего бессознательного чувства она ищет в книгах, и в этом случае талантливая фальшь, окруженная, сверх того, внешними благоприятствующими условиями, может играть роль очень существенную. Нет ничего легче, как представить предмет не в том свете, который ему подлинно принадлежит, а в том, который приходится по сердцу самому художнику или же прошел сквозь горнило предания и от него получил право на официальную незыблемость. И с другой стороны, нет ничего труднее, как изобличить фальшивость этого света. Возьмите, например, хоть патриархальные отношения. Какую мягкую, симпатичную и в то же время ловкую картину можно написать по этому поводу: и отца семейства, украшенного сединами, и семейный очаг, и шипящий самовар, и тихо звучащие речи, и все такое, по поводу чего читатель может задуматься и вздохнуть. И вдруг, в самую середину картины врывается протестующий Каин, который, не откладывая дела в дальний ящик, начинает с маху обличать, обвинять, грубить и не признавать. Читатель опять задумывается, но уже не вздыхает, а негодует. Он прав, потому что он сам был неоднократно свидетелем подобного рода картин, а быть может, и терпел от них. Но он не вдавался в разъяснение причин этого явления, а просто выносил его, как выносятся значительнейшая часть жизненной ноши. И вот, к нему является на помощь

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) художник, который тоже не разъясняет причин антагонизма, а только подтверждает его существование; с одной стороны, он изображает тишину и безоблачность патриархальных отношений и называет их истиною жизни, с другой – указывает на вторжение протеста и называет его наглым наездом необузданности и распущенности. Ни источников, ни действительного смысла протеста он не понимает и не указывает, да и не его это дело, потому что художник только воспроизводит, а не доказывает. Читатель тоже, с своей стороны, не рассуждает много, а только припоминает, что действительно был свидетелем чего-то подобного в жизни, и прямо уже заключает отсюда, что освещение, сообщенное факту художником, вполне согласно с истиною. Этого довольно, чтобы на прочном основании установить мнение, что молодость склонна к ошибкам, а старость имеет равносильную склонность к мудрости. Да это еще снисходительно, если осуждение сводится только к ошибкам. Бывают суждения более резкие, утверждающие, что молодость способна только для разрушения, отрицания и дезорганизации.

Изложенные выше соображения относятся, впрочем, не столько к комедии Г. Штеллера, сколько к названию ее. В самой комедии об «ошибках молодости» нет даже речи, или, лучше сказать, этим ошибкам придано самое рутинное значение. Ошибок тут две: одна представляет совершившийся факт и принадлежит студенту Красову и жене его, которые вступили в брак, не рассчитавши средств жизни, в надежде на молодые силы и личный труд; другая, не составляющая совершившегося факта, могла быть совершена студентом Сар-матовым, который, не разбирая своих чувств к Надежде Васильевне Моргуновой, чуть-чуть было не женился на ней, но вовремя был остановлен самой Надеждою Васильевною, угадавшею склонность своего жениха к княгине Резцовой. Первая из этих задач могла бы назваться серьезною, если бы автор не бросил ее в комедию в виде эпизода, очень мало вяжущегося с главною канвою пьесы. Но и в виде эпизода задача выполнена неудовлетворительно и непродуманно, вследствие чего правда и жизненность явления всецело заменены мелодраматизмом. В способности молодости возбуждаться общественными интересами и идеями, имеющими покуда лишь отвлеченный смысл (например, идеей личного труда), сомневаться нельзя, но чтобы возбужденность эта получила характер типический, необходимо, чтобы самое содержание ее имело хотя приблизительно то же разнообразие, которое имеет и сама жизнь. Между тем гг. Красовы начинают совместную жизнь очень торжественно, чуть не под бой барабанов и звуки труб, а в то же время составные части того идеала, на котором покоятся их надежды, до крайности скудны и исчерпываются частными уроками и переводами. Мы понимаем, что иногда нельзя не принять и такого рода будущность, но восторгаться ею все-таки нет повода. И действительно, как только уроков не оказывается, а рынок переводов оказывается чрез меру переполненным, жизнь обоих является исчерпанною, и им ничего не остается, как умереть голодною смертью, что, конечно, и случилось бы, если б не явилась вовремя благодетельная рука княгини Резцовой. Для драмы это содержание слишком тощее, хотя, может быть, такого рода примеры и случаются в действительной жизни. Но в том-то и дело, что факты действительной жизни пригодны для искусства только тогда, когда им сообщен характер генерический. Предположите случай, что девица вознамерилась сделаться телеграфисткой, но не получила места и вследствие этого умерла с голоду – ведь это тоже факт и притом очень печальный, и даже не невозможный. Но может ли этот факт служить сюжетом для драмы в том обнаженном виде, в каком он нами рассказан? – Очевидно, не может, ибо здесь не видно ни борьбы, ни усилий овладеть жизнью, ни действительного протеста, ни даже необходимости подобного исхода, как смерть. Здесь просто «происшествие», почерпнутое из «Полицейских ведомостей». А положение Красовых так именно и изображено.

Что же касается до «ошибки» Сарматова, то это одно из тех *qui pro quo*, [34] которые, к сожалению, слишком часто приходится видеть на сцене Александринского театра.

СВЕТЛОВ, ЕГО ВЗГЛЯДЫ, ХАРАКТЕР И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. («Шаг за шагом»). Роман в трех частях Оммулевского. СПб. 1871 г

В деятельности известнейших представителей современной русской беллетристики замечается очень резкое внутреннее противоречие. С одной стороны, она представляет как бы протест против господства реализма в искусстве, с другой – фаталистически удерживается на почве того же реализма со всею полнотою внутреннего содержания, которое питает его в данную минуту. И что всего замечательнее: протест в этом случае выражается преимущественно в лирических и дидактических отступлениях и лишь изредка облекается в форму образов, которые тщетно заявляют претензию на жизнь. Очевидно, стало быть, что дидактизм трудно уживается с искусством, и особенно дидактизм задним числом, дидактизм,

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) полемизирующий в пользу интересов отживающих и в ущерб интересам нарождающимся и ищущим для себя осуществления не ради удовлетворения чьей-либо прихотливой фантазии, но ради жизненной силы, которая заключается в них самих.

Но ежели мы вникнем в сущность этого протеста, то увидим, что предметом его служит не реализм собственно, а лишь содержание, которое наполняет его в данную минуту. Не по сердцу то, что содержание это имеет характер совершенно несходственный с прежним; что тут на первом плане стоят совсем иные задачи, нежели те, которые когда-то волновали общество; что из-за этих задач уже выглядывают другие в качестве предвещаний и предчувствий будущего; что эти предвещения и предчувствия, несмотря на свою неопределенность и смутность, уже занимают умы и, вопреки требованиям здоровой логики о постепенном, всестороннем и неторопливом рассмотрении возникающих вопросов, ставятся на очередь, так сказать, без всякой очереди. Действительный смысл событий, надежд и порываний оказывается неясным; перед глазами разворачивается лишь хаотическое сновидение, преисполненное бесцельных мельканий, исчезновений и появлений; и хотя эти мелькания небеспричинны, – они означают искание опорной точки, которой нет и которую необходимо найти, чтобы ввести жизнь в правильную колею, – но для людей, уже отыскавших такую точку или мнящих, что отыскали ее, оно представляется просто отрицанием всякого прочного исходного пункта. Отсюда – сомнение не только в плодотворности, но и в самой законности жизни с подобным характером. Это не жизнь, а просто бесформенная фантазмагория, наполненная ходячими абстрактностями, а не живыми людьми, – вот подавляющий вывод, который должен вытекать из отношений, которые установились в нашей беллетристике к современной действительности. А так как искусство все-таки не может отвернуться от живых форм, в каком бы антипатичном виде они ни представлялись, не может признать существующего несуществующим, то и выходит нечто совершенно противоположное тому легендарному преданию, которое передается об одном средневековом живописце. Тот когда писал, то у него рука дрожала от умиления, а наши художники когда пишут, то руки у них дрожат от негодования. В результате получается шарж, пятно, и – что всего прискорбнее – пятно, искажающее нередко картину довольно замечательную.

Что в этом направлении главных деятелей современной русской беллетристики главную роль играют всевозможные недоумения – об этом было уже достаточно говорено; но мы имеем возможность указать на пример, относительно которого не может быть даже речи о недоумениях, недоумениях, непониманиях или о чем-нибудь подобном и в котором упомянутое выше внутреннее противоречие высказывается еще с большей резкостью. Пример этот представляет Ф. М. Достоевский. По глубине замысла, по ширине задач нравственного мира, разрабатываемых им, этот писатель стоит у нас совершенно особняком. Он не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область предвещаний и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества. Укажем хотя на попытку изобразить тип человека, достигшего полного нравственного и духовного равновесия, положенную в основание романа «Идиот», – и, конечно, этого будет достаточно, чтобы согласиться, что это такая задача, перед которой бледнеют всевозможные вопросы о женском труде, о распределении ценностей, о свободе мысли и т. п. Это, так сказать, конечная цель, в виду которой даже самые радикальные разрешения всех остальных вопросов, интересующих общество, кажутся лишь промежуточными станциями. И что же? несмотря на лучезарность подобной задачи, поглощающей в себе все переходные формы прогресса, г. Достоевский, нимало не стесняясь, тут же сам подрывает свое дело, выставляя в позорном виде людей, которых усилия всецело обращены в ту самую сторону, в которую, по-видимому, устремляется и заветнейшая мысль автора. Дешевое глумление над так, называемым нигилизмом и презрение к смуте, которой причины всегда оставляются без разъяснения, – все это пестрит произведения г. Достоевского пятнами совершенно им несвойственными и рядом с картинами, свидетельствующими о высокой художественной прозорливости, вызывает сцены, которые доказывают какое-то уже слишком непосредственное и поверхностное понимание жизни и ее явлений. Где кроется причина столь глубокого противоречия? В простой ли случайности или в нежелании автора отделить сущность вещей от тех внешних и не всегда приятных для глаз потуг, которыми всегда сопровождается рождение нового явления, – это покажет время. Но нельзя не согласиться, что этот внутренний раскол производит впечатление очень грустное и притом весьма существенно отражается на творческой силе самого автора. С одной стороны, у него являются лица, полные жизни и правды, с другой – какие-то загадочные и словно во сне мечущиеся марионетки, сделанные руками, дрожащими от гнева...

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Жизненные вопросы, занимающие в данную минуту общество, могут, конечно, представлять большую запутанность и с этой точки зрения подвергаться критике, но не о правах критического отношения к ним идет здесь речь (незыблемость этих прав необходима в видах дальнейшего прогрессирования жизни), а о том, что за этими запутанными и невыясненными вопросами стоит нечто, не представляющее уже никакой запутанности и неясности. Это ясное и незапутанное – есть стремление человеческого духа прийти к равновесию, к гармонии.

В существовании и непрерывности этого стремления не усомнится ни один мыслящий человек. Оно переходит от одного поколения к другому, наполняя собой содержание истории и не умирая даже в такие эпохи, в которые общества человеческие, по-видимому, коснеют в самодовольном спокойствии. Оно же освещает и те несовершенные попытки и деяния (сущность этих попыток и деяний выражается в очень немногих словах: упущение и выяснение тех условий, в которых человеку суждено жить), которые предпринимаются в виду основной цели, и указывая на существенные успехи, которые приобретены ценою усилий воинствующей мысли, тем самым набрасывают покров забвения на уклонения и неудачи, временно сопровождавшие борьбу. Только из общих результатов, в которых утопают случайные частности, делается вполне ясным действительный смысл совершающихся событий, и никакой историк не имеет права обойти эти результаты, если желает, чтоб оценки его имели убедительность. Ежели же современники и не видят еще этих общих результатов, то они не имеют права упускать из вида, что существует закон прогресса, несомненность которого свидетельствуется историей и напоминание о котором должно во всяком случае заставить их быть осмотрительнее в своих оценках.

Чтобы объяснить, до какой степени неправильны те враждебные отношения, в которые поставила себя наша беллетристика к интересам, занимающим современное мыслящее русское общество, разберем здесь некоторые из этих последних.

Первое место в ряду этих интересов занимает претензия на свободу мышления. И действительно, вопрос этот очень важен, потому что в благоприятном его разрешении лежит возможность более легкого и правильного обретения истины. Кажется, ничего похвальнее этой цели не может быть, но тут откуда-то, как *deus ex machina*, врывается слово «разнузданность» и смело становится поперек. Это одно из тех не помнящих родства выражений, которые всецело принадлежат мраку времен, но которых традиционная сила так велика, что ее не могут подорвать даже бесспорнейшие свидетельства истории. Как ни ясно доказывает эта последняя, что мысли, считавшиеся в свое время опасными, очень скоро входили в домашний обиход и делались предметом самого будничного собеседования, опасение «разнузданности» заставляет цепенеть и тех, которые не прочь бы, лично для себя, даже отведать от плода сего. Прямо разрешить вопрос кажется странным: все лучше хоть какой-нибудь кончик про запас оставить. А тут-то именно и кроется первый зародыш запутанности, которая впоследствии приведет за собой целый ряд самых неожиданных разветвлений; ибо ежели люди мечтают о кончике, то весьма естественно, что им довольно трудно будет прийти в соглашение за счет абсолютной величины его. Второй повод к путанице представляет опасение, что свобода мышления приведет за собой разномыслие, которому, собственно, и присвоится название разнузданности. Но при этом обязательно забывается, что нельзя даже двух столоничальников одного и того же ведомства встретить, которые были бы во всем между собою согласны, и что никто, однако ж, за это не называет их разнузданными. Полагается прямо, что разногласие породит вражду, для устранения которой и следует заранее и сколь возможно точнее определить, какое мышление следует признать разнузданным. Тут путаница делается еще более существенною, ибо спор утрачивает характер абстрактности, которым он страдал при определении «кончика», и вступает в область фактов, при оценке которых каждый руководствуется указаниями личного темперамента. Образуется лабиринт, а словоохотливые беллетристы подходят к этому лабиринту и, не останавливаясь на причинах, обусловивших его образование, просто-напросто говорят: вот к чему привело ваше свободомыслие – к разнузданности!

Другой вопрос, тоже довольно живо интересующий мыслящую часть нашего общества, есть вопрос женский. Никак нельзя сказать, чтоб необходимость его разрешения, в большей или меньшей степени, не чувствовалась даже теми, которые на всякое зло привыкли смотреть как на что-то неотвратимое и неизбежное. Все инстинктивно или сознательно чувствуют, что здесь кроется корень бесчисленного множества неудобств, совокупность которых ложится тяжелым бременем на жизнь, но необычность заявляемых по этому поводу стремлений представляет и тут готовый

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) источник всякого рода затруднений. Запутанность относительно этого вопроса тем более возможна, что он, во-первых, находится под гнетом преданий, далеко не утративших своей силы, и, во-вторых, связывается с указаниями физиологии, которая еще не сказала по этому предмету своего последнего слова. Однако жизнь не ждет разрешения теоретических споров и вступает в свои права путем эмпирическим. Она знает, что ошибки возможны, но в то же время знает, что основная мысль верна, и потому не пугается ошибок. Но ежели уже абстрактная, теоретическая мысль считается необычной, то понятно, насколько необычным должно показаться действие. И вот стремление женщины обеспечить свое существование самостоятельным трудом вызывает насмешки, а попытка стать в равноправные отношения к мужчине возбуждает уже прямое презрение и клеймится специальным названием «распущенности нравов».

Образуется лабиринт, в котором действительно требуется не малая доза добросовестности, чтоб отделить, что принадлежит к области женской самостоятельности и что к области лакомства (но ведь в том-то и заключается сила человеческой проницательности, чтоб уметь отличать даже там, где отличить трудно!), а словоохотливый беллетрист подходит к лабиринту и, не рассуждая, вследствие чего он явился, просто-напросто говорит: вот он ваш женский вопрос – распущенность! И так как это предмет подходящий, то начинает обливаться читателя целым ливнем помоев, в которых и замыкает всю сущность женского вопроса.

Третий подобного же рода вопрос – о народном образовании. На наших глазах он пошел довольно бойко и выразился учреждением разнообразных школ, в которых принимала участие и частная инициатива. Но тут вышла запутанность самого уморительного свойства, а именно: показалось странным, что в школах учат. Тотчас же вопрос осложнился определениями: что такое школа? какое ее назначение? и в то же время уядовитился всякого рода подозрениями насчет разнузданности, распущенности и даже революционной пропаганды. Ванька, рассуждающий о том, что земля кругла, показался смешон; Ванька, изъявляющий претензию, чтоб с ним были на вы, показался дерзок. Кроме того, так как Ванька не мог же в течение одной минуты проникнуться всею мудростью, которая наполняла головы старшей братии, то весьма естественно, что он на каждом шагу делал промахи. Выходили замечательные *qui pro quo*, и словоохотливые беллетристы воспользовались ими, чтобы убедить публику в прирожденном тупоумии Ванек и в ненужности для них учения. Вот оно, ваше народное образование! – говорили они, – только народ развратили да научили его впрямь <вкривь> и вкось обо всем болтать!

Ту же участь испытал и еще вопрос – рабочий. Нет нужды, что жизнь каждую минуту выдвигает его вперед – словоохотливые беллетристы видят в нем лишь смуту, затею неизвестно чьей прихотливой фантазии, и согласно с этим ставят на первый план подстрекательство и революционные интриги...

И таким образом, с невозмутимым легкомыслием устраняются все вопросы, на разрешении которых упорно настаивает сама жизнь. И что всего важнее, устраняется не только та или другая попытка разрешения, но самое право на попытки подвергается презрению и поруганию...

Среди мрачных продуктов извращенной человеческой мысли, отождествляющей прогресс с умопомрачением, тем с большим удовольствием останавливается читатель на художественном произведении, которое не следует общепризнанной ругательной традиции, но рассматривает вопросы, занимающие в данную минуту общество, просто как вопросы, предлагаемые самою жизнью. Тип человека, переносящего арену своей деятельности из сферы домашней в сферу общности, конечно, не нов и у нас благодаря тому, что расширение арены человеческой деятельности, хотя и не пользуется фактическим признанием, в принципе все-таки не подлежит спору; но ново то обстоятельство, что художник, выводя своего героя на эту более широкую арену, не ставит ему подножек от своего лица, не огорошивает на каждом шагу вопросом: «Дурак! куда ты лезешь?» и не говорит в упор: «Не твое дело!»

К числу таких «новых» произведений, с полною добросовестностью относящихся к насущным вопросам современности, принадлежит рассматриваемый нами роман Г. Омулевского. Писатель этот только что начинает свое литературное поприще, и хотя это, быть может, значительно помогает свободе его отношений к явлениям жизни, но вместе с тем это же самое доказывает, что существует известный разряд жизненных явлений, к которым неопытная рука может прикасаться деликатнее, нежели рука, искусенная многолетними и непрерывными щупаньями.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Нам скажут, быть может, что в романе Г. Омулевского бросается в глаза очень большая доля книжности, что герои его романа, более чем нужно, походят друг на друга, что действие идет несколько вяло и т. д., – и мы, конечно, вынуждены будем принять эти замечания к сведению. Но мы считаем при этом долгом обратить внимание читателя на одно обстоятельство, имеющее, по нашему мнению, при оценке произведения Г. Омулевского существенное значение. Дело в том, что новые идеи, которых касается автор, входят в общий обиход очень туго, а еще туже проникают в самую жизнь, то есть достигают признания для себя. Это затруднение имеет тот непосредственный результат, что художественное воспроизведение практических проявлений этих идей невольным образом суживает свои границы и видит себя в невозможности воспользоваться всем разнообразием существующих форм. Женщину, ищущую для себя самостоятельного места на жизненном пире, изобразить, конечно, труднее, нежели женщину, обманывающую своего мужа и за всем тем живущую на его содержании. Относительно обманывающих женщин существует целая литература и, наконец, великое множество устных преданий, из которых можно вывести очень обстоятельную теорию и на основании ее выкроить множество моделей, не лишенных жизненной правды. Напротив того, о женщине, ищущей самостоятельного положения, слухи пошли лишь недавно, и притом самая эта задача, вследствие своей неразработанности, представляется уличному пониманию в такой обстановке, которая с трудом удерживается в пределах опрятности. Поэтому ничего нет удивительного, что недостаток объективности восполняется в этом случае лиризмом и что этот последний даже занимает первый план. Тем не менее мы сочли бы себя вправе укорить Г. Омулевского в недостатке столь крупном (хотя и вполне объяснимом), если бы не видели с его стороны очень серьезных усилий освободиться от голословных разглагольствований и стать на дорогу образного воспроизведения жизни. Не проводя никаких параллелей, мы, по совести, можем сказать, что Г. Омулевский в художественном отношении стоит далеко впереди тех более опытных беллетристов, которые идут с ним об руку в одном и том же честном литературном направлении, но в то же время не подают никаких надежд на освобождение от голословности.

В заключение, мы не можем без полнейшего сочувствия отнестись к следующим строкам почтенного автора, которые, по нашему мнению, в значительной мере объясняют существование в его романе тех слабых сторон, о которых мы сейчас говорили.

Вот эти строки:

Как неоттаявшая почва мешает зреть брошенным в нее семенам, как не могут отливать всеми красками солнца подснежные цветы, – так точно задерживаются рост и краски художественного произведения суровым дыханием нашей северной непогоды. Что было возможно, однако ж, то сделано нами, и да не поставится никому в укоризну посильный труд. Если в нашем первом опыте ты останешься недоволен бледностью интриги, чуждой той завлекательной формы, к какой приучили тебя более даровитые возделыватели отечественной мысли; если его завязка покажется тебе однообразной и скучной, или несколько туманной, а развязка – совершенно ничтожной, – то и в этом не вполне виноват один автор. Не до блестящих интриг теперь нам с тобой, читатель, когда безвозвратно миновала золотая пора сказок и жизнь предьявляет на каждом шагу свои настоятельные нужды. Наступает нечто лучшее, – лучшая и завязка требуется для романа; за развязку же никто не может поручиться тебе в наше переходное, обильное всякими недоразумениями время. В одном только принимаем мы на себя полную ответственность: не Светлов будет виноват, если эта личность не заслужит твоей серьезной симпатии; считай тогда просто, что у автора – не хватило пороку. Глубокое убеждение подсказывает пишущему эти строки, что во сто раз честнее ему самому провалиться перед публикой, нежели невежественно уронить в ее глазах ту либо другую, восходящую на общественном горизонте, силу, когда эта сила, хотя бы даже и в своих заблуждениях, неизменно направлена к благу и преуспеянию родины.

А теперь, при расставании, – позволь, в свою очередь, и автору спросить у тебя: да пришло ли у нас еще, полно, то желанное время, когда деятельность личности, подобной Светлову, может быть всецело выведена перед твоими глазами? Возблагодарим небеса и за то, если перед тобой, как бы еще в утреннем тумане, уже скользит иногда ее далеко не окрепшее начало. Мы не скажем, что у нас невозможна подобная деятельность; но где – укажи нам – та широкая общественная арена, на которой она могла бы показать свои действительные силы, борясь открыто, лицом к лицу, с своими исконными врагами – тьмой и невежеством? Только еще в далекой радужной перспективе носится перед нами такая борьба... За неимением

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) ее Светлов ведет иную: это борьба пролетария в подземных каменноугольных копиях, – борьба тяжелая и неблагодарная, иногда безнадежная, но чаще всего – опасная. Долго ли обрушиться сводам этих извилистых коридоров, прорытых в земляных глыбах? Долго ли раздавить им упорного труженика, с одной только киркой в руке неумоимо прокладывающего в этих грубых пластах дорогу будущему торжеству идеи, на благоденствие грядущих поколений?

С этим, конечно, нельзя не согласиться.

РУССКИЕ ДЕМОКРАТЫ. Роман в двух частях Н. Витнякова. СПб. 1871 г  
Может ли сыроварение служить предметом романа? – вот вопрос, который естественно возникает при чтении романа Г. Витнякова. Как ни странен кажется этот вопрос с первого взгляда, но если отнестись к нему внимательно, то ответ придется дать утвердительный. Да, сыроварение может быть точно так же источником радостей, горестей и всевозможных жизненных перипетий, как и всякая другая отрасль человеческой деятельности, как государственная служба, например. Что в этой последней заключается неисчерпаемый источник для всевозможных завязок и развязок – это факт уже доказанный. Чиновник зазевался, не встал с надлежащею поспешностью при входе начальника, не приветствовал его с тою почтительностью, которая завещана практикою, – вот уже готовое зерно для целой драмы. Начальник строг, но справедлив; он требует, чтоб на лицах подчиненных чиновников выражалась, при входе его, почтительная радость, требует этого не ради удовлетворения своего самолюбия, а ради принципа. Н зазевался и не удовлетворил этому принципу... драма начинается. Затем, посмотрите, сколько может быть здесь осложнений! В это самое время, когда чиновник зазевался, он собирался жениться на молодой и достойной девице; родители девицы охотно соглашались на этот брак, но соглашались все-таки потому, что имели в виду занимаемое чиновником место столоначальника. Но гнев начальника разбивает мечты в прах. Оказывается, что чиновник, кроме сыроварения или писания отношений, предписаний и рапортов, ничего не знает и делать не может. Он приходит к родителям, объявляет о своем горе и за всем тем упорствует в намерении жениться, изъявляя надежду, что бог даст, как-нибудь и т. д. Но родители о «как-нибудь» и слышать не хотят, ибо небезосновательно подозревают, что это «как-нибудь» заключает в себе не что иное, как посягательство на их карман. Драма осложняется еще больше, потому что образованная и молодая девица исповедует убеждения, совершенно противоположные тем, которые исповедуют строгие, но умудренные опытом родители. Она вместе с женихом говорит: «Мы молоды, мы сильны», и т. д., а отсюда до «бог даст» и «как-нибудь» – рукой подать. Происходит ряд бурных и возмутительных сцен, в промежутке которых уволенный от службы чиновник делает образованную девицу матерью и под рукою предпринимает изнурительное путешествие по департаментам в поисках за местом. Но тут драма осложняется еще более. Является он, например, в департамент дивидендов и раздач – его спрашивают: где вы прежде служили? Он отвечает: в департаменте недоумений и оговорок. Зачем оставили службу? – Уволен за неспешное приветствование начальника. Пауза. Затем отказ. Драма осложняется еще более, потому что чиновник износил свои штаны, а образованная девица с часу на час ждет, что увлечение ее откроется. Это кульминационная точка, далее которой драматический интерес не идет. Затем, говоря языком поваренных книг, можно поступить по вкусу, то есть или определить чиновника начальником отделения в департамент отказов и удовлетворений и окончить драму общим благополучием, или же заставить героев утопиться в Неве. И после того, как все это будет сделано и «плод любви преступной» будет сдан в воспитательный дом, издать драму или роман под названием:

ЗАЗЕВАЛСЯ!

или

ОШИБКИ МОЛОДОСТИ

Драма в «» действиях, или роман в «» частях. Соч. Очевидца

Но если все это можно проделать по поводу государственной службы, то непонятно, почему те же самые комбинации не могут быть допущены по поводу сыроварения. Ремесло сыроварения тоже может быть источником и радостей и бед. Удачный выход сыра – и человек счастлив, неудачный – и человек погиб. Затем: 1) образованных девиц, сочувствующих сыроварению, точно так же много, как и таковых же, сочувствующих деятельности столоначальника; 2) умудренных опытом родителей – тоже непочатый край; 3) департаментов по части сыроварения едва ли даже не

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) больше, нежели департаментов по части отказов и удовлетворений. А коль скоро существуют налицо все элементы для драмы, то несомненно, что может существовать и самая сыроварная драма.

Таковую именно драму представил нам г. Витняков, и хотя мы не считаем себя вправе признать его опыт совершенно удавшимся, но не встречаем никаких препятствий к продолжению подобных же опытов и по части винокурения, медоварения и пивоварения. Один недостаток нам кажется довольно капитальным в труде г. Витнякова, а именно тот, что все выходы сыра у Радужного (герой романа) слишком уже удачны. Кажется, что в жизни не всегда так бывает, а впрочем, мы и к тому не имеем ни малейших препятствий, чтобы успех следовал по пятам г. Радужного на всем протяжении его сыроварной карьеры.

И еще один очень важный недостаток – это до крайности безобразное издание романа, испещренного таким множеством опечаток, которому мы давно уже не видали примеров.

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ И ДРАМАТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ Н. А. ЛЕЙКИНА. 2 тома. СПб. 1871 \* Г-н Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни. Область наблюдений его не очень обширна (торговцы Апраксина двора и мелкое петербургское купечество); но в этой небольшой области он является полным хозяином, свидетельство которого не может возбудить ни малейших сомнений. В сочинениях, ныне им изданных, читатель не встретится ни с законченною драмою, ни с характерными типами, но познакомится с целою средой, обстановка которой схвачена очень живо и ясно. Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность.

Среда, изображаемая г. Лейкиным, в высшей степени оригинальна. Все в ней своеобразно: и язык, и внешняя обстановка, и нравственные условия, и радости, и горести, и даже религия. Это языческий мир, лишенный своей первоначальной наивности и оставшийся при одних грубых верованиях в приметы, при одном паническом страхе перед стихийною силою. Страх – вот главный фон картины; затем следуют аксессуары: преемственное дранье, беспробудное пьянство и обдывание делишек с полным презрением ко всему, что напоминает о совестливости и правильности расчетов. Побоями начинается здесь жизнь и побоями же оканчивается; применение этого принципа разнообразится только тем, что в начале жизни побои принимаются, в конце – раздаются. В свободное от побоев время люди мошенничают, устраивают злостные банкротства, пьянствуют, читают сонники и молятся, то есть ставят пудовые свечи и льют чудовищные колокола. Как ни мало замысловата такая жизнь, но она осложняется одним весьма важным элементом: трепетом перед таинственною угрозою, которую никто из этих подневольных людей уяснить себе не может. Отсюда целый ряд эмпирических попыток оградить себя от действия этой угрозы, – попытки, разрешающихся тем, что случайные и бессвязные внешние признаки получают силу незыблемого закона и уважаются тем охотнее, что поклонение ему не требует ни пудовых свечей, ни чудовищных колоколов. Тем не менее выполнение всех отыскиваемых таким путем примет требует самой настойчивой точности. Надобно знать, когда следует употребить наговоренный пояс, в каких случаях полезно навязать на левую щиколку кожу, содранную с угря, в каких болезнях приносит облегчение галка, приколоченная за крылья к подворотне дома, и т. п. Это целый кодекс, имеющий в виду обеспечить жизнь и все-таки не обеспечивающий ее, потому что кодексу этому нет конца, и сегодняшние случайные открытия могут быть опровергнуты завтрашними, не менее случайными открытиями. Понятно, что вся эта сложная процедура может иметь место только в такой среде, которая только по наружности кажется деловою, в действительности же изнемогает под бременем праздности и невежественности.

И эта нравственная и умственная Патагония существует не где-нибудь в Обояни или Наровчате, а в столичном городе С.-Петербурге. Центр ее составляют: Апраксин двор и Ямская; но нельзя поручиться, чтобы в менее плотном виде она не была разлита и в других кварталах. Этот факт очень прискорбен, но делается еще более прискорбным вследствие одного обстоятельства, которое значительно осложняет его.

Не надо забывать, что все эти язычники, льющие колокола и верующие в прибитую к подворотне галку, не просто грубые люди, похожие более на зверей, нежели на людей. Нет, это так называемая каменная степа. Если бы эти люди представляли собой стоящий особняком общественный нарост, не имеющий органической связи с остальным обществом, можно было бы пожалеть о них; но это совсем не особняк, а

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) оплот, относительно которого наростом (и даже вредным, подлежащим преследованию) считается все, что не подходит к этому типу. Мы находимся еще в том периоде умственного развития, когда правило: чем неразвитее человек, тем он надежнее – сохраняет все свое подавляющее значение. Это убеждение носится в воздухе, туманит все головы и даже проникает в сердца самих патагонцев. Они совсем не чувствуют себя подонками и отребьем общества; напротив того, вполне сознают, что сила на их стороне. Они вполне убеждены, что мысль есть единственный и самый злой враг общества и что бессмыслие есть его ограда. И убеждение это делается тем непоколебимее, что на каждом шагу оно встречает себе практические подтверждения. Человек, от зари до зари обсчитывающий и обмеривающий, потом до безобразия напивающийся и в пьяном виде отходящий ко сну – вот идеал благонадежного гражданина, который и до сих пор не перестает господствовать в уличных понятиях. Нужды нет, что эти люди воруют самым наглым образом – они краеугольный камень собственности; нужды нет, что они верят в наговоренные пояса – они краеугольный камень религии; нужды нет, что семейная жизнь их есть не что иное, как сплошной разврат – они краеугольный камень семейства; нужды нет, что своими действиями они непрерывно подрывают основы общества – в них, и в них одних усматривается краеугольный камень общественного спокойствия. Собрание всех этих краеугольных камней можно видеть в столичном городе С.-Петербурге, на Апраксином дворе. И они ведут себя с полным сознанием своей краеугольности, ибо и отцам, и дедам их исстари было натолковано: вы столпы! Недаром же купец Суриков (в пьесе г. Лейкина «Ряженные») говорит: «А мы так и без арифметики прожили; слава богу, деньги счесть можем». Он знает, что он краеугольный камень и что в этом чине ему не только без арифметики, но и совсем без царя в голове прожить можно.

Стало быть, патагонцы наши далеко не беззащитные сироты, какими представляют их себе сентиментальничавшие народолюбцы, но люди очень зубастые и опасные. Они наполняются ненавистью точно так же легко, как и сивухой, и притом ненавистью, всегда направленною односторонне. Всякая попытка к выходу из состояния бессознательности преследуется ими и прямо, и косвенно: прямо, когда лицо, предпринимающее попытку, находится под руками; косвенно, когда оно находится вне непосредственного влияния патагонцев. Поэтому не только нельзя относиться к патагонцам с сочувствием, но нет даже надобности отыскивать точку, на которой можно было бы примириться с ними. Если допустить, что это люди, находящиеся под гнетом истории, то надо допустить, что и они, в свою очередь, гнетут историю, которая, в своих темных чертах, есть не что иное, как дело рук патагонцев. Даже добрые качества, которыми они, как люди, конечно, обладать могут, не внушают ни малейшей симпатии, ибо они составляют лишь индивидуальные качества, инстинктивные и не освещенные разумом, до которых никому нет дела. Это – подневольная масса в самом обширном смысле этого слова, масса, мечущаяся из стороны в сторону и не отдающая себе ни малейшего отчета в этих панических метаниях.

Порицательное отношение к подобной действительности может ли быть названо глумлением над нею? Может ли, например, г. Лейкин быть привлечен к ответственности за то, что апраксинский торговец является у нас в образе купца Шибалова, а не Перикла? Вопрос этот в недавнее время был разрешен одним неизвестным критиком утвердительно («Вестник Европы» в статье «Историческая сатира»). Критик сочинил даже по этому поводу особенную теорию «юмора», которая делает ему честь, как человеку, дошедшему собственным умом до некоторых общих соображений, но которая едва ли будет кем-нибудь принята к сведению. Следуя этой теории, «юмор» непосредственно вытекает из христианского изречения: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», и значение его состоит в том, чтобы, «не жертвуя малым великому, великое низводить до малого, а малое возвышать до великого». А отсюда якобы возникают два неперемennых правила, которые юморист обязывается принять к исполнению: во-первых, великодушие, доброта и сострадание и, во-вторых, сочувствие во что бы то ни стало к тому, что осуществляет собой то малое, которое следует возвышать до великого.

Как ни замечательна эта теория, но верить ей ни под каким видом не следует, ибо она основана на двух очень крупных недоразумениях. Во-первых, критик не различил исторического народа от народа, как воплотителя идеи демократизма. Между тем различие это весьма существенно. Первый, то есть исторический народ, всегда и везде оценивается и приобретает сочувствие по мере дел своих; стало быть, ежели он производит героев, подобных тем, каких изображает г. Лейкин, то о сочувствии ему не может быть и речи. Хороши обремененные и труждающиеся, которые всякую попытку в смысле сознательности считают чуть не посягательством на общественное

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) спокойствие! Попробуйте-ка простереть им объятия, и вы наверное убедитесь, что, вместо лобзания, они произведут укушение – и ничего больше. Что же касается до «народа», рассматриваемого во втором смысле, то ему действительно не сочувствовать нельзя, но не потому, что он представляет нечто «малое», возбуждающее сострадание, а потому, напротив, что в нем воплощается безгранично великое. В этом «народе» замыкается начало и конец всякой индивидуальной деятельности; следовательно, несочувствие к нему, исходящее от отдельного индивидуума, равносильно несочувствию самому себе.

Во-вторых, искусство, точно так же как и наука, преследует одну цель: истину, а следовательно, оценивает жизненные явления единственно по внутренней их стоимости. Если б было иначе, если б к оценке примешивались великодушие и сострадание, то произошло бы нечто очень оригинальное. С одной стороны, читатель не знал бы, что в начертанной художником картине действительно верно и что смягчено, скрыто или прибавлено под влиянием сострадания. С другой стороны, читатель, подкупленный художником, мог бы в самом деле признать за краеугольные камни такие личности, которые в действительности не только ничего не подпирают, но все подтачивают.

Мы помним картины из времен крепостного права, написанные à la Dickens. Как там казалось тепло, светло, уютно, гостеприимно и благодушно! а какая, на самом деле, была у этого благодушия ужасная подкладка!

Но и этого еще мало. Изложенная выше теория юмора не только фальшива, но сама содержит в себе глумление, горшее всех глумлений. Трудно себе представить более низменное положение, нежели то, которое здесь отводится народу и относительно которого никакого иного приема не допускается, кроме великодушия и сострадания. Представьте себе на практике эту гимнастику низведения и возвышения, и вы убедитесь, что тут идет речь уже не о временно-великих и временно-малых, какими вообще являются люди в истории, но о консолидировании сих величин навсегда. Это противно даже тому христианскому учению, на которое ссылается критик и которое вразумительно объявляет, что все люди братья. Но это нужно критику, потому что в противном случае не будет юмора, некого будет ни возвышать, ни низводить...

Обращаясь от изложенной выше теории к разбираемому нами автору, мы можем сказать г. Лейкину: да не смущается сердце его. Пусть он имеет в виду одну истину, и результат этой истины будет гораздо плодотворнее, нежели всевозможные гимнастические упражнения с низведениями и возвышениями.

ЦЫГАНЕ. Роман в трех частях. Соч. В. Ключникова. СПб. 1871

Роман этот написан совершенно без всякой мысли (принимая это последнее слово в смысле мирозерцания или тенденции). Это очень несложная история троеженца, чтение которой может возбудить только вопрос: зачем она написана? Здесь нет налицо даже психологического анализа, ибо автор так поставил своего героя, что он и для психологических разъяснений никакого повода не дает. Этот герой – человек инстинкта, человек, до такой степени находящийся под гнетом своего темперамента, до того подавленный им, что не только не может, но и не имеет надобности отдавать себе отчет в своих действиях. Хотя же художественное воспроизведение людей, изнемогающих под игом темперамента, конечно, не беспримерно в истории литератур, но никогда подобного рода личности не являлись еще в той безжизненной и пошлой наготе, в какой изобразил нам своего героя г. Ключников. И Дон-Жуан, и фальстаф, и развратная леди, влюбленная в Гуинплена (герой романа «L'homme qui rit»), и Ноздрев – все это люди темперамента, но за их похотливостью, плотоядностью, гнетущим инстинктом самосохранения, лганьем и проч. виднеется целое психологическое построение, объясняющее эти качества. Похотливость Дон-Жуана, например, находит себе подкладку не в одном темпераменте, но и в бедности окружающего его жизненного строя, в пустоте среды, не дающей деятельности человека иной пищи, кроме легкого покорения женских сердец; похотливость любовницы Гуинплена тоже объясняется пресыщенностью, развратившею вкус, и тою проклятою жизненною обстановкою, которая с колыбели втягивает в себя человека и с ужасающей вкрадчивостью извращает все его инстинкты. Поставленные в такие условия, эти типы могут и интересовать читателя, и возбуждать в нем участие, потому что перед его глазами разворачивается не голая реляция о похотливых похождениях того или другого героя, но и разъяснение всего строя, направившего темперамент именно в эту, а не в иную сторону. Но в романе г. Ключникова никаких подобных разъяснений и следа нет. Его герой – петух, и ничего больше. Спрашивается, в какой мере может интересовать история петуха, рассказанная на 250 страницах довольно мелкой печати?

По-видимому, это исключение мысли допущено г. Ключниковым не без намерения. Лично г. Ключников – писатель несомненно мыслящий, но, подобно Сократу, пришедшему к убеждению, что он знает только то, что он ничего не знает, наш автор может сказать о себе, что он мыслил только для того, чтоб прийти к убеждению, что мыслить не следует. Мы помним его роман «Марево», который в свое время читался, но читался именно потому, что в нем была мысль. Коли хотите, это была не настоящая мысль, а только огрызок мысли, но все-таки мысли, а не просто вожделения. Мысль этого романа заключается в следующем: мыслить не надобно, ибо мышление производит беспорядок и смуту. Каким горьким процессом г. Ключников домыслился до этой мысли, это до нас не касается, но он провел ее через весь роман весьма упорно и даже не задумался сообщить ей характер тенденции. «Мышление вредно» – согласитесь, что в этом афоризме заключено целое миросозерцание, и не утопическое какое-нибудь миросозерцание, вроде тех, постройку которых любят предаваться какие-нибудь «представители собственной разгоряченной фантазии», но весьма конкретное, к выполнению которого на практике не может встретиться никаких препятствий. Но этот опыт тенденциозности был первым и последним опытом г. Ключникова, и в этом смысле на «Марево» следует смотреть не только как на предостережение русской читающей публике, но и как на предостережение автора самому себе. С тех пор г. Ключников действительно уже не мыслит, то есть творит без всякого участия мысли. Он написал два романа, в которых не отыщется и следа мысли; мало того, он редактирует целый журнал без мысли и в этом журнале предлагает премию за лучшую повесть, в которой совсем не будет мысли. Можно было бы подумать, что он имел при этом в виду именно «Цыган», если бы этот роман не был напечатан совсем в другом журнале, который премий не дает, но без премий всякую бессмыслицу помещает с удовольствием.

Теория обуздания мысли у нас никогда не была новою, но в последнее время она сделалась чем-то вроде повальной болезни. Беспреданно приходится слышать выражения вроде «анархия мысли», «шаблонный либерализм» и т. д., которые в переводе на вразумительный язык означают: мысль пошла слишком далеко, надо обуздать ее. Г-н Ключников тот же афоризм проповедует под именем свободы искусства.

Даже в своем последнем, совершенно свободном от мысли, романе он, устами героя Зарницына, выражается так: «Направление заело все... Направление! Проклятие этому слову! Пусть удовольствуются направлением в политике, но чтобы искусство, свободное, как вихрь, или, как он, в природе подчиненное общей гармонии, – чистое, нравственное, как улыбка девственницы, склоняло свою голову перед каким-то направлением?!» и т. д. Он забывает, что он первый погрешил против свободы искусства и что его «Марево» есть не что иное, как монумент, воздвигнутый тому самому «Направлению», которому он ныне посылает свои проклятия. Благодаря «направлению», «Марево» остается единственным произведением г. Ключникова, которое прочтено публикой, тогда как другие, более усовершенствованные его произведения вполне игнорируются ею. И хотя «направление», высказывавшееся в «Марево», имело характер административно-полицейский, но все-таки его нельзя назвать иначе как направлением, то есть таким словом, которое влечет за собой представление об участии в процессе творчества мысли или миросозерцания.

В чем же, однако ж, заключается эта теория свободы искусства? что дает она взамен того «проклятого» направления, против которого она так восстает? Если мы ограничимся разъяснениями Зарницына, что направление потому только несовместно с искусством, что «искусство вихрь», или потому, что оно «нравственно, как улыбка девственницы», то должны будем сознаться, что все эти определения не больше как бессмысленный набор слов. Искусство свободно, как вихрь; но кто же может сказать, что вихрь свободен, а не подчинен непреложным атмосферическим законам? Искусство нравственно, как улыбка девственницы, но кто же будет так смел, чтоб утверждать, что и «направление» не может быть нравственно, а улыбка девственницы, наоборот, не может быть совершенно безнравственной? Согласитесь, что все это галиматья, называемая цветами красноречия, от которых пора уж и отвыкать. Образность в некоторых случаях действительно помогает, но большею частью она вредит, ибо дает повод лгать и прикрывать ложь аналогиями, рассчитанными единственно на неразвитость читателя. Человек сравнивает искусство с вихрем и думает, что он бог весть как поразил этим сравнением, а выходит, что он только сказал нелепость.

Таким образом, сравнения приходится оставить в стороне и объяснить теорию

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) свободы искусства, независимо от цветов красноречия, в самой ее сущности. Эта сущность заключается в отрицании направления, то есть мирозерцания, тенденции, мысли, как таких уз, которые, по мнению теории, ничего не влекут за собой, кроме стеснения. Может ли творить художник, не обладающий никаким мирозерцанием? Поборники свободы искусства не только отвечают на этот вопрос утвердительно, но даже полагают, что безразличное отношение к воспроизводимым явлениям есть наилучшее положение, о котором художник может мечтать. Мы тоже, с своей стороны, думаем, что это положение очень выгодное; но для того, чтобы достигнуть его, по нашему мнению, необходимы два условия. Во-первых, чтобы художник исключил из области искусства целую категорию явлений умственного и нравственного мира, законности существования которых, однако ж, отрицать нельзя; и, во-вторых, чтобы он ограничил сферу искусства одними физическими отправлениями, то есть низвел уровень искусства до уровня того мира петухов (как, например, герой разбираемого романа, Зарницын) и других низших организмов, которые действительно живут одно бессознательною жизнью и, конечно, уже никакого мирозерцания иметь не могут. Что явления нравственного и умственного мира не могут подлежать воспроизведению человека, лишённого мирозерцания, это явствует уже из того, что, прежде чем воспроизводить такие явления, необходимо их понять и оценить, а это невозможно сделать без собственного мирозерцания. Нравы же и обычаи петухов действительно можно воспроизводить и без мирозерцания, потому что тут идет речь лишь о физических отправлениях, для воспроизведения которых достаточно одной способности копировать, с прибавкой самой мелкой, низменной наблюдательности. Образчики подобного низменного творчества представлял нам лет десять тому назад г. Генслер, автор «Похождений кота Василия Иваныча», а теперь представляет г. Ключников, автор «Цыган». Г-на Генслера никто уже не читает; г. Ключникова, вероятно, тоже перестанут читать в самом скором времени. А это будет жалко, потому что не откажись почтенный автор от направления, он, быть может, не только не уступил бы г. Стебницкому, но и сокрушил бы выю его.

В добавление ко всему сказанному выше, сама внешняя постройка романа г. Ключникова ниже всякой критики. Это какая-то бессвязная агломерация образов без лиц, собранных в одну кучу без всякой цели, кроме одной: дать герою – Зарницыну повод проявлять пылкость своего темперамента. Даже зрелище мух, бродящих по столу, – и то интереснее, потому что тут можно догадываться, что муха не напрасно бродит, а чего-нибудь ищет. В «Цыганах» же и для подобного рода догадок повода не имеется.

ТЕМНОЕ ДЕЛО. Народная драма в 5-ти действиях Дмитрия Лобанова. СПб. 1871  
В драме так уж исстари повелось, что ежели сильный мира подвергается насильственному устранению из жизни, то совершивший преступление не только не получает ожидаемых от него выгод, но создает для себя положение настолько нестерпимое, что гораздо лучше во всем сознаться и подвергнуть себя заслуженной каре, нежели продолжать жить с страшным укором на совести. Преступник не ест, не спит, беспрерывно моет руки и никак не может отмыть кровавое пятно и т. д. Очевидно, что таким образом жить невозможно, но в этой-то невозможности жить и является *ipso facto*[35] то естественное разрешение драмы, к которому стремится драматург. Когда человек не спит и не ест, когда он постоянно подвергается припадкам лунатизма, то весьма натурально, что он непременно выболтает свою тайну совсем не тому, кому о том ведать надлежит. А как скоро это случилось, то перспектива, ожидающая преступника, обозначается уже сразу: узнавший тайну открывает ее прокурорскому надзору (ибо он знает, что если не донесет, то и ему поблажки не будет), а от прокурорского надзора до скамьи подсудимых – рукой подать! И вот, суд идет, свидетели путаются, прокурор гремит, защитник почтительно докладывает, что сознание, совершенное в припадке лунатизма, не может считаться уликою.. Но преступник, чувствуя, что совесть донимает его окончательно, уже сам отказывается от помощи, подаваемой ему защитой. Он с укором смотрит на своего защитника, который намеревался затмить истину, и взволнованным голосом начинает рассказывать «печальную повесть своего преступления», причем в особенности старается поставить на вид свои угрызения. Тогда суд постановляет приговор, по объявлении которого судья произносит краткую речь, заключающуюся словами: «Подсудимый! преступление, которое вы совершили, ужасно, и кара, которую вы понесете за него, вполне заслужена; но кара эта примирит вас с вашею совестью. Ступайте на каторгу и помните, что совершать преступления в благоустроенном обществе не дозволяется!» Все довольны: прокурор доволен потому, что приписывает добровольное сознание пламенности своего обвинения; суд – потому, что приписывает тот же результат торжественности заседания; публика – потому, что приписывает его участию в суде общественного мнения, сам подсудимый – потому, что чувствует, что совесть вдруг перестала его

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) мучить, и сверх того тайно надеется, что его, за добровольное сознание, не только не ушлют на каторгу, но произведут в следующий чин. Один защитник сконфужен и ничего себе не приписывает.

Происходит ли в преступнике подобный психологический процесс в тех случаях, когда из жизни устраняется лицо менее сильное, как, например, мужик, – об этом драма умалчивает. Напротив того, она показывает нам разбойников, которые на своем веку сгубили многие десятки душ и не формализировались своим ремеслом до тех пор, покуда случайно не попался под руку сильный мира, и уже тогда начинались собственно угрызения. Самый суд над преступниками этого рода бывает до крайности запутан. Преступник не только не сознается, но пускает в ход бесчисленное количество *alibi*, приводит свидетелей своей добродетельной жизни и т. п. Прокурору нельзя похвастаться пламенностью своего обвинения, суду – подавляющим впечатлением торжественности заседания, публике – давлением на совесть подсудимого общественного мнения. Один защитник смотрит гордо и светло и все приписывает себе. Отчего это происходит? Отчего совесть, столь чувствительная относительно сильных мира, вдруг делается равнодушной, когда идет речь о мужике? Оттого ли, что мужик находится вне пределов исторической жизни и значение его равняется значению мухи? На все эти вопросы не отвечает ни драма, ни жизнь.

Г-н Лобанов вполне последовал изложенной выше драматической традиции. Герои его «народной драмы» – Никита и Василиса Волохова совершили страшное и имевшее громадные последствия убийство, и потому весьма естественно, что совесть угрызает их. Никита с отчаяния идет в разбойники и губит несчетное количество людей, Василиса – следует за ним, моет себе руки «в ведре с водою» и никак не может отмыть их от крови (это наша русская леди Макбет, только на несколько ступеней ужаснее ее, потому что является на сцену в лохмотьях и с ведром). Но когда тот же Никита с своими сообщниками убивает сотни проезжих из среднего и подлого состояния людей, то он – ничего, даже бровью не поведет...

Таков первый вывод, который вытекает из драмы г. Лобанова. Второй вывод заключается в том, что наши русские разбойники являются в драме совсем не разбойниками, а, так сказать, столоначальниками разбойничьего стола, которые о том только и думают, как бы закончить свою карьеру и повести своих товарищей на царскую службу. По-видимому, они только с этою целью и поступают в разбойники. Это явствует из рассказа разбойника Соловья («Темное дело») о Ермаке; это же явствует и из поступков разбойника Волохова...

Такой взгляд на русское разбойничье дело, при всей его благонамеренности, кажется нам несколько преувеличенным.

ЗАМЕТКИ В ПОЕЗДКУ ВО ФРАНЦИЮ, С. ИТАЛИЮ, БЕЛЬГИЮ И ГОЛЛАНДИЮ. Н. И. Тарасенко-Отрешков. СПб. 1871

Какие ощущения должен испытывать русский человек за границу? зачем он туда едет? с каким образовательным запасом едет? – вот вопросы, которые невольно рождаются в уме читателя при виде книги, трактующей о впечатлениях, вынесенных из заграничного путешествия. И законность этих вопросов сделается вполне понятною, если мы припомним, что слова «за границей» до сих пор не утратили для нас несколько особенного, почти обаятельного значения.

Мы, русские, еще далеко не освободились от привычки отделять свое от заграничного, и притом отделять довольно резкою чертою. У нас свои порядки, свой жизненный строй, там – свои порядки, свой жизненный строй. Предположив даже, что, в крайних своих проявлениях, это различие своего от заграничного есть наследие прошлого, все-таки надо будет сознаться, что корень этого явления настолько глубок, что даже успехи настоящего не могут вполне уничтожить его. Стало быть, действительно в заграничной жизни было нечто иное, и притом не только в смысле племенном или климатическом, но и в смысле общественном. И надо думать, что это иное свидетельствовало не во вред заграничной жизни, ибо русский человек стремился за границу совсем не для того только, чтобы людей посмотреть и себя показать, а прежде всего для того, чтобы вкусить иных порядков, ощутить себя в иных жизненных условиях. Припомним заметки и письма путешественников сороковых годов (например, автора «Писем из Avenue Marigny»), и мы убедимся, что ощущение, испытываемое русским человеком за границей, было преимущественно ощущением человека, сознающего себя свободным от школьной ферулы. Он чувствовал себя развязнее, он сознавал себя вправе свободно мыслить и говорить и, весьма натурально, старался воспользоваться этим правом возможно широкой рукою, даже

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru под опасением сделаться не в меру болтливым. Дома ему не было предоставлено ничего, кроме права быть мудрым, и потому за границей он прежде всего стремился воспользоваться правом поступать таким образом, как бы кодекс домашней мудрости был совершенно для него необязателен. Это была своего рода рекреация, которую человек сороковых годов пользовался, быть может, не всегда основательно, но в продолжение которой он несомненно чувствовал себя благополучным. Даже письма г. Погодина не вполне свободны от этого проказливого чувства, хотя мысль о московских кулебяках, по-видимому, ни на минуту не покидал! почтенного автора. Пожить хоть год иною жизнью, а после, пожалуй, и опять сделаться мудрым до новой рекреации – вот чувство, которое говорит во всех сочинениях сороковых годов о заграничной жизни, и надо сказать правду, что чувство это производит на читателя впечатление не столько поучительного свойства, сколько дразнящего и вызывающего.

Таково предание прошлого. Разумно ли оно или неразумно – это вопрос иной, но оно утвердилось так прочно, что даже с учреждением в России новых порядков подверглось лишь весьма ничтожному изменению. Реформы следуют за реформами, а русский человек по-прежнему с ликующим чувством устремляется за границу и по-прежнему продолжает дразнить себя уладами тамошних порядков и жизни. Всем памяты появившиеся в начале сороковых годов статьи о Броках и Бруках, о китайских ассигнациях и проч., – статьи, не отличавшиеся особенным глубокомыслием и не имевшие никакой другой цели, кроме дразнения. Не далее как в прошлом году один русский путешественник-публицист не нашел лучшего способа выразить впечатление, произведенное на него заграничными порядками, как взойти на президентскую кафедру прусского парламента и с ее высоты произнести речь, сказанную Сквозником-Дмухановским чиновником уездного города, посещенного Хлестаковым. И это было очень метко. Даже растленная Франция Наполеона III – и та казалась чем-то вроде эдема, и не только со стороны свободы разврата, но и со стороны свободы мысли и действия. Стало быть, причина, заставляющая смотреть на заграничный быт исключительно с дразнящей точки зрения, еще не упразднилась; стало быть, и до сих пор не утратился повод оттенять свое от заграничного, и притом оттенять таким образом, что свое от этого нимало не выигрывает. А из этого можно заключить, что исполинские шаги, делаемые нами на пути преуспевания, не лишены возможности сделаться еще более исполинскими.

Зачем ездил и продолжает ездить русский человек за границу? Ответ на этот вопрос, конечно, определяется личными наклонностями путешественников, но, во всяком случае, можно сказать без ошибки, что каждый из них, каковы бы ни были его наклонности, льстил и льстит себя надеждой найти им больше простора за границей, нежели у себя дома. Нет спора, что существуют наклонности весьма неполезные, и надо сознаться, что при известных условиях общественности таковые составляют большинство. Как ни разнообразны домашние средства мудрого препровождения времени (умыться, одеваться, чистить ногти, делать визиты, завтракать, обедать, играть в карты, спать), но человеку, постоянно обязанному быть мудрым, самая мудрость скоро надоедает. Отсюда праздность, отвращение от труда, а затем и целая вереница низменного свойства наклонностей, в основании которых лежит исключительное стремление насладиться легко достающимися благами жизни. Человек, удивляющий дома степенностью своего поведения, приезжая в Париж, бежит в Мабиль и знакомится с ресторанами и домами терпимости. Приезжая в Италию, он делает на всю жизнь запас скоромных картин и статуэток. Несомненно, что такого рода любознательность не заслуживает особенных похвал, но если взглянуть ближе на ее результаты, то даже и здесь можно найти стороны, до известной степени примиряющие. Во-первых, гадливое чувство, возбуждаемое деяниями праздных людей за границей, в значительной степени умеряется тем соображением, что круг, в котором эти деяния происходят, ограничен и безвестен. Одни умные дела громки и влиятельны; глупые дела не идут дальше police correctionnelle. Во-вторых, какова бы ни была пустота гуляющего шалопаю, даже и он, при всей беззаветности своего легкомыслия, не может оставаться вполне недоступным для некоторых общих впечатлений. И на этот раз общее впечатление, всего вероятнее, будет такого рода: что порядки, не слишком стеснительные для человеческой личности, совсем не так неудобны, как о том повествуется в стране «мудрых». Быть может, этот общий вывод в данном случае прикрывает собой целый ряд дел несомненно пошлого свойства, но сам по себе он все-таки верен и может дать повод для достижения целей далеко не пошлых. А следовательно, как бы ни велика была низменность мотивов, заставляющих мудрого человека стремиться за границу (хотя бы для того только, чтобы наестся свежих устриц), результат этих стремлений, даже помимо его воли, будет скорее в пользу плюса, нежели в пользу минуса.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
С каким образовательным запасом ездил и ездит русский человек за границу? – На это обыкновенно отвечают: с весьма малым. И действительно, если мы сделаем оговорку в пользу очень немногих исключений, то должны будем согласиться, что ответ этот справедлив. Один запас несомненно велик – это запас скуки, но с ним одним едва ли можно к чему-нибудь подступиться. Поэтому большинство мудрых людей наслаждается за границей лишь непосредственными, животными благами и только наслаждения этой категории способно сознательно оценить. Большая доступность материальных удобств, отсутствие стесняющих формальностей, возможность безвозбранно говорить вздор (хотя бы и вольнодумный) – вот блага, которые вполне по плечу людям, закоренелым в мудрости. Утверждают, что недостаток образовательного запаса кладет на человека неизгладимую печать, что он лишает его чувства собственного достоинства, заставляет принижаться, увертываться, принимать на слово самые вздорные уверения и вообще играть очень жалкую роль. С этим, конечно, трудно не согласиться. Мы видим на каждом шагу, что человек, который у себя, среди мудрых, вольной рукой разбивал целые армии ямщиков, переехавши за Вержболово, делается ниже травы, тише воды и в каждом обер-кондукторе готов видеть высший организм. Что же, однако, из этого следует? То ли, что человек, не имеющий основательного запаса знаний, должен быть осужден навсегда оставаться дома? Нет, такое заключение было бы и опрометчиво, и жестоко, ибо оно осуждало бы человека на вечную мудрость, что и для неразвитого человека невыгодно и нестерпимо. Теперь он, по крайней мере, поймет выгоду шнельцугов [36] и ретурбилетов; [37] тогда он и этого блага лишен. А потому пусть всякий и имеющий запас, и не имеющий его – пусть все пользуются свободой передвижения, несмотря даже на то, что человек, обязанный, по случаю неимения запаса, на каждом шагу разевать рот, должен ощущать адскую неловкость. Самая унижительность этой обязанности должна непременно навести на мысль о ее ненормальности. А это уж результат весьма немаловажный, ибо как только человек убедился в ненормальности какого-нибудь явления, то он уже непременно что-нибудь да предпримет в смысле его устранения.

Таким образом, оказывается, что с какой бы точки зрения мы ни взглянули на существующее в нашем обществе стремление пользоваться чужими порядками, оно не может привести ни к каким другим последствиям, кроме добрых.

И даже в таком случае, когда результатом этого стремления будет книга, подобная изданной г. Тарасенко-Отрешковым.

Говоря по правде, сделанные нами выше замечания об отношениях русских людей к заграничным порядкам относятся к сочинению г. Тарасенко-Отрешкова лишь весьма отдаленным образом. Сочинение это только внешним образом дает повод к размышлениям, само же по себе ничего не доказывает и ни о чем ясного понятия не дает. Это простой сборник замечаний чисто личного свойства, по прочтении которых читатель остается совершенно с тем же запасом сведений, с которым он был и до прочтения. С какою целью ездил автор за границу – не видно; знаком ли он с историей посещаемых им стран, или, по крайней мере, с современным их положением – тоже тайна. Некоторые из его замечаний даже носят на себе характер несомненной странности. Таковы, например, вопрос автора: «разве ваше (французское) правительство не требует, чтобы народ исповедовался и причащался» (стр. 217), или нелепые суждения какого-то киевлянина о безнравственности домашних спектаклей, или, наконец, разделение Парижа, по степени нравственности, на четыре территории, с указанием, в каких кварталах нравственность процветает и в каких оказывается в упадке. Подобных странностей в книге очень много, но, спрашивается, нужны ли они для кого-нибудь?

Окончательное заключение, к которому, впрочем, без особенно строгой последовательности, приходит автор, состоит в том, что на долю Франции и Англии выпала нелегкая задача улучшения быта рабочих и что нам предстоит в близком будущем быть свидетелями процесса приведения этой задачи в исполнение. Вывод этот сам по себе был бы довольно банален, если б автор не прибавил к нему следующее: «Нам, русским, предстоит видеть это, как свидетелям, к которым прикосновение (таков русский язык, которым написана книга) отклонено благотворными, ныне совершающимися или совершившимися у нас преобразованиями государственного строя». С этим, разумеется, нельзя не согласиться, ибо хотя и уверяют некоторые легкомысленные люди, что те преобразования, которые ныне совершаются в России, на Западе Европы давно уж совершились, но очень может быть, что фраза «к которым прикосновение» и т. д. окажется истиною.

ЛЕСНАЯ ГЛУШЬ. Картины народного быта. С. Максимова. 2 тома. СПб. 1871

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Существует довольно распространенное мнение, что современная русская беллетристика представляет ценность очень невеликую, и надо сознаться, что в этом мнении есть значительная доля правды. Отрывки, очерки, сцены, картинки – вот пища, которую предлагают читателю даже наиболее талантливые из наших беллетристов. О цельном, законченном создании, о всестороннем воспроизведении современности с ее борьбою и задачами нет и помину. Читатель обязывается удовлетворяться более или менее удачною разработкой частных и затем, если желает, сам уже должен отыскивать связь между этими частностями и сводить концы с концами. А если по временам и случается, что какой-нибудь самонадеянный беллетрист решится окунуться в пучину романа или драмы, то решимость эта обыкновенно приводит к самым печальным последствиям. Или является беззащитное лганье, в котором самые лучшие стремления современности приносятся в жертву мамоне и недомыслию, или выводятся на сцену люди, непохожие на людей, произносятся речи, непохожие на речи, и воспроизводятся поступки, не имеющие характера поступков. В первом случае читатель присутствует при постыднейшей вакханалии, в которой яркость красок и развязное отношение к вещам и событиям служат заменой таланта; во втором – читатель с недоумением видит перед собой византийский иконостас, в котором нет ни одной не покоробленной доски, слышит гнусавое пение и делается свидетелем ни с чем не сообразных кружений, маханий и других того же сорта упражнений.

А между тем едва ли можно сказать, чтобы современная русская жизнь была совершенно обездолена относительно внутреннего содержания. Мы видели и видим целые массы людей, которые радуются, восторгаются, пламенеют и, с своей точки зрения, имеют полное основание восторгаться и пламенеть. Рядом с этими людьми мы видели и видим массы людей, угнетаемых страхом, скупаемых ненавистью и недоброжелательством и, конечно, считающих свои ненависти и опасения небезосновательными. Допустим, что по зрелом исследовании этих восторгов и этих ненавистей окажется, что они не более как плод недоразумения, но разве картина общества, находящегося под игом непрерывного недоразумения, сама по себе не есть любопытнейший предмет для художественных разъяснений? Напротив, нам кажется, что тут-то и обретается настоящая почва для общественной драмы, ибо в обществе, где недоразумение становится главным регулятором жизненных отношений, драматические положения должны вырастать, так сказать, на каждом шагу. В таком обществе люди, которых интересы совершенно тождественны, по недоразумению или из-за вздора, из-за брошенной кости, побивают друг друга; напротив того, люди, у которых, по ближайшем рассмотрении, не окажется ни одной общей цели, подают друг другу руки во имя каких-то общих интересов и даже изливают друг перед другом сердца. Отцы не понимают детей, друзья оказываются врагами, либералы впадают в консервативное остервенение, консерваторы эмансипируются и выказывают признаки резвости. И ежели подкладкой ко всей этой суматохе служит отсутствие сознательного отношения к вещам или же просто-напросто «пленной мысли раздраженье», то это нисколько не вредит интересу картины, а, напротив, придает ей некоторую пикантность, ибо и «пленной мысли раздраженье» есть очень богатый предмет для художественного исследования. Представьте себе человека, который много лет думал, что он служит «святому» делу, который много лет пламенел, порывался и даже неистовствовал и который вдруг убеждается, что он все время служил совсем не делу, а выведенному яйцу, – какая должна закипеть в его душе драма при этом открытии? Или представьте себе кучку людей, которые соединились для какой-либо общественной цели (ну, хоть для сыроварен) и, как это обыкновенно водится, даже излили предварительно друг перед другом сердца, и вдруг оказывается, что они разговаривали совсем о разных предметах, что у них не только взгляды, но и души совсем разношерстные, что им не рука об руку следует идти, а взаимно ехидствовать и подстерегать, – какое интересное драматическое положение может возникнуть из этого открытия? А сколько характерных эпизодов могут представить, например, непрерывное развитие хищничества и тот бездонный запас легкомыслия, хвастовства, наглости, самонадеянности, в котором сколько ни черпай, все ему скончания не будет. И все эти лжи, обманы, коварства, надежды, разочарования – все это кишит вокруг нас, в том обществе, среди которого мы живем, а в литературе нашей все-таки нет даже признаков чего-нибудь похожего на общественный роман или общественную драму. Русские беллетристы или размениваются на мелочи, или же остаются на почве сороковых годов, то есть продолжают разработывать помещичьи любовные дела. Что сей сон означает? То ли, что русская земля оскудела беллетристическими талантами, или то, что разнообразие драматических элементов, несмотря на свою несомненность, подобно сказочному кладу, не дается нашим беллетристам в руки?

С первым предположением согласиться невозможно. Русская земля всегда во

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) множестве производила «быстрых разумом Ньютонов» и даже на наших глазах явила доказательство своей производительности, опутав себя непроглядную сеть адвокатов, мировых судей, посредников, земских деятелей, концессионеров и других алчущих и жаждущих людей. Ужели страна, скрывающая в своих недрах столь несомненные богатства, бессильна произвести хоть одного благонадежного беллетриста? Или беллетристом быть труднее, нежели, например, деятелем по части внутренней политики, каковых мы, однако ж, видим целые пригоршни и притом весьма хорошего качества? Но в таком случае, почему же та самая страна, которая еще так недавно производила Тургеневых, Гончаровых, Писемских, Григоровичей и т. д., в последнее время вдруг как бы встала в тупик?

Воля ваша, а тут что-нибудь да не так. Хоть и не весьма ободрительно, что на смену Тургеневу является г. Омулевский, на смену Гончарову – г. А. Михайлов и на смену Гоголю – г. Лейкин, но из этого было бы весьма неосновательно заключать, что творчество природы иссякло и что затем ничего уже не может быть, кроме светопреставления. Лучше спросим себя, вправе ли мы изумляться и огорчаться подобными заменами? вправе ли критика выводить какие-либо заключения о том, в какой степени виноваты современные русские беллетристы в относительной малоценности их произведений? вправе ли она находить бездарность там, где, собственно, ничего нет, кроме вполне добросовестной и правильной попытки отыскать для русской повести новую почву, попытки робкой и притом всячески затрудняемой?

Талант писателя-художника тогда только развивается и крепнет, когда его исследования встречают свободный доступ ко всем общественным сферам, ко всем вопросам, занимающим общество. Но этого еще мало: самый угол зрения его на исследуемые предметы должен быть изъят от какого бы то ни было давления. Диккенсы, Шпильгагены, Жорж Занды вводят за собой читателя всюду и притом не скрывают от него своих симпатий и антипатий. Никто не удивляется этому, никто не называет их за это ни нигилистами, ни попирателями авторитетов. Они свободны в своих воззрениях, свободны в своем творчестве, и потому всякий вправе требовать, чтобы воззрения их были проведены последовательно и чтобы творчество их было действительное, живое творчество, а не азбучное. Представьте себе, что Шпильгаген стеснился бы ввести читателя в резиденцию принца, а вместо того пригласил бы его на дачу титулярного советника – какой характер получила бы драма, рассказанная в романе «Вперед»? Может быть, он сумел бы и здесь справиться с своею задачей, но, во всяком случае, это была бы не та драма, которую он рассказал в романе «Вперед». Во всяком случае, это был бы не тот Шпильгаген, которого мы знаем, а может быть... г. Бажин, г. Омулевский... может быть, даже г. Засодимский! Но ежели относительно Шпильгагена даже предположение подобного рода должно показаться диким, то почему же оно не кажется диким относительно русских беллетристов? Почему русский беллетрист во что бы то ни стало должен извлечь драму из того стакана воды, в котором фаталистически заключена его творческая деятельность?

Нам возразят, быть может, что писали же романы Тургенев, Гончаров, Писемский, писали при условиях еще менее благоприятных, а романы выходили все-таки хорошие. Что романы названных писателей имеют известные и притом бесспорные достоинства – это никто не отрицает, но не надо забывать, что почва, на которой стоят эти романы, совсем иная, нежели та, на которую усиливается вступить современный косноязычный русский роман. Там на первом плане стояли вопросы психологические, здесь – вопросы общественные; там материал был готовый, разработанный целым рядом беллетристов-предшественников (за исключением, впрочем, материала, составляющего содержание «Записок охотника», но зато это и не роман, а ряд рассказов и очерков), – здесь ничего не выработано, не приготовлено, не объяснено. Разрабатывать по-прежнему помещичьи любовные дела сделалось немислимым, да и читатель стал уже не тот. Он требует, чтоб ему подали земекого деятеля, нигилиста, мирового судью, а пожалуй, даже и губернатора. А где их найти? как найти? под каким соусом подать?

Представьте себе, читатель, современного русского беллетриста, задавшегося задачей Гоголя: провести своего героя через все общественные слои (Гоголь так и умер, не выполнив этой задачи). Может ли он привести в исполнение свое намерение, и если может, то под какими условиями? – вот в чем весь вопрос. Вникните добросовестно в его сущность, обсудите его практическую обстановку и ответьте. Мы, с своей стороны, по крайней мере, вполне убеждены, что вы не только сознаете всю неуместность такого вопроса, но даже поспешите заменить его другим: можно ли допустить в русском беллетристе подобное дерзновенное

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru намерение? можно ли вообразить себе такого русского литератора, которого постоянно не преследовала бы мысль: да кто же меня туда пустит? Спрашивается теперь: каким образом русский писатель приступит к созданию общественного романа, когда он на каждом шагу должен сдерживаться и фальшивить, когда он ежеминутно должен напоминать себе: туда не заглядывай, о том не моги говорить и т. д.

Но отвратим лицо наше от этого печального зрелища и обратимся к книге г. Максимова.

Г-н Максимов принадлежит к числу лучших наших этнографов-беллетристов, и изданное им ныне новое собрание очерков и рассказов служит несомненным тому доказательством. Драгоценнейшее свойство г. Максимова заключается в его близком знакомстве с народом и его материальной и духовной обстановкою. В этом смысле рассказы его должны быть настольною книгой для всех исследователей русской народности, наравне с трудами Даля, Мельникова, Якушкина и других.

НА РАСПУТЬЕ. Роман в двух частях В. Г. Авсеенко. СПб. 1871

Самая трудная задача для беллетриста – это объяснить действия и поступки своих героев, и притом объяснить таким образом, чтобы читатель понял, что тому или другому действующему лицу действительно ничего другого не остается, как поступить именно таким образом, как оно в данном случае поступило. Так, например, ежели автор определяет своего героя в мировые посредники, то он обязывается устроить это таким образом, чтобы читатель не имел никаких сомнений насчет причин, побудивших героя поступить именно в мировые посредники, а не в секретари земского суда. Если его прельстило, например, посредническое жалованье, то следует объяснить, отчего значительное жалованье имело для него большую притягательную силу, нежели жалованье маленькое: оттого ли, что герой жаден, оттого ли, что он обременен семейством, и т. д. Ежели его увлекла мода, то и тут следует вразумительно высказаться, почему мода могла увлечь героя: потому ли, что он глуп, потому ли, что он легкомыслен, потому ли, что он получил шалопайское воспитание, и т. д. Ежели, наконец, его увлекла идея общей пользы, которая может проистечь из посреднической деятельности, то и здесь отнюдь не должно скрывать, в чем заключается эта идея, ибо понятия о пользе могут быть разные: разумные и глупые, верные и ошибочные. Другой пример: ежели автор заставляет своего героя влюбиться, то он должен проследить весь процесс этой любви, начиная от ее зарождения и кончая ее апогеем. Что пленило героя в любимом предмете? на какой почве зародилась взаимная симпатия? была ли тут страсть действительная или фальшивая? и т. д. Все эти вопросы должны быть разрешены самым удовлетворительным, так сказать, наглядным образом, и садиться за писание романа, не задавши их себе, значит рисковать возбудить в читателе, вместо интереса, изумление; значит утруждать себя сочинением многих тысяч строк вместо того, чтобы ограничиться начертанием всего-навсего одной строки следующего содержания: «он был мировой посредник, и они любили друг друга».

Настоящие беллетристы все это понимают и потому поступают всегда таким образом, чтобы читатель действительно знал, зачем они взялись за перо и что хотят сказать. Они снабжают своего героя жизнеописанием, из которого можно видеть, почему его характер сложился так, а не иначе; они устроивают около него обстановку, которая так или иначе влияет на его сложившийся характер и вызывает с его стороны такие, а не иные действия. И притом обстановку не случайную, а такую, чтобы читатель был вполне убежден, что другой обстановки и не могло у этого героя быть. Так, например, ежели писатель захочет основать завязку своего романа на том, что на такую-то женщину напали собаки, а такой-то мужчина собак разогнал, то тут не будет никакой ни завязки, ни обстановки, ибо все это происшествие может быть изложено в следующих немногих строках:

«На Настю Песчаную (одна из героинь романа г. Авсеенко) напали собаки и едва не разорвали ее. Уже летели клочья от ее платья, как некто Решетиллов, из непомнящих родства (тоже герой романа г. Авсеенко), дубиной разогнал собак.

– Без вас они совсем бы меня съели! – сказала Настя, бросая Решетиллову вызывающий взор.

Но Решетиллов, приподняв шляпу, поспешил удалиться, и таким образом, роман, который чуть-чуть было не возник из «вызывающего взгляда», прекратил свое течение.

Конец

Или, например, если мы, увлекшись модой на нигилистов, поведем читателя в лес и под каждым деревом посадим по нигилисту, заставим их лепетать всякую бессмыслицу и даже не объясним, как они здесь очутились и почему несут околесицу, – разве это будет обстановка? Нет, это будет только околесица, ибо как ни легка материя о нигилистах (так легка, что у некоторых авторов перо само пишет, как только коснется речь об этом предмете), но и тут все-таки надо знать, где найти нигилиста, как его поместить и что заставить его говорить. Тургенев сочинил для Базарова целую историю, и чтобы привлечь его к семье Кирсановых, затронул узы дружбы, разъяснил, что могла сделать духовная сила Базарова и как мало могло противопоставить этой силе духовное бессилие молодого Кирсанова. Одним словом, создал целую обстановку, а не сказал читателю, подобно показывателям масленичного «райка»: «А вот, посмотрите, господи, теперь представится вам нигилист Базаров, в бога не верует, лягушек режет и употребляет в пищу тараканов не гнушается».

К искреннему нашему сожалению, роман г. Авсеенко, которого заглавие выписано выше, принадлежит именно к тому «раечному» роду, который допускает «показывание» всякого рода картинок без малейшей связи между ними. Вот город Париж, вот Махнут турецкий салтан, а вот гишпанская королева Изабелла. Каким образом очутилось все это рядом, на каком основании «город Париж» показывается прежде, а не после «салтана Махнута» – этого никто не разберет, да и разбирать, правду сказать, незачем. Г-н Авсеенко издал книгу в 400 страниц, а что заключается в этих четырехстах страницах – это сказать не только трудно, но даже невозможно. Лиц бездна, но каждому из них так и хочется сказать: да зачем же ты тут суешься без дела? зачем ты мешаешь? А так как мешают решительно все, то приходится знакомиться с их похождениями, так сказать, механически.

Жил да был некто Решетилов, о котором автор выражается так: «Он давно уже носил внутри себя взрослого человека». Но почему г. Авсеенко таким образом охарактеризовал своего героя – это он скрыл от читателя самым тщательным образом; мы же, с своей стороны, можем охарактеризовать г. Решетилова не иначе, как не помнящим родства. Решетилов служит мировым посредником, потому что считает эту деятельность полезною, но в чем состоит польза его действий – это опять-таки тайна, в которую читатель не посвящается. Потом Решетилов влюбляется в Веру Павловну и Вера Павловна в него, но с чего взялась эта любовь – неизвестно. А в это самое время у Решетилова есть другая любовь – крестьянская девица, дочь паромщика, но и об этой любви сказано только, что есть, дескать, любовь. А потом, у Веры Павловны оказывается другой любовник, Косовицын, но точно ли он любовник – даже и этого понять нельзя. Косовицын, по-видимому, нужен только для того, чтобы заставить Решетилова забыть о предмете своей страсти и обратиться к девице более его достойной, Елене Дмитриевне. Елена Дмитриевна женит его на себе, из чего и выводится заключение, что прежде Решетилов был на «распутии», а теперь встал на настоящий путь. Cur? quomodo? quando? quibus auxiliis?

Мотивы романа устарелые, почти заплесневевшие. Это то самое искание женщины, как существа «прекрасного» пола, которое с усердием разрабатывалось еще при самом зарождении нашей беллетристики. Деятельность мирового посредника приплетена без всякой надобности; без всякой же надобности фигурирует в романе множество посторонних лиц, и между прочими модная нигилистка, девица Песчаная, та самая, которую чуть-чуть не разорвали собаки...

БЕСПЕЧАЛЬНОЕ ЖИТЬЕ. А. Михайлов. Роман. СПб. 1878

Во всех литературах существует известный разряд писателей, по преимуществу беллетристов, которых, по всей справедливости, можно назвать «беспечальными» писателями. В наше время, когда все мы, в большей или меньшей степени, «и жить торопимся, и чувствовать спешим», конечно, было бы несправедливо обращаться к литературе с советами вроде тех, какие преподавались писателям каким-нибудь Горацием или, например, нашим Гоголем. Разнообразные «злобы дня» совершенно захватывают современного писателя в свой водоворот, и тут уж, конечно, не до того, чтобы отделять свои произведения, «вынашивать» их, внимательно вдумываться в смысл изображаемых явлений и проделывать вообще весь тот сложный умственный и нравственный процесс, который называется творчеством. Но – *passez vous le mot*[38] – до литературного онанизма доходить все-таки не полагается, как бы, в известном смысле, ни была естественна и даже законна некоторая, так сказать, ремесленность в деле журналистики. Если – в силу ли духовной импотенции

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) самого писателя или в силу внешних условий жизни, говорить не о чем и сказать нечего – гораздо приличнее и достойнее молчать, нежели искусственно выдумывать себе темы или шуметь по-репетитовски о выеденном яйце. Не то беда, что писателю зачастую приходится, подчиняясь условиям журнальной деятельности, высказываться далеко не с такою силою и обстоятельностью, как он это мог бы и хотел бы сделать; худо, если он говорит не по внутренней потребности, не от наболевшего сердца, а просто сочинительствует, причем для дела уже совершенно все равно – врет ли он небылицы в лицах для услады консьержей и гризеток, как какой-нибудь французик-романист, или же, понюхавши хрену, чтобы прослезиться, беспечно печалуется о явлениях, до которых ему столько же дела, сколько до прошлогоднего снега. И в том, и в другом случае он – отнюдь не писатель, а просто ремесленник, с изделиями которого критике делать нечего, так как ее критерий – не аршин и не безмен.

Скажем без обиняков – все это мы говорили прямо по адресу г. Михайлова... В океане бесцветных и бездарных романов и повестей, доморощенных и заграничных, затопляющем нас, романы г. Михайлова довольно выгодно выделяются своею постоянно очень сносною литературною обработкою, своею ловко скомпонованною фабулой, своею, наконец, благообразно-либеральною наружностью, но, к сожалению, только этим одним и выделяются.

Г-ну Михайлову, как бытописателю, очевидно, давно уже нечего сказать, и он довольствуется теперь тем, что повторяет и себя и других. Обладая очень незначительным запасом фактов и наблюдений, он высказался весь в своих первых романах

(«Гнилые болота» и «Жизнь Шупова») и в нескольких мелких своих повестях, а затем все его дальнейшие произведения представляют собою образец резонерского морализирования, непомерно скучного при всем своем комизме. Все бы это еще – с полгоря: не всем же быть новаторами, в самом деле. Но плохо то, что сквозь видимые миру слезы г. Михайлова внимательному читателю постоянно чудится незримый миру смех – не то лукавый смех в бороду авгура, знающего, где раки зимуют, не то скучающая улыбка человека, проделывающего какую-нибудь нелепую, но требуемую официальным этикетом церемонию. Мы не обвиняем автора в неискренности, у нас нет достаточных данных для этого. Но не на основании только одного непосредственного впечатления (хотя в деле эстетических и нравственных мотивов такое основание отнюдь не несерьезно), а на основании мелкости и рутинности тенденций г. Михайлова, мелкости, которую вовсе нетрудно доказать, мы вправе сделать или то заключение, что г. Михайлов решительно не умеет отличать крупные явления от мелочных, важное от не важного, а допустить это трудно, потому что г. Михайлов, бесспорно – человек неглупый; или же мы вправе подумать, что г. Михайлову дорога не тенденция, а тенденциозничанье, не идея, а парадированье с кокардой, не влияние на читателя, а возможно сильнейшее впечатление на него. Оттого-то у него и глаза на мокром месте; оттого-то он и способен проливать потоки слез там, где достаточно было бы одного хорошего плевка. Новый роман г. Михайлова как нельзя более подтверждает наше мнение об этой замечательной стороне таланта нашего автора. В этом романе г. Михайлов рассказывает, неизвестно для кого и для чего, о «беспечальном житье» нашей так называемой золотой молодежи, то есть небольшой, сравнительно, кучке материально обеспеченных шалопаев, о ее кутежах, о ее мошеннических шалостях и шаловливых мошенничествах и т. д. Рассказывает г. Михайлов очень прилично и гладко, тем более что тема сама по себе в высшей степени удобна для того, чтобы по ее поводу наговорить с три короба прекраснейших и справедливейших вещей, начиная с вреда праздности и кончая трактатом о необходимости нравственного воспитания и самовоспитания. Для либерального резонерства здесь представляется самое широкое поле. Но мы спросим читателя: может ли эта тема сама по себе иметь хоть какое-нибудь общественное и современное значение? Кому же неизвестно, что было бы болото, а черти всегда найдутся? Но в данном случае даже и этого сказать мало. Рыцари «беспечального жития», все эти Аносовы, Сухаревы, Винтеры и Флери г. Михайлова не могут претендовать даже на роль тех паразитов, которые своим существованием указывали бы на какой-нибудь специальный общественный недуг и изображение которых поэтому было бы в известном смысле благодарно с точки зрения социального диагноза. Не могут, потому что они – порождение таких общих, коренных, застарелых и знакомых-перезнакомых недостатков общественного устройства, которые не связаны никакою специальною нитью с современностью, и интерес новизны могут представлять только для тех, кто не перерос литературы прописей. Разница между современным Аносовым и каким-нибудь *petit maître* [39] XVIII столетия состоит в их костюме, прическе, пожалуй, манерах, да разве еще в

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru том, что Аносов подделывает подписи к векселям, чтобы добыть себе средства к дальнейшему беспутничанью, а мало цивилизованный петиметр доброго старого времени довольствовался менее утонченными способами. Этими внешними признаками и исчерпывается различие между ними; их нравственная сущность одна и та же. Ни тот, ни другой не представляли собою серьезной силы, которую можно было бы ненавидеть и которую следовало бы изучать; ни тот, ни другой не имели будущности, кроме той, которая грозит всякому вонючему клопу, когда хозяин дома, потерявши, наконец, терпение, вооружается чугоном с горячей водой. Горячиться по их поводу было простительно, например, старику Новикову, когда у литературы только еще прорезывались молочные зубки, но нам, окруженным гадами похуже и поядовитее клопов, нам, не знающим, за какую из сотен грозящих рук Бриарея-жизни ухватиться, чтобы отклонить удар, нам, наконец, уже считающим за собою ряд серьезных поражений и побед, имеющим свои дорогие могилы и колыбели, нам, право, как-то даже уж и неприлично возиться с такими пустейшими пустяками, как идиотская клиентела содержателей и содержательниц разных развеселых мест.

Стрелять из пушек по воробьям – слишком уж смешное занятие, чтобы объяснить его касательно г. Михайлова избытком наивности. В том-то и дело, что он, повторяем, не только не наивен, а, напротив того, изображает собою среди своих единомышленников нечто вроде хитроумного Одиссея, и верности этого сравнения не может повредить неволью являющееся, по естественной ассоциации идей, воспоминание о плачевной общественной метаморфозе, постигшей спутников Улисса. Он действует не бессознательно, не спроста. Он стреляет затем, чтобы произвести шум, стреляет из пушек (то есть пишет объемистый роман), чтобы произвести как можно больше шуму; а затем, сколько воробьев останется на месте после этой канонады и кому нужны воробьиные трупы – для него безразлично. Это пусть будет как угодно г. Михайлову. Но нельзя не заметить, что какое-нибудь гороховое пугало, вроде «Гражданина» или «Домашней беседы», функционировало в этом отношении с большими результатами, по крайней мере, с большею естественностью, нежели морализаторские перуны нашего автора.

С чисто эстетической, литературной точки зрения «пушки» г. Михайлова на этот раз – даже не пушки, а безобидные, хотя и шумливые петарды. Роман написан плоховато, скучновато, длинновато и даже достаточно-таки пошловато. Какой-нибудь психологической обработки характеров от г. Михайлова было бы странно требовать; тенденция романа, как сказано, давно лишилась зубов от старости; отдельные сцены вялы и безжизненны до последней степени. Рассказывать содержание романа мы, конечно, не станем, потому что мы именно и доказываем все время его абсолютную бессодержательность. А сверх того – и это важное преимущество г. Михайлова – он пишет замечательно ровно, не повышая и не понижая голоса; он выдерживает свое беспечальное печалование до конца, аккуратно понюхивая свой хренок, и преблагополучно заканчивает, ничего не сказавши и ни о чем не умолчавши. Таким образом, и автор доволен – он произвел шум, и читатель доволен – он остался цел, а рецензенты г. Михайлова довольны больше всех, потому что, благодаря безукоризненной ровности автора, они избавляются от скучнейшей обязанности делать какие бы то ни было выписки из того, что не заслуживало и один-то раз быть написанным.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ УМА, ИЛИ СЛОВАРЬ ИЗБРАННЫХ МЫСЛЕЙ АВТОРОВ ВСЕХ НАРОДОВ И ВСЕХ ВЕКОВ. Составил по французским источникам и перевел Н. Макаров. С.-Петербург. 1878 г

Судя по эпиграфу, который предпослан предисловию этой книги («Величайшим сокровищем было бы собрание хороших человеческих мыслей»), намерения г. Макарова были очень обширны. А именно: собрать «хорошие» мысли, разбросанные в бесчисленных сочинениях бесчисленных авторов, сгруппировать их в рубрики, эти последние разместить в алфавитном порядке и в таком виде поднести свой цветник публике. Если б это удалось, то по некоторым отраслям знания не нужно было бы читать никаких подлинников и достаточно было бы заглянуть в словарь г. Макарова, чтобы почувствовать себя вполне удовлетворенным.

Но намерение это не удалось и не могло удалиться. Отдельные мысли, будучи вырваны из той логической цепи, в которую они были первоначально заключены в качестве необходимого звена, принимают характер непомнящих родства. Они перестают быть мыслями и делаются краткими и притом совершенно случайными изречениями, о которых нельзя сказать, насколько они верны или ложны, потому что бог весть откуда они явились и куда могут привести. Поэтому, будучи соединены вместе с другими «мыслями», высказанными по тому же предмету, в одну рубрику, они представляют несвязный и неклепный сброд, а будучи взяты отдельно, каждая сама

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) по себе, они являются чистейшим пустословием.

Следовательно, хотя г. Макаров не без удовольствия говорит, что в его словаре закон имеет 61, а женщина – 213 мыслей, но это вовсе не означает, чтобы по прочтении этих рубрик можно было получить сколько-нибудь обстоятельное понятие о законе или женщине, а следует понимать эти слова так, что и по тому, и по другому предметам читателю предложен безвкусный винегрет, составленный из такого-то количества мыслительных обрывков. А так как в числе этих обрывков некоторые говорят за, а другие – против, то от этого винегрет делается сугубым, ибо при таком соединении диаметрально противоположных мыслей уже окончательно утрачивается всякое понятие о их месторождении. Так, например, изречение: «политика требует только много прямоты и здравого смысла», поставленное рядом с другим: «вся тайна политики состоит в том, чтобы к стати обманывать и лгать» (оба принадлежат г-же Помпадур), может заставить читателя только воскликнуть: зачем явились рядом две столь несовместимые глупости? И притом разве можно назвать это мыслями, равно как, например, и следующую «мысль»: «напыщенность – это крахмал красноречия»? По нашему крайнему убеждению, это пустословие, и больше ничего.

Тем не менее при известном уровне общественного развития даже и странные намерения могут достигать некоторых небесполезных практических результатов. Так, например, нет ничего нелепее так называемых «Письмовников», а между тем, благодаря громадной массе малограмотных людей, спрос на подобные книги бывает весьма бойкий. Стало быть, существует известная потребность, которая этими книгами удовлетворяется. Точно то же может случиться и с «Энциклопедией ума» г. Макарова. В наших культурных слоях чувствуется потребность в мышлении и даже создается, что обладание известным запасом мыслей может доставить человеку некоторые выгоды, но привычки мыслить еще нет. Вот на такой-то случай, когда, по обстоятельствам, мыслить не лишнее, а мыслей нет, настоящая книга и представляет существенное подспорье. Г-н Макаров и сам, очевидно, имел это в предмете, говоря, что энциклопедия его может служить подспорьем при недостатке начитанности и памяти; мы же, с своей стороны, присовокупляем, что она человеку вполне невежественному несомненно поможет приобрести репутацию мудреца в глазах другого столь же невежественного человека.

Представим себе, например, честолюбивого столоначальника, который уже на заре дней своих мечтает о том, как он будет со временем уловлять вселенную, но, к своему горю, чувствует один недостаток – не имеет «мыслей». До сих пор он знал только два подходящих слова: «ежовые рукавицы», но так как нечто подсказывает ему, что слова эти уже утратили свою творческую силу, то он поневоле воздерживается от них и волей-неволей большую часть времени проводит в том, что сидит выпучив глаза, а следовательно, не имеет и случая выказать свои таланты. Теперь, благодаря г. Макарову, он открывает «Энциклопедию ума» и говорит: «Лучшей администрацией бывает та, которая представляет наиболее выгод и имеет наименее неудобств». Нет слова, что это изречение глупое, но, по нашему месту, даже и оно производит приятное изумление. Этого мало, через минуту он продолжает: «Закон должен походить на смерть, которая ничего не щадит». А еще через минуту: «Нужно держать народ в строгом повиновении для его же собственного спокойствия», ибо «народы вообще погибают от своих страстей», а «народы легкомысленные и самонадеянные, сверх того, спят на волканах и плачут на кладбищах». И в заключение: «дураки, по необходимости, упрямы; чем меньше у них идей, тем крепче они их держатся». Опять-таки повторяем: все это мысли несомненно глупые, но как только честолюбивый столоначальник их высказал, так его карьера сделана. Особенно ежели при этом присутствует внимательный и благосклонный слушатель, который (как это часто у нас бывает) занимается отыскиванием «людей». А раз карьера сделана, то само собой разумеется, что и на месте своего нового назначения благодарный карьерист не только не предаст г. Макарова забвению, но и сугубо воспользуется его помощью, потому что ему наверно понадобится написать циркуляр, начинающийся словами: «Для того, чтобы сделать народ добродетельным, надо сделать его счастливым».

Возьмем другой пример из другой сферы. Тряпичкину необходимо написать в газету передовую статью, трактующую о финансах. И прежде ему случалось писать о финансах, но так как ему было неизвестно, в чем состоит истинное сокровище и где оно обретается, то это невыгодно отражалось и на статьях его, которые не могли быть ни ясными, ни поучительными. Теперь же, развернув «Энциклопедию ума», он прочтет, во-первых: «Кто ценит золото более, чем добродетель, тот потеряет и золото, и добродетель»; во-вторых: «Просите совета у мудрости: она научит вас

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru быть счастливыми без богатства»; и в-третьих: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, а воры подкапывают и крадут». И, проникнувшись этими «мыслями», несомненно напишет блестящую передовую статью, которую начнет словами: «Когда кто знает четыре правила арифметики, тот бывает орлом в финансах», а кончит словами: «Финансисты поддерживают государство точно так же, как веревка поддерживает повешенного».

Но самых отличных услуг от «Энциклопедии ума» должны ожидать, конечно, светские молодые люди. Доныне они находились в большом затруднении. Отправляясь на бал к г-же Гулак-Артемовской, молодой человек хотя и понимал, что благопристойная беседа составляет одно из украшений этих балов, но так как у него не было нужных для того «мыслей», то он в большинстве случаев, вместо разговора, только вращал зрачками. Теперь никаких затруднений по части мыслей не может быть. Достаточно молодому человеку за полчаса до отъезда на бал проштудировать несколько страниц «Энциклопедии ума», чтобы во время первой же кадрили произошел следующий разговор:

Он. «Тот, кто не любит, тот есть тело без души!» (Смотрит на ее бюст и облизывается.)

Она (вполголоса). Не облизывайтесь; муж смотрит на нас. (Вслух.) Да; но «истинная любовь всегда скрывается и никогда не надеется на успех». Наша очередь делать фигуру. (Оба встают и исполняют свои кадрильные обязанности.)

Он (смотря с упоением, как она садится). «Любовь – это небесная капля, которую боги влили в чашу жизни, чтоб уменьшить ее горечь».

Она (вполголоса). Вы так на меня смотрите, что муж непременно... (Вслух.) Я согласна с вами, но все-таки продолжаю думать, что «истинная любовь всегда сопровождается уважением». Наша очередь делать фигуру. (Встают etc.)

Он (забыв, что ему следовало бы сказать). «Да, но любовь приходит, равно как и уходит, помимо нашей воли». (Говорит от себя.) Вы думаете?

Она. Да, думаю, потому что «физическая любовь есть горячка: все, что она говорит и делает, есть только бред»!

Он (вновь обращая внимание на ее бюст). «О женщины! Без женщины заря и вечер были бы без помощи, и ее полдень – без радостей!»

Она. Согласна. Но все-таки «наилучшее украшение женщины – это непорочные нравы». А еще могу сказать вам: «женщины не могут придумать наряда, который украшал бы их столько же, сколько добродетель».

И так далее, до бесконечности.

Вот что может сделать «Энциклопедия ума», г. Макаров, и в этом, по мнению нашему, заключаются ее несомненные права на внимание публики.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

##### РЕЦЕНЗИИ

В автобиографическом письме к С. А. Венгеру от 28 апреля 1887 года Салтыков сообщал: «По выходе из лица я не написал ни одного стиха и начал заниматься писанием рецензий. Работу эту я доставал через Валерьяна Майкова и Владимира Милютину в «Отечественных» зап<sup>исках</sup>» Краевского и в «Современнике» (Некрасова с 1847 г.)».

Литературно-критическая деятельность Салтыкова началась, таким образом, в «Отечественных записках» на рубеже 1846–1847 годов, так как В. Майков, возглавивший критико-библиографический отдел этого журнала в апреле 1846 года, умер 15 июля 1847 года. «...Я начал писать гораздо ранее 1847 года, – утверждал Салтыков в автобиографическом письме в редакцию «Русской старины» от 1 апреля 1887 года, имея здесь в виду не только стихотворения, но и свои первые критические опыты.

Воспоминания Л. Ф. Пантелеева помогают уточнить объем критической работы Салтыкова в сороковых годах: «Рецензиями я зарабатывал до пятидесяти рублей в месяц, в то время это были деньги», – говорил Салтыков Л. Ф. Пантелееву. [40]

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru чтобы зарабатывать в конце сороковых годов такой гонорар мелкими библиографическими заметками, – разъясняет С. А. Макашин, – их нужно было печатать ежемесячно в количестве не менее одного листа, если цифра в 50 рублей имеет в виду счет на ассигнации, и не менее трех листов, если речь идет о счете на серебро. Между тем этому противоречит указание самого Салтыкова в автобиографической заметке 1858 года, где от третьего лица говорится: в «Отеч. записках» 1847 и 1848 г., а равно и в «Современнике» «было напечатано несколько рецензий Салтыкова». [41] В связи с анонимным характером ранних критических выступлений Салтыкова и отсутствием более конкретных указаний писателя о своей рецензентской работе, которая не была даже упомянута писателем при составлении плана издания своих сочинений, в настоящее время невозможно точно установить ни начала литературно-критической деятельности Салтыкова, ни размеров этой деятельности в полном ее объеме.

В 1890 году К. К. Арсеньев перечислил в своих «Материалах для биографии М. Е. Салтыкова» семь его рецензий 1847–1848 годов и процитировал небольшие отрывки из них на основании имевшихся в его руках черновых автографов писателя, которые были впоследствии утеряны. [42] Отправляясь от рукописей, К. А. Арсеньев нашел в журналах три рецензии Салтыкова: на «Логику» Н. Зубовского, повесть П. Фурмана «Григорий Александрович Потемкин» и «Рассказы детям из древнего мира» К. Беккера. Остальные рецензии, указанные Арсеньевым («География в эстампах», «Курс физической географии», «Несколько слов о военном красноречии»), были обнаружены лишь при подготовке к изданию первого тома Полного собрания сочинений 1933–1941 годов Е. М. Макаровой. Она же атрибутировала Салтыкову еще несколько рецензий на повести Фурмана «Александр Васильевич Суворов» и «Саардамский плотник», «Первоначальный учитель», «Подарок детям на праздник», «Альманах для детей. Архангельск» и «Альманах для детей. Астрахань». Однако две последние рецензии, по справедливому утверждению С. А. Макашина, не могли принадлежать Салтыкову, так как альманах «Астрахань» вышел в свет 14 мая 1848 года, когда Салтыков был уже в ссылке. В таком случае писатель не был автором и разбора «Архангельск», написанного тем же рецензентом, который характеризовал альманах «Астрахань». [43]

Существует предположение, что Салтыков был автором рецензии на тот же альманах «Архангельск», напечатанный в «Современнике», 1848, № 1, отд. III, стр. 76. Однако предположение это слабо аргументировано и не подтверждено документально. [44]

В 1949 году Б. В. Папковский предложил расширить список ранних рецензий Салтыкова, но без достаточных оснований, и его атрибуции не вошли в научный оборот. [45] Нельзя также признать доказанной и принадлежность Салтыкову большой группы рецензий, атрибутированных в статье Т. И. Усакиной «О литературно-критической деятельности молодого Салтыкова». [46]

Таким образом, в настоящее время авторство Салтыкова достоверно установлено всего лишь в отношении девяти библиографических заметок, которые и публикуются в настоящем издании по текстам журналов, где они были напечатаны впервые:

1. «География в эстампах»... Соч. Ришона и Альфреда Вингольда, СПб. 1847; «Курс физической географии». Соч. Владимира Петровского, СПб. 1847. – «Современник», 1847, № 10, отд. III, стр. 124–127. (ценз. разрешение 30 сентября 1847 г.)
2. «Руководство к первоначальному изучению всеобщей истории». Соч.
3. «Несколько слов о военном красноречии». Составил П. Лебедев. СПб. 1847. – «Современник», 1847, № 10, отд. III, стр. 132–133. (ценз. разрешение 30 сентября 1847 г.)
4. «Логика». Соч. проф. Могилевской семинарии Никифора Зубовского. СПб. 1847. – «Отечественные записки», 1847, № 11, отд. IV, стр. 21–22. (ценз. разрешение 31 октября 1847 г.)
5. «Григорий Александрович Потемкин». Историческая повесть для детей. Соч. П. Фурмана. 2 части. СПб. 1848. – «Отечественные записки», 1848, № 1, отд. VI, стр. 45–47. (ценз. разрешение 31 декабря 1847 г.)
6. «Александр Васильевич Суворов-Рымникский». Историческая повесть для детей. Соч. П. Р. Фурмана. 2 части. СПб. 1848. – «Отечественные записки», 1848, № 2, отд. VI, стр. 129. (ценз. разрешение 31 января 1848 г.)

7. «Первоначальный учитель». Книга для чтения и для практического упражнения в русском языке. Составил К. К. Издал А. Картамышев. Одесса, 1848. – «Отечественные записки», 1848, № 3, отд. VI, стр. 34–37. (Ценз. разрешение 29 февраля 1848 г.)

8. «Подарок детям на праздник». СПб. 1848. – «Отечественные записки», 1848, № 3, отд. VI, стр. 37. (Ценз. разрешение 29 февраля 1848 г.)

9. «Рассказы детям из древнего мира» Карла Ф. Беккера. СПб. 1848. – «Отечественные записки», 1848, № 4, отд. VI, стр. 90–97. (Ценз. разрешение 31 марта 1848 г.)

Интерес Салтыкова к рецензированию преимущественно детской и учебно-педагогической литературы связан был с развитием передовой общественной мысли сороковых годов. В ту пору проблемы воспитания и образования серьезно занимали Белинского и Герцена, обсуждались на «пятницах» Петрашевского, настаивавшего на изучении «системы гармонического воспитания» еще в 1843–1844 годах в задуманном, но не осуществленном журнале, в который приглашен был и Салтыков.[47] Вопросы воспитания оживленно дебатировались также в статьях и книгах утопических социалистов Запада.[48] Особенной популярностью пользовалось у петрашевцев изложение теории «гармонического воспитания» в книге фурьериста В. Консидерана «Destinée sociale» (т. 3), которую Салтыков хорошо знал.[49]

Отбросив религиозную мистику и «мелочную регламентацию» «преимуществ воспитания в фаланстере», Салтыков воспринял у фурье «великие идеи» о полном и свободном развитии человека в соответствии с его природными призваниями, мысль о постоянной связи обучения с практической жизнью. Отвечали настроениям Салтыкова и скептические приговоры фурье, утверждавшего, что «воспитание при строе цивилизации» противоречит «не только природе, но и здравому смыслу».[50] Однако влияние утопического социализма, далекого от насущных задач русской жизни, не было для Салтыкова определяющим и в вопросах воспитания.

Направление и характер рецензентской деятельности Салтыкова были обусловлены потребностями русской действительности, испытывающей «надобность в человеке трезвом, бодром, деятельном», [51] и собственным жизненным опытом писателя, ощутившего на себе все несовершенство тогдашней педагогической системы. Вспоминая о первых годах своей журнальной работы, Салтыков прямо указывал в «Пестрых письмах», что, следуя за «общим литературно-полемиическим потоком», он был «горячим и искренним поклонником Белинского».

Как революционный просветитель, Белинский связывал вопросы воспитания с борьбой за переустройство самодержавно-крепостнического строя. Он выдвигал на первый план воспитание трезвого реалистического отношения к окружающей жизни и подлинно человеческой нравственности, критикуя идеалистическую природу и морально-догматический характер современной педагогической науки.[52]

Борясь за воспитание «практического понимания действительности», Салтыков настаивал, вслед за Белинским, на соединении теоретического знания с эмпирическим, на усилении физического воспитания детей, предостерегая избегать всякого «спекулятивного элемента», всех форм абстрактной дидактики.

Тогдашнюю педагогическую систему Салтыков именовал «системой постепенного ошеломления», обрекавшей человека на полную неспособность к «действию». Как и в ранних повестях, вопрос о разладе между теорией и практикой был в центре внимания Салтыкова-рецензента, настойчиво подчеркивавшего, что разрыв этот ведет к болезненной драме в зрелом возрасте: не получив ни деловых навыков, ни рациональных практических идеалов, человек оказывается совершенно несостоятельным при первом столкновении с жизнью и вынужден «начинать сызнова свое образование» или пребывать в «состоянии совершенного нравственного одурения» (см. рецензию на «Руководство к первоначальному изучению всеобщей истории»).

Требую сближения воспитания с жизнью, Салтыков беспощадно высмеивал претензии на энциклопедическую широту, бессистемность и практическую бесполезность учебников, иронизировал над «фарисейскими поползновениями» детских нравоучительных повестей, которые «душат юные поколения», воспитывая в них «сухую безжизненную мораль». Но вместе с тем Салтыков предлагал устранить из детской литературы и

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) все элементы сказочной фантастики, уводящей, по его мнению, от «интересов близких и действительных» в «мечтательные миры» «больной фантазии».

В связи с критикой «вздорных» нравоучительных повестей Салтыков высказывался не только по вопросам воспитания, но касался целого ряда самых разнообразных проблем, начиная от критики силлогизма формальной логики и кончая обличением крепостнического режима. Разбирая «Рассказы детям из древнего мира» К. Беккера, Салтыков писал о преобразующей роли художественной литературы, пробуждающей в обществе «сознание собственных его сил». В заметке о «Логике» Н. Зубовского Салтыков доказывал, что исходным пунктом человеческого мышления является объективный мир, а не отвлеченные законы логики или эстетики. Не называя имени Дж. – Ст. Милля, писатель ссылаясь на центральный тезис его «Системы логики» о наблюдении и опыте как источнике всякого «положительного» знания (см. примеч. к стр. 333).

Говоря о поэмах Гомера, Салтыков ставил вопрос о характере человеческой природы, решая его, как и большинство петрашевцев, в духе антропологического материализма Л. Фейербаха (см. примеч. к стр. 344). Проповедуя естественное равенство, Салтыков намекал на противоестественность крепостного права, когда «человек как будто стирается и безотчетно жертвует всею своею личностью в пользу другой высшей личности» (см. рецензии на «Рассказы» К. Беккера и «Логик» Н. Зубовского). [53]

Стр. 331. Доктор Крупов, пожалуй, нашел бы в... чертах воинского героизма... аргумент в подтверждение остроумной своей теории... – Речь идет о теории «повального безумия», в котором обвинил весь мир доктор Крупов, герой одноименной повести Герцена. См. примеч. к стр. 284.

Стр. 333...если смотреть на логику, как на науку, имеющую предметом открытие критериума достоверности... главная задача логики именно и ускользает от исследований близоруких ее атлетов. – Выступая против формальной логики, Салтыков солидаризировался с Дж. – Ст. Миллем, который утверждал в 1843 году, что «логика – не тождественна со знанием, хотя область ее и совпадает с областью знания». Логика, указывал Милль, есть «теория всех вообще процессов, посредством которых мы удостоверяемся в истинности положений, являющихся в результате рассуждения или умозаключения» (Дж. – Ст. Милль, Система логики силлогистической и индуктивной, М. 1914, стр. 7–8, 186). См. след. примеч.

В самом определении силлогизма видна уже вся его несостоятельность, потому что общее предложение... не может быть ничем другим, как произвольно взятою ипотезою. – Салтыков критикует силлогизм формальной логики за идеалистическую априорность большой посылки («общего предложения»). Автор имел в виду и скептические оценки Милля, высмеивавшего сторонников формальной логики, которые идут от общего как бы «априорно существующего», игнорируя «наблюдение, опыт». «Ни одно умозаключение от общего к частному, как таковое, – писал в связи с этим Милль, – не может ничего доказать» (там же, стр. 167, 165).

Стр. 333...у Дюмон-Дюрвиля весьма поучительный анекдот. – Имеется в виду эпизод из книги Дюмон-Дюрвиля «Всеобщее путешествие вокруг света», ч. IX, М. 1837, гл. ХСVI. Австралия. – обитатели, стр. 328.

Стр. 335...развитие человека требует постепенности и никогда не совершается скачками. – О «постепенности развития» человека говорится в записях Салтыкова в связи с чтением книги Кабаниса «Соотношение физического и морального в человеке» («Известия АН СССР», отд. общ. наук, 1937, № 4, стр. 868).

Стр. 340...известное правило Агезилая... с целью полного и гармонического их развития посредством воспитания... – Перефразируя изречение спартанского царя Агезилая (399–358 гг. до н. э.), Салтыков развивает мысли Фурье о целях и задачах гармонического воспитания.

Стр. 344...нужно только уметь различать случайное и условное от истинного и постоянного, которое заключается в законах самой природы человека, всегда и везде одинаковой. – Движущей силой истории русские и западные социалисты считали потребности человека «вечные и неизменные», по сравнению с «временным характером общественных отношений». В сороковые годы это метафизическое учение о «неизменности человеческой природы» служило обоснованием требований равноправия и общественной справедливости (см. «Философские и общественно-политические

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru произведения петрашевцев», стр. 82–85).

#### РЕЦЕНЗИИ 1863–1864 гг

Все рецензии, вошедшие в настоящий том, впервые были напечатаны в «Современнике» 1863 и 1864 гг., в отд. II – «Современное обозрение. Новые книги» – или предназначались для опубликования в этом журнале, но не появились в нем по цензурным и другим причинам (№№ 14 и 33). Приводим пономерную роспись рецензий:

#### 1863

1. «Немного лет назад» И. Лажечникова
2. «Кремуций Корд» Н. Костомарова
3. «Приключения, почерпнутые из моря житейского» А. Вельтмана
4. «Стихи» Вс. Крестовского
5. «Гражданские мотивы». Сборник под ред. А. П. Пятковского и «Песни Скорбного поэта»
6. «Литературная подпись». Соч. А. Скавронского
7. «О старом и новом порядке...» Н. А. Безобразова } № 1–2 (ц. р. 5. II)
8. «Анафема, или Торжество православия...» А. А. Быстротокова № 3 (ц. р. 14. III)
9. «Несколько серьезных слов по случаю новейших событий в С.-Петербурге» М. Беницкого и «Заметки и отзывы» в «Русском вестнике»
10. «Князь Серебряный» А. К. Толстого } № 4 (ц. р. 20. IV)
11. «Стихотворения» К. Павловой № 6 (ц. р. 26. VI)
12. «Повести Кохановской»
13. «Стихотворения» А. А. Фета } № 9 (ц. р. 13. X)
14. «О русской правде и польской кривде» } При жизни Салтыкова не было напечатано. Предназначалось для № 962715. «Сказание о том, что есть и что была Россия...» кн. В. В. Львова
16. «Киевские волнения в 1855 году» С. С. Громеки
17. «Руководство к судебной защите по уголовным делам» К. Ю. А. Миттермайера } № 10 (ц. р. 6. XI)
18. «Современные движения в расколе» Н. С-на (Н. И. Субботина) № 11 (ц. р. 9. XII)
19. «Воля». Два романа из быта беглых А. Скавронского
20. «Полное собрание сочинений Г. Гейне» под ред. Ф. Н. Берга, т. 1 } № 12 (ц. р. 8. I. 64 г.)

#### 1864

21. «Новые стихотворения» А. Плещеева
22. «Наши безобразники» Н. А. Потехина
23. «Сказки» Марко Вовчка } № 1 (ц. р. 10. II)
24. «Новые стихотворения» А. Н. Майкова
25. «Воздушное путешествие через Африку» Ю. Верна } № 2 (ц. р. 9. III)
26. «Записки и письма» М. С. Щепкина
27. «Моя судьба» М. Камской (Е. А. Словцовой)

28. «Рассказы из записок старинного письмоводителя А. Высоты»
29. «Сборник из истории старообрядства» Н. И. Попова } № 4 (ц. р. 11. V)
30. «Чужая вина» Ф. Н. Устрялова № 5 (ц. р. 10. VI частично)
31. «Ролла» Альфреда Мюссе № 8 (ц. р. 16. IX)
32. «В своем краю» К. Н. Леонтьева № 10 (ц. р. 13. XI)
33. «О добродетелях и недостатках...» и др. } При жизни Салтыкова не было напечатано. Предназначалось для № 10

Все рецензии, как это было принято в «Современнике» и других журналах эпохи, напечатаны без подписи.

Лишь одна из рецензий, а именно № 14 «О русской правде и польской кривде», известна в автографической рукописи Салтыкова (Гос. библ. СССР имени В. И. Ленина).

Авторство Салтыкова в отношении перечисленных рецензий, за исключением названного № 14 и упоминаемого ниже № 33, установлено на основании гонорарных ведомостей «Современника», опубликованных С. А. Рейсером в «Литературном наследстве» (т. 53–54, М. 1949, стр. 257–275). Эти ведомости документально подтвердили и уточнили сведения о салтыковских рецензиях, впервые сообщенные в книге А. Н. Пыпина «М. Е. Салтыков» (СПб. 1899, стр. 235–238) и в публикации В. Е. Евгеньева-Максимова «Новые материалы о сотрудничестве Щедрина в «Современнике» («Литературное наследство», т. 13–14, М. 1934, стр. 57–80).

Авторство Салтыкова в отношении рецензии № 33 «О добродетелях и недостатках...» установлено в публикации В. Е. Богграда «Полемика с Достоевским» («Литературное наследство», т. 67, М. 1959, стр. 363–387).

В Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) хранятся направленные корректуры, в гранках «Современника», следующих двенадцати рецензий – все из бумаг А. Н. Пыпина: №№ 12–16, 18, 21–24, 30 и 33.

В настоящем издании рецензии печатаются по тексту «Современника» с устранением цензурных купюр по корректурным гранкам.

Немного лет назад. Роман в четырех частях  
Соч. И. Лажечникова. Москва  
«Совр.», 1863, № 1–2, отд. II, стр. 111–123.

Рецензия начинается с краткой и в то же время очень точной справки о литературной деятельности Лажечникова. Писатель начал ее «Походными записками русского офицера» (о кампании 1813–1815 гг.), вышедшими отдельным изданием в 1820 г. В 30-х годах один за другим появляются три исторических романа Лажечникова – «Последний Новик» (1833), «Ледяной дом» (1835), «Басурман» (1838). Об этой полосе литературной деятельности Лажечникова Салтыков говорит, что она «сопровождалась замечательным блеском». Романами «Ледяной дом» и «Басурман» Белинский посвятил сочувственную статью в «Московском наблюдателе» (1839). Оценки Белинского не оспаривались и позднейшей русской критикой. Однако в дальнейшем литературная деятельность Лажечникова падает и вырождается. Драмы Лажечникова (четыре, а не три, как указано в рецензии) «Христиерн II и Густав Ваза» (1841), «Дочь еврея» (1849), «Горбун» (1858) и «Опричник» (1859) не получили сколько-нибудь заметного резонанса. Мемуарные очерки «Беленькие, черненькие и серенькие» («Русский вестник», 1856), в отличие от «Моего знакомства с Пушкиным» и «Заметок для биографии В. Белинского», незначительны по содержанию и консервативны по направлению.

Роман «Немного лет назад», написанный под конец жизни Лажечникова, уже просто неудачен. Былой романтизм автора выродился в прямое верноподданническое восхваление правительства и его реформаторской деятельности. Романтическая поэтика выродилась в примитив, охарактеризованный Салтыковым как «драгоценный перл» старой «дорафаэлевской манеры». Заметим, что уже Аполлон Григорьев в

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Статья первая» («Русское слово», 1859, №№ 2 и 3) назвал дарование Лажечникова «допотопным», то есть устарелым и несовершенным.

Всеми этими обстоятельствами объясняется тон рецензии Салтыкова: снисходительный и насмешливо-иронический; Салтыков в целом дискредитирует «Немного лет назад» в качестве «положительно детского упражнения». Но он признает историко-литературные заслуги Лажечникова и считает необходимым высказать свое уважение к искренности и другим личным достоинствам старого беллетриста.

Стр. 307...собирался подарить публику «Колдуном на Сухаревой башне», да так и не подарил... – Из этого романа была напечатана лишь небольшая часть («Отечественные записки», 1840, № 10).

Стр. 309. Указывать на Шекспира мог только Белинский... потому, что он знал, как указать на Шекспира. – Салтыков имеет в виду прежде всего знаменитую статью Белинского «Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (1838).

Почему... потеряла кредит так называемая обличительная литература? – Об отношении Салтыкова к обличительной литературе см. в его очерке «Литераторы-обыватели» и прим. к нему (т. 3 наст. изд., стр. 428–464, 623–628).

Стр. 311...поведи он читателя... в водосточную трубу, как сделал недавно Виктор Гюго... – Жан Вальжан, герой «Отверженных» Виктора Гюго, спасая раненого на баррикадах, спускается с ним в подземный водосток.

Стр. 312...«истину царям с улыбкой говорил» – из стихотворения Г. Р. Державина «Памятник».

Стр. 315...направление «Русского вестника», составляющее... середину между английским и стародубовским... – сатирические шпильки в адрес М. Н. Каткова с его англофильством и отечественно-дворянским консерватизмом. (Помещик Стародубов – один из персонажей рецензируемого романа Лажечникова.)

Кремуций Корд. Соч. Н. Костомарова, СПб. 1862  
«Совр.», 1863, № 1–2, отд. II, стр. 123–126.

Рецензия на драму Н. И. Костомарова «Кремуций Корд» явилась прежде всего эзоповым откликом Салтыкова на арест и процесс Чернышевского. Это хорошо понимали современники, что неоднократно отмечалось в литературе предмета.[54] В то же время в ней проводится параллель между начавшейся в 1862 г. реакцией в России и тираническим самовластием римских императоров, причем аналогия распространяется не только на действия правительства, но и на порожденные реакцией общественные нравы. В том же 1863 г. Салтыков воспользовался этой бичующей аналогией в «Свистке», в сатирической сцене «Цензор впопыхах» (см. выше, стр. 275–281 и прим. к стр. 277). В 1870 г. Салтыков прибегнул к этой же прозрачной аналогии в рецензии на трагедию Н. П. Жандра «Нерон» (см. в т. 9 наст. изд.).

Как это часто бывает у Салтыкова, он переносит свои рассуждения в историко-философский план. Историко-философский смысл рецензии раскрывается при сопоставлении ее с нижеследующей цитатой из сочинений немецкого историка Древнего Рима Бартольда Георга Нибура, приведенной Салтыковым в очерке 1869 г. «Что такое ташкентцы?» и в статье 1870 г. «Один из деятелей русской мысли»: «В это несчастное время злое начало в человеке пришло к спокойному и полному сознанию самого себя; все чистое, благородное, совесть, свойственный даже порочным людям стыд дурных и бесчестных дел исчезли» (см. т. 9 наст. изд.). Эта сентенция Нибура была использована для характеристики русского общества эпохи Николая I и Александра II не только Салтыковым, но и Грановским. Однако Салтыков освободил мысль Нибура (и Грановского) от свойственного ей метафизического, безысходно-трагического оттенка. Его аналогия и связанные с ней рассуждения конкретно-историчны, актуальны, дышат гневом и призывают к общественному действию.

Стр. 321. Трудно поверить, чтобы могли быть такие времена! А между тем они были: в том убеждает нас летопись Тацита. – Эзопов прием, имеющий целью обратить внимание читателя не на Тацита, конечно, а на современность, на «такие времена» переживаемой реакции.

Приключения, почерпнутые из моря житейского  
Воспитанница Сара. А. Вельтмана. Москва  
«Совр.», 1863, № 1–2, отд. II, стр. 126–129.

Романы и повести А. Ф. Вельтмана в 30–40-е годы пользовались популярностью. Их ценили А. С. Пушкин и В. Г. Белинский. Но к 60-м годам Вельтман сошел с литературной авансцены. Самое имя его к этому времени оказалось полузабытым. Роман «Воспитанница Сара» – последний из цикла романов Вельтмана «Приключения, почерпнутые из моря житейского» (кн. 1–4, 1846–1863) – написан в архаической манере романтической прозы. Он лишен единого сюжета, распадается на ряд эпизодов, изобилующих неожиданными, иногда фантастическими сцеплениями случайных событий, ложных ситуаций, характерных для романтической прозы. Отзываясь положительно лишь об одном образе – Потапе Савиче («создание мастерское»), Салтыков в целом дискредитирует роман за отсутствие в произведении серьезного общественного содержания («образец самого невинного переливания из пустого в порожнее»), за вычурность и растянутость повествования («старческая болтливость»).

Стр. 323..«царь фараон каждую ночь из Чермного моря выходит», как выражается достлюбезная Устинья Наумовна в комедии Островского «Свои люди, сочтемся». – О фараоне, выходящем по ночам с войском из моря, говорит у Островского не Устинья Наумовна, а сваха Акулина Гавриловна Красавина в комедии «Праздничный сон – до обеда» (карт. 2, явл. 3).

О чем не писал этот знаменитый писатель! И о чиновничестве, как о неизбежном признаке и спутнике общественного бессилия, и об отношениях г. Григорьева к Грановскому... – Имеются в виду статьи Н. Ф. Павлова «Чиновник», комедия графа В. А. Соллогуба («Русский вестник», 1856, № 6–7; отд. изд., М. 1857) и «Биограф-ориенталист» («Русский вестник», 1857, № 8). Последняя статья была полемически направлена против статьи профессора-ориенталиста В. В. Григорьева «Т. Н. Грановский – до его профессорства в Москве» («Русская беседа», 1856, № 3–4), в которой автор стремился доказать, будто Грановский был красноречивый человек, но легковесный ученый, ставший западником лишь по недостатку серьезных научных знаний (см. об этой полемике: Б. Н. Чичерин, Москва сороковых годов, М. 1929, стр. 267–269).

Теперь Н. Ф. Павлов добалтывается в «Нашем времени». – Об Н. Ф. Павлове и его газете «Наше время» см. выше в «Московских письмах», II (стр. 152, 158, 569) и в юмореске «Секретное занятие» из «Свистка» (стр. 295–297, 618).

Стихи Вс. Крестовского  
«Совр.», 1863, № 1–2, отд. II, стр. 129–136.

Автор известного романа «Петербургские трущобы» В. В. Крестовский начал свою писательскую деятельность как поэт. Но сборник стихов, изданный им в 1862 г., оказался единственным в литературном наследии будущего романиста. Книга вызвала отрицательные оценки критики, определившей «основной напев В. Крестовского» как «напев человеческой похоти» («Голос», 1863, № 22; ср. также «Русское слово», 1863, № 1, отд. II, стр. 45–53).

Не удивительно, что Салтыков, которого, по свидетельству близко знавшего его современника, «скабрзность... шокировала даже у известных писателей и в хороших произведениях», [55] резко выступил против Крестовского. Считая выход в свет его стихов своеобразным «знамением времени» в ряду других явлений русской общественной жизни, Салтыков посвящает рецензию не столько самому Крестовскому, сколько деятелям «второго сорта», к которым, по его мнению, принадлежит этот поэт. При этом замечания о поэзии и поэтах «второго сорта» перемежаются с замечаниями о «второго сорта» законах, администрации, политике, философии, публицистике. В системе рассуждений Салтыкова все называемые им или подразумеваемые явления общественной жизни «второго сорта» раскрываются как явления реакционные, социально враждебные и отрицаемые.

Стр. 324..Кодекс Наполеона воспламенил множество европейских правительств... – Кодекс Наполеона, или Гражданский кодекс Франции (Code civile), был издан в 1804 г. Этот, по определению Ф. Энгельса, «классический свод законов буржуазного общества» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, изд. 2, Госполитиздат, М. 1961, стр. 311) оказал большое влияние на законодательство ряда европейских

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
стран: Голландии, Италии, Германии и др.

...и хоть это были кодексы второго сорта, но все же... не разбросанная какая-нибудь дребедень – сатирическая стрела в адрес законодательной системы царской России.

Стр. 325. «Галуб». – Название «Галуб» дано поэме Пушкина «Гасуб» («Тазит») Жуковским, неправильно прочитавшим в рукописи имя героя поэмы. Ошибочное чтение исправлено только в 1930 г.

«На нем треугольная шляпа...» – цитата из стихотворения Лермонтова «Воздушный корабль», посвященного Наполеону I. Дальше – сатирический перифраз строк этого стихотворения: «Скрестивши могучие руки,/ Главу опустивши на грудь».

Владимир Рафаилович и Рафаил Михайлович Зотовы... даже и отгравировали себя с сложенными на груди руками. – Салтыков имеет в виду портрет романиста и драматурга Р. М. Зотова, помещенный в альманахе «Сто русских литераторов», изданном А. Ф. Смирдиным в 1839 г. Об этом портрете неоднократно с иронией писал Белинский: «Все хороши, особенно г. Зотов: по лицу тотчас узнаешь, что писатель знатный» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. III, изд. АН СССР, М. 1953, стр. 45, 99).

Стр. 326...сегодня фиален Персиньи, завтра Еспинас... как в древние времена Тьер да Гизо, Гизо да Тьер... да и дошли полегоньку до 24 февраля 1848 года! – В ироническом рассуждении о «нашем» увлечении реакционнейшими политическими деятелями Июльской монархии и Второй империи Салтыков обличает российскую реакцию и вместе с тем намекает, что, как и во Франции 1848 г., реакционный натиск самодержавия может привести к революционному взрыву.

...когда на русский язык переводились шведские законы; что эти законы.. второго сорта, в этом нам служит речательством то, что они и донныне представляют мертвую букву. – Вероятно, здесь имеются в виду реформы Петровской эпохи. Заимствованные от Швеции законы и учреждения не имели достаточной экономической, правовой и политической почвы в русской действительности, и многие из них остались поэтому «мертвой буквой».

...или...целиком пригонять законы о книгопечатании, написанные Наполеоном III, на пользу свою. – В тех изменениях, которые вносились в русское законодательство о печати в 60-х годах, образцом неизменно служило французское законодательство Второй империи. Об этом намеками писал Чернышевский в статье «Французские законы по делам книгопечатания» («Современник», 1862, № 3, отд. II, стр. 141–176) и сам Салтыков в статье «Несколько слов по поводу «Заметки», помещенной в октябрьской книжке «Русского вестника» за 1862 год» (см. выше, стр. 220–221).

...Гоголь сам признавал, что «Вечера на хуторе близ Диканьки» – самое слабое из всего им написанного. – Гоголь говорил об этом в предисловии к изданию своих сочинений 1842 г. «Всю первую часть следовало бы исключить вовсе: это первоначальные ученические опыты, недостойные строгого внимания читателя» (Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. I, изд. АН СССР, М. 1940, стр. 318).

Стр. 327...он сам может создать лухмановские картоны Рафаэля. – В 1851 г. в Москве были выставлены 9 картин религиозного содержания, нарисованных на больших картонах, владельцем которых был А. Д. Лухманов. Картины приписывались Рафаэлю, по поводу чего в печати возникла полемика. Итогом ее явилась статья К. Герца «Происхождение рафаэлевских картонов, принадлежащих А. Д. Лухманову» («Современная летопись», 1863, № 25, стр. 11–12), в которой он доказывал, что картины эти принадлежат не Рафаэлю, а художнику феличе Кампи (XVI в.). Рецензия Салтыкова была написана до появления статьи К. Герца.

...холуйско-мстёрская школа живописи. – Холуй (Ивановской обл.), Мстёра (Владимирской) – старинные центры иконописи и народного художественного ремесла. Во второй половине XIX в. искусство Холуя и Мстёры резко падает: в работу народных мастеров проникает штамп, начинается массовое производство «расхожей» иконы, украшений из фольги и т. д.

...чувствуете в себе охоту раздражиться Майковым. – В «Нашей общественной жизни» (март 1863 г.) Салтыков писал: «Вспомните г. Вс. Крестовского: мог ли А. Майков предчувствовать, что ему придется погибнуть от руки его в цвете лет» (см. в т. 6 наст. изд.). Об отношении Салтыкова к творчеству А. Майкова см. наст. том, стр.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
424–435 и 665.

Стр. 328. Приятный жанр скрытной клубнички, которого тайною обладал доселе один Г. Майков... – Клубничка – понятие, обозначающее нечто нескромное, скабрёзное, связанное с эротическими похождениями. Вошло в оборот после «Мертвых душ» Гоголя (т. I, гл. 4). Борьба с «клубничной» литературой проходит через все творчество и литературную критику Салтыкова.

Стр. 329...кто писал испанские романсы из русских поэтов? но кто не писал их? Петр Исаич Вейнберг! вы не писывали ли испанских романсов? – Высмеивается культ сладостной экзотической Испании, который был широко распространен в романтической поэзии 50–60-х годов (см. пародию Козьмы Пруткова «желание быть испанцем»).

Мало вам «Гитаны» – вот вам «Затворница». – Приводятся названия стихотворений В. Крестовского 1861 г., входящих в его цикл «Испанские мотивы». Гитана – испанская цыганка.

Стр. 330. Г-ну Фету посчастливилось несколько более. – Оценку Салтыковым творчества Фета см. в наст. томе, стр. 383–390.

Стр. 331...раздражение пленной мысли. – Перифраза строки из стихотворения Лермонтова «Не верь себе» (1839).

«Теремок» – стихотворение В. Крестовского (1860).

Гражданские мотивы. Сборник современных стихотворений, изданных под редакцией А. П. Пятковского. СПб. 1863

\*\*\*

Песни Скорбного поэта. СПб. 1863  
«Совр.», 1863, № 1–2, отд. II, стр. 136–139.

За исключением последнего абзаца, эта рецензия на обозначенные в ее «титуле» две книги посвящена лишь первой из них – сборнику стихотворений 50–60-х годов, тенденциозно названному составителем А. П. Пятковским «Гражданские мотивы». Содержание сборника мало соответствовало такому названию. Вместе с отрывком из Некрасовского «На Волге» в сборник вошли: идиллическая «Грустная картина» Ю. Жадовской, верноподданнические «Война и мир» В. Бенедиктова, «Битва» Н. Щербины, «Женщине» Я. Полонского, приводимое в рецензии «После бала» А. Майкова и другие стихотворения, противостоящие общественной («гражданской») теме.

Сборник А. П. Пятковского дискредитируется в рецензии двояко. Коммерческие расчеты составителя, спекулирующего на общественном интересе к «гражданской поэзии», обнажаются в издевательской «калькуляции» издания и подсчетах «барыша» от него. Эклектизм сборника высмеивается в ироническом совете рецензента составителю издать еще один сборник под названием «Эротическо-гражданские стихотворения», в котором бы чередовались вперемежку стихотворения поэтов-демократов, с одной стороны, и сторонников «чистого искусства» – с другой.

Автором стихотворений, вошедших во второй «рецензируемый» сборник «Песни Скорбного поэта», был Г. Н. Жулев, видный участник «Искры», а также других изданий 60-х годов.

Стр. 332. «Пожалуйста написать» – слова Чацкого о Молчалине в «Горе от ума» (д. I, явл. 7): «Бывало, песенок где новеньких тетрадь / Увидит, пристаёт: пожалуйста написать».

Стр. 334. Ералаш – старинная карточная игра.

...лучше вспомнили бы о воскресных школах... точно был бы гражданский мотив! – Воскресные школы для взрослых, возникшие в 1859 г., обслуживались преимущественно революционно настроенной интеллигенцией, рассматривавшей их не только как одну из форм просвещения народа, но и как легальную форму демократической и антиправительственной пропаганды. В июне 1862 г. воскресные школы были закрыты правительством (вновь разрешены в 1864 г.).

«Герои преферанса» – водевиль актера П. И. Григорьева I (1844), который

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Белинский оценивал как «фарс на фарсе, нелепость на нелепости, невероятность на невероятности» (В. Г. Белинский, Поля. собр. соч., т. VIII, изд. АН СССР, стр. 427).

«Литературные староверы». – Яркая и злая сатира Г. Н. Жулева, в которой он боролся с «литературными староверами» всех мастей – врагами демократического и реалистического искусства и сторонниками официальной идеологии. Непосредственно же сатира была направлена против «Северной пчелы» и близких к ней писателей – «булгаринских времен хилых фигурантов» (И. Ямпольский. Сатирическая журналистика 1860-х годов, М. 1964, стр.

Литературная подпись. Соч. А. Скавронского («Время» за 1862 г., № 12, 1 стр.)  
«Совр.», 1863, № 1–2, отд. II, стр. 140–142.

Эта заметка явилась первым частным поводом к острой и длительной полемике между Салтыковым, как ведущим публицистом «Современника», и Ф. М. Достоевским, фактическим редактором и идейным вдохновителем журналов «почвеннического» направления «Время» и «Эпоха». Истинным поводом вражды послужила напечатанная в той же январско-февральской книжке «Современника» за 1863 г. заглавная статья начатого Салтыковым публицистического цикла «Наша общественная жизнь», где в связи с польскими событиями говорилось о появлении духа «политической благонамеренности» в русском обществе и наносился косвенный удар по общественно-политической позиции «почвенников». [56]

Заметка Салтыкова была памфлетно-сатирическим откликом на «письмо к редактору «Времени» писателя А. Скавронского (псевдоним Г. П. Данилевского), выразившего неудовольствие тем, что под именем Н. Скавронский выступал московский литератор А. С. Ушаков. Стремясь «размежеваться» с Н. Скавронским, А. Скавронский подробно перечисляет свои сочинения. Здесь же дается и примечание от редакции «Времени»: «В эти годы напечатаны г. А. Скавронского: в «Искре» – очерк «Девочка» (1859, № 50, 25 декабря), в «Современнике» – рассказы: «Пенсильванцы и каролинцы на Украине» и «Село Сорокопановка» (1859, № 4 и № 10), и во «Времени» – повесть «Беглые в Новороссии» (1862, №№ 1 и 2)». Последние три названия Салтыков пародирует: «Пенсильванцы и Виргинцы», «Село Сарановка», «Бедные в Малороссии».

В 1863 г. «Время» напечатало еще один роман А. Скавронского – «Беглые воротились» (№№ 1–3), другое название – «Воля». Впоследствии Г. П. Данилевский стал известен как автор популярных исторических романов: «Мирович» (1879), «Княжна Тараканова» (1883), «Сожженная Москва» (1886).

А. С. Ушакову (Н. Скавронскому) принадлежат «Были и повести» (1838), роман «Антон Иванович Пошехонин» (1855), очерки и повести «Из купеческого быта» (1862), «Очерки Москвы» (1862–1866).

Памфлетная заметка Салтыкова, ядовито оформленная в виде «рецензии» на «Сочинение» А. Скавронского – его «письмо к редактору «Времени» задело и Ф. М. Достоевского. На «Литературную подпись» Салтыкова он отвечал статьей «Молодое перо», в которой писал: «Почему, скажите, г. А. Скавронский не имеет права досадовать, что другой писатель подписывается его именем? Потому что он не генерал, не великий писатель? Но ведь всякому свое дорого. Что, ежели б вы сами изобрели себе какой-нибудь псевдоним и приобрели себе славу, а другой какой-нибудь проказник в Москве взял бы да и стал подписываться вашим же псевдонимом, да еще, положим, где-нибудь в «Русском вестнике?»» («Журнальные заметки». – «Время», 1863, № 2, стр. 222).

Стр. 335..«Бедных в Малороссии»... – в статье «Молодое перо» Достоевский замечал: «Ведь это вы нарочно написали «Бедных в Малороссии» вместо «Беглых в Новороссии» – для усиления своего остроумия. Будто, дескать, и название-то романа забыл, потому что не стоит и помнить» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. художественных произведений, т. XIII, ГИЗ, М. –Л. 1930, стр. 307).

..Николаенки, Вахновские, Сердобские обыватели, Калужские обыватели, Прохожие, Проезжие... – Перечисляются псевдонимы третьестепенных литераторов того времени. Под именем Николаенко выступали две писательницы: Н. Д. Шамонина («Русский вестник», 1858–1859) и М. М. Манасеина («Отечественные записки», 1862). С. Вахновская – псевдоним Е. А. Лодыженской, печатавшейся в «Русском вестнике» (1856–1859). Отдельным изданием вышли ее «Рассказы и очерки», М. 1859.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Псевдонимом «Сердобский обыватель» подписана заметка в «Голосе», 1863, № 3, о которой Салтыков упоминает в статье «Известие из Полтавской губернии». «Калужский обыватель» – очевидно, «Калужский житель» – подпись под статьей в газете «День», 1863, № 3. Псевдонимом «Проезжий» была подписана статья «Косвенные налоги на фабрики» («Вестник промышленности», 1860, № 2), направленная против Салтыкова как рязанского вице-губернатора и на которую он отвечал написанной, но запрещенной цензурой статьей «Еще скрежет зубовой» (см. ее в наст. томе, стр. 84–97).

Стр. 336...словами г-жи Толстого-Раздовой (в комедии г. Островского «Не сошлись характерами»): «Да что ж в этом есть постыдного, что я назвался Н. Скавронским?» – Имеется в виду следующий диалог между купцом Толстого-Раздовым и его женой из 2-й картины пьесы: «–А ты нешто дама? – Обнакновенно дама. – Да вот можешь ты чувствовать, не могу я слышать этого слова... когда ты себя дамой называешь. – Да что же такое за слово – дама? Что в нем... (ищет слова) постыдного? – Да коли не люблю! Вот тебе и сказ!»

Стр. 337...один литератор вдруг ни с того ни с сего объявил недавно в «Северной пчеле», что он так велик, что его даже во сне видит другой литератор... – Речь идет о «Письме к издателю «Северной пчелы» И. С. Тургенева («Северная пчела», 1862, № 334, от 10 декабря). «Письмо» явилось актом окончательного, формального разрыва Тургенева с редакцией «Современника», разрыва, который начался еще в 1860 г. Тургенев ссылается на последующие попытки Некрасова восстановить отношения: «В январе 1860 г. «Современник» печатал еще мою статью («Гамлет и Дон-Кихот»), и г. Некрасов предлагал мне при свидетелях значительную сумму за повесть, запроданную «Русскому вестнику», а весной 1861 г. тот же г. Некрасов писал мне в Париж письмо, в котором, с чувством жалуясь на мое охлаждение, возобновлял свои лестные предложения и, между прочим, доводил до моего сведения, что видит меня почти каждую ночь во сне». В письме Некрасова, о котором сообщает Тургенев, написанном не весной, а 15 января 1861 г., сказано: «Прошу тебя думать, что я в сию минуту хлопочу не о «Современнике» и не из желания достать для него твою повесть – это как ты хочешь, я хочу некоторого света относительно самого себя и повторяю, что это письмо вынуждено неотступностью мысли о тебе. Это тебя насмешит, но ты мне в последнее время несколько ночей снился во сне» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. X, Гослитиздат, М. 1952, стр. 441–442). «Я... отвечал г. Некрасову, – заявляет Тургенев, – положительным отказом, сообщил ему мое твердое решение не участвовать более в «Современнике».

О старом и новом порядке и об устроенном труде (travail organisé) в применении к нашим помещным отношениям... «Совр.», 1863, № 1–2, отд. II, стр. 142–146.

Рецензия направлена против одного из лидеров дворянско-крепостнической оппозиции реформам 60-х годов Н. А. Безобразова, о котором даже министр внутренних дел П. А. Валуев говорил, имея в виду его крайнюю реакционность, что «между им и сумасшедшим различия немного» («Дневник П. А. Валуева...», ред. П. А. Зайончковского, т. I, М. 1961, стр. 191 – запись от 26 сентября 1862 г.). В 1858 г., уже после официального объявления о приступе к крестьянской реформе, Н. Безобразов напечатал в Берлине брошюру «Об усовершенствовании узаконений, касающихся до вотчинных прав дворянства», в которой доказывал ненужность отмены крепостного права и распространял ее среди петербургских сановников. После февраля 1861 г. в своих печатных выступлениях он призывал к сохранению «старого», то есть крепостнического «порядка» в деревне. Этим духом проникнута и рецензируемая Салтыковым брошюра, вышедшая в Петербурге в самом начале 1863 г. и представляющая собой отдельный оттиск статьи из «Экономических записок», 1862, № 51 (статья восходит к речи, произнесенной Н. Безобразовым в собрании Вольного экономического общества 13 декабря 1862 г. по поводу учреждения справочного стола для управляющих помещными имениями). Н. Безобразов придавал своему выступлению столь важное значение, что в 1863 г. перепечатывал брошюру еще два раза: в Берлине, а затем вновь в Петербурге («издание второе, исправленное»). Салтыков вскрывает, что рассуждения Н. Безобразова об «устроенном труде» являются не чем иным, как мечтами о новых формах крепостного права.

В рецензию Салтыковым включен отклик на заметку другого крепостника – А. Муравьева «Выкуп крестьянских угодий», опубликованную в № 3 «Московских ведомостей» за 1863 г. Положения 19 февраля предусматривали, что выкуп полевого надела осуществляется на основе добровольного соглашения помещиков и крестьян.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Но помещик мог и в одностороннем порядке перевести крестьян на выкуп, лишаясь при этом одной пятой выкупной суммы (так называемых «верхов»). Крестьяне первое время весьма неохотно шли на заключение выкупных сделок. За 1861 г. по всей России было заключено лишь 322 сделки. А. Муравьев предлагает правительству обеспечить помещику сумму «верхов» и при переводе крестьян на выкуп без их согласия. Средства для этого должны быть добыты путем увеличения платежей крестьян в казну.

Салтыков отказывается от полемики с А. Муравьевым по существу. «Мы ни слова не говорим здесь о том, – заявляет он, – справедлива или несправедлива мысль об обязательности выкупа земельных крестьянских угодий...», он только указывает на жульнические передержки и стремление к максимальному ограблению народа в заметке крепостника. Уход от обсуждения вопроса об обязательности выкупа не случаен. Еще в 1861 г. Салтыков выдвигал требование немедленной ликвидации состояния «временнообязанных» путем «совершенного окончания расчетов между помещиком и бывшими его крепостными крестьянами» посредством выкупной сделки (см. «Где истинные интересы дворянства?» в наст. томе). Иную позицию занял лагерь революционной демократии после того, как выявилось массовое нежелание крестьян идти на выкупную сделку. Почти повсеместные вначале отказы крестьян от добровольных соглашений рассматривались как признак краха грабительской реформы и как надежда на перерастание крестьянского недовольства в революционную борьбу. Об этом писал Чернышевский в 1862 г. в «Письмах без адреса» и ретроспективно в «Прологе» (см. Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. X, стр. 93, и т. XIII, стр. 187–188). Характерно, что и А. Муравьев, отмечая нежелание крестьян заключать выкупные сделки, выдвигает на первое место такое объяснение: «Во многих местах крестьяне надеются еще получить в собственность землю без выкупа».

Принадлежа к лагерю «Современника», Салтыков, однако, не разделял в 1863 г. представления о близости революции, признаком чего будто бы являлся отказ крестьян от выкупной сделки. Оставаясь на прежних позициях в вопросе о необходимости скорейшей ликвидации состояния «временнообязанных», Салтыков вместе с тем, по-видимому, не считал возможным на страницах «Современника» полемизировать с его руководителем, находившимся в заключении, и уклонился от обсуждения вопроса об обязательности выкупа.

Стр. 337...членом Вольного экономического общества... – «Императорское Вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства» – старейшее научное общество в России (1756–1917). Его основной задачей была теоретическая разработка путей наиболее выгодного ведения помещичьего хозяйства. В 60-е годы в работе Общества принимали участие как крепостники, так и либералы.

...дополнительные платежи. – При переводе па выкуп 80 % выкупной суммы помещику выплачивало процентными бумагами правительство, за что крестьяне повинны были в течение 49 лет вносить в казну по 6,5 % этой суммы ежегодно. Остальные 20 % крестьяне вносили помещику сами при условии добровольного соглашения о выкупе. Эти взносы и назывались «дополнительными платежами».

Стр. 340. «...изложение двух тысяч с лишком статей...» – Положения 19 февраля состояли из 17 отдельных законов со множеством статей в каждом из них: «Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», «Положения о выкупе...», четырех «Местных положений о поземельном устройстве крестьян, водворенных на помещичьих землях...», «Положения об устройстве дворовых людей...» и т. д. К этому прилагались многочисленные «Именные указы сенату» и т. п.

Анафема, или Торжество православия, совершаемое ежегодно в первый воскресный день великого поста. (Три письма к другу.) Составил А. А. Быстротоков. СПб. 1863  
«Совр.», 1863, № 3, отд. II, стр. 128–130.

Сатирический и атеистический яд этой рецензии заключается в простом изложении двенадцати канонических пунктов православной церкви, относящихся к анафематствованию, то есть к «отлучению от церкви и преданию вечному проклятию» еретиков и грешников. Приводя просторечно-бытовые значения слова «анафема» (ругательство «скверная рожа» и др.) и такие же представления о причинах анафематствования (за то, что «ездят в экипажах с дышлами»), Салтыков издевательски «снижает» грозное догматическое значение этой формулы церковного устрашения и возмездия.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Стр. 341. Ефимоны – вечерняя служба православной церкви в великий пост.

Сборное воскресение – первое воскресенье великого поста в календаре православной церкви; называлось так потому, что в Древней Руси в этот день духовенство собиралось к епископу и совещалось с ним о церковных делах.

Стр. 342. Один из самых лютейших иконоборцев... император Феофил... – Византийский император Феофил в 832 г. выпустил указ, которым запрещалось почитание икон.

Несколько серьезных слов по случаю новейших событий в С.-Петербурге  
Соч. М. Беницкого, издание К. И. Синявского. СПб. 1862 г  
\*\*\*

«Заметки и отзывы». «Русск. вестн.» 1863 г., № 1-й  
«Совр.», 1863, № 4, отд. II, стр. 285–295.

Поводом для рецензии послужили ура-патриотическая, самого низкого пошиба брошюра М. Беницкого о петербургских пожарах, о прокламациях 1862 г. и редакционная статья в январской книжке «Русского вестника» за 1863 г. «Отзывы и заметки. Польский вопрос». Последняя, написанная самим Катковым, открывает в его изданиях серию грубых нападок на восставших поляков (см. в «Русском вестнике» под той же рубрикой «Отзывы и заметки» статьи «Русский вопрос» в № 2, «Что нам делать с Польшей?» в № 3 и т. д.).

В рецензируемых «Отзывах и заметках» Катков использовал обострение общественно-политической обстановки в стране, вызванное польским восстанием 1863 г., для разжигания травли русских революционеров, «нигилистов». Конкретно речь шла о прокламации тайного революционного общества «Земля и воля» «Льется польская кровь, льется русская кровь», написанной одним из основателей общества и членом его центрального комитета А. А. Слепцовым. После некоторых изменений, внесенных в текст другими членами центрального комитета, прокламация была подпольно отпечатана большим тиражом и широко распространялась по всей Российской империи (текст ее см.: А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем, под ред. М. К. Лемке, т. XVI, стр. 90). Катков обрушился с злобной бранью на авторов прокламации, обвиняя их в измене «уже не правительству, чем они хвалятся, но своему народу, своему отечеству» (стр. 483). Он вновь повторял обвинения в поджогах, которые в 1862 г. редакция выдвинула против революционеров, заявляя, что такая прокламация «еще хуже пожаров» (стр. 479). О прокламации и катковских нападках на нее писал в 160 листе «Колокола» Герцен, называя статью «Отзывы и заметки. Польский вопрос» образцом «жандармской литературы... из III Отделения «Русского вестника». [57] Возможно, косвенным откликом на прокламацию и нападки на нее, является обращение Салтыкова к реакционным публицистам в заметке «Литературные будочки» из «Свистка», опубликованной в том же номере «Современника», что и рецензия «Несколько серьезных слов...»: «По поводу чего вы так расплясались? Рады вы, что ли, тому, что льется человеческая кровь?» (см. в наст. томе, стр. 300).

Рецензия Салтыкова – одно из многочисленных его выступлений против реакционно-либеральной печати, травли ею «нигилизма». В 1863 г. большинство из них связаны с польским вопросом. Непосредственно рецензия направлена против Каткова. Салтыков сопоставляет статью «Русского вестника» с наиболее низкопробной реакционной стряпней на схожую тему, с брошюрой Беницкого (само такое сопоставление было оскорбительным), и приходит к выводу, «что «Русский вестник» идет далее г. Беницкого». В рецензии затрагиваются и более общие вопросы. В ней идет речь о положении литературы в 60-е годы, о сущности правительственного «либерализма», «квасного патриотизма», «официальной народности». Салтыков показывает, как ничтожно мала разница между самыми мрачными временами николаевской реакции и эпохой александровского «либерализма», между требованием «ничего не трогать», а «просто любить» и правом «дурное порицать и хорошее хвалить» («дурное» и «хорошее» с точки зрения властей), правом «трогать умеючи» и доказывать важность тезиса: «люби».

Стр. 343. Вести журнальное дело очень нетрудно. Надобно только взирать на вещи... с патриотической точки зрения... – ирония над «свободой слова», которая предоставлена русской журналистике только для восхваления существующего порядка, для пропаганды «официального патриотизма». О том, что лишь «относительно» выражения патриотических чувств общественное мнение в России всегда пользовалось весьма достаточной свободой», Салтыков писал неоднократно (см., например, «Нашу общественную жизнь» за сентябрь 1863 г., т. 6).

...право «трогать умеючи» приобретено нами в течение последних восьми лет – то есть после 1855 г., с воцарением Александра II.

...«Русский вестник»... иногда даже трогал «не умеючи» – намек на отдельные выступления «Русского вестника», вызывавшие недовольство властей (например, столкновение Каткова с цензурой в 1858–1859 гг. (См. Н. А. Любимов. М. Н. Катков, гл. 4. – «Русский вестник», 1888, № 3, стр. 209–249).

...вникать во смысл таинственных загадок – строка из стихотворения В. Крестовского «Затворница», о котором Салтыков упоминает и в рецензии «Стихи Вс. Крестовского» (см. в наст. томе стр. 329).

Стр. 344...это завещано еще стариком Гостомыслом, который и свои-то собственные дела советовал нам поручать людям, которые их лучше нашего знают. – По летописным преданиям, новгородский посадник или князь Гостомysl завещал призвать варягов на Русь для прекращения смут и беспорядков.

Стр. 344. Можно... лечь спать озорником, а на следующее утро проснуться человеком достойным... французский министр... г. Бильо, был когда-то... свистуном. – Одним из признаков реакционного «понижения тона» было обращение бывших деятелей либеральной оппозиции к оголтелому шовинизму и безоговорочной поддержке правительства в борьбе с Польшей и революционерами. Возможность таких метаморфоз иллюстрируется изменением в карьере французского политического деятеля Огюста Бильо. В эпоху Луи-Филиппа он принадлежал к оппозиции («был... свистуном»), после февральской революции 1848 г. примыкал к республиканцам, а после государственного переворота 2 декабря 1851 г. стал целиком на сторону Наполеона III.

Преферанс – предпочтение (франц. *préférence*).

Стр. 345...не можем оставаться равнодушными... ко всем этим «штукам и экивокам». – Вероятно, вольный перевод слов – with по biggodd nonsense about her, постоянно повторяемых Спарклером, персонажем романа Чарльза Диккенса «Крошка Доррит». В русских переводах 1858 г. (и в «Отечественных записках», и в отдельном издании) эти слова переводятся: «без всяких проклятых фокусов».

Стр. 346. С природой одною я жизнью дышу, / Я чувствую трав прозябанье... – Перифраза строк из стихотворения Е. А. Баратынского «На смерть Гёте»: «С природой одною он жизнью дышал... / И чувствовал трав прозябанье».

Стр. 347...какие в прошлом году изрекал «Русский вестник» предики мальчишкам устами г. Белюстина. – Имеется в виду корреспонденция священника-публициста И. С. Белюстина «Из Петербурга», опубликованная в газете «Современная летопись» (1862, № 23) – еженедельном приложении к «Русскому вестнику». В корреспонденции этой, посвященной петербургским пожарам, говорилось, в частности: «На кого указывает народ как на главную причину своих бедствий? Горько и тяжело, а нельзя скрыть – на учащуюся и ученую молодежь. Совершающиеся бедствия он ставит в неразрывной связи с предшествовавшими возгласениями, объявлениями<sup>1</sup> – всею этою возмутительною нечистью, которую враги общественного спокойствия щедрою рукою сыпали в народ. Ради чести науки, ради стольких надежд, которые возлагались было на молодое поколение, не хотелось бы верить подозрениям народа. Но что, если и тут есть своя доля правды? Что, если и в самом деле эта молодежь, увлеченная погибельными возгласами проповедников анархии и всеобщего погрома, посредственно или непосредственно принимает в этом участие? – О, какую страшную судьбу готовит она себе!»

...публицист «Русского вестника»... не ссылается ни на македонян, ни на греков, потому что знает, что всякий читатель заранее уверен в его знакомстве и с теми и с другими – один из сигналов узнавания в неназванном «публицисте» «Русского вестника» Каткова – поборника классического образования.

Имеются в виду революционные прокламации.

Стр. 348...страшный пожар, бывший 28 мая в Петербурге – пожар Апраксина рынка, самый большой из петербургских пожаров 1862 г.

Стр. 351...а четвертака даже и не показываю. – В статье Каткова «Одного поля

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) ягоды» («Русский вестник», 1861, № 5) говорилось о продажных журналистах: «Зарезать они не зарежут, но не кладите вашего четвертака плохо» (стр. 26). Салтыков переадресовывает эти слова сотрудникам «Русского вестника» и самому Каткову.

Стр. 352...«Бруки и Броки»... – «Китайские ассигнации». – Имеются в виду какие-то высказывания Каткова периода его либерализма. В конце 50-х годов в «Русском вестнике» много говорилось о финансовом кризисе в различных странах, о вреде ассигнаций, обесценивающих деньги, и т. п. Такого рода «иностранные материалы» часто содержали в себе критику русских порядков вообще. О Бруке см. прим. к стр. 217. Брок – видимо, русский министр финансов П. Ф. Брок. Нарочитое искажение его имени не раз встречалось в журналистике 60-х годов. См., например: А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. XII, М. 1957, стр. 446: «министр финансов... Брик, Брак, Брук».

...если нынешние титулярные советники суть раскаявшиеся прогрессисты, то кто же мешает нынешним прогрессистам заключать в себе, как в зародыше, будущих титулярных советников?.. – Подобные утверждения, в несколько измененной форме (вместо «прогрессистов» появляются «нигилисты»), повторяются Салтыковым в «Нашей общественной жизни» (декабрь 1863 г., январь 1864 г.). В рецензии они направлены в первую очередь против «титулярных советников», против Каткова и других реакционных публицистов, некогда выступавших в роли «прогрессистов». Но в какой-то степени такие утверждения обращены и против современных «прогрессистов»: они, по мнению Салтыкова, могут проделать ту же эволюцию, которую в свое время проделал Катков и ему подобные. Позднее, в полемике с «Русским словом», Салтыков акцентирует именно этот второй смысл (см. об этом в т. 6 наст. изд.).

Князь Серебряный. Повесть времен Иоанна Грозного  
Соч. гр. А. К. Толстого. 2 тома, СПб. 1863 г  
«Совр.», 1863, № 4, отд. II, стр. 295–306.

Исторический роман «Князь Серебряный» был опубликован первый раз в «Русском вестнике» в 1862 г. Возобновленный с февраля 1863 г., «Современник» открыл свой полемический огонь прежде всего по катковскому органу и потому не мог обойти молчанием напечатанное в нем произведение А. К. Толстого, тем более что оно сразу же завоевало внимание самых широких слоев читающей публики.

Однако критический разбор романа А. К. Толстого представлял известные трудности. Роман обладал несомненными художественными достоинствами. К тому же А. К. Толстой занимал в общественной и литературной борьбе особую позицию. [58] По собственным его словам, он был «двух станов не боец, а только гость случайный». В 60-х годах он выступал как идейный противник революционной демократии, но, несмотря на свой консерватизм, отрицательно относился к бюрократической централизации, к полицейским репрессиям, к правительственному деспотизму. Он не скрывал своего несогласия с арестом Чернышевского. А. К. Толстой был воинственным сторонником теории «чистого искусства», но вместе с тем являлся с братьями Жемчужниковыми автором сатирических произведений, выходящих под именем Козьмы Пруткова.

Салтыков нашел выход из положения, избрав для своей рецензии пародийно-юмористическую форму. «Князь Серебряный», с его аристократическими тенденциями и романтизацией боярской старины, производил на фоне 60-х годов архаическое впечатление. Салтыков и «спрятался» поэтому под маской полуграмотного отставного учителя, уровень воззрений которого не шел дальше истории Карамзина, соответствующим образом стилизовав свой текст.

Критика в злой рецензии Салтыкова на это «византийское сочинение» направлена против исторических взглядов А. Толстого, идеализировавшего феодальную Русь, осуждавшего преобразовательную деятельность Ивана Грозного не только за жестокие методы, но по самому существу. Салтыков иронизирует над формальными особенностями романа, обремененного чрезмерной стилизацией и натуралистическими деталями (описания царского стола и др.). На это последнее обстоятельство обращали внимание и друзья А. К. Толстого, например, А. А. Фет. [59]

Рецензия на роман «Князь Серебряный» примечательна еще в одном отношении: по ней видно, что Салтыков уже вынашивал зерна замысла «Истории одного города», полемически отталкиваясь, между прочим, и от художественной методологии

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru прочитанного романа, да и всей исторической романистики того времени. За «простосердечными» рассуждениями отставного учителя скрываются и собственные серьезные раздумья сатирика. Наивному реализму и натуралистическому бытовизму обыкновенных исторических романистов Салтыков противопоставляет уже точно сформулированный сатирический принцип, согласно которому художник должен, подобно разгневанному «промыслу», употреблять «орудиями не действительных людей, а, так сказать, подобия их, или лучше сказать, такие сомнительные существа, которые имели бы наружный человеческий облик, но внутреннего человеческого естества не имели бы». Все глумовские «градона начальники» созданы по этому принципу.

Изображение богатства и роскоши, развращающих правительственную верхушку, противопоставление земным интересам небесных, появление «градона начальника», приводящего грешников к очищению и покаянию, – набросок, из которого впоследствии выросла тема главы «Поклонение Мамоне и покаяние».

Стр. 352...украшением любой книжки «Северных цветов»... как сам «Князь Серебряный» был бы весьма приятным явлением в «Аонидах». – Относя рецензию по ее уровню и стилю к «Северным цветам», альманаху, выходявшему под редакцией А. Дельвига и О. Сомова в 1825–1832 гг., а самый роман к «Аонидам», альманаху, издававшемуся Н. М. Карамзиным в 1796–1799 гг., Салтыков сатирически подчеркивал архаизм идеологии, содержания, а отчасти и формы «Князя Серебряного».

Стр. 353...первые попытки робкого еще тогда Ложечникова. – Шутливое искажение фамилии Лажечникова, – по-видимому, намек на его неудачную попытку орфографических нововведений, о которых незадолго до того вспомнил и которые высмеял Некрасов в юмореске из № 7 «Свистка» («Современник», 1861, № 1): «Вместо предисловия, о шрифтах вообще и о мелком в особенности». Издавая в 1838 г. один из первых своих исторических романов «Басурман», Лажечников, стремясь приблизить письменный язык к разговорному, обратился к «фонетической транскрипции» и печатал, например: «нашол», «дешовый», «учоный», «поражон» и т. д.

...«Истину царям с улыбкой говорить» – см. прим. к стр. 312.

Стр. 354. «...не расти двум колосьям в уровень, не сравнивать крутых гор с пригорками, не бывать на земле безбоярщины!» – В этой тираде особенно выпукло выразился аристократический, «боярский» характер исторической концепции А. К. Толстого. Это поняли даже во «Времени», также отметившем рецензией выход «Князя Серебряного». Именно по поводу комментируемой фразы журнал братьев Достоевских писал: «Народ не сочувствовал оппозиции земских бояр по той простой причине, что солонны ему самому были эти земские бояре, которых хочет наш романист выставить защитниками его прав против опричнины» («Время», 1862, декабрь, стр. 51).

Салтыков выступил против «политической теории», лежавшей в основе романа: этой политической теорией оставался абсолютизм.

«Редакционные комиссии» – временные учреждения (1859–1860), созданные правительством Александра II, для подготовки крестьянской реформы 1861 г.

Стихотворения К. Павловой. Москва. 1863  
«Совр.», 1863, № 6, отд. II, стр. 311–316.

Рецензия посвящена сборнику стихотворений Каролины Павловой 1863 г., который, по существу, подытоживал ее творчество (в последующие годы она занималась почти исключительно переводами). В 60-е годы, когда в общественных настроениях господствовала «политика», а не «эстетика», элегические «раздумья» и салонно-светские «Послания» К. Павловой, ее взгляды на творчество и назначение художника в духе «чистой поэзии» воспринимались как анахронизм. Выход сборника был отрицательно встречен не только в «Современнике», но также в «Русском слове» (1863, № 6, отд. II, стр. 28–31 – отзыв В. Зайцева) и «Библиотеке для чтения» (1863, № 8, стр. 80–86). Лишь газета «День» (1863, № 17, 27 апреля) – орган славянофилов, с которыми К. Павлова была тесно связана, выступила с положительным отзывом о сборнике и поддержала тяготение поэтессы к славянофильской этико-религиозной и философско-исторической романтике.

Памфлетная рецензия Салтыкова подвергает резкой критике бедность идейного содержания поэзии К. Павловой и ее эстетические взгляды, «освобождавшие» искусство от общественного содержания и больших тем современности. Называя К.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Павлову представительницей «мотыльковой поэзии», Салтыков ведет ее литературную генеалогию от сентиментализма кн. П. И. Шаликова и писателя «казенной», по определению Чернышевского, народности С. П. Шевырева. Он усматривает в творчестве поэтессы «продукт целого строя понятий... который в философии порождает Юркевичей, в драматическом искусстве дает балет, в политической сфере отзывается славянофилами, в воспитании – институтками». Другими словами, Салтыков связывает поэзию К. Павловой с враждебной демократии идеологией романтизма и идеализма. В борьбе Салтыкова с этими системами его выступление по поводу стихов К. Павловой занимает важное место.

Стр. 363...послание поэту... послание Аксакову... лампаду из Помпеи... не оставит без песнопенья. – Речь идет о стихотворениях К. Павловой «Поэт» (1839), «И. С. Аксакову» (1847), «Лампада из Помпеи» (1850).

...сидят графиня и Вадим и объясняются в любви. – Далее приводятся фрагменты из драматического стихотворения «Сцена» (1855).

Прелестно. Картина вторая... берет лиру и поет. – Картина вторая вымышлена Салтыковым в памфлетно-сатирических целях.

Стр. 364. «Труд ежедневный... Нисходят ангелы с небес». – Салтыков намеренно присоединяет к отрывку из «Сцены» самостоятельное стихотворение К. Павловой «Труд ежедневный» (1862). «Заставляя» графиню произносить стихотворение самой К. Павловой, Салтыков как бы отождествляет поэтессу с ее светской героиней.

Стр. 365. «Но проходит между нами...» и дальше «Пусть им только даст она...». – Оба отрывка взяты из стихотворения К. Павловой «Есть любимцы вдохновений» (1839).

...какую тревогу поднял недавно г. Фет из-за 11 рублей, чуть-чуть не пропавших у него. – После реформы 1861 г. А. А. Фет выступил в печати с очерками «Из деревни», в которых упрекал власти за то, что они будто бы плохо защищают помещичью собственность от крестьян. В одной из статей («Русский вестник», 1863, № 1, стр. 448–451) Фет рассказал о том, как он сумел только через мирового посредника получить от работника Семена неотработанный долг 11 руб. Жалобы Фета в печати по этому поводу долго служили предметом насмешек в демократических кругах (Д. Минаев. – «Русское слово», 1863, № 6, стр. 7–11; В. Зайцев – там же, № 8, стр. 62–67; Д. Писарев. «Русское слово», 1864, № 11. – Собр. соч. в четырех томах, т. 3, Гослитиздат, М. 1957, стр. 95–96; см. также сатирические выпады Салтыкова в «Нашей общественной жизни», т. 6 наст. изд.).

Он вселенной гость... сладкозвучных игр. – Цитировано стихотворение К. Павловой «Поэт» (1839).

Стр. 366...«покинуть земную обитель... порхать оживленным сапфиром» – перифраза строк из стихотворения «Мотылек» (1841): «Упейся же чистым эфиром, / Гуляй же в небесной дали, / Порхай оживленным сапфиром, / Живи, не касаясь земли... / Покинь же земную обитель / И участь прими мотылька... С этим стихотворением связано определение «мотыльковая поэзия», которое Салтыков присвоил творчеству представителей «чистого искусства».

Все это излагает она в послании «К С.К.Н.». – Стихотворение «К С.К.Н.», написанное в революционном 1848 г., содержит декларацию общественной индифферентности поэтессы: «Годины этой многосмутной / Хочу не слышать крик и спор, / Не спрашивать про сейм немецкий, / Давно стоящий на мели, / Не знать о вспышке этой детской, / С которой справился Радецкий».

Ломбардо-Венецианское королевство – часть Северной Италии, находившейся с 1815 г. под властью Австрии. Восстание в Милане (центре Ломбардии) – одно из основных событий буржуазно-демократической революции 1848 г. в Австрии. Кровавым усмирителем революционного Милана, а затем и всех областей Италии был генерал-губернатор Ломбардского королевства, участник жестокой расправы над революционерами, австрийский фельдмаршал, князь И. В. Радецкий.

Стр. 367...будем жить, свой пыл смиря... В Москве в начале октября – последние строки стихотворения «К С.К.Н.».

Повести Кохановской. Москва. 1863 г. 2 тома «Совр.», 1863, № 9, стр. 67–83.

Рукопись не сохранилась. В ИРЛИ хранятся исправленные гранки, перешедшие из архива А. Н. Пыпина.

Рецензия на повести Кохановской (Н. С. Соханской) принадлежит к числу лучших критических выступлений Салтыкова. Она богата философским и методологическим содержанием и содержит справедливую оценку творчества писательницы.

Кохановская была сторонницей учения славянофилов. Салтыков дает сжатую оценку взглядов славянофилов в том виде и в той мере, как они отразились в разбираемых им произведениях. Насколько позволяют цензурные условия, он отвергает их религиозную основу, апелляцию к «какой-то таинственной силе», управляющей ходом дел мира сего. Реакционная националистическая концепция славянофилов, считавших себя защитниками русской «самобытности», восходила к немецким источникам, к шеллингианской и гегелианской философии, трактуемой в религиозно-консервативном плане. В системе и Шеллинга и Гегеля большую роль играют понятия необходимости и свободы, по терминологии рецензии понятия «безусловной покорности» и «свободного творчества». С одной стороны, Гегель обосновывал свободу, с другой – низводил ее на нет, растворял ее в воле абсолюта, или бога. Христианская мораль, которой пронизаны произведения Кохановской, также подводит читателя к необходимости покорности и смирения. Салтыков пишет: «По-видимому, между выражениями: «безусловная покорность» и «свободное творчество» существует противоречие, но это противоречие мнимое и легко улаживается посредством прибавления к последнему выражению слова «разумное»... таким образом, свобода жизненного творчества, которую обладает человек, является уже не просто свободой, а свободой разумно-покорною». Салтыков имеет в виду известную формулу Гегеля: «Все действительное разумно», которую правые гегельянцы и эпигоны великого мыслителя превратили в формулу: «Все существующее разумно», оправдывавшую и пережившие себя нравственные нормы, и строй социального неравенства, и политическую реакцию.

В истории русской общественной мысли гегельянство послужило одним из отправных пунктов, исходя из которого одни деятели пошли вперед, к революционной демократии, к наиболее зрелым формам утопического социализма, другие же обратились к буржуазному либерализму, к консерватизму или к философски обоснованному консерватизму – славянофильству. Это в известной мере и имеет в виду Салтыков, когда пишет, что критика, отрицание представляют «два выхода: один ведет назад, другой открывает дорогу вперед». Вперед пошли Белинский, Чернышевский, Добролюбов – и сам Салтыков. Назад от Гегеля пошли славянофилы – К. Аксаков и др. и повели за собой таких писательниц, как Кохановская.

В 60-х годах славянофилы, отстаивая православие и самодержавие, стали искать поддержки своих позиций «в огне и мече», что понимал даже Достоевский (см. редакционную статью в журнале Достоевского «Время»: «Девятнадцатый номер «Дня», 1862, № 2). Но было среди славянофилов и народолюбивое крыло, приближавшееся к некоторым оттенкам народничества. Славянофильское народолюбие явственно отразилось в творчестве Кохановской, что и объясняет мягкий тон критики Салтыкова.

Очень важно рассуждение Салтыкова об отношении интеллигенции («пропагандистов-образователей») к народной массе. Оно имело в 60-х годах весьма актуальный характер. Разновидность славянофилов, «почвенничество» (лидерами которого были Достоевский, Ап. Григорьев, Страхов, Данилевский и др.) призывало интеллигенцию духовно разоружиться и преклониться перед уровнем тогдашнего «народного» сознания. Если нельзя возвысить народ до себя, то надо самому опуститься до его уровня, то есть до его тогдашней отсталости и темноты, – доказывал Достоевский.

«Не многому могут научить народ мудрецы наши, – писал Достоевский в «Записках из Мертвого дома», – даже утвердительно скажу – напротив: сами они еще должны у него поучиться». [60] С этими и подобными ему взглядами Салтыков и спорит энергично, в том числе и в разбираемой рецензии.

В рецензии на повести Кохановской ясно обнаруживается родство критики Салтыкова с критикой Добролюбова.

Реальная критика, писал Добролюбов, не судит писателя по его намерениям, по его «силлогизмам». Она «относится к произведению художника точно так же, как к

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) явлениям действительной жизни: она изучает их, стараясь определить их собственную норму, собрать их существенные, характерные черты». Она ищет действительный взгляд писателя на мир, «служащий ключом к характеристике его таланта», «в живых образах, создаваемых им» («Темное царство». – Н. А. Добролюбов, Собр. соч., т. 5, М. –Л. 1962, стр. 20, 22).

Кохановская, принадлежавшая по своему мировоззрению к направлению славянофилов, печаталась в «Русском вестнике» Каткова и во «Времени» Достоевского. Убедительно опровергнув «бедные и фальшивые» воззрения Кохановской, Салтыков делает, однако, следующий вывод: «...но здесь не в них и дело...описываемая автором жизнь именно такова; она именно составлена из насильств и лжей, которые, однако ж, вследствие известных условий, не признаются ни насильством, ни ложью. Что нужды до того, что ни сама героиня, ни автор за нее не протестуют: за них протестует сама судьба героини». Вполне в духе Добролюбова, Салтыков не отождествляет художественного мышления писателя с его публицистическим мышлением. Он ищет и находит «собственный взгляд» художника не в его публицистических намереньях, а в созданном последним образном мире, хотя и понимает, вслед за Добролюбовым, что уродливое мировоззрение может в той или иной мере отразиться на правдивости и совершенстве мастерства писателя. Так и Кохановская к реальной драме существования подневольного человека пришивала «славянофильский водевиль».

Стр. 370. «...истина призрачна», «...мир призраков». – Понятия «Призраки» см. в т. 6 наст. изд. и в книге: В. Кирпотин. Философские и эстетические взгляды Салтыкова-Щедрина, М. 1957, гл. «Призраки».

Стр. 371...будет искать в будущем те идеалы, в которых отказывает разорванное и колеблющееся настоящее. – Ср. со следующими словами Салтыкова: «Литература провидит законы будущего, воспроизводит образ будущего человека» («Современная идиллия»).

Стр. 372. Высший общественный идеал заключается... в том, чтобы интересы частного лица и интересы общества шли рука об руку, не только не мешая друг другу, но взаимно друг другу помогая. – Здесь формулировка высшего общественного идеала совпадает у Салтыкова с формулировкой Герцена. «Понять всю ширину и действительность, – писал Герцен, – понять всю святость прав личности и не разрушить, не раздробить на атомы общество – самая трудная социальная задача. Ее разрешит, вероятно, сама история для будущего, в прошедшем она никогда не была разрешена» (А. И. Герцен. Письма из Франции и Италии. – Собр. соч., т. V, изд. АН СССР, 1955, стр. 62).

Стр. 373. Здесь вся суть заключается единственно в непосредственной силе таланта, и чем выше эта последняя, тем более даст она правды читателю, даже, быть может, и помимо воли самого художника. – Взгляд на значение таланта, выраженный Салтыковым в рецензии на сочинения Кохановской, совпадает со взглядом Добролюбова, который писал: «Талант есть принадлежность природы человека... он не отдаст себя на служение неправде и бессмыслице, не потому, чтобы не хотел, а просто потому, что не может, – не выйдет у него ничего хорошего, если он и вздумает понасиловать свой талант» («Луч света в темном царстве» – Н. А. Добролюбов, Собр. соч., т. 6, М. –Л. 1963, стр. 313).

Стр. 375...источник сочувствия к народной жизни, с ее даже темными сторонами, заключается... в том... что в ней одной заключается все будущее благо, что она и в настоящем заключает в себе единственный базис, помимо которого никакая человеческая деятельность немыслима. – В рецензии на повести Кохановской Салтыков уже в совершенно зрелом виде формулирует понимание народа, легшее в основу всей его дальнейшей литературной деятельности (см., например, неотправленное письмо в редакцию «Вестника Европы» в апреле 1871 г. по поводу «Истории одного города»).

Стихотворения А. А. Фета. Издание К. Солдатенкова. 2 части  
Москва, 1863  
«Совр.», 1863, № 9, отд. II, стр. 83–87.

Рецензия написана на двухтомное издание стихотворений Фета 1863 г., подводившее итог его двадцатипятилетней работы. Фет для Салтыкова «высокий поэтический талант» («Наша общественная жизнь», апрель 1863 г.). Его стихотворения дышат «самую искреннею свежестью», они «преlestны», и, «бесспорно», что не только в русской, но и в «любой литературе редко можно найти стихотворение, которое своей

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) благоуханной свежестью обольщало бы читателя в такой степени», как знаменитое «Шепот, робкое дыханье...».

Тонко и точно характеризует Салтыков поэтический мир фета. Это «мир неопределенных мечтаний и неясных ощущений», в котором все зыбко, эскизно, все подчинено не мысли, а вспышкам настроений и «тревогам желаний». Но как раз эти элементы импрессионизма и иррационализма фетовской поэзии, а также ее тематическое содержание – только природа и любовь – противостоят салтыковской просветительской эстетике, построенной на страстном возвышении в искусстве мысли и большой общественной темы. Отсюда – признание идейной бедности мировоззрения и стихов фета, несмотря на их высокое художественное достоинство.

Остро полемический характер выступления Салтыкова объясняется прежде всего эстетической позицией фета в конце 50-х – начале 60-х годов, его пропагандой искусства, свободного от общественных и гражданских интересов современности. (См. например, заявления фета в статье 1859 г. «О стихотворениях Тютчева»: «Вопросы о правах гражданственности поэзии между прочими человеческими деятельностями, о ее нравственном значении считаю кошмарами, от которых давно и навсегда отделался». [61])

Резкость памфлетных характеристик в рецензии заострена отношением Салтыкова, как и всего демократического лагеря, к реакционно-помещичьей публицистике фета этого времени. С его «письмами» «Из деревни», печатавшимися в 1862–1863 гг. в «Русском вестнике», Салтыков ядовито полемизировал в апрельской хронике «Нашей общественной жизни» (см. в т. 6 наст. изд.). Кроме того, летом 1863 г. фет написал при участии В. П. Боткина злобный памфлет на «Что делать?» Чернышевского, который ему не удалось напечатать, но о существовании которого было известно в редакции «Современника». [62] Однако, в отличие от других критиков демократического лагеря (см., например, «Искра», 1863, № 23 и 24; «Русское слово», 1863, № 6, отд. II, стр. 62–67), полностью переносивших отрицательные оценки публицистики фета на его поэзию, Салтыков в своей рецензии стремился разобраться в сильных и слабых сторонах творчества фета.

Стр. 383. «На заре ты ее не буди», «Не отходи от меня» – пользовавшиеся большой популярностью романсы композитора А. Е. Варламова на стихи фета (относятся к 1842 г., то есть к началу его творческого пути).

«И не знаю я, что буду петь, но только песня зреет...» – Неточная цитата из стихотворения «Я пришел к тебе с приветом...». Как программную для фета и представленного им направления эстетическую декларацию рассматривали эти строки и другие критики («Русское слово», 1863, № 9, отд. II, стр. 34; «Библиотека для чтения», 1863, № 9, стр. 87 и др.).

Стр. 386. «Ночь нема... /На тычинке под окном». – Приведено стихотворение «Колокольчик» (1859).

...не «Иллюстрация» ли это шутки шутит, помещая... стихотворные ребусы... – «Иллюстрация» – выходивший в Петербурге (1858–1863) еженедельник, откровенно рассчитанный на вкусы обывателя. Регулярно помещал ребусы.

О русской правде и польской кривде... М. 1863  
Анонимная брошюра «О русской правде и польской кривде...» вышла в свет в конце июля – начале августа 1863 г. (дата ценз. разр. 25 июля 1863 г.). А уже в письме от 15 августа Салтыков сообщил А. Н. Пыпину, что наряду с другими книгами «взял для разбора» и эту брошюру и обещал выслать «разборы» не ранее 30 августа («Литературное наследство», т. 67, М. 1959, стр. 467). Рецензия предназначалась для сентябрьского номера «Современника», но не была опубликована, несомненно, по цензурным причинам, хотя документы о запрещении неизвестны. Сохранилась в автографической рукописи Салтыкова (Гос. библ. СССР имени В. И. Ленина) и в гранках журнала «Современник» (ИРЛИ). На гранках имеется помета: «2 корр(ектура) Сент(ября) 4». Впервые опубликована В. В. Гиппиусом в т. 5 изд. 1933–1941 гг. В настоящем издании печатается по тексту гранок с исправлениями ошибок набора по автографу.

Поскольку рецензия осталась ненапечатанной, значительную часть материала, касающуюся вопросов народности литературы и понимания патриотизма, Салтыков использовал в разборе книги В. В. Львова «Сказание о том, что есть и что была Россия, кто в ней царствовал и что она происходила». Этот разбор был помещен в

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) октябрьском номере «Современника» за 1863 г. (см. в наст. томе, стр. 390–395).

Брошюра «О русской правде и польской кривде» была написана П. И. Мельниковым (А. Печерским) по заказу министра внутренних дел П. А. Валуева, а издана на средства правительства в типографии Московского университета, фактическим хозяином которой был М. Н. Катков. Брошюра называлась первоначально «Письмо к православным христианам». Заглавие «О русской правде и польской кривде» дал брошюре Катков. [63] Написанная в псевдонародном, церковнославянском стиле, брошюра являет собой яркий образчик политической литературы «для народа», создававшейся по заказу властей в целях борьбы с польским восстанием 1863 г. и его защитниками в России и Западной Европе. По своим идеям она непосредственно примыкает к верноподданническим адресам, инспирированным в связи с восстанием министерством внутренних дел. Она стоит в одном ряду с реакционными и воинствующе шовинистическими статьями Каткова, направленными против Польши и восстания 1863 г.

Авторство Мельникова-Печерского не осталось тайной для Салтыкова.

Это видно из замечания рецензента о том, что «фактурой своей» брошюра «напоминает псевдонародные... рассказы г. Андрея Печерского». В отзыве же на книгу Львова, говоря о том, что «желание понравиться народу и быть в некотором смысле его руководителем соблазняет очень многих», Салтыков прямо отмечал, что Андрей Печерский пишет брошюры для народа.

Рецензия на брошюру «О русской правде и польской кривде» вместе с рецензией на брошюру С. С. Громеки (1863) «Киевские волнения в 1855 г.» и сентябрьской хроникой «Наша общественная жизнь» относятся к важнейшим источникам для определения политических позиций Салтыкова в период польского восстания 1863–1864 гг. и спада революционного движения в России. Отстаивая дело свободы, разоблачая квасной патриотизм, бичуя реакционеров от пера, Салтыков, подобно Герцену и Огареву, понимал, что неудача польского восстания означает для России застой на десятки лет. В сентябрьской хронике «Наша общественная жизнь» за 1863 г., также подвергшейся цензурным гонениям, Салтыков, характеризуя последствия «польской смуты» для России, писал, «что она вновь вызвала наружу те темные силы, на которые мы уже смотрели, как на невозвратное прошлое, что она на время сообщила народной деятельности фальшивое и бесплодное направление, что она почти всю русскую литературу заставила вертеться в каком-то чаду, в котором вдруг потонуло все выработанное ценою многих жертв, завоеванное русскою мыслью и русским словом в течение последних лет...».

Это положение Салтыкова близко тому, что много лет спустя по поводу этих событий скажет В. И. Ленин: «Несчастье народа, который, поработав другие народы, укрепляет реакцию во всей России. Воспоминания 1849 и 1863 годов составляют живую политическую традицию, которая, если не произойдут бури очень большого масштаба, еще долгие десятилетия грозит затруднять всякое демократическое и особенно социал-демократическое движение». [64]

Стр. 387...она напоминает псевдонародные... рассказы г. Андрея Печерского. – В 50-х годах П. И. Мельников выступил с рядом повестей и рассказов, носивших обличительно-критический характер в отношении крепостных порядков. Отдельные из них получили положительную оценку Чернышевского и Добролюбова («Поярков», «Старые годы» и др.). Салтыков, по всей вероятности, имел в виду рассказы Мельникова 1859–1862 гг., опубликованные им в газетах «Русский дневник» и «Северная пчела» («Заузолицы», «У Макария» и др.). В этих рассказах проявились реакционные политические позиции автора, идеализация им устоев старины, выступавших воплощением «русского духа», злоупотребление стилизацией псевдонародного языка.

Стр. 388...не приплетайте же в вашу речь каких-то добродетельных помещиков... – В брошюре А. Печерского говорится: «Наши помещики сами царя просили об отмене крепостного права, но с тем, чтобы крестьянам был дан надел земли в вечное оброчное пользование, а захотят, так выкупай землю и усадьбы невозбранно. Польские же помещики в Литовских губерниях...желали...крестьянам волю дать, а земли не давать... Царь Александр Николаевич, видя русскую правду и польскую кривду, указал делу по всей земле так быть, как русские православные помещики просили... Это стало полякам за великую обиду... Оттого и забунтовали» (стр. 12–13).

В брошюре рисовалась идиллическая картина отношений между помещиками и

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru крестьянами в русской деревне: «...если в которых вотчинах насчет земли еще что и не покончено, в чем-нибудь еще полюбовно не согласились – так это дело домашнее: не сегодня, так завтра сладимся – у бога дней впереди много. А тут дело общее, земское: веру святую, царя православного и землю русскую от врага отстоять надо» (стр. 37).

Стр. 390...говорится о разных «русских ворах и изменниках»... – В эту категорию автор брошюры зачислял Герцена и Огарева – «безумных людей в Лондоне, съякшавшихся с поляками». Мельников заявлял, что они зла хотят Руси и православным, царя не хотят, Русь раздробить хотят... (стр. 38).

Сказание о том, что есть и что была Россия, кто в ней царствовал и что она происходила. Князя В. В. Львова. (Посмертное издание.)

С.-П.-бург, 1863

«Совр.», 1863, № 10, отд. II, стр. 317–321. На лл. 1 и 2 сохр. корректурных гранок пометки: «2 корр<ектура> Окт<ября> 24».

Значительная часть текста этого отзыва взята Салтыковым из написанной им для № 9 «Современника» 1863 г., но снятой цензурой рецензии на анонимную брошюру для народа П. И. Мельникова (А. Печерского) «О русской правде и польской кривде». В примечаниях к этой рецензии сказано о тех обстоятельствах, связанных с польским восстанием 1863 г., которые заставили органы политического контроля самодержавия над печатью позаботиться об издании пропагандистских книжек для народа. Салтыков разоблачает фальшь и псевдонародность этой реакционной шовинистической «литературы».

Стр. 391...Андрей Печерский пишет для него <народа> брошюры... – Имеется в виду упомянутая выше брошюра «О русской правде и польской кривде».

...Н. Ф. Павлов издает политическую газету... – В сентябре 1863 г. Н. Ф. Павлов стал издавать в Москве дешевую газету для народа «Русские ведомости», выходящую сначала три раза в неделю. Будущий виднейший либеральный орган в первое время своего существования при Павлове был окрашен весьма шовинистически.

...Кушнерев сочиняет назидательные повести... – Эти низкопробные «повести» И. Н. Кушнерев, впоследствии владелец большой типографии в Москве, печатал в своих изданиях – журнале «Грамотей» и «Народной газете», распространявшихся при помощи субсидий от правительства. В 1860 г. он выпустил в Москве «Очерки и рассказы» в 2-х частях.

Стр. 395. У воды – то есть на последнем плане; театральный термин, означающий местоположение на сцене на последнем плане, у задней декорации, на которой часто изображались море, река, фонтан, водопад и проч. «вода».

Киевские волнения в 1855 году. С. С. Громеки. С.-Петербург. 1863

«Совр.», 1863, № 10, отд. II, стр. 321–326. На лл. 1 и 2 сохр. корректурных гранок пометки: «2 корр<ектура> Окт<ября> 24».

Весной 1855 г., в связи с манифестом о государственном ополчении, в ряде губерний (особенно в Киевской и Воронежской) возникли крестьянские волнения. Крестьяне отказывались работать на барщине, платить подати, говорили, что они стали вольными казаками, что им будут принадлежать все помещичьи земли. Уговоры властей не действовали. Были вызваны войска и произведены экзекуции и расстрелы. [65]

С. С. Громека, в прошлом жандармский офицер, чиновник особых поручений при киевском военном губернаторе, принимавший личное участие в усмирении крестьян, поместил в апрельском номере «Отечественных записок» за 1863 г. большую статью о киевских волнениях, издав ее вскоре отдельной брошюрой, вызвавшей рецензию Салтыкова. Появление воспоминаний Громеки в год польского восстания было не случайным. Сам автор указывал на полезность публикации его статьи именно «в настоящую минуту» для прояснения вопроса «о политических воззрениях, инстинктах и желаниях южнорусского народа». Подробно, с «внешними признаками истины» излагая факты, Громека старался доказать, что киевские волнения будто бы свидетельствуют о верноподданнических настроениях народа, о преданности его царю и о враждебности революционерам и польской шляхте. Такое насквозь тенденциозное истолкование событий непосредственным образом перекликалось как с попытками царского правительства при подавлении польского восстания 1863 г.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru противопоставить восставшим «мнение народа», опереться на народный авторитет, так и с восхвалениями в реакционной печати (особенно в изданиях Каткова) под видом патриотизма, настроений крайнего национализма и шовинизма. Статья Громеки, успешно делавшего в это время карьеру «специалиста» по польскому и крестьянскому вопросам, вызванного в 1863 г. в Польшу и возглавившего там комиссию по крестьянским делам, была целиком выдержана в духе реакционной антипольской пропаганды. Но факты, которыми автор стремился подтвердить свои выводы, далеко не целиком укладывались в реакционную схему. Они свидетельствовали, вопреки намерениям Громеки, о недовольстве крестьян своим положением, вражде к правящим классам, о народной мечте о каком-то «другом указе», дающем подлинную свободу, непохожем на манифесты царя. Эти факты, хотя отнюдь не в том плане, который предусматривался Громекой, также перекликались с современностью, с недовольством народа реформой 1861 г. Салтыков считал их довольно любопытными и в то же время начисто отвергал их истолкование Громекой, подводя читателей к пониманию подлинных социально-политических причин крестьянских волнений не только предреформенного, но и послереформенного периодов. Прямо говорить об этих причинах, о сущности официального «патриотизма», об отношении народа к царю было невозможно. Поэтому Салтыков критиковал Громеку, не раскрывая содержания его рассуждений, а просто указывая, что они «очень мало убедительные». Рецензия на брошюру Громеки явилась одним из замаскированных выступлений «Современника» и по крестьянскому и по польскому вопросам. Она перекликалась с написанной примерно в то же время и запрещенной цензурой рецензией Салтыкова «О русской правде и польской кривде» и могла быть напечатана лишь потому, что критик не упоминал прямо об антипольской сущности выводов Громеки. О брошюре Громеки см. в декабрьской хронике «Нашей общественной жизни» (т. 6 наст. изд.).

Стр. 396. Вице-губернатор В-н – М. А. Веселкин. Его донесения о киевских волнениях, о роли Громеки см. в вышеназванных сборниках.

Генерал-майор Б-в – штаб-офицер корпуса жандармов И. Д. Белоусов. 1 и 4 апреля 1855 г. по его приказу войска стреляли в крестьян деревень Быкова Гребля и Березная.

Полковник А-в. – Речь идет о подполковнике Г. Г. Афанасьеве, чиновнике особых поручений при киевском военном губернаторе.

Главный начальник края – князь И. И. Васильчиков, киевский, подольский и волынский военный генерал-губернатор.

Генерал-адъютант Я-ч – Н. М. Яфимович, посланный специально из Петербурга для наведения порядка и производства следствия.

Стр. 399...знаменитые историографы наши... – Похвалы историкам С. М. Соловьеву, издавшему в 1863 г. книгу с антипольскими тенденциями «История падения Польши», и Д. И. Иловайскому, крайнему националисту, реакционеру, сотруднику изданий Каткова, имеют, разумеется, иронический смысл.

...народ предан русскому царю и не хочет ни английских, ни французских, ни иных каких-либо царей. – Салтыков воспользовался невольной двусмысленностью слов Громеки, чтобы намекнуть, что народ не хочет никаких царей.

Руководство к судебной защите по уголовным делам. К. Ю. А. Миттермайера  
Издание А. Унковского. Москва 1863 г  
«Совр.», 1863, № 10, отд. II, стр. 326.

Рекомендуемая в этой краткой заметке книга профессора законовения в Гендельбергском университете содержала характеристику средств судебной защиты и «правил, выведенных для нее из всемирного опыта» (стр. IV). Книга была издана Л. М. Унковским – другом Салтыкова и будущим известным адвокатом, в связи с интересом русского общества к осуществлявшейся тогда судебной реформе, завершенной в 1864 г. (введение суда присяжных, института адвокатуры и т. д.).

Современные движения в расколе. Соч. Н. С-на, М. 1863  
«Совр.», 1863, № 11, отд. II, стр. 83–89.

Рецензия подверглась при печатании многочисленным цензурным искажениям и сокращениям. Вслед за публикацией В. В. Гиппиуса в т. 5 изд. 1933–1941 гг. (стр. 440–441) она печатается в настоящем издании по сохранившимся корректурным

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) гранкам.

В этой рецензии Салтыков продолжил рассмотрение вопроса об общественной значимости религиозных движений в России, к которому он проявлял большой и устойчивый интерес. Рецензировалась книга, написанная реакционным «изобличителем» старообрядчества, будущим сподвижником Победоносцева, профессором Московской духовной академии Н. И. Субботиным. Единственным достоинством многочисленных писаний этого автора была насыщенность их фактами о «загадочном явлении в русской жизни», как называл старообрядчество Салтыков, но отбор этих фактов в книгах Субботина был ограниченно-тенденциозным.

Собственно, разбора сочинения Субботина в рецензии почти нет, – рецензент откликнулся на вышедшую книгу для того, чтобы высказать свои мысли о самом старообрядчестве. Здесь повторяются основные мысли, развитые Салтыковым ранее в его отзыве о книге инок Парфения, в том числе отрицание мнения о лишь обрядовом значении старообрядчества. Но в новой статье-рецензии обнаруживается более углубленное понимание писателем интересующего его явления. Важным приобретением стала мысль об исторической изменчивости старообрядчества, обусловленной не столько ходом внутреннего развития самого этого религиозного движения, сколько внешними для него изменениями общественно-политического положения в стране. Салтыков правильно указывает, что ко времени подготовки буржуазных реформ поповщина, как умеренная часть старообрядчества, исчерпала свою оппозиционность и теперь находилась в промежуточной, колеблющейся позиции.

Одновременно Салтыков говорит об усилении радикальных демократических течений в старообрядчестве, в виде беспоповщинского толка бегунов или странников, о характере которого у него ранее не было устойчивого мнения.

В рецензии проводится аналогия между событиями в сфере старообрядчества и общей расстановкой общественно-политических сил в стране. Рецензент развивает мысль о том, что освобождение демократических течений от неустойчивых буржуазных элементов укрепляет их позиции.

Бурные события в жизни правящей верхушки старообрядчества поповщинского толка начала 60-х годов XIX в. привлекали к себе внимание передовой русской интеллигенции, в том числе Огарева и Герцена. Они освещались на страницах журнала «Общее вече» и были предметом обсуждения в переписке Огарева с братьями Кельсиевыми (см. «Литературное наследство», т. 62, м. 1955, стр. 159–258). Этот интерес был вызван замыслами привлечь старообрядцев к революционному делу.

Стр. 401. Нынешнее царствование принесло много облегчений раскольникам. – В общем плане буржуазного реформирования государственного строя России в середине XIX в. произошло некоторое смягчение режима в отношении преследуемых вероучений. 15 октября 1858 г. были приняты «Наставления для руководства при исполнительных действиях и совещаниях по делам до раскола относящимся». Смягчение режима было противоречивым и касалось лишь части старообрядцев.

Стр. 402. «Секта поповщинская» – одно из двух главных подразделений старообрядчества, на которые оно разделилось вскоре после своего зарождения. Старообрядцы-поповцы не считали возможным обходиться при отправлении культа без специально посвященных церковнослужителей.

Стр. 402–403...Боснийский митрополит Амвросий... архиерей Кирилл... Белокриницкий монастырь в Буковине... – В результате длительных поисков единой главы старообрядческой (поповщинской) церкви в 1846 г. был поставлен в ее митрополиты отставной Босно-Сараевский епископ Амвросий, проживавший тогда в Константинополе. Центром воссоздаваемой организации старообрядцев стал монастырь при старообрядческом селении Белая Криница в Буковине, находившейся тогда под властью Австрии. Отсюда обычное наименование новой иерархии – австрийской или белокриницкой. После высылки митрополита Амвросия в конце 1847 г. его место занял поставленный ранее в епископы Кирилл (прежнее имя киприан Тимофеев).

...в феврале нынешнего года случилось в Москве... – Имеется в виду острый конфликт между митрополитом Кириллом и руководителями старообрядчества в России (1863). К началу 60-х годов проявилось глубокое внутреннее разложение поповщины, выразившееся в недовольстве руководством со стороны демократических кругов, в стремлении к соглашению с властями у значительной части богатых старообрядцев, в конкурентной борьбе между главарями движения. Митрополит Кирилл, прибывший в

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Москву в феврале 1863 г. для укрепления своего авторитета, наведения порядка и для участия в соборе, по требованию собора, принятого под нажимом противников митрополита, должен был удалиться из России; он фактически отстранялся от управления старообрядческими организациями в России. Это постановление собора признавалось не всеми старообрядцами.

Стр. 404. Подобно «московским студентам», очищавшимся в «дне». – В газете «День» (1863, № 21) было опубликовано «Заявление», подписанное московскими студентами и вольнослушателями, которые зарекались от революционных связей и заявляли о своем сочувствии славянофильской программе. Не выражая настроения массы студенчества, «Заявление» свидетельствовало об идейном расхождении в его среде.

Стр. 405. «Московские публицисты 1856 и 1857 гг.». – Имеются в виду публицисты «Русского вестника» в начальный период существования этого издания. Когда оно выступило в защиту конституционно-монархических принципов, то потребовало децентрализации власти, упразднения сословных привилегий и т. д.

Единоверие – признанная правительством переходная форма между старообрядческой и официальной церковью, в которой богослужения происходили по правилам старообрядчества, но священнослужители назначались и управлялись официальными церковными учреждениями (учреждено в конце XVIII в.).

Стр. 406. Окружное послание – подписанное несколькими видными деятелями старообрядчества 24 февраля 1862 г. обращение к старообрядцам, автором которого считается житель Стародуба Иларион Егорович Ксенов. Послание разрывало с традицией непримиримого отношения к оспариваемым догматам православной церкви, поэтому оно вызвало большое брожение в старообрядческой среде. Отношение митрополита Кирилла к нему с течением времени изменялось.

Стр. 407. Поповщинцы гуслицкие – старообрядцы, проживавшие в гуслицком районе, то есть местности, лежавшей в Богородском и Бронницком уездах Московской губ., Егорьевском уезде Рязанской и Покровском уезде Владимирской губ. Местность получила название по реке Гуслице. Один из центров наиболее непримиримых течений в старообрядчестве.

Воля. Два романа из быта беглых. А. Скавронского. Том I-й. Беглые в Новороссии (роман в двух частях). Том II-й. Беглые воротились (роман в трех частях). СПб. 1864  
«Совр.», 1863, № 12, отд. II, стр. 243–252.

Рецензируемые романы Г. П. Данилевского (А. Скавронского), прежде издания их книгой в 1864 г., были напечатаны в журнале «Время» братьев Достоевских: «Беглые в Новороссии» в № 1–2 за 1862 г. и «Беглые воротились» в № 1–3 за 1863 г. Сотрудничая во «Времени», Данилевский предпринял попытку возобновить свое бывшее сотрудничество в «Современнике», для чего обратился к посредничеству Н. Г. Помяловского. Посредничество оказалось неудачным. В письме от 29 декабря 1862 г. Помяловский извещал Данилевского: «Я говорил Салтыкову о Вашей новой повести, но, к сожалению моему, должен сказать, не прибегая к разного рода обвинякам, прямо, что он предубежден против Вас» (Неизд. рукоп. отд. Гос. публ. библ. имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, ф. 236, фонд Г. П. Данилевского, т. 3).

По крайней мере одна из причин этого «предубеждения» известна. Как раз в декабрьской книжке «Времени» за 1862 г. Данилевский напечатал «письмо» в редакцию под заглавием «Литературная подпись», на которое, как на «хлестаковщину», а заодно с «письмом» и на напечатавшую его редакцию «Времени», зло обрушился Салтыков в очередной книжке «Современника» (см. в наст. томе заметку Салтыкова «Литературная подпись. Соч. А. Скавронского» и прим. к ней). Poleмическая ситуация обострила резкость и категоричность отрицательных суждений Салтыкова о «крестьянских» романах Данилевского, которые имели определенный успех у демократического читателя и сохранили до сих пор известное познавательное значение. Но история литературы подтвердила правоту Салтыкова в его невысокой оценке писательского дарования Данилевского и в его критике художественных просчетов обоих романов.

Особенно ядовито осуждена в рецензии фальшь в изображении Данилевским крестьянского бунта – «сюжета серьезного» для Салтыкова.

Рецензия содержит один из принципиально важных отзывов Салтыкова о Белинском и

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
его значении для развития реализма в русской литературе.

Стр. 409...анекдот Гоголя об извозчике, которого наняли на Пески, а он привез на Петербургскую сторону... – Ссылка на Гоголя не совсем точна. В пьесе Гоголя «Театральный разъезд после представления новой комедии» один персонаж, недовольный сюжетом «Ревизора», говорит: «Как будто нет других предметов, о чем можно писать?.. Ну, положим, например, я отправился на гулянье на Аптекарский остров, а кучер меня вдруг завез там на Выборгскую или к Смольному монастырю. Мало ли есть всяких смешных сцеплений?»

...автор одной недавно сыгранной в Петербурге комедии заставляет кого-то из героев съесть шубу. – Об этом эпизоде из пьесы Ф. Толстого «Пасынок» Салтыков упоминает в «Московских письмах» (см. наст. том, стр. 146).

Стр. 411. Вакштаф – сорт табака.

Стр. 412. Пуркуа регарде? – Зачем смотрите? (от франц. *pourquoi regardez?*).

Стр. 416. Есть тут даже... заправский крестьянский бунт с «пророком» и «пророчицей». – Имеется в виду изображение в романе «Беглые воротились» вооруженного сопротивления крестьян войскам, посланным для усмирения возникших волнений. «Народная молва» провозгласила вожаков движения Илью Танцура и его невесту Настю Талаверку «пророком» и «пророчицей».

...«бювешки» да «манжешки» – питье и еду (от франц. глаголов *boire* – пить и *manger* – есть).

Полное собрание сочинений Г. Гейне. В русском переводе, издано под редакцией Ф. Н. Берга. Том. I. СПб. 1863  
«Совр.», 1863, № 12, отд. II, стр. 252–253.

По признанию Салтыкова, Г. Гейне был для него «сочувственнейшим из всех писателей». «Я еще маленьким был, как надрывался от злобы и умиления, читая его», – писал он А. В. Дружинину (18 октября 1859 г.). Об этой же давней увлеченности Салтыкова творчеством немецкого поэта свидетельствует сделанный им в лицее перевод гейневской «Рыбачки», пародирование в «Противоречиях» лирики подражателей Гейне и довольно частые упоминания имени поэта в критических статьях (см., например, в наст. томе статью о стихотворениях Фета).

Начатое под редакцией Ф. Н. Берга русское издание Гейне вызвало резкий протест Салтыкова не только вследствие низкого, ремесленного качества переводов. Возмущение Салтыкова, несомненно, вызвал тенденциозный подбор лиц, приглашенных редактором для участия в издании. Все они – и предатель Чернышевского В. Д. Костомаров, и Д. В. Аверкиев, и Н. Н. Страхов, и автор вступительной статьи Аполлон Григорьев – были людьми враждебного лагеря, чуждыми духу социального критицизма и протеста гейневской поэзии. И Салтыков отказывает этой «стае...чирикающих воробьев» в праве представлять русскому читателю творчество «злого поэта».

Салтыков не был одинок в своем отношении к подобному изданию Гейне. Резко отрицательные оценки дали Д. И. Писарев (см. ст. «Поэты всех времен и народов». – «Русское слово», 1862, № 5) и В. А. Зайцев («Русское слово», 1863, № 12, отд. II, стр. 44–48). Последний, как бы раскрывая причины резкого протеста Салтыкова, писал: «Какая злая насмешка судьбы! Гейне, благородный Гейне, поэт свободы, враг и жертва филистерства... переводится для русской публики гг. А. П. Григорьевым, Страховым и Вс. Костомаровым!» (стр. 44), «Презрением и негодованием должно встретить общество эту отвратительную книгу, в которой топчется в грязь имя величайшего поэта нашего века» (стр. 48). Эти отзывы решили судьбу издания. Оно прекратилось на первом томе.

Стр. 417...что же касается до стихотворных переводов, то их нельзя назвать иначе, как...претворением Гейне в гг. «Скорбного поэта», Адамантова и Монументова – псевдонимы Г. Н. Жулева, Б. Н. Алмазова, В. П. Буренина. Этим сопоставлением Салтыков указывает на то, что в переводах из Гейне названные поэты-юмористы широко применяли трафареты тех стихотворных форм, которые были характерны для их собственного творчества и вообще для русской сатирической журналистики 60-х годов.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Новые стихотворения А. Плещеева. (Дополнение к изданным в 1861 году.)  
Москва. 1863 г  
«Совр.», 1864, № 1, отд. II, стр. 79–82.

Сборник Плещеева 1863 г. был недоброжелательно встречен критикой, увидевшей в стихах поэта «бледность и сбивчивость мысли» («Библиотека для чтения», 1864, № 2, стр. 39), «механическое сочетание слов» («Отечественные записки», 1864, № 5, стр. 416).

Рецензия Салтыкова сочувственна Плещееву. Она относит его «к самым искренним и наиболее симпатичным русским поэтам». Вместе с тем давние и дружественные отношения с Плещеевым – они познакомились в 40-е годы, в кружках петрашевцев – не помешали Салтыкову объективно отнестись к «скромной музе» поэта. Определяя Плещеева как «гуманитарного лирика» и противопоставляя его в этом качестве поэтам «мотыльковой» школы, то есть поэтам, выступавшим под знаменем «искусство для искусства», Салтыков указывал и на отрицательные стороны этого «честного и искреннего» таланта – на «смутность стремлений» и на отсутствие «энергии мысли» в плещеевской поэзии.

Как обычно у Салтыкова, критический отзыв на конкретную книгу сочетается в рецензии с суждениями по более общим и принципиальным вопросам – в данном случае на темы о значении общественного идеала для искусства и о причинах «бедности содержания современной русской поэзии».

Стр. 420...страдание есть удел всего прекрасного на свете. – Алексис Звонский (персонаж «Запутанного дела»), в стихах которого пародируется поэзия Плещеева 40-х годов, так же говорит: «Страдание есть удел человека на земле» (I, 225).

Разумеется, и здесь дело не обойдется без исключений... – В этих и дальнейших словах о поэтах, которые «у самой, что называется, расшатавшейся жизни» умеют исторгать «мотивы, полные энергии и преимущественно «энергии мысли», Салтыков, по-видимому, имеет в виду Некрасова и его поэзию.

Стр. 421...большинство их уже известно читателям «Современника». – В корректурных гранках было полностью приведено стихотворение Плещеева «Лжеучителям». За этим стихотворением следовали следующие слова Салтыкова: «Всякий читатель, конечно, согласится с нами, что это стихотворение написано не только под влиянием светлого чувства, но что оно не лишено и некоторой мужественной мысли».

Наши безобразники. Сцены Н. А. Потехина. С.-Петербург. 1864  
«Совр.», 1864, № 1, отд. II, стр. 82–83.

В 1858 г., в числе 17 студентов Московского университета, Н. А. Потехин отправился за границу, чтобы привезти оттуда произведения Герцена. Там он примкнул к русским «гарибальдийцам», о которых Салтыков сочувственно упомянул позднее, в обзоре «Наша общественная жизнь» в сентябрьской книжке «Современника» 1863 г. (см. т. 6 наст. изд.). В 1862 г. Потехин ездил в Лондон к Герцену и Огареву. По возвращении на родину был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, откуда выпущен в 1864 г. В том же году издал свою первую книгу «Наши безобразники». Сборник жанровых очерков и сцен, печатавшихся раньше в «Искре»: «На нижегородской ярмарке», «Выборное начало», «Благотворители», «Откупные козыри» и «Наши в Париже».

Имея, вероятно, в виду изложенные факты биографии Потехина, Салтыков вносит оговорку относительно намерений автора: «...быть может, цели его и прекрасны...» Но оговорка не мешает Салтыкову с суровой прямоотой осудить художественную беспомощность и подражательность книги и заявить об авторе ее: «Таланта у него нет ни малейшего – это верно».

Стр. 421...аматёр – любитель (франц. amateur).

Стр. 422...купец Кошедавлев – персонаж трех сценок «На нижегородской ярмарке», открывающих сборник «наши безобразники». Салтыков цитирует первые произносимые Кошедавлевым слова.

Подделка под Любима Торцова очевидная. – Салтыков называет героя комедии Островского «Бедность не порок» (1853).

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Сказки Марко Вовчка. С.-Петербург. 1864  
«Совр.», 1864, № 1, отд. II, стр. 83–85.

В заметке о «Сказках» весьма популярной в те годы писательницы М. А. Маркович, выступавшей под псевдонимом Марко Вовчок, разрабатываются характерные для Салтыкова взгляды на литературу для детей. К ней предъявляются требования реальности, отказа от элементов фантастики и дидактизма; литература должна вводить детей в мир «действительного горя и не фантастических нужд».

Новые стихотворения А. Н. Майкова  
(Приложение к «Русскому вестнику» 1864 года.)  
«Совр.», 1864, № 2, отд. II, стр. 260–271.

Сохранились корректурные гранки рецензии в наборе для «Современника». На л. 1 помета: «2 корр<ектура> февр<аля> 24». По этим гранкам восстанавливаются заключительные четыре фразы рецензии (начиная со слов «Кого не возмутит...»), опущенные в первоначальной публикации, по-видимому, по соображениям цензурного характера.

Рецензия написана по поводу выхода в свет в 1864 г. книги стихотворений Ап. Майкова. Но содержание отзыва намного шире непосредственной оценки творчества поэта. Это одно из программно-теоретических выступлений Салтыкова в области литературы, посвященных разработке вопросов о ее общественном содержании, характере реализма и о задачах сатиры. Все эти вопросы ставятся и разрешаются в связи с вторжением в искусство «новой жизни», возникшей вследствие падения крепостной эпохи. «Жизнь заявляет претензию, – формулирует Салтыков один из главных тезисов статьи, – статья исключительным предметом для искусства», и притом таким «предметом», который бы отражался в искусстве «не праздничными, безмятежно-идиллическими и сладостными, но и будничными, горькими, режущими глаза сторонами». Исходя из этой «претензии жизни», Салтыков подвергает суровой критике творчество Ап. Майкова, выступавшего в 60-е годы под знаменем «чистого искусства». Вместе с тем Майков не чуждался политических и социальных вопросов современности, к освещению которых он подходил с позиции своего консервативно-монархического мировоззрения. Особое раздражение Салтыкова вызвало слащаво-идиллическое стихотворение «Картинка», в котором Ап. Майков умиляется «счастью» крестьян при слушании царского манифеста 19 февраля 1861 г. По оценке Салтыкова, в этом стихотворении (оно входило до Октября во множество школьных хрестоматий и книжек для народа) «что ни слово, то фальшь».

Стр. 424. Я лиру томно строю.. Луна, печальных друг... – неточная цитата из стихотворения В. В. Капниста «На смерть Юлии». Приводилось в качестве примера в учебнике риторики Н. Ф. Кошанского, по которому учился Салтыков в лицее (Н. Ф. Кошанский. Общая риторика, СПб. 1849, изд. 10, стр. 13).

Стр. 425. Клубничизм – см. в наст. томе прим. к рецензии «Стихи Вс. Крестовского», стр. 634.

...без этих напоминаний досужество окончательно погрузило бы в грубом служении Астарте – то есть в эротизме. Особая группа жриц Астарты, финикийской богини любви и плодородия, занималась так называемой священной проституцией.

Стр. 428. «Как услышу, – говорит она, – слово «жупел», так руки-ноги и затрясутся» – слова Натальи Панкратьевны в комедии Островского «Тяжелые дни» – действ. II, явл. 2.

Стр. 429. «Ворона в павлиньих перьях» – водевиль Н. И. Куликова (1860).

Комедия «Слово и дело» г. Устрялова... – см. в наст. томе в статье «Петербургские театры».

Первые его стихотворения были встречены с заметным... сочувствием. – Имеется в виду положительная оценка Белинским антологических стихов молодого Ап. Майкова (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VI, изд. АН СССР, М. 1955, стр. 10; т. VII, М. 1955, стр. 298 и др.).

Стр. 430. Майков... начиная с 1854 года вступил на почву политическую и социальную. – Речь идет о сборнике патриотических стихотворений Майкова, посвященных событиям Крымской войны, – «1854-й год» и о верноподданническом

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
стихотворении «Коляска», посвященном памяти Николая I.

«Другу Илье Ильичу»... мы не будем его выписывать. – В корректурных гранках рецензии это стихотворное послание приведено полностью.

«Я желаю свистать»... – то есть обличать. Выражение связано с добролюбовским «Свистком» – сатирическим приложением к «Современнику» (см. в наст. томе стр. 275 и след.).

Стр. 433...Майков...сам очень искренно... признает, что либерализм и плевание в лицо истории... вещи совершенно однородные. – Ср. конец стихотворения «Другу Илье Ильичу»: «Тиран ты – но какой? Тиран либерализма! /А с этим можешь ты – не только все ломать, /Не только что в лицо истории плевать, – /Но, тиская под пресс свободы, – половину/ Всего живущего послать на гильотину!»

Воздушное путешествие через Африку. Составленное по запискам доктора Фергюссона Юлием Верн. Перевод с французского. Издание Алексея Головачева. Москва. 1864 год «Совр.», 1864, № 2, отд. II, стр. 289–290.

Краткая заметка Салтыкова о первом русском переводе первого романа Жюль Верна «Пять недель на воздушном шаре» (1863) – это и есть «Воздушное путешествие через Африку» – один из самых ранних в России отзывов о творчестве создателя жанра научно-фантастического романа. Высокая оценка этого произведения дается в русле тех взглядов на воспитание детей, которые были усвоены Салтыковым еще в 40-е годы, в идейной школе Белинского и Герцена, и разрабатывались им в его тогдашней рецензентской работе в области детской и учебно-педагогической литературы (см. об этом в т. 1 наст. изд., стр. 441 и др.).

Стр. 435. «История кусочка хлеба» – книга французского писателя для детей и юношества Жана Массе. Перевод ее на русский язык вышел в 1863 г. и был рецензирован А. Ф. Головачевым в «Современнике», 1863, № 11, отд. II, стр. 62–66.

...мы охотно поговорили бы об этом предмете подробнее... – В письме к А. Н. Пыпину от 15 августа 1863 г. Салтыков сообщал, что он взял себе для разбора «несколько книг, изданных Обществом распространения полезных книг». Однако рецензий на эти издания в «Современнике» 1863–1864 гг. не появилось, если не считать сатирической стрелы, пущенной в «Московское общество распределения бесполезных книг» в сентябрьской хронике «Наша общественная жизнь» за 1863 г.

Записки и письма М. С. Щепкина. С его портретом... в статью о его сценическом таланте, писанную С. Т. Аксаковым. Москва. 1864 г «Совр.», 1864, № 4, отд. II, стр. 255–258.

Рецензия Салтыкова – один из первых отзывов критики на посмертное издание воспоминаний М. С. Щепкина «Записки крепостного актера», начать которые его побудил Пушкин, а продолжать Герцен и Белинский.

Замысел «Записок» был обширен и поначалу выходил далеко за границы только автобиографического рассказа – «...хочу изложить свой взгляд на искусство драматическое вообще и в чем состоит особенность каждого театра в Европе в настоящее время...» – писал Щепкин Гоголю в мае 1847 г. Но хотя Щепкин работал над «Записками» до конца своей жизни (правда, с большими перерывами), замысел его во многом так и остался неосуществленным. Автобиографическое повествование в «Записках...» очень эскизно и фрагментарно. Оно лишено строгой хронологической последовательности и обрывается в самом начале важнейшего московского этапа в творческой жизни Щепкина. Отмечая, что «Записки...» «дают очень немного для биографии знаменитого актера» и «не характеризуют его замечательной личности», Салтыков попутно высказывает свой общий взгляд на то, какими должны быть биографические труды. Главные его требования к «добросовестному биографу» сводятся к тому, чтобы он «увидел» своего героя «лицом действующим, окруженным известной средой» и показал бы «без малейшей утайки», а не только со стороны «казовых концов жизни».

Салтыков, лично испытавший в годы своей юности могучее воздействие сценического искусства Щепкина, высоко ценил его талант и не раз характеризовал его общественное значение для развития русской передовой мысли. Но, так же как и Герцен, Салтыков видел, что годы крепостного рабства и общая придавленность

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru русского общества оставили свое «клеймо» на личности великого актера. Вызванные чтением «Записок...» Щепкина размышления о «самой страшной стороне неволи», когда она налагает руку на «внутренний мир человека», входят в постоянно занимавшую Салтыкова трагическую тему о разлагающем действии насилия и рабства на волю людей. Наиболее полно эта тема разработана в «Пошехонской старине».

Стр. 437. Мы слышали, что биография Щепкина пишется и что с этой целью собираются материалы. – Речь идет, по всей вероятности, о работе, подписанной псевдонимом Z, «Материалы для биографии М. С. Щепкина». Эта работа печаталась в газете «Театральные афиши и антракт», 1864, №№ 41, 44, 47. Позднее появились биографические материалы о Щепкине, составленные А. Мейном (см. «Театральные афиши и антракт», 1864, №№ 156, 160). Эти биографические материалы перепечатывались во многих периодических изданиях той поры (см. «Одесский вестник», 1864, № 230; «Биржевые ведомости», 1864, № 265; «С.-Петербургские ведомости», 1864, № 222; «Голос», 1864, № 282; «Русская сцена», 1864, № 9). Биография Щепкина появилась значительно позднее – в 1885 г. (см. А. Отсровинская. Великий актер из народа. Биографический очерк, СПб. 1885). В 1864 г. было опубликовано только десять глав «Записок» Щепкина. Наиболее полное издание «Записок» и писем Щепкина, воспоминаний и автобиографических материалов о нем осуществлено лишь в 1914 г. его внуком.

Моя судьба. М. Камской. Москва. 1863 г  
«Совр.». 1864, № 4, отд. II, стр. 258–261.

М. Камская – псевдоним Е. А. Слонцовой, второстепенной писательницы из круга «Русского вестника». Заметка Салтыкова представляет интерес не отзывом о совершенно справедливо забытой книге писательницы («роман ее положительно плох»). Заслуживают внимания содержащиеся в рецензии рассуждения Салтыкова по женскому вопросу и об английском «домашнем романе», в частности отзывы об известных романах «Адам Бид» Джордж Эллиот (1859) и «Джэнн Эйр» Шарлотты Бронте (1847).

Стр. 441. «В ожидании лучшего». – Этот роман Н. Д. Хвоцинской-Зайончковской, писавшей под псевдонимом В. Крестовский (не смешивать с Всеволодом Крестовским), был напечатан в «Русском вестнике», 1860, №№ 7–8, и в том же году вышел отдельным изданием.

Рассказы из записок старинного письмоводителя Александра Высоты  
С.-Петербург. 1864 г  
«Совр.», 1864, № 4, отд. II, стр. 261.

В резко отрицательном отзыве «Современника» (1864, № 1) на «Сатирические очерки и рассказы» П. Н. Горского говорилось, что автор их обладает ничтожными литературными способностями, вовсе лишен наблюдательности и т. д. Автором этого отзыва, который Салтыков переадресовывает А. Высоте, был А. Ф. Головачев («Литературное наследство», т. 53–54, М. 1949, стр. 269).

Сборник из истории старообрядства. Издание Н. И. Попова  
Москва. 1864 г  
«Совр.», 1864, № 4, отд. II, стр. 266–267.

Рецензированный сборник составлен собирателем материалов по истории старообрядчества, их издателем Н. И. Поповым. Как издатель документов Н. И. Попов пользовался устаревшими и примитивными приемами. Он не очень удачно отбирал и систематизировал публикуемые материалы, что и послужило причиной резко отрицательного отзыва Салтыкова об одном из выпущенных им сборников. Но в изданных Н. И. Поповым документах, почерпнутых из собственного собрания рукописей, хранящихся теперь в Рукописном отделе Гос. библиотеки СССР имени В. И. Ленина, имеются весьма ценные материалы по истории старообрядчества.

Стр. 443...судя по отрывку, помещенному в журнале «Эпоха»... – В журнале «Эпоха», 1864, № 1–2, был помещен отрывок из романа Вс. Крестовского «Петербургские трущобы» («Ерши»).

Чужая вина. Комедия в пяти действиях. Ф. Н. Устрялова  
С.-П.-бург. 1864 г  
Впервые – без вводного «теоретического» раздела и заключительного абзаца – в «Современнике», 1864, № 5, отд. II, стр. 57–59. Полностью, по корректурным

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) гранкам, опубликовано В. Э. Боградом и С. А. Макашиным в «Литературном наследстве», т. 67, М. 1959, стр. 359–362. На л. 1 гранок – помета: «2 корр<ектура> мая 23».

Спустя четыре года Салтыков повторил некоторые положения опущенного в «Современнике» раздела и напечатал часть его текста в рецензии на пьесу Н. И. Чернявского «Гражданский брак» («Отечественные записки», 1868, № 8 – см. в наст. изд. т. 9).

Это второй отзыв Салтыкова о драматургии Ф. Н. Устрялова. Первый – о пьесе «Слово и дело» – был напечатан в «Современнике», 1863, № 1–2 (см. в наст. томе статью «Петербургские театры», I).

И в той и в другой пьесе автор задавался целью поисков «положительных сторон» в современной русской жизни, находившейся, после спада революционной волны начала 60-х годов, в полосе реакции. Либерал по своим политическим взглядам и в этом качестве противник революционно-демократической идеологии, Устрялов стремился противопоставить «отрицательным» героям «нигилистической литературы» (в первую очередь Рахметову) «положительный» тип новейшего «русского деятеля», представленный в «Чужой вине» в образе Зарновского, в «Слове и деле» в образе Вертяева («современного Молчалина»), а в «антинигилистическом» романе В. П. Ключникова «Марево», в образе Русанова.

Салтыков разоблачает реакционно-охранительную суть «нового рода сочинительства, который все более и более ищет утвердиться» в русской литературе. «Сочинительство» это иронически определяется как «хорошее направление» и как «львовская школа» – по имени ее родоначальника либерально-обличительного драматурга Н. М. Львова, популярного в пору общественного подъема конца 50-х годов. Позднее, в упомянутой выше рецензии на пьесу Н. М. Чернявского «Гражданский брак», Салтыков назовет «львовскую школу» «необулгаринской» и скажет, что она «поставила целью своих усилий утверждать утвержденное, защищать защищенное и ограждать огражденное», то есть стоять на защите существовавшего «порядка вещей». Вместе с тем критика «львовской школы» – явления, казалось бы, уже устаревшего для 1864 г., – заключала в себе, в несколько замаскированном виде, отповедь Салтыкова Писареву, объявившему в «Цветах невинного юмора» автора «Губернских очерков» одним из основоположников либерально-благонамеренного направления в обличительной литературе и в этом качестве будто бы предтечей и союзником Львова. В рецензии имеется и ряд других отголосков полемики с Писаревым. «Что усматривает перед собой писатель, действующий на почве отрицательной?» – спрашивает Салтыков. И отвечает: одни «свинные рыла». «Ясно, – иронически резюмирует далее Салтыков, – что таким свинорыльством удовлетвориться нельзя. Даже критики строгие и наименее благосклонные к свинным рылам, как, например, г. Писарев, и те советуют оставить их в покое, и те говорят: довольно! давайте-ка поищем чего-нибудь положительного; достаточно разрушать, будемте созидать!» Совет оставить в покое «свинные рыла» и обратиться к чему-нибудь положительному – это полемический отклик на знаменитое писаревское поучение Салтыкову из тех же «Цветов невинного юмора»: «бросить» Глупов, оставить его в покое и обратиться к созидательному труду популяризатора естественнонаучных знаний.

Затрагивают Писарева и те места рецензии, где речь идет о занятиях «скромной наукой». В годы спада демократического движения литература «благонамеренных усилий» особенно старалась пропагандировать привлекательных для молодого поколения положительных героев, находящихся свое призвание вне сферы прямых политических интересов, в том числе и особенно, в науке. Салтыков считал, что естественнонаучная пропаганда и культурничество в статьях Писарева 1863–1864 гг. являлись, объективно, выражением его наметившегося отхода от общественной борьбы. Поэтому он вкладывает в уста либерально-благонамеренного Устрялова такое сближение группы Писарева – Зайцева с группой Каткова: «...нет, мы не отрицатели и не разрушатели, но скромные созидатели, действующие иногда по рецепту «Русского слова», а иногда по рецептам «Русского вестника».

Стр. 444...не умеет отличить прогресса истинного от прогресса преувеличенного... – Ирония для обозначения: в первом случае – половинчатости, куцести реальных итогов реформы 1861 г., крепостнической по своему характеру и не осуществившей ни одной из надежд на политическую демократизацию режима; во втором случае – тех требований радикальных общественных преобразований в интересах народных масс, с которыми выступали революционные демократы и которые были направлены против

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
существовавшего порядка.

...и если деятель продолжает не видеть, то без церемоний отменяет его от общения с жизнью и от участия в ее увеселениях – намек на расправу самодержавия с Чернышевским[66] и с другими революционерами – М. Михайловым, В. Обручевым, Н. Серно-Соловьевичем, отмеченными «от общения с жизнью» каторжными приговорами правительства.

Он первый указал, что и в становой приставе есть нечто положительное... – Такой «положительный» пристав выведен Н. М. Львовым в пьесе 1858 г. «Предубеждение, или Не место красит человека...»

Ролла. Поэма Альфреда Мюссе. Перевод Н. П. Грекова. Москва. 1864 г  
«Совр.», 1864, № 8, отд II, стр. 201–207.

Эту рецензию не следует рассматривать как критический разбор собственно творчества Альфреда Мюссе, хотя она и отражает, притом в самой резкой форме, неприятие Салтыковым эстетики и мировоззрения французского поэта-романтика, в особенности его философии социального пессимизма. Русским изданием поэмы «Ролла» (1833), в очень плохом переводе Грекова, Салтыков воспользовался, в своей постоянной борьбе за реализм и общественную содержательность искусства, как убедительным, в его представлении, материалом для очередной атаки на романтическую эстетику, на эстетику «искусства для искусства» и на присущие им теории «вдохновенно-бессознательного» творчества.

Примечательны в рецензии отзывы о «царе поэтов» Шекспире, у которого «всякое слово проникнуто дельностью», и высокая оценка «поэтической прелести» прозы Тургенева, данная в момент, когда Салтыков остро полемизировал с ним в своей публицистике, как с автором «Отцов и детей».

Стр. 448. С природой одною он жизнью жил. /Он чувствовал трав прозябанье – неточная цитата из стихотворения Баратынского «На смерть Гёте» (1832).

Стр. 450. и не знаю я, что буду /петь, но только песня зреет – неточная цитата из стихотворения Фета «я пришел к тебе с приветом...» (1843).

Спит с фетидой феб влюбленный... /С ярким факелом бежит – неточная цитата из стихотворения Фета «Ночь весенней негой дышит» (1854).

Стр. 451. «Солнце село... навстречу вашему выстрелу». – Описание взято из рассказа И. С. Тургенева «Ермолай и мельничиха» («Записки охотника»).

Стр. 452. Здравствуй!.. Серебром окаймленная! – начало стихотворения Фета «Здравствуй! тысячу раз мой привет тебе, ночь!..» (1842).

Стр. 453...если бы, вместо истории Роллы, рассказать историю какого-нибудь Катилины... возможно ли было бы обвинить по поводу его Вольтера и страсть к анализу? – В поэме «Ролла» впервые у Мюссе получает сильное развитие тема «трагедии века». В трагедии этой Мюссе готов винить материалистическую философию Вольтера, будто бы отнявшую у людей утешительную силу веры. Отсутствие веры – по мысли Мюссе – и мешает его герою, кутиле и картежнику Ролле, встать на путь добродетельной жизни. Комментируемое здесь ироническое замечание направлено на то, чтобы развенчать устанавливаемую Мюссе зависимость легковерия и пессимизма Роллы от учения и взглядов Вольтера.

В своем краю. Роман в двух частях К. Н. Леонтьева. С.-Петербург. 1864 г  
«Совр.», 1864, № 10, отд. II, стр. 177–183.

Рецензия-памфлет Салтыкова, дискредитировавшая подражательную книгу К. Н. Леонтьева «В своем краю» определением «роман-хрестоматия», непосредственно содействовала прекращению дальнейшей художественно-беллетристической деятельности автора, известного впоследствии публициста и критика правого лагеря, призывавшего опереться на «византизм» и «подморозить» Россию, то есть задержать прогрессивное развитие страны. [67]

Авторство Салтыкова впервые было указано самим К. Н. Леонтьевым (а не А. Н. Пыпиным, как до сих пор считалось). Во второй части воспоминаний «Мои дела с Тургеневым...», написанных в 80-е годы, но опубликованных посмертно в 1914 г.,

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) читаем: «Ловкие консульские дела гораздо больше меня радовали, чем признание моего таланта в разговорах, на словах (я не говорю о статьях, которых никогда никто обо мне не писал, кроме Щедрина)». «Библиография Современника» 62–63 [68] о романе «В своем краю» (К. Леонтьев. Собр. соч., т. 9, СПб. 1914, стр. 134). А в заметке «Где разыскать мои сочинения после моей смерти» К. Леонтьев писал: «Есть очень злая критика, видимо, Щедрина по манере, в «Современнике». Роман очень язвительно сравнен с хрестоматией, в том смысле, что он будто бы весь слит из кусков Тургенева, Л. Толстого, Писемского и Григоровича... Критика очень хороша, и роман за грубость некоторых приемов заслуживает строгого разбора... По мысли, конечно, он самобытен» («Русское обозрение», 1894, № 8, стр. 814).

В 1863 г. в «Голосе» К. Леонтьев поместил три фельетона под общим названием «Наше общество и наша изящная литература». В двух из них – последних (№№ 63 и 67) значительное место уделено Салтыкову.

Положительные отзывы о «Невинных рассказах», о лиризме сатирика, перемежались с обвинениями в однообразии его произведения. [69]

Стр. 454. Татьяна Борисовна... – героиня рассказа Тургенева «Татьяна Борисовна и ее племянник» («Записки охотника»).

...молодой цыган – шалопай... – помещик Веретьев из повести Тургенева «Затишье».

...цыганка – любовница Чертопханова... – Маша из рассказа Тургенева «Чертопханов и Недопюскин» («Записки охотника»).

...старик-полковник... – Степан Петрович Барсуков из повести Тургенева «Два приятеля». Салтыков ошибается, называя его полковником.

...вот дети гр. Л. Н. Толстого, которых без всякого законного акта усыновляет Г. Леонтьев... – В романе Леонтьева повествовалось об усыновлении мальчика Юшки – сына горничной и бывшего мужа Катерины Николаевны Новосильской. Этот эпизод лишь отчасти восходит к судьбе осиротевшей Любоньки и ее братьев – падчерицы и пасынков молодой жены их отца («Детство, отрочество и юность» Л. Н. Толстого).

Стр. 458. Иона-циник... – помещик Дедовхин, прозванный Ионой-циником, один из персонажей антинигилистического романа А. Ф. Писемского «Взбаламученное море».

Проскриптский... – персонаж из романа А. Писемского «Взбаламученное море», являющийся злостной карикатурой на Н. Г. Чернышевского.

О добродетелях и недостатках...

Рецензия, написанная в конце октября – начале ноября 1864 г., предназначалась для № 10 «Современника», но не появилась в журнале. Впервые опубликована В. Э. Боградом в «Литературном наследстве», т. 67, стр. 368, 381–387. Печатается по сохранившимся в бумагах А. Н. Пыпина корректурным гранкам.

Рецензия относится к последнему этапу острой полемики между «Современником» и «Эпохой». Одновременно Салтыковым были написаны статьи «Журнальный ад» и «Литературные кусты», которые также не появились в печати (см. эти статьи и комментарий к ним в т. 6 наст. изд.).

В рецензии «О добродетелях и недостатках...» как и в «Литературных кустах», предметом сатирического обличения является программная статья «почвенников» «Объявление о подписке на журнал «Эпоха» в 1865 году», («Эпоха», 1864, № 8). Статья – она не была подписана – принадлежала перу Ф. М. Достоевского. В этом выступлении, как и во всей почвеннической идеологии, которую публицисты «Современника» называли «птичьей» («стрижиной»), социальные проблемы подменялись проблемами национальными и отвлеченно нравственными. Если в «Литературных кустах» Салтыков сосредоточился на разоблачении реакционной сущности национальной доктрины «почвенников», трактовавших национальную самобытность как национальную исключительность, то в рецензии сатирик зло высмеивает стремление «Эпохи» постоянными призывами к нравственному самосовершенствованию заменить обсуждение насущных вопросов современного общественного развития. Обращаясь к генеалогии «почвеннической добродетели», Салтыков видит ее истоки в сентиментальной и нравоучительной литературе XVIII в., русской и переводной. В этой связи упоминается повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» («обращение русской литературы в «Лизин пруд»), а также роман Г. Виланда «Агатон» и «пастушеская

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) повесть» «Алексис». Отмечая дворянский, антидемократический характер многих популярных нравоучительных сочинений, Салтыков утверждает, что в настоящее время они представляются для «взрослого читателя» глубоким анахронизмом. Наивные наставления о пользе добродетели и советы о том, как надобно вести себя, сохраняются лишь в детской и «стрижиной» литературе («Вот лошадки для езды, /Пистолетик для стрельбы...» и т. д.).

Рецензия «О добродетелях и недостатках...» отличается от других полемических статей Салтыкова более резкой и подробной характеристикой политического смысла почвеннической проповеди нравственности. Салтыков прямо заявляет, что блюстителям порядка выгодно «стрижиное» смирение: «В самом воздухе есть нечто им <стрижам> покровительствующее». Далее Салтыков пишет: «А от кого же и можем мы ждать порядка, как не от тех, кои никогда беспорядка произвести не могут... Вот истинная причина возникновения «стрижей» и их процветания». И еще: «...процветание стрижиной литературы совершенно закономерно. Само общество обязано всемерно заботиться о возможном его продолжении, ибо в процветании этом заключается самое действительное отвлекающее средство, при помощи которого различные горькие заботы и думы уже не представляются уму с такою мучительно назойливостью, как это обыкновенно бывает, когда человек предоставлен самому себе и своим размышлениям». Как бы завершая эту систему намеков, весьма, впрочем, прозрачных, Салтыков заявляет: «По нашему мнению, стрижи могли бы даже служить отвлечением и в смысле политическом, если б политика не имела в своем распоряжении других средств, более быстро действующих».

Уничтожающим сатирическим приемом для характеристики «Эпохи» явилось объединение в одной общей рецензии «Объявления...», очерка «Рим», примечаний к статье «Монтаны», опубликованных в № 8 этого журнала, и двух претенциозных нравоучительных книжек, рассчитанных на мещанского читателя («О добродетелях и недостатках...» П. Б. Суходаева и «Зеркало прошедшего» г-жи Анониме). Вот некоторые выразительные названия глав книжки Суходаева: «Пути провидения», «Сила совести»,

«Власть над собою», «Опасности общественных увеселений», «Гибельность сладострастия», «Благоприличие и неприличие в общежитии» и т. д. В начале каждой главы – эпитафия – образец «философического» пустословия: «Как гармонирующая нашим чувствам природа есть проявление мысли и слова божия к человеческому духу – так дух наш проявляется через наши мысли и слова... П. Суходаев». Характерен верноподданныческий и богобоязненный тон этого сочинения, которое заканчивается следующими словами, написанными, по выражению Салтыкова, в «забвении чувств»: «Очисти мой смысл, боже, освяти волю мою, да избегну опасностей, которые нередко свершаются с нами на скользком пути к свету и совершенству». Хотя сочинение «Зеркало прошедшего» отнюдь не назидательное, а, наоборот, «интимно-лирическое» («Исповедь сокращенного сердца»), смысл его – все тот же. «О слабость человеческая! – пишет автор. – Мы имеем прекрасные правила, которым следуя не отступили бы ни на шаг от добродетели». Кончается книжка восклицанием: «Господи помилуй, господи помилуй!»

Стр. 461...на повествовании о каком-нибудь Агатоне... – Агатон – герой нравоучительного романа Г. Виланда. (Русский перевод был издан в 1783–1784 гг.: «Агатон, или Картина философическая нравов и обычаев греческих», переведено с немецкого Ф. Сапожниковым, 4 части. М.) Вот как характеризует автор смирение добродетельного героя перед жестокими ударами судьбы: «За несколько дней перед сим был он любимец счастья и предмет зависти своих сограждан. Но нечаянную перемену нашел себя вдруг лишена своего имущества, друзей своих, своего отечества и подверженна не только всем приключениям противного счастья, но и самой неизвестности, каким образом он мог сохранить единую оставшуюся ему вещь, то есть свою обнаженную жизнь. Но невзирая на все злосчастья, соединившиеся на умерщвление его бодрости, повествование нас уверяет, что тот, кто его в сем виде видел состоянии, не мог приметить ни в его виде, ни в его поступках малейшего следа отчаяния, нетерпеливости или только неудовольствия».

...о... Хлое, которая, невзирая на настойчивость своего Алексиса... – Имеется в виду «Алексис, пастушеская повесть», вольный перевод Павла Львова из сочинений Леонара, СПб. 1876.

Повесть представляет сентиментальное изображение любви героя к пастушке Делии (Хлоя – имя матери Алексиса, с добродетелями которой сравнивается благодетель Делии). Острая сатирическая оценка Салтыковым поведения героев повести

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) подтверждается такими, например, описаниями: «Прочие рассказывали о своих приключениях и казали дары, полученные ими от их возлюбленных; Алексис же имел единое о Делии воображение; к восстановлению счастья его и того было довольно». И далее: «Они вкушали все то блаженство, которое токмо на земли может быть для человеков. Жизнь их не иное что была, как цель утех невинных, коих прелести всечасно возрождали любовь и добродетель». Общественная тенденция повести выражена автором прямо: «У народа столь любо-мудрого довольно и единой любви, мнится мне, для утверждения общего согласия».

Стр. 462...занятия балетно-философические... – Сатирическую разработку темы балета для характеристики «отвлекающего» направления произведений, помещаемых в «Эпохе», Салтыков дал в статье «Петербургские театры» («Наяда и рыбак»). Здесь изложена «программа современного балета», участниками которого являются сотрудники журнала Достоевского (см. стр. 204–215 наст. тома).

Стр. 463. Феденька нестроптивный, который... был когда-то строптивным – намек на эволюцию убеждений Достоевского от 40-х до 60-х годов: прежде – «строптивный», участник общества петрашевцев, теперь – «нестроптивный», редактор журнала «Эпоха».

Стр. 465. «Сказание о Дураковой плешу». – Под этим названием в журнале «Время», 1863, № 3, была напечатана статья Игдева (псевдоним И. Г. Долгомостьева). Игдев выступил против статьи А. Слепцова «Педагогические беседы» («Современник», 1863, №№ 1, 9) и статьи А. Н. Пыпина «Наши толки о народном воспитании» (там же, №№ 1, 5), полемических по отношению к статье Л. Н. Толстого «Воспитание и образование» («Ясная Поляна», 1862, июль). Игдев воспользовался выражением Салтыкова из январской хроники «Наша общественная жизнь», 1863, где было сказано: «...если ты побежишь под гору, то уткнешься в «Дураково болото», тогда как, если взберешься на крутизну, то, напротив того, уткнешься в «Дуракову плешу»!» Так характеризует сатирик «перспективы» общественной деятельности после кризиса революционной ситуации. Игдев обратил слова Салтыкова против «Современника»: «По-моему, это не более и не менее, как явное доказательство пребывания вашего на «Дураковой плешу», местность, честь открытия которой принадлежит бесспорно вам».

...игриво-философское рассуждение об индюшках и Гегеле. – Речь идет о статье Н. Н. Страхова «Об индюшках и Гегеле», напечатанной в журнале «Время» за 1861 г., № 9.

Стр. 468...под именем «Современного очерка Рима»...еще наивнее примечания к статье «Монтана». – В № 8 «Эпохи» 1864 г. помещены рядом две статьи: «Монтаны» В. Клаузова (с примечаниями автора) и «Рим (Современный очерк)» за подписью Н. М. Несмотря на различие тем: первая статья описывает быт и нравы сектантов в Заволжье, а вторая – социальную структуру современной Италии и роль католической церкви, обе статьи чрезвычайно близки по направлению и даже стилю. В обеих статьях общественные и личные добродетели и пороки объясняются либо верностью христианской нравственности, либо же ее отсутствием.

Стр. 469...в прошлом году мы подали подобный же совет насчет г. Ф. Берга... – В статье Салтыкова «Для следующих номеров «Свистка» было сказано: «По прочтении этой статьи редакция «Времени» даст клятвенное обещание никогда не печатать стихов г. Ф. Берга» (см. наст. том, стр. 304).

#### РЕЦЕНЗИИ(1868–1883)

Бродящие силы. Две повести В. П. Авенариуса  
I. Современная идиллия. II. Поветрие. СПб. 1867 г  
ОЗ, 1868, № 4, отд. «Новые книги», стр. 208–213 (вып. в свет – 10 апреля). Без подписи. Авторство указано В. Е. Евгеньевым-Максимовым на основании письма Салтыкова к Некрасову от 21 марта 1868 г. («Печать и революция», 1927, № 4, стр. 53). Перепечатано впервые в книге: В. Е. Евгеньев-Максимов и Д. Максимов. Из прошлого русской журналистики. Статьи и материалы, л. 1930, стр. 42–47.

Рецензия на «Бродящие силы» Авенариуса – первое литературно-критическое выступление Салтыкова в «Отечественных записках» Некрасова. Рецензия была написана еще во время службы писателя в Рязани и выслана в Петербург 21 марта 1868 г. (см. письмо Салтыкова к Некрасову от указанного числа – т. 18 наст. изд.).

Девятого января 1868 г. Салтыков писал Некрасову из Рязани: «Я охотно взял бы на себя разбор книг, но не знаю, что разбирать. Подожду романов Стебницкого,

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Ключникова и проч., объявленных «Литературной библиотекой».[70] Салтыкова – литературного критика и рецензента – в первую очередь интересовали, таким образом, произведения, которые следовало подвергнуть сатирическому осмеянию: плоды так называемого «антинигилистического» направления. (Образец сатирического разбора антинигилистического романа был им дан еще в мартовской хронике «Нашей общественной жизни» за 1864 г. – тогда его объектом стал роман Ключникова «Марево» – см. т. 6 наст. изд., стр. 315–321.)

Уже первая рецензия Салтыкова в «Отечественных записках», в которой в качестве объекта осмеяния и пародирования были избраны повести Авенариуса, показывает, что именно таково было его намерение.

Однако собственно антинигилистической тенденции писаний Авенариуса – попытки связать «поветрие» аморализма, половой распущенности с революционными идеями – Салтыков в своей рецензии не касается. Он просто указывает, что, как мыслитель, Авенариус «принадлежит к партии так называемых клубнистов, нередко, впрочем, именующих себя столпами и консерваторами». Этой рецензией Салтыков начинает анализ «клубнилизма» как общественного явления (подробнее см. в прим. к статье «Новаторы особого рода»).

Принципиальный интерес в настоящей рецензии представляет характеристика художественной стороны авенариусовских повестей. «Бродящие силы» – «неслыханная агломерация слов», – утверждает Салтыков, связывая Авенариуса по самому способу творчества с «новейшей французской литературой», имея в виду, вероятнее всего, первые шаги направления, получившего название натурализма. «Творческий метод» натурализма описывается Салтыковым следующим образом: «...нужно только сесть у окошка и пристально глядеть на улицу. Прошел по улице франт в клетчатых штанах – записать» и т. д. Интересно, что почти так же, разумеется без сатирической утрировки, описан метод натурализма в «Дневнике» бр. Гонкур, в записи, сделанной в 1865 г., когда появился программный для направления роман бр. Гонкур «Жермини Ласертэ» («Дневник» был опубликован лишь в 70-х годах): «...лучшим литературным образованием для писателя было бы <...> пассивно записывать все, что он видит, что он чувствует, и по возможности забыть все прочитанное».[71] Салтыков очень внимательно следил за политической и литературной жизнью Франции. Поэтому ему, конечно, было известно творчество Флобера и бр. Гонкур (впоследствии он познакомился с ними и лично). О Флобере именно как о писателе-натуралисте (без употребления этого термина) Салтыков упоминает в иронической рецензии на роман А. К. Толстого «Князь Серебряный» (см. т. 5 наст. изд., стр. 362). Через несколько лет, в «Культурных людях», а затем и в «За рубежом», он резко писал о «психологическом лганье» французских беллетристов школы Золя и бр. Гонкур. Таким образом, настоящая рецензия интересна, помимо прочего, и тем, что она открывает ряд выступлений Салтыкова против натурализма в 70–80-х годах.

Стр. 237. Г-н Авенариус писатель молодой... – Первое произведение В. П. Авенариуса – антинигилистическая повесть «Современная идиллия» (составившая вместе с продолжением ее, повестью «Поветрие», рецензируемую Салтыковым книгу) была напечатана в 1865 г.

Клубнилизм новейшего времени взрастил... Стебницкого... – Рецензию Салтыкова на «Повести, очерки и рассказы» М. Стебницкого (Н. С. Лескова) см. далее, стр. 335.

...и сам г. Стебницкий... отзывается об нем с снисходительностью более нежели иронической. – Речь идет о статье-рецензии Н. С. Лескова «Литератор-красавец» («Литературная библиотека», 1867, т. IX, сентябрь, кн. I; без подписи; см. указанную статью в изд.: Н. С. Лесков. Собр. соч. в 11-ти томах, т. 10, М. 1958). Лесков рецензировал повесть Авенариуса «Ты знаешь край».

Стр. 238...разных Монинек, Наденек, Ластовых, Куницыных и проч. – персонажи «Бродячих сил».

...новую нашу литературу обвиняют в недостатке творчества... – См. статью «Напрасные опасения» и прим. к ней.

...вот как, например, у Крестовского... – Речь идет о романе Всев. Крестовского «Петербургские трущобы» (1864–1867), в котором, изображая жизнь петербургского преступного мира и «дна», автор использовал сюжетные ходы и ситуации французского авантюрно-социального романа, в частности, романа Эжена Сю «Парижские тайны».

Г-н Погодин в своем «Путешествии за границей»... – в путевом дневнике «Год в чужих краях» (1843). «Незабвенным» это сочинение М. П. Погодина сделала блестящая пародия Герцена («Путевые записки Г. Ведрина»).

Стр. 239. Сказание о клубнике – пародия на ряд сюжетных положений и эпизодов «Бродящих сил».

Стр. 240...доктор Хан – издатель журнала «Всемирный труд», в котором были напечатаны повести Авенариуса «Ты знаешь край» и «Поветрие».

В сумерках. Сатиры и песни Д. Д. Минаева. СПб. 1868 г ОЗ, 1868, № 5, отд. «Новые книги», стр. 63–69 (вып. в свет – 15 мая). Без подписи. Авторство установлено Н. В. Яковлевым на основании письма Салтыкова к Некрасову от конца апреля 1868 г. – Письма, 1924, стр. 53.

Рецензия представляет первостепенный интерес постановкой проблемы сатиры и тем самым обоснованием собственных творческих принципов Салтыкова, характеристика которых будет развиваться и уточняться им в ряде последующих статей и рецензий (например, в рецензии на «Смешные песни» Иволгина).

Рецензия написана в обычной для большинства рецензий Салтыкова в «Отечественных записках» двухчастной форме: первая часть посвящается общим проблемам, вторая, иногда очень краткая, содержит собственно литературно-критическую оценку рецензируемого издания.

В первой части настоящей рецензии Салтыков устанавливает истинное назначение общественной сатиры в противовес сатире дидактической, руководствующейся целью «искоренения пороков» вообще, и узко-обличительной, локальной, обращающей свое острие против «местных», частных явлений. Ни отвлеченный порок, поражавшийся русской сатирой в ее «золотой век», ни явление случайное, «курьез» не могут стать объектом истинной – общественной – сатиры, потому что «относительно них принцип вменяемости становится совершенно излишним» (см. также рецензию на «Смешные песни» Иволгина, стр. 275 наст. тома). Этот принцип может быть применен к анализу и оценке лишь таких явлений, которые воплощают строй жизни, представляют «силу вещей». Сама же оценка углубляется, чем далее сатирик проникает в тайны народной жизни. Ответственность, «вменяемость» того или иного факта, явления, типа, и тем самым сила и острота его сатирического разоблачения, определяется его отношением к «жизни масс». Очевидно, в этом смысл утверждения Салтыкова, что «единственно плодотворная почва для сатиры есть почва народная» (см. анализ концепции сатиры Салтыкова в книгах: Е. И. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 14 и сл.; А. С. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина, М. – Л. 1959, стр. 365–366).

Переходя к рассмотрению сатирических стихотворений Минаева, помещенных в рецензируемом сборнике, Салтыков констатирует их чисто местную, петербургскую тематику, а также неясность, невыдержанность, рутинность мысли и образов.

Помимо принципиально-теоретических и художественных соображений резкий отзыв Салтыкова о Минаеве вызван, по-видимому, также и тем обстоятельством, что Минаев возглавил враждебную кампанию на страницах «Искры» против Некрасова в связи с его так называемой «муравьевской одой» (стихотворения Минаева «Обманутая муза», «Песня Еремушке»). И хотя уже в феврале 1868 г. Минаев вступил в переговоры с Некрасовым о сотрудничестве в «Отечественных записках» (см. его письмо к Некрасову от 27 февраля 1868 г. – ЛН, т. 51–52, М. 1949, стр. 390), сборник «В сумерках» он открыл стихотворением «Муза» (Салтыков полностью его приводит), направленным против Некрасова, и вновь включил в сборник стихотворение «Обманутая муза». И в дальнейшем, при сотрудничестве в «Отечественных записках», отношение Минаева к Некрасову, по-видимому, не изменилось (см. об этом, например, в комментарии В. Е. Евгеньева-Максимова к публикации писем Минаева к Некрасову. – ЛН, т. 51–52). Несмотря на все это, редакция «Отечественных записок» считала полезным его участие в журнале, в частности, и в качестве поэта-переводчика. Кроме того, редакция, по-видимому, надеялась, что «муза» Минаева выйдет, наконец, «из тесной сферы исключительно петербургских интересов» (на такую возможность указал Салтыков в последних строках настоящей рецензии).

Чрезвычайно раздраженно на рецензию Салтыкова реагировал один из авторов «Материалов для характеристики современной русской литературы» – Ю. Г.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Жуковский, полагая, что главной причиной выступления Салтыкова против Минаева была позиция последнего в отношении Некрасова. Прочитывая ту часть вступления, где характеризуется местная, петербургская «сатира» (от слов: «Но с тех пор, как по соображениям высшей важности» до: «стрельбу из пушек по воробьям»), Жуковский делал чрезвычайно резкий выпад против Некрасова и «Отечественных записок». «Прочитав это красноречивое вступление, мы думали, что это не более как подобающая критика на последние стихотворения г. Некрасова <...> но дело выходит иначе. Оказывается, что под эту оценку подходит только г. Минаев, и за что бы вы думали, за то только, что пишет иногда сатиры на гг. Некрасова и Краевского, за то, что называет банкиров «жирными» и т. д. А между тем тот же рецензент и та же редакция находят, вероятно, вовсе не водевильными печатающиеся в «Отечественных записках» стихотворные приглашения г. Некрасова юношеству надевать терновые венцы или прозаические поучения о том, что общество наше может развиваться только скандальчиками». [72] Впрочем, отвечая авторам «Материалов...» (см. наст. том, стр. 324), Салтыков подобные намеки игнорировал (об отношении Минаева и редакции «Отечественных записок» см. также в кн. И. Ямпольского «Сатирическая журналистика 60-х годов», М. 1964).

Гражданский брак. Комедия в 5 действиях Н. И. Чернявского с предисловием автора о значении брака. Издание второе  
СПб. 1868 г

ОЗ 1868, № 8, отд. «Новые книги», стр. 144–152 (вып. в свет – 7 августа). Без подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом: Z. f. si. Ph., S. 184; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским – изд. 1933–1941, т. 8, стр. 496–499.

Комедия Чернявского «Гражданский брак», вышедшая в 1868 г. вторым изданием, после того как она уже была поставлена на столичной и многих провинциальных сценах, привлекла внимание Салтыкова как типичное явление «необульгаринской школы», которая укрепилась с наступлением реакции («в 1862 году при зареве пожаров, опустошавших Петербург»). Родоначальником этой «школы» Салтыков еще в рецензии на «Чужую вину» Ф. Устрялова назвал известного в середине 50-х годов драматурга Н. М. Львова (см. т. 5 наст. изд., стр. 443; см. также статью С. А. Макашина и В. Э. Богграда «Против литературы благонамеренных усилий...», где определены идейные истоки отзыва о комедии Чернявского. – ЛН, т. 67, М. 1959, стр. 351–358). Поскольку теоретическая часть рецензии на «Чужую вину» Устрялова, написанной четыре года назад, из-за цензурного запрета не могла быть напечатана, Салтыков изложил основные ее положения, отнюдь не потерявшие актуальности, в начале рецензии на «Гражданский брак». Салтыков по-прежнему определяет основной смысл сочинений вроде пьесы Чернявского как стремление «утверждать утвержденное, защищать защищенное и ограждать огражденное» и усматривает в них лишь «благонамеренность дерзновения» (то есть охранительную тенденцию). Такая позиция «образованного» или «цивилизованного большинства» (термин для характеристики консерваторов и либералов, вместе взятых) связана с отношением к реформам 60-х годов («прогресс достаточный» в отличие от «прогресса преувеличенного», под которым разумеются прежде всего последовательно демократические требования, выдвигавшиеся в ходе освободительной борьбы). Сторонники «прогресса» в первом варианте называют его критиков «отрицателями», сами, в сущности, являясь отрицателями свободной мысли и естественного, нормального развития жизни. Отсюда возникает сатирическое определение: «положительный нигилизм». Именно к этому направлению «положительного нигилизма» и принадлежит «антинигилистическая» пьеса Чернявского, воюющая против «гражданского брака» и защищающая давно и крепко защищенный церковный брак. Полный антиисторизм Чернявского сказался и в самом тексте комедии, где идея гражданского брака приписывается либеральному влиянию «Отечественных записок», и в авторском предисловии.

Осмеивая благонамеренность во всех формах, Салтыков цитирует почвенников, которые «проводят ту мысль, что в настоящее время не отрицать и обличать, а «любить» должно». Хотя почвенники здесь прямо не названы, но слова эти почти буквально воспроизводят призыв журнала «Эпоха» в «Объявлении» на 1865 г.: «не хулить, не осуждать – а любить уметь – вот что надо теперь настоящему русскому». С «Объявлением» Салтыков полемизировал еще в статье «Литературные кусты» (см. т. 6 наст. изд.), а через двадцать лет, в «Пестрых письмах» опять вспомнил: «Мало обличать – любить надо», – прорицали когда-то наши почвенники...» («Письмо первое»). Если в 1864 г. полемические выступления Салтыкова против почвенников всецело относились и к Ф. М. Достоевскому, то в рецензии на «Гражданский брак» этого, по-видимому, нет. С января 1868 г. в «Русском вестнике» печатался новый роман Достоевского «Идиот», в котором, по словам Салтыкова, автор вступал в

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru область «отдаленнейших исканий человечества». Что же касается проповедников «любви», то в рецензии на «Гражданский брак» их главным свойством признается именно «недалекозоркость», заставляющая «привязываться к интересам ближайшим и осязаемым и в пользу их жертвовать интересами более отдаленными».

В рецензии на «Гражданский брак» нет также полемики с Писаревым, которая содержалась в отзыве на «Чужую вину» (см. т. 5, стр. 445 и 670). Poleмика эта в свое время была исчерпана, а с начала 1868 г. Писарев стал активным сотрудником «Отечественных записок» (4 июня этого года он погиб).

Стр. 249...г. Львова (автора комедии «Свет не без добрых людей»). – Комедия появилась в 1857 г. и приобрела широкую популярность.

Стр. 251...и ежели он продолжает не видеть, то нимало не медля отменяет его от общения с жизнью... – Намек на расправу царского правительства с революционерами: Н. Чернышевским, М. Михайловым, В. Обручевым, Н. Серно-Соловьевичем (см. т. 5 наст. изд., стр. 671).

Стр. 252...с точки зрения гигиенической – то есть гарантирующей безопасность.

...за исключением... г. Львова, который расцвел и увял гораздо ранее... – Пьесы Львова «Предубеждение, или Не место красит человека...» (1858) и «Кампания на акциях» (1859) успеха не имели.

...отнодь не в том смысле, в каком нередко упрекали этого сочинителя его современники. – Булгарин был осведомителем III Отделения, постоянно поставлявшим туда доносы на писателей.

Стр. 254...он первый дал понять, что и в становой приставе может быть нечто положительное. – «Положительный» становой пристав изображен в пьесе Львова «Предубеждение, или Не место красит человека...».

...г. Манн довел до ясности тип приветливого и исполнительного начальника отделения. – Речь идет о пьесе И. А. Манна «Паутина» (1865). В рецензии на другую его пьесу «Говоруны» (1868) Салтыков определил главное устремление автора – «оградить начальников отделения от наплыва новых идей» (см. стр. 321).

...г. Устрялов показал в перспективе скромный труд и скромную науку. – Имеется в виду комедия Ф. Устрялова «Слово и дело» (1862). В статье «Петербургские театры» (1863) Салтыков подробно рассматривает постановку пьесы в Александринском театре и называет ее героя Вертяева «новым Молчалиным» (см. т. 5 наст. изд., стр. 170).

...г. Ключников, в лице Русанова. – См. т. 6 наст. изд., стр. 315–319.

...г. Стебницкий и за ним Авенариус пропагандировали клубнику. – Речь идет об отдельных сценах в романе Н. С. Лескова (Стебницкого) «Некуда» и повести В. П. Авенариуса «Поветрие».

Стр. 255...герой фонарного переулка и Мещанских улиц... – Петербургские улицы, где находились публичные дома.

Стр. 255–256...вся Россия пересмотрела «Стряпчего под столом» и «Проказы барышень на Черной речке»... – Водевили Д. Т. Ленского («Стряпчий под столом», 1834) и П. С. Федорова («Проказы барышень...», 1843).

Стр. 257...заклеймить эту барыню именем Жорж-Занд... – В пьесе «Гражданский брак» баронесса Дах-Реден, вульгарная светская кокетка, исповедует «идеи» женского равноправия.

Новые сочинения Г. П. Данилевского (А. Скавронского, автора «Беглых в Новороссии»). Издание исправленное и дополненное А. Ф. Базунова. 2 тома, СПб. 1868 г. ОЗ, 1868, № 8, отд. «Новые книги», стр. 152–155 (вып. в свет – 7 августа). Без подписи. Авторство указано (предположительно) Н. В. Яковлевым – письма, 1924, стр. 52; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским – неизвестные страницы, стр. 538–539.

В рецензируемое Салтыковым двухтомное издание «Новых сочинений» Г. П.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Данилевского вошли роман «Новые места», повесть «Фенечка, биография институтки» и два рассказа – «Беглый Лаврушка за границей (Из недавнего прошлого)» и «Охота зимой в Малороссии».

Рецензия на «Новые сочинения» Данилевского (а точнее – роман «Новые места», потому что о других произведениях, вошедших в издание, в рецензии не говорится) была не первым откликом Салтыкова на сочинения этого писателя. Указанием, в первой же строке рецензии, на отличающую его «самонадеянность» Салтыков напоминает читателю о своем выступлении 1863 г. по поводу заметки Данилевского (А. Скавронского) «Литературная подпись», а также о рецензии на романы «Беглые в Новороссии» и «Беглые воротились», напечатанные под общим заглавием «Воля» (см. т. 5 наст. изд.). Позицию Данилевского в «Литературной подписи» Салтыков определил тогда как «хлестаковщину в литературе» и «самохвальство» (см. подробнее т. 5 наст. изд., стр. 636–637). Роман «Воля» Салтыков назвал «совершенно исключительным явлением в современной русской литературе» именно в силу «бесцеремонного служения» его автора «тому, что по-французски зовут словом *blague*[73] а по-русски просто-напросто хлестаковщиной» (там же, стр. 408). Всем этим оценкам соответствует в настоящей рецензии характеристика Данилевского как писателя, желающего, хотя и безуспешно, стать «родоначальником школы легкомыслия» в литературе. А через полгода, рецензируя постановку «Мещанской семьи» Авдеева, Салтыков вновь упомянул Данилевского (впрочем, не называя его) как «специалиста по части легкомыслия».

В романе «Новые места», первоначально напечатанном в 1867 г. в «Русском вестнике» Каткова, отдана дань и характерной для журнала «антинигилистической» теме. Как свидетельствовал сын писателя М. Г. Данилевский, «центром романа Г. П. избрал волновавшую тогда весь юг скандальную историю подделки государственных серий людьми передовой провинциальной интеллигенции». [74]

В рецензиях 1864 и 1868 гг., критикуя тот тип романа, который был создан Данилевским, Салтыков высказал ряд принципиальных литературно-теоретических положений. Он не случайно назвал этот роман «исключительным явлением» и связал его с традицией А. Дюма и Феяля. Эту традицию, в первую очередь, характеризует «внешний, чисто сказочный интерес», чуждый русской литературе, которую, со времен Белинского, всегда отличало «воздержное и трезвое отношение к действительности». Салтыков обосновывает очень важную для его эстетики идею внутренней сущности драматизма и комизма (рецензия 1864 г.; ср. также его статью «Передвижная художественная выставка», стр. 228). В рецензии на «Новые сочинения» Салтыков вновь противопоставляет Данилевского «большинству наших романистов и повествователей», которые «обращают преимущественное внимание на психологическую разработку характеров и на разрешение тех или других жизненных задач, интересующих общество, фабулу же собственно ставят на отдаленный план». Преимущественное внимание к «фабуле», к занимательности отбрасывает, по мнению Салтыкова, творчество Данилевского к литературной эпохе до Белинского.

Впоследствии Данилевский с большим успехом испытал свои силы в жанре не современного, а занимательного исторического романа.

Стр. 258..авторы «Некуда», авторы «Марева»... – Н. С. Лесков (М. Стебницкий), В. П. Ключников.

«Беглые в Малороссии». – Салтыков здесь и далее, возможно умышленно (ср. его заметку о «Литературной подписи»), называет роман Данилевского неточно; надо: «Беглые в Новороссии».

...«Беглые в Малороссии» действительно были когда-то... напечатаны. – Роман Данилевского печатался в журнале «Время» (1862, №№ 1 и 2). Там же было напечатано и продолжение – «Беглые воротились» (1863, №№ 1, 2 и 3).

Стр. 258. М. Н. Лонгинов... быть может, отыщет могилу его... – Эта сатирическая формула, высмеивающая «нашего библиографа и гробокопателя» Лонгинова, впервые была употреблена Салтыковым в фельетоне «Характеры» (см. т. 4 наст. изд., стр. 198). Здесь она одновременно указывает на забвение, постигшее первые романы Данилевского.

...этот молодой деятель... – Литературная деятельность Данилевского началась еще в 40-х годах. Однако первым произведением, принесшим ему известность, был роман «Беглые в Новороссии».

Стр. 259..взамен правды, его, по малой мере, попотчуют пребыванием во чреве крокодила и чудесным оттуда освобождением. – Речь идет о рассказе Достоевского «Крокодил» («Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже». – «Эпоха», 1865, № 2). Рассказ Достоевского не закончен, и «чудесное освобождение» из чрева крокодила в нем изображено не было.

Стр. 260. Куртнеровы диалоги – учебное пособие по французскому языку, составителем которого был преподаватель Московского университета Ф. Ф. Куртнер.

«Засоренные дороги» и «С квартиры на квартиру»  
Роман и рассказ соч. А. Михайлова. С.-Петербург  
Издание В. Е. Генкеля. 1868 г  
ОЗ, 1868, № 9, отд. «Новые книги», стр. 46–52 (вып. в свет – 7 сентября). Без подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом – Z. f. sl. Ph., S. 184; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским – Неизвестные страницы, стр. 539, 541–543.

А. К. Шеллер (псевд. – Михайлов) – один из популярных беллетристов 60–70-х годов, посвящавший свои произведения преимущественно теме «новых людей». Известность принес Шеллеру его первый роман «Гнилые болота», опубликованный в «Современнике» (1864, №№ 2, 3). Вскоре в «Современнике» же появился новый роман Шеллера – «Жизнь Шупова, его родных и знакомых». Оба произведения имеют автобиографический характер. В первом романе изображается формирование характера молодого разночинца, честного труженика в борьбе с губительным влиянием окружающей среды («гнилых болот»). Салтыков считал «Гнилые болота» наиболее содержательным и правдивым произведением писателя, однако уже здесь в зародыше был выражен тот эстетический кодекс, с которым резко полемизирует критик «Отечественных записок»: «Нам ли, труженикам-мещанам, – заявлял Шеллер, – писать художественные произведения, холодно задуманные, расчетливо-эффектные и с безмятежно-ровным полированным слогом? Мы урывками, в свободные минуты, записываем пережитое и перечувствованное, и радуемся, если удается иногда высказать накопившееся горе и те ясные, непризрачные надежды, которые поддерживают в нас силу в трудовой чернорабочей жизни. Хорошо, если само собою скажется меткое слово, нарисуеться ловкая картина и вырвется из-под сердца огонь поэзии; но если и их не найдется, то горевать нечего – обойдется и так...»

В 1865 г. Шеллер был приглашен в «Русское слово» редактором иностранного отдела. Ту же должность занимал он со следующего, 1866 г. и в журнале «Дело». Будучи близок к направлению этих журналов, Шеллер сделался их активным автором. Один за другим появляются его романы и повести: «Господа Обносковы» (1868), «В разброд» (1869), «Лес рубят – щепки летят» (1871), «Старые гнезда» (1875), «Хлеба и зрелищ» (1876), «Беспечальное житье» (1877) и др. Одновременно Шеллер печатался в «Неделе», «Женском вестнике», а с 1877 г. в течение двадцати трех лет был редактором «Живописного обозрения».

Перу Шеллера принадлежат также социологические и политические статьи: «Очерки из истории рабочего сословия во Франции» (1868), «Жилища рабочих» (1870), «Производительные ассоциации» (1871) и др.

Салтыков, как об этом свидетельствуют три рецензии на романы Шеллера разных лет, помещенные в наст. томе, внимательно следил за творческой эволюцией писателя, видя в ней яркую иллюстрацию несостоятельности утилитарной эстетики, которую отстаивал журнал «Дело». Критические отклики Салтыкова на романы Шеллера (Михайлова) были частью общей полемики «Отечественных записок» с «Делом» по вопросам эстетики. По мнению Салтыкова, противопоставляя чистую тенденциозность глубокому знанию жизни, подлинной художественности, теории и беллетристики из журнала «Дело» чрезвычайно суживают возможности литературы, обрекая ее на поверхностное, «разговорное негодование», на «махание картонным мечом», на примитивность и однообразие. Задача литературы – «анализировать и исследовать» действительность, а не отделяться «каким-нибудь общим местом». Иронически называя благие намерения беллетриста «благонамеренностью», Салтыков утверждает, что это качество не может вызывать сочувствия в то время, когда «благонамеренность растет, а талант умалывается». Критик намекает на опасность для автора таких сочинений, где характеристики различных «капищ», стесняющих свободу человека, подменяются высокодобродетельными рассуждениями и где суесловные доктринеры заслоняют «трудящуюся толпу». Салтыков указывает на возможность для самого автора попасть в «засоренную колею» (характерный

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) щедринский прием сатирического «опрокидывания» символики названий критикуемых им произведений. То же – в рецензиях на романы «В разброд» и «Беспечальное житье»). В последующих рецензиях на романы Михайлова Салтыков значительно расширил проблематику своего спора с эстетическими принципами журнала «Дело».

Стр. 262...разительнейший пример в этом смысле представляет г. Н. В. Успенский. – См. об этом в ст. «Напрасные опасения», на стр. 31 наст. тома.

Стр. 267...слышится сквозь видимые миру слезы не менее видимый смех. – Перефразированная цитата из «Мертвых душ» Гоголя: «И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы!» (т. 1, гл. VII).

Жюль Муру. Задельная плата и кооперативные ассоциации  
Перевод и издание Ф. П. Соллогуба. Москва, 1868  
ОЗ, 1868, № 9, отд. «Новые книги», стр. 56–62 (вып. в свет – 7 сентября). Без подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом – Z. f. sl. Ph., S. 184; подтверждено С. С. Борщевским на основании анализа текста – изд. 1933–1941, т. 8, стр. 500–504.

Постоянный интерес к экономическим проблемам русской жизни побуждал Салтыкова к серьезному изучению политико-экономической литературы. Рецензия на книгу французского вульгарного экономиста Ж. Муру имеет первостепенное значение для понимания воззрений писателя на сущность капиталистической эксплуатации и методы борьбы рабочих за улучшение своего положения.

Муру – сторонник теории «трех факторов»: прибыль рассматривается им как результат производительных услуг капитала, рента – как порождение земли, заработная (по терминологии того времени – «задельная») плата – как доля, внесенная в стоимость продукта трудом. «Этот взгляд на задельную плату, – пишет он, – <...> осуждает все утопии, известные под именем социализма, коммунизма и пр.».[75] Салтыков же вслед за Д. Рикардо считает труд единственным источником стоимости, а прибыль капиталистов рассматривает как присвоение плодов чужого труда. В этом отношении он стоит значительно выше многих своих современников из демократического лагеря, признававших право капитала на «законную долю» в созданном богатстве. Попытки народников построить производство на началах «честной ассоциации» между трудом и капиталом Салтыков высмеял позже в «Благонамеренных речах» (см. «Охранители» в т. 11 наст. изд.). Анализируя взгляды Муру на факторы, определяющие размер заработной платы, Салтыков показывает логическую несовместимость утверждений об ассоциации между трудом и капиталом с признанием зависимости заработной платы от цен на предметы потребления рабочих. Действительно, если заработная плата есть полная оплата «трудового вклада» рабочих, то ее размер определяется только величиной этого вклада и никак не зависит от того, дешево или дорого пища, одежда и т. п. Но рецензия Салтыкова – не академическое разъяснение ошибочности теории «трех факторов», а гневное разоблачение классово-экономической сущности «экономических софизмов», с помощью которых буржуазные фальсификаторы науки стремятся отвлечь рабочих от эффективных методов борьбы за повышение заработной платы.

В рецензии нет прямого указания на эти методы, но читателю нетрудно сделать выводы. Ассоциации потребления Ж. Муру противопоставляет стачкам. Весь ход изложения Салтыковым возражений Муру против стачек, нескрывая иронический, сатирически заостренный, не оставляет сомнений, какую позицию занимает в этом вопросе рецензент. Весьма вероятно предположение С. Борщевского,[76] что в статье допущен пропуск по цензурным условиям: абзац начинается словами «Но из того, что наука дает ему право делать стачки...», хотя до этого ни слова о стачках не было. Следует учесть, что в России стачки были запрещены законом и карались тюремным заключением от двух до восьми месяцев, что исключало возможность их пропаганды в подцензурной печати.

Вопрос о стачках и потребительской кооперации был для России того времени вопросом практическим. За 60-е годы было зарегистрировано около сорока крупных стачек. Еще будучи тверским вице-губернатором, Салтыков принимал участие в разборе дел одной из первых стачек в России на фабрике Морозова; его попытка помочь забастовщикам была пресечена губернатором Барановым, отдавшим зачинщиков под суд.[77] В 1864–1865 гг. возникли первые потребительские общества. Неудивительно, что проблемы потребительской ассоциации и стачек неоднократно

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) привлекали внимание революционно-демократической публицистики второй половины 60-х годов. Но позиция, занятая Салтыковым, резко выделяет его рецензию из числа других выступлений. Салтыков считает потребительские ассоциации экономически и политически выгодными только для буржуазии. П. Ткачев, критикуя их как не устраняющие «радикально основной причины современного экономического зла», в то же время признает, что «ассоциация рабочих для общего потребления <...> значительно улучшает положение рабочего класса и способствует более разумному и равномерному распределению богатств». [78] П. Гайдебуров, повторяя аргументацию Ткачева, заявляет, что ассоциации потребления все же «значительно выше стачек». [79] Н. Флеровский в своей знаменитой книге «Положение рабочего класса в России» противопоставляет стачкам «честную ассоциацию между трудом и капиталом». [80]

В своей оценке потребительской кооперации Салтыков опирается на выводы, сделанные из учения Рикардо «антибуржуазной школой». С. Борщевским высказано мнение, что под «антибуржуазной школой» Салтыков подразумевает лассальянцев, активно боровшихся против пропаганды потребительской кооперации. Однако аргументация Салтыкова значительно отличается от лассалевской. По Лассалю, удешевление предметов потребления приведет к падению заработной платы лишь в сравнительно отдаленном будущем, когда на рынке труда скажется усилившееся благодаря повышению жизненного уровня размножение рабочих. Салтыков же утверждает, что «рабочая плата тотчас же упадет», что объясняется, судя по тексту рецензии, все увеличивающимся вследствие разорения масс предложением рабочих рук. Вероятнее, что Салтыков имел в виду не Лассалья, а широко известную в России книгу Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». Ход рассуждений Салтыкова близок проводимому Энгельсом анализу влияния снижения цен товаров народного потребления на заработную плату и прибыли. [81] Почти совпадают текстуально их высказывания по поводу пропаганды мер, обеспечивающих удешевление средств существования: у Энгельса – «...буржуазия надевает на себя личину беспредельной гуманности, – но только тогда, когда этого требуют ее собственные интересы»; [82] у Салтыкова – буржуазные либералы, «хлопоча в пользу буржуазных карманов», прикрываются «личиною доброжелательности и общей пользы».

Стр. 269...когда, по достоверному рассказу одного очевидца, на наше отечество сделал нашествие генерал Конфузов... – См. «Сатиры в прозе» в т. 3 наст. изд., стр. 266–267 и 600.

Стр. 270...вопрос о «славянских братьях»... проповеди о крестовом походе против нового антихриста, явившегося в лице барона Бейста. – Самые реакционные газеты типа «Московских ведомостей», выступавшие как убежденные враги освободительного движения поляков в Российской империи, заявляли о своем сочувствии национально-освободительному движению славян в Австро-Венгерской империи. В 1868 г. в газетах различных направлений от либеральных «СПб. ведомостей» до катковских изданий – неоднократным нападкам подвергался австрийский канцлер Фр. Бейст, пригрозивший в связи с волнениями в Чехии «прижать славян к стене».

...обделенным на жизненном пире... – Салтыков использует выражение, приобретшее популярность с выходом в свет «Опыта о законе народонаселения» Т. Мальтуса (изд. 1803 г.). Буквально у Мальтуса сказано о бедняке: «На могучем пиршестве природы нет для него свободного прибора» («An Essay on the principle of population...», London, 1803). В форме «не приглашенные на пир жизни» со ссылкой на Мальтуса употреблено А. И. Герценом в «С того берега» (русские издания 1855 и 1858 гг., см. А. И. Герцен, Собрание сочинений, т. 6, М. 1955, стр. 55). Вероятнее, что Салтыковым это выражение взято из предисловия П. А. Бибикова к русскому переводу книги Мальтуса, где оно дано в форме «на великом жизненном пиру» (Мальтус. «Опыт о законе народонаселения...», т. I, СПб. 1868, стр. 12).

Стр. 270...г-же Лукке... готовность, благодаря которой... собрали почти полтора миллиона рублей серебром... – В день бенефиса австрийской певицы Паулины Лукка в Большом театре Петербурга ей были преподнесены на собранные по подписке средства золотая корона и бриллианты. Эти богатые подарки на фоне голода, охватившего с осени 1867 г. двенадцать губерний, выглядели, даже по оценке умеренно-либеральных «С.-Петербургских ведомостей», совершенно скандально (см. «Недельные очерки и картинки» в «СПб. ведомостях» от 21 и 28 января, а также «Музыкальные заметки» в той же газете от 24 января 1868 г.). Частная благотворительность, к которой призвал императорский рескрипт от 24 января 1868 г. как к единственному средству помощи голодающим, давала скудные результаты. Приведенная Салтыковым цифра пожертвований, заимствованная им из передовой «СПб.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) ведомостей» от 27 июня, меньше, чем просило о вспомоществовании одно только смоленское земство.

Стр. 271...«право на труд», «право труда», «минимум задельной платы». – Эти требования, то есть гарантии от безработицы, свободы объединения в производственные ассоциации, законодательного установления минимума заработной платы, выдвигал в период революции 1848 г. французский пролетариат под влиянием агитации фюреристов, утописта Пьера Леру и особенно мелкобуржуазного социалиста Луи Блана.

«Смешные песни» Александра Иволгина (Чижик)

Издание А. Каспари. СПб. 1868

ОЗ, 1868, № 9, отд. «Новые книги», стр. 52–56 (вып. в свет – 7 сентября). Без подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом – Z. f. sl. Ph., S. 184; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским – изд. 1933–1941, т. 8, стр. 499–500.

Настоящая рецензия – одно из важнейших литературно-теоретических выступлений Салтыкова, посвященных проблемам русской сатиры. Рецензия продолжает и развивает идеи, высказанные несколько ранее в рецензии на сборник Д. Д. Минаева «В сумерках».

Кратко остановившись на самом факте «оскудения русской сатирической литературы», уже подробно описанном в упомянутой рецензии, и опять назвав в качестве главной причины «бессилия» сатиры ее направленность на разрозненные «явления», а не на то «положение», которое эти явления вызывает, Салтыков далее углубляет свою трактовку современной сатиры. Умение изобличать «положение» «во имя целого строя понятий и представлений», противоположных описываемым, было свойственно и Гоголю. И все же его сатира оставалась «на почве личной и психологической». Эта качественная особенность гоголевской сатиры определяется самым характером общественных типов, которые были ее объектом. Во времена Гоголя не появились еще «морозные поветрия», поглощающие целые массы («язва либерализма, язва празднословия, язва легкомыслия...»). Теперь предметом сатиры становится не «психологический» тип со всей его индивидуально-личностной определенностью (разумеется, выражающей у Гоголя в конечном счете то или другое общественное «положение»), но именно та или другая «язва», «морозное поветрие». Индивидуально-психологические особенности одержимых этими «поветриями» не только не имеют значения, но они попросту исчезают, стираются, «поглощаются». Иными словами: «сатира с почвы психологической ищет перейти на почву общественную». Так возникает давно отмеченный нашей наукой «групповой», «стадный» образ салтыковской сатиры (см., например, Е. И. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина). Следует добавить, что на этой почве вырастают и фантастические образы Салтыкова.

Что касается поэта Александра Иволгина, автора «Смешных песен», сотрудника юмористического журнала «Будильник», то Салтыков безусловно относит и его к той «школе», к которой он несколько ранее отнес Минаева, – местно-петербургской, но, разумеется, рангом ниже. «Сатира» Иволгина уже граничит с водевилем.

Стр. 277...выше лба уши не растут... – Русская поговорка, органически вошедшая в систему эзопова языка Салтыкова. В данном случае речь идет о цензуре, резко ограничивающей возможности сатиры.

Стр. 278...золотого века молчания нашей литературы... – Подразумевается николаевское время, когда писал и пользовался большой популярностью знаменитый водевилист Д. Т. Ленский. В другом месте Салтыков иронически называет «нашим золотым веком наук и искусств» годы реакции после каракозовского выстрела – «эпоху приведения литературы к одному знаменателю» («Литературное положение» – т. 7 наст. изд., стр. 63).

А. Большаков. Роман в двух частях И. Д. Кошкарлова

СПб. 1868 г

ОЗ, 1868, № 10, отд. «Новые книги», стр. 194–196 (вып. в свет – 9 октября). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста – Известные страницы, стр. 540; позднее подтверждено найденным автографом Салтыкова – ИРЛИ.

В бездарном романе либерально-дворянского писателя И. Д. Кошкарлова, выступавшего

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) в печати также под псевдонимом «Н. Витняков» (см. далее рецензию Салтыкова на его роман «Русские демократы»), изображалась еще одна разновидность «нового человека», современного деятеля.

Герой романа, А. Большаков, зачитывавшийся в молодости Прудоном и Миллем «до головокружения», выступает в романе чуть ли не как «предвестник всеми ожидаемой новой жизни». Однако вся «новизна» его идей не идет дальше плоских сентенций и общих мест, вроде приводимых Салтыковым (наиболее нейтральных) или следующей: «...лучшая, то есть наиболее выгодная и самая приятная ассоциация есть семейство, в котором распределение труда, согласно стремлениям каждого члена, составляет основание и залог счастья» и т. п.

Практическая деятельность Большакова находит свое наиболее определенное выражение в эпизоде, сатирически интерпретированном Салтыковым: «Отделив межю крестьянский надел, он нанял себе хорошего сторожа, который днем и ночью оберегал его землю от потрав». В конце концов Большаков становится почетным мировым судьей, и в этой роли путь его как «деятеля» логически завершается.

Салтыков в своей рецензии эзоповски вскрывает охранительный смысл «романа» И. Д. Кошкарлова: истины, которые изрекает этот «копеечный мудрец», – «найлены где-нибудь в будке» (место пребывания будочника, то есть полицейского).

Перемелется – мука будет. Комедия в пяти действиях И. В. Самарина 03, 1868, № 11, отд. «Современное обозрение», рубрика «Петербургские театры», стр. 108–119 (вып. в свет – 11 ноября). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста – неизвестные страницы, стр. 500–503.

В самом начале своей рецензии Салтыков отделяет комедию И. В. Самарина «Перемелется – мука будет» от антинигилистических пьес «прошлого сезона» Александринского театра (см. прим. к стр. 280). В этом произведении нет явного «положительного нигилизма», больше того, комедия Самарина «желает что-то выразить, что-то оправдать, кому-то оказать услугу», на сцене появляется «новый герой» – студент Решетов. Однако автор комедии уклонился от какой бы то ни было попытки определить суть проповеди Решетова.

Истина, которую хочет утвердить автор, «давным-давно свила себе гнездо в сердце каждого извозчика». Эта характеристика «идей» пьесы Самарина связывает ее с романом И. Д. Кошкарлова «А. Большаков», рецензированным Салтыковым в предыдущей книжке «Отечественных записок». Подобные плоские истины и общие места («детские мысли») рождаются «на Сенной и в Гостином дворе». В конечном счете все они имеют охранительный смысл (их вполне вмещают «капельдинеры Александринского театра», то есть члены Театрально-литературного комитета при императорских театрах, см. т. 5 наст. изд., стр. 163 и 580).

Известный актер, уже свыше тридцати лет игравший первые роли в московском Малом театре, И. В. Самарин не был сколько-нибудь значительным драматургом и писал для собственных бенефисов. К 1864 г. относится его двухактная бытовая комедия «Утро вечера мудренее», к 1867 г. – историческая мелодрама «Самозванец Луба». Комедия «Перемелется – мука будет» прошла в его бенефис на сцене Малого театра еще 10 декабря 1865 г.

Александринский театр поставил ее 27 сентября 1868 г., в бенефис П. И. Малышева.

Стр. 280. В прошлый театральный сезон мы имели драму Г. Стебницкого, комедию Г. Чернявского и, наконец, комедию Г-жи Себиновой... – Подразумеваются постановки «антинигилистических» пьес, собственно, в двух смежных сезонах Александринского театра. «Расточитель» М. Стебницкого (Н. С. Лескова) был впервые представлен там 1 ноября 1867 г., «Гражданский брак» Н. И. Чернявского – 25 ноября 1866 г., «Демократический подвиг» Т. Себиновой (псевдоним Е. В. Новосильцевой) – 4 октября 1867 г. В суровых оценках Салтыкова отразились общие взгляды демократии. Так же отзывался об этих пьесах и В. А. Слепцов в «Женском вестнике» (см. ЛН, т. 71, М. 1963, стр. 266).

...положительный нигилизм... – Это часто употреблявшееся Салтыковым сатирическое понятие наиболее подробно разъяснено в рецензии на «Гражданский брак» Чернявского (см. наст. том, стр. 253).

О первых двух пьесах мы уже отдали отчет в нашем журнале... – В феврале 1868 г.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «Отечественные записки» поместили (без подписи) статью В. А. Слепцова о «Расточителе» на Александринской сцене. Салтыков специально об этой пьесе не высказывался, но посвятил критический разбор «Повестям, очеркам и расказамам» Стебницкого (Лескова). Комедию Чернявского «Гражданский брак» Салтыков рецензировал в августовской книжке журнала за тот же 1868 г. (см. наст. том, стр. 249–257 и 335–343).

Стр. 281. Чтобы до масленицы... – Начиная с «масленной» недели и затем в продолжение всей недели поста спектаклей не было.

...для начала наших бесед о петербургских театрах... – Статьи под этой рубрикой в «Отечественных записках» писали М. Салтыков, П. Ковалевский, В. Слепцов и Ф. Толстой.

В соседстве с «Прекрасною Еленой»... – Оперетта Жака Оффенбаха впервые прошла в Александринском театре 18 октября 1868 г., через три недели после премьеры комедии Самарина.

Стр. 282...г-же Оноре в «Жизни за царя» не аплодировал, а потому и мировым судьей Нероновым ни к какому наказанию приговорен не был... – Ирина Ивановна Оноре, певица-контральто московского Большого театра, дебютировала 4 января 1866 г. в партии Вани в опере Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), явившейся одной из ее коронных ролей. П. И. Чайковский назвал И. И. Оноре «украшением нашей русской оперы» (П. Чайковский. Полн. собр. соч., т. II, М. 1953, стр. 128). За неумеренные вызовы певицы на представлении «Жизни за царя» 14 ноября 1867 г. восемь ее поклонников, среди них трое студентов, были сданы в тверской участок, где провели ночь; судья Неронов приговорил каждого к 25 руб. штрафа с заменой трехдневным арестом. В своих воспоминаниях «Одиннадцать лет в театре» И. И. Оноре описала этот инцидент как «образец самоуправства власть имеющих и бесцеремонного их обращения с публикой и артистами...».

Стр. 282...г. Жанен или г. Дьёдонне... – Актеры на роли комических любовников и фатов в французской труппе петербургского Михайловского театра. Филипп Жанен играл там в 1867–1872 гг., Альфонс-Эмиль Дьёдоне – в 1864–1874 гг. В частности, Дьёдонне исполнял роль Париса в «Прекрасной Елене», поставленной Михайловским театром еще 9 апреля 1866 г.

Стр. 283...несмотря на утраты, понесенные тобою в лице гг. Чичерина, Дмитриева и чуть-чуть не Соловьева... – Министр народного просвещения А. В. Головнин утвердил на новый срок в должности декана юридического факультета В. Н. Лешкова, не собравшего положенных двух третей голосов при баллотировке 22 января 1866 г. Проф. Б. Н. Чичерин, избранный тогда же на эту должность, а с ним Ф. М. Дмитриев, С. М. Соловьев и трое других профессоров заявили протест; но, узнав, что новый министр Д. А. Толстой подтвердил решение своего предшественника и Александр II недоволен их поступком, продолжали занятия. В начале 1868 г. Чичерин, а за ним Дмитриев все-таки покинули Московский университет; Соловьев же остался. Газета Каткова «Московские ведомости» в длинейших статьях защищала честь университетского мундира и осуждала вольнодумных профессоров (1868, №№ 38, 42, 53, 59, 63 и др.).

...акцизно-социально-демократическому либерализму... – См. т. 7 наст. изд., стр. 190–191.

Стр. 284...вместо книжки, завертывают им «Бродящие силы» г. Авенариуса... – Книгу В. П. Авенариуса Салтыков рецензировал в апрельской книжке «Отечественных записок» (см. наст. том, стр. 237).

...ознакомился с «Новейшими основаниями науки психологии»... – Намек на книгу социолога и философа-позитивиста Герберта Спенсера «Основы психологии» (1859). Сравнивая с ней натуралистически описательную беллетристику Авенариуса и Боборыкина, Салтыков осмеивал претензии последних на анализ психологии прогрессивной молодежи.

...прочитал «Воительницу» г. Стебницкого... – Эта повесть М. Стебницкого (Н. С. Лескова) появилась в июльской книжке «Отечественных записок» 1866 г. и, на взгляд Салтыкова, проповедовала «учение о безделице».

...дал ему злата и презрел его... – Иронический парафраз на тему «Черной шали»

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Пушкина («Я дал ему злата и проклял его»).

Стр. 285...в глюковском «Орфее». – Опера Глюка «Орфей» (точнее – «Орфей и Эвридика») была поставлена в петербургском Большом театре 15 апреля 1868 г.

Убедился ли он в несостоятельности афоризмов «Вести» и стал подписываться на «Московские ведомости»? Или он подкрепил себя еще афоризмами «Нового времени»... – Подразумевается общность позиций реакционных газет «Весть» В. Д. Скарятин и Н. Н. Юматова, «Московские ведомости» М. Н. Каткова и только что (в 1868 г.) основанной А. К. Киркором и Н. Н. Юматовым газеты «Новое время».

Не он ли, прикрывшись именем г. Скарятин, отправляется с тоски на торжество открытия Орловско-Витебской железной дороги? – См. в наст. томе статью «Литература на обеде» и прим. к ней.

Стр. 289...вторая часть «Жертвы вечерней» г. Боборыкина? – Вторую часть этого романа Боборыкина Салтыков считал откровенно порнографической. В ней изображались «афинские вечера» в аристократическом доме свиданий (см. статью «Новаторы особого рода»).

Стр. 290. Вместо «Булочной» и «Героев преферанса»... – Одноактный водевиль П. А. Каратыгина «Булочная, или Петербургский немец» шел впервые в Александринском театре 26 октября 1843 г. «Герои преферанса, или Душа общества» – трехактная комедия-водевиль П. И. Григорьева, поставленная в Александринском театре 7 ноября 1844 г. Оба автора были актерами этого театра.

...мы слишком часто видим гг. Озерова и Шемаева... – Актер Д. И. Озеров (Дудкин) служил в Александринском театре в 1844–1854 и 1859–1880 гг., В. Р. Шемаев – в 1854–1903 гг. Оба, не блистая талантами, были непременными исполнителями ходовых комедий, водевилей и оперетт. Озеров, например, в сезоне 1868/69 г. выступал в опереттах Оффенбаха «Орфей в аду», «Званный вечер с итальянцами», «Прекрасная Елена».

Из прежних актеров остался один Самойлов... – О сложно менявшемся отношении Салтыкова к В. В. Самойлову см. т. 5, стр. 583.

Подумайте, читатель, что не только Мартынов, но даже Максимов до сих пор не заменен... – А. Е. Мартынов, выдающийся актер Александринского театра с 1835 г., художник демократической складки, талантливо воплощал на сцене протестующую тему «маленького человека», – например, был первым исполнителем роли Тихона в «Грозе» Островского. Он принадлежал к числу самых ценных Салтыковым актеров. 10 марта 1859 г. писатель принял участие в чествовании Мартынова: «Тургенев и Салтыков-Щедрин увенчали артиста лавровым венком, ленты которого поддерживали Л. Толстой и Гончаров» («Ежегодник императорских театров», сезон 1904/05, приложение, стр. 323–329). А. М. Максимов, одаренный актер Александринского театра с 1834 г., не обладал такой определенностью творческого и гражданского облика, как Мартынов; с 1853 г., после смерти трагика В. А. Каратыгина, занял его амплуа.

Стр. 291. Загляните... в балет, и там вы убедитесь, что каждый год непременно приносит что-нибудь новое: то г-жу Канцыреву, то г-жу Вергину, то г-жу Вазем. – Названные танцовщицы были недавно выпущены из Петербургского театрального училища в балетную труппу: К. И. Канцырева – в 1866, Е. О. Вазем – в 1867 и А. Ф. Вергина – в 1868 г. В статье «Проект современного балета» Салтыков одобрительно упомянул Канцыреву, исполнившую заглавную роль в осмеянном им балете «Золотая рыбка» (1867).

Внучка панцырного боярина. Роман из времени последнего польского мятежа И. И. Лажечникова. В трех частях Оз, 1868, № 12, отд. «Новые книги», стр. 252–256 (вып. в свет – 11 декабря). Без подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом – Z. f. sl. Ph., S. 184; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским – изд. 1933–1941, т. 8, стр. 504–505.

Рецензия Салтыкова на новый роман И. И. Лажечникова, темой которого было польское восстание 1863 г., повторяет и развивает ряд тезисов, высказанных в рецензии на его предыдущий роман – «Немного лет назад» (С, 1863, № 1–2; см. т. 5 наст. изд., стр. 307–319). Салтыков вновь противопоставляет «прежнего»

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Лажечникова, автора исторических романов, написанных в 30-е годы и тогда заслуживших высокую оценку критики и популярность у читателя, – Лажечникову «новому», пытавшемуся изобразить современную действительность в шаблонах «старой дорафаэлевской манеры» – наивноромантической поэтики нравоописательного романа начала XIX века («Герои почтенного автора разделяются на добродетельных и порочных»; ср. в рецензии на роман «Немного лет назад»: «изображаемые им лица разделяются на две половины: на добродетельных и плутов» и т. д. – т. 5, стр. 310).

Новая рецензия Салтыкова, однако, является более резкой, чем предыдущая. Это, несомненно, объясняется тем обстоятельством, что, напечатанный первоначально в 1868 г. в журнале «Всемирный труд», роман «Внучка панцырного боярина» [83] был проникнут антинигилистической и антипольской тенденцией. Он оказался реакционным не только в чисто литературном смысле, по самому типу художественного мышления автора, но и по своей идейной направленности. Этим объясняется, в частности, ироническое замечание Салтыкова, что добродетельные герои Лажечникова «не читают ни Бокля, ни Молешотта, ни даже Либиха» – авторов, популярных среди передовой молодежи начала 60-х годов (см., например, в «Отцах и детях» Тургенева). Для идейной тенденции романа показательна следующая характеристика главного героя, участника польского «повстанья» Владислава Стабровского: «Ему предстояло защищать дело темное, революционное, которое он сам в душе осуждал; но он продал душу свою этому делу, как сатане, и должен был стоять за него...» Поэтому Салтыков не мог теперь повторить того, что им было сказано в рецензии 1863 г.: «Г. Лажечников самая сочувственная молодому поколению личность из всей фаланги старых литераторов» (т. 5, стр. 308).

Стр. 295...выставкой магазина Дацаро... – Известные в свое время магазины гравюр и эстампов в Петербурге на Невском проспекте и в Москве на Кузнецком мосту.

...тип Авзония... – то есть итальянца.

...не бежал бы до лясу – то есть в лес (польск. – do lasu), иными словами – не стал бы повстанцем.

Стр. 297. Когда-то г. Лажечникову был высказан совет оставить область творчества и заняться... изданием мемуаров, которые во всяком случае должны быть небезынтересны. – Этот совет высказал сам Салтыков в рецензии 1863 г., руководствуясь, вероятно, успехом воспоминаний Лажечникова о Белинском, напечатанных в 1859 г.

Воспоминания прошедшего. Были, рассказы, портреты, очерки и проч  
Автора «Провинциальных воспоминаний». Москва, 1868 г  
ОЗ, 1868, № 12, отд. «Новые книги», стр. 256–258 (вып. в свет – 11 декабря). Без подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом – Z. f. sl. Ph., S. 184; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским – изд. 1933–1941, т. 8, стр. 505.

Автором «Воспоминаний прошедшего» был И. В. Селиванов – один из представителей дворянской интеллигенции 40-х годов, проделавший характерную эволюцию от сочувствия Герцену, с которым он встречался за границей в 40-х годах, и революции 1848 г., которую наблюдал в Париже, через либеральное обличительство – к активному участию, в качестве русского чиновника, в проведении правительственной политики в Польше после усмирения восстания 1863 г. (подробнее см. в сообщении Б. П. Козьмина «И. В. Селиванов и его письмо из революционной Франции 1848 г.». – ЛН, т. 67, М. 1959).

Широкой известностью пользовались в свое время «Провинциальные воспоминания» Селиванова, в которых «обличалось» русское чиновничество; они печатались в 50-х годах на страницах «Современника» (отд. изд.: ч. 1 – 1857 г.; ч. 2 – 1858 г.; ч. 3 – 1861 г.). Этим «воспоминаниям» Чернышевский дал такую характеристику: «Плохо, разумеется, со стороны таланта и ума, но эффектно и выгодно по своей резкости». [84] в 50-х годах имя Селиванова как литератора «обличительного направления» упоминалось нередко рядом с именем Салтыкова – автора «Губернских очерков».

«Воспоминания прошедшего» уже решительно отличались от «Провинциальных воспоминаний», о чем свидетельствует хотя бы предисловие, приводимое Салтыковым в его рецензии. Салтыкову, конечно, был известен и факт службы Селиванова в Польше, что также могло повлиять на характер его отзыва.

Стр. 297. Вот и еще старичок... – Рецензия на «Воспоминания прошедшего» И. В. Селиванова была напечатана в «Отечественных записках» непосредственно после рецензии на роман И. И. Лажечникова «Внучка панцырного боярина».

Говорят, что юмористы наши нередко впадают в преувеличения и что, например, повествования Г. Щедрина о разных губернских помпадурках и помпадуршах представляют некоторые юмористические излишества, ни для кого будто бы несомненные. – В таком духе высказался о «Старой помпадурше» (ОЗ, 1868, № 11) Ф. Толстой в письме к Некрасову (см. прим. к названному очерку в т. 8 наст. изд.; а также статью и публикацию К. И. Чуковского «Ф. М. Толстой и его письма к Некрасову». – ЛН, т. 51–52, М. 1949). Подобные характеристики сатиры Салтыкова появлялись и в печати. Так, например, М. Загуляев писал в обозрении «Столичная жизнь» о «Новом Нарциссе»: «Г-н Салтыков представляет нам преувеличенную до невозможности карикатуру <...> земских собраний» («Всемирный труд», 1868, № 2, стр. 132–133 второй пагинации).

...некоторые помпадуры сами о себе и притом самым серьезным образом писали такие юмористические сочинения, перед которыми бледнеет самая резкая русская юмористика... – Возможно, Салтыков говорит здесь о печатавшихся в 1864–1865 гг. в «Русском вестнике» Каткова знаменитых «Записках» Ф. Ф. Вигеля, отец которого был пензенским губернатором в конце XVIII в., а сам Вигель бессарабским вице-губернатором и градоначальником в Керчи. В начале 1868 г. Салтыков пародировал «Записки» Вигеля в «мемуарах» отставного помпадурка («Старый кот на покое»). Может быть, речь идет и о воспоминаниях И. И. Лажечникова, бывшего тверского и витебского вице-губернатора, – «Беленькие, черненькие и серенькие» (1858). Одна из тем записок Вигеля и Лажечникова – «помпадурство» (Вигель писал, например, об одном из губернаторов: «...добрый и честный князь завел свою мадам де Помпадур». – Ф. Ф. Вигель. Записки, том первый, М. 1928, стр. 59). О «Записках» Вигеля как одном из источников «Истории одного города» см. в комм. в т. 8 наст. изд.

Меж двух огней. Роман в трех частях М. В. Авдеева. С.-Петербург. 1869  
ОЗ, 1869, № 1, отд. «Новые книги», стр. 94–105 (вып. в свет – 12 января). Без подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом – Z. f. si. Ph., S. 184; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским – изд. 1933–1941, т. 8, стр. 505–508.

Уже после первой повести М. В. Авдеева «Варенька. Рассказ Ивана Васильевича», составившей вместе с «Тетрадью из записок Тамарина» и повестью «Иванов» роман под названием «Тамарин» (С, 1849–1851), за автором установилась репутация талантливого, но несамостоятельного рассказчика, легко поддающегося влиянию чужой манеры (о Тамарине как слабой «копии» Печорина писал, например, Чернышевский в рецензии 1854 г. на «Романы и повести» М. Авдеева). После появления следующих произведений Авдеева, в особенности романа «Подводный камень», эта репутация укрепилась, только в качестве образца, которому Авдеев подражает, чаще всего назывался теперь Тургенев. С появлением нового романа Авдеева «Меж двух огней» бедность его таланта обнаружилась еще нагляднее.

Не ограничившись изображением, в тургеневской манере, психологии любовной «страсти» (как это было, например, в «Подводном камне»), автор вознамерился нарисовать обширную картину «интереснейших общественных осложнений» (противоречий) периода крестьянской реформы. [85] Однако обращение Авдеева к социальной проблематике оказалось неудачным. Авдеев, как сказано в настоящей рецензии Салтыкова, «не воспользовался ничем из богатого материала, который находил у него под руками». Именно на этом основании, по-видимому, и было отклонено предложение Авдеева о публикации романа «Меж двух огней» в «Отечественных записках» [86] (роман был напечатан в «Современном обозрении», 1868, №№ 1–3).

Анализ «итогов» десятилетия реформ составлял одну из центральных тем публицистики Салтыкова конца 60-х годов («Признаки времени», «Письма о провинции», «Итоги»). И в рецензии на роман Авдеева Салтыков определил свою позицию в этом вопросе. Говоря о «резкой черте, которая круто заканчивает едва начатое и начинает вновь едва законченное», черте, которая сама по себе уже была своего рода «итогом», Салтыков безусловно имел в виду события 1862 г., положившие предел эпохе общественного подъема, связанной с крестьянской реформой. «Упразднение крепостного права» Салтыков рассматривал, в отличие от

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) либералов, «охранителей современности» (см. статью «Человек, который смеется»), лишь как начало и условие дальнейших преобразований, но не как единственную цель и завершение их. Тяжелое положение России в конце десятилетия реформ он объяснял неустранным владычеством крепостных отношений во всех сферах жизни, фактическим возвратом к «едва законченному», то есть обстоятельствам и порядкам дореформенного времени.

С этой точки зрения следовало бы, по мнению Салтыкова, подходить и к уяснению «нравственной и умственной смуты», охватившей русское общество в годы реформ. Это Авдеевым не сделано. Салтыков не мог согласиться и с идеализацией «деятелей» вроде главного героя романа Камышлинцева и их якобы «большого дела». Признавая субъективную честность («горячность») этих деятелей, Салтыков не мог не увидеть в них еще одну разновидность типа «гулящего русского человека». Действуя «бессознательно», бросаясь «на защиту подробностей и частных дел», они не в состоянии понять «ни общего смысла дела, ни тех выводов, которыми оно так богато». Общий же смысл дела состоял не только в формальном освобождении крестьян, но в освобождении всей русской жизни. Сама позиция Камышлинцева между крепостниками и сторонниками «хирургии» (таким в романе выступает студент-нигилист Благолепов), то есть позиция «меж двух огней», была глубоко чужда Салтыкову.

Столь же иронически, как «большое дело» Камышлинцева, трактует Салтыков и его «большую любовь». Напомнив читателю о романе Боборыкина «Жертва вечерняя», он приравнивает «пошлую теорию отношений мужчины к женщине», рекомендуемую Авдеевым и его героем, к «учению о безделице». Это «учение» незадолго перед этим Салтыков сатирически охарактеризовал в статье «Новаторы особого рода», написанной именно по поводу «Жертвы вечерней».

Стр. 307...приобрел популярность в той низменной среде... – Камышлинцев, в период проведения реформы, был членом специально созданного органа – так называемого «губернского присутствия по крестьянским делам», куда могли обратиться со своими нуждами крестьяне. «К Камышлинцеву, – пишет Авдеев, – все чаще и больше потянулось разных зипунов, сермяжков и засаленных сюртуков, между низшими слоями утвердилось убеждение, что Камышлинцев, Митрий Петрович, за нас!»

Стр. 308...у Ольги, как выражается г. Боборыкин, есть «перси». – См. статью «Новаторы особого рода» в наст. томе, стр. 39.

Мещанская семья. Комедия в четырех действиях М. В. Авдеева  
ОЗ, 1869, № 2, отд. «Совр. обозрение», рубрика «Петербургские театры», стр. 362–369 (вып. в свет – 2 февраля). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста – неизвестные страницы, стр. 503–506.

Комедия М. В. Авдеева «Мещанская семья» явилась поводом для новой атаки Салтыкова на «учение о безделице» в беллетристике и на драматургию «детских мыслей». Бессодержательность, натуралистическая бескрылость пьесы Авдеева для Салтыкова – еще один показатель идейного разброда в литературе и театре. Перечень репертуарных новинок, приведенный в статье, дает обрамление и фон неудачной пьесе, позволяет поместить ее в ряд сопутствующих однородных явлений.

У Салтыкова все они были на виду. В самом деле, если прибавить к двум статьям из раздела «Петербургские театры» тогда же написанные рецензии Салтыкова на комедии «Гражданский брак» Н. И. Чернявского, «Говоруны» И. А. Манна и другие (эти рецензии входят в настоящий том), окажется, что Салтыков, как строгий летописец, дал исчерпывающий обзор трех сезонов Александринского театра. Все мало-мальски заметные пьесы, появившиеся там с осени 1866 г. до весны 1869 г., получили его оценку, то более, то менее подробную.

Первое представление «Мещанской семьи» в Александринском театре состоялось 17 января 1869 г., в бенефис Е. Н. Жулевой.

Текст пьесы был напечатан в февральской книжке журнала «дело» за 1869 г. и позднее пересматривался автором. В частности, были заменены фамилии некоторых персонажей: Кубаревы переименованы в Кондрашовых, князь Жижимский – в князя Хилковатого.

Из сопоставления статьи Салтыкова, театральной афиши и текста пятиактной пьесы следует, что рецензируемый спектакль шел без первого действия – пролога,

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) происходящего в уездном городе, на родине Кубаревых – Кондрашовых. Соответственно в статье Салтыкова сдвинуто порядковое обозначение актов.

Стр. 311...и был у них подводный камень такой-то (смотри Жорж Занда, Бальзака, Тургенева и других изобретателей)... – Намек на подражательность романа Авдеева «Подводный камень». См. прим. к рецензии Салтыкова на роман Авдеева «Меж двух огней».

Стр. 314. У нас есть специалисты по части вольной клубнички... – К ним Салтыков относил тогда М. Стебницкого (Н. С. Лескова) с его повестью «Воительница», В. П. Авенариуса со сборником «Бродящие силы», П. Д. Боборыкина с романом «Жертва вечерняя» и др.

...специалисты по части извещения... – то есть литераторы охранительного и доносительного толка, авторы антинигилистических произведений.

...специалисты по части чиновнических обличений... – Салтыков постоянно осмеивал псевдообличительные пьесы этого рода, начиная от «Чиновника» В. А. Соллогуба и комедии Н. М. Львова «Свет не без добрых людей». См. в т. 5 наст. изд. рецензию на комедию Ф. Н. Устрялова «Чужая вина».

...есть даже специалист по части легкомыслия. – Имеется в виду Г. П. Данилевский. См. в наст. томе рецензию на его «Новые сочинения».

Стр. 315...комедия Ожье «Le gendre de monsieur Poirier». – Эта комедия, написанная Эмилем Ожье в сотрудничестве с Жюлем Сандо (1854), подтрунивает над «выскачками» буржуа и все же отдает им предпочтение перед разоряющейся, теряющей историческую перспективу и жизненные силы светской аристократией. Разбогатевший негоциант Пуарье утверждает при явном сочувствии авторов: «Коммерция – лучшая школа для государственных людей... Кому взять в руки бразды правления, как не тем, кто доказал, что способен вести собственные дела». Зять господина Пуарье, обедневший маркиз де Прель, в конце концов берется за «буржуазные дела» и оказывается «достоин быть буржуа». С осени 1854 г. пьеса Ожье и Сандо вошла в репертуар петербургской французской труппы. В следующем году ее переделал на русские нравы Н. Сазиков под названием «Зять любит взять, а тесть любит честь». 4 ноября 1855 г. эта переделка впервые шла в Малом театре со Щепкиным в роли Разумова, 7 ноября – в Александринском театре с Мартыновым в роли Дьячкова. Салтыков указывает, таким образом, на достаточно известный источник комедии Авдеева.

Стр. 317...кутил целую ночь на Средней Рогатке... – Средняя Рогатка – перекресток московской и киевской шоссейных дорог при въезде в Петербург; в те времена черта города.

С легкой руки автора «Окраин России» вошло во всеобщее обыкновение обращаться с остзейскими баронами без церемонии. – В 1868 г. славянофил Ю. Ф. Самарин выпустил в Праге труд «Окраины России. Серия первая: Русское Балтийское поморие», направленный против онемечения населения прибалтийских губерний. А. В. Никитенко записывал в дневнике 19 сентября 1868 г.: «Говорят, Самарин выпустил за границей «страшную» книгу против остзейских немцев» (А. В. Никитенко. Дневник, т. 3, Гослитиздат, л. 1956, стр. 130).

Стр. 318...и занавес падает среди громаднейшего шиканья. – 24 января 1869 г. актер Александринского театра Ф. А. Бурдин писал А. Н. Островскому: «Мещанская семья» Авдеева так провалилась, что я и не запомню такого фиаско – а сам автор весьма недоволен исполнением, которое действительно нельзя назвать удачным; Васильев не знал роли, а Н. Самойлов был очень вял и бесцветен» («А. Н. Островский и Ф. А. Бурдин. Неизданные письма», ГИЗ, М. – Пг. 1923, стр. 88).

...когда бы мы ни заглянули в театр, мы ни под каким видом не разминемся либо с «Пробным камнем», либо с «Фролом Скобеевым», либо с «Прекрасной Еленой». – Все эти новинки появились на Александринской сцене в непосредственной близости от «Мещанской семьи», в конце 1868 г. Оперетта Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена» была впервые представлена там 18 октября, комедия В. А. Дьяченко «Пробный камень» – 4 декабря, «Комедия о российском дворянине Фроле Скобееве и стольничьей, Нардын-Нащокина, дочери Аннушке» Д. В. Аверкиева – 30 декабря.

...в ту минуту, когда я дописываю эти строки, «Прекрасная Елена» выдерживает тридцатое представление... – Оно состоялось 21 января 1869 г., на четвертый день

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) после премьеры «Мещанской семьи», что позволяет точно датировать работу Салтыкова над статьей.

Говоруны. Комедия в четырех действиях И. А. Манна. Издание Кожанчикова. СПб. 1868 г  
ОЗ, 1869, № 2, отд. «Новые книги», стр. 344–346 (вып. в свет – 2 февраля). Без подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом – Z. f. sl. Ph., S. 184; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским – изд. 1933–1941, т. 8, стр. 508–509.

Еще в № 1–2 «Современника» за 1863 г., разбирая постановку в Александринском театре комедии Ф. Устрялова «Слово и дело», Салтыков с иронией отозвался об И. А. Манне как члене Театрально-литературного комитета, заметив, что тот, так же как и другие члены этого комитета, «никакого отношения к русской литературе не имеет» (т. 5 наст. изд. стр. 173).

П. М. Ковалевский, рецензируя в «Отечественных записках» 1868 г. под рубрикой «Петербургские театры» спектакль того же Александринского театра по пьесе И. А. Манна «Говоруны», связал новую комедию с хорошо известной читателям и зрителям комедией Устрялова и тем самым указал на ее тенденцию: «Задача пьесы: слово и дело, то есть – ино слово говорить, а ино делать, – как видите, не новая; но прием автора в ее развитии <нов>: г. Нильский, например, проповедует против бюрократии – бац, г. Монахов в ту же минуту предлагает ему хорошее место, в 5-м классе, и г. Нильский в ту же минуту его с признательностью принимает...» и т. д. «Современнее «Говорунов», – сказано было также в обзоре Ковалевского, – трудно себе и представить что-либо: все язвы современности тут раскрыты и осмеяны – земство, администрация, женский труд, ну и, разумеется, нигилизм» (ОЗ, 1868, № 2, отд. «Современное обозрение», стр. 330, 331). Однако далее этого беглого указания на антинигилистическую направленность пьесы Ковалевский не пошел. Салтыков воспользовался ее отдельным изданием, чтобы дать отпор клеветам литературствующего чиновника, драматурга «необулгаринской школы» (см. рецензию на «Гражданский брак» Чернявского, наст. том, стр. 249). «Новые идеи», в интерпретации сочинителя такого пошиба, – как раз «по плечу зрителям-столоначальникам». [87] Эти будто бы «новые идеи», констатирует Салтыков, «перешли к нам <...> по прямой линии от начальников отделения». Несколько позже, развивая эту мысль в статье «Уличная философия», Салтыков скажет о гончаровском Волохове, что тот «совершал подлог, выдавая за новое учение то, что, в сущности, содержалось и в старом учении» (см. наст. том, стр. 84).

Стр. 319...мед дивий... – то есть дикий.

Стр. 321. С кого они портреты пишут? Где разговоры эти слышат? – Из стихотворения Лермонтова «Журналист, читатель и писатель».

Где лучше? Роман в двух частях Ф. Решетникова. СПб. 1869 г  
ОЗ, 1869, № 4, отд. «Новые книги», стр. 270–273 (вып. в свет – 11 апреля). Без подписи. Авторство аргументировано С. С. Борщевским на основании анализа текста – изд. 1933–1941, т. 8, стр. 509–510.

В конце 60-х – начале 70-х годов творчество Решетникова оказалось в центре внимания русской критики. Не было, пожалуй, ни одного органа журналистики, который не откликнулся бы так или иначе на его романы. [88]

«Отечественные записки» уже в первом номере 1868 г. поместили рецензию на новое издание романа Решетникова «Подлиповцы», первоначально напечатанного в «Современнике» (1864, №№ 3, 4, 5). Через три месяца А. М. Скабичевский в статье «Живая струя» выделил Решетникова среди беллетристов народной темы – Н. Успенского, В. Слепцова и др. (ОЗ, 1868, № 4; по-видимому, и рецензия на «Подлиповцев» была написана Скабичевским).

В пяти книжках «Отечественных записок» за 1868 г. (№№ 6–10) печатался новый роман Решетникова «Где лучше?» – самое значительное произведение писателя. Роман Решетникова редактировался Салтыковым, [89] и он же, опираясь прежде всего на этот роман, дал принципиальную оценку творчеству Решетникова как выражению нового направления литературы (статья «Напрасные опасения», напечатанная в той же, десятой, книжке «Отечественных записок», что и окончание «Где лучше?»). И хотя Решетников, так же как и другие писатели этого направления, еще не смог

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) выйти за пределы «собираия» и «частной разработки» материала, его творчество стоит «выше обыкновенного уровня: именно он сумел показать, что «внутренняя сущность» простолюдина есть «сущность общечеловеческая». Из этого положения, очевидно, проистекает другой важный для Салтыкова вывод – о принципиальной возможности и, в конечном счете, неизбежности появления из крестьянской, будто бы пассивной, «воспитываемой» среды положительного героя (см. подробнее прим. к статье «Напрасные опасения», стр. 470).

Вся многочисленная «решетниковская» критическая литература после «Напрасных опасений», в сущности, исходила из мысли Салтыкова о Решетникове как самом значительном представителе особого направления литературы, чаще всего определяемого как новое по отношению к старому – творчеству литераторов поколения 40-х годов. [90]

Среди высказываний о Решетникове (непосредственно следовавших за журнальной публикацией романа «Где лучше?» и статьи «Напрасные опасения» и, с другой стороны, предшествовавших настоящей рецензии) наибольший принципиальный интерес представляют напечатанные в журнале «Дело» статьи П. Ткачева «Разбитые иллюзии» и «Внутреннее обозрение» П. Гайдебурова (№№ 11 и 12 «дела» за 1868 г.). Эти материалы, собственно, не дают литературно-критического анализа произведений Решетникова, представляя собой рассуждение «по поводу». [91] Публицисты «дела» разделяют мысль Салтыкова о целостной народной среде как объекте изображения Решетникова. Однако в ряде существенных моментов суждения расходятся. Так, рассматривая отношения «цивилизованной» и «нецивилизованной» толпы (то есть интеллигенции и народной массы), публицисты «дела» склонны квалифицировать выраженные в «Напрасных опасениях» надежды Салтыкова на возможность появления положительного героя в самой «воспитываемой среде» как «иллюзии саморазвития» (Ткачев), почти «славянофильство» (Гайдебуров). По мнению Ткачева, эти надежды ни в какой степени не вытекают из той картины народной жизни, которую представил Решетников (отсюда название статьи – «Разбитые иллюзии»). «Нецивилизованная» толпа способна лишь на разрозненные, «индивидуальные поиски за лучшим», не меняющие ее положения. К «общей, совокупной деятельности» ее может подвигнуть сила, которую «цивилизованная толпа» должна найти «в самой себе, в своем знании, в своем более высоком умственном развитии, в своих нравственных и интеллектуальных условиях...» («дело», 1868, № 12, отд. «Совр. обозрение», стр. 59).

Решетников, считает Ткачев, ошибается, когда думает, что пишет роман: грубая, невежественная среда не дает содержания для романа («это просто ряд очерков, характеризующих с поразительной рельефностью хозяйственный быт нашего мастерового, заводского, трудящегося люда» – там же, № 11, отд. «Совр. обозрение», стр. 22).

Комментируемая рецензия основывается на тезисе «Напрасных опасений» об общечеловеческом смысле рисуемой Решетниковым жизни «простолюдина» – русского крестьянина и рабочего. Не курьезные случаи, имеющие лишь этнографическое значение, а общечеловеческая драма, называемая борьбой за существование, дала содержание роману Решетникова. Но это уже не роман старого типа – личный, психологический, – а роман народный, в котором «главным действующим лицом и главным типом является целая народная среда». Личная драма в этой среде полностью поглощается драмой общей, и личность оказывается «перед безвыходностью некоторых отношений».

Но обречен ли народный роман на изображение лишь целостной, нерасчленимой среды? «Такая точка зрения на художественное воспроизведение народной жизни есть единственно верная», констатируется в заключении рецензии, но верная до тех пор, «покуда народные массы еще не в состоянии выделять из себя отдельных героических личностей». Ткачев скептически относился к самой такой возможности.

Стр. 323...совокупность неделимых... – Неделимое – термин «субъективной социологии» Н. К. Михайловского, обозначающий человеческую личность, индивидуальность как неразложимую, «неделимую» единицу в условиях общественного разделения труда. Общество, по Михайловскому, – «агрегат неделимых».

Материалы для характеристики современной русской литературы  
I. Литературное объяснение с Н. А. Некрасовым М. А. Антоновича  
II. Post-scriptum. Содержание и программа «Отчетственных записок»  
за прошлый год Ю. Г. Жуковского. СПб. 1869

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) 03, 1869, № 4, отд. «Новые книги», стр. 273–283 (вып. в свет – 11 апреля). Без подписи. Авторство, без аргументации, указано Н. К. Михайловским (предисловие к первому тому сочинений Г. З. Елисеева, сожженному цензурой). Подтверждено В. Е. Евгеньевым-Максимовым на основании писем Салтыкова к Некрасову, от 18 апреля и 22 мая 1869 г. («Печать и революция», 1927, № 4, стр. 57 и 58).

Когда в 1868 г. Некрасов, Салтыков и другие бывшие сотрудники «Современника» взяли в свои руки, при формальном сохранении редакции Краевского, издание «Отечественных записок», не вся руководящая группа «Современника», в силу различных причин, могла быть привлечена к участию в преобразованном журнале. За бортом его оказались М. А. Антонович, Ю. Г. Жуковский, А. Н. Пыпин. Цензурное ведомство решительно возражало против сотрудничества Антоновича и Жуковского в «Отечественных записках», завышенно оценивая степень их революционности. Неприемлемым для редакции оказалось и требование Жуковского стать «хозяином самого журнала наравне с г. Некрасовым» (об этом писал Жуковский в «Материалах для характеристики современной русской литературы», СПб. 1869, стр. 194). Сказались, видимо, и идейные противоречия, которые начали намечаться между группой Антоновича – Жуковского и Салтыковым еще в «Современнике». [92]

В томе I журнала «Современное обозрение» (1868, февраль) было опубликовано «Письмо гг. Ю. Жуковского и А. Пыпина», в котором авторы, в сущности, отмежевывались от «Отечественных записок», заявляя, что их письмо «имеет еще в виду предупреждение различных слухов касательно их отношений к другим журналам» (стр. 106). С начала 1869 г. Антонович и Жуковский выступают с планомерными нападками на «Отечественные записки» со страниц журнала «Космос» (1-е полугодие, № 4, «Литературное лицемерие «Отечественных записок». Вопрос, представляемый на разрешение легкой литературы»; № 8, «Журнально-научное обозрение»; 2-е полугодие, № 1, «По поводу письма Белинского, напечатанного в «С.-Петербургских ведомостях»; приложение к № 1, «Новые материалы для биографии и характеристики Белинского»). В марте того же года появилась их брошюра-памфлет «Материалы для характеристики современной русской литературы. I. Литературное объяснение с Н. А. Некрасовым М. А. Антоновича. II. Post-scriptum – Содержание и программа «Отечественных записок» за прошлый год. Ю. Г. Жуковского», полная пасквильных выпадов против Некрасова, Елисеева, Слепцова. Салтыков прямо в ней не назывался, но весьма прозрачные намеки на него встречались в брошюре многократно. Упоминалась «разная шушера и шелуха из «Современника», готовая лететь туда, куда подует ветер» (стр. 54). В этой общей формуле Салтыкову «предоставлялось узнать себя» (Н. К. Михайловский. Литературные воспоминания и современная смута, т. I, СПб. 1900, стр. 73–74). Говорилось о «литературе на обеде», к этой литературе причислялись «Отечественные записки», их сотрудники (стр. 39, 53). Утверждалось, что «Отечественные записки», не зная о чем писать, прибегают к издевкам над Скарятинным (стр. 78), «вашим конем остается один изъезженный Скарятин с братиею» (стр. 80). Перечисляя материалы, которые делали невозможным его участие в «Отечественных записках», Жуковский называл статью о «скандалах», [93] говорил, что не мог принять на себя ответственность «за теорию скандалов» (стр. 130, 196). Приводились слова Салтыкова из январской хроники «Нашей общественной жизни» (1864): «все там будем» (см. т. 6 наст. изд., стр. 234). По утверждению Антоновича, «сбылось оное знаменитое пророчество», «там», то есть в лагере реакции, среди единомышленников Краевского, оказались сотрудники «Отечественных записок» (стр. 55, 70, 79). Намекая на мартовскую хронику «Нашей общественной жизни» (1863), в которой под названием «Куриное эхо» высмеивалась газета Краевского «Голос» (см. т. 6 наст. изд., стр. 41), Антонович замечал: прежде сотрудники нынешних «Отечественных записок» «очень любили писать статейки о «Курином эхе». Позвольте же вас спросить, почему вы теперь ничего не пишете об этом интересном сюжете?» (стр. 77). Салтыкову и другим сотрудникам «Отечественных записок» переадресовывается уподобление снегирям, сделанное сатириком в «Нашей общественной жизни», в полемике с «Русским словом» (см. т. 6 наст. изд., стр. 336). По словам Жуковского, есть литераторы-обличители, каждый из которых, «как истый снегирь, подхватил себе какую-нибудь нотку и пошел на всю жизнь развивать ее по-своему на все литературные лады» (стр. 147). В брошюре с иронией замечалось, что надворные, действительные статские и прочие советники могут быть отличными обличителями и отрицателями (стр. 90). Адресат таких нападок, Салтыков, угадывался без всякого труда. Не исключено, что разрешение «Материалов» цензурой скрывало провокационный замысел раскола демократической журналистики (см. ЛН, т. 49–50, стр. 450–452).

Статья Салтыкова – вынужденное объяснение редакции «Отечественных записок» с авторами «Материалов», отпор инсинуациям Антоновича и Жуковского. В том же

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) номере журнала печатает свой «Ответ на критику» Елисеев.

Возмущение Салтыкова «Материалами» отразилось в его письмах к Некрасову от 18 апреля и 22 мая 1869 г. О том, что Салтыков «рвал и метал», читая «Материалы», пишет и Михайловский («Литературные воспоминания и современная смута», т. I, СПб. 1900, стр. 74). О «Материалах» см. воспоминания Антоновича и Елисеева (сб. «Шестидесятые годы», М. – Л. 1933), брошюру Ив. Рождественского «Литературное падение гг. Антоновича и Жуковского», СПб. 1869, статью «Искры» «Господа, потише!» (1869, № 11), фельетон Д. Минаева «С Невского берега» («дело», 1869, № 4).

Стр. 324. После довольно продолжительного молчания... – Последняя статья Антоновича в «Современнике» была опубликована в № 11–12 за 1865 г., Жуковского – в № 3 за 1866 г.

...горькое воспоминание о некоторых личных неудачах и разочарованиях... – Подразумевается стремление Жуковского стать, наряду с Некрасовым, хозяином «Отечественных записок» (см. выше).

...выместить эти неудачи и разочарования даже не на тех, кто был главною и действительною их причиной... – Видимо, намек на вмешательство властей, потребовавших устранения Антоновича и Жуковского (см. ЛН, т. 49–50, стр. 450).

Первый из них целых три года, последний в продолжение пяти месяцев... – Антонович был членом редакции «Современника» с января 1863 по декабрь 1865 г. Жуковский близок редакционным делам с сентября 1865 по март 1866 г.

Боа-констрикторы – удавы, «очаровывающие» взглядом свои жертвы.

Стоило г. Некрасову произнести «страстную речь», сказать <...> несколько искренних слов о литературных и не литературных звонарях... – Антонович в «Материалах» писал, что, соглашаясь на сотрудничество в «Современнике», он потребовал от Некрасова объяснения тех неблагоприятных слухов, которые о нем распространялись. «Страстная речь» Некрасова, опровергавшего эти слухи, убедила Антоновича («Материалы», стр. 28). В качестве примера мнимолиберальных фраз, которые должны ввести в заблуждение общественное мнение, Антонович приводил отрывок из «Внутреннего обозрения» Елисеева («Современник», 1861, № 2, стр. 346–347), где говорилось об уважении к добросовестным убеждениям, о ненависти к литературным и не литературным звонарям («Материалы», стр. 48). К таким «звонарям» Антонович «относит» самих Некрасова и Елисеева.

Стр. 325...г. Благосветлов имеет обыкновение спать в лакейских на барских шубах. – В полемике с «Русским словом» Антонович упрекал Благосветлова в том, что тот «некогда в графской передней почивали, вместо лавров, на связке парадных гербовых ливрей» («Глуповцы в «Русском слове», – С, 1865, № 2, стр. 371). Этот же упрек повторяется в статьях «Барские лакеи в «Русском слове» (там же, № 3, стр. 204) и «К читателям» (там же, № 5, стр. 106). Об «остроумном выражении» Салтыкова, высмеявшего Антоновича, который сделал центром полемики вопрос о «барских шубах», писал в своих воспоминаниях Елисеев (см. сб. «Шестидесятые годы», стр. 284).

Стр. 327...представьте себе, читатель, что вы русский литератор... – Грустные размышления о трудном пути русского литератора имеют автобиографический характер. К ним писатель возвращается неоднократно («Имярек», «Круглый год», «Приключение с Крамольниковым» и др.).

«Платоны» и «славные разумом Невтоны» – из оды Ломоносова «На день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны». У Ломоносова: «быстрых разумом Невтонов». Последних Салтыков упоминает и в цикле «За рубежом», с грустью говоря о судьбах просвещения в царской России (сцена «Граф и репортер»).

Стр. 328...это закон 6 апреля 1865 года – то есть новый цензурный устав, отменивший для ряда изданий на определенных условиях предварительную цензуру (см. стр. 493). Слова Салтыкова о том, что этот закон – «единственное ограничение», можно толковать двояко: 1) редакция «Отечественных записок» будет ориентироваться лишь на закон, а не на желания Краевского, 2) закон, а не Краевский, ограничивает редакцию, мешает ей высказать свою точку зрения. Второе толкование перекликается со статьями Салтыкова «Несколько слов по поводу

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
«Заметки», «Насущные потребности литературы» и др.

Стр. 329...как видно из его признаний, имел даже переговоры об участии в нашем журнале... – См. об этом «Материалы», стр. 126–131. См. также письма Некрасова Жуковскому, Пыпину, Краевскому (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. XI, М. 1952, стр. 89, 91, 105, 106).

...будто бы он пробовал средство заставить вас замолчать или не пустить в литературу... – Антонович намекал, что Некрасов, стараясь выгородить себя, обвинял перед лицом властей своих сотрудников в «неблагонадежности», в том, что они ответственны за «крамольное» направление «Современника». По словам Антоновича, слухи об этом дошли до него из «нелитературной среды», но «имеющей влияние на литературу» («Материалы», стр. 13). Возможно, власти нарочно распускали подобные слухи, стремясь расколоть демократический лагерь.

Первый из этих «маневров» заключается в том... – Говоря о различных «маневрах», при помощи которых можно обойти цензурные препятствия, Антонович замечал, что следует вести речь не об определенных идеях, а о личностях, их олицетворяющих, например о Каткове и Леонтьеве. Он намекал, что теперь к этой паре реакционных журналистов прибавилась другая пара (Краевский – Некрасов). Салтыков, возражая Антоновичу, сопоставляет с московской парой (Катков – Леонтьев) «петербургскую пару» (Антонович – Жуковский).

Стр. 331...г. Жуковский вдруг из упорных маневристов делается поборником «элементарных изложений»... – Жуковский утверждал в «Материалах», что «одно представление фактических статей <...> одно элементарное представление сведений» полезнее всех либеральных обличений (стр. 153–154). Салтыков готов видеть в этих формулировках лишь «неловкий полемический прием». На самом деле утверждения Жуковского, что «разъяснение всех <...> вопросов <...> вполне доступно для либеральной литературы», что возможна плодотворная деятельность в рамках дозволенных границ, внимание к проблеме «накопления», а не «перераспределения» богатств (см. журнал «Современное обозрение», 1868, т. I, стр. 4, объявление об издании), являлись свидетельством отказа Жуковского от прежнего радикализма. Дальнейшая судьба Жуковского, служба управляющим Государственным банком – закономерное завершение эволюции его взглядов.

Стр. 332...причина этого... в чем-то другом... – намек на цензурные препятствия.

...«Отечественные записки» не препираются с г. Краевским. – Под давлением Краевского в договор о передаче журнала Некрасову был внесен пункт, исключающий полемику с «Голосом» (ЛН, т. 53–54, М. 1949, стр. 341). Такое соглашение отчасти оправдывалось и цензурными соображениями, иначе было бы сразу ясно, что Краевский остался лишь номинальным редактором «Отечественных записок». Антонович, задевая лично Салтыкова, вспоминая о «Курином эхе», намекал, что прекращение полемики с «Голосом» – свидетельство потери прежними сотрудниками «Современника» их самостоятельности, полного подчинения Краевскому.

...это маневр не всегда полезный... чему блестящим примером может послужить полемика г. Антоновича с гг. Благовосветловым и Писаревым. – Разбирая «Материалы», Салтыков несколько раз отрицательно высказывается о полемике Антоновича с «Русским словом», критикует методы спора, в котором приходилось «есть друг друга и самих себя» (стр. 330 наст. изд.). Такое отношение к полемике вызвано, в частности, сближением Писарева с «Отечественными записками», пересмотром вопроса о значении его наследия (см. статью А. М. Скабичевского «Дмитрий Иванович Писарев» – ОЗ, 1869, № 3).

Стр. 334...какие-то визитные карточки... – Антонович говорил о дружбе Некрасова с «так называемой высшей» сферой, о визитных карточках на его столе от особ, известных своей враждой к прогрессивной литературе («Материалы», стр. 31).

...какой разговор имели с ним когда-то гг. Елисеев и Слепцов. – Чтобы поссорить сотрудников «Отечественных записок», Антонович сообщал, что Слепцов некогда подбивал сотрудников «Современника» на бунт против Некрасова, а Елисеев зло высмеивал жалобы Некрасова на финансовые трудности («Материалы», стр. 32–34).

Торквемадство – оправдание всякой подлости, ренегатства, от имени Томаса Торквемады, «великого инквизитора» Испании, считавшего дозволенными любые средства для искоренения «ереси».

...таким образом формулировал допросные пункты... – Салтыков с некоторыми сокращениями цитирует вопросы, заданные во время так называемого «Иверского следствия» феофаном Прокоповичем Михаилу Аврамову (см. И. Чистович, Феофан Прокопович и его время, СПб. 1868, стр. 452–453).

Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого (автора романов «Некуда» и «Обойденные»). 2 тома. С портретом автора. 1868 и 1869  
ОЗ, 1869, № 7, отд. «Новые книги», стр. 53–61 (вып. в свет – 10 июля). Без подписи. Авторство указано Н. В. Яковлевым – Письма, 1924, стр. 51; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским – изд. 1933–1941, т. 8, стр. 510–511.

Еще в апреле 1865 г. Салтыков, служивший тогда в Пензе, намеревался написать для «Современника» разбор романа Лескова «Некуда», незадолго перед тем законченного печатанием («Библиотека для чтения», 1864, № 12). [94] (см. письмо к Некрасову от 8 апреля 1865 г.) Неоднократные упоминания Лескова (Стебницкого) в статьях и рецензиях Салтыкова, печатавшихся уже в «Отеч. записках» (до наст. рецензии), характеризуют его как представителя «школы клубничества» (см., например, рец. на «Бродящие силы» Авенариуса) и разумеют, по-видимому, не столько «Некуда», сколько рассказ «Воительница» (см. наст. том, стр. 237 и 284).

Однако именно роман «Некуда», сразу и навсегда, определил для Салтыкова, как и для всей демократической критики 60-х годов, «лицо», репутацию Лескова, и в этом смысле действительно имел для писателя «роковое и почти трагическое значение».

Поэтому Салтыков и воспользовался появлением двухтомника произведений Лескова, чтобы высказаться о политическом смысле первого антинигилистического романа Лескова, не входившего в это издание, а также «писем» «Русское общество в Париже», опубликованных на страницах «Библиотеки для чтения» в 1863 г. (№№ 5, 6, 9) и перепечатанных, с резким заострением антинигилистической тенденции, в первом томе рецензируемого Салтыковым сборника.

Отрицая всякую возможность относиться к «повестям, очеркам и рассказам» М. Стебницкого как к литературным произведениям, Салтыков и аргументирует свою позицию характеристикой этих двух сочинений Лескова. Между тем в рецензируемый им двухтомник входили и такие художественно значительные повести и рассказы Лескова, как «Овцебык», «Леди Макбет Мценского уезда», «Старые годы в селе Плодомасове» и др. [95]

Салтыков отмечает характерную особенность всех «отзывов» русской печати на роман Лескова: «Отзывы эти были не более как частные взрывы личного негодования, это была просто-напросто брань». В самом деле, современники увидели в «Некуда» прежде всего пасквиль на вполне определенные и легко узнававшиеся лица, так или иначе прикосновенные к освободительному движению. Такое прозрачное указание на лица и квалифицировалось как доносительство или, по выражению Салтыкова, «личный подвиг», подлежащий суду не литературной критики, а общественного мнения. Ближайшим образом Салтыков имеет в виду следующие высказывания печати.

Одним из первых, именно в таком духе, откликнулся на роман, еще до завершения его публикации, Варф. Зайцев в статье «Перлы и алмазы русской журналистики», уподобив «Некуда» материалам полицейских изданий. «В сущности, это плохо подслушанные сплетни, перенесенные в литературу», [96] – писал Зайцев.

Особый поворот «брани» и «поголовным ругательствам» дал А. С. Суворин, так же как и Лесков, сотрудничавший одно время в «Русской речи» Евг. Тур. В фельетоне под названием «Пропущенные главы из романа «Некуда». 1. Вместо вступления: Письмо к редактору «С.-Петербургских ведомостей», он характеризует сочинение Лескова как «произведение совершенно субъективное», как откровение «темной стороны темной личности». Суворин, по-видимому, намеревался дать памфлетное изображение участия самого Лескова (доктора Розанова) в радикальных кружках. «В последующих главах, – заключал он свой фельетон, – которые будут появляться параллельно с появлением в «Библиотеке для чтения» глав романа «Некуда», я постараюсь восстановить события, частью уже рассказанные г. Стебницким, частью им предположенные, в их настоящем свете». [97] «Такая угроза должна была цепенить душу». [98] Впрочем, продолжения фельетона Суворина не последовало.

На эти первые отзывы Лесков тоже отвечал «бранью». Салтыков имеет в виду,

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) конечно, «Объяснение г. Стебницкого», напечатанное в двенадцатой книжке «Библиотеки для чтения» за 1864 г. – той же книжке, и заключение «Некуда». В этом «объяснении», наряду с многими новыми выпадами памфлетного характера, Лесков пытался и оправдаться, в частности, следующим образом: «Нападать на меня прямо за направление романа было неудобно по многим существующим положениям, а простить этого направления мне не могли и придрались к подысканному кем-то внешнему сходству некоторых лиц романа с лицами живыми из литературного мира». Это, по меньшей мере весьма неловкое, «оправдание» вызвало отповедь Писарева, со всей резкостью заявившего о неприглядности «искусственной неприкосновенности». «Внешнее» же, но не случайное, сходство персонажей романа с известными лицами, в сущности признанное Лесковым в его «объяснении», Писарев квалифицирует как «наглую мистификацию» («Прогулка по садам российской словесности». – «Русское слово», 1865, № 3).

Полемика вокруг романа «Некуда» наложила печать на второе издание «писем» «Русское общество в Париже», занявших больше половины первого тома «Повестей, очерков и рассказов» Стебницкого. (Именно поэтому Салтыков и назвал книгу Лескова «апелляционной жалобой».) Все, за исключением одного, приводимые Салтыковым выпады против нигилистов (а также и многие другие) появились только в издании 1868 г., «дополненном» вставками, часто совершенно неорганичными, именно такого содержания (на подобный характер «дополнений» и обратил внимание Салтыков – см. постр. прим.). Так, например, критики «Некуда» названы в новом издании «писем» «поборниками насильственных переворотов», «партией беспорядка» и т. п. (стр. 389, 390).

Выступления революционно-демократической критики против Лескова были, по-видимому, тем резче, что она видела в нем ренегата, изменившего идеалам и друзьям молодости. Именно на это обстоятельство намекают слова Салтыкова: «Нигилизм для него – это поэма всей его жизни, это нечто вроде «потерянного рая».

Стр. 336...из людей, сочувствующих г-ну Стебницкому... ни один не решился вступить за него печатно... – За Лескова, еще до окончания печатания романа, «вступилась» редакция «Библиотеки для чтения» в заметке «Необходимое объяснение» (1864, № 6). Однако через полгода публикация «Объяснения г. Стебницкого» (см. выше) сопровождалась уже следующим дезавуирующим примечанием редакции: «Не имея права отказать автору, мы сообщаем его объяснение, хотя далеко не разделяем высказанных в нем мнений».

Стр. 338...какое участие г. Стебницкий принимал в журналистике, какую роль он играл в истории петербургских пожаров и почему уехал за границу, что он там делал и как разочаровался в «новых людях». – Этим темам посвящена глава «Искандер и ходящие о нем толки», включенная в состав «писем» только в изд. 1868 г.

Стр. 339...он <русский слуга>... ни «Современника», ни «Русского слова» не читал... – Цитата из главы «Русская прислуга в Париже», стр. 327 первого тома «Повестей, очерков и рассказов» Стебницкого. Текст этот имелся в «Библиотеке для чтения».

«А свои родные нигилисты еще лучше обрабатывают» – из главы «Какие отношения существуют между обществом русским к польскому обществу в Париже?» (вставка в изд. 1868 г., стр. 437).

...скомпрометировать г-на Стебницкого перед правительством... – из главы «Скандалы, устроенные русскими в Париже», стр. 388, изд. 1868 г. Эпизод с компрометирующим письмом и выпад против Писарева отсутствовали в тексте «Библиотеки для чтения». В главе «Скандалы...» Лесков, в частности, рассказывает и об инциденте с русским эмигрантом, изгнанным из Праги. Этот инцидент комментирован Салтыковым в «Русских гулящих людях».

Стр. 340...о возвращении г-на Кельсиева... – О возвращении В. Кельсиева Лесков упомянул в главе «Образ жизни русских Латинского квартала», вновь при этом не удержавшись от выпада против «мелких, безнатурных людей резонирующего нигилизма» (стр. 345).

Рассуждая... о деликатности чехов... – глава «Парижские чехи», стр. 464–465, изд. 1868 г., где и появился весь этот цитируемый Салтыковым фрагмент о «наших наглых и невежественных революционерах».

Стр. 341...о нигилистах–чиновниках... – О чиновниках, «способных в одно и то же время и нигилистничать и присягать на верность службы, носить и форменный мундир и в нем социалистические прокламации», Лесков пишет в главе «Скандалы...» (стр. 386).

...он отлично знает русский народ, совсем не то, что... Успенский и Якушкин, а гораздо лучше. – В главе «Русская прислуга в Париже» в изд. 1868 г. говорилось: «Я ни разу не увлекался во время погасшего разгара народничанья в русской литературе, когда Успенский с своим «чифирем», а Якушкин с своими мужиками, едущими «сечья», ставились выше Шекспира, и не увлекаюсь теперь, в эпоху безобразной литературной реакции против народа. Я смело, даже, может быть, дерзко, думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь, а не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе на гостомельском выгоне» и т. д. (стр. 319–320). Выделенное разрядкой отсутствовало в тексте «Библиотеки для чтения» (ср. «Библиотека для чтения», 1863, № 5, отд. IV, стр. 18).

Стр. 341...к лаю... – Здесь и дальше в цитате курсив Салтыкова.

Стр. 342. «Посмотрите... на этих дочерей...» – Весь цитируемый Салтыковым фрагмент был вставлен в изд. 1868 г. после следующих слов: «Мы хвалились перед Западною Европою непоколебимую крепостью семейного начала, а посмотрите-ка, что делается нынче с этим крепким семейным началом в нашем так называемом просвещенном, да даже и не в просвещенном городском кружке! Где там эта крепость этого начала?» (стр. 495, гл. «Русские барыни»).

Даже г. Гончаров... – См. статью «Уличная философия».

Сочинения Я. П. Полонского. Два тома. СПб. 1869  
Оз, 1869, № 9, отд. «Новые книги», стр. 46–50 (вып. в свет – 12 сентября). Без подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом – Z. f. sl. Ph., S. 184; подтверждено С. С. Борщевским на основании свидетельства автора рецензии на «Снопы» Полонского (а им был Салтыков) о принадлежности ему также и настоящей рецензии – изд. 1933–1941, т. 8, стр. 519.

Разбирая стихотворения Я. П. Полонского, представленные в двух вышедших в 1869 г. томах его четырехтомного собрания сочинений, Салтыков, в сущности, лишь резко сформулировал то, что к концу 60-х годов стало фактом (и что было с понятной горечью констатировано самим поэтом в его письмах к Тургеневу), [99] – охлаждение, невнимание публики и критики к поэзии Полонского. Салтыков определил и причины этого охлаждения: неопределенность творческой личности, «физиономии» поэта, эклектизм, отсутствие тенденции (см. далее рецензию на «Снопы» Полонского).

Руководствуясь этим критическим мерилom, Салтыков использует свой излюбленный прием: подвергает своеобразному ироническому анализу наиболее характерное, с его точки зрения, стихотворение Полонского – «Царство науки не знает предела...» (1856), где «пугливость», неясность мысли, больше чем в каком-либо другом из его стихотворений, выражается в неточности образов.

Иначе воспринимал поэзию Полонского Тургенев, что и было причиной его резкого письма-протеста в редакцию «С.-Петербургских ведомостей», вызванного рецензией «Отечественных записок». [100] Тургенев согласен, что стихотворение «Царство науки...» – слабое, но не в этом стихотворении сказалась истинная и сильная сторона таланта Полонского. Поэтому Тургенев и пишет о «неискусной» и «недобросовестной» критике, идущей «не по следу»: произведения Полонского «встречаются одним лишь глухим молчанием или гаерскими завываниями, свистом и кривляньями наших псевдосатириков». Заканчивается письмо недоброжелательной характеристикой поэзии Некрасова и намеком на пристрастное отношение критики «Отечественных записок» к Полонскому в угоду «патрону» – Некрасову (см. рецензию Салтыкова на «Снопы» Полонского, где, в частности, дан ответ и на это обвинение в «клиентизме»).

Другим наиболее значительным откликом на рецензию Салтыкова была статья Страхова о «Сочинениях» Полонского, напечатанная ровно через год («Заря», 1870, № 9). Страхов обильно цитировал рецензию Салтыкова и включил в свою статью «письмо» Тургенева в «С.-Петербургские ведомости». Замечание Тургенева о «клиентизме»

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru критики «Отечественных записок» Страхов сделал центральным тезисом своей статьи – о вражде «журналов, руководимых г. Некрасовым», «ко всякой поэзии, кроме той, которую занимается г. Некрасов» (стр. 129 второй пагинации). У Полонского, писал Страхов, действительно нет «резкого и узкого направления, как у г. Некрасова». Он – «человек сороковых годов». «Это отсутствие односторонних, кидającychся в глаза тенденций «Отечественные записки» считают главным недостатком г. Полонского; в направлении для них главное дело, и потому писатель без направления должен быть объявлен не только плохим, но, если можно, даже вовсе несуществующим и никому не известным» (стр. 134). Между тем Полонский – «настоящий, прирожденный поэт» (стр. 147). [101] (См. далее рецензию Салтыкова на «Снопы» Полонского.)

Стр. 343...в качестве вульгаризаторов чужих идей... – Здесь в значении популяризаторов.

Стр. 345...г. Авдеев совсем не г. Авдеев, а просто псевдоним Тургенева... – См. рецензию на роман Авдеева «Меж двух огней» и прим. к ней.

Стр. 346...нам известны целые учреждения, которые заведены именно с целью противодействовать победам науки... – Намек на цензурное ведомство, в котором служил в это время Полонский, неоднократно, впрочем, писавший о «ненавистном» для него «званье цензора» (см., например: И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. VIII, стр. 468) и вскоре оставивший службу в цензуре.

Записки о современных вопросах России, составленные Георгием Палеологом  
СПб. 1869 г

ОЗ, 1869, № 9, отд. «Новые книги», стр. 50–55 (вып. в свет – 12 сентября). Без подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом – Z. f. sl. Ph., S. 184; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским – изд. 1933–1941, т. 8, стр. 511–513.

Гусарский полковник Г. Н. Палеолог в пореформенные годы выступал как заурядный военный историк и довольно плодовитый публицист. Примыкая в крайнем шовинизме к «Московским ведомостям», по своей откровенно крепостнической направленности он был ближе к «Вести». Рецензируемая Салтыковым книга представляет собой сборник связанных только общим реакционным духом тринадцати статей, посвященных самым различным вопросам – от положения народного хозяйства при вольнонаемном труде до устройства полковых комитетов для контроля за расходом хозяйственных денег. Как указывается в рецензии, не обошлось в книге и без обычного для подобной литературы доносительства на «увлечения журналистики». Салтыков не только разоблачает крепостническую направленность сборника – он использует его содержание, чтобы тонко провести мысль, что самодержавная власть по своей природе противится реформам и вынуждена идти на них лишь под давлением обстоятельств.

Стр. 348...явились Н. А. Безобразов и Гр. Бланк... «Московские ведомости», имея во главе публициста В. Ржевского. – О Н. А. Безобразове см. т. 5 наст. изд., стр. 638–639; о Гр. Бланке – наст. том, стр. 577–578; о В. Ржевском – т. 5, стр. 551–552.

...отделив его от нигилизма и сепаратизма... – Если «Московские ведомости» заявляли о своей поддержке реформы 1861 г. и обвиняли во всех общественных неурядицах «нигилистов» и «польскую интригу», стремящуюся к отторжению Польши от Российской империи, то «Весть» прямо заявляла, что упразднение крепостного права «положило начало повальной ломке, ниспровержению наиболее крупных результатов всей нашей истории...» («Весть», 1869, № 1 от 1 января).

Стр. 349...отмена телесных наказаний... есть факт уже совершившийся. – Закон от 17 апреля 1863 г., отменив в принципе телесные наказания, сохранил их по отношению к крестьянам (по приговору земского суда с утверждения земского начальника – до 20 ударов розгами), нижним чинам, арестантам и малолетним ремесленникам.

Стр. 350...свидетельством Свода законов Российской империи. – Ст. I «Свода законов» гласила: «Император Всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный»; ст. 47: «Империя Российская управляется на твердых основаниях положительных законов, учреждений и уставов, от самодержавной власти исходящих» («Свод законов Российской империи», изд. 1857 г., т. I, ч. 1, СПб. 1857, стр. 1,

11).

Стр. 356...смягчение дисциплинарных наказаний... введение системы военно-окружных управлений... отмена откупов... – Высочайшим повелением от 17 апреля 1863 г. были отменены шпицрутены, а дисциплинарные взыскания ограничены 50 ударами розг, причем этому наказанию могли быть подвергнуты лишь те нижние чины, которые за прежние проступки занесены в штрафной журнал. В целях устранения крайней централизации военного руководства с 1862 г. началось создание военных округов, законодательно оформленное в 1864 г. Откупа в 1861 г. были заменены акцизным обложением алкогольных напитков (см. т. 7, прим. к стр. 190).

Стр. 351...о чем и «не снилось нашим мудрецам»... – Из трагедии Шекспира «Гамлет» в переводе М. Вронченко: «Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам» (действ. I, сц. 5).

Недоразумение. Повесть в трех частях Данкевича. С.-Петербург. 1869 ОЗ, 1869, № 10, отд. «Новые книги», стр. 241–244 (вып. в свет – 15 октября). Без подписи. Авторство установлено на основании анализа текста С. С. Борщевским – изд. 1933–1941, т. 8, стр. 513–515.

По традиции, идущей от П. В. Быкова, [102] автором повести «Недоразумение», скрывшимся за псевдонимом Данкевич, считается некий Е. Толстой, о котором, однако, не имеется никаких сведений. По весьма вероятному предположению С. А. Макашина, повесть написана известным в свое время литератором Ф. М. Толстым. В качестве члена Главного управления по делам печати Ф. М. Толстой «наблюдал» за «Отечественными записками» и одновременно печатал там свои статьи на музыкальные темы. Повесть была предложена для публикации в обновленных «Отечественных записках» именно Ф. Толстым. Рекомендую повесть Некрасову, Ф. Толстой назвал ее «поэтически-описательной болтовней» «с примесью психического анализа» и видел в ней некий необходимый противовес произведениям Решетникова и Гл. Успенского, которые превращают «Отечественные записки» в «вместилище подземных, грязных вод». [103]

Рецензируемая Салтыковым повесть Данкевича действительно была подчеркнута «очищена» от какой бы то ни было общественной проблематики, все содержание ее ограничено детальной разработкой различных проявлений и оттенков психологии любовного чувства. Действие повести разворачивается в Италии, сюжет ее – сложные отношения двух приятелей – русских, по-видимому, из светской молодежи, и сестер-итальянок. В конце концов выясняется, что герой повести любит не ту из сестер, на которой женится, а приятель любит его жену – в этом и заключается «недоразумение», разрешающееся драматической развязкой.

В переписке Некрасова с Ф. Толстым по поводу «Недоразумения» было названо и имя Салтыкова, которому Некрасов, по-видимому, собирался поручить редактирование «Недоразумения». Салтыков, писал Ф. Толстой Некрасову 7 августа 1868 г., «несмотря на пронизательный его ум и громадный талант публициста, не может безапелляционно резать, кромсать и колыми паче изменять произведение, написанное в чисто художественном духе, без малейшей примеси какой-либо политической или социальной тенденциозности». [104] Письмо Ф. Толстого стало, вероятно, известно Салтыкову, так как заключительная часть его рецензии является, в сущности, ответом на эту хвалу «чистой художественности». «Недоразумение» было, естественно, отклонено редакцией «Отечественных записок».

Когда в 1869 г. «Недоразумение» вышло отдельным изданием, Ф. Толстой послал Салтыкову экземпляр с (несохранившимся) сопроводительным письмом. В письме же к А. А. Краевскому от 31 июля 1869 г., отправленном одновременно с письмом к Салтыкову и, по-видимому, сходном по содержанию, он выражал надежду на снисходительное отношение «Отечественных записок» к протезируемому автору. [105] Отзыв журнала оказался, однако, по существу безусловно отрицательным, хотя по форме довольно мягким. (Возможно, по настоянию Ф. Толстого анализирующая, критическая часть рецензии была сокращена.)

Салтыков, руководствуясь просветительски-социалистическими идеями, дает замечательное толкование «недоразумения», послужившего темой повести Данкевича. Вновь, как ранее в «Современных призраках», пишет он о неразумности, «призрачности» «известных форм жизни», об «искусственности общественных отношений», которая и является в конечном счете источником многообразных «недоразумений», в том числе и того, которое изображено в повести Данкевича.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Причина этого последнего – с одной стороны, общественная регламентация, ограничение и искажение отношений мужчины и женщины и, с другой, необходимо вытекающее из этого ограничения и вместе с тем «противное человеческой совести» уклонение от установленных «регламентов». Регламенты же эти, регулирующие отношения мужчины и женщины, оказываются необходимыми в силу исключительного, гипертрофированного, за счет всех остальных, развития любовной страсти, которая, в глазах общества (и в глазах автора рецензируемой Салтыковым повести), является «страстью по преимуществу». Салтыков, вслед за Фурье, полагает, что «недоразумения» этого рода исчезнут, когда место исключительности займет гармония страстей, «гармоническое развитие всех сил и способностей человека». Поэтому так называемый «женский вопрос», освобождение женщины, не существует для Салтыкова сам по себе, он неотделим от «стеснений обоюдных», то есть вопроса об общественном освобождении.

В заключение Салтыков с исключительной ясностью формулирует один из центральных тезисов своей эстетики – о глубоком единстве «тенденции», «задачи», мысли и истинно-художественного творчества.

Движение законодательства в России. Отделы I, II, III и IV  
Д. с. с. Григория Бланка, СПб. 1869  
Оз, 1869, № 10, отд. «Новые книги», стр. 238–241 (вып. в свет – 15 октября). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста – неизвестные страницы, стр. 540–541.

Тамбовский помещик, отставной чиновник Г. Б. Бланк, еще до реформы приобретший известность своими печатными выступлениями в защиту крепостного права, в 60-е годы был ведущим публицистом «Вести». В рецензируемой Салтыковым книге Г. Бланк стремится доказать, что все «движение законодательства» под влиянием пагубных идей ведет помещиков к гибели, а страну – к революции. Он требует ликвидации земства и сельского самоуправления, законодательного повышения роли помещичьего дворянства и «устройства сильного рабочего класса» путем возврата крестьянских наделов помещикам.

Салтыков отказывается от полемики с Бланком по существу его взглядов – он только издевается над мнимым глубокомыслием и литературным косноязычием пропагандиста «упраздненных мыслей». Однако он специально останавливается на прозрачных намеках Бланка на существующую будто бы прямую связь революционно-демократических идей (под влиянием которых якобы и осуществлены все реформы) с покушением Д. Каракозова 4 апреля 1866 г. на Александра II. «Верховный суд разобрал виновность преступных лиц, – пишет Г. Бланк, – ...но что делать с преступными идеями? <...> Как уловить всех затаенных деятелей нигилизма и тонкой, глухой пропаганды, часто скрывающихся даже под влиятельностью общественных, мировых, земских и других служебных учреждений?» (стр. 14). В свете изложенной «концепции» Бланка об идейном источнике крестьянской реформы ясно, что, выступая против утверждений о связи реформы с покушением на цареубийство, Салтыков по существу отрицает отождествление революционно-демократических идей с тактикой терроризма. Такое отрицание не только служило защите органа революционной демократии от полицейских нападков – оно отражало подлинные взгляды Салтыкова, никогда не поддерживавшего «этих бессмысленных убийств и покушений» (см. его письмо к Н. А. Энгельгардту от 6 февраля 1879 г.).

Стр. 357. Заветная мысль... Григория Бланка известна давно... – Еще в 1856 г. в статье «Русский помещичий крестьянин» («Труды Вольного экономического общества», № 6, т. II, 1856) Г. Бланк заявил, что крепостное состояние не имеет ничего общего ни с рабством, ни с «невольничеством» времен феодализма в Западной Европе, ибо единственная забота русского помещика – «о благосостоянии, здоровье и счастье своих крестьян». В развернувшейся вокруг этой статьи полемике В. Безобразова с Г. Бланком принял участие Чернышевский (см. «Заметки о журналах». – С, № 9, 1856; ср. Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III, М. 1947, стр. 705–708).

...он уплачивал за крестьян подати, он ставил рекрут, наряжал подводы... – «Устав о податях» возлагал на помещика раскладку между крестьянскими хозяйствами обязательных платежей в казну и сбор этих податей. Перед каждым рекрутским набором для пополнения армии власти определяли только общее число рекрутов, порядок же отбывания этой повинности также устанавливал помещик.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Стр. 358. Он смешивает «исполнительность» с «исполнимостью», он придумывает смешное слово «актуальность». – В книге Г. Бланка на стр. 5: «Каждый закон должен соединять в себе <...> силу мысли и силу исполнительности <...> Одна сила составляет дух законов, другая исполнимость, которая выражается повсеместным единообразием актуальности...»

Стр. 359...заводит речь о «пролетариате неразвитых масс» и о «пролетариате развитого меньшинства»... – Главным носителем революционных идей Бланк считает разночинскую интеллигенцию. «Где вообще гнездится элемент революций? Бесспорно, в пролетариате, который определяется недостатком средств к удовлетворению потребностей. Он бывает двух родов: пролетариат неразвитых масс и пролетариат развитого меньшинства. Последний опаснее первого... Эта болячка тем сильнее чувствуется в государстве, чем оно неосновательнее надрывается над образованием своего умственно развитого пролетариата, который – например, в России – составил бы полезный ремесленный класс...» (стр. 24–25).

В разброд. Роман в двух частях А. Михайлова, СПб. 1870 г  
Оз, 1870, № 2, отд. «Новые книги», стр. 265–270 (вып. в свет – 18 февраля). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста – неизвестные страницы, стр. 541–543.

Вторая рецензия Салтыкова на произведения Михайлова явилась продолжением полемики «Отечественных записок» с журналом «Дело» по важнейшим проблемам эстетики.

Настаивая на верности своего прошлогоднего отзыва о Михайлове и связанных с ним общих теоретических выводах, Салтыков показывает, что новый роман «В разброд» служит ярким тому доказательством. Основной эстетический тезис Салтыкова приобретает здесь наиболее полное и точное выражение: «Истины самые полезные нередко получают репутацию мертворожденных, благодаря недостаточности или спутанности приемов, которые допускаются при их пропаганде». Когда в «Уличной философии» Салтыков писал: «Литература и пропаганда – одно и то же», это была лишь одна часть его мысли, другая состояла в том, что отнюдь не всякая пропаганда – литература, что пропаганда может стать искусством лишь при глубоком исследовании законов жизни и при несомненном оригинальном таланте автора. Салтыков утверждает, что отсутствие художественности не возместят никакие актуальные вопросы, вплоть до «либерализма со ссылкой, куда Макар телят не гонял».

Другая тема, развитая в полемике с «Делом» и имеющая столь же широкий смысл, – о реальных возможностях в современных условиях, или, как выражается Салтыков, в «особой обстановке», правдиво и ясно представить нового человека. Осознавая исключительные трудности этой задачи, Салтыков все же считает ее разрешимой. Он ссылается на опыт 40-х годов, на то, что «Белинского и Добролюбова понимали все», понимали также Круповых, Бельтовых, Рудиных. Упоминание о героях Герцена и Тургенева свидетельствовало, что возможности передовой литературы гораздо шире того, как они представляются поверхностным беллетристам.

Спустя три года в защиту Михайлова от критики Салтыкова с пространной статьей, напечатанной в трех книжках «Дела» (1873, №№ 2, 6, 7) под названием «Тенденциозный роман», выступил П. Н. Ткачев (псевд. – Постный). Непосредственным поводом для статьи послужил выход в свет пяти томов Собрания сочинений Михайлова (СПб. 1873). Ткачев упрекает «Отечественные записки» («либералов») в том, что они недооценивают Михайлова как выразителя передовых идеалов и превозносят Гл. Успенского: «Михайлов, – говорит теперь либеральная пресса, – не имеет ни крошечки художественного таланта, изображаемые им лица – не живые люди, а ходячие марионетки, говорящие фигурки без крови и плоти» («Дело», 1873, № 2, стр.2).

Именно в рецензии Салтыкова на роман «В разброд» герои Михайлова названы «деревянными куклами», «марионетками, сохраняющими лишь наружные признаки людей».

В № 13 «Искры» за 1873 г. появилась статья, полемизирующая с Ткачевым: «Щедрин и его критики». Анонимный автор упрекает Ткачева в примитивном понимании тенденциозности. Во второй статье («Дело», № 6) Ткачев так формулировал свою точку зрения, прямо противоположную позиции Салтыкова: «Тенденциозность, само собою понятно, не исключает художественности, хотя, с другой стороны, она и не

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) предполагает ее» (стр. 5).

Ответом Ткачеву явилась в «Отечественных записках» статья Скабичевского «Сентиментальное прекраснородушие в мундире реализма» (1873, № 9). Скабичевский дает обзор беллетристики «Дела» (романов Н. Ф. Бажина, И. В. Омудевского, и прежде всего – Михайлова) как одного направления. Критик полагает, что беллетристы «Дела» забывают элементарную истину: «тенденция ценна лишь тогда, когда опирается на глубокое знание жизни». «Да, гг. Михайлов, Бажин, Омудевский и проч., конечно, вы ставите выше всего поэзию реальную, вы стоите за нее горой и уж, разумеется, воображаете, что с вас-то только и началась на Руси истинная реальная поэзия. Так знайте же, что ваши произведения отстоят от почвы реализма, как небо от земли; вы создатели не реальной школы в нашей литературе, а воскресители сентиментального прекраснородушия тридцатых годов, эпохи Н. Полевого, кн. Одоевского и Марлинского» (стр. 25). В целом статья Скабичевского была написана в развитии идей Салтыкова, который, однако, в отличие от Скабичевского, выделял роман Омудевского «Шаг за шагом» из общей массы беллетристики «Дела» (см. его рецензию на стр. 411–419).

К оценке творчества Михайлова Салтыков вернулся в отзыве на роман «Беспечальное житье» (1878) – см. стр. 443–447.

Стр. 363...марионетки, сохраняющие лишь наружные признаки людей... – Тема эта легла впоследствии в основу замысла сказки Салтыкова «Игрушечного дела людишки» (1880).

Стр. 364...напоминает сцену возвращения жены Лаврецкого в «Дворянском гнезде». – О подражании Тургеневу говорится и в рецензии на «Засоренные дороги» (стр. 266).

Нерон. Трагедия в пяти действиях Н. П. Жандра. С.-Петербург. 1870  
ОЗ, 1870, № 7, отд. «Новые книги», стр. 46–49 (вып. в свет – 6 июля). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста – неизвестные страницы, стр. 543–545.

Автор трагедии «Нерон» Н. П. Жандр – «генерал, занимавший должность директора в какой-то канцелярии». [106] Выступал он и как литератор, в частности, переводил из Байрона.

Трагедия Жандра была поставлена на Александринской (а не Мариинской, как пишет Салтыков) сцене в сезон 1869/70 г. за счет казны «по протекции одной знатной барыни, покровительствовавшей автору». [107] Бельэтаж был закуплен Жандром для его светских знакомых. Спектакль шел в бенефис А. А. Нильского, который «получил незначительную роль благородного раба, угнетаемого своим господином» (Плавта). Роль Нерона исполнял Самойлов. «Пьеса не имела никакого успеха и после пятого представления была снята с репертуара на вечные времена». [108]

Спектакль был встречен отрицательными отзывами театральных обозревателей. Так, например, А. С. Суворин писал в фельетоне «Недельные очерки и картинки. Послание к Нерону»: «На днях один писатель, гражданин высокого чина, именем Жандр, изобразил тебя в трагедии, которая дана была на одном из самых больших наших театров <...> Хорошо, что ни на минуту нельзя было забыть, что передо мною актеры, – иначе я составил бы о тебе еще более жалкое понятие, чем то, которое имею теперь. Принадлежа к высшему кругу, гражданин Жандр наполнил театр благоуханием своих знакомых и друзей <...> всюду благодатный сон носился, навевая грезы аристократам и демократам от созерцания твоих деяний, представленных упомянутым гражданином в такой грубой нелитературной форме, что ты, Цезарь, мог бы счесть себя в сравнении с ним великим поэтом» и т. д.. [109]

Все эти обстоятельства и имеет в виду Салтыков в своей иронической рецензии.

Новые русские люди. Роман Д. Мордовцева  
ОЗ, 1870, № 7, отд. «Новые книги», стр. 46–49 (вып. в свет – 6 июля). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским – неизвестные страницы, стр. 545.

Д. Л. Мордовцев – беллетрист и историк, начиная с 50-х годов печатался в журналах «Отечественные записки», «Русское слово», «Дело». Его перу принадлежат, в частности, обширные исторические сочинения: «Самозванцы и понизовая вольница», «Гайдамачина», «Политические движения русского народа». На последнее в девятом

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) номере «Отечественных записок» за 1870 г. помещена положительная рецензия (без подписи). Романы Мордовцева в ней критикуются так же, как и в настоящей рецензии Салтыкова, но Мордовцеву – историческому писателю дается высокая оценка: «Под именем Мордовцева подвизаются в русской литературе два писателя. Очень может быть, что эти два писателя соединяются в одной личности, но и в таком случае они не имеют между собою ничего общего в литературном отношении. Один из двух гг. Мордовцевых известен как беллетрист, другой – как историк; один пишет романы и повести, представляющие болезненный бред крайне расстроенной фантазии; другой, напротив того, в своих исторических монографиях проявляет трезвый, положительный, иногда довольно осторожный и часто вполне светлый взгляд на события минувшей истории нашего отечества; один – тщетно старается уловить дух современности, окружающей его со всех сторон, и, изображая жизнь, нравы, идеалы новых людей – словно как будто переселяет вас на другую планету, изображая перед вами нравы Меркурия или Марса, – другой же, напротив того, углубляясь в чуждое ему прошлое, – весьма рельефно выставляет минувшую жизнь, умея воскресить ее из сухих и пыльных исторических источников» (отд. «Новые книги», стр. 41–42). И далее: «Если эти два писателя, столь различные, чтобы не сказать – противоположные, существуют независимо друг от друга, то вещь эта, разумеется, естественная и простая, но если только они соединяются в одном человеке, в таком случае мы имеем дело с неразгаданным чудом природы, способным поразить вас до крайности не только тем, что две такие различные деятельности и по характеру и по содержанию могут исходить от одного лица, но и тем, как станет одного человека на такую курьезную раздвоенность» (там же, стр. 42).

Есть основания предполагать, что и вторая рецензия на сочинения Мордовцева написана Салтыковым. Стилистическая манера в приведенном отрывке (о «двух писателях», выступающих под одним именем) очень напоминает рецензию «Литературная подпись» (см. т. 5 наст. изд.). К тому же Салтыкову-критику было свойственно почти одновременное обращение к разным произведениям одного автора (см., например, в наст. томе три рецензии на романы А. Михайлова).

Хотя Мордовцев сочувствовал героям своего романа «Новые русские люди», пытаясь выдать их за последователей Белинского, Чернышевского, Добролюбова, незнание и непонимание той среды, о которой он пишет, полностью компрометировало тему. Вряд ли Салтыковым не был замечен и такой характерный диалог в романе Мордовцева: «А слышали, – спросил Елеонский, – Некрасов просыпается. – Да, мне вчера что-то говорили на лекции, да я забыла, потому что спешила записать одно удачное выражение профессора о женщинах-специалистах. – Некрасов переходит в «Отечественные записки». Туда же, говорят, идут Елисеев, Островский, Якушкин, Марко-Вовчок и много других писателей. – Как это Некрасов и Краевский сошлись? Ведь они были враги. – Время не то, – заметил Елеонский. – Разве вы не чувствуете чего-то в воздухе? – Что ж, опять порыв? Но надолго ли?» Эпизод этот может служить еще одной яркой иллюстрацией той «печальной поспешности», с которой, по словам Салтыкова, Мордовцев исследовал неизвестную ему область общественных отношений. Салтыков считает героев Мордовцева идеализированными «Гамлетами Щигровского уезда», легкомысленно выдаваемыми за новых людей (см. ниже).

Стр. 368...по выражению Гоголя, показал одни «свинные рыла». – Имеются в виду слова Городничего в «Ревизоре» (действие пятое, явл. VIII): «Ничего не вижу: вижу какие-то свинные рыла вместо лиц, а больше ничего...»

Стр. 369. «Шел в комнату – попал в другую» – слова Софьи о Молчалине в «Горе от ума» Грибоедова (действие первое, явл. 4).

Стр. 370. Велика исковерканность «Гамлета Щигровского уезда». – В рассказе «Гамлет Щигровского уезда» из цикла «Записки охотника» Тургенев подробно передает все обстоятельства, в которых складывался характер некоего Василия Васильевича, ставшего несчастным и озлобленным человеком.

Стр. 373...факты, конкретность которых ни для кого не тайна. – Речь идет о подготовке судебного процесса над участниками организации «Народная расправа» (см. наст. том. стр. 191–224).

Своим путем. Роман в четырех частях Л. А. Ожигиной. СПб. 1870 ОЗ, 1870, № 9, отд. «Новые книги», стр. 32–36 (вып. в свет – 4 сентября). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста – неизвестные страницы, стр. 545.

Роман Л. А. Ожигиной «Своим путем» был опубликован в «Отечественных записках» за 1869 г. (№№ 3, 5–7). Роман имел подзаголовок «Из записок современной девушки» и повествовал о трудной судьбе девушки из разорившегося дворянского семейства, ищущей «своего пути» в духе передовой молодежи 60-х годов – пути анализа и критики, пути «личного труда». Поэтому Салтыков и отнес это произведение к тому направлению русской беллетристики, которое названо им в настоящей рецензии «положительным» и к которому, в соответствии с салтыковской характеристикой, принадлежали романы А. Михайлова, Н. Бажина, возможно, Д. Мордовцева и других подобных писателей, рисовавших «новых людей» с симпатией, но в художественном отношении весьма несовершенно – поверхностно и декларативно. Вместе с тем роман Ожигиной «выгодно выделяется», по мнению Салтыкова, среди беллетристических произведений этого направления, «отсутствием декламаций». Впрочем, как это было отмечено С. С. Борщевским, [110] в своей первоначальной редакции роман, возможно, не был свободен от мелодраматизма и декламации, но, по воспоминанию Скабичевского, подвергся радикальной редакторской правке Салтыкова. [111]

Очень невысоко расценил роман Ожигиной Н. Шелгунов («Творческое целомудрие». – «Дело», 1871, № 1).

Стр. 373...сокращения средств и путей для беспечального существования при помощи чужого содействия. – То есть сокращение тех «средств и путей», которые предоставлялись дворянину-помещику и дворянину-чиновнику крепостным правом и дореформенной государственной администрацией (ср. ниже «разливанное море», «прежнее положение», «господствовавший факт»).

...«под каждым листком готов и стол и дом»... – Неточная цитата из басни И. А. Крылова «Стрекоза и муравей».

Стр. 375. Существует целая литературная партия... которая подлинно заслуживает наименования нигилистов. – О «положительно-нигилистической» литературе Салтыков писал, например, в рецензии на комедию Чернявского «Гражданский брак».

Стр. 376...успехи скандала... – Имеется в виду реакция на появление произведений вроде «Некуда» Лескова (см. стр. 364 и прим. на стр. 569).

Даже талантливость перестала подкупать... – В первую очередь разумеется, по-видимому, роман Гончарова «Обрыв» (см. статью «Уличная философия»).

Повести и рассказы Анатолия Брянчанинова. Москва, 1870 г  
ОЗ, 1870, № 9, отд. «Новые книги», стр. 36–37 (вып. в свет – 4 сентября). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста – неизвестные страницы, стр. 545–546.

Ироническим упоминанием, в последних строках рецензии, Тургенева, который первым провозгласил «идею прекрасной помещицы, ожидающей под кустом прекрасного помещика». Салтыков ставит А. А. Брянчанинова в ряд эпигонов тургеневского стиля. Характерно, что Тургенев, впрочем нередко и раньше преувеличивавший таланты начинающих писателей, познакомившись с Брянчаниновым в середине 70-х годов, проявил интерес к его творчеству, рекомендовал его произведения для публикации в «Вестнике Европы» и даже написал хвалебное предисловие к его «Русским народным сказкам в стихах». [112]

Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права  
А. Романовича-Славатинского, профессора государственного права в Университете св. Владимира, С.-Петербург, 1870 г  
ОЗ, 1870, № 11, отд. «Новые книги», стр. 16–20 (вып. в свет 19 ноября). Без подписи. Авторство указано С. С. Борщевским – неизвестные страницы, стр. 546–547. Вопрос о правильности атрибуции осложняется, однако, обстоятельством, указанным В. Э. Боградом. В статье о Н. А. Демерте, помещенной в «Большой энциклопедии» (т. 8, 1902, стр. 309) в числе «наиболее выдающихся его статей» в «Отечественных записках», постоянным сотрудником которых он был, назван «Критический разбор книги проф. Романовича-Славатинского». В «Отечественных записках» работы названного историка рецензировались один раз и именно, как указывается в «Большой энциклопедии», в 1870 г. Следовательно, хотя заглавие рецензии не упомянуто, речь может идти только о рецензии на известный труд Романовича-Славатинского «Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права», приписываемой С. С. Борщевским Салтыкову. Сведения о Н. А.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Демерте в «Большой энциклопедии» заслуживают известного доверия. Издание это вышло под общей редакцией С. Н. Южакова, а редактором по отделу русской литературы XIX в. в нем был А. М. Скабичевский. Оба эти лица, как известно, являлись ближайшими (особенно Скабичевский) сотрудниками «Отечественных записок» и могли быть хорошо осведомлены в редакционных делах. Но признание Н. А. Демерта автором рецензии на книгу А. Романовича-Славатинского затрудняется тем, что с рецензией этой тесно связана напечатанная рядом с ней рецензия на брошюру безыменного помещика «Слияние сословий, или Дворянство, другие состояния и земство». «Брошюрка эта... – пишет автор, – появилась в продаже одновременно с книгой, только что нами разобранной», то есть с книгой Романовича-Славатинского. Но «отнять» вторую рецензию от Салтыкова «в пользу» Демерта более чем затруднительно: своеобразие салтыковского языка, стиля и полемической манеры в этой рецензии на «Слияние сословий...» представляется очевидным. По тем же причинам не менее трудно «передать» Демерту от Салтыкова и другую рецензию – на «Записки Е. А. Хвостовой» – на том основании, что в этой рецензии имеются такие слова по поводу книги Романовича-Славатинского: «Об этой книге мы дали отчет в ноябрьской книге нашего журнала за 1870 год». Возможно, что Н. А. Демерту принадлежит рецензия на книгу Романовича-Славатинского, появившаяся в то же время в «Вестнике Европы» – 1870, кн. II, стр. 478–488.

Рецензируемая книга представляет собой докторскую диссертацию либерального профессора Киевского университета А. В. Романовича-Славатинского, в молодости испытавшего влияние Белинского и Герцена. Н. Ф. Даниельсон рекомендовал К. Марксу это исследование как один из немногих источников по истории русских поземельных отношений. [113]

Романович-Славатинский придерживается концепции так называемой государственной школы, основные положения которой были сформулированы Б. Н. Чичериным. Согласно этой концепции, в отличие от западноевропейского, русское дворянство (или «шляхетство», как оно именовалось в официальных документах первой половины XVIII в.) «всегда было установлением политическим, существовавшим и видоизменявшимся сообразно целям и потребностям правительственным». [114] Крепостное право рассматривается так же, как искусственно созданный институт: «Мотив укрепления крестьян был государственный – доставить служилому классу постоянных работников, чтоб было с чего царскую службу служить <...> Шляхетство <...> было таким же крепостным сословием относительно государства, каким относительно его были крестьяне. На первом лежала барщина в пользу государства – обязательная служба; на втором – барщина в пользу шляхетства...» [115]

Салтыков использует эту теорию «закрепощения сословий», чтобы показать, что с падением крепостного права исчезают внутренние основы сословного деления.

Характеризуя книгу А. Романовича-Славатинского как обстоятельное исследование, Салтыков далеко не во всем разделяет взгляды ее автора, не вступая, однако, с ним в открытую полемику. Романович-Славатинский, в частности, высоко оценивает введенную Петром I в 1722 г. «Табель о рангах», установившую дробную градацию всех чинов и званий: «По духу своему она была поистине демократическою <...> Она широко открыла двери, чрез которые <...> к шляхетству постоянно приливали новые силы из народа, и оно не могло, при всем своем стремлении, замкнуться в особую касту...» [116] По мнению же Салтыкова, «с самого начала парализованное табелью о рангах, дворянство наше пошло путем <...> отчужденности от истинных интересов народной жизни» (см. также характеристику табели о рангах в рецензии на «Записки Е. А. Хвостовой»).

В изложении своих взглядов на дворянство Салтыков скован цензурными запретами. Так, в высочайшем рескрипте от 13 мая 1866 г., изданном в связи с покушением на царя, подчеркивалось: «Надлежит прекратить повторяющиеся попытки к возбуждению вражды между разными сословиями, и в особенности к возбуждению вражды против дворянства и вообще против землевладельцев, в которых враги общественного порядка естественно усматривают своих прямых противников». [117]

Стр. 380...с изданием закона 6-го апреля 1865 года... – См. прим. к стр. 328.

Мы, по крайней мере, думаем, что преобладание обличительного элемента выработано нашей литературой не свободно... – Возможно, что эта часть рецензии, развивающая основные положения памфлета «Человек, который смеется», является откликом на выступление «Недели» («Либеральная печать и администрация»). Отмечая, что радикальную журналистику обвиняют в «отрицательном направлении», «Неделя»

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru категорически заявляет, что это направление уже отжило свой век и не может возродиться. Оно было естественным во времена крепостного права, когда перед прогрессивным писателем «не было ничего, чем бы он дорожил». Передовая же печать пореформенного периода отрицает лишь пережитки прошлого, но является «самым искренним сторонником того направления, представителем которого заявило себя само правительство» («Неделя», 1870, № 26, стр. 850–852). В такой постановке вопроса, резко отличающейся от салтыковской, проявилось свойственное «Неделе» тяготение к либерализму с его призывами к разработке «положительной программы».

Стр. 382...в своих письмах из России (1781 г.)... – явная ошибка: немецкий историк А. Л. Шлецер окончательно покинул Россию в 1767 г. Салтыков приводит письмо Шлецера с этой датировкой по книге А. Романовича-Славатинского, который, в свою очередь, заимствовал его из книги «Voyage en Pologne, Russie, Suède, Dannemarс». Par M. W. Coxe. T. 2, Genève, MDCCLXXXVI, p. 318.

Стр. 383...«мог пользоваться...» и т. д. – Не совсем точная цитата из книги А. Романовича-Славатинского (стр. 19).

Слияние сословий, или Дворянство, другие состояния и земство  
Ответ гг. Аксакову, Кошелеву и кн. Васильчикову. С.-Петербург. 1870 г  
Председателя приходского попечительства, члена земства, нового судебного состава и разных обществ, участвовавшего в крестьянской реформе  
ОЗ, 1870, № 11, отд. «Новые книги», стр. 20–22 (вып. в свет – 19 ноября). Без подписи. Авторство указано и аргументировано путем анализа текста С. С. Борщевским – Неизвестные страницы, стр. 547. См. также прим. к рецензии на «Дворянство в России...», стр. 584 наст. тома.

Брошюра неизвестного автора повторяет и развивает идеи книги Г. Бланка «Движение законодательства в России» с прямыми ссылками на этот источник (о кн. Г. Бланка см. в наст. т., стр. 577). По форме она представляет собой полемику со статьями И. С. Аксакова, опубликованными как передовые в газете «День» от 2 и 9 декабря 1861 г., и книгами А. И. Кошелева «Голос из земства», вып. 1, М. 1869, и А. И. Васильчикова «О самоуправлении», СПб. 1869. Основная идея анонима – защита дворянского землевладения. Он утверждает, что «полный коммунизм логично вытекает из социального учения о равном разделе земли и о праве на нее масс». [118] С проблемой землевладения он связывает и слияние сословий. Аноним указывает на противоречивость позиций либерального славянофильства: оно выступает за слияние сословий, но с тем, чтобы дворяне, по выражению Кошелева, «остались с преимуществами по землевладению». Такое слияние, заявляет автор брошюры, есть обман, который массы поймут рано или поздно. С учетом позиций анонима ясно, что Салтыков в своей рецензии выступает, по существу, не в защиту права крестьян на имеющиеся наделы, а с требованием ликвидации помещичьего землевладения. Открытое провозглашение такого требования было под цензурным запретом.

Стр. 383...заглянул в «Наказ» Екатерины II да в книгу Machiavelli «Il Principe»... – «Наказ ее имп. вел. Екатерины Второй, самодержицы всероссийской, данный комиссии о сочинении Проекта нового уложения» создан в 1765–1767 гг. Аноним, назвав этот документ «гениальным», опирается на те статьи «Наказа», где подчеркивается землевладельческий характер дворянского сословия как единственно соответствующий «существу самодержавного правления». Из книги итальянского политического деятеля Д. Макиавелли «Государь» автор брошюры заимствует следующее утверждение: «Где равенство, там не может быть монархии, где его нет, там не может быть республики».

Стр. 384...что хотел сказать г. Аксаков (см. стр. 31). – Выписка из Аксакова, к которой относится реплика анонима, помещена на стр. 29 и, действительно, довольно туманно говорит о сближении дворянства с общинниками. На стр. 31, к которой отсылает Салтыков читателя, приводится другая цитата из Аксакова, гораздо более определенная: «Дворянству предстоит <...> определить свое настоящее место вне сословных привилегий и преимуществ» («Еще раз о русском дворянстве», «День», 1861, № 9).

Кн. Васильчиков в своей книге... совершенно основательно говорит... – Салтыков почти дословно приводит высказывания А. И. Васильчикова, но придает им несколько иной смысл. По Васильчикову, «поземельное владение <...> составляло и составляет поныне обязательную повинность низших сословий, и земство выражает <...> совокупность интересов тех местных жителей, которые держат землю и доходами от нее обеспечивают исправное отбывание повинностей и уплату податей» (А. Васильчиков.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
О самоуправлении, т. 1, СПб. 1869, стр. XXXIII).

Стр. 385...этот, уволенный с 19-го февраля 1861 года, полицеймейстер.. – Своими полицеймейстерами назвал помещиков Павел I (см. «Любопытные и достопамятные деяния и анекдоты государя императора Павла Петровича (Из записок А. Т. Болотова)». – «Русский архив», 1864, вып. 1, стр. 78. Возможно, что Салтыков заимствовал свидетельство Болотова из кн. А. Романовича-Славатинского «Дворянство в России...»).

...обращение прислуги совсем уж, иное, менее деликатное. – Иронический намек Салтыкова на следующее место в брошюре: «Взгляды на цивилизацию, жизнь и правду составляют нередко глубокое разноречие <...> между невежественною и деликатно воспитанною частью общества» (стр. 28).

...«Весть» куда-то исчезла с лица земли.. – В № 108 за 1870 г. издатель-редактор крепостнической газеты «Весть» В. Скарятин объявил, что «вследствие совершенного истощения денежных средств он не может продолжать издание газеты».

...в окружных домах, воздвигаемых ныне для всех скорбящих. – В конце 60-х годов оживились работы по строительству при крупных городах окружных домов для умалишенных. Используемое Салтыковым название этих заведений восходит к известной петербургской больнице для душевнобольных, воздвигнутой в 40-е годы во имя «божьей матери всех скорбящих радости».

Записки Е. А. Хвостовой. 1812–1841. Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова, СПб. 1870  
Прошедшее и настоящее. Из рассказов князя Ю. Н. Голицына, СПб. 1870  
ОЗ, 1871, № 1, отд. «Новые книги», стр. 48–54 (вып. в свет – 17 января). Без подписи. Авторство указано и аргументировано путем анализа текста С. С. Борщевским – Неизвестные страницы, стр. 547–548. См. также прим. к рецензии на «Дворянство в России...», стр. 585 наст. тома.

Полное название первой из рецензируемых Салтыковым книг: «Записки Е. А. Хвостовой, рожденной Сушковой, 1812–1841. Материалы для биографии М. Ю. Лермонтова. Издание второе с значительными против первого издания, напечатанного в «Вестнике Европы» 1869 г., дополнениями и приложениями», СПб. 1870. (Среди приложений были воспоминания А. М. Меринского, М. Н. Лонгинова, Ф. Боденштедта, отрывки из «Литературных воспоминаний» И. И. Панаева.) По словам современного исследователя, Салтыков в своей рецензии подчеркнул «досадную неадекватность рассказов Сушковой-Хвостовой тем представлениям о поэте, которые уже сложились у читателей «Героя нашего времени», «Мцыри» и «Сказки для детей».[119] Не был удовлетворен Салтыков и другими воспоминаниями о Лермонтове.

Другое издание, рецензируемое Салтыковым, – воспоминания кн. Ю. Н. Голицына, известного музыканта-капельмейстера, в 50-х годах – корреспондента «Колокола», в 1858–1862 гг. – эмигранта.[120] (Первоначально воспоминания Голицына были напечатаны в «Отечественных записках», 1869, № 10.)

Отзывы об этих изданиях Салтыков предваряет размышлениями на некоторые социально-политические темы, разрабатывавшиеся им в конце 60-х – начале 70-х годов в художественных произведениях, публицистических циклах и статьях. Главная тема этих размышлений – отношение к «нашему прошлому», весьма осознанно и определенно встававшему со страниц многочисленных исторических и мемуарных публикаций 60-х годов, в том числе и рецензируемых (см. далее постраничные прим.).

Рецензия Салтыкова насквозь иронична, иносказательна. Он будто бы отмежевывается от тех, кто утверждает, что «это совсем и не прошлое, а просто-напросто настоящее, ради чувства деликатности рассказывающее о себе в прошедшем времени». Между тем в основу «Истории одного города» была положена именно эта мысль.[121]

«Все эти распоряжения, изречения и факты», столь ярко живописующие «прошлое», лишь по форме могут быть названы «чужачеством», по существу же они полностью выражают собою общество, построенное по принципу регламентации, общество, в котором «не могло быть места для личной инициативы», которому чужда идея об общих «пользах и нуждах». И если форма стала теперь преданием, то существо осталось прежним. «Прошлое» – не отрезанный ломоть.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Обращение к прошлому поучительно и в другом отношении: ведь «наше прошлое было не лишено своего рода светлых точек, или «опытов». Ссылкой на слова Вольтера из стихотворного «Послания» Екатерине II[122] Салтыков намекает на те «опыты», которые и вызвали восхищение великого просветителя, – интерес русской императрицы к идеям энциклопедистов, создание ряда новых учреждений. Однако все эти «опыты» никак не были связаны «с целой системой», не затрагивали «общего строя жизни», а потому могли закончиться лишь «неуспехом». К такого рода «опытам» относит Салтыков далее, в рассуждении о «прекраснейших учреждениях» и «полезнейших уставах», и реформы 60-х годов.

Салтыков вновь (как ранее, например, в статье «Один из деятелей русской мысли») говорит о месте и роли в общественном процессе, в осуществлении «опытов», деятеля мысли. В «прошлом» человеку, «сколько-нибудь причастному к сознательной жизни», приходилось слышать одно: «не твое дело». Но изменилось ли что-нибудь в настоящем? Салтыков в иносказательной форме дает на этот вопрос отрицательный ответ.

Стр. 386. Распоряжение о «неувертывании шей платками, косынками и шарфами»... – В «Русской старине» Семева (1870, № 11) было напечатано «Предложение управе благочиния гр. Буксгевдена, С.-Петербургского военного губернатора» от 20 января 1798 г., в котором, в частности, предписывалось «не увертывать шею безмерно платками, галстуками или косынками, а повязывать оные приличным образом без излишней толстоты» (стр. 517).

...распоряжение о «неношении прихотливых причесок...» – Имеется в виду распоряжение Николая I – «вменить в непременную обязанность всем гг. начальникам строго наблюдать, дабы ни у кого из подчиненных их не было прихотливости в прическе волос» («Русская старина», 1870, № 7, стр. 95).

...«русских надо менее учить и более бить»... – Это «изречение» сообщалось в мемуаре Н. А. Титова «Малолетное отделение 1-го кадетского корпуса в 1808 г.» («Русская старина», 1870, № 5, стр. 420).

...факты, сгруппированные в книге г. Романовича-Славатинского... – См. выше, стр. 385.

Стр. 387...см. статью г. Ефремова «Степан Иванович Шешковский»... – Приводимые Салтыковым факты находятся в заметке П. А. Радищева о Шешковском, опубликованной П. А. Ефремовым («Русская старина», 1870, № 12, стр. 637).

Стр. 388...много других, которых называть еще неудобно и которые протестовали безвременную свою гибелью... – Речь идет о декабристах, петрашевцах и революционерах 60-х годов.

...М. И. Глинка... послал родной стране энергический, но далеко не лестный прощальный привет... – В воспоминаниях сестры Глинки, Л. И. Шестаковой, – «Последние годы жизни и кончина М. И. Глинки» – передавались слова композитора при его отъезде за границу в 1856 г.: «Когда бы мне никогда более этой гадкой страны не видать!» («Русская старина», 1870, № 12, стр. 621).

...недавно изданные его записки... – «Записки» Глинки печатались в «Русской старине» за 1870 г. и вскоре вышли отдельным изданием.

...даже Кукольник (см. там же). – Это восклицание Кукольника, вызванное реакцией русского общества на смерть Глинки, находится в его записках, напечатанных в выдержках в двенадцатой книжке «Русской старины» за 1870 г. (стр. 636).

Стр. 391...Лермонтов был постоянным участником одного из лучших журналов своего времени... – С первой книжки за 1839 г. Лермонтов постоянно сотрудничал в «Отечественных записках».

...«Лермонтов всякий раз отделялся шуткой»... – Цитата из «Литературных воспоминаний» И. И. Панаева.

Суета сует. Соч. Николая Соловьева, Москва. 1870  
ОЗ, 1871, № 1, отд. «Новые книги», стр. 60–63 (вып. в свет 17 января). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста – неизвестные страницы, стр. 548–549.

Идейной борьбе с журналами «почвенников», «Время» и «Эпоха», посвящены многие полемические выступления Салтыкова в «Современнике» (см. об этом подробно т. 6 наст. изд., стр. 471–528, 692–714, а также т. 5, стр. 303–304, 334–337, 460–469).

Одним из активных сотрудников «Эпохи» (1864–1865) был Н. И. Соловьев, который после смерти Ап. Григорьева, наряду с Н. Н. Страховым, стал ведущим критиком журнала. Здесь были напечатаны его пространные статьи, направленные против этики и эстетики революционных демократов: «Теория безобразия», «Бесплодная плодovitость», «Теория пользы и выгоды» и др. С разоблачением теоретической несостоятельности рассуждений Соловьева сразу же горячо выступил Писарев. В статье «Роман кисейной девушки» («Русское слово», 1865, № 1) он назвал своего противника «одним из новейших мудрецов «Эпохи», попавшим в эту журнальную богадельню». [123] В следующей книжке «Русского слова» (№ 2), в статье «Сердитое бессилие», Писарев дает более подробную характеристику Соловьева: «...г. Николай Соловьев, начавший с недавнего времени украшать своими статьями критический отдел «Эпохи». Невинность и простодушие этого писателя сквозят в каждой его строке. А между тем в каждой из этих невинных и бессвязных строк притаилась – незаметная для простодушного автора, но очевидная для внимательного читателя – злокачественная инсинуация». [124]

Наконец, в статье «Прогулка по садам российской словесности» («Русское слово», 1865, № 3) Писарев определяет Соловьева как эклектического («пегого») критика. [125]

После закрытия в 1865 г. «Эпохи» (издававшейся после смерти М. Достоевского от имени «семейства М. М. Достоевского») ее сотрудники стали выступать отдельно, в разных изданиях, сделались «холостыми», по выражению Салтыкова. В самом конце 60-х годов возобновилась активность бывших сотрудников почвеннических журналов и наметилась тенденция к консолидации. Страхов стремится сплотить бывших авторов «Времени» и «Эпохи» вокруг журнала «Заря» (начал выходить в 1869 г.). «Замечается стремление организовать, образовать из всех наличных стрижиных сил стройный и сильный стрижиный хор», – пишет Салтыков. Кроме Н. Н. Страхова, в «Заре» печатались Ф. М. Достоевский, Н. Я. Данилевский, А. Н. Майков, Ф. Н. Берг и др. Соловьев же сотрудничал и в «Отечественных записках» (до 1868 г.), и во «Всемирном труде», и в «Русском вестнике». Статья Соловьева «Принципы жизни», напечатанная во «Всемирном труде», 1867, № 1, вызвала резкую отповедь Огарева: «Читал и читал сегодня статью Соловьева, и чем больше читал, тем больше думаю, что это одно из самых вредных литературных произведений, которое бьет в руку правительству и реакции» (ЛН, т. 39–40, стр. 413–414. См. там же статьи Огарева о Соловьеве). В 1869 г. Соловьев напечатал свои статьи, и прежде всего те, что публиковались в «Эпохе», в трех томах под названием «Искусство в жизнь» (Этим, кстати, и объясняются слова Салтыкова, что Соловьев «ведет свое дело особняком»). Соловьев выступает против эстетики Чернышевского, именуя ее «теорией отрицания искусства», «антиэстетическим направлением» и «теорией безобразия». Он в тоне сожаления говорит о связи статей Добролюбова с этой теорией. Испещряет свои рассуждения нападками на Писарева и, касаясь полемики между «Русским словом» и «Современником», пишет о Щедрине: «Г-н Щедрин по свойственной всем сатирикам неводержности подтрунил раз в «Современнике» над романом «Что делать?», Писарев на это вознегодовал. Антонович огрызнулся, и пошло писать. С тех пор уже не встречалось ни одного такого вопроса, по которому бы Писарев не расходился с Антоновичем. Poleмика приняла мало-помалу самые грандиозные размеры; образовался новый литературный род – ругня. Это был самый неудавшийся плод, произведенный теорией воспроизведения или теорией отрицания искусства. И как разнообразен был этот литературный род!» (т. 1, стр. 179). К приведенным словам автор делает следующее подстрочное примечание: «Теперь уже она <то есть «ругня»> поутихла – ругаться стало некому; но будущему историку литературы знать об этом не мешает». Далее Соловьев пишет: «Мы тоже угодили в эту литературную свалку». Возможно, что Салтыков обратил внимание на это заявление, которое вызывало на продолжение полемики. Салтыков хотел, по-видимому, показать, что и в настоящее время «Отечественные записки» готовы отвечать на подобные выпады, а главное – он имел в виду оставить «будущему историку литературы» еще одну объективную, итоговую оценку «Эпохи» и ее эпигонов.

Салтыков не удостоил Соловьева критическим разбором всех трех его томов. Поскольку отдельные главы этого сочинения выходили в виде небольших брошюр,

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru сатирик остановился на одной из них – с выразительным заглавием «Суета сует». Самая затея такой навязчивой популяризации книги Соловьева, которая рекламировалась издателем как «замечательное произведение», не могла не показаться Салтыкову претенциозной, пошлой и удивительно соответствующей названию «Суета сует». Брошюра трактовала нравственные проблемы с той отвлеченно-моралистической точки зрения, которую Салтыков еще в «Современнике» заклеил именем «стрижиной» философии (см. т. 6 наст. изд., раздел «Журнальная полемика»). Заканчивалась брошюра характерной сентенцией о благотворности тех форм жизни, какие уже существуют: «Жизнь нужно поправлять, а не перестраивать. Все формы ее более или менее годны; их надо только улучшить, вдохнуть животворное начало красоты. И тогда только человек, оставляя свой рабочий пост, не разочаруется в жизни и из его души не вырвется под конец того горького восклицания, которое когда-то вырвалось из уст царя Соломона: «О суета сует, всяческая суета!» Ответом на эту «мудрость» Соловьева были последние слова рецензии: «На бога надейся, а сам не плошай».

После «Отечественных записок» с критикой книги Соловьева «Искусство и жизнь» выступил и журнал «Дело» (1870, № 10), где была напечатана статья Н. В. Шелгунова «Двоедушие эстетического консерватизма».

Стр. 393. «О влиянии романа «Во саду ли, в огороде» на силу русского смирения». – Ирония относится, по-видимому, к той части третьего тома «Искусства и жизни», где речь идет о народной поэзии. Так, например, на стр. 120 рассматривается песня: «Я вечер млада во пиру была, во беседушке», как пример произведения, в котором горе, «что называется, завивается веревочкой». Далее приводится песня «Веселая голова // Не ходи мимо сада» и делается вывод: «Нет, видно, народ наш еще далеко не унывает, несмотря на все беды, которые висят и проносятся над ним». Соловьев обобщает: «Нет, в глубине души русского человека сохранились и другие, более веселые ноты, и источник его радостей еще далеко не иссяк»,

...вдохновленный сражением при Гравелоте. – В августе 1870 г. у Гравелота (вблизи Меца) французские войска потерпели серьезное поражение от германской армии.

Стр. 394. «Сегодня» – стихотворение Ф. Н. Берга (псевд. – Н. Боев), напечатанное в «Заре», 1870, № 10.

Снопы. Стихи и проза Я. П. Полонского. СПб. 1871  
ОЗ, 1871, № 2, отд. «Новые книги», стр. 199–208 (вып. в свет – 22 февраля). Без подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом – Z. f. sl. Ph., S 184; подтверждено С. С. Борщевским на основании свидетельства письма Тургенева к Полонскому от 24 апреля 1871 г., а также путем анализа текста – изд. 1933–1941, т. 8, стр. 516–519.

Салтыков начинает настоящую рецензию с парирования обвинений в «клиентизме» и «наездничестве», вызванных его предыдущей рецензией на «Сочинения» Полонского (см. стр. 343 наст. тома). Он повторяет свою прежнюю оценку творчества Полонского и подтверждает ее анализом двух произведений поэта, включенных в новый сборник (роман «Признания Сергея Чалыгина», аллегория «Ночь в Летнем саду»). [126] И то и другое, по его мнению, свидетельствуют о том, что «неясность мирозерцания есть недостаток настолько важный, что всю творческую деятельность художника сводит к нулю». Так Салтыков еще раз формулирует одно из главных положений своей эстетики.

Свое основное внимание Салтыков сосредоточивает на сатирическом произведении «Ночь в Летнем саду», в котором действуют аллегорические персонажи. Это произведение уже не может быть названо бестенденциозным. Его тенденция – «антинигилистическая» (протест против «буйственного духа времени» [127]), приистекающая, однако, на сей раз не из явной реакционности воззрений, а из их неясности, либеральной расплывчатости и эклектизма. Расшифровывая объективный смысл аллегорических образов «Ночи в Летнем саду», Салтыков резко формулирует в заключение «идеалы» «литератора-прогрессиста», родившиеся «первоначально на улице (едва ли даже не в среде городских)». Еще более сатирически заостренно иносказания Полонского интерпретированы в четвертой главе «Итогов» (ОЗ, 1871, № 4. – См т. 7 наст. изд., стр. 464 [128]).

На рецензии Салтыкова Полонский ответил резкой полемической брошюрой «Рецензент «Отечественных записок» и ответ ему Я. П. Полонского» (СПб. 1871, ценз. разр. 14 марта). Полонский обвинял Салтыкова в тенденциозном и неверном истолковании его

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) сатиры, в искажении его убеждений: «Издавая «Снопы» мои, разве мог я предвидеть, что журнал, печатающий такие дельные рассуждения о том, что такое справедливость, назовет меня, бывшего сотрудника «Современника», врагом народного образования или поборником невежества. Я думал, напротив, вы осмеете меня и за излишнее рвение к свету, и за излишнюю ненависть ко всякой лжи и невежеству» (стр. 12). Либеральный эклектизм мирозерцания оказался роковым для Полонского, субъективно, возможно, не желавшего выступить против революционно-демократических идей и эстетики.

Стр. 396...уже со времен Белинского его следует считать упраздненным. – В своем «протесте» Тургенев противопоставлял критику Белинского, которая всегда «шла по следу», критическим принципам «Отечественных записок».

...«Признания Сергея Чалыгина», которые г. Тургенев особенно рекомендовал нашему вниманию... – в указанном письме-протесте в редакцию «С.-Петербургских ведомостей» (см. И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем., т. XV, стр. 155).

Стр. 402...еще г. Даль в оное время отстаивал право русского мужика на безграмотность... – См. т. 2 наст. изд., стр. 539.

Стр. 403. Патагонцы... – Как указал С. С. Борщевский, впервые Салтыков употребил этот синоним глуповца в «Письмах о провинции» (письмо двенадцатое. – См. т. 7 наст. изд., стр. 336), а затем – в пятой главе «Итогов» (там же, стр. 472) и рецензии на «Повести» Н. Лейкина (наст. том, стр. 421).

Мандарин. Роман в четырех частях Н. Д. Ахшарумова. СПб. 1870 г ОЗ, 1871, № 2, отд. «Новые книги», стр. 199–208 (вып. в свет – 22 февраля). Без подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом – Z. f. si. Ph.; S. 184; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским – изд. 1933–1941, т. 8, стр. 519.

Рецензия Салтыкова на роман Н. Д. Ахшарумова [129] тесно связана с напечатанной в том же номере «Отечественных записок» его же рецензией на «Снопы» Полонского. Салтыков продолжает по-своему истолковывать аллегорические образы из «Ночи в Летнем саду» Полонского, прежде всего – образ «орлов». «Презрительны» не снегири, кроты и ежи, а орлы – те же «хищники», тип, разработанный Салтыковым в одноименном очерке («Признаки времени». – ОЗ, 1869, № 1). «Всю общественную ниву заполонило хищничество...» – сказано было в очерке (см. т. 7 наст. изд., стр. 143). Об «обилии хищников, со всех сторон заполонивших человеческую ниву», говорится и в настоящей рецензии. Именно в этом «обилии» видит Салтыков источник общественных страданий.

Герой романа Ахшарумова принадлежит к типу «орлов». Однако он сам становится жертвой орлов-хищников еще более высокого полета. Название романа и его смысл – безжалостная борьба хищников – разъясняются, в частности, следующими размышлениями героя: «Эх, если бы одного желанья было достаточно, чтобы отправить к праотцам этого юношу и спокойно занять его место, в его экипаже <...> – И он вспомнил задачу Руссо о мандарине. [130] – «Что же! – думал он. – Я, пожалуй, и сам мандарин, и, конечно, не из последних!.. И я пари держу, этот юноша, в свою очередь, не шутя завидует мне» и т. д.

Одновременно с Салтыковым роман Ахшарумова рецензировал Н. Шелгунов, не увидевший в нем никаких достоинств («Превращение мошек и букашек в героев». – «Дело», 1871, № 2).

Ошибки молодости. Оригинальная комедия в 5-ти действиях Петра Штеллера. СПб. 1871 г ОЗ, 1871, № 3, отд. «Новые книги», стр. 86–90 (вып. в свет – 17 марта). Без подписи. Авторство аргументировано путем анализа текста С. С. Борщевским – изд. 1933–1941, т. 8, стр. 520–521.

Основное место в рецензии занимают соображения, вызванные, как пишет сам Салтыков, не столько комедией Штеллера, сколько названием ее. Рецензия является еще одним выступлением Салтыкова в защиту «мальчишек» – «ошибающейся» молодости – от «пятящейся назад» старости (ср. январскую хронику «Нашей общественной жизни» за 1863 г. – т. 6 наст. изд.). В следующей, апрельской книжке «Отечественных записок» Салтыков вновь обратится к этой теме в рецензии на роман Омулевского «Светлов» в связи с анализом творчества Достоевского.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Комедия Штеллера[131] лишь поверхностно и косвенно затрагивала острые общественные проблемы. Мелодраматический сюжет ее – падение бедного семейства разночинцев, собиравшихся жить «личным трудом», и спасение их на краю гибели добродетельной княгиней. Штеллеру «посчастливилось написать пьесу, которая пришла вполне по вкусу александринской публике. В комедии его <...> были всевозможные элементы для произведения поразительного эффекта и потрясения слабых нервов у жалостливых зрителей и особенно зрительниц». [132]

Светлов, его взгляды, характер и деятельность («Шаг за шагом»). Роман в трех частях Омулевского, СПб. 1871  
ОЗ, 1871, № 4, отд. «Новые книги», стр. 300–308 (вып. в свет – 16 апреля). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста – неизвестные страницы, стр. 549–552.

По содержанию и значению настоящая рецензия примыкает к статьям «Напрасные опасения», «Уличная философия» и другим программным выступлениям критика. Современное состояние русской литературы Салтыков рассматривает в двух главных аспектах: 1) идейные тенденции в творчестве крупнейших писателей, 2) лучшие достижения передовой демократической беллетристики, к которым он относит роман И. В. Федорова-Омулевского «Шаг за шагом». Как и в «Уличной философии», Салтыков видит существенный недостаток творчества «известнейших представителей современной русской беллетристики» в том, что они как бы протестуют «против господства реализма», иными словами – не желают анализировать истинные причины происходящих общественных сдвигов и стремятся предписывать жизни чуждые ей законы («дидактизм задним числом», «дидактизм, полемизирующий в пользу интересов отживающих и в ущерб интересам нарождающимся»). Верный своему пониманию глубокой внутренней связи между мировоззрением и художественным творчеством, Салтыков показывает, как консервативная тенденция вредит художественности: «В результате получается шарж, пятно – и что всего прискорбнее – пятно, искажающее нередко картину, довольно замечательную». Говоря о писателях, чей талант терпит заметный ущерб от «всевозможных недоумений», Салтыков имеет в виду прежде всего Гончарова («об этом было уже достаточно говорено» – в статье «Уличная философия»). Характеристика Достоевского из рецензии Салтыкова давно уже стала классической. В самом деле, оценка эта имеет обобщающий, во многом итоговый характер. В середине 60-х годов Салтыков на страницах «Современника» резко полемизировал с журналами «почвенников» «Время» и «Эпоха» и больше всего – с Ф. М. Достоевским, идейным вдохновителем и редактором этих изданий (см. т. 5, наст. изд., стр. 303–304, 334–337, 460–469; т. 6, стр. 471–528). Однако и тогда Салтыков отмечал особое место, занимаемое Достоевским – великим художником – в лагере почвенников. Новая оценка Салтыкова определялась теми высокими достижениями в творчестве Достоевского, какими явились романы «Преступление и наказание» (1866) и «Идиот» (1868).

По словам Л. Ф. Пантелеева, «лучшим произведением Достоевского Михаил Евграфович считал «Идиота». [133]

Глубина замысла, ширина задач нравственного мира, сочетание интересов современности с умением вступить «в область предвидений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества», – все эти качества Достоевского представлялись Салтыкову не только объективно значительными, во многом они были близки ему самому. С каким энтузиазмом опровергал он, например, во вступлении к циклу «Благонамеренные речи» тех «лгунов-дельцов», которые противопоставляют «вопрос о всеобщей воинской повинности» или «вопрос об устройстве земских больниц» «вопросам общим». Еще важнее, «интимнее» для Салтыкова была проблема создания гармонической личности, которая легла в основу романа «Идиот». Мысль о подлинно прекрасном человеке в сознании Салтыкова, как и Достоевского, связывалась с мечтой о «золотом веке», вдохновившей их обоих еще в обществе петрашевцев. «Золотой век не назади, а впереди нас», – сказал один из лучших людей нашего времени, и, конечно, в этой фразе нет ничего ни смешного, ни преувеличенного, потому что человек так уж устроен, что ему непременно хочется золотого века...» – писал Салтыков в пятой главе «Итогов». О «золотом веке» постоянно говорит и Достоевский. И хотя содержание этого идеала, тем более пути к его осуществлению представлялись обоим писателям совершенно различно, их сблизжала великая мечта, пронесенная сквозь все «бури и непогоды» страшной российской действительности. Заканчивая очерки «За рубежом», Салтыков вспоминает о своих неудавшихся попытках создать образ гармонического человека: «Несомненно, такие личности бывают, для которых история служит только свидетельством неуклонного нарастания добра в мире; но ведь это

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) личности исключительные, насквозь проникнутые светом... Этот изумительный тип глубоко верующего человека нередко смущал мое воображение, и я не раз пытался воспроизвести его. Но задача оказывалась непосильной». Салтыков с горячим сочувствием отнесся к попытке Достоевского выполнить эту «непосильную задачу». Но, вероятно, потому, что содержание «веры» воображаемого героя Салтыкова принципиально отличалось от религиозной веры Мышкина, он и после того, как «Идиот» был написан, считал создание образа прекрасного человека делом будущего: «Но спрашиваю по совести: где тот художник, которому были бы под силу такие глубины?» («За рубежом»). Тенденциозное отношение к прогрессивному движению современности, «дешевое глумление над так называемым нигилизмом» – вот, по мнению Салтыкова, главный порок Достоевского – мыслителя и художника. В рецензии лаконично сформулирована суть противоречий Достоевского, в результате которых: «с одной стороны, у него являются лица, полные жизни и правды, с другой – какие-то загадочные и словно во сне мечущиеся марионетки, сделанные руками, дрожащими от гнева...». В уже цитированных воспоминаниях Л. Ф. Пантелеева приводятся слова Салтыкова об «Идиоте»: «Это – гениально задуманная вещь; в ней есть места поразительные, но еще больше плохо высказанного и бог знает как скомканного».

Рецензия Салтыкова поддерживала писателей, которые, изображая революционную молодежь, шли от серьезного знания этой среды, стремились, в меру своих способностей, пропагандировать ее высокие идеалы. Характерно, что единственная обширная выписка из романа Омулевского «Шаг за шагом», которую дает Салтыков в своей рецензии, посвящена теме современного положительного героя. Роман был впервые напечатан в 1870 г. в журнале «Дело». Полемизируя с беллетристами «Дела» (см., в частности, в наст. томе рецензии на сочинения А. Михайлова), Салтыков отдавал предпочтение роману Омулевского, который «с полной добросовестностью» относится «к насущным вопросам современности». Салтыков особое внимание обращает на главного героя романа Александра Светлова, созданного под влиянием Чернышевского. В нем соединились такие черты, как твердость характера, благородство, непреклонная воля к борьбе за светлое будущее. Впервые в русской литературе в романе «Шаг за шагом» правдиво изображалось рабочее движение (бунт на Ельцинской фабрике). Отдельное издание романа в 1871 г. было запрещено. Два следующих издания – 1874 г. и 1896 г. по распоряжению цензуры были уничтожены.

Стр. 414...deus ex machina – букв.: бог из машины (лат.); здесь: неожиданность.

Стр. 417. Писатель этот только начинает свое литературное поприще... – Роман «Шаг за шагом» был первым беллетристическим произведением И. В. Федорова (Омулевского). До этого он писал стихотворения в некрасовской традиции, которые печатались на страницах «Современника», «Русского слова», «Дела» и «Женского вестника».

Стр. 418...не подают никаких надежд на освобождение от голословности. – Очевидно, имеется в виду А. Михайлов.

Русские демократы. Роман в двух частях Н. Витнякова. СПб. 1871  
03, 1871, № 4, отд. «Новые книги», стр. 308–310 (вып. в свет – 16 апреля). Без подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом – Z. f. si. Ph.; S. 184; подтверждено С. С. Борщевским на основании анализа текста – изд. 1933–1941, т. 8, стр. 521–522.

Роман Н. Витнякова (псевд. И. Д. Кошкарлова[134]) – бездарная, грубо опошляющая и искажающая тему попытка изобразить «новых людей» – «русских демократов». Один из двух центральных героев романа «решился поднять производительность крестьянского хозяйства и главным образом начал изучать одну из его отраслей – сыроварение»; в эпилоге он принимает на себя звание предводителя дворянства и гласного в земстве. Другой – «поступил на службу в министерство государственных имуществ» и «работал над проектом об улучшении быта русского народа».

Вскоре «Отечественные записки» выступили с общей характеристикой эпигонских произведений школы антинигилистического романа. Поводом было появление следующего романа Витнякова «Честные люди» (03, 1871, № 9).

Драма или роман под названием «Зазевался! или Ошибки молодости», с изложения которого начинается рецензия, пародирует сюжетную канву комедии Штеллера «Ошибки молодости» (см. выше, стр. 407).

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Стр. 420...департамент дивидендов и раздач... департамент недоумений и оговорок...  
департамент отказов и удовлетворений... – Сатирические обозначения различных  
ведомств (министерств торговли и юстиции и сената), имеющиеся также в четвертой  
главе «Итогов», напечатанной в той же книжке «Отечественных записок», что и  
настоящая рецензия (см. т. 7 наст. изд., стр. 457 и 666).

...«плод любви преступной»... – неточная цитата из стихотворения Пушкина «Романс»  
(«Под вечер, осенью ненастной...»). У Пушкина: «плод любви несчастной».

Повести, рассказы и драматические сочинения Н. А. Лейкина  
2 тома, СПб. 1871

ОЗ, 1871, № 5, отд. «Новые книги», стр. 57–61 (вып. в свет – 12 мая). Без  
подписи. Авторство установлено Р. Ивановым-Разумником в статье «Неизвестные  
страницы Салтыкова» – «Былое», 1926, № 1 (35), стр. 48–54.

Н. А. Лейкин – автор юмористических рассказов, известный впоследствии  
редактор-издатель журнала «Осколки», в котором в течение пяти лет печатался А.  
П. Чехов, – начал свою литературную деятельность в 1860 г. Рассказы Лейкина  
публиковались в ряде журналов, в том числе в «Современнике» и «Искре». Редакторы  
«Современника» ценили в произведениях Лейкина правдивое воспроизведение быта и  
нравов преимущественно мелкого купечества. В воспоминаниях Лейкина сохранилось  
описание того, как Салтыков специально приезжал к нему домой с приглашением  
сотрудничать в «Современнике». [135]

В рецензии на двухтомное издание сочинений Лейкина 1871 г. Салтыков прежде всего  
отмечает, что они дают «правильное понятие о бытовой стороне русской жизни». Критик  
значительно выше ценит «этнографическое» значение рассказов Лейкина,  
нежели их собственно беллетристические достоинства. Произведения Лейкина  
Салтыков рассматривает, как правдивые, почти документальные, свидетельства о  
темном «языческом мире» обывателей. Именно этот мир – опора существующего  
режима. Изложенная здесь теория «краеугольных камней», ранее намеченная,  
например, в «Литературном положении» (см. т. 7, стр. 56), вскоре станет основой  
идейной проблематики и всей системы образов в новом цикле «Благонамеренные  
речи». Однако основной смысл рецензии на повести Лейкина заключался для  
Салтыкова в полемике с А. С. Сувориным, выступившим в апрельской книжке  
«Вестника Европы» 1871 г. с критической статьей об «Истории одного города».  
Статья, подписанная псевдонимом «А. Б-ов», одним своим названием – «Историческая  
сатира» – свидетельствовала о полном непонимании замысла Салтыкова. Суворин  
упрекал сатирика в «глумлении» над русским народом и русской историей (см. об  
этом подробно в примечаниях к «Истории одного города», в т. 8 наст. изд., стр.  
537–538, 544). На эти обвинения Салтыков сразу же ответил в «Письме в редакцию»  
журнала «Вестник Европы» и в частном письме близкому сотруднику редакции А. Н.  
Пыпину (тексты обоих писем см. в т. 8, стр. 451–458). Будучи уверен, что  
«Вестник Европы» не поместит его протеста, Салтыков одновременно ввел основные  
возражения Суворину по поводу отношения к народу и сформулированной им теории  
«юмора» в рецензию на повести Лейкина, которая появилась в очередном майском  
номере «Отечественных записок». Поскольку письмо Салтыкова так и не было  
напечатано «Вестником Европы», рецензия стала первым публичным ответом писателя  
на суворинскую критику «Истории одного города».

Стр. 449. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас» –  
слова Христа из «Евангелия от Матфея», XI, ст. 28.

Цыгане. Роман в трех частях. Соч. В. Ключникова. СПб. 1871  
ОЗ, 1871, № 9, отд. «Новые книги», стр. 63–66 (вып. в свет – 20 сентября). Без  
подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста –  
Неизвестные страницы, стр. 552–554.

В. П. Ключников – автор нашумевшего в середине 60-х годов «антинигилистического»  
романа «Марево». Об этом романе и его главном герое Русанове («Дон-Кихоте  
консерватизма») писал Салтыков в мартовской хронике «Наша общественная жизнь»  
1864 г. (см. т. 6 наст. изд., стр. 315–321). В статье Писарева «Сердитое  
бессилие» успех «Марева» характеризуется как «скандальное торжество  
бездарности», а содержание романа – как «риторическая ложь».

Последующие произведения Ключникова не привлекли большого внимания публики и  
критики. «Цыгане» – название символическое; речь идет о людях, которые «бродят  
по жизни», не умея найти ее разумное основание. Герой романа – Лев Зарницын,

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru начавший свою карьеру среди «отрицающей партии в нашей литературе», вскоре разочаровывается и живет по воле инстинкта, по прихоти мгновенного чувства. Антинигилистическая направленность очевидна и в этом романе, поскольку моральные устои Зарницын, по уверению автора, потерял именно в те годы, когда дышал «зараженным воздухом». Однако главная тема романа – описание любовных интриг «троеженца» Зарницына и в результате – его покаянного возвращения к первой семье. В романе Ключникова «Цыгане» Салтыков разоблачает очередную мимикрию антинигилистической литературы – попытку выступить под лозунгом свободы искусства, которая представляет собой новый вариант «теории обуздания мысли».

Стр. 426...развратная леди, влюбленная в Гуинплена (герой романа «L'homme qui rit»). – Об этой героине романа В. Гюго «Человек, который смеется» упоминается и в цикле «Господа ташкентцы» («Ташкентцы приготовительного класса. Параллель первая»). Эта глава была помещена в том же номере «Отечественных записок», где и рецензия на «Цыган». Здесь скандальные похождения госпожи Персиановой иронически приписываются дурному влиянию романа Гюго.

Стр. 427...«представители собственной разгоряченной фантазии». – В передовой статье от 3 июля 1871 г. «С.-Петербургские ведомости» (№ 180) называли подсудимых по «нечаевскому делу» «представителями лишь своей собственной разгоряченной фантазии». Определение это приведено Салтыковым в двух других произведениях, напечатанных в том же номере «Отечественных записок», где появилась и рецензия на роман Ключникова: «Так называемое «нечаевское дело»...» (см. наст. том., стр. 191) и уже упомянутые «Ташкентцы приготовительного класса».

...он написал два романа – «Большие корабли» (1866) и «Цыгане»...редактирует целый журнал без мысли. – С 1870 г. Ключников был редактором журнала «Нива».

...совсем в другом журнале. – «Цыгане» печатались в 1869 г. в журнале «Заря».

Теория обуздания мысли у нас никогда не была новою. – О «теории обуздания» как основе «миросозерцания громадного большинства людей», подробно говорится во вступлении «К читателю», открывающем цикл «Благонамеренные речи».

Г-н Ключников тот же афоризм «об обуздании» проповедует под именем свободы искусства. – В февральской хронике «Наша общественная жизнь» за 1864 г., когда в «Русском вестнике» начал печататься роман «Марево», Салтыков иронически указывал на «живую органическую связь между целями, которые преследует искусство, и теми, которым служит полиция».

Темное дело. Народная драма в 5-ти действиях Дмитрия Лобанова  
СПб. 1871

ОЗ, 1871, № 9, отд. «Новые книги», стр. 66–68 (вып. в свет – 20 сентября). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста – неизвестные страницы, стр. 554–555.

Две темы занимают в настоящей, хотя и очень краткой рецензии центральное место – во-первых, изображение в литературе народной жизни, во-вторых, в связи с первой темой – роль народа, «мужика», в истории. Кто же «пишет» русскую историю – те, кого Салтыков в «Признаках времени» назвал «историографами», или мужик, находящийся вне пределов исторической жизни? Весьма посредственный драматург Д. И. Лобанов[136] следует в своей якобы «народной» драме (на самом деле – исторической мелодраме) традиции, согласно которой значение мужика равняется значению мухи, чем и объясняется резко отрицательный отзыв Салтыкова о драме «Темное дело».

Стр. 431...страшное и имевшее громадные последствия убийство... – убийство царевича Димитрия.

Заметки в поездку во Францию, С. Италию, Бельгию и Голландию  
Н. И. Тарасенко-Отрешков. СПб. 1871

ОЗ, 1871, № 10, отд. «Новые книги», стр. 256–260 (вып. в свет – 16 октября). Без подписи. Авторство указано Р. В. Ивановым-Разумником – М. Е. Салтыков (Щедрин). Сочинения, т. IV, М. – Л. 1927, стр. 642; подтверждено на основании анализа текста С. С. Борщевским – неизвестные страницы, стр. 555–557.

Автором книги был чиновник и литературный делец, писавший главным образом на

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) экономические темы (еще в 1832 г. он был навязан Пушкину III Отделением в качестве ответственного редактора проектировавшейся поэтом, но несостоявшейся газеты «Дневник»).

Как это часто бывало в рецензиях Салтыкова, и в настоящем случае рецензируемая книга – собрание поверхностных и мало связанных «заметок» на разные темы – послужила лишь внешним поводом для того, чтобы высказать ряд принципиальных соображений, здесь – об «отношениях русских людей к заграничным порядкам».

Тема «русский человек за границей» бегло затрагивается Салтыковым уже в очерке «Глухов и глуповцы» в связи с иронической характеристикой «Сидорычей» «вне их родного логовища» (см. т. 4, стр. 205) и затем обстоятельно разрабатывается в майской хронике «Нашей общественной жизни» за 1863 г.. [137] Тогда Салтыков сосредоточил свое внимание на сатирическом типе «гулящего человека», «желудочно-полового космополита», безусловно принадлежащего к «отцам», то есть крепостническому дворянству (подробнее см. прим. к майской хронике и очерку «Русские «гулящие люди» за границей» – тт. 6 и 7). В рецензии на книгу Тарасенко-Отрешкова Салтыков вновь вспоминает об этом типе «гулящего шалопая». Однако теперь он усматривает и «добрую» сторону в «стремлении пользоваться чужими порядками», даже когда это стремление ограничено «животными» наслаждениями. И если в хронике, например, говорилось о «россиянине, выползшем из своей скорлупы, чтобы себя показать и людей посмотреть», то в рецензии уже утверждается, что «русский человек стремился за границу совсем не для того только, чтобы людей посмотреть и себя показать, а прежде всего для того, чтобы вкусить иных порядков, ощутить себя в иных жизненных условиях», то есть в условиях «свободы».

В связи с этим Салтыков предлагает припомнить и таких русских путешественников, как, например, автор «Писем из Avenue Marigny», то есть Герцен. Сравнение «своего» и «чужого» в «заметках и письмах путешественников сороковых годов» (здесь, кроме Герцена, разумелись, конечно, П. В. Анненков, автор «Писем из-за границы» и «Парижских писем», В. П. Боткин, автор «Писем об Испании», и др.) было, во всяком случае, положительно, хотя и производило иной раз всего лишь впечатление свойства «дразнящего и вызывающего».

Позднее Салтыков еще не раз обратится к сюжету о русском человеке за границей (например, «Культурные люди») и особенно полно, в рамках более широкой темы – «Россия и Запад», на материале собственных заграничных впечатлений, разработает его в «За рубежом» (1880–1881).

Стр. 433...статьи о Броках и Бруках, о китайских ассигнациях... – Эти статьи появились не в 40-х, а в середине 50-х годов, в начале подъема освободительного движения накануне реформ, и имели иносказательный смысл. Так, например, либеральный тогда «Русский вестник», не имея возможности прямо высказаться о деятельности русского министра финансов П. Ф. Брока, рассуждал об австрийском министре Бруке. Китайские ассигнации – эзопово наименование обесцененных русских бумажных денег; этой теме была посвящена статья Е. И. Ламанского «Ассигнации в Китае» (см. прим. к стр. 126).

Стр. 434...police correctionnelle – исправительная полиция.

Стр. 435...человек, который разбивал целые армии ямщиков... в каждом, оберкондукторе готов видеть высший организм... – Ср. в «Нашей общественной жизни» (т. 6, стр. 100): «Всякий иностранец кажется ему <гуляющему человеку> высшим организмом <...> В России он ехал на перекладных и колотил по зубам ямщиков; за границей он <...>заигрывает с кондуктором <...>».

...выгоду шнельцугов и ретурбилетов... – Шнельцуг – скорый поезд (нем. Schnellzug). Ретурбилет – обратный билет, билет на проезд в оба конца.

Стр. 436...фраза «к которым прикосновение» и т. д. окажется истиною. – Тарасенко-Отрешков, как это видно из цитируемой Салтыковым заключительной фразы его книги, полагал, что реформы 60-х годов в России, «улучшая быт рабочих», разрешают тем самым «рабочий вопрос», столь остро стоявший в развитых капиталистических странах. Салтыкову, напротив, было ясно, что реформы создают предпосылки и условия для появления рабочего класса в европейском смысле, ибо «те преобразования, которые ныне совершаются в России, на Западе Европы давно уж совершились».

Лесная глушь. Картины народного быта С. Максимова. 2 тома. СПб. 1871  
ОЗ, 1871, № 12, отд. «Новые книги», стр. 225–229 (вып. в свет – 17 декабря). Без  
подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом – Z. f. sl. Ph., S. 184; подтверждено  
на основании анализа текста С. С. Борщевским – изд. 1933–1941, т. 8, стр.  
522–524.

Случилось так, что эта рецензия оказалась последней рецензией Салтыкова в  
«Отечественных записках», в которой ставятся общие проблемы русского  
литературного развития и, прежде всего, центральный для его литературной критики  
вопрос – об отношениях беллетристики к современной русской жизни. Тем самым  
рецензия на «Лесную глушь» приобретает значение итоговой, завершающей (хотя  
после нее и было напечатано несколько других рецензий Салтыкова). По вопросам  
эстетическим и литературным Салтыков высказывался после 1871 г. уже не в  
литературно-критических статьях и рецензиях, а в художественно-публицистических  
произведениях.

Салтыков видит в современной беллетристике несколько направлений, и ни одно из  
них его не удовлетворяет, ибо ни одно из них не достигает самого важного –  
воспроизведения «внутреннего содержания» русской жизни в ее, при всей внешней  
хаотичности, целом.

Среди многих направлений выделяются два главных, различающихся как по времени  
своего возникновения, так и по содержанию и жанрам (ср. статью «Напрасные  
опасения»). Первое из них рождено 40-ми годами, почва его – психологическая,  
жанр, созданный им, – роман. Второе появилось в 60-х годах, оно пытается встать  
на иную почву – общественную. Это направление чаще всего предлагает читателям  
«отрывки, очерки, сцены, картинки». Если же оно обращается к романическому  
творчеству, то роман этот – «косноязычный» (вероятно, в первую очередь  
разумеется самый крупный представитель «нового направления», скончавшийся в 1871  
г. Ф. М. Решетников – см. статью «Напрасные опасения» и рецензию на роман «Где  
лучше?»).

Беллетристы первого направления, при всех их неоспоримых заслугах, в общем,  
проявили враждебность по отношению «к интересам, занимающим современное мыслящее  
русское общество» (рец. на роман Омулевского «Светлов», см. наст. том, стр.  
411). Результатом этой враждебности были или, как сказано в той же рецензии,  
«дидактизм, полемизирующий в пользу интересов отживающих и в ущерб интересам  
нарождающимся» (то есть так называемая антинигилистическая тенденция), или, в  
лучшем случае, разработка «помещичьих любовных дел» (наст. рецензия). Ни о каком  
общественном романе в этом случае не может быть и речи, а являются лишь  
«постыдная вакханалия» или «византийский иконостас».

Беллетристы второго направления всецело сочувствуют движению современности, но и  
они оказываются неспособными создать общественный роман. Одна из причин этой  
фатальной неспособности, на которую особо обращает внимание Салтыков в настоящей  
рецензии, – отсутствие «свободного доступа ко всем общественным сферам».

Руководствуясь своей собственной художественной практикой, Салтыков формулирует  
некоторые существенные признаки общественного романа, это – новая тематика  
(«общество, находящееся под игом недоразумения», «беспрерывное развитие  
хищничества», «бездонный запас легкомыслия, хвастовства, наглости,  
самонадеянности» и т. д.), новые герои («земский деятель, нигилист, мировой  
судья, а, пожалуй, даже и губернатор»), сюжет, принципиально отличающийся от  
сюжета «психологического» романа, хотя и не новый («провести своего героя через  
все общественные слои»), и т. д.

Стр. 438...«пленной мысли раздраженье»... – из стихотворения Лермонтова «Не верь  
себе».

На распутьи. Роман в двух частях В. Г. Авсеенко. СПб. 1871  
ОЗ, 1871, № 12, отд. «Новые книги», стр. 229–232 (вып. в свет – 17 декабря). Без  
подписи. Авторство указано В. В. Гиппиусом – Z. f. sl. Ph., S. 184; подтверждено  
на основании анализа текста С. С. Борщевским – изд. 1933–1941, т. 8, стр.  
524–525.

Роман В. Г. Авсеенко первоначально печатался в журнале «Заря» (1870, №№ 9–12).  
Хотя герой романа – помещик, служащий мировым посредником, автора меньше всего

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) занимается его служебная деятельность. Суть романа – «помещичьи любовные дела» (см. предыд. рец.). Первую часть рецензии Салтыков посвящает обоснованию реалистического принципа мотивированности характера героя и его действий. Этот принцип не соблюден в романе Авсеенко. Поэтому Салтыков и причисляет главного героя его к разряду «не помнящих родства» (ср. рец. на роман Авдеева «Меж двух огней»), а сам роман «На распутье» относит к «раечному роду, который допускает «показывание» всякого рода картинок меж малейшей связи между ними».

Авсеенко запомнил этот уничтожающий отзыв Салтыкова и в 1873 г. в статье «Опять щедринские помпадуры» писал по поводу очерка «Он!!»: «Без сомнения, многим из читателей «Отечественных записок», и даже большинству этих читателей, все выше приведенное покажется очень смешным и будет принято за сатиру на современные нравы. Но, вероятно, и сам автор не разделяет такого мнения большинства своих читателей. Автор, по всей вероятности, сам понимает, что он просто подшутил над райком <...> беллетрист, пишущий так много, как пишет г. Щедрин, иначе не может писать, как для райка». [138]

Беспечальное житье. А. Михайлов. Роман. СПб. 1878  
ОЗ, 1878, № 8, отд. «Новые книги», стр. 234–237 (вып в свет – 17 августа). Без подписи. Авторство установлено С. С. Борщевским на основании анализа текста – неизвестные страницы, стр. 557–558.

Третий, завершающий отзыв Салтыкова о произведениях А. Михайлова (Шеллера) еще более резок, чем предыдущие (см. стр. 261, 359). Десять лет назад Салтыков предупреждал Михайлова, что авторы с небольшим, односторонним запасом жизненных впечатлений очень скоро исчерпывают его, и если желают продолжать работать, то бывают вынуждены подражать самим себе (см. стр. 261). Роман «Беспечальное житье», по мнению Салтыкова, и есть результат такого писательского оскудения. Нетрудно заметить, что ирония сатирика в этой рецензии приобретает гневные ноты, и они несомненно связаны с тем, что поверхностное «тенденциозничанье» Михайлова, мелкость его тематики, неумение вникнуть в суть общественных явлений лишают роман «Беспечальное житье» какого бы то ни было прогрессивного значения. По своему смыслу картины, нарисованные Михайловым, сродни тем сочинениям, которые появлялись в реакционных журналах «Гражданин» или «Домашняя беседа». По-видимому, это и побудило Салтыкова сравнить Михайлова с хитроумным героем древнегреческого эпоса Одиссеем. (По предложению Одиссея, греки посадили своих воинов в деревянного коня, которого доверчивые троянцы, видя отступление противника, ввели в город. Салтыков использует этот образ как символ враждебных действий в благовидном обличье.)

Стр. 444...«и жить торопимся и чувствовать спешим». – Цитата из стихотворения П. А. Вяземского «Первый снег», использованная Пушкиным как эпиграф к первой главе «Евгения Онегина».

...шуметь по-репетитовски о выеденном яйце... – Репетитов в «Горе от ума» Грибоедова говорит Чацкому: «Шумим, братец, шумим...» (действие 4, явл. 4).

Стр. 445...в своих первых романах «Гнилые болота» и «Жизнь Шупова»... – См. стр. 363.

Сквозь видимые миру слезы г. Михайлова... чудится незримый миру смех. – Перефразированная цитата из «Мертвых душ» (см. стр. 543).

Стр. 446...из сотен грозящих рук Бриарея–жизни... – В мифологии древних греков Бриарей – сторукий великан, которого боялись даже боги Олимпа.

...о плачевной общественной метаморфозе, постигшей спутников Улисса. – Имеется в виду эпизод из «Одиссеи» Гомера о пребывании Одиссея (Улисса) на острове волшебницы Цирцеи, которая превратила его спутников в свиней.

Стр. 447...гороховое пугало – эзоповский образ для обозначения политического сыска. Ср. в «Современной идиллии» – «щеголь в гороховом пальто».

Энциклопедия ума, или Словарь избранных мыслей авторов всех народов и всех веков. Составил по французским источникам и перевел Н. Макаров С.-Петербург. 1878 г  
ОЗ, 1878, № 12, отд. «Новые книги», стр. 192–195 (вып. в свет – 21 декабря). Без подписи. Авторство указано без аргументации Н. Ф. Анненским. – Н. К.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Михайловский. Полн. собр. соч., т. 10, изд. 2, стр. X, XI; подтверждено на  
основании анализа текста С. С. Борщевским – Неизвестные страницы, стр. 558.

Составителем «Энциклопедии ума» был Николай Петрович Макаров, [139] известный  
лексикограф, а ранее автор бездарных романов, высмеянных Писаревым; в 70-х годах  
писал, по его собственным словам, «бичующие сатиры» (например, «Кровавый  
призрак») с выпадами против «демагогов, радикалов, анархистов, хартистов,  
памфлетистов, социалистов, коммунистов» и т. д.. [140]

По сведениям Б. М. Эйхенбаума, Макаров был агентом III Отделения, куда не  
замедлил сообщить и о рецензии Салтыкова на свою «Энциклопедию ума». [141] Может  
быть, принадлежность Макарова к названному учреждению и побудила Салтыкова  
взяться за перо, чтобы написать свою уничтожающую рецензию (по словам Герцена,  
«мы не прощаем только тех, которые бежали в III Отделение»). [142]

Характерно, что в основу отбора материалов для своего «Словаря избранных мыслей»  
Макаров положил именно беспринципность. В предисловии к книге, например,  
говорилось: «Такая масса мыслей представляет бесконечное разнообразие идей,  
понятий, мнений самых различных, весьма часто противоречивых, так что всякий  
может найти то, что ему нужно для подкрепления сказанного или в положительном,  
или в отрицательном смысле, для того чтобы доказать или опровергнуть».

Стр. 450...на бал к госпоже Гулак-Артемовской... – Гулак-Артемовская –  
великосветская авантюристка, замешанная в скандальных аферах. Процесс  
Гулак-Артемовской, говорилось в предыдущем номере «Отч. записок», «представил  
нам картину страшной деморализации нашего культурного общества» (ОЗ, 1878, № 11,  
отд. «Совр. обозрение», стр. 119).

Примечания

1  
Предисловие к переводу «Илиады». (Прим. Салтыкова-Щедрина.)

2  
«От. зап.», 1847 г., т. LIV, август. (Прим. Салтыкова-Щедрина.)

3  
«Илиада», песнь III. (Прим. Салтыкова-Щедрина.)

4  
Ibid, песнь VI. (Прим. Салтыкова-Щедрина.)

5  
ворчун.

6  
вечное движение.

7  
Дело происходит в присутствии поэта Сатрия, пришедшего к Сеяну с тетрадью  
поздравительных стихов, и историка Пинария Натты, которого обязанности  
закljučаются в переделке римской истории так, чтоб она не оскорбляла ни Тиверия,  
ни Сеяна. Прим. ред. (Прим. М. Е. Салтыкова.)

8  
любительские спектакли.

9  
жанровые картины.

10

ослы питаются скудным кормом.

11

помни о смерти.

12

бессмыслица.

13

вранье, хвастовство.

14

полезность.

15

Маленькая Нини, читающая матери вслух.

16

ловкий трюк.

17

обмолвка.

18

на уме (в мыслях, невысказанное).

19

твердый расценоч.

20

недоразумение.

21

написанное остается.

22

хорошо будет смеяться тот, кто будет смеяться последним.

23

милый грешок.

24

как профессией.

25

в силу самого факта.

26

под статью.

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)

27  
с самого начала.

28  
дворянин ни во что не ставится.

29  
без гнева и пристрастия.

30  
страшно сказать!

31  
«С Севера свет!»

32  
почему? каким образом? когда? с чьей помощью?

33  
слова улетают, написанное остается.

34  
недоразумение.

35  
в силу самого факта.

36  
скорых поездов.

37  
билет на проезд в оба конца.

38  
извините за выражение.

39  
франтом.

40  
«М. Е. Салтыков Щедрин в воспоминаниях современников», М. 1957, стр. 180.

41  
См. С. Макашин, Салтыков-Щедрин, стр. 256.

42  
См. «Вестник Европы», 1890, № 1, стр. 326–327.

43  
См. С. Макашин, Салтыков-Щедрин, стр. 256–257.

44

См. И. Т. Трофимов, Принципы реализма в литературно-эстетических воззрениях Салтыкова-Щедрина. – «Ученые записки Московского пед. института имени Ленина», т. 70, вып. 4, 1954, стр. 167–168.

45

См. Б. В. Папковский, Натуральная школа Белинского и Салтыков. – «Ученые записки Ленинградского гос. пед. института им. А. И. Герцена», кафедра русской литературы, т. 81, 1949, стр. 78–79.

46

«Литературное наследство», т. 67, М. 1959. См. об этом: Г. Иванов, Э. Кононова, М. Е. Салтыков – рецензент. – «Русская литература», 1960, № 4. Фолькера. СПб. 1847. – «Современник», 1847, № 10, отд. III, стр. 127–129. (Ценз. разрешение 30 сентября 1847 г.)

47

«Дело петрашевцев», т. I, стр. 554; С. Макашин. Салтыков-Щедрин, стр. 165–166.

48

См. об этом: И. Зильберфарб, «Педагогические идеи Шарля Фурье в кн. «Шарль Фурье о воспитании при строе гармонии», М. 1939, стр. 30–31.

49

С. Макашин, Салтыков-Щедрин, стр. 521–522.

50

Шарль Фурье, Избранные сочинения, т. III, стр. 340; см. также стр. 341–342.

51

«Современник», 1847, № 12, отд. III, стр. 82.

52

«Современник», 1847, № 3, отд. III, стр. 76–85. Ср. В. Г. Белинский, т. X, стр. 136–144.

53

О социально-философской проблематике ранних рецензий Салтыкова см. подробнее в монографии В. Я. Кирпотина «Философские и эстетические взгляды Салтыкова-Щедрина», М. 1957, стр. 9–16.

54

В. Евгеньев-Максимов. Последние годы «Современника», л. 1939, стр. 45–47 и др.

55

Н. С. Кривенко. М. Е. Салтыков, СПб. 1891, стр. 81.

56

Подробно об этой полемике, представляющей одну из интереснейших страниц общественно-литературной борьбы 60-х годов, см. в т. 6 наст. изд. и в кн. С. Борщевского – «Щедрин и Достоевский», Гослитиздат, М. 1956.

57

А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XVII, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 90–91, 112–113 и примеч. к ним.

58

См., например, его письмо к А. Губернату. – А. К. Толстой. Собр. соч. в четырех томах, т. 4, «Художественная литература», М. 1964, стр. 422–428.

59

Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями, Гослитиздат, М. 1962, стр. 247.

60

Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. 3, Гослитиздат, М. 1955, стр.

61

«Русское слово», 1859, № 2, стр. 64, 84.

62

«Литературное наследство», т. 25–26, М. 1935, стр. 483–599.

63

П. Усов. П. И. Мельников, его жизнь и литературная деятельность. В кн.: Полн. собр. соч. П. И. Мельникова-Печерского, т. I, СПб. 1897, стр. 204–210.

64

В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 317.

65

См. «Крестьянское движение в России в 1850–1856 гг.», М. 1962, стр. 485–500; «Отмена крепостного права на Украине», Киев, 1961, стр. 66–67.

66

Обряд гражданской казни над ним был совершен 19 мая 1864 г., а № 5 «Современника», из которого был изъят комментируемый текст, цензурован 10 июня и вышел в свет 14 июня.

67

К. Леонтьев. Моя литературная судьба. – «Литературное наследство», т. 22–24, М. 1935.

68

Ошибка памяти. Правильная дата: 1864.

69

Фельетоны подписаны инициалами К. Л., которыми он подписывался также в «Отечественных записках», «Московских ведомостях» и «Русском вестнике». Кроме того, принадлежность их именно Константину Леонтьеву устанавливается на основании цитированной выше статьи его «Где разыскать мои сочинения после моей смерти», стр. 815.

70

В журнале «Литературная библиотека» в 1867 г. были напечатаны драма М. Стебницкого (Лескова) «Расточитель» (см. о ней на стр. 550 наст. тома), роман В. Ключникова «Большие корабли» и др. На 1868 г. были объявлены: новый роман М. Стебницкого «Резонеры», новый роман Вс. Крестовского «Две силы», продолжение романа Я. Полонского «Признания Сергея Чалыгина», «Свежо предание...», роман-хроника из недавней истории петербургских нигилистов и заговорщиков, NN.

71

Э. и Ж. де Гонкур. Дневник, т. 1, М. 1964, стр. 486.

72

М. А. Антонович, Ю. Г. Жуковский. Материалы для характеристики современной русской литературы, СПб. 1869, стр. 192.

73

Бахвальство.

74

«Г. П. Данилевский по личным его письмам и литературной переписке», Харьков, 1893, стр. 61.

75

Ж. Муро. Задельная плата и кооперативные ассоциации, М. 1868, стр. 17.

76

См. изд. 1933–1941, т. 8, стр. 543.

77

См. Н. Журавлев. М. Е. Салтыков (Щедрин) в Тверской губернии, Калинин, 1939.

78

См. рецензию на книгу Эд. Пфейффера «Об ассоциации» в «Русском слове», 1866, № 1, стр. 16–17.

79

См. Гдб., Социально-экономические попытки в России. – «Дело», 1868, № 5.

80

См. Н. Флеровский. Положение рабочего класса в России, М. 1869, ч. III, гл. I и II.

81

См. подробнее об этом в кн. Р. Левита. Общественно-экономические взгляды М. Е. Салтыкова-Щедрина, гл. IV, Калуга, 1962.

82

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 2, стр. 490.

83

Панцырные бояре – особый род польской пограничной стражи.

84

Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие, т. 2, 1928, стр. 353.

85

Действие романа начинается в июле 1860 г. и завершается летом 1862 г. Время действия эпилога – весна 1866 г.

86

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
См. Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. XI, М. 1952, стр. 96–97.

87

О «начальниках отделения» и «столоначальниках» как публике Александринского театра Салтыков писал, разбирая комедию Самарина «Перемелется – мука будет» (см. выше, стр. 284).

88

См. статьи И. И. Векслера «Ф. М. Решетников в критике. К истории классовой борьбы в русской критической литературе». – «Известия АН СССР», Отделение обществ. наук, 1932, №№ 6 и 8.

89

В ряде писем к Некрасову Салтыков, занимавшийся «исправлением» романа «Где лучше?», чрезвычайно резко отзывался о его художественных недостатках, в частности – длиннотах (см., например, письма от 25 и 26 марта 1868 г.). Итоговое мнение Салтыкова – в письме от 12 мая: «В этом романе такая бездна ненужных и ни с чем не вяжущихся подробностей <...> Затем общее впечатление – хорошее, наглядно рисующее безвыходность некоторых отношений».

90

Показательно утверждение В. П. Буренина в фельетоне «Журналистика» «С.-Петербургских ведомостей», написанном по поводу статьи «Напрасные опасения»: «...роман «Где лучше?» и роман «Идиот» могут служить крайними представителями двух противоположных школ в искусстве – старой и новой» (№ 303 от 5 ноября 1868 г.). С этой точки зрения рассматривалось творчество Решетникова в двух статьях Евг. Утина «Литературные споры нашего времени» и «Задачи новейшей литературы» («Вестник Европы», 1869, №№ 11 и 12). В грубой и тенденциозной статье «Зари», впрочем метавшей стрелы не столько в Решетникова, сколько в «Отечественные записки», писатель был отнесен к «антихудожественной школе» (1869, № 9; автором статьи, по предположению И. И. Векслера в указанном исследовании, был В. Г. Авсеенко). Интересно также, что Достоевский противопоставил произведения Решетникова, хотя и «безобразные», отживающей «помещичьей литературе» (см. его письмо к Н. Н. Страхову от 18/30 мая 1871 г. – Письма, т. 2, стр. 369).

91

См. И. Г. Ямпольский П. Н. Ткачев как литературный критик. – «Литература», 1931, № 1, стр. 39–40.

92

О причинах и сущности конфликта редакции «Отечественных записок» с Антоновичем и Жуковским см. статью Б. Папковского и С. Макашина «Некрасов и литературная политика самодержавия» (ЛН, № 49–50), книгу М. В. Теплинского «Отечественные записки», Южно-Сахалинск, 1966, стр. 52–63.

93

То есть статью «Литература на обеде».

94

В первых строках рецензии Салтыков ошибочно называет годом появления в печати «Некуда» – 1863.

95

Первый том – «Повести, очерки, и рассказы М. Стебницкого» – вышел в свет в феврале 1868 г. (хотя на титульном листе значится 1867), второй том, под названием «Рассказы Стебницкого (Н. С. Лескова)», – в апреле 1869 г. (К. П. Богаевская. Хронологическая канва жизни и деятельности Н. С. Лескова. – Н. С. Лесков. Собр. соч. в 11-ти томах, т. 11, М. 1958, стр. 809, 810).

96

«Русское слово», 1864, № 6, отд. II, стр. 47, 48. «Сплетнический» характер романа был отмечен П. Н. Полевым в «С.-Петербургских ведомостях». «Стебницкий основал свое произведение на сплетнях и злоречьях», – писал позднее и Скабичевский («Русское недомыслие». – ОЗ, 1868, № 9).

97

«С.-Петербургские ведомости», 1864, № 200 от 11 сентября; подпись: «Знакомый г. Стебницкого».

98

Андрей Лесков. Жизнь Николая Лескова, М. 1954, стр. 176.

99

См. публикацию писем Полонского к Тургеневу. – ЛН, т. 73, кн. 2.

100

«С.-Петербургские ведомости», 1870, № 8 от 8 января; ср. И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем, т. XV, стр. 154–160.

101

О статье Страхова с одобрением отозвался Достоевский (см. его письмо к Страхову от 9 октября 1870 г. – Письма, т. 2, стр. 295); ее отметил также Тургенев (Письма, т. VIII, стр. 302).

102

«Российская библиография», 1881, № 93 (17), стр. 364.

103

К. Чуковский. Ф. М. Толстой и его письма к Некрасову. – ЛН, т. 51–52, стр. 584, 586.

104

ЛН, т. 51–52, стр. 588.

105

М. В. Теплинский. «Отечественные записки», Южно-Сахалинск, 1966, стр. 78.

106

А. А. Нильский. Закулисная хроника, изд. 2-е, СПб. 1900, стр. 155.

107

А. И. Вольф. Хроника петербургских театров с конца 1855 до начала 1881 года, СПб. 1884, стр. 42.

108

А. А. Нильский. Закулисная хроника, стр. 158.

109

«С.-Петербургские ведомости», 1869, № 344 от 14/26 декабря, псевд. «Незнакомец».

110

См. изд. 1933–1941, т. 8, стр. 547.

111

А. М. Скабичевский. Литературные воспоминания, М. – Л. 1928, стр. 289; см. также: «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», М. 1957, стр. 284.

112

См. И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. XII, стр. 201, 343; Сочинения, т. XV.

113

См. письмо Н. Ф. Даниельсона К. Марксу от 20 марта 1873 г. в кн. «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия», М. 1967, стр. 286.

114

А. Романович-Славатинский. Дворянство в России..., стр. 1.

115

А. Романович-Славатинский, Дворянство в России..., стр. 277.

116

Там же, стр. 14–15.

117

См. «Русский инвалид», 1866, 15 мая.

118

«Слияние сословий, или Дворянство, другие состояния и земство», СПб. 1870, стр. 137.

119

«М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников», М. 1964, стр. 439.

120

О своеобразной фигуре «аристократа-капельмейстера», его похождениях и концертах в Лондоне писал в «Былом и думах» Герцен (Собр. соч. в 30-ти томах, т. XI, стр. 313–329).

121

См., например, Е. И. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 22.

122

«C'est du Nord que nous vient la lumière!» (в переводе И. Богдановича: «От Севера днесь свет лиется во Вселенну»). – «Переписка российской императрицы Екатерины II и господина Вольтера», М. 1812, стр. 167).

123

Д. И. Писарев. Соч., т. 3, М. 1956, стр. 201.

124

Там же, стр. 224.

125

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
Там же, стр. 286.

126

Кроме этих произведений, сборник «Снопы» включал рассказ «Женитьба Атуева» и двадцать стихотворений.

127

В. И. Кельсиев писал о «Ночи в Летнем саду» в реакционном «Всемирном труде»: «Из поэта – кроткого, мягкого, безответного, одним словом, из Полонского, вышел борец и каратель нашего современного литературного и общественного направления» (1868, № 9, стр. 125 второй пагинации). См. также отзыв о «Ночи...» Полонского в «Деле» (1868, № 12, Совр. обозрение, стр. 89–93).

128

Этот острый пассаж из «Итогов» безусловно является ответом на брошюру Полонского «Рецензент «Отечественных записок»...» – см. далее.

129

Плодовитый беллетрист и литературный критик, Н. Д. Ахшарумов в 40-е годы был близок к петрашевцам; так же как и Салтыков, он служил тогда в канцелярии военного министерства.

130

Параболу Руссо о мандарине вспоминает бальзаковский Растиньяк в диалоге с Бьяншоном («Отец Горио»); она была источником разговора студента и офицера о старухе-процентщице в «Преступлении и наказании» Достоевского. Позднее о «нравственной задаче», поставленной этой параболой, писал Достоевским в одном из черновых вариантов «Дневника писателя».

131

Премьера состоялась в Александринском театре 11 декабря 1870 г.

132

А. И. Вольф. Хроника петербургских театров с конца 1855 до начала 1881 года, СПб. 1884, стр. 45.

133

«М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», М. 1957, стр. 184.

134

См. выше рецензию Салтыкова на его роман «А. Большаков».

135

«М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», М. 1957, стр. 69.

136

Д. И. Лобанов одно время был близок с композитором А. Н. Серовым и принимал участие в составлении либретто его оперы «Юдифь». Об этом сотрудничестве он вспоминает в мемуарной статье «А. Н. Серов и его опера «Юдифь», опубликованной в шестой книжке «Вестника Европы» за 1871 г., незадолго до напечатания «Темного дела» (ценз. разр. – 4 августа 1871 г.) и появления рецензии Салтыкова. В этой статье Лобанов, в частности, противопоставляет «Юдифь» «бытовой драме», о которой отзывается неодобрительно.

137

См. т. 6 наст. изд., стр. 99–111; этот раздел хроники под названием «Русские

Рецензии. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) «гулящие люди» за границей» был включен в 1869 г. в сб. «Признаки времени» – т. 7, стр. 86–99.

138

«Русский мир», 1873, № 95 от 14 апреля.

139

Салтыков находился с ним в отношениях родства, хотя и очень далекого. Макаров был женат на А. П. Болтиной, тетке жены Салтыкова.

140

Н. Макаров. Мои семидесятилетние воспоминания, СПб. 1882.

141

Б. Эйхенбаум. Маршрут в бессмертие. Жизнь и подвиги чухломского дворянина и международного лексикографа Николая Петровича Макарова, М. 1933, стр. 238–239.

142 А. И. Герцен, Собр. соч. в 30-ти томах, т. XIV, стр. 120.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://saltykov-shchedrin.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!